

СОКРОВИЩА  
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РУССКАЯ СКАЗКА

Тт. I, II

КНИГА 1001 НОЧИ

т. III

ДАВИДЪ ДЕФО

РОБИНЗОН КРУЗО

ЕГО ЖЕ

МОЛЛЬ ФЛЕНДЕРС

АББАТ ПРЕВО

МАНОН ЛЕСКО

«А С А Д Е М И А»

Москва: Кузнецкий мост, 18  
тел. 4-34-37

Ленинград: Социалистическ. 14  
тел. 138-98

Σ цена 5р.20к. Σ



Σ переплет 1р. Σ

сервантес  
ДОН КИХОТ

1

academia

Σ сервантес Σ

ДОН КИХОТ



Σ академия Σ

«Дон Кихот» Сервантеса — один из самых популярных, с детства каждому знакомых, памятников мировой литературы. Будучи блестящей социальной сатирой, роман этот вместе с тем является несравненным образцом художественной прозы. Мало можно найти произведений, в которых так гармонично сочетались бы занимательность сюжета, острота мысли и совершенство стиля.

Стремясь к распространению среди широких масс знакомства с «Дон Кихотом» в его подлинном и неискаженном виде, издательство «Academia» предприняло новый перевод романа Сервантеса. Перевод этот, сделанный с последнего критического издания испанского текста, помимо полноты, ставит себе задачей передать все главные особенности стилистического мастерства, характерные для эпохи позднего Возрождения.





1870  
L. N. X. O. M.















СОКРОВИЩА МИРОВОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

ДОН КИХОТ  
ЛАМАНЧСКИЙ



А С А Д Е М И А  
МОСКВА ВЛЕНИНГРАД  
I ♣ 9 ♣ 3 ♣ 2





МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО  
**ДОН КИХОТ**  
ЛАМАНЧСКИЙ



ПЕРЕВОД  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
И С ВСТУП. СТАТЬЯМИ  
**Б.А. КРЖЕВСКОГО**  
и **А.А. СМИРНОВА**  
ВВЕДЕНИЕ  
**П.И. НОВИЦКОГО**  
67 ИЛЛЮСТРАЦИЙ



**Т О М  
ПЕРВЫЙ**

А С А Д Е М И А  
МОСКВА  ЛЕНИНГРАД  
I ♦ 9 ♦ 3 ♦ 2

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

**EL INGENIOSO HIDALGO  
DON QUIJOTE DE LA MANCHA**

ОРНАМЕНТАЦИЯ КНИГИ  
С. М. ПОЖАРСКОГО

**ИЗДАНИЕ 2-Е**







Miguel de Cervantes  
Saavedra



**П. И. НОВИЦКИЙ**

**«ДОН КИХОТ» СЕРВАНТЕСА**





## К СОЦИОЛОГИИ ЖАНРА И ОБРАЗА

### I

### ЭПОХА

Роман Сервантеса «Дон Кихот» возник на почве определенных общественно-исторических отношений. Порождение своеобразной культуры, он с наибольшей полнотой выразил истинную сущность своей эпохи, произвел громадные изменения в жизненной практике своего времени, сформировался в новый литературный жанр и пронес сквозь века свою неуываемую идеологическую свежесть.

Эпоха, которая создала «Дон Кихота», была эпохой Возрождения. Экономический переворот XV и XVI столетий опрокинул господство военно-землевладельческой аристократии, расплыл дворянство, выдвинул новые социальные группы, создал новые культурные идеалы, новые вкусы и художественные формы. Развитие денежного хозяйства передвинуло центры культурной жизни из феодальных поместий и замков в торговые города. Творцами и строителями жизни оказались купцы, ремесленники, новая буржуазная интеллигенция. Военная доблесть, верность и преданность, служение богу, сеньору и даме, разбойничья бравада и бессмысленный авантюризм потеряли свое обаяние. Оживленная городская культура воспитала изощренный индивидуализм новых людей. Их психология отличалась крайней вос-

примчивостью ко всяким жизненным изменениям, страстной привязанностью к чувственным радостям земной жизни, развитием инициативы, изобретательности и предприимчивости. Это были люди практического разума, трезвого рационализма и волевой настойчивости. Они хотели жить самой полной и богатой жизнью. Рамки провинциального захолустья мешали размаху их энергии. Национальная ограниченность стесняла их. Они хотели завоевать весь мир. И они успели это сделать, когда центры мировой культуры и торговли переместились во Фландрию и Испанию. Открытие морского пути в Индию, открытие Америки, хозяйственный упадок Италии, обессленной княжескими спекуляциями и войнами, завоевание Гренады,—все эти события совершенно изменили социальные отношения в старой патриархальной провинциальной Испании и развернули перед ней грандиозные всемирно-исторические перспективы. Эпоха открытий, изобретений и конквистадоров создала потрясающую мощь торговой буржуазии и выдвинула на первое место испанский абсолютизм. Уверенность в своих силах, гордое сознание своей исторической роли, творческий размах и чувственный натурализм испанской буржуазии создают новые художественные вкусы и новые художественные формы. Испания становится родиной бытового натуралистического романа.

## II

## БОРЬБА ЗА НОВЫЙ ЖАНР

Новая литературная форма победила не сразу. Она могла утвердиться только в результате очень длительной и сложной борьбы. Искание новых жанров и форм, отрицание, разложение или вытеснение старых, жесточенная борьба за новый жанр составляет основное



содержание литературных процессов, происходящих в эпохи культурного перелома. Едва ли можно оспаривать в настоящее время тезис, согласно которому каждый культурный классовый уклад создает свои специфические художественные формы и жанры, соответствующие социально-психологическим особенностям господствующего класса. Раньше сложившиеся большие (или «высокие») формы, соответствующие культурной зрелости недавно господствовавшего класса, в период его культурного упадка и политического вырождения распадаются, загнивают и заменяются более подвижными и гибкими малыми (или «низкими») формами, соответствующими периоду первоначального культурного накопления нового поднимающегося класса.

В XIII—XIV вв. умирали пышные и монументальные формы феодально-католической эпопеи. Рыцарская культура создала эротическую мистику провансальской лирики и напыщенный авантюризм рыцарских романов. Форма рыцарского романа в течение долгого времени господствовала в литературе. Может быть, ни одна литературная форма не знала такого несомненного торжества и победоносного влияния. Все лирические и эпические жанры эпохи были ею поглощены и усвоены. Это не было, конечно, случайностью. Экономический переворот разорял мелкопоместное дворянство, гнал его на службу земельной феодальной аристократии и поднимающейся буржуазии, бросал его от одного класса к другому, от безумных восстаний против аристократического государства до патриотических походов во славу этого государства, от одной профессии к другой, от авантюры к подвигу и от паразитизма к самопожертвованию. Это была самая беспокойная и энергичная социальная группа, наиболее подвижная, неустойчивая и страстная. Сумасбродная

фантазия вдохновляла бешеную активность этой группы. Острей рыцарской шпаги руководили громадное социальное отчаяние и страшная жадность к жизни. Обедневшие и голодающие слои мелкопоместного дворянства способствовали образованию профессиональной художественной интеллигенции. Они становились поэтами, живописцами, предводителями крестьянских и буржурских восстаний, учеными - гуманистами, идеологами поднимающейся и крепнущей буржуазии. Но основная их масса была обречена на гибель. Быстрому росту городской культуры безусловно мешали деклассированные банды бездельников и фантазеров. Рыцарские нравы и рыцарские романы становились невыносимыми для насмешливого и трезвого, положительного уклада буржуазной жизни.

Испания была именно той страной, которой было суждено испытать наиболее остро влияние рыцарской сумасбродной культуры. После альбигойского погрома она была наводнена провансальскими трубадурами. Века ожесточенной борьбы с маврами превратили ее в военный лагерь. Рыцарские традиции стали кодексом национальной морали. Рыцарские романы в течение столетий были основной духовной пищей страны. Чтобы убить влияние рыцарских романов, от которых лихорадило эпоху, нужно было расшатать социально-культурный уклад, питавший увлечение этими романами. Надо было литературной форме рыцарского романа противопоставить другие более прочные и крепкие литературные формы.

Не нужно думать, что рыцарские романы в Испании были убиты появлением «Дон Кихота» Сервантеса. Такого чуда, о котором рассказывают все учебники, не было. «Дон Кихот» был только последним звеном длинной цепи литературных фактов.



Не только в Испании, во всей Европе нарастала реакция против старых литературных жанров. Аристократические и дворянские высокие жанры вытеснялись и заменялись «низкими» буржуазными жанрами сатирической пародии, фавльо, морализирующей новеллы, шуточной площадной песенки, политического памфлета. Буржуазия боролась с влиянием феодально-дворянской культуры сатирой и пародией. Традиции нужно было разоблачить и осмеять. Переходными разоблачительными жанрами стали пародийные романы (роман о Роберте-дьяволе, пародии на Chansons de geste) и небольшие бытовые рассказы нравоучительно-сатирического характера, так называемые фавльò (fabliaux). Эта борьба больших и малых литературных форм носила неравномерный характер в отдельных странах. Возникали рецидивы старых форм. Умирающий рыцарский роман оживотворялся более свежей кровью пастушеского романа, так же уведившего от жизни и действительности, как и рыцарский. Но основной смысл процесса был ясен: старые жанры уступали место новым. Победившие малые формы имели тенденцию к переходу в новые большие формы. Малые формы ограничивают или вытесняют большие в эпоху культурного перелома, а затем в период культурного становления и самоопределения сливаются в новые монументальные образования. Малые формы оплодотворяют большие, и возникают новые художественные жанры. Так, из сатирических австрийских и баварских швенок (Schwänke—то же, что французские фавльо) и анекдотов сложился большой сатирический роман Тиль Уленшпигель (XV в.). Из пародийных и сатирических итальянских новелл вырос Декамерон Боккаччо, а из английских бытовых рассказов и веселых юморесок—

Кентерберийские рассказы Чосера. Такого же происхождения громадная сатирическая эпопея «*Roman du Renard*» (Роман о Лисе) и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле.

В Испании атаку на рыцарские литературные формы задолго до «Дон Кихота» открыла так называемая «плутовская новелла» (*novela picaresca*). Всем своим остроумием и негодованием она была направлена против дворянско-аристократической культуры, против паразитической рыцарской богемы. Первым произведением этого стиля была блестящая бытовая сатирическая новелла неизвестного автора «Жизнь Ласарильо из Тормеса», в которой был подвергнут уничтожающей злобной критике весь социальный строй тогдашней Испании. «Жизнь Ласарильо» появилась в 1554 году и вызвала ряд таких же злых и остроумных подражаний. Публика раскупала их нарзхват. Это означало, что дни рыцарского романа были сочтены. Плутовская новелла повлияла и на Сервантеса. Он сам дал образец этого жанра, поместив в своих «Нравоучительных повестях» грациозную сатирическую новеллу «Ринконете и Кортадильо», разоблачавшую паразитические нравы сеvilьской богемы. Подобные бытовые эпизоды вошли потом в состав «Дон Кихота».

Следует считать установленным в общих чертах литературный процесс перерастания малых форм в большие, возникновения новых литературных жанров. Бытовой сатирический роман возник из бытовой новеллы и сатирического анекдота. Французские фавль, немецкие шуточные рассказы (швенки), итальянские и испанские новеллы заключали в себе составные элементы сатирически-бытового натуралистического романа.

Но не нужно думать, будто роман представляет собою механическое объединение разрозненных и внутренне

чуждых друг другу кусков материала. Роман возник не из комбинации готовых элементов, как думает Виктор Шкловский. По его мнению, приходит гениальный поэт, находит сборник готовых новелл, обогащает его рядом новых эпизодических произведений, а потом выбирает из него отдельные новеллы, свои и чужие, и искусно связывает их ловкими формальными приемами в единое произведение: вставляет отдельные новеллы в одну обрамляющую или нанизывает их друг на друга<sup>1</sup>. Процесс, который здесь происходит, гораздо сложнее. Роман, как большая форма, не возникает путем механически формального объединения ряда малых форм. Малые формы (новеллы, бытовые сцены, анекдоты, речи, пародии) органически перерастают в большие тогда, когда социально-психологические особенности эпохи требуют расширения рамок существующих жанров. Социальная действительность непрерывно услож-

<sup>1</sup> Виктор Шкловский в своей остроумной и парадоксальной статье «Как сделан Дон Кихот» («Развертывание сюжета» — сборники по теории поэтического языка, изд. «Опояз», 1921. Или: «Теория прозы», изд. «Круг», 1925, стр. 70—97) доказывает, что образ дон Кихота является механическим результатом построения романа. Тип дон Кихота не есть первоначальное задание автора. Он явился средством нанизывания мотивов. «Механизм исполнения создает новые формы в поэзии». В середине романа Сервантес осознал двойственность дон Кихота (чередование мудрости и безумия); тогда он стал пользоваться этой двойственностью, как литературным приемом. Весь роман — объединение, с помощью обрамления и нанизывания, самостоятельных новелл — эпизодов. Таким образом, единство романа, по Шкловскому, достигается внешними механическими приемами. С этим можно согласиться только при условии полного отрицания тематических функций героев произведения. Но так как герои произведения всегда выполняют тематические функции, построение Шкловского падает.



няется. В переходные культурные эпохи для борьбы со старыми общественными формами, удушающими жизнь, достаточно местных непосредственных ударов. Но развитие борьбы расширяет поле действия. Диапазон увеличивается. Переворот, возникший в дворянском провинциальном захолустье, принимает национальные размеры. А национальное движение быстро перерастает свои рамки и требует разрешения всемирно-исторических задач. Для борьбы с рыцарскими нравами и традициями, с патриархальным бытом и феодальным гнетом сначала было достаточно сатирических бытовых рассказов и пародийных анекдотов, ограничивающихся отдельными эпизодами в пределах данного города и данной деревни. Но социальная действительность усложнялась. Мало было дискредитировать местного сеньора, аббата или местную дворянскую банду. Вопрос ставился об изменении культурного уклада и социального строя всей нации, о борьбе с мирозерцанием и культурой громадных социальных пластов. А когда новые социальные силы выходили на мировую арену, и страна становилась центром крупнейших мировых событий, как Испания XVI века, то тематика литературных произведений такой эпохи не могла ограничиваться единичными эпизодами или событиями, как бы типичны они ни были, но должна была охватить собою самую эпоху со всеми ее особенностями и задачами. Ясно, что жанровые рамки новеллы оказались тесными для того, чтобы вместить такую тематику и такую действительность. Расширилось понимание действительности, расширились задачи класса, должны были расширяться и рамки литературного произведения. Так создалось единство нового литературного жанра—бытового натуралистического романа. Он вобрал в себя новеллу, как свою составную органическую часть. Вместо от-

дельного жизненного эпизода, уместяющегося в рамки новеллы, жизнь заставила показать целостный образ эпохи, для чего понадобилась новая художественная форма, утвердившаяся в литературе на ряд столетий<sup>1</sup>.

Но так как эпоха может быть выражена в романе посредством показа ряда отдельных эпизодов, спаянных единством тематического задания, то все искусство романиста заключается в убедительности композиционного соединения этих эпизодов. В «Дон Кихоте» многочисленные вставные новеллы и анекдоты не всегда убедительно композиционно увязаны с основной сюжетной линией романа. Это структурное несовершенство великого произведения является признаком его жизненной связанности с эпохой. В эпоху «Дон Кихота» форма романа только определялась, находилась в периоде становления. Жанр формировался и поэтому

<sup>1</sup> П. Н. Медведев подвергает внимательному изучению исследовательские приемы В. Шкловского в его работе о дон Кихоте. Медведев доказывает, что образ дон Кихота не является мотивировкой ни для умных речей, ни для безумных пождений. «Образ этот самоценен как все конструктивные элементы произведения». Все приключения и речи дон Кихота и его слуги подчинены единому тематическому замыслу. Единством тематического замысла объясняется художественное единство романа. Единство романа нельзя сложить путем нанизывания новелл. Единство тематического замысла является отражением жизненного единства эпохи, которое не уместяется в рамки новеллы, а требует для себя формы романа. «Роман устанавливает новую качественную сторону тематически понятой действительности». См. П. Н. Медведев.—Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. (Научно-Исслед. Институт сравн. истории литератур и языков Запада и Востока). Изд. «Прибой» 1928. Стр. 183—191.

не мог дать структурной безупречности. «Дон Кихот» не является романом законченных форм, имеющих нормативный характер.

«Дон Кихот» является результатом сложного и длительного исторического процесса. Он вырос из борьбы литературных жанров. Он означает победу новых художественных форм, выражающих новые социально-культурные формы. Он начинает литературную историю натуралистического романа. Он выражает с поразительной полнотой истинную сущность своей эпохи. Его единство создано не внешними приемами, а единством эпохи. Его органическая целостность объясняется единым тематическим замыслом, управляющим общей структурой и каждой частью произведения.

### III

#### ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ

Роман Сервантеса направлен против временного литературного явления, принявшего размеры стихийного бедствия, — против всеобщего увлечения рыцарскими романами. Он дискредитировал экзальтированных авторов этих романов и их доверчивых читателей, уходящих от живой действительности в мертвый мир придуманных вымыслов, в праздную жизнь бумажных галлюцинаций. Сервантес неоднократно подчеркивал этот свой ближайший тематический замысел. В прологе он устами своего друга говорит, что его книга есть сплошное поношение рыцарских книг, что его «сочинение направлено лишь к тому, чтобы уничтожить влияние и значение, которыми обладают в мире среди непросвещенной публики рыцарские романы»<sup>1</sup>. И кончает он роман утвержде-

<sup>1</sup> Т. I, стр. 11.

нием: «Единственным моим желанием было внушить всем людям отвращение к лживым и нелепым вымыслам рыцарских романов»<sup>1</sup>. Он пародирует слог рыцарских романов, издевается над бесконечными рассказами о нескончаемых приключениях, всячески подчеркивает вред необузданной фантазии, забывающей о действительности. Он показывает средствами сатиры и иронии, как книги убивают последнюю связь с живой и конкретной действительностью, заслоняют жизнь, заменяют ее галлюцинацией вымыслов. Он предупреждает против рабского отношения к книге, против тех фанатиков и маниаков, образ которых беспокоил Анатоля Франса. «Любители чтения книг», говорил Франс, «подобны потребителям гашиша. Тонкий яд, проникающий в их мозг, делает их нечувствительными к миру действительности и отдает их во власть чарующих и ужасных фантомов. Книга—опиум Запада. Она пожирает нас. Настанет день, когда мы все сделаемся библиотекарями—и тогда все будет кончено»<sup>2</sup>.

«Дон Кихот» не ограничивается только этими ближайшими тематическими заданиями—разоблачением пагубного влияния рыцарских романов и рабского отношения к книгам. Замысел «Дон Кихота» глубже. Прицел его гораздо дальше. Во вступительном стихотворении Урганды, предпосланном I тому, Сервантес, прикрываясь маской тончайшей иронии и намеренной темноты, отрицает, что в его намерения входило только осмеяние рыцарских книг, на чем он так настаивает в прологе. Идиоты пускай облизывают пальцы, думая, что они поняли все замыслы романа. Замыслы эти простираются дальше. «Дон Кихот» яв-

<sup>1</sup> Т. II, глава LXXIX.

<sup>2</sup> Цитировано из книги Henry Bourdeau — «Ames modernes». 1912. P. 221.

ляется величайшим памфлетом на дворянско-аристократическую культуру, сатирическим разоблачением исторической ограниченности и внутренней противоречивости породившей его эпохи. Роман развертывает, с одной стороны, картины безумного сумасбродства, фантазерства и социального отщепенства обедневшего провинциального дворянства и студенчества. Разорвавшие с действительностью, живущие в мире призраков, они не могут примириться со своей ненужностью, хотят действовать и играть роль в новое время. Но они способны только на безумные, вредные для них самих и для окружающих, выходы, на самоубийство и смерть. С другой стороны, роман показывает неприкрашенную подлинную жизнь: животное тупое прозябание крестьянства, хозяйственную суету купцов, алчность владельцев постоянных дворов, тупой цинизм и развращенную жестокость герцогских дворов, стада баранов, быков и свиней. Нелепая гибельная романтика сумасбродов является обратной стороной жестокой и страшной социальной действительности. По большим дорогам проходят монахи, странствующие актеры, закованные каторжники. Раздается песня юноши, которого «гонит на войну бедность и нужда». Авантюрные эпизоды сменяются бытовыми. Густой, сочный и пряный быт является основным фоном всех событий романа. Так, сатирический элемент переплетается с бытовым и жанровым. Безумие сочетается с обыденностью.

Эта трезвая и страстная книга прославляет запах земли и звериную жадную силу жизни. Она корнями уходит в ту почву, которая вырастила фламандскую полнокровную живопись, английскую эмпирическую философию и буржуазную драму. Физическое чело-



веческое существование, физиологические отправления человеческого организма приковывают внимание романиста. Он с беспощадным и наивным натурализмом описывает гастрические приключения Санчо (XVIII и XX главы I книги), не боясь заразить ими читателя. Сатирический и бытовой роман является величайшим образцом литературного натурализма.

Все эти особенности не ограничивают тематических заданий романа. Сервантес не удовольствовался сатирой и бытом. Если бы его цели не простирались дальше обличений временных литературно-бытовых фактов, если бы основной тематический замысел его романа заключался только в изображении гигантских противоречий в идеологическом кругозоре его эпохи, совмещающем утопизм фантастических вымыслов с ограниченностью бытового практицизма, то его роман был бы интересным историческим памятником эпохи, значение которого не выходило бы за пределы своего времени. Но значение романа Сервантеса гораздо шире. Идеопсихологический опыт своей эпохи он поднял на громадную художественную высоту, силой величайшего художественного обобщения он расширил идеологическое значение основных образов своего романа до гигантских символических размеров. Не памфлет на испанское дворянство XVI века он дал в своем романе, но изображение судеб многовековой человеческой культуры.

#### IV

#### ОБРАЗЫ ДОН КИХОТА

Комментаторы и панегиристы XIX века, пренебрегнув основными тематическими заданиями романа, прославили и возвеличили образ его героя. Роман

Сервантеса стал настольной книгой европейской культуры последнего столетия. Философы и поэты, пытаясь восстановить права идеалистического романтизма, взяли под свою защиту образ страстно безумного рыцаря.

Гениальные поэтические произведения обладают громадной живучестью. Они перерастают свою эпоху. Они продолжают жить и обслуживать новые поколения людей и новые классы. В историю искусства входит не только история вещей, не только история производителей, но также и история воспринимающей среды. Это самая интересная история. Она рассказывает, как живут и развиваются художественные произведения после смерти их авторов, как они служат культурным интересам новых эпох и классов. Каждая эпоха и каждая классовая культурная среда создают свой образ Шекспира, Пушкина, Сервантеса. Художественная и идеологическая щедрость гениальных произведений оплодотворяет века и поколения теми своими элементами, которые им наиболее нужны.

В мировой литературе о дон Кихоте выделяются образы, созданные Гейне и Тургеневым.

Дон Кихот Ламанчский на своем абстрактном Росинанте и Санчо Панса на своем положительном осле сопровождали Гейне на всех путях его жизни. «Дон Кихот» сыграл громадную роль в литературном развитии Гейне, который нашел в романе Сервантеса родной ему дух иронии и лукавства.

В 4-й части «Путевых картин» Гейне изобразил впечатление, произведенное на его ум чтением «Дон Кихота». «То был мрачный день, отвратительные туманные тучи тянулись вдоль по серому небу, желтые листья болезненно падали с деревьев, тяжелые капли—

слезы висели на последних цветах, печально склонявших увядшие умирающие головки, соловьи давно уже замолчали, со всех сторон зловеще смотрел на меня образ проходимости всего земного — и сердце мое готово было разорваться, когда я читал, как благородный рыцарь, ошеломленный и избитый, лежал на земле и, не подымая забрала, точно он говорил из могилы, сказал победителю слабым, больным голосом: «Дульсиня — красивейшая женщина в свете, а я — несчастнейший рыцарь на земле, но неприлично, чтобы моя слабость отвергала эту истину — ударяйте копьём, рыцарь!»

«Ах, этот светящийся рыцарь серебряного месяца, победивший мужественнейшего и благороднейшего человека в мире, был переодетый дыряльник!»<sup>1</sup>

Об этом дне, в который Гейне прочел о плачевном поединке, окончившемся таким постыдным поражением рыцаря, он вспоминает в своем знаменитом «Введении к Дон Кихоту». Это «введение», конечно, лучшее, что написано о книге Сервантеса. Его следует всегда печатать впереди текста романа.

Гейне говорит, что намерения Сервантеса не ограничивались борьбой против рыцарских романов, сатирическим разоблачением их нелепости. «Перо гения всегда более велико, нежели он сам, оно не ограничивается его временными делами, всегда идет дальше, и Сервантес, сам того ясно не сознавая, написал величайшую сатиру на человеческую восторженность».<sup>2</sup> Осмеяние всех проявлений человеческой восторженности, энтузиазма мечтателей и утопистов,

<sup>1</sup> Г. Гейне. Полное собрание сочинений. Изд. 2-ое под ред. Петра Вейнберга. Изд. А. Ф. Маркса, Спб. 1904. Т. IV стр. 304—305.

<sup>2</sup> Гейне, т. IV, стр. 306. «Введение к Дон Кихоту». Курсив мой. П. Н.

приходящего в болезненное столкновение с действительностью настоящего, — вот основной тематический замысел знаменитого романа, по мнению Гейне.

Энтузиазм заносится всегда слишком высоко. Тяжелые интересы дня, трезвая действительность настоящего охлаждает патетику энтузиастов. Но все таки нет ничего прекраснее, как мечтать о великом и невозможном. Гейне готов признать свои поражения при столкновении с действительностью. Что из того? Но жить стоит во имя этого благородного недовольства действительностью, которое вдохновляло дон Кихота. Гейне не делает разницы между реакционным утопизмом, отрицающим настоящее во имя прошлого, и революционным утопизмом, отрицающим настоящее во имя будущего. Рыцари старины и грядущего для него равноценны. Он не понимает, что для реального овладения будущим надо реально овладеть настоящим, законами и техникой его изменения. Патетический идеализм поэта был порядочно потрепан жизнью и осложнился элегическим скептицизмом и горькой иронией. «Смешная сторона донкихотства заключается в желании благородного рыцаря воскресить давно отжившее прошедшее, при чем его бедные члены, в особенности спина, пришли в болезненное столкновение с действительностью настоящего. Ах! после узнал я на опыте, что такое же неблагоприятное безумие стараться слишком рано ввести будущее в настоящее! Глядя на оба эти вида донкихотства, мудрец одинаково покачивает своей разумной головой. Но Дульсинея Тобосская все таки прекраснейшая женщина в мире, и несмотря на то, что я жалко повергнут на землю, от этих слов я никогда не отрекусь, я не могу поступать иначе — колите

вашиими копьями, вы, рыцари серебряного месяца и переодетые подмастерья дырюльников!»<sup>1</sup>

Ах, если бы рыцари печального образа смогли использовать практическую сноровку дырюльников для воплощения своих страстных мечтаний! Ах, если бы они могли выставить против тяжелых интересов дня не одну лишь тощую клячу мечтаний, не одни лишь ветхие доспехи своих одиноких усилий и такое же ветхое тело своей единичной жизни!

Основной тематический замысел романа Сервантеса Гейне раскрыл правильно. Но выводы из толкования сделал неправильные. Выхода в жизнь и борьбу не осталось. «Жить—значит воевать». Эта формула имела силу для Сервантеса. Для Гейне жить—значит мечтать, эгегической иронией обороняясь от низкой действительности.

Апологию донкихотства дал Тургенев. В своей знаменитой речи «Гамлет и Дон Кихот» он решал свой внутренний вопрос, боролся с нерешительностью, скептицизмом и рефлектирующим безволием своего собственного поколения. Он использовал образы Шекспира и Сервантеса для морального омоложения своей социальной среды. Поэтому он должен был осудить душевную интеллигентскую дряблость Гамлета и прославить действенный энтузиазм дон Кихота.<sup>2</sup>

Дон Кихот— не шут, не нелепый мечтатель. Дон Кихот выражает собою прежде всего преданность идеалу, для которого он готов подвергнуться всем

<sup>1</sup> Там же, стр. 306. Курсив мой. П. Н.

<sup>2</sup> И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений. Сельское издание Глазунова. П. 1915. Том X, стр. 450—473, «Гамлет и Дон Кихот». Речь, произнесенная 10 января 1860 г. на публичном чтении в пользу общества для вспомоществования нужд. литераторам и ученым.



лишениям и всем пожертвовать. Дон Кихот — воплощенная воля и воплощенное самопожертвование. Он постоянно стремится к одной и той же цели, он знает, в чем заключается его дело и зачем он живет на земле. И никакие силы не могут его заставить остановиться перед выполнением долга, когда того требуют предписания кодекса его чести. Он весь живет для других. Жить для себя, заботиться о себе дон Кихот почел бы постыдным. В нем нет и следа эгоизма, он служит человечеству, берет на себя исправление мирового зла, очищение земли от обид, угнетения и насилия.

Это непосредственное знание цели своей жизни делает дон Кихота бесстрашным, выносливым и терпеливым. «Смиранный сердцем, он духом велик и смел». «Он не рассчитывает, не взвешивает последствий, действует». Дон Кихот — величайший энтузиаст. «Самая несомненная вещественность исчезает перед его глазами, тает как воск от огня его энтузиазма». Даже корыстная душа Санчо честно ослеплена бескорыстным энтузиазмом и презрением к прямым личным выгодам.

Две силы двигают человеческой историей. Одна сила — скептицизм. Другая — энтузиазм. Борьба этих двух сил — коренной закон человеческой жизни. Гамлет является воплощением скептицизма. Дон Кихот — воплощением энтузиазма. Жизнь строят рыцари дела и долга — дон Кихоты. Пусть они склонны к самообольщению, к полуневинному обману. Пускай они будут фантазерами, безумцами, чудаками. Пускай смеются над их претензией уничтожить мировое зло и восстановить мировую справедливость! Не в этом дело. «Некоторая доля смешного неминуемо должна примешиваться к поступкам, к самому характеру людей, призванных на великое новое дело». Без этих смешных

чудаков и изобретателей не подвигалось бы вперед человечество<sup>1</sup>.

У Тургенева не возникает сомнения, что дон Кихоты делают «великое новое дело». У него не возникает мыслей о направленности и конкретной целесообразности подвигов и приключений дон Кихота. Ему необходимо прославить бескорыстный энтузиазм и волевою бестрепетность рыцаря Дульсинеи, так как именно этих качеств нехватало его социальной среде, чтобы спастись от гибели и безысходного пессимизма. Ему необходимо было вызвать себе на помощь дух дон Кихота, чтобы скрыть от самого себя историческую обреченность своей социальной среды и своего поколения. Маркс говорит в «Восемнадцатом брюмера», что люди иногда вызывают на помощь себе духов прошлого и изъясняются заимствованным у предков языком для того, чтобы скрыть от самих себя исторически ограниченное содержание своей борьбы и «поддержать свой энтузиазм на высоте великой исторической трагедии».<sup>2</sup> Основной идеологический замысел романа Сервантеса Тургеневу остался непонятным. Борьба дон Кихота с действительностью настоящего во имя прошлого осталась вне поля его зрения. Воскрешение мертвецов понадобилось для того, чтобы спастись от настоящего.

<sup>1</sup> Там же, стр. 470. А. Г. Горнфельд справедливо указывает, что Тургенев в своей речи выступил не как исследователь, а как критик-публицист и моралист. Он взял своих героев вне истории и при помощи толкования их образов сводил счеты с самим собою. См. Горнфельд. «Боевые отклики на мирные темы». Л. «Колос». 1924. Стр. 19. («Дон Кихот и Гамлет»).

<sup>2</sup> К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. Собрание исторических работ. Перевод под ред. В. Базарова и И. Степанова. Изд. С. Скимунта 1936. стр. 145.

Образом дон Кихота пользуются до сих пор все философы и поэты обреченных на гибель социальных групп для того, чтобы уйти от действительности, несущей им смерть. Они прославляют сладкие вымыслы воображения, опиум искусства — сновидения, художественное пассивное созерцание, уводящее от действительности, от действия, от страшной и губительной борьбы. Ветхими доспехами дон Кихота они хотят отгородиться от жизни. Они взнуздывают тощую клячу своей фантазии, чтобы протрусить в страну забвения. Такова философия символизма. Такова кладбищенская мудрость Метерлинка и Федора Сологуба. Мудрость заключается в том, чтоб «над морем случайного бывания восставить светлый мир, созданный дерзающей волей нашей», чтоб эстетически преобразить несовершенный реальный мир и прозреть совершенное бытие, созданное мечтой.<sup>1</sup> Мудрость заключается в том, чтобы не видеть грязную крестьянку Альдонсу, пахнущую молоком и навозом, а видеть сладчайшую Дульсинею Тобосскую, прекраснейшую из женщин мира.

Философы и поэты, отвергавшие живую Альдонсу и занимавшиеся дульдинированием действительности, прославлявшие абстрактный идеализм и романтическое помешательство дон Кихота, забывали о малом: о мужественном, бодром и страстном Сервантесе, написавшем великую книгу, чтобы преодолеть дон Кихота.

## V

## ИСТОЛКОВАНИЕ ОБРАЗА

Дон Кихот живет в прошлом. Это самое главное. Он совершенно не замечает современной ему действительности. Он ослеплен блестящими фантомами

<sup>1</sup> Ф. Сологуб. Книга очарований. Легенда о мудрых девах.

феодалной старины и живет только ее обольстительными видениями. Он проспал падение феодализма и наступление трезвого века, в котором нет ничего рыцарского. Он лишен всякого чувства действительности. Он презирает грязные побуждения Санчо Пансы, прикованного своим низменным воображением к земле. Для него не приемлема действительность огородов и свиначен. Он так же бы отверг жестокую, разбойничью и кровавую рыцарскую действительность, как он отверг действительность своего времени, если бы он жил в эпоху рыцарских турниров, поединков и войн. Для него не выносимо настоящее. Он может жить только воображаемой призрачной действительностью, мечтой о совершенных временах. Он не желает считаться с настоящим. Отсюда все его авантюры, страдания, неудачи и унижения. Он не учитывает обстановки и окружающих условий, потому что для него они просто не существуют. Прошлое манит его своими сновидениями, потому что он никогда не сталкивался с ним в действительности. Он отважно спорит с веком во имя прошлого, как спорили с ним последние рыцари—Агриппа, Добинье, Карлейль, Лев Толстой. И разве все, восставшие против настоящей действительности, не превращались тотчас в дон Кихотов, как только отрывались от реальной почвы и теряли перспективы пути (Байрон, Гейне, Блок)?

Спорить с веком, отрицать настоящее, преодолевать эпоху можно только во имя будущего. Идеалы не должны быть бесплотными призраками, неспособными воплотиться в действительности. Пустая несбыточная мечта дискредитирует идеал и делает его смешным. Идеал надо уметь реализовать и построить, изменяя настоящее, овладевая будущим в борьбе и реальной работе. Гейне этого не понимал, противопоставляя инди-

видуальный героизм и мятеж—гнусной действительности настоящего.

Не понимал этого и дон Кихот. Он был одержим б у й н ы м в о о б р а ж е н и е м. Истинной действительностью для него были только вымыслы его фантазии. Жизнь он заменил вдохновением неслыханного помешательства. Не было ни одного предмета и ни одного события, которые не превращались бы им в сновидение. Постоялый двор представлялся ему замком с четырьмя башнями, со шпиками из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубокими рвами, игра холостильщика свиней на камышевой свирели—придворной музыкой за обедом, черный заплесневелый хлеб—булкой из пшеничной муки, уличные женщины—знатными дамами и принцессами, ветряные мельницы—великанами, размахивающими руками, монахи бенедиктинцы—волшебниками, похитившими принцессу, купцы—странствующими рыцарями, два стада баранов—двумя враждующими войсками под предводительством императора Алифанфарона и короля гарамантов, таз дырюльника—волшебным шлемом Мамбрина и сочная плоть Альдонсы Лоренсо—бесплотнейшей и нежнейшей Дульсинеи Тобосской. Утрата всякого чувства действительности превратила дон Кихота в сумасшедшего, в посмешище людей, в маниака. Дон Кихот—принципиальный безумец. Он прекрасно понимает, что вызванным его воображением призракам не соответствует никакая реальная величина. На один из вопросов Санчо он отвечает: «Не все поэты, прославляющие своих дам под произвольно выбранными именами, в действительности в них влюблены. Неужели ты думаешь, что все эти Амарилисы, Фили, Сильвии, Дианы, Галатеи, Филиды и прочие дамы, которыми полны книги, романсы, лавки дырюльников и театры, были действительно женщинами из плоти и крови и



возлюбленными тех, кто их воспевал или воспевает? Конечно же нет; *большой частью поэты их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи и чтобы все считали их влюбленными или людьми, достойными любви.* Так и с меня совершенно достаточно воображать и верить, что эта славная Альдонса Лоренсо—девушка красивая и честная... Я считаю, что все мои слова—не более и не менее как чистейшая правда, и в воображении своем я рисую себе ее такой прекрасной и благородной, какой мне хочется ее видеть; с ней не сравнится Елена, с ней не в силах соперничать ни Лукреция, ни другие греческие, варварийские или латинские знаменитые жены прошедших времен. И пусть люди говорят, что им угодно; ибо если невежды будут меня порицать, то строгие судьи не смогут осудить меня». <sup>1</sup> Дон Кихот презирает тупой и плоский ум невежд, подобных Санчо Пансе, для которых трансформация мира кажется безумием и нелепостью. Мир представляется им свиарней и постоялым двором. А он хочет сойти с ума без причины, незаинтересованно и беспредметно. Когда Санчо задает ему недоуменный вопрос о причинах его безумия (другие рыцари имели причины совершать безумства: их отвергали или им изменяли дамы), дон Кихот ему отвечает: *«В том то вся суть, в том то вся тонкость этого дела!* Если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то полное основание—так в этом нет ни заслуги, ни подвига. *Другое дело—обезуметь так, без всякой причины; тогда моя дама поймет, на что я способен, если меня зарядить, раз я и в холостую могу так действовать».* Вообще, *«все вещи, к которым прикасаются странствующие рыцари, кажутся химерами, безумием и сумасбродством, словно все вокруг них*

<sup>1</sup> Т. I, гл. XXV, стр. 360—361. Курсив мой. П. Н.

*делается навыворот.* И это не потому, что и на самом деле они таковы, а потому, что нас постоянно окружают целые толпы волшебников, которые колдуют и подменяют все предметы, в зависимости от того, хотят ли они нас облагодетельствовать или погубить». <sup>1</sup>

Самодовлеющее безумие дон Кихота только способ преобразования мира. Нелепость его заключается в том, что оно лишено целеустремленности. Правда, дон Кихоту часто кажется, что он защищает угнетенных и поражает насильников. Но весь его патетический идеализм, возвышенный романтизм и благородный энтузиазм становятся бессмысленными и даже вредными, когда их применение дает отрицательные результаты, когда они не имеют социального оправдания. Энтузиазм — громадная моральная сила, которая противостоит упадочному скептицизму и пессимистическому индивидуализму буржуазной культуры. Но энтузиазм, нецелесообразно направленный, беспричинный, неуместно примененный, фальшив и смешон. Он должен иметь оправдание в действительности, должен быть целесообразен, иначе он превращается в спорт, в самолюбование, в позерство.

Дон Кихот, желая постоять за правду и защитить угнетенных, сам на каждом шагу совершает несправедливости и вредит тем, кого хочет спасти. Он освободил от побоев мальчика-пастуха, которого ремнем избивал крестьянин. Но не успел он отъехать, как крестьянин привязал мальчика снова к дубу и избил его до полусмерти. Впоследствии дон Кихот встретился с освобожденным, от которого услышал вместо слов благодарности одни проклятия: «Ради бога, сеньор стран-

<sup>1</sup> Т. I, гл. XXV, стр. 349—351.

ствующий рыцарь, если вам еще когда нибудь доведется со мной встретиться, пожалуйста не защищайте и не заступайтесь за меня, хотя бы меня резали на куски; ибо как бы ни велика была моя беда, от помощи вашей милости она станет еще горше, и да будьте вы прокляты вместе со всеми странствующими рыцарями, когда либо жившими на свете.»<sup>1</sup> В другой раз дон Кихот встретил похоронную процессию, сопровождавшую труп умершего дворянина. Думая, что он имеет дело с шайкой разбойников, похитивших тело рыцаря, он налетел на безоружных священников и сбросил на землю одного из них, при чем тот при падении переломил себе ногу. Отрекомендовавшись раненому странствующим рыцарем, восстанавливающим правду и уничтожающим зло на земле, он в ответ услышал горькие сетования на то, что самое величайшее зло и величайшая неправда, которая только могла постичь несчастного в жизни,—это встреча с злополучным рыцарем. В третий раз дон Кихот освобождает от цепей и конвоя каторжников, которые жестоко избивают своего избавителя. Одним словом, прекрасная сила героизма и самопожертвования, неделесообразно и безрассудно направленная, приносит один вред. Все дело в направлении, в приложении, в целесообразном назначении этой силы.

Панегиристы дон Кихота забывают о побуждениях и целях, которые руководили его поступками и подвигами. Не всегда эти подвиги были проявлением гуманных чувств и альтруистического бескорыстия. Очень часто они совершались во имя формального выполнения правил рыцарского кодекса, очень часто ими руководило дворянское чванство, социальные предрас-

<sup>1</sup> Т. I, гл. XXXI, стр. 481—482.

судки, суетная жажда славы, желание выслужиться перед дамой своего сердца. Дон Кихот набит буфонной похвалой. «Я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги. Я тот, повторяю, кому надлежит воскресить рыцарей Круглого стола, двенадцать пэров Франции и девять мужей Славы, затмив собой всех Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, Фебов и Бельянисов, и все полчища знаменитых странствующих рыцарей минувших времен, ибо на веку своем я совершу столько великих и удивительных боевых подвигов, что перед ними померкнут самые славные их деяния»<sup>1</sup>. Подобные речи постоянно раздаются на страницах романа. Дон Кихот часто отказывался помогать людям «низкого звания», так как рыцарский кодекс не позволял ему обнажать меч против людей, не посвященных в рыцари. Он сражается только с рыцарями, а с чернью и сбродом предоставляет сражаться Санчо Пансе. Он с брезгливостью говорит о плебейских родах, которые отличаются от знатных, обладающих добродетелями, богатством и щедростью, тем, что они способствуют лишь умножению числа живущих на земле, «и величие их не заслуживает иной славы и похвалы»<sup>2</sup>. Однажды, единственно из тщеславия, рискуя собственной жизнью и подвергая смертельной опасности все окрестное население, он заставил надсмотрщика львов открыть клетку, в которой тот вез их испанскому королю, и вызывает львов на бой, к всеобщему ужасу окружающих. По счастливой случайности львы повертываются к безумцу спиной

<sup>1</sup> Т. I, гл. XX, стр. 247.

<sup>2</sup> См. теорию Раскольникова в «Преступлении и Наказании» Достоевского о разделении людей на «обыкновенных» и «необыкновенных». Обыкновенные существуют «единственно для зарождения себе подобных».

и отказываются принять вызов. Дон Кихот наверху блаженства и требует от надсмотрщика свидетельства его исключительной доблести. Наконец, дон Кихот совершенно забывает о своих гуманных идеалах, когда мнимый волшебник Мерлин требует, чтоб Санчо собственноручно влезил себе 3.300 плетей для возвращения очарованной Дульсинее ее настоящего вида. Он забывает о всех страданиях, перенесенных Санчо вместе с ним, о всякой справедливости и правде и ригористично настаивает на том, чтоб Санчо выполнил предписание Мерлина, угрожая своему оруженосцу, в противном случае, привязать его к дереву и собственноручно выпороть его вдвое сильнее. Хорошо, что Санчо предпочел пороть дерево вместо себя, а то бы ему пришлось распротиться с жизнью.

Все эти примеры показывают, что энтузиазм и гуманизм дон Кихота весьма относительны и могут давать резко отрицательные эффекты. Только энтузиазм и патетический героизм, социально направленные и социально оправданные, прекрасны и способны изменить и очистить жизнь. Самодовлеющая бессмысленная храбрость, бесцельная кичливость и бесплодное фантазерство ничего изменить на земле не могут, могут только поддержать и укрепить социальное рабство и угнетение. «Если б эта храбрость, это великодушие, эта преданность, если б все эти прекрасные, высокие и благородные качества были употреблены на дело, во время и к стати, — дон Кихот был бы истинно великим человеком!»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах под ред. Иванова-Разумника. Изд. М. Стасюлевича. СПб. 1913. В статье «Тарантас. Сочинение гр. В. А. Соллогуба» дана блестящая характеристика дон Кихота и дон-кихотства. Стр. 966.

## VI

## ДУАЛИЗМ БУРЖУАЗНОЙ КУЛЬТУРЫ

Для воплощения тематического замысла романа понадобился не один, но пара героев. Санчо Панса не отделим от дон Кихота. Он не только его дополняет, — он выполняет важнейшие композиционные функции в тематическом построении и развитии романа. Гейне говорит, что дон Кихот и Санчо «постоянно пародируют друг друга, но при этом удивительно дополняют один другого, так что собственно только оба вместе составляют героя романа». Гейне указывает этим на тематическое единство романа. «Каждая черта в характере или действиях одного соответствует противоположной, но вместе и родственной, черте у другого. Здесь каждая частности имеет значение пародии. Да, даже между Россинантом дон Кихота и ослом Санчо Пансы господствует тот же иронический параллелизм, как и между оруженосцем и его рыцарем, и животные эти суть тоже некоторым образом символические представители тех же идей»<sup>1</sup>.

Образ Санчо имеет большую литературную историю. Фабль и новеллы наполнены грубыми неотесанными фигурами крестьян — простаков. Они являются всегда комическими персонажами. Над ними все потешаются и ставят их в самые неприятные положения. Простодушие, недогадливость и оплошность их подводят. Вместе с тем они обладают громадным практическим смыслом, острым умом и трезвым расчетом, которые выводят их из беды<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Г. Гейне, т. IV, стр. 318.

<sup>2</sup> Знаменитое фавль «Крестьянин - знахарь» (*Le vilain mire*).



## ДУАЛИЗМ БУРЖУАЗНОЙ КУЛЬТУРЫ XXXV

Санчо Панса никогда не становится в позу и не разыгрывает фальшивой роли. Роль губернатора несуществующего острова он проводит с редкой добросовестностью и истовой серьезностью. Он всегда естествен и непринужден. Обжора, сластолюбец и плут, он бескорыстно привязан к своему господину и верит в его звезду. Но главное в нем—просто душе и неизменная трезвость его практического ума. Жадность и практицизм толкают его на авантюры. Цырюльник не знает, чему больше удивляться,—безумию рыцаря или простоте оруженосца. Священнику оба они кажутся вылитыми из одной и той же формы, потому что безумные выходки сеньора без нелепостей слуги не стоили бы гроша. Санчо Панса тоже одержим воображением, он заражается безрассудством своего господина легко и быстро, но также быстро подсчитывает доходы и убытки, приобретения и потери. Фольклорное его многословие является необходимым обрамлением высокопарных речей печального рыцаря.

Пара героев понадобилась Сервантесу не для того, чтобы выдержать диалогический и пародический стиль романа (хотя ему были необходимы и эти функции героев), но для того, чтобы полнее и глубже разрешить основное тематическое задание произведения. Не гибельность рыцарских романов, не авантюризм вырождающегося дворянства и не противоречия своей эпохи хотел показать Сервантес. Вопрос был поставлен шире и глубже. Пара героев означает трагический дуализм громадной классовой культуры, колеблющейся между отрицанием реальности внешнего мира, спиритуализмом, уходом от действительности в фантастику, в мир сновидений, научных абстракций и беспредметного искусства, с одной сто-

роны, и узким практицизмом, делячеством и трезвым расчетом, с другой.

## VII

## СЕРВАНТЕС И НАША ЭПОХА

Сервантес осмелел и разоблачил не энтузиазм живых борющихся людей, а бесплодный энтузиазм фантазеров. Несмотря на все мудрые речи дон Кихота, несмотря на то, что в его уста автор вкладывает самые заветные свои мысли (знаменитая речь о свободе, речь о золотом веке), все таки он снимает с героя маску безумия только в последний момент—перед смертью, все таки он показывает бесконечную цепь неудач, унижений и сумасбродств. Сервантес свидетельствует, что настоящее нужно изменять и н а ч е, что целеполагающая воля и рассудок должны быть использованы для творчества жизни, а не для творчества вымыслов, что самоотвержение и великий практический идеализм должны быть посвящены не призракам и пустякам, а живым борющимся людям, что гений, талант и фантазия<sup>1</sup> должны иметь смысл, цель, оправдание. Сервантес свидетель-

<sup>1</sup> Отвергая самодовлеющую фантастику, мы никогда не отвергали творческой силы фантазии, переделывающей жизнь и мир. Замечательные слова по этому поводу В. И. Ленина: «Фантазия чрезвычайно ценна. Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчисления невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности». (Ленин. Заключит. слово по докладу ЦК на XI съезде РКП (б) 28 марта 1922. Собр. соч., т. XVIII, ч. 2).

ствуует, наконец, что вернуть прошлое, реставрировать ушедшую жизнь, прошлые эпохи, никому никогда не удастся. Это очень великая, трезвая и мужественная книга—«Дон Кихот» Сервантеса <sup>1</sup>.

Декабрь 1928.

<sup>1</sup> Если бы не помешал характер вступительной статьи к роману, необходимо было бы рассмотреть еще ряд важнейших тем, связанных с литературной историей «Дон Кихота», литературоведческой проблематикой нашего времени, философским истолкованием образа дон Кихота в современной литературе (см., например, А. В. Луначарский—«Освобожденный Дон Кихот», Гиз. 1922; Юрий-Олеша—«Заговор чувств», образ Ивана Бабичева—«последнего Дон Кихота земли» и др.) и значением романа для пролетарской культуры. Последнее бегло намечено в заключении.



**Б. А. КРЖЕВСКИЙ**

**«ДОН КИХОТ» НА ФОНЕ ИСПАНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ XVI — XVII СТ.**



«Дон Кихот»—одна из самых популярных, с самого детства всякому знакомых книг—является чрезвычайно сложным по замыслу и выполнению произведением, с большим трудом поддающимся историко-литературному анализу и идеологическому толкованию. Полтора-два столетия, в течение которых знатоки испанской литературы и наиболее чуткие из поэтов и критиков накапливали либо факты, либо сокровища своей интуиции, стараясь установить точные и плодотворные методы его понимания, являются лучшим доказательством трудности подобной задачи.

И у нас, и на Западе руководящим материалом, которым читатель обычно обосновывает свое понимание «Дон Кихота», являются отзывы крупных писателей и критиков, — отзывы, сплошь и рядом представляющие собою художественные произведения, общий смысл и социальная обусловленность которых должны быть в свою очередь критически пересмотрены и выяснены.

В конечном счете каждый из таких приговоров отражает лицо отдельных группировок европейской капиталистической культуры, вычитывавших в создании Сервантеса свои собственные идеологические построения. Наше время и наша общественность должны дать свою формулировку понимания гениального романа; начало ей уже положено яркой и сильной характеристикой А. В. Луначарского. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> А. Луначарский. История зап.-европ. литературы, Москва, 1924, т. I, 174—180.

Настоящая статья не имеет в виду истолкования образа Дон Кихота; установка ее более узкая и специальная.

«Дон Кихот», уже долгое время представляющий собой достояние широкой международной культуры, своими корнями уходит в литературные традиции Испании XVI—XVII вв. Для Испании Сервантес является тем, чем Шекспир является для Англии, Гете—для Германии, Пушкин—для России,—литературным гением, с наибольшей полнотой и яркостью отразившим культурное лицо своей собственной страны. Изучая Сервантеса в свете конкретной исторической обусловленности, мы сможем найти прочную базу для правильной, сверхнациональной оценки его романа.

## I

## БИОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сервантес был сыном бедного лекаря и родился ок. 9 октября 1547 г.<sup>1</sup> в г. Алькалá де Эна́рес. О первых двадцати годах его жизни, прошедших в кругу семьи, где он рос четвертым среди семерых детей, не сохранилось никаких указаний. Вероятнее всего семья не следовала за отцом, переезжавшим из города в город в поисках заработка, и жила в Мадриде, так что будущий писатель образование свое получил, должно быть, в этом городе, к которому приводят нас и первые документальные сведения. Здесь двадцатидвухлетним юношей он сочиняет стихи на кончину третьей жены Филиппа II, при чем составитель посвященного этому событию

<sup>1</sup> Эта дата является днем его крещения. Обычно предполагают, что он родился 29 сентября, так как это был день празднования святого, имя которого ему дали (Михаил).



сборника «Реляция о болезни и похоронах королевы», директор мадридской гуманитарной школы Хуан Лопес де Ойос, называет печатаемого им поэта «своим дорогим и любимым учеником».

Вскоре после этого литературного выступления в жизни Сервантеса начинается новый период. Он покидает родину и уезжает добывать средства к жизни в Италию, где проводит от 6 до 7 лет (с 1568 или 1569 г. по 1575). На эти годы приходится и время его пребывания в качестве дворецкого у кардинала Аквавивы и военная служба. Он поступил солдатом в стоявшие в Италии испанские войска и выказал себя впоследствии отважным бойцом в одной из решительных схваток между христианским Западом и мусульманскою Турцией: в морской битве при Лепанто (1571).

Любознательный и пытливый ум Сервантеса не оставался праздным; будущий писатель сумел с большой выгодой для себя использовать годы жизни за границей. За это говорят не только отдельные зарисовки и бытовые наблюдения, рассеянные в разных его сочинениях, но и знание итальянского языка и хорошая осведомленность в итальянских писателях XV — XVI ст. (Санназаро, Бембо, Ариосто, Чинцио, Банделло и др.). Одновременное соединение *armas* у *letras* (военного ремесла и литературных интересов) продолжалось в течение всего итальянского периода, но так как военная карьера после серьезных ран и тяжелого увечья левой руки, полученных в битве при Лепанто, стала почти невозможной, а литературная работа без поддержки мецената не могла дать средств к существованию, — Сервантес решил вернуться на родину. Заручившись рекомендациями главнокомандующего и вице-короля, он вместе с братом Родриго, таким же солдатом как и он, осенью 1575 г. выехал в Испанию на галере «Sol» («Солнце»). В пути

корабль был атакован и взят в плен пиратами. С 25 сентября 1575 г. Сервантес делается пленником и проводит полных пять лет среди ужасов Алжирского рабства. Сохранившиеся документы рисуют поведение его в плену не менее героическим, чем на войне. Четыре раза пробует он не просто бежать в одиночку, но и поднять восстание сконцентрированных в городе пленников, придавая своим проектам все более и более организованные формы. Конечной его целью являлось политическое отложение Алжира и подчинение его власти Испании. Найденные при нем рекомендательные письма и исключительная храбрость и инициатива, проявленные в плену, внушили туркам мысль, что перед ними крупный военный деятель, за которого следовало просить особо высокий выкуп. Вследствие этих причин Сервантес получил свободу нескоро, гораздо позже своего брата, и мог вернуться в Испанию только в конце 1580 г.

Родина встретила его неласково. Скучные средства семьи были подорваны непосильными денежными жертвами для освобождения обоих братьев. Безуспешно попробовав счастья в двух-трех военных экспедициях, Сервантес решает использовать данные своего таланта и начинает писать для театра<sup>1</sup>, продолжать итальянское влияние в лирике и в области сентиментального (пастушеского) романа: его «Галатея» была закончена уже в 1583 г. (напеч. 1585). Вскоре Сервантес женится (дек., 1584), рассчитывая, быть может, найти больше досуга для литературы в скромной, но все же не нищенской обстановке семейства своей жены. Но ни семейная жизнь, ни театр, ни скромный гонорар за первый роман не могли укрепить его материального положения. Немного времени спустя после выхода в свет «Галатеи»

<sup>1</sup> За период 1580—1587 гг. им написано от 20 до 30 комедий, из числа которых уцелели только две пьесы.

он начинает серьезно думать о переходе на какуюнибудь более выгодную работу и в декабре 1585 г. появляется в Севилье (центре торговой жизни старой Испании) в роли финансового агента и посредника. В этого рода занятиях и в случайных литературных выступлениях (обычно—посвятительные сонеты к книгам друзей) проходят ближайшие годы. С 1587 г. он получает пост провиантского комиссара и деятельно работает по продовольственным заготовкам для грандиозного морского похода на Англию, задуманного Филиппом II и известного в истории под именем похода «Непобедимой Армады».

После разгрома этой последней ему удалось сохранить за собой прежнее место, скудно и неакуратно оплачивавшееся казной: жалованье задерживалось иногда на два, на три года. Необходимость совершать служебные разъезды заставляла прибегать к наличным суммам, бывшим у него на руках, а придирчивое отношение к отчетности со стороны финансовых органов ставило Сервантеса в невыносимо тяжелое положение. Доведенный до крайности, он мечтает уехать на освободившуюся должность в Америке (Боливия), но получает отказ и продолжает прежнюю службу. Финансовые затруднения усложнились после того, как в 1594 г. он получает поручение собрать задолженность по налогам в округе г. Гранады. Неожиданное банкротство финансиста, взявшегося перевести в казну внесенные Сервантесом деньги, привело писателя к двукратному тюремному заключению (в 1597 и 1602 гг.).

Можно думать, что вынужденный перерыв в тяготившей его службе оказался для Сервантеса полезным, так как он предоставил в его распоряжение некоторый досуг. Благодаря этому Сервантес смог задумать и начать свой главный роман. Когда в 1604 г. он прибыл

в Вальядолид (тогда—столица Испании), значительная часть I т. «Дон Кихота» была уже готова: правда, книга увидела свет только в 1605 г., но из одного письма знаменитого драматурга Лопе де Вега, жившего в том же городе, видно, что в 1604 г. «Дон Кихот» стал известен литературным кругам в рукописи. Уступив издателю в виде гарантии за возможную убыточность издания право печатания книги на несколько лет вперед, Сервантес не мог получить никакой выгоды от громадного успеха романа.

По прежнему он живет в бедности, а вскоре после опубликования «Дон Кихота» он еще раз побывал в тюрьме по подозрению в причастности к убийству, случившемуся около дома, где он жил, и совершенному не без ведома его ближайших соседей по квартире.

За время с 1605 по 1608 гг. о нем не сохранилось никаких сведений. С 1608 г. он живет в Мадриде, устранивает семейные дела (выдает замуж свою незаконную дочь Изабелу, родившуюся до его брака в 1584 г.) и ревностно хлопочет, добиваясь досуга и обеспеченности для своей литературной работы. Для этого он вступил в члены «Братства святейшего таинства»,<sup>1</sup> что, по понятиям эпохи, повышало его общественную репутацию и давало ему возможность пользоваться кассой взаимопомощи. Наряду с этим он заручается покровительством влиятельного мецената, графа Лемоса: однако попытка попасть к нему в свиту в то время, когда тот получает пост вице-короля Неаполя (1610), не увенчалась успехом. Вышедшие в 1613 г. «Назидательные новеллы» увидели свет благодаря присланной из Италии помощи Лемоса и посвящены этому последнему. Тем

<sup>1</sup> Социальную квалификацию, дававшуюся такого рода «братствами», можно приравнять к той, которой пользуются члены современных буржуазных клубов.

не менее Сервантес прибегает к протекции других лиц: на литературной сатире «Путешествие на Парнас» (ноябрь 1614) значится имя Родриго де Тания, сына министра Филиппа III. За несколько месяцев до выхода этой поэмы Сервантес, деятельно дописывавший II том «Дон Кихота», должен был пережить (во время работы над 59 гл. II тома) очень неприятный удар: какой то неизвестный автор, скрывшийся под псевдонимом Алонсо Фернандес Авельянеда, опубликовал (июль 1614 г.) в г. Таррагоне свое собственное продолжение «Дон Кихота». Подложные продолжения нашумевших произведений довольно часто практиковались в эту эпоху независимо от того, были ли живы или мертвы их авторы, и больше всего оскорбил и обидел писателя самый тон, в котором говорил о нем аноним<sup>1</sup>. Начиная с 59 гл. II тома Сервантес несколько раз сводит счеты с своим плагиатором, подвергая его едкой и нервной критике. Последние годы жизни Сервантес много пишет и усиленно печатает свои произведения. В сентябре 1615 г. вышли «Восемь комедий и интермедий», а через месяц с небольшим он публикует II т. «Дон Кихота». В необыкновенно интересном отзыве (по обычаю времени перепечатанному в книге) цензор издания, М<sup>а</sup>ркес Т<sup>о</sup>ррес рассказывает, как за два дня до составления отзыва (т. е. 25 февраля 1615 г.) он, беседуя с новоприбывшими членами французского посольства, убедился в европейской славе Сервантеса: один из присутствовавших знал почти наизусть его «Галатею», а кроме нее во Франции пользовались всеобщим признанием I т. «Дон Кихота» и «Новеллы». На заданный ему вопрос, кто такой и как живет писатель, М. Торрес ответил: «... он уже стар,

<sup>1</sup> Авельянеда издевался над старостью и увечьем Сервантеса, усматривал в «Дон Кихоте» намеренье скомпromетировать нравы и творчество Лопе де Вега.

прежде был солдатом, по происхождению он идалго, живет в бедности». Таковы были — приблизительно за год до смерти—итоги этой суровой и нерадостной жизни.

С 1613 г. в предисловиях к выходящим книгам Сервантес неизменно упоминает о намеченной им программе новых литературных работ: сюда входит роман «Персилес и Сихизмунда», II том «Галатеи», книга «Недели в саду», комедия «Обман для глаз» и еще одно произведение, озаглавленное «Прославленный Бернандо». Из всех этих сочинений был напечатан после смерти Сервантеса один «Персилес» (1617). Остальные рукописи, очевидно оставшиеся незаконченными, погибли. За четыре дня до смерти Сервантес написал удивительный по интимности и глубине настроения «Пролог» к «Персилесу», где с полной задушевностью, ясностью и твердостью простился с друзьями, жизнью и творчеством. Он умер 23 апреля 1616 г. Могила его вскоре затерялась и несмотря на неоднократно предпринимавшиеся розыски установить ее местонахождение не удалось.

## II

### ЛИТЕРАТУРНАЯ ОБСТАНОВКА ЭПОХИ СЕРВАНТЕСА

К тому времени, когда началась сознательная жизнь будущего великого писателя, Испания была крупной мировой державой, боровшейся за политическую и культурную гегемонию в Европе.

Уже со второй половины XV в., со времени установления сильной централизованной монархии, укрепленной хищнической колониальной политикой (открытие Америки—1492), начинается для Испании процесс последовательной италянизации, то есть того втягивания в художественную орбиту Италии, под знаком которого

складываются национальные культуры западных государств эпохи торгового капитализма.

Осязательные результаты постепенного внедрения итальянского Ренессанса сказываются в литературе и искусстве Испании с самого начала XVI в.

Внешним образом это проявляется в создании целого ряда новых (или в обновлении уже испробованных в прошлом) жанров. Если остановить внимание на наиболее значительных из них, то окажется, что раньше других складывается — идеологически и художественно приспособленный к новым культурным условиям — рыцарский роман («Амадис Гальский», Сарагоса, 1508); вслед за ним светский театр на итальянский лад (Х. Энсина, Торрес Наарро: 1500—1517); потом вдохновляемая ренессансными образцами лирика (Х. Боскан, Гарсиласо де ла Вега—1543), а также плутовской («Ласарильо с берегов Тормеса» — 1554), пастушеский («Диана» Х. Монтемайора—1558-59) и «мавританский» роман («Гражданские войны Гранады» Перес де Ита—I ч., 1595).

Если прибавить к этому стоящую под явно гуманистическим влиянием драму-роман «Селестина» (Бургос, 1499), поэзию так называемых «Кансьонеро» (начиная с 1511), соединяющих в себе лирические образцы испанского и итальянского стиля, а равным образом «романсы», публикуемые в печатных сборниках с 1550 г., — то мы получим все основные литературные жанры, в ближайшем общении с которыми развивались художественные вкусы Сервантеса. Само собой разумеется, что перечень этот следовало бы пополнить рядом итальянских, а также античных авторов, известных Сервантесу по переводам.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Хорошего знания латинского языка у него не было; греческого он не знал вовсе.

Из одного этого перечисления видно, что он обладал чрезвычайно разнообразной начитанностью, выведшей его за пределы узко национальных традиций и дававшей обильный материал для изошрения его природных данных.

Необходимо подчеркнуть, что конструктивная фантазия и формальная изобретательность Сервантеса—совершенно исключительные. Многократно засвидетельствованная им склонность к художественной критике, постоянное внимание к эволюции и жизни литературных форм выработали в нем не только острое внимание к своим собственным и чужим недостаткам, но и вполне положительный дар—творчески перерабатывать унаследованный художественный материал.

### РЫЦАРСКИЙ РОМАН

Так как «Дон Кихот» по самой своей установке и замыслу является сатирой на рыцарский роман, то конкретное отношение автора к этому типу повествования представляется исключительно существенным и важным.

Те рыцарские романы, посрамление которых Сервантес ставит своей целью в «Прологе» и в конце I т. романа, были последним, третьим по счету и наиболее серьезным по своим последствиям этапом в развитии этого жанра в Испании.

Первый период эволюции (1250—1400) представлен, главным образом, переводами французских, итальянских и португальских образцов и проникнут идеей феодального служения и платонической любви;<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Подновленные переработки романов этой группы еще живы в обиходе современной Испании. Они представляют эквивалент нашей дореволюционной лубочной



самым значительным произведением этого периода является первый опыт самостоятельного рыцарского романа, «Кабальеро Сифар» (ок. 1300). В двух его персонажах: рыцаре Робоане и оруженосце Рибальдо дано совершенно неожиданное для эпохи сочетание «рыцарского» и «плутовского» элементов, напоминающее трактовку их у Сервантеса. Это — единственная во всей досервантовской испанской литературе аналогия к конкретным фигурам дон Кихота и Санчо.

Второй период (1400—1480) является переходным и характеризует эпоху, когда архаический рыцарский роман сменяется концепциями ренессансного порядка, усиливающими моменты галантной любви и личного авантюризма. Наиболее значительными в этой серии считаются «Хроника короля Родриго» (1443), соч. Педро де Корраль, и «Свободный раб любви» (ок. 1430), соч. Х. Родригес дель Пардон.

Третий период (1480—1605) — прославлен получившими европейскую известность сериями «Амадисов» (за период 1508—1546: 12 частей) и «Пальмеринов» (за период 1511—1547: 6 частей), к которым позже присоединились обширные группы вдохновленных этими моделями романов.

Произведения, подобные «Амадису», задавались целью заново организовать рыцарскую идеологию, приспособив ее к обезвреженным монархией остаткам феодализма. Восхваление анархического авантюризма, свободная половая мораль, изящные формы быта, традиционный лозунг рыцарской чести — вполне отвечали идеалам аристократических кругов, воспитанных в школе итальян-

литературы и соответствуют русским «Бовам Королевичам» и «Ерусланам Лазаревичам». Их техническое название — «веревочные книги» (*libros de cordel*), так как на ярмарках их развешивают на веревках.

цев XV ст. и в условиях абсолютной монархии. Увлекательная композиция и блестящий стиль «Амадиса Галльского», ошеломительная фантастика, красота богатой и утонченной материальной культуры Ренессанса (художественные костюмы, здания, описание диковинных приобретений, далеких стран, морских приключений), все это, расширяя привычные горизонты, дискредитировало патриархальность средневекового уклада, манило прелестью современности и новизны. Такие романы, восхваляемые представителями передовой интеллигенции (ср. Хуан Вальдес, «Диалог о языке», 1534), являлись своего рода общеобразовательной школой, в которой читателя просвещали в вопросах географии, политики, учили правилам гигиены и учтивого обхождения, составлению любовных писем и стихов. Эти увлекательные и доступные феодально-аристократические «энциклопедии» долгое время являлись прогрессивным фактором, приобщавшим читателя к внешним формам ренессансной культуры; однако целое море слабых и неудачных подражаний через 30—40 лет совершенно извратило их первоначальную роль.

Тем не менее отношение Сервантеса к рыцарскому роману, отразившееся в «Дон Кихоте», явно двойственно: с одной стороны он хочет уничтожить их авторитет, с другой, в известной сцене сожжения библиотеки безумного идалго (I, 6),—спасает от гибели и восхваляет не только «Амадиса», но и такие произведения, как «Тирант Белый» и «Пальмерин Английский».

В речи каноника (I, 47) он приводит целый ряд «за» и «против» данного жанра. Сначала отмечаются недостатки: «... на мой взгляд романы эти по своему слогу и содержанию относятся к тому же роду, что и так называемые милетские сказки: нелепые выдумки, которые только развлекают, но не поучают нас

в противоположность апологам<sup>1</sup>, которые одновременно и развлекают и поучают»; осудив их за отсутствие правдоподобия и вздорность содержания, каноник переходит затем к преимуществам их композиционной схемы, выигрешности и емкости мотивов: «... но есть в них кое что и хорошее, а именно сюжеты<sup>2</sup> их позволяют просвещенному уму обнаружить свои силы, ибо они открывают пред нами широкое и просторное поле, где может беспрепятственно развернуться его талант». Он отмечает потом богатые возможности «свободной формы» этого романа: автор может показать себя «...эпиком, лириком, трагиком и комиком, соединяя вместе все элементы, которые заключает в себе приятная и слаженная наука поэзии и реторики».

Эта сочувственная характеристика весьма примечательна; если же мы учтем еще, что наряду с этим теоретическим одобрением, в «Дон Кихот» вводятся ясные черты феодальной идеологии<sup>3</sup> и что посмертный роман Сервантеса «Персилес» есть не что иное, как «идеальный» рыцарский роман<sup>4</sup>, о котором мечтает каноник, то делается ясно, что Сервантес вовсе не борется с существом рыцарской идеологии и, поражая рыцарский роман, фактически осмеивает его чисто-литературные и технические недостатки. По его мнению, в ста-

<sup>1</sup> Т. е. басням, притчам.

<sup>2</sup> Согласно современной терминологии следовало бы сказать: повествовательные мотивы.

<sup>3</sup> Ср. хотя бы такую частности: дон Кихот в своем обращении к Санчо проявляет то патриархально-покровительственное отношение (дает ему свое б л а г о с л о в е н ь е; подпускает «к руке»), то самовластно требует исполнения своих прихотей (напр. бичеванья для снятия чар с Дульсинен).

<sup>4</sup> См. А. Bonilla. Cervantes y su obra, Madrid 1916, стр. 110.

рые мехи нужно влить новое вино, но самые мехи он защищает.

Нельзя не отметить, что это цепкое отстаивание давным давно, казалось бы, отживших свой век взглядов в свете исторических фактов, представляется понятным: поскольку при монархии существуют и держатся пережитки феодального строя, постольку проявляет устойчивость и рыцарская идеология, заполонившая собою, как известно, французскую трагедию XVII и доброй части XVIII в., а у русских ложноклассиков сохранившаяся вплоть до эпохи Пушкина.

Несмотря на ясное сознание исторической обреченности рыцарства и феодализма (что делает честь остроте его социального прогноза), Сервантес очень глубоко связан с своей эпохой. Это чрезвычайно метко выражено в характеристике А. В. Луначарского: «Хоронить то он (Сервантес) хоронил феодализм, но он хоронил его не просто. Он хохотал над этим феодализмом, но он и оплакивал его в его лучших чертах, в лучших рыцарских заветах.»<sup>1</sup>

Итак, рыцарский роман был сознательно усвоен Сервантесом — и в пародийном аспекте («Дон Кихот») и в положительном («Персилес») — и тем самым составил существенный этап в формировании его литературной манеры. Нет ничего удивительного, что этот жанр в лучших своих образцах глубоко отразился в творчестве Сервантеса: исключительные для эпохи литературные достоинства<sup>2</sup> и вполне организованная идеоло-

<sup>1</sup> А. Луначарский. История зап.-евр. лит., т. I, стр. 177. М. 1924.

<sup>2</sup> Не забудем, что во времена гораздо более близкие к нашим, у Гете (в письме к Шиллеру в. I, 1805), Амадис нашел очень сочувственную оценку: «Чтобы не соучастовать, я стал читать всевозможные книги и, между

гия делали его образцом «серьезной» художественной прозы, на смену которому только с течением времени пришел роман пастушеский и плутовской.

В сущности, в эпоху Сервантеса и в период создания «Дон Кихота» испанская художественная проза знала только эти три разновидности романа, при чем обе последние были литературно обусловлены первой. Проследим генетические отношения этих родственных жанров.

### ПАСТУШЕСКИЙ РОМАН

Пасторальные мотивы встречаются уже в первых четырех частях Амадиса (1508) и особенно развиты в 8-ой <sup>1</sup> его книге; но там, в отличие от подлинно пасторального жанра, они не имеют еще самостоятельной идеологической установки. Последняя окончательно стабилизируется под влиянием широкой контрреформационной пропаганды католической церкви <sup>2</sup>, в задачи которой входило дать решительный отпор свободе сексуальных отношений, популяризированной Ренессансом, и поднять моральный уровень женщины придворно-городских слоев. Идя навстречу этой тенденции, светская литература вырабатывает особую платоническую надстройку, в свете которой любовь превращается в моральную, стремящуюся к совершенству, силу, нравственную школу, последней ступенью которой является идеальный брак. Используя схему «затрудненной свадьбы», лежащую в основе рыцарского романа,

прочим, Амадиса. Мне поистине стыдно, что я дожил до своих лет и знал это отличное произведение только по написанным на него пародиям». См. A. Baré, *De l'Amadis*, Paris, 1873, p. 232.

<sup>1</sup> Т. е. в «Амадисе Греческом» (1530).

<sup>2</sup> После 1540 г.

пастушеский роман берет из нее только «сентиментальные» авантюры, анализируя и уясняя самые разнообразные «казусы» любви и превращаясь тем самым в своего рода целомудренную *ars amandi* (наука любви). В виду невозможности найти в окружающей обстановке конкретную социальную среду, способную реализовать эту постулируемую концепцию любви, кадром пасторального романа избирается некоторое «нигде», сознательно принятая фикция — условный мир пастухов и пастушек, совершенно оторванный от действительности. Однако, отрываясь от конкретной реальной среды, пастушеский роман несколько не утрачивает свое социальное лицо. Это откровенно-аристократический и идеалистический жанр: он не только отказывается от изображения жизненных фактов, не относящихся к быту придворно-городских слоев, но из самого этого быта выбирает только одну сторону — сентиментально-эротическую.

Применительно к делам серьезной моральной пропаганды пастушеский роман избирает соответственную словесную оболочку: восходящий к Цицерону риторически-украшенный период, итальянские эквиваленты которого были созданы в пасторальных сочинениях Боккаччо («Амето»—1340) и Саннадзаро («Аркадия» — 1504).

Пастушеский роман по сравнению с романом рыцарским представляет собою еще более последовательный образец «прециозного стиля», сводящегося к академически-кокетливой игре с фигурами, лексикой, синтаксисом и фонетикой языка.

### ПЛУТОВСКОЙ РОМАН

Перейдем к последней из названных выше разновидностей, то есть к «плутовскому» роману (*novela picaresca*), названному так, потому что его неизменным

героем является pícaro (бродяга-плут). Первый его образец — «Eazarillo de Tormes»<sup>1</sup> Burgos, (1554), быстро попавший в «Индекс запрещенных книг» (1559) и переизданный позже в Мадриде (1573), с пропуском двух задевающих религию глав. Он в значительной мере предопределил характер всего жанра. Переняв биографическую схему рыцарского романа и сохранив его авантюрное строение, он рисует жизненный путь «слуги многих господ», обычно приходящего в конце своих приключений к тихой семейной пристани. Главный акцент повествования совершенно мпнует сентиментальную сторону и сосредоточен на апологии хитрости и обмана, как главных методов жизни, и на обеспечении герою, в конечном результате, праздного и беспечального существования. Таким образом плутовской роман является для эпохи «рыцарским романом наизнанку»; в сущности он прославляет тот же самый анархический авантюризм, что и рыцарский, и подобно последнему представляет собою нечто в роде «энциклопедии», но не феодально-условной, а житейской практической мудрости.

В то время как первые два жанра по установке и заданию являются «серьезными» и «высокими», — плутовской роман представляет собою жанр «низкий», то есть комический, обильно пользующийся средствами гротеска и буфонады, натуралистически-беззастенчивый по стилю. Но оттого, что автор, беспощадно обрисовывая слугу-героя, с такой же беспощадностью изображает и эксплуататорскую, корыстную психологию его хозяев — представителей различных общественных состояний (в «Лазарильо» это — нищий-слепец, клирик, оруженосец,

<sup>1</sup> Заглавие заключает в себе каламбур: слово lazarrillo является уменьшительным от Lázaro (Лазарь), а кроме того значит «мальчик-поводырь».

орденский монах, продавец папских булл, капеллан и альгвазил) — он тем самым внес в этот жанр момент социальной сатиры и превратил его в своеобразный сатирический «смотр» вопиющих социальных язв. Особенно резки выпады против церковных кругов, позволяющие установить в «Ласарильо» отзвуки антиклерикальной идеологии Эразма Роттердамского, столь популярного в Испании в первой половине XVI века. — Скромный объем и эскизный характер изложения этого небольшого романа, цензурные преследования и сокращения объясняют нам, почему широкое распространение и утверждение плутовского жанра в Испании начинается гораздо позже 1554 г., а именно со времени опубликования «Жизни Гусмана де Альфараче» (I ч., Мадрид, 1599; II ч., 1604), написанной Матео Алеманом. Первоначальный набросок превратился здесь в монументальную картину современного быта; с тех пор целый ряд крупных писателей (один из первых Сервантес) старается соперничать с Матео Алеманом и пробует еще более углубить и обострить поставленные им сатирические задания.

### III

#### ДОН КИХОТ И ИСПАНСКИЙ РОМАН XVI В.

После ознакомления с основными формами испанского романа XVI в., бывшими в распоряжении Сервантеса в эпоху создания «Дон Кихота», естественно перейти к вопросу о влияниях и спросить, как отразилось воздействие этих образцов на структуре его гениального произведения.

И рыцарский и плутовской элементы несомненно вошли в состав «Дон Кихота», но в преображенном, переработанном по индивидуальному плану виде. Сила этого претворения так же велика, как, например, у Расина



## «ДОН КИХОТ И ИСПАНСКИЙ РОМАН» ЛХ

или Шекспира, когда они, вводя в свои трагедии и комедии пасторальный материал, изменяют его качество до неузнаваемости, так что только очень пристальное изучение может вскрыть истинную, то есть пасторальную природу «Андромахи» или «Как вам будет угодно».

Нетрудно заметить, что целый ряд структурных и идеологических моментов позволяет нам видеть в «Дон Кихоте» своеобразную контаминацию рыцарского и плутовского жанров. Дон Кихот и его линия возглавляют первый из них, Санчо Панса и круг его интересов — второй. Формально контаминация эта обусловлена тем, что оба жанра совпадали по своей композиционной схеме: биографическая канва, раскрывающаяся в сложной серии авантур, с перебивающими ее вставками и новеллами. Не менее очевидно также, что данное в «Дон Кихоте» сочетание типически-традиционных фигур каждого жанра (рыцарь—пикаро<sup>1</sup>) оправдано не только внешне (рыцарь — оруженосец), но и внутренне; содружество дон Кихота и Санчо приводит в конце романа к их взаимному перерождению и перевоспитанию: перед смертью дон Кихот становится вполне нормальным человеком, а Санчо из обжоры и плута превращается в верного, чуткого слугу, сердечно любящего своего господина.

<sup>1</sup> Историко-литературный анализ обнаруживает таким образом, что антитетичность главных фигур содержится уже в самых исторически сложившихся и антитетичных по своей природе жанрах, слитых в единое целое Сервантесом. Конечно, он был волен оформить героев по своему (дон Кихот и у него — пародийный рыцарь; Санчо — получил облик крестьянина), но вместе с тем был обязан последовать традиции объединенных им жанров, согласно которой одному из героев надлежало быть оторванным и противопоставленным реальной действительности, другому — органически с нею связанным.

Тонкость и углубленность такой трактовки показывает необычайное богатство литературной выдумки у Сервантеса, сумевшего согреть схематичные традиционные формы и наполнить их новым убедительным смыслом.

Постараемся же учесть характер влияния рыцарского романа.

Большинство исследователей сходится в том, что пародируемым образцом для «Дон Кихота» был «Амадис Гальский».

В согласии со схемой рыцарского романа «Амадис» кончается свадьбой; такого конца в «Дон Кихоте» нет. Но можно все таки сказать, что схема эта присутствует в романе хотя и в более ограниченном смысле: брак не происходит, но зато дон Кихот подобно Амадису все время служит своей даме и старается «удостоиться» ее совершеннем ряда подвигов, иначе говоря, он идет по пути рыцарского самоутверждения, которое одно только и может дать ему необходимую социальную и моральную квалификацию.

Не входя в излишние детали, я отмечу, что такие сцены «Дон Кихота», как посвящение в рыцари, пребывание в мнимом заколдованном замке (корчме), мнимое искушение целомудрия героя (Мариторнес), наконец, любовные безумства в Сьерре Морене и т. д. имеют точные аналогии в «Амадисе» и соответствуют такому же посвящению в рыцари, жизни в заколдованном замке Архилая, любовным шашням Бриоланхи и испуганному отчаянью на Пенья-Побре в результате охлаждения к герою его возлюбленной Орпаны.

Существенное отличие представляет характер любовных отношений к дамам: в то время, как Амадис добивается обладания Орпаной и даже имеет от нее внебрачного ребенка, чувства дон Кихота носят чисто го-

ловной, платонический характер и прокомментированы автором в духе бесплотных построений современного ему пастушеского романа.

Но помимо отмеченных выше совпадений, подсказанных положениями избранного для пародии образца, в «Дон Кихоте» можно выделить и другие, менее заметные и не самоочевидные следы воздействия общей атмосферы рыцарского романа.

Как было уже указано, этот последний является своего рода «энциклопедией» феодально-аристократического пошиба. Дидактичность и учительность, определявшие сущность этого рода повествований, сохранились и в «Дон Кихоте»: в значительной своей части он тоже является то серьезной (речи просветленного дон Кихота), то шуточной «энциклопедией», дающей сразу нормы теоретического и житейского поведения, и объединяющей в себе таким образом воспитательные элементы рыцарского и плутовского романа. Серьезная и так сказать «рыцарская» ее часть (ср. речь дон Кихота о золотом веке, о военной службе и литературе, о свободе, литературные отзывы и комментарии разных персонажей и т. п.) выполнена в духе гуманистической образованности эпохи Сервантеса и рассчитана на восприимчивого к современным культурным веяниям читателя. Введя в роман этот общеобразовательный материал, Сервантес предложил своей публике нечто вроде мпниаторного варианта «Опытов» Монтэня, удалив, однако, из него автобиографические и скептические главы.

Плутовской роман и его изобразительная техника отразились на «Дон Кихоте» еще более значительным образом. Благодаря его влиянию он стал подлинным социальным романом, социальным в более глубоком смысле, чем самый крупный его образец в эпоху Сервантеса — книга Матео Алемана. Главным следствием

явилось то, что ареной подвигов и приключений дон Кихота явилась не псевдо-международная обстановка рыцарского романа, а Испания XVI в., бытовая, злободневная Испания.

Легко заметить, что Сервантес не дает в своем романе обобщенной, синтетической картины основных социальных проблем своей эпохи. Выбор его изображений несколько своеобразен и обусловлен природой основного замысла, которым он связал себя с самого начала.

Воспроизводимая в «Дон Кихоте» среда и социальные типы несомненно согласованы с характером его пародийного задания: поскольку подвиги героев рыцарского романа связаны с скитаниями по лесам и долам и остановками во дворцах и замках, постольку и Испания, поданная читателю в «Дон Кихоте», главным образом сельская и провинциальная, Испания постоянных домов и проезжих дорог, иначе говоря, та самая, которую вдоль и поперек извездил Сервантес в бытность свою агентом по сбору податей. За вычетом самой поверхностной зарисовки Барселоны (II, 61), в которой однако Сервантес был и которую знал, он совсем не изображает жизни больших городов, с их шумной торговой и промышленной жизнью, их курьезных типов, их нравов.<sup>1</sup>

Зато он вносит в роман тщательно выписанную картину феодально-помещичьей среды (жизнь дон Ки-

<sup>1</sup> В тех случаях, когда Сервантес предлагает читателю традиционный тип плутовского романа (хотя и сильно переработанный в некоторых отношениях), как, например, в новеллах «Ринконете и Кортадильо» и «Беседа собак» — он не только вводит, но и подвергает уточненной шлифовке именно урбанистическую обстановку, облюбованную жанром.

хота и Санчо во дворце герцога, ч. II 30—57), язвительную сатиру на порядки которой представляет история губернаторства Санчо на острове Баратарипп.

Хотя такого рода отбор материала произвольно суживает действительный облик социальной жизни Испании XVI в., за «Дон Кихотом» остается тем не менее крупная заслуга: он все так отчетливо фиксирует определенный этап в развитии староиспанской общестственности.

Подсчетом установлено, что в нем проходит предчитателем 669 персонажей, характеризующих социальный уклад эпохи в разных разрезах. Представители духовенства — мирные в деревне и наглые при дворах вельмож (II, 31) или на проезжих дорогах, где они широко злоупотребляют предоставленными им законом привилегиями, пройдохи-пустынножители (II, 24); беззащитно прижимающие слабого и бедного чиновники Филиппа II, любого из которых мог бы с большим успехом для дела заменить сметливый и добрый Санчо Панса; типы праздных и бездельничающих аристократов, развращенные хищническими войнами хвастуны-солдаты (I, 51); глупые и самоуверенные доктора (II, 74); пройдохи-трактирщики и погонщики мулов, мелкие проститутки, бродячие актеры, дуэнья, профессионалы-разбойники, каторжники — вот материал, о который Сервантес оттачивает свои сатирические стрелы.

Несмотря на пестроту, картина общества XVI в. у Сервантеса достаточно обстоятельна и типична, а проходящие по временам яркие памфлетные выпады (королевское правосудие I, 23; восхваление турецкой администрации, жизнь разбойника Роке II, 50 — 51) говорят о передовой, почти радикальной для эпохи политической настроенности.

Нет недостатка, конечно, в отдельных проявлениях официально-классовой идеологии: отрицательное отно-

шение к трудовому мусульманскому населению старой Испании, мечты о священной войне против турок, преданность вере и королю. Социально-реформаторские тенденции, поскольку они представлены у Сервантеса, выражены вообще гораздо слабее, чем у других испанских писателей XVII в., и как идеологический боец он уступает и Б. Грасиану и Ф. Кеведо.

Социальная значимость его романа заключается не в силе подлинно-революционного пафоса, а в умении чарами блестящего стиля приковать общественное внимание к тeneвым сторонам действительности.

Но есть, однако, такая сторона в социальной пропаганде Сервантеса, которая заставляет забыть о недостаточности многих и многих других: это поразительные для эпохи понимание и оценка народности, представителем которой он делает крестьянина Санчо Пансу. Не забудем, что тот выступает в романе в роли «пикаро». И в то время, как лучшие специалисты плутовского жанра (Матео Алеман, В. Эспинель, Ф. Кеведо) трактуют своего деклассированного героя пренебрежительно и свысока, хотя и отдают должное его уму и изворотливости, — Сервантес обнаруживает чувство безграничной симпатии «к этой чистосердечной груди жира и мяса», упорно подчеркивая все качества ума и сердца, которыми он выгодно отличается от своего сухопарого и образованного хозяина. Для Сервантеса Санчо не плебс и не чернь, это очень неглупый, прямой человек, наделенный от природы большой долей здравого смысла.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Вся сила и свежесть подобной трактовки обнаруживается при сравнении Санчо Пансы с той нелепой и безвкусной образиной, в которую превращается эта фигура у автора поддельного «Дон Кихота» — А. Ф. Авельянеды.

На очереди еще уяснение того, какое место в общей планировке «Дон Кихота» следует отвести пасторальному жанру. Сервантес дает в своем романе как чистые образцы пасторальной манеры (Марсела и Хризостом I, 12 — 14; эпизод в свадьбе Камачо, II, 20 — 21 и др.), так и некоторые ее разновидности, где преобладает тот же общий уклад, но самое действие переносится в придворно-городские слои. На художественную однородность этого рода вставок указывают их сентиментальный характер, аналитическая манера трактовки разбираемых «казусов» и отличающий их холодно-реторический («предиозный») стиль, резко расходящийся с обычным реалистически-сочным языком романа. Кроме того, главная масса их собрана в один общий клубок, составляющий приблизительно одну четверть I т. романа, при чем одна из повестей (Безрассудно-любыпытный) дана вне всякой связи с основной фабулой и читается одним из персонажей (священником) по рукописи, как отдельный номер увеселительной, «салонной» программы.<sup>1</sup>

Проявляясь уже в гл. 12 — 14 первого тома, они, начиная с I, 23 и по I, 45 (всего в I томе 52 главы), образуют целую полосу, сплетающуюся с основной линией рассказа и перебиваемую то отдельными сценками, то целыми главами, возвращающими читателя снова к дон Кихоту и Санчо.

Этот метод взаимного перекрещиванья частей многочленного повествования был впервые удачно применен Сервантесом в его пастушеском романе «Галатейя», техника которого отразилась таким образом на I томе «Дон Кихота»; во II его томе мы замечаем отказ от

<sup>1</sup> В II, 3 «Дон Кихота» Сервантес говорит об этой частности и осуждает ее, как недостаток.

такой системы изложения: автор разнообразит повествование иначе, он прибегает к введению укрупненных эпизодов (Камачо, пещера Монтепинос, двор герцога), иногда обнаруживающих все таки характерную тенденцию к перекрещиванию (сцены губернаторства Саучо перемежаются с описаниями мытарств дон Кихота во дворце).

Сентиментальный план, раскрывающийся в составе натуралистического романа, представляет собою композиционно и стилистически организованное целое.

Монолог Марселы (I, 14) является ярким примером схоластической-абстрактной фразеологии любви, господствующей в пасторальных композициях; новеллы—эпизоды (Карденио—Люсинда, Доротея—Фернандо) протекают на фоне обобщенного, но уже не столь отвлеченного, быта; вслед за адюльтерной новеллой с кровавым концом (в духе «Histoire tragique» популярного тогда в Испании итальянского новеллиста Банделло) излагается «мавританская» (авантюрно-морская) повесть<sup>1</sup>, сливающаяся с сентиментально-путовской композицией: влюбленный в Клару Луис под видом погонщика мулов следует за уезжающей девушкой<sup>2</sup>. Учитывая эту постоянную заботу автора о разнообразии новеллистического материала, нетрудно заметить, как замедленный темп и строгий предписный стиль начальных повелл постепенно сливается с характерной реалистической манерой «Дон Кихота». Тяготение к всесторонней разработке схемы «затрудненной свадьбы» (она

<sup>1</sup> В ней находятся некоторые автобиографические черты, относящиеся к периоду алжирского плена.

<sup>2</sup> Подбор тем и проводимое автором чередование стилей повествования позволяют видеть в этой группе рассказов нечто вроде первоначального наброска будущих «Назидательных новелл» (1613).



## «ДОН КИХОТ И ИСПАНСКИЙ РОМАН» LXVP

отсутствует только в «Безрассудно-любопытном») своей устойчивостью заставляет вспомнить о систематическом пользовании ею в «Новеллах» (1613) и в «Персидесе» (1617).

Доискиваясь причин, по которым эти художественно-инородные элементы попали в состав романа, можно было бы указать, что они стоят в некоторой близости к той стихии влюбленности, которая владеет самим дон Кихотом, и к его пасторальным намерениям (II, 57). Но основания эти так слабо выражены в романе, что объяснения следует искать не столько внутри, сколько вне романа: в господствующих литературных симпатиях эпохи и в обусловленных ими вкусах самого Сервантеса.

Соединение в одном произведении всех основных жанров и стилей эпохи говорит о несомненном желании блеснуть (после долгого перерыва в работе) широким диапазоном своего таланта, а, кроме того, и о стремлении (на что уже указывал в конце XVIII ст. Л. Тик) добиться разнообразия и уберечь от монотонности изложение основной линии романа.

Охарактеризованная часть романа — безусловно наиболее устаревшая для современного читателя, и впечатление это невольно усиливается от того, что никакой, даже самый совершенный, перевод не может передать словесной виртуозности прециозного стиля, строящего свои эффекты на игре предельными возможностями лексики и синтаксиса и поэтому не воспроизводимого средствами другого, в особенности же не романского, языка.

Но полное игнорирование этой стороны дарования Сервантеса означало бы, по существу, не одно только невнимание к пяти-шести выделенным выше новеллам, а упущение из вида генетически основной стихии его творчества, начавшегося с «прециозности»,

пронесшего ее заветы (в самые зрелые и сознательные годы!) через реалистическую манеру «Дон Кихота» и «Новелл» и закончившегося опять таки в «предиозных» формах «Персплеса».

Присутствие в составе романа этих новелл приглашает читателя вспомнить о том, что автор «Дон Кихота» был не только сатириком и юмористом, но и писателем, стремившимся с редкой настойчивостью дать серьезные, положительные по замыслу произведения. Стремление быть не только обличителем, но и моралистом своего времени, свойственно Сервантесу в такой же мере, как и нашему Гоголю. Но ни тому, ни другому не удалось создать грезившееся им и восполнявшее недостаточную, по их мнению, серьезность их творчества произведение. Характерно, однако, что Сервантес в противоположность своему русскому собрату мечтал о литературно-художественных замыслах, тогда как Гоголю хотелось быть проповедником и пророком.

Постоянное общение с аналитическими и конструктивными жанрами, требующими строгого внимания к каждой мелочи словесного выражения и постоянной заботы о гармоническом развитии многопланного повествования, явилось для автора «Дон Кихота» благодетельной подготовкой и школой. На этих «трудных» по заданиям жанрах он воспитал технику неподражаемого—по естественности и непринужденности стиля—рассказа, приобрел навыки трактовать крупные и емкие формы так, чтобы придавать максимальную значительность отдельной детали и исчерпывать каждую взятую ситуацию до конца.

«Дон Кихот» не мог быть написан без усвоения сущности «предиозных» жанров, в свое время заполонивших словесное искусство Европы, а теперь в виде странных реликтовых остатков присутствующих в композиции

## «ДОН КИХОТ И ИСПАНСКИЙ РОМАН» LXIX

этого не знающего старости романа. Ощущение литературной неуязвимости образа дон Кихота хорошо перешел на свой метафорический, яркий язык один из наиболее сильных поэтов испанской современности Рубен Дарио (1857—1916)

Rey de los hidalgos, Señor de los tristes...  
Coronado de aureo yelmo de ilusión,  
Que nadie ha podido vencer todavía  
Por la adarga al brazo—toda fantasía  
Y la lanza en ristre—toda corazón. <sup>1</sup>

\* \* \*

Однако, учета влияния трех основных повествовательных жанров недостаточно. Не довольствуясь уже произведенным усложнением ткани романа, Сервантес обогащает свою композицию введением отдельных элементов, заимствованных из драматической литературы. Известно, что по возвращении из алжирского плена Сервантес стал работать для театра. Драматургом он оказался неважным, и ему ни разу не удалось создать театрально-живой композиции. Но теоретические познания в драматургии у него были, и несмотря на неумение владеть диалектикой сценического действия, он обладал всеми ресурсами сценического языка (мастерство диалога, выразительность словесного заряда реплик); доказательством служат его интермедии, выдерживающие сравнение с лучшими образцами этого жанра.

<sup>1</sup> «О, король идалго, повелитель печальных, увенчанный золотым шлемом мечты; никто еще не смог тебя победить; так как в руке у тебя щит — воплощение фантазии, а на латной скобе—копье, воплощающее самое сердце!» — Цитирую по книге Fr. A. de Icaza. El «Quijote» durante tres siglos, Madrid, 1918, стр. 142.

Уже в планировке «Галатеи» (1585) ясно чувствуется стремление применить полуоперный аппарат итальянской пасторали к сгущению и организации действия романа: здесь сильно сконцентрировано время и место, групповые сцены построены по принципу одновременности, введены типично-сценические костюмы и т. д.<sup>1</sup> Любопытно, что враг и плагиатор Сервантеса А. Ф. Авельянеда еще при жизни автора отметил<sup>2</sup>, что его «Назидательные новеллы» представляют собой ни что иное, как «комедии в прозе». Иначе говоря, он уловил в прозе Сервантеса наличие каких то драматических ингредиентов.

Такая же театральная струя может быть подмечена и в «Дон Кихоте», причем особенно ясно проглядывает она в театральном замысле обоих главных фигур и в своеобразном оформлении, свойственном их речи.

Сценическое происхождение дон Кихота и Санчо Пансы более чем вероятно. Среди персонажей интермедий театрального учителя Сервантеса, Лопе де Руэды, встречаем устойчивые типы двух простаков (умный простак—Сальседо и часто одурачивающий его мнимый простофиля—Аламеда<sup>3</sup>, которые чрезвычайно хорошо подходят к тем отношениям, в которые Сервантес поставил своих протагонистов. Так как Сервантес является прямым продолжателем манеры Лопе де Руэды и тяготеет к воспроизведению его техники и приемов, та-

<sup>1</sup> См. F. Rühfel. Florians Bearbeitungen der Galatea Cervantes, München, 1928; на стр. 42—45 он дает главные из приводимых мной наблюдений и подчеркивает, что «der Stoff (Галатея) ist oft szenisch, fast bühnengerecht angeordnet».

<sup>2</sup> В предисловии к своему «Дон Кихоту» (1614).

<sup>3</sup> См. интермедию «La carátula» (Театральная маска).

кого рода заимствование представляется вполне допустимым. К тому же влияние манеры этого драматурга на оформление речей дон Кихота и Санчо является неоспоримым фактом. Частые и красочные беседы этих последних—не что иное, как приуроченные к эпической форме романа диалогические интермедии Лопе де Руэды (razos), блестящие живостью и насыщенностью сценически-напряженного, выразительного языка. Наличие выигрышного (и хорошо знакомого по приемам) театрального материала было легко замечено современниками Сервантеса, выделившими из романа ряд ситуаций для собственных интермедий, маскарадных шествий и т. п.; но и позднейшие (XVIII—XIX в.) и даже современные инсценировки и приспособления (балет, опера, драма) с достаточной ясностью указывают не на одну только занимательность сюжета, но и на сценическую благодарность материала, на проходящую по всему роману выпуклость чисто театрального оформления эпизодов.

Относительно Санчо следует заметить следующее. Его выступление в роли «пикаро» явственно противоречит неизменной практике плутовского романа, где героем всегда является житель города (а не крестьянин), вернее, деклассированный урбанистический тип. Такого рода подстановка, необъяснимая из традиции плутовского жанра, делается понятной на фоне данных драматической литературы. Начиная с рождественских «эклог», через пасторальные композиции Хуана дель Энсины и Лопе де Руэды, через прологи комедий Торрес Наарро—проходит тип простофили-крестьянина (пастух), балагура и «себе на уме». Именно он и является прототипом театрального ампуа «bobo», «simple» (позже gracioso), то есть шута, один из ранних образцов которого встречается в пьесе Тимонеды «Амфитрион»

(ок. 1559). Это—слуга Сосия Тардио, сходство которого с Санчо Пансой уже отмечалось некоторыми американскими исследователями старо-испанского театра. <sup>1</sup>

## IV

## ТОЛКОВАНИЯ «ДОН КИХОТА»

В заключение остановимся на важнейших моментах в истории художественного восприятия «Дон Кихота», насчитывающего почти 325 лет литературного существования. Вопрос этот интересен не одной только почетельной картиной резких расхождений в оценках, создаваемых отдельными эпохами и враждующими поколениями.

Дело в том, что Сервантес, подобно Шекспиру, из писателя национального сделался писателем мировым. Этот переход из местного в международный масштаб является, в первую очередь, результатом разносторонней и углубленной работы вождей и теоретиков немецкого романтизма, основателей науки всеобщей истории литературы, братьев Фридриха и Вильгельма Шлегелей.

Вслед за «открытием» Шекспира, провозглашенного в Германии прообразом подлинно-романтического поэта и органически вошедшего в состав обновленной немецкой литературы, наступил период, когда такое же истолкование было приложено и к Сервантесу, который в период 1797—1803 г. является одним из самых крупных властителей дум целого литературно-общественного течения. Для того, чтобы уяснить себе истинный смысл

<sup>1</sup> См. J. P. Wickersham Crawford, *Spanish drama before Lope de Vega*, Philadelphia, 1922, стр. 121, и статью W. S. Hendrix'a, *Sancho Panza and the comic types of the XVI century* (Homenaje à Menendez Phidal, t. II, p. 483—494), Madrid, 1925.

## ТОЛКОВАНИЯ «ДОН КИХОТА» LXXIII

исторической заслуги братьев Шлегелей, необходимо установить, как воспринимался роман в предшествовавшие им эпохи.

Что касается первых по времени оценок, выпавших на долю «Дон Кихота» в январе 1605 г., то по внешним формам своим они не оставляли желать ничего лучшего: роман имел огромный издательский успех, в один год вышло от 6 до 7 переизданий и перепечаток. Восторженный прием у широкой читательской массы еще не дает оснований думать, что современники, сочувственно откликаясь на книгу, усматривали в ней те же качества, которыми наделяет «Дон Кихота» его нынешний читатель.

Испанское культурное общество XVI — XVII ст., привыкшее к романам «с ключом», соблазненным публику анонимным изображением видных и широко популярных современников, особенно горячо откликнулось на сатирические и критические пассажи, дававшие возможность связать их с конкретными лицами и, в первую очередь, с личностью драматурга Лопе де Веги, бывшего тогда кумиром дня.<sup>1</sup>

По заслугам была оценена, конечно, и критика рыцарского романа, исчезнувшего из обихода образованных кругов общества со времени опубликования «Дон Кихота»

В хвалебных отзывах и восторгах не было недостатка<sup>2</sup>, но и они все же показывают, что в Сервантесе видели главным образом превосходного рассказчика и неподражаемого юмориста, нечто вроде Марка

<sup>1</sup> См. Пролог «Дон Кихота», стихотворения к «Прологу» и др.

<sup>2</sup> Характерен анекдот о том, что сатирик Ф. Каведо сказал, окончив чтение «Дон Кихота»: «после такого произведения мне остается только сжечь все свои книги».

Твѣна XVI столетия. Не серьезность замысла, не глубина социальной картины доминировала в сознании читателей, а блестящая комическая техника: роман был отнесен к разряду книг для легкого чтения. Отрицательные отзывы выражают существо дела особенно ярко. «Плоско и нелепо шутовство дон Кихота Ламанчского—заявляет писатель Х. Вальядарес,—от которого еще более вздорными становятся люди, теряющие время на его чтение». Знаменитый моралист и мыслитель Б. Грасиан считает, что искоренять любовь к рыцарским романам пародией равносильно попытке «одну глупость искоренять с помощью другой еще большей глупости».

Такие отзывы указывают прежде всего на пренебрежительное отношение к юмористическому жанру вообще, но Грасиан несомненно осуждал и самый роман, так как он определенно хвалит и превозносит «Гусмана де Альфараче» Матео Алемана. О такой же неспособности откликнуться на пафос произведения свидетельствуют суждения некоторых иностранцев, вроде известного сборника французского классицизма Ж. Шапелена (ум. 1674), защищавшего идеологию средневековых рыцарских романов от сатирических выпадов Сервантеса.

Взгляд на «Дон Кихота», как на блестящий комический фейерверк и на занятный репертуар сатирических выходок можно считать типическим для Испании и Европы на протяжении XVII и почти всего XVIII веков.<sup>1</sup>

Существенный переворот в этом положении вещей наступает после того, как Фридрих Шлегель (в 1797 г.),

<sup>1</sup> Исключение можно сделать только для Англии, где встречаем гораздо более глубокую оценку и понимание романа; об этом свидетельствует роскошное четырехтомное издание (на исп. яз.) лорда Джона Картерет (Лондон, 1738) и образцовое комментированное издание Джона Боуля (Лондон, 1781).



## ТОЛКОВАНИЯ «ДОН КИХОТА» LXXV

а под его влиянием его брат Вильгельм ознакомились в подлиннике со всем творчеством Сервантеса и увлекли к таким же занятиям Л. Тика, будущего талантливого переводчика «Дон Кихота». Благоприятно сложившаяся общественно-политическая и идейная обстановка<sup>1</sup> не мало содействовала углублению интереса к роману Сервантеса, а благодаря проникновенному толкованию братьев Шлегелей, благодаря усилиям и защите их ближайших соратников—он стал постепенно входить в пантеон мировой литературы.

Отвергнув оценку регламентирующей критики XVIII ст., братья Шлегели истолковали «Дон Кихота», как целостный, автономный организм, подчиненный расчету сознательного художника, внутренне обусловленного породившей его эпохой. Они усмотрели в нем образец первого истинно-романтического романа, приравнивая его сущность к современному им «Вильгельму Меистеру» Гете, так как в обоих произведениях поэтическое видение (идеал) жизни преобразует для героя объективную действительность; наряду с этим, ирония «Дон Кихота» позволяла исторически обосновать высший творческий принцип художественной идеологии романтиков, так называемую «романтическую иронию».

В. Шлегелю принадлежал почин символического толкования главных героев (дон Кихот — поэзия, Санчо — проза жизни), которое позже получило философское углубление в сочинениях Гегеля и Шеллинга.

<sup>1</sup> То была эпоха порабощения Испании Наполеоном, которая вскоре (1808) сменилась героической освободительной борьбой испанского народа с войсками французского императора. Одновременно это была пора литературной и политической борьбы против векового влияния французов в Германии.

Благодаря инициативе бр. Шлегелей и появлению вдохновенного ими перевода «Дон Кихота», сделанного таким крупным писателем, как Людвиг Тик (1773—1853)— в широкий европейский обиход вошла разносторонне-обоснованная и, так сказать, органическая концепция «Дон Кихота», во многом определившая его новейшее и даже современное нам понимание. К числу проводников Шлегелевского комментария «Дон Кихота» нужно отнести, например, не только Г. Гейне, но и Тургенева.

Известно, как язвительно выпустил Гейне в «Романтической школе» (1836) старого и опоздавшего В. Шлегеля, который оказал глубокое влияние на знаменитого поэта, слушавшего в юности его лекции. В своих лирических, автобиографически знаменательных оценках романа (Путевые картины. Город Лукка—1831; Романтическая школа (франц. перевод); Введение к «Дон Кихоту»—1837) Гейне сохранил основную схему, предложенную Шлегелями, развил ее в том же символическом плане и усмотрев в дон Кихоте осмеяние воплощаемого им восторженного энтузиазма. Зная работы Шлегелей и Гегеля и опираясь на точный смысл выводов Гейне, строит свою оценку и Тургенев («Гамлет и Дон Кихот», 1860), привлекающий к параллельному истолкованию образ Гамлета, неоднократно сближавшийся с дон Кихотом немецкими романтиками (в том числе и Гейне).<sup>1</sup>

То, что позднейшие критики опираются в своем подходе к гениальному роману на метод, установленный братьями Шлегелями, несколько не уменьшает оригина-

<sup>1</sup> Эта органическая связь Тургеневского истолкования с Германией объясняет, почему в одном из последних немецких переизданий «Дон Кихота» (Berlin, Insel-Verlag) дана в виде предисловия эта статья.

нальности их построений и выводов<sup>1</sup>. Этот факт показывает, однако, что со времен братьев Шлегелей интерпретация «Дон Кихота» переживает в Европе все ту же историческую фазу и что современная критическая мысль не изжила ее и не упразднила.

Живучесть концепции Шлегелей такова, что не взвывая на факт постоянного прироста точных данных, обогащающих знание эпохи и творчества Сервантеса, один видный французский исследователь, посвятивший монументальный труд вопросу о судьбе Сервантеса в Германии, стремится приписать их толкованию постоянное, почти объективное значение. Указав на всю важность изучения фактического материала, освещающего создание и характер замысла «Дон Кихота», он пишет: «...и тем не менее мы не можем отделаться от той символической концепции, к которой пришли толкователи немецкой романтической школы. Мы не в состоянии отказаться от поисков глубокого, сокровенного смысла этого произведения. В Германии, как и во Франции эта концепция вдохновляет и захватывает даже враждебно к ней настроенные умы и господствует во всей критике о Сервантесе<sup>2</sup>. Не исключена возможность, что это умозрительное толкование удастся привести в согласие с объективной исторической истиной».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Из новейших художественных толкований следует выделить тонкую характеристику, принадлежащую английскому поэту Фрэнсису Томпсону (1859 — 1907) и напечатанную в «The Works of Francis Thompson», London, Burns & Cates, 1913, vol. III, pp. 93—96.

<sup>2</sup> Нужно отметить однако совершенно самостоятельную позицию знаменитого французского критика Сент-Бева, отказавшегося видеть какой бы то ни было символизм в образе дон Кихота (См. Sainte-Beuve, Nouveaux lundis, t. IX, 1864).

<sup>3</sup> J. J. Bertrand. Cervantes et le romantisme allemand Paris, 1914, p. 632.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Специальная литература о Сервантесе с достаточной полнотой приведена у J. Fitzmaurice-Kelly. *Spanish Bibliography*, New York, 1925, стр. 132—148; и у L. Pfandl. *Geschichte der spanische Nationalliteratur in ihrer Blütezeit*, Freiburg i/B, 1929, стр. 568—570. Углубленный историко-литературный комментарий принадлежит Диэго Клеменсину (*El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha comentado por D. Diego Clemencín*, 6 tt., Madrid, 1833 — 39; переиздан в 1894 и сл.); автором лучшего из существующих критических изданий (с комментарием) является Франсиско Родригес Марин (*El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha. Nueva edición crítica dispuesta por Fr. Rodríguez Marín*, 7 tt. Madrid, 1927-28. Последнюю по времени сводку всего документального материала о жизни Сервантеса дает J. Fitzmaurice-Kelly. *Miguel de Cervantes Saavedra. Resena documentada de su vida*. London, 1917. Из историко-литературных работ необходимо выделить А. Морел-Фатио. *Le Don Quichotte envisagé comme peinture et critique de la société espagnole du XVI et du XVII siècle*. Paris, 1895 (*Etudes sur l'Espagne*, 2 l, pp. 297—382); М. Менéndез и Пелаяо. *Cultura literaria de M. de Cervantes y elaboración del Quijote*, Madrid, 1905 (*Estudios de crítica literaria*, IV, p. 3—64). Р. Савь-Лорез. *Cervantes*, Napoli, R. Ricciardi, 1913 — лучшая общая оценка жизни и творчества; С. де Лоллис. *Cervantes reazonario*, Roma, Fr. Treves, 1924 — дает характеристику общественной идеологии писателя. Интересные материалы, устанавливающие связи Сервантеса с идейною жизнью Ренессанса, дает книга: А. Мегисо-Кастро. *El pensamiento de Cervantes*. Madrid, Hernando, 1925. — Язык Сервантеса (гл. обр. синтаксис) хорошо

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ LXIX

изучен у L. Weigerta, Untersuchungen zur spanischen Syntax auf Grund der Werke des Cervantes, Berlin, 1907. Словесное его искусство тщательно проанализировано в работе Н. Hatzfeld (см. выше, стр. XC).

Из русских работ (кроме названных во вступительных статьях) следует отметить: Н. И. Стороженко. Философия дон Кихота. «Вестник Европы», 1885 (перепечат. в 1897 и 1902 г.г.); Л. Шепелевич. Жизнь Сервантеса и его произведения, т. I, Харьков, 1901; «Дон Кихот» Сервантеса (продолжение предыдущего труда). Петербург, 1903 — книга эта очень устарела; самостоятельную ценность представляет рецензия на нее Д. К. Петрова (Ж. М. Н. П. 1903), устанавливающая научно-обоснованную схему изучения творчества Сервантеса. Образцы марксистского освещения истории и литературы Испании XVI—XVII в. можно найти в изд. «Испанская литература». Москва, ГИЗ, 1927 (Рабочая библиотека по литературе под ред. В. М. Фриче, вып. V) и в общих курсах по Зап.-евр. лит. П. С. Когана, А. В. Луначарского и В. М. Фриче.

Из переводной научной литературы очень полезна книга Дж. Келли (т. е. Дж. Фицморис-Келли) «История испанской литературы», перев. С. Кулаковского, Москва, ГИЗ, 1923, где находится краткий фактический очерк жизни и творчества Сервантеса.

Б. К.



**А. А. СМЕРНОВ**

**О ПЕРЕВОДАХ «ДОН КИХОТА»**





Новый перевод «Дон Кихота» на русский язык не требовал бы мотивировки даже при наличии хороших старых переводов. Наше восприятие великих произведений искусства меняется с течением времени не только в идеологическом, но и в стилистическом отношении. Каждый перевод крупного литературного памятника невольно, даже при стремлении его автора к максимальной «объективности», отражает целый ряд моментов: эстетический канон своей эпохи и, в частности, социальной среды, в которой он возник, определенный момент в истории того литературного языка, на котором он сделан, одну из многих возможных переводческих установок, наконец— состояние научного изучения текста, в котором позднейшие исследователи часто открывают новые стилистические тонкости, ускользавшие от их предшественников. Словом, если есть «бессмертные» литературные произведения, то «бессмертных» переводов не может быть, и чем значительнее произведение, тем чаще должен возобновляться его перевод.

В данном случае, однако, дело обстоит проще. Ни один из прежних русских переводов «Дон Кихота» нельзя признать удовлетворительным. Оставляя в стороне старинные переводы XVIII или первой половины XIX века, по большей части сделанные не с испанского, а с французского, и совершенно устаревшие в смысле языка, можно назвать три живых перевода «Дон Кихота», возникших в сравнительно недавнее время: 1) «Дон-

Кихот Ламанчский. Сочинение Мигуэля Сервантеса Сааведры. Перевод с испанского В. Карелина, с приложением критического этюда В. Карелина: «Донкихотизм» и «Демонизм». 2 тт., Пб., 1866 (4-е изд., 1896); 2) «Бесподобный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, сочинение Мигуэля Сервантеса Сааведры. Перевод с испанского с предисловием, биографией и примечаниями сделал Марк Басанин. 4 тт., Пб., 1903»; 3) «Остроумно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский, сочинение Мигеля де-Сервантеса Сааведры. Полный перевод с испанского М. В. Ватсон. С биографическим очерком и примечаниями. 2 тт., Пб., 1907.» (переиздан в 1917 г., в 10 выпусках, в качестве приложения к «Ниве»). Все они, по разным причинам, крайне несовершенны.

Первый из них, безусловно наилучший в литературном отношении, имеет прежде всего тот основной недостаток, что он сделан, вопреки заявлению автора, не с испанского, а с французского (именно, с перевода L. Viardot), что явствует не только из офранцузенных форм многих собственных имен (Марселла, Мариторна и т. п.), но и из многочисленных искажений оригинала, возникших благодаря двусмысленности французских выражений. Но еще хуже то, что переводчик не счел себя обязанным хотя бы строго придерживаться французского текста, в силу чего ряд пассажей являются у него не переводом, а вольным пересказом романа Сервантеса. Оба эти обстоятельства, впрочем, достаточно известны, так что излишне иллюстрировать их примерами.

Перевод Марка Басанина определенно представляет собою шаг не вперед, а назад по сравнению с переводом В. Карелина, ибо, разделяя все его недостатки, он не обладает его литературными достоинствами. Вопреки уверению автора, он также сделан, по крайней мере,

## О ПЕРЕВОДАХ «ДОН КИХОТА» LXXXV

в значительной степени, с французского — в том смысле, что, имея перед собой испанский подлинник, переводчик в то же время пользовался, как главной базой в своей работе, французским переводом. Что касается точности, то о ней достаточное представление дает уже самое заглавие, в котором *ingenioso* («изобретательный, хитроумный») весьма произвольно передано словом «бесподобный», равно как и первая же фраза романа: «В одном местечке в Ламанче... жил был не так давно знакомого всем типа гидадьго, с неизбежным копьём в стойле (I)» и т. д. Такого рода «раскраска» текста, приносящая в него добавочный юмор дурного вкуса, встречается у М. Басанина на каждом шагу: Росинант «вдруг возымел желание пофлиртовать с госпожами кабылицами» (т. I, стр. 127); дон Кихот ответил «таким же томным и плачевным голосом» (I, 126); «Санчо доплелся до своего господина, до того раскисший и расслабленный» (I, 156); «но что говорить про нее, когда и дружба Лотарио полетела кувыркком» (II, 101); у Мариторнес был «нос картошкой» (I, 135) и т. д. и т. д. В целях освежения текста, переводчик влагает в уста испанцев XVII в. русские пословицы и поговорки: «пойдешь за солодом, а насидишься голодом» (I, 137), «ни дна, ни покрывки» (I, 147); пастушок Андрес именуется у него Андрюшей (II, 61); в числе видов одежды фигурируют «сюртук», «фуфайка», «паголенки»... Но вся эта бойкость речи не спасает перевод от целого ряда крайне тяжеловесных, а подчас и вовсе непонятных фраз и выражений, в роде следующих: «дав приют в вашем замке лицу подобному мне, т. е. такому, что если я не рассыпаюсь в похвалах, то только потому, что говорят, что хвалить себя не пристало» (I, 138); «затем продолжаю, что после того как гуртовщик»

(I, 40); «к о ш м а р Санчо в о о б р а з и л» (I, 143); «бесполезно схватываться в рукопашную» (II, 101) и т. п. В целом, работа М. Басанина — отличный пример того, как не следует переводить иностранных классиков на русский язык.

Совсем иного характера — работа М. В. Ватсон. Это — первый полный и точный, притом выполненный с редкой добросовестностью и старанием перевод «Дон Кихота» на русский язык. К сож лению, этот весьма достойный труд страдает одним, но весьма существенным недостатком — ч р е з м е р н о й д о с л о в н о с т ь ю, в жертву которой принесена всякая забота о художественности. Весь ритм испанского подлинника, вся красочность и «благоуханность» (по прекрасному выражению одного критика) образов и языка Сервантеса совершенно исчезли в переводе М. В. Ватсон. В сущности, это неплохой подстрочник, но ни в коей мере не художественный перевод. Читатель все время наталкивается на обороты в роде следующих (цитирую всюду по изданию 1917 г.): «были причиной вашей не у д а ч и д о б ы т ь себе правосудие...» (I, 184); «потому что лишь бы я наполнил себе кошелек, хоть представляй больше несообразностей, чем солнце имеет атомов» (II, 209); «я на все способен и н е с к о л ь к о г о т о в к о в с е м у» (II, 234); «где о б ы к н о в е н н о выбежали н е к о т о р ы е дикие кабаны» (II, 268); «губернатор к а к б ы со сломанной ногой сидит дома» (II, 270); «Дидона стояла на высокой башне и к а к б ы махала п о л п р о с т ы н е й» (II, 531)... Все эти примеры выбраны нами наугад и при желании могли бы быть умножены до бесконечности<sup>1</sup>. Думаем,

<sup>1</sup> Необходимо к этому прибавить, что несмотря на упомянутую тщательность работы М. В. Ватсон, ей все же не удалось избежать довольно многочисленных ошибок. Не желая утомлять читателя, ограничимся

что мы не ошибемся, если скажем, что именно перевод М. В. Ватсон более всего содействовал довольно распространённому у нас сейчас представлению о «Дон Кихоте» как о произведении весьма почтенном и глубокомысленном, но крайне тяжеловесном, проще сказать тягучем и скучном.<sup>1</sup>

Итак, приходится констатировать, что в то время как франдузы располагают превосходным как в смысле точности, так и художественности, переводом «Дон Кихота», принадлежащим Луи Виардо (1836—37), немцы — столь же замечательным переводом поэта-романтика

несколькими примерами: в т. I, на стр. 92, en nuestro romance castellano переведено — «в наших испанских романах», тогда как на самом деле это значит — «на нашем народном (т. е. живом) кастильском языке»; на стр. 118 mirabanle переведено: «смотрели друг на друга» вместо: «смотрели на него»; на стр. 124 arueta переведено — «нарядная», вместо «пригожая, привлекательная»; на стр. 146 о дон Кихоте говорится: «он подошел к нему», вместо «подъехал» (в эту минуту он был на коне); на стр. 467: «я не хочу подвергать себя сбивчивому (?) суждению надменной толпы», тогда как desvanecido значит здесь не «надменный», а «вздорный, глупый», и т. п.

<sup>1</sup> Совсем недавно издательство «Молодая Гвардия» выпустило новое издание «Дон Кихота» (М., 1928). Имя переводчика на титульном листе не обозначено, но из редакционной заметки мы узнаем, что «составление текста производилось по переводу М. В. Ватсон». И действительно, перевод ее свободно переработан в смысле придачи ему легкости и гладкости. Что же получилось в результате? С одной стороны, главная ценность перевода М. В. Ватсон, именно точность, совершенно пропала; с другой стороны, умеренные литературные достоинства, приписанные таким путем к тексту, оказались характерными для стиля русского редактора книги, но отнюдь не для испанского подлинника. Вот худшая услуга, которая могла быть оказана Сервантесу!

Людвига Тика (2-е переработанное издание, 1810—16)<sup>1</sup>, англичане—менее литературно блестящим, но все же прекрасным переводом J. Ogleby (1885), не считая ряда других, весьма неплохих переводов на различные европейские языки,— на русском языке скольконибудь удовлетворительного перевода «Дон Кихота» до сих пор не существовало.

Настоящий перевод имеет своей целью заполнить эту лауну. В противовес с одной стороны переводу В. Карелина, с другой стороны переводу М. В. Ватсон, его авторы поставили себе задачей совместить максимальную точность с художественной проработкой, разумея под последней не просто «литературность» как таковую, а передачу стилистических намерений самого Сервантеса. Задача—чрезвычайно нелегкая, принимая во внимание как особенности испанской фразеологии, весьма далекой от русской, так и огромное внутреннее разнообразие языка Сервантеса.

Стиль «Дон Кихота» весьма сложен и периодичен, нередко—с уклоном к риторизму, но в то же время он крайне гибок и ясен, и менее всего производит на самих испанцев (как современных нам, так и эпохи Сервантеса) впечатление громоздкости или тягучести. Все это обязывало нас к весьма тщательному подыскиванию синтаксических эквивалентов, а в некоторых случаях—правда, весьма редких—вынуждало даже разрезать периоды. Думаем, что это нельзя считать погрешностью против точности, ибо грубая дословность здесь совершенно погубила бы художественную выразительность, которая является такой же неотъемлемой,

<sup>1</sup> С ним, впрочем, может соперничать позднейший немецкий перевод— L. Braunfels'a (особенно 2-е, исправленное его издание, под редакцией Н. Morf'a, 1905).

конструктивной частью текста, как и буквальный, логический смысл слов и выражений.

Далее, как мы уже упоминали, стиль Сервантеса крайне разнообразен. Он весьма изменчив и, в зависимости от трактуемых тем (пастушеские сцены, вставные новеллы, бытовые картины, общие рассуждения, комические эпизоды и т. п.), бывает патетическим, лирическим, витиеватым, шутливым, наивно-простодушным, нарочито грубоватым. Персонажи Сервантеса говорят далеко не одинаковым языком. Особенную трудность представляет передача речей самого дон Кихота и Санчо Пансы. Первый говорит не только напыщенным слогом, но и устарелым языком, почерпнутым им из рыцарских романов. Речь второго, пересыпанная пословицами и прибаутками, носит ярко народный отпечаток. Авторы перевода пытались по-сильно передать все эти стилевые оттенки, равно как и бесчисленные каламбуры, антитезы, выразительные повторы и другие прикрасы художественной речи, испещряющие испанский текст «Дон Кихота». Но при этом, не довольствуясь механическим воспроизведением, они всякий раз проверяли, насколько средства современно русского языка пригодны для создания именно того впечатления, которое желал вызвать Сервантес; и нередко—тщательно избегая, понятно, всякой «русификации» — им приходилось все же подыскивать субституты.

Между двумя крайними возможными здесь установками—модернизацией старинного текста и стилизованным соблюдением всех архаизмов его—предлагаемый перевод занимает среднюю позицию. Скорее, однако, с уклоном в сторону модернизации, ибо главной нашей заботой было все же дать не «филологическую реконструкцию», а вполне живой, художественный текст, столь же ясный и легкий для восприятия современного

русского читателя, каким он был во времена Сервантеса для тогдашнего читателя—испанца. При этом, однако, мы сохранили известную долю колорита места и времени, необходимую для того, чтобы дать почувствовать атмосферу старинной Испании. Но больше всего мы стремились к передаче той конкретности, пластичности и динамичности слов, выражений или образов, которые являются, по нашему мнению, существеннейшей чертой стиля Сервантеса.

Специальную трудность представило истолкование некоторых слов и оборотов, точный смысл которых не вполне установлен. Надо сознаться, что с изучением языка Сервантеса дело обстоит, даже на его родине, далеко не блестяще. Последнее и лучшее критическое издание «Дон Кихота», изготовленное F. Rodriguez Magón'ом (6 тт., Мадрид, 1915-1917),—с которого и сделан настоящий перевод,—содержит весьма обильный комментарий,—и однако же смысловые оттенки многих оборотов и выражений в нем оставлены неразъясненными. Что же касается объемистого «Словаря Сервантеса» (J. Cejador y Frauca, «La lengua de Cervantes, Tomo II, Diccionario y comentario», Мадрид, 1906), то это—просто каталог слов с их этимологиями<sup>1</sup>, но без какого либо смыслового комментария. Таким образом, в отдельных случаях нам приходилось производить специальные разыскания, в результате чего читатель найдет в нашем переводе некоторые новые толкования, не вошедшие ни в один из прежних европейских переводов.

Все собственные имена представлены в их оригинальной испанской форме, за исключением трех, именно:

<sup>1</sup> Многие из средств выразительности Сервантеса вскрыты и должным образом разъяснены лишь недавно в превосходном исследовании Н. Hatzfeld'a, «Don Quijote als Wortkunstwerk» (1927).



Дон Кихот, Росинант и Мамбрин (вместо «Дон Кихоте», «Росинанте» и «Мамбрино»), утвердившихся в этой форме в русской и отчасти европейской традиции, а также, конечно, некоторых античных имен, воспроизводимых нами в их оригинальной, а не испанизированной форме: Хризостом (вместо Грисостомо), Филлида (вместо Фили) и т. п.

Встречающиеся в тексте «Дон Кихота» стихи специально переведены для настоящего издания М. А. Кузминым и М. Л. Лозинским: именно, в I томе М. Л. Лозинским переведены первые три стихотворения, помещенные после Пролога, и стихи к главам 2 (стр. 46), 5, 11, 13, 23, 40, 43 и 52, М. А. Кузминым — остальные 8 стихотворений после Пролога (начиная с сонета сеньоры Орианы к Дульсинее Тобосской) и стихи к главам 14, 26, 27, 33 и 34.

Редактирование всего текста произведено обоими редакторами совместно, без строгого разделения функций, при чем, однако, центр тяжести работы Б. А. Кржевского состоял преимущественно в интерпретации текста, моей — в его литературном оформлении.

*Свой труд переводчики и редакторы посвящают памяти своего общего учителя, основателя испанистики в Ленинграде, профессора Дмитрия Константиновича Петрова (род. 13 августа 1872 года, ум. 2 мая 1925 года).*





## ГЕРЦОГУ ДЕ БЕХАР

МАРКИЗУ ДЕ ХИБРАЛЕОН, ГРАФУ ДЕ БЕНАЛЬКАСАР И  
БАНЬЯРЕС, ВИКОНТУ ГОРОДА АЛЬКОСЭРА ВЛАСТИТЕЛЮ  
СЕЛЕНИЙ КАПИЛЬЯ, КУРЬЕЛЬ И БУРГИЛЬОС\*

*Зная, что ваша светлость оказывает благо-  
склонный и почетный прием всякому роду книг,  
как это подобает князю, столь расположенному  
поощрять добрые искусства, особенно же те из  
них, кои по благородству своему не унижаются  
до корыстного служения черни, я решил выпу-  
стить в свет «Хитроумного идалыо дон Кихота  
Ламанчского» под защитой славнейшего имени  
вашей светлости и прошу вас со всей почтитель-  
ностью, которой заслуживает ваше величие, ми-  
лостиво принять его под свое покровительство,  
дабы — хоть и лишенный тех драгоценных укра-  
шений изящества и образованности, коими обычно  
облекаются произведения, написанные в домах уче-  
ных людей, — он все же под сенью вашего имени  
посмел уверенно выступить на суд тех, кто пре-  
ступая пределы собственного невежества, при-  
выкли осуждать чужие труды более сурово, чем  
справедливо: от мудрого ока вашей светлости не  
скроются мои блаже намерения, и я уповаю, что  
вы не презрите этого ничтожного знака моей сми-  
ренной преданности*

*Мишель де Сервантес Сааведра*









## П Р О Л О Г



осужий читатель, ты и без клятв сможешь мне поверить, как мне хочется, чтобы эта книга, дитя моего разума, была самой прекрасной, изящной и умной из всех, какие можно себе представить. Но я не мог нарушить закона природы, по которому каждое существо порождает себе подобное. А потому, что же другое мог породить мой бесплодный и невозделанный ум, как не повесть о герое худом, иссохшем, причудливом и полном разнообразных мыслей, никогда и никому еще не приходивших в голову? Ибо может ли быть другим существо, родившееся в тюрьме, где всяческое угнетение находит себе приют и где всяческие звуки скорби избрали себе пристанище? Тишина, мирная местность, ясные небеса, журчанье ручьев, душевное спокойствие— вот что помогает самым бесплодным Музам стать плодовитыми и произвести на свет потомство, которое наполняет мир восторгом и удивлением. Бывает, что у отца рождается безобразный и неуклюжий сын, но отеческая любовь накладывает на глаза его повязку, и он не только не замечает недостатков сына, но более того, считает их

признаками ума и изящества и рассказывает о них своим друзьям, как о проявлениях остроумия и тонкости. Я же только кажусь отцом *Дон Кихота*, а на самом деле я его отчим, и мне не хочется плыть по течению вслед за другими и подобно им умолять тебя, дражайший читатель, почти со слезами на глазах, чтобы ты простил недостатки моего сына или сделал вид, что их не замечаешь; ты ведь ему не родственник и не друг, у тебя в теле своя душа и своя свободная воля не хуже чем у любого из нас, ты сидишь у себя дома, а дома ты такой же хозяин, как король в своей казне, и ты знаешь, что говорит пословица: «под своим плащом я и короля убью». Все это тебя избавляет и освобождает от всякого лицепрятия и обязательств, и ты можешь говорить об этой истории все, что тебе вздумается, не боясь, что тебя осудят, если ты о ней отзовешься дурно, или наградят, если ты ее похвалишь.

Мне хотелось бы только предложить ее твоему вниманию в чистом и голом виде, не украшенную ни прологом, ни бесконечной цепью привычных сонетов, эпиграмм и похвальных слов, которые принято помещать в начале книги. Ибо должен тебе сказать, что много я положил труда, сочиняя эту книгу, но всего труднее было мне написать предисловие, которое ты сейчас читаешь. Много раз брался я за перо, чтобы написать его, и бросал, так как не знал, что писать; и вот однажды, когда я сидел в нерешительности перед листом бумаги, с пером за ухом, положив локоть на стол и подперши рукой щеку, пришел ко мне невзначай один мой

приятель, человек остроумный и рассудительный, и, увидев, что я пребываю в задумчивости, спросил меня, в чем дело. Я объяснил ему и сказал, что обдумываю пролог к истории дон Кихота, и это так меня затрудняет, что мне не хочется его писать и тем менее издавать в свет повесть о подвигах столь благородного рыцаря.

— Да как же вы хотите, чтобы меня не смущал приговор древнего законодателя, зовущегося публикой, когда он увидит, что после стольких лет, которые я проспал в тиши забвения, я вдруг снова появляюсь, обремененный годами, и приношу ему произведение сухое как ковыль, бедное воображением, лишенное стиля, скудное по мысли, далекое от всякой учености и эрудиции, без выносок на полях и примечаний в конце, когда я знаю, что теперь все книги, даже повествовательные и светские, переполнены изречениями Аристотеля, Платона и всей своры философов, в силу чего восхищенные читатели считают авторов этих сочинений людьми начитанными, образованными и красноречивыми? Мало того, они еще цитируют и священное писание! Право, их можно принять за самого святого Фому<sup>4</sup> или других учителей церкви, и при этом они так тонко соблюдают приличия, что, изобразив на одной странице какого нибудь распутного любовника, на другой они тотчас же преподносят вам христианское наставленьице, слушать и читать которое одна утеха и удовольствие. Всего этого нет в моей книге, ибо нечего мне выносить на поля, нечего помещать в конце в примечания, и я даже не знаю, каким авторам я следовал в своей повести, так что в начале

книги я не в состоянии по принятому обычаю привести список имен в алфавитном порядке, начиная с Аристотеля и кончая Ксенофонтом, Зоилом и Зевкисом\*, без всякого внимания к тому, что один из них был просто злым болтуном, а другой — художником. А также в начале моей книги не будет сонетов, по крайней мере сонетов, сочиненных герцогами, маркизами, графами, епископами, дамами или знаменитейшими поэтами. Правда, если бы я попросил двух трех из моих друзей-ремесленников, они конечно написали бы для меня сонеты и притом такие, что с ними не сравнились бы стихи именитейших поэтов Испании. Одним словом, сеньор и друг мой, — продолжал я, — я решил, что сеньор дон Кихот останется погребенным в ламанчских архивах до тех пор, пока небо не пошлет ему того автора, который придаст ему все недостающие ему украшения; я же по недостатку таланта и малообразованности считаю себя неспособным сделать это; к тому же, я по природе бездельник и лентяй, и не расположен разыскивать авторов и просить их сказать то, что я сам отлично могу сказать и без их помощи. Вот почему вы застали меня в смущении и глубокой задумчивости: все, что я вам только что рассказал, является достаточной к тому причиной.

Выслушав меня, мой приятель хлопнул себя по лбу и, разразившись громким смехом, сказал:

— Ей богу, братец, только теперь рассеялось заблуждение, в котором я пребывал в течение всего нашего долгого знакомства: я всегда считал вас человеком и умным и рассудительным во всех ваших поступках. Но теперь я

вижу, что вы от этого далеки как небо от земли. Возможно ли, чтобы обстоятельства столь незначительные и легко исправимые были в силах смутить и поставить в тупик ваш зрелый разум, привыкший побеждать и преодолевать куда бóльшие затруднения? Честное слово, причиной этому не недостаток умения, а излишек лености и вялость мысли. Хотите, я вам докажу, что говорю правду? В таком случае, слушайте меня внимательно, и вы увидите, что в одно мгновение ока я уничтожу все ваши затруднения и устраню все препятствия, которые, как вы утверждаете, смущают вас и лишают смелости издать в свет историю вашего знаменитого дон Кихота, этого светоча и зеркала всего странствующего рыцарства.

— Ну расскажите, — ответил я, выслушав его слова, — каким образом собираетесь вы заполнить пучину моего страха и прояснить хаос моего смущения?

В ответ на это он произнес:

— Прежде всего, вас останавливает то, что для начала книги у вас не хватает сонетов, эпиграмм и хвалебных слов, еочиненных особами важными и титулованными? Этой беде вы легко можете помочь, взяв на себя труд сочинить их лично, а потом вы их окрестите и наградите какими угодно именами, приписав их хотя бы пресвитеру Иоанну Индийскому \* или императору Трапезундскому, о которых, я знаю, сохранились сведения, что они были знаменитыми поэтами; а если они поэтами не были и найдутся какие нибудь педанты и бакалавры, которые станут язвить вас сзади и шипеть, что это

неправда, то вы за все это и ломаного гроша не да-  
вайте: ведь если даже они уличат вас во лжи, все  
равно вам не отрубят руки, которая это написала.

Что же касается цитирования на полях тех  
книг и авторов, из которых вы позаимствовали  
для вашей повести сентенции и изречения, то  
сделайте вот что: вставьте кстати какие нибудь  
сентенции или поговорки, которые вы знаете  
наизусть или, по крайней мере, можете отыскать  
без особых хлопот; так например, заговорив  
о свободе и рабстве, процитируйте:

*Non bene pro toto libertas venditur auro, \**

и тут же на полях отметьте, что это слова Го-  
рация или кого то там другого. Заговорив  
о могуществе смерти, немедленно же строчите:

*Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas,  
Regumque turres \**.

Зайдет ли речь о том, что господь велел нам  
питать к врагам любовь и дружбу, сейчас же  
хватайтесь за священное писание, и тут вы  
можете не без блеска процитировать слова  
не более и не менее как самого господя бога:  
*Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros \**. Если  
заговорите о дурных помышлениях, вспомните  
евангелие: *De corde exeunt cogitationes malae \**;  
если о непостоянстве друзей—у вас под рукой  
Катон со своим двустипшием:

*Donec eris felix, multos numerabis amicos,  
Tempora si fuerint nubila, solus eris. \**

Благодаря таким и тому подобным цитатам, вы  
прослывете великим латинистом, а в наше время  
это звание и почетно и весьма прибыльно.

Что же касается примечаний в конце книги,  
то вы преспокойно можете сделать так: если

в вашей повести говорится о какомнибудь великане, то назовите его Голиафом, — вам это ничего не будет стоить, а между тем у вас уже готово увесистое примечание в следующем роде: *Великан Голмас или Голиаф был филистимлянином, коего пастух Давид поразил камнем из пращи в Теревинтской долине, как об этом рассказывается в Книге Царств (и укажите главу, разыскав ее).*

Далее, чтобы показать себя человеком сведущим в светских науках и великим космографом, постарайтесь, чтобы в вашей повести упоминалась река Тахо — и вот вам еще одно великолепное примечание: *Река Тахо получила свое прозвище от имени одного из королей Испании; она берет свое начало в таком то месте и умирает в море океане, лобзая стены славного города Лиссабона; полагают, что в ней имеется золотой песок, и т. д.* Если вам придется описывать воров, я сообщу вам историю Кака\*, которую я знаю наизусть; если блудниц — епископ Мондоньдский\* предоставит вам своих Ламий, Лаис и Флор, и ссылка на него заслужит вам всеобщее уважение. Если вам случится заговорить о жестоких женщинах, Овидий предложит вам свою Медею; если о волшебницах и колдуньях, Гомер укажет вам на Калипсо, а Вергилий на Цирцею; если о храбрых полководцах — Юлий Цезарь предложит вам самого себя в своих *Записках*, а Плутарх даст вам тысячу Александров. Заговорите вы о любви, — с помощью крупницы знания тосканского языка, вы отыщете Леона Еврея,\* который отсыплет вам полную меру. А если не угодно вам разгуливать по чужим стра-

нам, так у вас найдется и дома сочинение Фонсеки *О божественной любви* \*, в котором заключено все, что на эту тему может быть написано: ни вы, ни самый тонкий знаток не пожелают большего. Итак, постарайтесь только в вашей повести упомянуть эти имена и коснуться перечисленных мною произведений, а составление заметок и примечаний я возьму на себя, и клянусь вам — заполню все поля вашей книги и напишу по крайней мере четыре листа в конце ее.

Перейдем теперь к списку различных авторов, приводимому в других книгах и недостающему вашей. Тут средство очень простое: вам следует только найти книгу, в которой перечислены все авторы от А до Z \*, как вы выражаетесь, и этот алфавитный список вы поместите в вашей книге; и хотя бы яснее ясного был обман, беды никакой не будет, ибо у вас нет никакой необходимости заимствовать у этих авторов; а может быть, и найдутся такие простаки, которые поверят, что в вашей простодушной и бесхитростной повести вы все эти сочинения использовали. И если даже длинный список авторов ни на что другое вам не пригодится, он все же сразу придаст вашей книге значительность, — тем более, что никто не станет проверять, следовали ли вы этим авторам или не следовали, ибо никому до этого нет никакого дела. Но скажу больше: если я правильно понимаю, ваша повесть несколько не нуждается в прикрасах, которых по вашим словам ей недостает, ибо она — обличение рыцарских романов, о которых никогда не упоминал Аристотель,



ничего не говорил св. Василий и не имел никакого представления Цицерон. Ее вымышленные нелепости не имеют ничего общего с точными требованиями истины и наблюдениями астрологии; геометрические измерения столь же мало для нее существенны, как и опровержение аргументов, коими пользуется риторика; ей незачем проповедывать, смешивая дела человеческие с делами божественными,—а подобного смещения должен остерегаться всякий разумный христианин. Единственное, чем вы должны воспользоваться в вашем произведении—это подражанием, ибо чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется ваша повесть. И раз ваше сочинение направлено лишь к тому, чтобы уничтожить влияние и значение, которыми обладают в мире среди непросвещенной публики рыцарские романы, то не к чему вам выпрашивать у философов—изречений, у священного писания—назиданий, у поэтов—сказок, у риторов—речей и у святых—чудес; постарайтесь только, чтобы слова ваши были понятными, выразительными, пристойными, хорошо расположенными, и чтобы ваша речь лилась звучными и стройными периодами; пусть везде, где это доступно и возможно, проявляется ваш замысел; излагайте понятно ваши мысли, не запутывая и не затемняя их. Постарайтесь также и о том, чтобы при чтении вашей повести меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще веселее, простак не соскучился, умник восхитился вашей изобретательностью, чтобы человек серьезный не презрел ее, а благоразумный не отказал ей в своей похвале. Одним словом, не теряйте из виду вашей цели: разрушить шат-

кую громаду этих рыцарских романов, которые многие ненавидят, но еще больше людей восхваляет; и если вы этого достигнете, вы достигнете уже немало.

В глубоком молчании выслушал я речь моего приятеля, и так запечатлелись в моей памяти его слова, что я без возражений признал их справедливыми и решил составить из них мой пролог. Прочитав его, любезный читатель, ты увидишь, как умен мой приятель и как повезло мне, что в трудную минуту я нашел такого советчика; а кроме того, ты почувствуешь облегчение, увидя, что я предлагаю тебе историю знаменитого дон Кихота Ламанчского без всяких прикрас и околичностей; а все жители Монтельской \* округи и поныне говорят, что такого целомудренного любовника и храброго рыцаря с давних пор не бывало в их краях. Я не хочу преувеличивать своих заслуг, знакомя тебя с таким выдающимся и почтенным рыцарем; но мне хотелось бы, чтобы ты поблагодарил меня за знакомство с знаменитым его оруженосцем Санчо Пансой, ибо, думается мне, что в нем одном сосредоточены все достоинства оруженосцев, описания которых разбросаны в беспорядочной груде вздорных рыцарских романов. И на этом да пошлет тебе бог здоровье и меня не забудет. *Vale* \*.

*НА КНИГУ О ДОН КИХОТЕ ЛАМАНЧСКОМ*

**У р г а н д а Н е у л о в и м а я \***

Если ты решила, кни- (га),\*  
Путь направить к тем, кто зна- (ет),  
Там тебе дурак не ска- (жет),  
Что ты пальцы ставишь кри- (во).  
Если же тебе приспи- (чит)  
Даться в руки остоло- (пам),  
Так они тебе в два счѣ- (та)  
Разлетятся пальцем в не- (бо),  
А меж тем все ногти б съе- (ли),  
Чтоб явить свою учѣ- (ность).

Нам показывает о- (пыт):  
Кто под добрым станет дре- (вом),  
Доброй осенится те- (нью);  
Ты же в Бехаре откро- (ешь)  
Древо царственного ко- (рня),  
На котором принцы зре- (ют),  
И процвел меж ними ге- (рцог),  
Досторавный Алекса- (ндру);  
Стань же в тень его: уда- (ча)  
Покровительствует сме- (лым).

Доблестного дворяни- (на)  
Ты расскажешь прикпоче- (нья)

И как суетное чте- (нье)  
 Голову ему вскружи- (лю).  
 Дамы, рыцари, турни- (ры)  
 Завладели им насто- (лько),  
 Что, воспламеняясь любо- (вью).  
 Как Непстовый Орла- (ндо), \*  
 Он стяжал могучей дла- (нью)  
 Дульсинею из Тобо- (со).

Показных перогли- (фов)  
 Не печатай слишком гу- (сто):  
 У кого одни фигу- (ры),  
 Остается с чистым жи- (ром).  
 Кто в введеньи тих и сми- (рен),  
 Про того не скажут лю- (ди):  
 «Экий Альваро де Лу- (на), \*  
 Экий Ганнибал нашё- (лся)  
 Иль король Франциск в нево- (ле),  
 Сегующий на форту- (ну)!» \*

Раз уж небу не уго- (дно),  
 Чтоб была ты столь же хи- (трой),  
 Как арап Хуан Латн- (но), \*  
 То латынь оставь в поко- (е).  
 Знай, где тонко, там и рвё- (тся);  
 Брось античные цита- (ты);  
 А иначе, зубы ска- (ля),  
 Тот, кто видит, в чем тут шту- (ка),  
 Скажет, наклоняясь к у- (ху):  
 «Что ты мне очки втира- (ешь)?»

Не пускайся в описа- (нья),  
 Не влезай в чужие жи- (зни),  
 Ибо то, что шевели- (тся),  
 Надо обходить пода- (льше);

Также принято по па-	(пке)
Бить того, кто остролю-	(вит);
Лучше уж спали ты бро-	(ви),
Чтоб добиться доброй сла-	(вы),
Пбо тот, кто пишет вра-	(кп),
Вечной податью обло-	(жен).

Помни, что весьма неле-	(по)
Обладать стеклянной кры-	(шей)
И хватать с земли булы-	(ги),
Чтобы их кидать в сосе-	(да).
Человек, умом степе-	(нный),
В сочиненьях, им сложё-	(нных),
Ноги ставит осторо-	(жно);
Тот же, кто плодит бума-	(гу),
Чтобы веселить куха-	(рок),
Пишет через пень колю-	(ду).

*АМАДИС ГАЛЛЬСКИЙ\* ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ*

С о н е т

Ты, чья судьба мою изобразила,  
Когда, вдали от цели заповедной,  
Я жил, отвержен, над Стремниной Бедной,  
Где всех восторгов скорбная могила;

О ты, кого несякнущая жила  
Соленых слез поила влагой бледной  
И, жестяной, серебряной и медной  
Лишив красы, земля с земли кормила;

Живи уверен в том, что век за веком  
Или дотоль, пока в четвертом небе  
Торопит коней Феб золоторунный,

Ты будешь слыть бесстрашным человеком,  
Твоей отчизны будет первым жребий,  
Твой мудрый автор — выше всех в подлунной

**ДОН БЕЛЪЯНИС ГРЕЧЕСКИЙ\* ДОН КИХОТУ  
ЛАМАНЧСКОМУ**

**С о н е т**

Я бил, пронзал, крушил, вещал и деял,  
Как ни один воитель во вселенной;  
Я был искусный, смелый и надменный,  
Тьму отомстил неправд, тьму тем развеял.

Я подвигами гром в веках посеял;  
Я был поклонник верный и смиренный;  
Мне в великане мнился карл презренный,  
И честь в боях я, как никто, лелеял.

От счастья к счастью шла моя дорога,  
И, взят за чуб, за мной тащился, плача,  
Сопротивляющийся лысый Случай.

Но хоть и выше месячного рога  
Вознесена была моя удача,  
Тебе завидую, Кихот могучий.

Дон Кихот

*СЕНЬОРА ОРИАНА \* ДУЛЬСИНЕЕ ТОБОССКОЙ*

С о н е т

Когда б могла, для вашего покоя,  
Свой Мирафлорес \* пышный, не жалея,  
Сменить твоим Тобосо, Дульсинея,  
А Лондон — деревенской простотою,

Когда б могла я, телом и душою  
В тебя преобразившись, чудодея  
Идальго увидеть, что, честь лелея,  
Весь увлечен чудовищной борьбою,

Когда б от Амадиса честь спасла я,  
Как ты обереглась от дон Кихота,  
В ком дерзости нельзя сыскать и тени,

В меня бы зависть не вселялась злая,  
К веселью вместо слез была б охота,  
И я за радость не платила б пени \*.



**ГАНДАЛИН, ОРУЖЕНОСЕЦ АМАДИСА ГАЛЬСКОГО,  
САНЧО ПАНСЕ, ОРУЖЕНОСЦУ ДОН КИХОТА**

**С о н е т**

Привет тебе, муж славный, кем вожатый—  
Судьба и счастье так руководили,  
Что званием почетным наградили,  
И ты пошел путем, как завсегдатай.

Теперь выходит, что и серп с лопатой  
Искусству бранному не повредили;  
На простоты основываясь силе,  
Мной будет обличен гордец богатый.

Завидно имя, ослик благодравный,  
Завидны сумки, что, нужду предвидя,  
Ты набивал с прилежностью законной.

Привет, еще раз, Санчо, муж столь славный,  
Что лишь тебе испанский наш Овидий  
Почтенье выражает *бускорной* \*.

*ДОНОСО, ПОЭТ ПОМЕШАННОГО СТИЛЯ,  
САНЧО ПАНСЕ И РОСИНАНТУ*

**Санчо Пансе**

Санчо я — оружено-	(сец)
Дон Кихота господи-	(на).
Ноги по пыли пусти-	(лись),
Чтоб пожить разумно до-	(ма).
Вильядьего * сделал то	(же),
Видя мудрости зако-	(ны)
В благовременном уxo-	(де),
Как нас учит «Селестн-	(на»).
Прямо божеская кни-	(га),
Не такой она будь го-	(лой)*.

**Росинанту**

Росинант я преслову-	(тый), -
Правнук славного Бабьс-	(ки) *,
И за тощее за те-	(ло)
Дон Кихоту отдан в слу-	(ги).
Как скакун, меня нет ху-	(же),
Но за то и крупной ры-	(сью)
От меня овсу не скры-	(ться).
Ласарильо сам почу-	(ял),
Как солому я подсу-	(нул),
Чтоб вино слепого вы-	(пить) *.

*НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ*

С о н е т

Хоть ты не пэр, тебе не будет пары,  
Из сотни пэров ты бы мог быть пэром;  
Где ты — нет места равным кавалерам,  
Непобедим ты, как твои удары.

Роланд я, о Кихот, что в виде кары  
За страсть к Анжелике на море сером  
Свою отвагу нес любви примером,  
Ее ж забвенья не коснулись чары.

Я у тебя не отнимаю лавра.  
Из подвигов та честь проистекает,  
Хоть ты, как я, и потерял свой разум,

Но ты мне равен, победивши мавра  
И скифа дикого, — для них равняет  
Любовь нас горькая обоих разом.

*РЫЦАРЬ ФЕБА ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ*

С О Н Е Т

Моей наложит ваша шпага пятна,  
Испанский Феб, утонченный вельможа,  
И с вашею моя рука не схожа:  
Та — луч в стране, где солнце беззакатно.

Империю я презрел; хоть приятно  
Востока подношенья, но негоже  
Не бросить все и не воспрянуть с ложа,  
Коль Кларидьяны \* лик зовет обратно.

Я предан ей, как редкостному чуду,  
И, разлученный, так воспламенился,  
Что потряслися адовы державы.

И дон Кихот прославился повсюду:  
В веках чрез Дульсинею утвердился,  
Она же чрез него достигла славы.

*СОЛИСДАН ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ*

С О Н Е Т.

Хотя безлепщ рой, а их немало,  
Во тьме ваш разум, дон Кихот, оставил,  
Но человеком низким, грубых правил  
Вас никогда молва не признавала.

Дела вам будут вместо трибунала:  
Тот в памяти себя навек прославил,  
Кто исправленье зла за цель поставил,  
Хотя бы плоть от подлых и страдала.

И если Дульсинея, ваша дама,  
Пред вами оказалась неправой  
И чувств ее не стали вы виновник,

Утештесь мыслью средь такого срама,  
Что Санчо Панса дрянью был лукавой:  
Туп он, крута она, вы — не любовник.

## *ДИАЛОГ МЕЖДУ БАБЬЕКОЙ И РОСИНАНТОМ*

### С О Н Е Т

- Б. Как, Росинант почтенный, вам живется?  
Р. Да так, что не видна работе смена!  
Б. А как насчет соломы там и сена?  
Р. Охалки получить не удастся.
- Б. Ну, полноте, сеньор, так не ведется:  
Вы, как осел, браните сюзерена.  
Р. Он сам — осел, ослиное колено.  
Вот полюбуйтесь ка: в любви клянется!
- Б. А что? Любовь глупа? Р. Ума немного.  
Б. Философ стали вы! Р. Так, с голодовки.  
Б. На Пансу жалуйтесь. Р. А выйдет что же?

Кого тревожить жалобами,—бога,  
Когда хозяин и дворецкий ловкий  
На Росинанта как одры, похожи?







## ГЛАВА I

*в которой повествуется о нраве и обычае знаменитого идалго дон Кихота Ламанчского*



некоем селе Ламанчи \*, имени которого мне не хочется упоминать, не очень давно жил один идалго, из числа тех, что имеют родовое копьё, древний щит, тощую клячу и борзую собаку. Оляя \*, в которой было куда больше говядины, чем баранины; на ужин почти всегда винегрет; по субботам яичница с салом, по пятницам чечевица, по воскресеньям в виде добавочного блюда голубь,—на все это уходило три четверти его доходов. Остальное тратилось на кафтан из доброго сукна, на бархатные штаны и туфли для праздничных дней,—в другие же дни недели он являлся в костюм из домашнего сукна, что ни на есть тонкого. В доме у него жила экономка, которой перевалило за сорок лет, племянница, которой было около двадцати, и слуга для домашних и полевых работ: в его должность входило седлать дряхлую лошадь и орудовать садовым ножом. Было нашему идалго лет под пятьдесят; крепкого сложения, тощий телом и худо-

щавый лицом, он был страстным охотником и любил рано вставать. Утверждают, что прозывался он Кихада или Кесада (в этом вопросе, авторы, писавшие о нем, несколько расходятся); на основании самых правдоподобных соображений можно, однако, предположить, что звали его Кехана. Впрочем, для нашей повести это не имеет большого значения; достаточно того, что в нашем изложении мы ни на волос не уклонимся от правды.

Следует еще сказать, что вышеупомянутый идальго все свои досуги (а досуги его продолжались почти круглый год) посвящал чтению рыцарских романов и предавался этому занятию с такой страстностью и наслаждением, что почти совсем забросил и охоту, и управление хозяйством. Любознательность и сумасбродство его дошли до того, что он продал несколько десятин пахотной земли, чтобы закупить себе для чтения рыцарских книг, так что у него в доме были все романы, какие только он мог отыскать. Самыми замечательными из них казались ему произведения знаменитого Фелисиано де Сильва, ибо блеск его прозы и хитросплетенность его речей представлялись нашему идальго совершенством. Особенно же нравилось ему читать любовные письма и вызовы на поединки, в которых нередко значилось следующее: «Правота, с которой вы так неправы к моим правам, делает мою правоту столь бесправной, что я не без права жалуясь на вашу красоту». И еще ему случалось читать: «...высокие небеса, которые своими звездами божественно укрепляют вашу божественность и доставляют вам достоинства, достойного



вашего величия...» Читая такие фразы и сиясь их распутать и разгадать их смысл, наш бедный кабальеро совсем терял разум и проводил бессонные ночи, а между тем, если бы сам Аристотель нарочно для этого воскрес, то и он бы ничего не разгадал и ничего не понял. Не легко ему было допустить, что дон Бельянис наносил и получал столь великое множество ран, ибо ему казалось, что, как бы ни были искусны лечившие его врачи, все же и лицо и все тело этого рыцаря должны были быть покрыты рубцами и шрамами. Но тем не менее он очень хвалил автора за то, что тот заканчивает книгу обещанием продолжить эту нескончаемую историю, и много раз у него возникало желание взяться за перо и дописать ее до последнего слова, как там было обещано, и он бы наверное так и сделал, и сделал успешно, если бы ему не помешали другие более важные и упорные замыслы. Неоднократно наш кабальеро вел споры с местным священником (человеком ученым, удостоенным степени в Сигуэнсе\*) о том, кто был более замечательным рыцарем: Пальмерин Английский или Амадис Галльский; но деревенский цырюльник, мастер Николас, утверждал, что ни одному из них не сравниться с рыцарем Феба, а что если кого и ставить рядом с ним, то уж, конечно, дон Галаора, брата Амадиса Галльского, потому что в отношении нрава он всем взял: не так был жеманен и плаксив, как его брат, а в храбрости несколько ему не уступал.

Одним словом, наш кабальеро до того пристрастился к чтению, что читал днем от рассвета до сумерек и ночью от сумерек до зари. И вот, от недосыпания и чрезмерного чтения

мозги его высохли, и он совсем рехнулся. Воображение его наполнилось историями, которых он начался в книгах: колдовством, распрями, битвами, вызовами на поединки, ранами, нежными речами, любовными свиданиями, сердечными муками и прочим невозможным вздором. Он до того вбил себе в голову, что вся эта груда трескучих и нелепых книжных выдумок—чистейшая правда, что ничто на свете не казалось ему достовернее этих историй. Он соглашался с тем, что Сид Руи Диас был отличным рыцарем, но прибавлял, что далеко ему до рыцаря Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам двух могучих, чудовищных великанов. Снисходительнее он относился к Бернарду де Карпио, ибо тот в Ронсевальском ущелье убил очарованного Роланда, воспользовавшись хитростью Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли, Антея. Очень лестно отзывался он о великане Морганте, который, хоть и был из рода гигантов—существ надменных и наглых—все же вел себя любезно и воспитанно. Но никого он так не одобрял, как Рейнальдо Монтальбанского: ему особенно нравилось, как тот, выезжая из своего замка, грабил всех, кто ему попадался под руку, или похищал в заморских странах идол Магомета, сделанный, по словам автора, из чистого золота. А за право задать хорошую трепку предателю Ганелону наш идалго охотно бы отдал свою экономку, да еще и племянницу в придачу.

Наконец, совершенно свихнувшись, он возымел такую странную мысль, какая никогда еще не приходила в голову ни одному безумцу на свете, а именно, что ему следует и даже необ-

ходимо для собственной славы и для пользы родной страны сделаться странствующим рыцарем, вооружиться, сесть на коня и отправиться искать по свету приключений, одним словом, проделать все то, что в романах обычно проделывают странствующие рыцари: восстанавливать попорченную справедливость, подвергаться разным случайностям и опасностям, и таким образом обессмертить и прославить свое имя. Бедняга воображал себя, в награду за свои отважные деяния, уже увенчанным короной по меньшей мере Трапезундского царства. Погрузившись в эти отрадные мечты и поддавшись необычайному наслаждению, которое они ему доставляли, он поторопился привести свое намерение в действие. Первым делом он вычистил доспехи, которые принадлежали его прадедам и валялись где то в углу, заброшенные и покрытые вековой ржавчиной и плесенью. Он вычистил и починил их как мог лучше; но вдруг заметил, что недоставало одной очень важной вещи: вместо шлема с забралом был просто открытый шишак. Однако, тут ему помогла его изобретательность: из картона он смастерил полушлем, прикрепил его к шишаку, и получилось нечто похожее на закрытый шлем. Не скроем, что нашему идалго захотелось испробовать его крепость и выяснить, может ли он устоять в битве; с этой целью он выхватил шпагу, нанес ею два удара—и в одну минуту первым же ударом уничтожил работу целой недели. Легкость, с которой забрало разлетелось в куски, ему не очень понравилась, и чтобы предохранить себя от такой опасности, он сделал его заново, подложив внутрь железные



пластинки, так что, в конце концов, остался удовлетворенным прочностью и, считая дальнейшие испытания излишними, одобрил свое изделие и убедил себя в том, что это—настоящий шлем с забралом тончайшей работы.

Затем он подверг осмотру свою клячу, и хотя у ней было больше болезней, чем кварто в реале \* и больше недостатков, чем у лошади Гонеллы \*, которая *tantum pellis et ossa fuit* \*, тем не менее он был уверен, что с ней не сравнится ни Будицал Александра, ни Бабьека Сиды. Четыре дня он придумывал, какое бы ей дать имя; ибо, рассуждал он сам с собой, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря, притом и сам по себе столь замечательный, не имел какогонибудь славного имени. Поэтому ему захотелось назвать его так, чтобы по имени его было сразу понятно, чем он был до того, как сделаться конем странствующего рыцаря, и чем стал теперь: он был твердо убежден, что раз хозяин меняет профессию, то и лошадь его должна переменить кличку и получить новое, славное и громкое название, соответствующее новому сану и положению ее господина. Долго он придумывал разные имена, браковал, отбрасывал, опять сочинял, отвергал и снова напрягал свою память и воображение, пока, наконец, не остановился на имени *Росинант*, которое казалось ему возвышенным, звучным и выразительным: оно показывало, что раньше лошадь его была просто клячей, а теперь стала первой клячей на свете и впереди всех остальных \*.

Дав столь удачное имя своей лошади, он решил, что теперь ему нужно придумать имя для



самого себя. В этих раздумьях прошла еще неделя, но, наконец, он нашел: *дон Кихот*. Вот почему авторы этой правдивой истории, как было уже указано, считают, что нашего идеального без всякого сомнения звали Кихада, а не Кесада, как утверждают некоторые другие. Но вспомнив, что отважный Амадис не счел для себя достаточным зваться просто на просто Амадисом, а присоединил к этому имени название своей родины и царства, чтобы прославить его, и потому стал именоваться Амадисом Галльским, наш кабальеро тоже решил прибавить к своему имени название своей родины и именовать себя *дон Кихотом Ламанчским*: таким образом всем становилось ясно, из какого он рода и страны, и при этом он еще оказывал честь своей родине, присоединяя к своему имени ее название.

И вот, когда оружие было вычищено, шлем с забралом готов, кляча получила новую кличку, и он сам переменял имя, как при конфирмации, ему оставалось только отыскать даму, в которую он мог бы влюбиться; ибо известно, что странствующий рыцарь без любви подобен дереву без листьев и плодов, или телу без души. Он говорил себе: если в наказание за грехи мои или, вернее, по воле счастливой судьбы случится мне какнибудь сойтись с великаном (как это постоянно бывает со странствующими рыцарями), и я опрокину его в первой же схватке, или разрублю его пополам, или, наконец, одолею и заставляю просить пощады, — не прекрасно ли иметь на этот случай даму, к которой можно будет отослать его в дар? Он войдет к моей нежной повелительнице, упадет на колени и покорно и

смиренно скажет: «Я великан Каракульямбро, царь острова Малиндрании; меня победил в единоборстве рыцарь дон Кихот Ламанчский, подвиги которого превосходят всякие похвалы. Он



велел мне предстать перед вашей милостью, дабы ваше высочество распорядилось мной по своему усмотрению». Ах, как возвеселился наш добрый рыцарь, произнеся эту речь, а еще больше — когда он, наконец, нашел, кого сделать дамой своего сердца! Рассказывают, что в соседнем

селе жила очень миловидная молодая крестьянка, в которую он некоторое время был влюблен, хотя она, по слухам, об этом и не догадывалась и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонса Лоренсо: ее то и решил заш рыцарь наградить титулом дамы своего сердца. Подыскивая для нее имя, которое бы не слишком отличалось от ее собственного, но вместе с тем напоминало бы имя какой нибудь принцессы или знатной сеньоры, он решил окрестить ее *Дульсинеей Тобосской*, как как она была родом из Тобосо: именем, на его взгляд, мелодичным, изысканным и не менше выразительным, чем другие, уже выдуманные им имена.

## ГЛАВА II

*в которой рассказывается о первом выезде хитроумного дон Кихота из своих владений*



огда все эти приготовления были закончены, дон Кихот порешил немешкая приступить к выполнению своего замысла, почитая, что всякое его промедление наносит ущерб человечеству: сколько оскорбленных ждут отмщения, сколько несправедливостей нужно исправить, сколько прав—восстановить, злоупотреблений—уничтожить, долгов—уплатить! И вот, не сообщив никому о своих намерениях, в один прекрасный день, еще до рассвета (это был один из самых знойных июльских дней), он тайно от всех вооружился во все свои доспехи, вскочил на Росиванта, надел на голову свой убогий шлем, схватил щит, взял в руки копье и через задние ворота скотного двора выехал в поле, радуясь и веселясь, что ему так легко удалось приступить к столь славному делу. Но не успел он очутиться в открытом поле, как пришла ему в голову мысль такая ужасная, что он чуть было не оставил начатого предприятия: ему припо-

мнилось, что он еще не посвящен в рыцари и что по рыцарским законам он не мог и не смел вступать в бой с каким либо рыцарем; а если бы он даже и был посвящен, то ему следовало бы носить белые доспехи, как новичку, и не изображать на своем щите девиза до тех пор, пока он не заслужит его своей доблестью. От этих размышлений решимость его заколебалась, но безумие одержало верх над всеми доводами; и наш идальго решил, что первый же, кто встретится ему на дороге, посвятит его в рыцари: многие рыцари поступали не иначе, если верить романам, которые довели его до столь плачевного состояния. А что касается белых доспехов, то он дал себе слово при первом же удобном случае так начистить свои латы, чтобы были они белее горноста. На этом он успокоился и продолжал свой путь, вполне предавшись воле своей лошади: в этом то, по его мнению, и состояла сущность приключений.

Плелся шагком наш свежеепеченный рыцарь и разговаривал сам с собой:

— Когда в далеком будущем правдивая повесть о моих знаменитых деяниях увидит свет, мудрый мой историк, дойдя до рассказа о моем первом, столь раннем выезде, наверное начнет так: «Едва светлокудрый Феб распустил по лицу широкой и просторной земли золотые нити своих прекрасных волос, едва маленькие пестрые птички сладкой и нежной гармонией своих мелодичных голосов приветствовали появление румяной Авроры, покинувшей мягкое ложе ревнивого супруга и взглянувшей на смертных с высоты ворот и балконов ламанчского горизонта, как знаме-

нитый рыцарь дон Кихот Ламанчский, встав с изнеживающей перины, вскочил на своего славного коня Росинанта и пустился в путь по древней и знаменитой Монтельской равнине» (по которой действительно в эту минуту он проезжал).

И затем он прибавил:

— Счастливо будет то время и счастлив тот век, когда, наконец, увидят свет мои славные деяния, достойные быть запечатленными на бронзе, высеченными из мрамора и изображенными на полотне на память грядущим поколениям. Кто бы ты ни был, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем моих чудесных дел, прошу тебя, не забудь о добром Росинанте, моем вечном спутнике по всем путям и дорогам!

А потом он заговорил так, как будто и вправду был влюблен:

— О принцесса Дульсинея, владычица моего плененного сердца! Горькую обиду вы мне причинили, изгнав меня и с суровой непреклонностью повелев не показываться на глаза вашей красоте. Да будет вам угодно, сеньора, вспомнить о покорном вам сердце, которое из за любви к вам переносит такие муки.

И он продолжал нанизывать одну нелепицу на другую, совсем так, как его научили рыцарские романы, стараясь по возможности подражать их языку. Ехал он при этом столь медленно, что солнце успело уже высоко подняться и палило с такой силой, что, если бы в его голове оставалось хоть сколько нибудь мозга, и тот бы расплавился. Так проездил он почти целый день, не повстречав ничего такого, о чем бы стоило рассказывать: это приводило его в отчаяние,

потому что ему хотелось как можно скорей с кемнибудь встретиться и испытать силу своей могучей руки. Одни авторы говорят, что случай в ущелье Лаписе был его первым приключением, другие же утверждают, что первым было приключение с ветряными мельницами. Мне, однако, по этому поводу удалось достоверно узнать и отыскать в ламанчских летописях следующее. Наш рыцарь проездил весь этот день, и к вечеру он и его кляча выбились из сил и умирали с голоду. Стал он тогда поглядывать во все стороны в надежде отыскать какойнибудь замок или пастушью хижину, где бы отдохнуть и подкрепить иссякшие силы—и вдруг увидел неподалеку от дороги, по которой ехал, постоялый двор. Обрадовался он ему как путеводной звезде, которая указывала ему путь, но не к яслям, а к самой обители искупления. Стал он погонять лошадь и подъехал к постоялому двору в ту минуту, как начало смёркаться.

Случайно в это самое время у ворот стояли две молодые женщины из тех, что называются дамами легкого поведения: они направлялись в Севилью в обществе нескольких погонщиков мулов, решивших заночевать в этой гостинице. А так как нашему искателю приключений все, что он думал, видел и воображал, представлялось созданным в духе и манере читанных им романов, то, увидев постоялый двор, он тотчас же решил, что это—замок с четырьмя башнями, увенчанными крышами из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубоким рвом, одним словом, со всеми принадлежностями, которые обычно перечисляются при описании замков. Он

приблизился к гостинице (казавшейся ему замком) и в нескольких шагах от ворот, дернув за узду, остановил Росинанта, так как ожидал, что между зубцами башни появится какойнибудь карлик и затрубит в трубу, извещая о прибытии в замок рыцаря. Но так как карлик медлил, а Росинант торопился добраться до конюшни, то дон Кихот подъехал к самым воротам и увидел стоявших там девиц легкого поведения; они показали ему прекрасными девушками или прелестными дамами, вышедшими прогуляться перед воротами замка. И случилось, что в ту самую минуту какойто свинопас, сгоняя с жнива стадо свиней (да простит читатель, что я их называю собственным именем), затрубил в рог, чтобы собрать их в одно место, и дон Кихот немедленно вообразил то, чего ему так хотелось, а именно, что это карлик оповещает о его приезде. Поэтому он с большим удовлетворением подъехал к дамам, а те, увидев, что к ним приближается какойто всадник в странном вооружении, с копьем и щитом, испугались и хотели было бежать в гостиницу. Но дон Кихот, догадавшись, что они удирают от страха, поднял картонное забрало и, показав свое худое запыленное лицо, с отменной учтивостью и непринужденным видом произнес:

— Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь, что я вас чемнибудь обижу, ибо не в нравах и не в обычае рыцарского ордена, к которому я принадлежу, чинить обиды кому бы то ни было, а тем более столь знатным,—как можно заключить по вашему виду,—девицам.

Женщины уставились на него, стараясь разглядеть его лицо, полузакрытое дрянным за-



бралом. Когда же они услышали, что незнакомец величает их девицами—титолом, столь мало подходящим к их ремеслу, они не могли удержаться от смеха. Их веселость рассердила дон Кихота, и он сказал:

— Красавицам подобает быть рассудительными, да и вообще только глупцы смеются по пустякам. Говорю вам это не в укор и не в обиду, ибо единственное мое желание—служить вам.

Эти речи, каких обе дамы еще никогда не слышали, и вдобавок жалкая внешность нашего рыцаря заставили их еще громче расхохотаться, отчего дон Кихот еще сильнее разгневался, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время не появился хозяин гостиницы, человек весьма тучный, а посему и очень миролюбивый. Увидев перед собой эту нелепую фигуру, вооруженную столь разнокалиберными предметами\*, как копьё, легкий щит, панцырь и грузная сбруя, он хотел было присоединиться к обеим девицам в выражениях восторга. Однако, испугавшись этой груды воинских доспехов, он решил заговорить вежливо и начал так:

— Если вашей милости, сеньор рыцарь, угодно здесь остановиться, вы найдете все, что полагается, в большом изобилии, за исключением только кровати: ни одной кровати нет в нашей гостинице.

Дон Кихот, услышав, как почтительно говорит с ним комендант крепости (ибо хозяина, конечно, он принял за коменданта, а гостиницу—за крепость), ответил:

— Что бы вы мне ни предложили, сеньор кастелян \*, я всем буду доволен, ибо, как говорится:

Мой наряд—мои доспехи,  
А мой отдых—жаркий бой \*.

Хозяин подумал, что дон Кихот назвал его кастеляном, приняв его за честного кастильца (тогда как на самом деле был он андалузиец, с побережья Сан Лúкара \* и вороватостью мог потягаться с самим Каком \*, а мошенничествами с любым школяром или слугой), и потому ответил так:

— Значит, для вашей милости ложем служит твердый камень, а сном — постоянное бденье \*? Если так, вы можете спешиться в полной уверенности, что в этой хижине найдете все для этого необходимое и проведете без сна не только одну ночь, а хоть целый год.

С этими словами он придержал стремя, и дон Кихот спешился с большим трудом и усилиями, ибо целый день ничего не ел.

Затем он попросил хозяина с особенной заботливостью отнестись к его коню, говоря, что это лучшее из всех животных, питающихся ячменем. Взглянув на Росинанта, хозяин отнюдь не нашел его таким замечательным, как говорил дон Кихот, а скорей даже совсем наоборот. Отведя лошадь в конюшню, он вернулся спросить, не угодно ли чего гостю. В это время девицы, уже успевшие помириться с нашим рыцарем, снимали с него доспехи. Нагрудник и наспинник снять им удалось, но расстегнуть ожерельник \* и стащить уродливый шлем — никак было невоз-

можно. Последний был завязан на шее зелеными лентами, и так как узлы нельзя было распутать, то оставалось только разрезать ленты, а на это



дон Кихот никоим образом не желал согласиться; так он и просидел всю эту ночь в шлеме. Трудно было себе представить более странную и забавную картину. Пока потаскушки его разоружали

(а он то воображал, что это — знатные сеньоры, обитающие в этом замке!), он с большим изяществом декламировал:

Никогда так нежно дамы  
Не пеклись о паладине,  
Как пеклись о дон Кихоте,  
Из своих земель прибывшем:  
Служат фрейлны ему,  
Скакуну его — графини,

то есть Росинанту, ибо так зовут моего коня, сеньоры, а мое имя — дон Кихот Ламанчский. Правда, мне не хотелось открывать вам мое имя до тех пор, пока подвиги, совершенные ради службы вам и во славу мне, не сделают его известным; но удобный случай применить к теперешним обстоятельствам этот старый романс о Ланселоте побудил меня сообщить вам его раньше срока. Впрочем, наступит время—вы будете мне приказывать, а я вам повиноваться, и доблесть моей руки покажет вам, как горячо я желаю вам служить.

Красотки, не привыкшие к подобным риторическим красотам, не отвечали ни слова; они только осведомились, не желает ли он подкрепиться.

— Да, я бы поел чегонибудь,—ответил дон Кихот,—и, думается мне, это было бы очень кстати.

Как нарочно, была нятница, и во всей гостинице не нашлось ничего другого, кроме небольшого запаса рыбы, которую в Кастилии называют абадехо, в Андалузии бакалья, а в других местах курадильо, или еще форельками\*.

Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать «форелек», так как никакой другой рыбы они не могут ему предложить. Он ответил:

— Лишь бы было побольше этих *форелек*, тогда они заменят одну форель: не все ли равно, получить восемь реалов в мелкой монете или одну монету в восемь реалов? Притом вполне возможно, что *форельки* нежнее, чем большие форели, точно так же, как телятина нежнее говядины и мясо козленка вкуснее, чем мясо козла. Но как бы там ни было, давайте их скорей, ибо никто не в силах нести воинские труды и таскать тяжелое вооружение, не забываясь о требованиях желудка.

Поставили стол перед воротами гостиницы, чтобы было прохладнее, и хозяин принес дон Кихоту порцию плохо вымоченной и отвратительно сваренной трески и кусок хлеба, такого же черного и заплесневевшего, как его доспехи. Трудно было не расхохотаться, видя, как он ел, так как на голове у него был шлем с поднятым забралом, и собственными руками он не мог поднести ко рту ни одного куска; нужно было, чтобы ктонибудь другой подавал их ему и клал прямо в рот. Одна из дам взяла это на себя. Но напоить его было бы совсем невозможно, если бы хозяин не придумал продолбить тростинку, один конец которой он вставил ему в рот, а через другой лил вино. Все это дон Кихот переносил с большим терпением, лишь бы только не резать завязок своего шлема. В это время случайно зашел на постоялый двор крестьянин, занимавшийся охлаждением борцов,

и войдя, раза четыре или пять свистнул в свою камышевую свистульку. Тут дон Кихот окончательно убедился, что попал в какой то знаменитый замок, что на пиру играет музыка, что треска—форель, серый хлеб—белая булка, потаскушки—знатные дамы, а хозяин — владелец замка. Поэтому он был в восторге и от своего замысла и от первого выезда. Удручало его только то, что он не посвящен в рыцари: он считал, что у него нет законного права искать приключений, раз он не принадлежит к рыцарскому ордену.

### ГЛАВА III

*в которой рассказывается о том, каким презабавным способом дон Кихот был посвящен в рыцари*



друченный этими мыслями, дон Кихот поспешил закончить свой скудный трактирный ужин. Встав из за стола, он подозвал хозяина, заперся с ним в конюшне и, бросившись перед ним на колени, начал так:

— О доблестный рыцарь, я не встану с этого места, пока ваша любезность не соблаговолит исполнить мою просьбу: то, о чем я вас собираюсь просить, послужит на славу вам и на благо человеческому роду.

Увидев, что гость стоит на коленях, и услышав подобные речи, хозяин смутился и смотрел на него, не зная что говорить и что делать; затем стал упрашивать его подняться, но дон Кихот ни за что не хотел встать, пока, наконец, хозяин не пообещал оказать ему просимую милость.

— Я был уверен, сеньор, что по безграничному благородству вашему вы мне не откажете, — сказал дон Кихот. — Итак милость, о которой я вас просил, и которую по щедрости вашей

вы мне обещали, состоит в том, чтобы завтра на рассвете вы посвятили меня в рыцари. Всю эту ночь я проведу в бдении над оружием в часовне вашего замка, а завтра, как я уже сказал, исполнится, наконец, мое горячее желание, и я смогу законным образом пуститься в странствия по всем четырем странам света и искать приключений, чтобы помогать обездоленным: ибо таково назначение странствующего рыцарства и всех подобных мне странствующих рыцарей, стремящихся к совершению названных мною подвигов.

Мы уже говорили, что хозяин был малый не промах и немного догадывался, что гость его— сумасшедший; услышав столь странные речи, он окончательно в этом убедился и, чтобы позабавиться этой ночью, решил потакать его сумасбродству. Поэтому он ответил дон Кихоту, что желание и просьба его вполне разумны, что, судя по его гордой внешности и манерам, он, должно быть, благородный рыцарь и что подобное намерение вполне естественно и достойно его звания; что он и сам в молодости занимался этим почетным делом и странствовал по разным частям света в поисках приключений, не преминув посетить Перчелес под Малагой, острова Ринарана, севильский Компас, Асогехо в Сеговии, Оливеру в Валенсии, Рондилью в Гранаде, побережье Сан Лукара, Потро в Кордове, постоянные дворы Толедо\* и многие другие места, где он упражнялся в проворстве ног и ловкости рук и проделывал много всяких проказ: оскорблял вдов, обижал девиц, обманывал малолетних, одним словом прогремел по всем судам и тюрь-



мам, какие только есть в Испании; но на склоне дней своих поселился он в этом замке и живет здесь на свой счет, а также и на чужой, принимая у себя всех странствующих рыцарей, какого бы звания и состояния они ни были, единственно по своей великой любви к ним, с условием, конечно, чтобы в награду за его доброе отношение они делились с ним своим достоинством. Затем он прибавил, что в замке нет часовни, где можно было бы провести ночь в бдении над оружием, так как старую он велел снести, желая отстроить ее заново; но ему известно, что в случае необходимости разрешается ночь перед посвящением проводить где угодно; что дон Кихот может провести ее во дворе замка, а завтра, если богу будет угодно, он со всеми должными церемониями будет посвящен в рыцари, да еще в такие рыцари, что лучше и не бывает.

Наконец, он спросил, есть ли у дон Кихота при себе деньги. Тот ответил, что у него нет ни гроша, так как ни в одном романе ему не приходилось читать, чтобы странствующие рыцари возили с собой деньги; на что хозяин ответил, что он ошибается, что в романах об этом, правда, не пишется, так как авторы не полагают нужным упоминать о столь очевидно необходимых вещах, как например деньги или чистые рубашки, но из этого вовсе не следует, что у рыцарей не было при себе ни того, ни другого; напротив, он достоверно и твердо знает, что странствующие рыцари, подвигами которых переполнено столько романов, всегда имели при себе на всякий случай туго набитые кошельки,

равно как рубашки и баночку с мазью, которой они лечили свои раны: ведь не каждый же раз в полях и пустынях, где они сражались и падали ранеными, можно было разыскать лекаря! Конечно, некоторые из них бывали в дружбе с каким нибудь мудрым волшебником, и тогда тот прямо по воздуху посылал им на облаке какую нибудь девицу или карлика с пузырьком чудодейственной воды: стоило только рыцарям выпить несколько капель, как тотчас же раны и язвы их исчезали, как будто их никогда и не было; но когда у них не находилось такого покровителя, рыцари былых времен считали вполне уместным, чтобы их оруженосцы были снабжены деньгами и другими необходимыми вещами, как например мазями и корпией на случай ранения; а если случалось, что у них не было оруженосцев (что, впрочем, бывало очень редко), то они сами возили все эти запасы в маленьких сумочках, тщательно спрятанных на крупе у лошади, словно предмет первостепенной важности, ибо, за исключением подобных случаев, у странствующих рыцарей не было в обычае возить с собой сумку. Итак, хозяин посоветовал дон Кихоту (хотя он мог бы ему и приказывать, как младшему собрату, каковым в недалеком будущем ему надлежало стать) не цускаться отныне в путь без денег и необходимых запасов: он сам увидит, что они пригодятся ему, когда он менее всего будет на них рассчитывать.

Дон Кихот обещал в точности последовать его совету и тотчас же стал готовиться провести ночь перед посвящением на большом дворе, примыкавшем к гостинице. Он собрал

все свои доспехи, положил их на колоду, стоявшую около колодца и, схватив копьё и щит, принялся с большим достоинством прохаживаться перед колодой. Уже наступала ночь, когда он начал эту прогулку.

Хозяин рассказал всем своим постояльцам о безумии дон Кихота, о том, что он бдит над оружием и завтра ожидает посвящения в рыцари. Удивленные таким странным видом помещательства, все они пошли посмотреть на него и издали увидели, что наш рыцарь то мирно и важно прогуливается, то, опершись на копьё, устремляет взоры на свои доспехи и смотрит на них не отрываясь долгое время. Между тем, совсем наступила ночь, но луна сияла так ярко, что было светло как днем, и зрителям было видно все, что делал наш поступающий в орден рыцарь. В это время одному из погонщиков, ночевавших в гостинице, вздумалось сходить за водой, чтобы напоить своих мулов, а для этого ему нужно было сбросить с колоды доспехи дон Кихота. Последний, заслышав его шаги, заговорил громким голосом:

— Кто бы ни был ты, дерзостный рыцарь, простирающий руку к доспехам самого доблестного из всех странствующих рыцарей, когда либо опоясывавших себя шпагой, подумай сначала, что ты делаешь! Не прикасайся к ним, не то ты заплатишь жизнью за свою дерзость.

Погонщик и головы не повернул на эти слова (и напрасно, потому что тогда бы его голова осталась цела); напротив, он подхватил доспехи за ремни и швырнул их далеко в сторону. Увидев это, дон Кихот устремил глаза к небу

и, видимо, обращаясь мысленно к своей сеньоре Дульсинее, сказал:

— Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде, нанесенной порабощенному вами доблестному сердцу: не лишите меня в этом первом испытании вашей милости и опоры.

И, продолжая свою речь в том же роде, он отложил в сторону щит, поднял обеими руками копьё и с такой силой хватил погонщика по голове, что тот растянулся на земле в самом плачевном виде: если бы дон Кихот нанес еще один удар, его противнику было бы уж незачем обращаться к врачу. Сделав дело, дон Кихот уложил обратно свои доспехи и принялся расхаживать так же спокойно, как и прежде. Спустя некоторое время, не подозревая о случившемся (ибо первый погонщик все еще лежал, оглушенный ударом), вышел второй погонщик, который тоже хотел напоить своих мулов, и когда, чтобы очистить колоду, он стал снимать с нее доспехи, дон Кихот, ни слова не говоря и ни у кого не прося заступничества, вторично отложил в сторону щит, вторично поднял копьё и хватил им второго погонщика по голове так удачно, что не копьё сломалось на три части, а череп раскололся на целых четыре. На шум прибежали все постояльцы, в том числе и хозяин. Увидев их, дон Кихот схватил щит и, взявшись за шпагу, воскликнул:

— О дарственная красота, крепость и сила моего изнемогшего сердца. Наступил час, когда ты должна обратить взоры твоего величия на плененного тобой рыцаря, вступающего в столь великую битву.

И казалось ему, что эти слова пробудили в нем такую отвагу, что, напади на него все погонщики на свете, он и тогда не отступил бы ни на один шаг. Товарищи раненых погонщиков, увидя их простертыми на земле, стали издали осыпать градом камней дон Кихота, который как мог защищался от них щитом, но не отходил от колоды, не желая покинуть свои доспехи. А хозяин кричал, чтобы они перестали: он де уже объяснил им, что этот человек—сумасшедший, всех их перебьет, а с него, как с сумасшедшего, ничего не взыщешь. Но дон Кихот кричал еще громче, называя их всех негодьями и предателями, а владельца замка—лихим вероломцем, допускающим, чтобы странствующие рыцари терпели в его замке такие обиды; и прибавлял, что, будь он уже посвящен в рыцари, он бы его тотчас проучил за такое предательство.

— А вы, подлые и низкие холопы, я вас просто презираю: швыряйте камни, подходите, подступайте, нападайте, сколько вам вздумается,— вы получите сейчас награду за вашу наглость и безумие!

Говорил он это с таким задором и отвагой, что нападающих охватил великий страх. Под влиянием этого страха, а также угворов хозяина, они в конце концов перестали бросать камни, после чего дон Кихот позволил убрать раненых и снова принялся охранять доспехи с прежней важностью и спокойствием.

Эти шутки пришлись хозяину не по вкусу, и чтобы положить делу конец, он решил немедленно посвятить гостя в этот чортов рыцарский орден,

пока не приключилось еще новой беды. Посему он приблизился к дон Кихоту и, извинившись за наглость, с которой без всякого его ведома обошлась с ним эта подлая челядь, обещал примерно наказать ее за дерзость. Затем еще раз повторил, что в замке не имеется часовни, да впрочем она и не нужна, так как уже почти все сделано: поскольку он сведущ в рыцарском церемониале, вся хитрость посвящения в рыцари состоит в ударе рукой по затылку и шпагой по плечу, а ведь это можно проделать и посреди поля; что же касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, ибо обычно продолжается оно всего два часа, а дон Кихот простоял уже более четырех. Наш рыцарь всему этому поверил и ответил, что он готов повиноваться и просит исполнить обряд возможно скорее: ибо когда он будет посвящен и комунибудь снова вздумается на него напасть, он не оставит в замке ни одной живой души, пощадив, из уважения к владельцу замка, лишь тех, за кого тот заступится.

Напуганный этими словами, хозяин, человек сметливый, тотчас же притащил книгу, в которой он записывал, сколько ячменя и соломы было выдано погонщикам; затем, в сопровождении мальчика, несшего огарок свечи, и двух уже упомянутых девиц, приблизился к дон Кихоту, велел ему опуститься на колени и, сделав вид, что читает по книге какую то благочестивую молитву, посреди чтения поднял руку и со всего размаха хлопнул его по шее, потом его же собственной шпагой здорово хватил по плечу, продолжая бормотать себе под нос что то



в роде молитвы. Сделав это, он велел одной из этих дам опоясать посвященного мечом, что та и исполнила с большой ловкостью и сдержанностью; да и понятно, что ей приходилось сдерживаться: каждую минуту во время этой церемонии она готова была лопнуть со смеху; однако, подвиги, которые, рыцарь, готовясь к своему посвящению, проделал на ее глазах во дворе, заставили ее подавить смех. Опоясывая его мечом, добрая сеньора сказала:

— Пошли бог вашей милости счастья в рыцарских делах и удачи в сражениях.

Дон Кихот спросил, как ее зовут, ибо он желал знать на будущее время, какой даме он обязан столь великой милостью, чтобы со временем разделить с ней почести, которых он надеялся достичь силою своей руки. Она с большим смирением отвечала, что зовут ее Ла Толоса, что она дочь сапожника из Толедо, живущего в рядах Санчо Бьенайи, и что где бы она ни находилась, она всюду готова ему служить и почитать своим господином. Дон Кихот попросил ее из любви к нему сделать ему милость, — отныне прибавлять к своему имени *дон* и именоваться доньей Толосой. Она пообещала. Затем другая дама надела ему шпоры, и с нею у него произошел такой же разговор, как и с той, что опоясала его мечом. Он спросил, как ее имя, и она ответила, что зовут ее Ла Молинера, и что она дочь честного мельника из Антекеры. Ее дон Кихот тоже попросил прибавить к своему имени *дон* и называться доньей Молинерой; при этом он рассыпался перед ней в благодарностях и предложениях услуг. Когда все эти еще доселе неви-



данные церемонии были проделаны с такой быстротой и таким галопом, дон Кихот поторопился сесть на коня: очень уж не терпелось ему отправиться на поиски приключений. Он оседлал Росинанта, вскочил на него и, обняв хозяина, стал благодарить его за посвящение в таких необыкновенных выражениях, что нет никакой возможности передать их. А хозяин, обрадованный его отъездом, отвечал на его речи более краткими, но не менее риторическими фразами и, не взяв ничего за ночлег, отпустил его по добру по здорову.

## ГЛАВА IV

*о том, что случилось с нашим рыцарем после того,  
как он выехал с постоялого двора*



же рассветало, когда дон Кихот выехал с постоялого двора, и был он так доволен, так горд, так взволнован своим посвящением в рыцари, что от радости у него подруги ходуном ходили. Но вспомнив о советах хозяина относительно необходимых запасов, которые следует брать с собой,—особенно деньги и рубашки,—он решил вернуться домой, чтобы запастись всем нужным и подыскать себе оруженосца: он рассчитывал при этом на одного крестьянина, своего соседа, человека бедного и многосемейного, но весьма пригодного для должности рыцарского оруженосца. С этими мыслями он повернул Росинанта по направлению к деревне, и тот, как будто поняв желание своего господина, с такой готовностью побежал рысцой, что, казалось, копыта его не касались земли.

Не успел наш рыцарь проехать нескольких шагов, как показалось ему, что из чащи леса, находившегося по правую его руку, послышались

слабые и жалобные стоны; и, едва услышав их, он сказал:

— Благодарю небо за милость, мне ниспосланную! Вот уже и представляется мне случай исполнить долг рыцаря и пожать плоды моего благородного решения: несомненно, это стонет какой нибудь нуждающийся или нуждающаяся, имеющие нужду в моем заступничестве и помощи.

И, дернув Росинанта за узду, он поспешил в ту сторону, откуда раздавались стоны. Как только он въехал в лес, глазам его предстала кобыла, привязанная к дубу, а рядом с ней к другому дереву был привязан мальчик лет пятнадцати, обнаженный до пояса; это он и стонал, да и не без причины, так как какой то дюжий крестьянин нещадно стегал его ремненным поясом, сопровождая каждый удар назиданиями и советами.

— Вперед не зевай, — приговаривал он, — а сейчас помалкивай.

Мальчик отвечал:

— Больше никогда не буду, сеньор; клянусь страстями господними, никогда больше не буду; даю вам слово, что вперед буду лучше смотреть за стадом.

Увидев эту картину, дон Кихот воскликнул гневным голосом:

— Недостойный рыцарь, стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться: садитесь на коня, берите копьё (копьё крестьянина \* стояло прислоненное к тому же дубу, к которому была привязана кобыла), и я вам докажу всю низость вашего поступка.

Увидев над своей головой какую то фигуру, увешанную оружием и размахивающую копьём

перед самым его носом, крестьянин решил, что пришел ему конец, и потому кротким голосом ответил:

— Сеньор рыцарь, мальчишка, которого я наказываю—мой слуга, пасущий неподалеку отсюда стадо моих овец; он такой разиня, что у меня каждый день пропадает по овце. Я его наказываю за небрежность и злонаравие, а он утверждает, что я это делаю из злобы, чтобы не платить ему жалованье. Он жет, клянусь вам богом и спасением души!

— «Жет»! Ты это говоришь в моем присутствии, низкий грубиян? \* — воскликнул дон Кихот. — Клянусь солнцем, которое нам светит, я сейчас насквозь проткну тебя копьём. Немедленно же уплати ему и не разговаривай; не то—клянусь царем небесным!—я одним ударом вышибу из тебя дух и прикончу на месте. Сейчас же отвяжи его!

Крестьянин понурил голову и, не говоря ни слова, отвязал мальчика, а дон Кихот спросил у того, сколько хозяин ему должен. Мальчик отвечал, что за девять месяцев, считая по семи реалов \* в месяц. Дон Кихот подсчитал—вышло шестьдесят три реала—и потребовал у крестьянина немедленно же раскошелиться или готовиться к смерти. Испуганный крестьянин поклялся грозящей ему гибелью и сослался на свою предыдущую клятву (хотя он вовсе и не клялся), что долг его не так велик; что следует записать в счет и вычесть из этой суммы стоимость трех пар башмаков, которые слуга сносил, и двух кровоусканий, сделанных ему во время болезни и стоивших один реал.

— Допустим, что так,—ответил дон Кихот.— Но отстегав его без всякой вины, вы получили, сполна и за сапоги, и за кровопускания; ибо, если он порвал кожу башмаков, которые вы ему купили, то и вы порвали ему его собственную кожу; и если дырюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете кровь у здорового. Значит, в этом отношении вы с ним квиты.

— Да все то горе в том, сеньор рыцарь, что у меня при себе нет денег. Пускай Андрес отправится со мной домой, и я заплачу ему все до последнего реала!

— Чтобы я с ним пошел?—воскликнул мальчик.— Да ни за что, сеньор, сохрани меня бог! И не подумаю. Ведь как только мы с ним останемся вдвоем, он сдерет с меня кожу, как со святого Варфоломея.

— Он этого не сделает,—возразил дон Кихот.— Достаточно мне ему приказать, и он окажет мне почтение. Пусть он только поклянется рыцарским орденом, к которому принадлежит, и я отпущу его и поручусь, что он тебе заплатит.

— Да подумайте, ваша милость, сеньор, что вы говорите!—сказал мальчик.— Мой хозяин вовсе не рыцарь и ни в какой рыцарский орден не записан: ведь это—Хуан Альдудо, богач из деревни Кинтанар.

— Это не важно,—отвечал дон Кихот.— И Альдудо может быть рыцарем, тем более, что каждый из нас—сын своих дел.

— Это то правда,—сказал Андрес.— Но, только мой хозяин, каких же таких дел он сын, раз он отказывается мне заплатить за труды и службу?

— Я не отказываюсь, сыночек Андрес,— преврал его крестьянин.—Сделайте только милость последовать за мной, и я клянусь вам всеми рыцарскими орденами, какие только есть на свете, что заплачу вам, как уже сказал, все до последнего реала, да еще в новенькой монете.

— Разрешаю вам и не в новенькой,—сказал дон Кихот.— Я буду вполне удовлетворен, если вы заплатите обыкновенными реалами. Смотрите же, сдержите вашу клятву—не то я, в свою очередь, клянусь вам, что вернусь, отыщу вас и накажу: вы можете спрятаться, как ящерица — все равно я вас найду. А если вам угодно знать, кто вам это приказывает, так знайте же (теперь вы с большим рвением исполните обещание): я—доблестный дон Кихот Ламанчский, мститель за обиды и несправедливости. Оставляйтесь с богом и не забудьте об обещании и клятве, не то вас постигнет кара, мною вам обещанная.

С этими словами он дал шпоры Росинанту и быстро удалился от них. Крестьянин проводил его глазами и, убедившись, что рыцарь скрылся в лесной чаще и исчез из виду, обратился к своему слуге Андресу и сказал:

— Подойди ка сюда, сыночек, я хочу заплатить тебе свой долг, как мне приказано этим мстителем за обиды.

— Даю вам слово,— отвечал Андрес,— что ваша милость поступит очень хорошо, если исполнит приказ этого доброго рыцаря—дай ему бог тысячу лет жизни за его доблесть и правый суд! И клянусь вам святым Роке, что если вы мне не заплатите, он тотчас же вернется и расправится с вами, как обещал.

— И я тоже клянусь,—ответил крестьянин,— а так как я очень тебя люблю, то сейчас увеличу долг, чтобы увеличить платеж.

И, схватив его за руку, он снова привязал его к дубу и отстегал до полусмерти.

— Ну, а теперь, сеньор Андрес,—молвил крестьянин,—вы можете звать вашего мстителя за обиды: увидите, как он за вас отомстит. Впрочем, мне кажется, что я вам нанес эту обиду еще не сполна: уж больно мне хочется содрать с вас живого кожу, как вы сами этого опасались.

Все же, в конце концов, он его отвязал и дал ему разрешение отправиться на поиски своего судьи, дабы тот исполнил произнесенный им приговор. Андрес с унылым видом ушел, клянясь, что он разыщет доблестного дон Кихота Ламанчского и расскажет ему во всех подробностях о случившемся, и тогда хозяину придется заплатить сторицей. Но, как бы там ни было, он ушел в слезах, а хозяин его стоял и смеялся: вот каким способом доблестный дон Кихот отомстил за обиду.

Между тем, нашему рыцарю казалось, что он положил прекрасное и счастливое начало своим рыцарским подвигам. Вполне удовлетворенный происшедшим и крайне довольный самим собой, он продолжал ехать в сторону своего села, говоря вполголоса:

— О, прекрасная Дюльсинея Тобосская, поистине можешь ты почитать себя счастливейшей из всех женщин, ныне живущих на земле, о красавица из красавиц! ибо тебе даровано судьбою повелевать, как рабу, покорному твоей воле и желаниям, столь отважным и славным рыцарем,

каким явил себя и впредь явит дон Кихот Ламанчский. Весь мир знает, что вчера он был посвящен в рыцари, а сегодня уж отомстил за обиду и несправедливость, каких никогда еще не измышляло злонравие и не совершала жестокость: ибо сегодня он вырвал бич из рук бесчестного злодея, который без всякой причины истязал слабого отрока.

Тут он подъехал к месту, где скрещивалось четыре дороги, и тотчас же ему пришло на память, что странствующие рыцари обычно останавливались на перепутьях и размышляли, по какой дороге поехать. Чтобы последовать их примеру, он тоже постоял некоторое время и, хорошенько обдумав положение, отпустил Росинанту узду и подчинил свою волю воле клячи, которая осталась при своем первом намерении, то есть избрала путь, ведущий в конюшню. Проехав с две мили, дон Кихот заметил большую компанию людей: это были, как впоследствии выяснилось, купцы из Толедо, направлявшиеся в Мурсию закупать шелк. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в сопровождении четырех верховых слуг и трех мальчиков — погонщиков мулов, шедших пешком. Не успел дон Кихот их разглядеть, как ему уже представилось, что его ждет новое приключение; и желая во всем, поскольку это казалось ему возможным, подражать обычаям, о которых он читал в романах, он решил, что тут будет кстати исполнить один задуманный им план. Поэтому с гордым и отважным видом укрепился он в стремени, сжал в руке копьё, прикрыл грудь щитом и, остановившись посередине дороги, стал поджи-



дать приближения странствующих рыцарей (ибо таковыми он считал купцов); а когда они подъехали на такое расстояние, что могли его видеть и слышать, он возвысил голос и горделиво сказал:

— Ни один из вас не сделает шагу дальше, если вы не признаете, что во всем свете нет девицы более прекрасной, чем императрица Ламанчи, несравненная Дульсинья Тобосская!

Услышав такие слова и увидев странную фигуру говорившего, купцы остановились: и по словам, и по фигуре незнакомца они сразу догадались, что он сумасшедший. Но им хотелось узнать, почему он требует от них такого признания, и один из них, немножко шутник и пре-большой остроумец, ответил:

— Сеньор рыцарь, мы не знаем, кто эта добрая сеньора, о которой вы говорите. Покажите ее нам, и если окажется, что она и вправду так красива, как вы утверждаете, мы с полной охотой и без всякого принуждения признаем это и исполним ваше требование.

— Если я вам ее покажу,—сказал дон Кихот,—и вы признаете столь очевидную истину,—в чем же будет заслуга? Я именно требую от вас, чтобы вы, не видев ее, поверили, признали, подтвердили, поклялись и отстаивали эту истину. В противном случае я вызываю вас на бой, безобразные и наглые людишки. Выходите либо по очереди, как этого требует рыцарский закон, либо все вместе, по дурному обыкновению людей вашего звания: я жду вас и готов достойно встретить, уверенный в своей крепкой правоте.

— Сеньор рыцарь,—ответил купец,—умоляю вашу милость от имени всех этих принцев, моих

спутников,—чтобы не пришлось нам брать на душу греха, признавая нечто, чего мы никогда не видели и о чем никогда не слышали, тем более, что этим признанием мы наносим большой ущерб императрицам и королевам Алькаррии и Эстремадуры\*, —показать нам какойнибудь портрет этой сеньоры, будь он не больше пшеничного зерна: говорится ведь, что по шерстинке узнают овечку! Это нас вполне успокоит и убедит, и ваша милость тогда удовлетворится, получив желаемое. Мы уж и сейчас настолько склонны согласиться с вами, что если на портрете, который вы нам покажете, обнаружится, что дама ваша на один глаз крива, а из другого у нее сочтется киноварь и сера, мы все равно, в угоду вашей милости, признаем за ней какие вам будет угодно достоинства.

— Ничего подобного у нее не сочтется, подлый негодяй,—вскричал, распалившись гневом, дон Кихот,—слышите, ничего подобного! Она источает драгоценную амбру и мускус, и вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как гуадаррамское веретено\*. Вы мне заплатите за величайшее кощунство, которым вы оскорбили несравненную красоту моей дамы!

И, сказав эти слова, он взял копьё на перевес и в бешенстве и гневѣ устремился на своего собеседника, так что, если бы на счастье его посредине дороги Росинант не споткнулся и не упал, то дерзкому купцу пришлось бы плохо. Росинант упал, и дон Кихот отлетел далеко в сторону. Несмотря на все свои усилия, он никак не мог встать на ноги: очень уж ему мешали копьё, щит, шпоры, шлем и тяжелые старые доспехи.

Тщетно стараясь подняться, он между тем продолжал говорить:

— Не бегите, трусы, негодяи, погодите! Не моя вина, что я упал, это мой конь виноват!



Один из погонщиков мулов, видимо не отличающийся кротостью, услышав, что выбитый из седла бедный рыцарь продолжает осыпать их оскорблениями, не мог этого стерпеть и решил в ответ пересчитать ему ребра. Он подошел

к дон Кихоту, выхватил у него копьё, сломал его в куски и одним из них принялся так колотить нашего рыцаря, что, несмотря на его доспехи, измолот его, как мешок с зерном. Купцы кричали, чтобы он перестал и прекратил его бить, но погонщик увлекся и не хотел бросать игры, пока не истощил весь запас своего гнева. Он брал в руки один кусок копьё за другим и ломал их на спине несчастного, простертого на земле рыцаря, который несмотря на сыпавшийся на него град ударов, не умолкал и продолжал угрожать небу, земле и тем, кого он принимал за разбойников.

Наконец, погонщик устал, и купцы поехали дальше; разговор о бедном избитом рыцаре хватило у них на все путешествие. Дон Кихот, увидев, что враги удалились, снова попробовал подняться. Но если раньше, целый и невредимый, он не мог встать, то как теперь, избитый до полусмерти, мог бы он это сделать? И все таки он почитал себя счастливым, воображая, что именно такие невзгоды случаются со странствующими рыцарями и что во всем виноват его конь; только встать он никак не мог, так болели у него все кости.

## ГЛАВА V

*в которой продолжается рассказ о злополучии  
нашего рыцаря*



так, убедившись, что он действительно не в силах шевельнуться, наш рыцарь решил прибегнуть к своему обычному лекарству, а именно вспомнить о какомнибудь случае из романов; и его безумному воображению представилась сцена между Балдуином и маркизом Мантуанским, когда Карлото оставил Балдуина раненым в горах,—история, хорошо знакомая детям, неизвестная юношам, пользующаяся любовью и доверием старцев и, несмотря на все это, не более достоверная, чем чудеса Магомета. Дон Кихоту показалось, что она вполне подходит к его печальному положению; и вот, стал он кататься по земле и с глубоким чувством повторять слабым голосом слова, вложенные автором романса в уста раненого Рыцаря Леса:

О приди, моя сеньора,  
Разделить мою печаль!  
Или ты о ней не знаешь,  
Иль тебе меня не жаль?

Продолжая этот романс, он дошел до следующих стихов:

О, властитель Мантуанский  
Дядя мой и государь!

Судьба устроила так, что в то самое время когда он дошел до этих строк, по дороге случайно проходил крестьянин, житель того же самого села, что и наш рыцарь; он возвращался с мельницы, куда отвозил зерно и, увидя человека, лежащего на земле, подошел к нему и спросил, кто он такой, что у него болит и почему он так жалобно стонет. Дон Кихот должно быть подумал, что перед ним его дядя, маркиз Мантуанский, и поэтому, не отвечая ни слова, продолжал свой романс, в котором говорилось о его несчастиях и о любви сына императора к его супруге, одним словом все, что в этом романсе поется.

Все эти нелепости привели крестьянина в изумление. Сняв с дон Кихота забрало, разломавшееся от палочных ударов, он обтер его покрытое пылью лицо и, обтерев, тотчас его узнал и сказал:

— Сеньор Кехана (ибо так его звали, когда он еще был в своем разуме и не превращался из мирного идалго в странствующего рыцаря), кто это вас так отделал?

Но дон Кихот, не отвечая, продолжал свой романс. Тогда добряк, старательно, как только мог, снял с него нагрудник и наспинник, чтобы посмотреть, не ранен ли он; но ни ран, ни крови не оказалось. Затем поднял его с земли и с большим трудом усадил на



своего осла, так как ему казалось, что ехать на осле больному будет спокойнее. Наконец, он подобрал оружие, даже обломки копья, привязал все это к седлу Росинанта, взял за уздечку и лошадь и осла, и направился к деревне, размышляя о безумных речах, которые произносил дон Кихот. Но и тот ехал в неменьшей задумчивости, будучи так избит и помят, что едва мог держаться в седле. От времени до времени он испускал вздохи, долетавшие, казалось, до самого неба; это побудило крестьянина снова спросить его, что у него болит. Надо думать, что дон Кихоту сам дьявол приводил на память разные истории, напоминавшие его собственные приключения, ибо в этот момент он забыл о Балдуине и вспомнил о том, как правитель Антекеры, Родриго де Нарваэс, захватил мавра Абиндарраэса и заключил его в своем замке. Поэтому, когда крестьянин во второй раз спросил его, как он себя чувствует и что у него болит, он ему ответил в тех же словах и выражениях, в каких пленный Абенсерах \* отвечает Родриго де Нарваэсу в *Диане* Хорхе де Монтемайора, которую читал наш рыцарь. И он так удачно применил к себе это место, что крестьянин, услышав всю эту кучу нелепостей, готов был душу свою продать чорту; тут то он понял, что сосед его рехнулся, и стал торопиться доехать до дому, ибо пространные речи дон Кихота до смерти ему наскучили. А тот в заключение заявил:

— Знайте же, ваша милость, сеньор дон Родриго де Нарваэс, что прекрасная Харифа, о которой я вам только что говорил, ныне—прекрасная Дульсинья Тобосская, в честь которой



я совершал, совершаю и совершу такие славные подвиги, каких никто на свете не видал, не видит и не увидит никогда.

Крестьянин на это ответил:

— Да поймите, ваша милость, сеньор,—ох, горе мне грешному!—что я вовсе не дон Родриго де Нарваэс и не маркиз Мантуанский, а ваш односельчанин Педро Алонсо, а ваша милость не Балдуин и не Абиндараэс, а почтенный идальго, сеньор Кехана.

— Я сам знаю, кто я такой,—возразил дон Кихот,—и знаю, что могу быть не только этими рыцарями, а всеми двенадцатью перами Франции и девятью мужами Славы \*, ибо подвиги, которые они совершили все вместе и каждый в отдельности, не сравнятся с моими.

Продолжая в таком роде беседовать, они были под вечер в деревню. Но крестьянин выждал, пока не стемнело совсем, так как ему не хотелось, чтобы ктонибудь увидел нашего идальго избитым и едва держащимся на осле. Когда же, по его мнению, наступило подходящее время, он въехал в село и направился к дому дон Кихота. А там все были в смятении; пришли два его закадычных друга, местный цырюльник и священник, и разговаривали с экономкой, которая громко восклицала:

— Ну что вы скажете, ваша милость, сеньор лицензиат Перо Перес (так звали священника) о несчастьи моего господина? Вот уже три дня, как исчезли и он, и его кляча, и щит, и копьё, и доспехи! Ах, несчастная я женщина! Я так думаю, и это такая же правда, как то, что все мы родились, чтобы умереть: его свели с ума эти

проклятые рыцарские романы, которые он постоянно читал; я теперь припоминаю, что он не раз, беседуя сам с собой, говаривал, что ему хочется сделаться странствующим рыцарем и отправиться по всяким странам на поиски приключений. Чтоб Сатана и Варавва забрали все эти книги, погубившие самую разумную голову во всей Ламанче!

То же самое говорила и племянница, которая прибавила еще:

— Знаете ли, сеньор мастер Николас (так звали дырюльника), сеньору моему дяде нередко случалось зачитываться этими проклятыми романами злоклучений по двое суток без перерыва. Под конец он бросал книгу, хватался за шпагу и принимался тыкать ею в стены; а когда совсем изнемогал, то заявлял, что убил четырех великанов, ростом с четыре башни, и от усталости с него лил пот, а он утверждал, что это течет кровь из ран, которые он получил во время боя; затем он выпивал большой ковш холодной воды, освежался, успокаивался и заявлял, что это не вода, а драгоценнейший напиток, который принес ему его друг и великий волшебник, мудрый Эскифе. Но во всем этом я виню себя, ибо я не догадалась раньше сообщить вашим милостям о сумасбродствах сеньора моего дяди: вы бы положили им конец, прежде чем они довели его до такого состояния если б сожгли все эти богопротивные книги (а их у него очень много), которые не менее еретических писаний достойны костра.

— Я думаю то же самое,—подхватил священник,—и даю вам слово, что завтра же мы под-

вергнем их аутодафе и предадим огню, дабы впредь они не толкали людей, начитавшихся их, на дела, которые, должно быть, творит сейчас мой бедный друг.

Дон Кихот со своим спутником слышали весь этот разговор, и крестьянину стал окончательно ясен недуг его соседа; поэтому он громко закричал:

— Откройте, сеньора: прибыл тяжело раненый сеньор Балдуин и сеньор маркиз Мантуанский, он же сеньор мавр Абиндараэс, которого ведет пленным отважный Родриго де Нарваэс, правитель Антекеры.

Все выбежали на его голос; мужчины узнали своего друга, женщины своего хозяина и дядю, и все бросились его обнимать, меж тем как дон Кихот продолжал сидеть на осле, ибо никак не мог спешиться. Он сказал:

— Погодите вы все: я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель и, если возможно, призовите мудрую Урганду, чтобы она перевязала и исцелила мне раны.

— Видите, какое несчастье! — воскликнула тут экономка. — Сердце мое верно чуяло, на какую ногу наш сеньор захромал. Пожалуйте, в добрый час, ваша милость, мы сумеем вас вылечить и без этой *уряды* \*. Еще раз и еще тысячу раз будь они прокляты, эти самые рыцарские книжки: вот до чего довели они вашу милость.

Затем дон Кихота отнесли на постель и хотели перевязать ему раны, но никаких ран не оказалось. Он объяснил, что просто ушибся, так как вместе со своим конем Росинантом рухнул на землю в самый разгар боя с де-

сатью великанами: более дерзостных и свирепых созданий, по его словам, земля не произвела.

— Та-та-та, — перебил священник, — у нас великаны завелись? Клянусь Мадонной, завтра же, не успеет еще солнце зайти, все они будут сожжены.

Стали они тут расспрашивать дон Кихота, но тот не пожелал ни о чем рассказывать, а только попросил дать ему поесть и оставить его в покое, ибо больше всего он нуждался в еде и сне. Желание его было исполнено, а затем священник подробно расспросил крестьянина, каким образом он нашел дон Кихота. Тот рассказал и повторил все нелепости, которые наш рыцарь говорил и лежа на земле и едучи на осле; после этого сообщения у лиценциата еще более окрепло желание исполнить свой план. Так он и сделал: на следующий день он зашел за своим другом, цырюльником мастером Николасом, и оба они направились в дом дон Кихота.

## ГЛАВА VI

*о великом и потешном обследовании, которому священник и цырюльник подвергли библиотеку нашего хитроумного идалго*



тот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от комнаты, в которой стояли книги—виновники столь великого зла, и она с большой готовностью ему их вручила. Все вошли в сопровождении экономки и увидели более ста больших томов в отличных переплетах и много других поменьше. И как только экономка увидела, что они вошли, она с большой поспешностью выбежала из комнаты и вскоре вернулась с чашкой святой воды и кропилом.

— Возьмите ка это, сеньор лиценциат,—сказала она,—и окропите комнату, а то еще явится один из волшебников, которыми переполнены эти книги, и очарует нас в отместку за то, что мы собираемся посрамить всю его братию и сжить его со света.

Простота экономки заставила лиценциата рассмеяться, и он попросил цырюльника переда-

вать ему книги одну за другой, чтобы выяснить, о чем в них говорится: ведь могло же случиться, что некоторые из них и не заслуживали казни огнём.

— Нет, нет, — воскликнула племянница, — ни одна из них не стоит помилования: все они повинны в нашей беде. Лучше всего выбросим их через окно во двор, сложим в кучу и подожжем, или же отнесем на скотный двор и там устроим из них костер: этак дым нас не будет беспокоить.

То же говорила и экономка: вот до чего жаждали они гибели этих неповинных младенцев. Но священник не согласился с ними и пожелал сначала прочесть хотя бы заглавия книг. Первою, которую мастер Николас ему вручил, оказалась история *Амадиса Гальского* в четырех частях. Священник сказал:

— Я вижу в этом перст судьбы, ибо я слышал, что это первый рыцарский роман, отпечатанный в Испании, и что от него ведут свое начало и происхождение все остальные. Посему я полагаю, что мы должны его без всякой жалости осудить на сожжение, как главу всей этой зловедной секты.

— Нет, сеньор, — возразил цырюльник, — а я слышал, что этот роман — лучшее произведение из всех, которые когда либо были написаны в этом роде и потому он, как исключение, заслуживает пощады.

— Да, вы правы, — ответил священник, — примем это во внимание и временно даруем ему жизнь. Ну, а теперь посмотрим, что стоит с ним рядом.

— *Подвиги Эспландиана* \*, законного сына Амадиса Галльского, — сказал цырюльник.

— Ну, по правде говоря, — промолвил священник, — заслуги отца не спасают сына. Возьмите ка его, сеньора эконома, откройте окошко и выбросьте его во двор: он послужит основанием готовящемуся костру.

Экономка повиновалась с величайшим удовольствием, и добрый *Эспландиан* полетел во двор, чтобы там с большим терпением дожидаться грозившего ему сожжения.

— Ну, дальше, — сказал священник.

— Следующий за ним, — продолжал цырюльник, — *Амадис Греческий*, и мне кажется, что все книги на этой полке из племени Амадиса.

— Ну, так пусть себе отправляются во двор, — ответил священник. — Мне до того хочется сжечь королеву Пинтикинестру, пастушка Даринеля с его эклогами и всю чертовски напыщенную галиматью этого автора, что если бы мой отец, произведший меня на свет, принял образ странствующего рыцаря, я бы и его сжег вместе с ними.

— И я того же мнения, — ответил цырюльник.

— И я, — подхватила племянница.

— Ну, раз так, — сказала эконома, — так во двор их всех.

Ее нагроулили этими многочисленными томами, и она, не спускаясь даже по лестнице, выбросила их прямо из окна.

— А это что за бочка? — спросил священник.

— Это, — ответил цырюльник, — *Дон Оливанте де Лаура*.

— Этот роман принадлежит перу автора *Цветочного Сада*, — сказал священник, — и поистине я затрудняюсь сказать, которое из этих двух



произведений более правдиво или, вернее сказать, менее лживо. Одно могу заявить: эта книга тоже отправится во двор, как сочинение сумасбродное и наглое.



— Далее идет *Флорисмарте Гирканский*,— продолжал цырюльник.

— А, вот вы где, сеньор *Флорисмарте*? — воскликнул священник. — Честное слово, он тоже полетит во двор, несмотря на свое странное рождение и удивительные приключения: его сухой и тяжелый стиль ничего другого не заслуживает. Во двор его, сеньора экономка, да и этого за одно.

— С удовольствием, сеньор, — отвечала экономка, с великой радостью исполнявшая все, что ей приказывали.

— А вот *Рыцарь Платир*, — сказал цырюльник. — Это старая книга, и ничего в ней нет такого, что заслуживало бы помилования. Пусть себе отправляется вместе с прочими, без возражений.

И это было исполнено. Затем они раскрыли следующую книгу и прочли заглавие: *Рыцарь Креста*.

— Ради святого заглавия этой книги можно было бы простить невежество ее автора. Однако, недаром говорится: «За крестом сидит чорт». В огонь его.

Цырюльник взял другую книгу и сказал:

— Это *Зерцало Рыцарства*.

— Знаю я его милость, — ответил священник. — Там разгуливает сеньор Рейнальдо Монтальбанский со своими друзьями и приятелями, вороватыми побольше самого Кака, и двенадцать перов Франции с их правдивым историком Турпином. Поистине я бы осудил их всего лишь на бессрочную ссылку, ибо ими воспользовался в своем произведении знаменитый Маттео

Боярдо, от которого христианский поэт Людовико Ариосто заимствовал ткань своей поэмы. Если этот последний отыщется среди наших книг и мы увидим, что говорит он не на своем родном языке, а на чужом, я не почувствую к нему никакого уважения; но если он будет говорить на своем, — я возложу его себе на голову\*.

— У меня он есть по итальянски, — сказал цырюльник, — но только я ничего не понимаю.

— Да вам и не следует его понимать, — возразил священник, — и мы бы охотно простили то же самое сеньору капитану\*, потому что он тогда бы не распространил его в Испании, сделав из него кастильца, чем лишил его многих природных достоинств. Впрочем, то же самое делают все, кто пытаются переводить на другой язык стихотворные произведения: ибо, как бы старательны и искусны ни были переводчики, им никогда не достичь той совершенной формы, в которой эти поэмы появились на свет. Поэтому с этой книгой, как и со всеми другими французскими историями, которые еще найдутся в этой библиотеке, я предлагаю поступить так: сложить их на дне высохшего колодца и хранить там, пока по здравом размышлении мы не надумаем, что нам с ними делать, — за исключением, однако, *Бернардо дель Карлио*, который наверное здесь тоже приютился, и еще *Ронсевалля*: если только они попадутся мне в руки, я немедленно же передам их в руки экономки, а она без всякого сострадания предаст их в объятия огня.

Цырюльник с этим согласился и заявил, что все это верно и правильно, ибо он знал, что священник добрый христианин и такой друг истины, что ни за что на свете ей не изменит. Затем он открыл следующую книгу: это был *Пальмеин из Оливьы*, а рядом с ним стояла другая, озаглавленная *Пальмерин Английский*. Увидев их, лицензиат сказал:

— *Оливку* эту нужно сейчас же уничтожить и сжечь, так чтобы и пепла от нее не осталось; а английскую *пальму* сохранить как драгоценность и сделать для нее ларец, подобный тому, какой был найден Александром среди сокровищ Дария и назначен им для хранения поэм Гомера. Эта книга, любезный кум, заслуживает почтения по двум причинам: во первых, она очень хороша сама по себе, а во вторых, голос молвы приписывает ее одному мудрому португальскому королю. Все приключения в замке Мирагуарда превосходны и искусно придуманы, стиль— изящный и ясный, а речи умело и со вкусом приспособлены к характеру и положению говорящих. Посему я полагаю, если только на то будет ваше доброе согласие, сеньор мастер Николас, этот роман и *Амадис Галльский* могут избежать костра, а остальные не стоит и просматривать: пускай все погибнут.

— Нет, сеньор кум,—возразил цырюльник,— а этот знаменитый *Дон Бельянис*, что у меня в руках?

— Ну, этому,—ответил священник,— с его второй, третьей и четвертой частями, очень бы следовало дать порцию ревеня, чтобы очистить от избытка желчи, а кроме того выбросить все,

что касается Замка Славы и много других не-  
лепостей еще похуже. Так и быть, дадим ему  
судебную отсрочку, и если он исправится, тогда  
решим, поступить ли с ним сурово или мило-  
стиво. А пока, любезный кум, заберите ка его  
к себе домой, только никому читать не давайте.

— С большим удовольствием, — ответил цы-  
рюльник, и, не желая больше обременять себя  
просмотром рыцарских романов, он велел эконо-  
мке забрать все большие тома и выкинуть  
во двор.

Та была не глуха и не глупа: сжечь их  
хотелось ей больше, чем вы ткать большой  
кусок тончайшего полотна; схватила она в охапку  
штук восемь томов зараз и выбросила в окно.  
Но так как она ухватила слишком много, то  
одна из книг упала к ногам цырюльника; ему  
захотелось посмотреть, как она называется,  
и он прочел: *История знаменитого рыцаря Ти-  
ранта Белого.*

— Господи помилуй, — вскричал громким го-  
лосом священник, — как, неужели здесь *Тирант  
Белый?* Дайте мне его скорей, любезный кум:  
будьте уверены, что перед вами сокровищница  
удовольствий и целые залежи развлечений. Там  
изображается дон Кириэлейсон Монтальбанский,  
доблестный рыцарь, его брат Томас Монтальбан-  
ский и рыцарь Фонсека; там рассказывается о бое  
отважного Тиранта с догом, о хитростях девицы  
Пласердемавиды, о шашнях и интригах вдовы  
Репосады \*, о сеньоре императрице, влюбленной  
в своего конюха Ипполита. Я вам правду го-  
ворю, сеньор кум: по стилю это — лучшая книга  
на свете: рыцари здесь едят, спят, умирают

в своих постелях, перед смертью пишут завещания и все прочее, чего в других романах этого рода вы не найдете. И тем не менее, говорю вам, автор заслуживал бы того, чтобы закончить дни свои на галерах, так как всю эту ахиною он написал по глупости. Возьмите себе эту книгу, прочтите, и вы увидите, что все, что я о ней сказал—чистая правда.

— Я так и сделаю, — ответил цырюльник. — А как же мы поступим с оставшимися маленькими книжками?

— Это не рыцарские романы, — сказал священник, — а, вероятно, книги со стихами.

И, открыв одну из них, он прочел заглавие: *Диана Хорхе де Монтемайора*, и, предположив, что и все остальные в таком же роде, сказал:

— Они не заслуживают сожжения, подобно романам, ибо не причиняют и не причинят никогда такого вреда, как рыцарские романы: это просто занимательное и нисколько не вредное чтение.

— Ах, сеньор, — воскликнула племянница, — а по моему, вашей милости следовало бы бросить их в огонь вместе с остальными; ведь может случиться, что сеньор мой дядя, вылечившись от своей рыцарской болезни, начнет читать стихи, и ему вздумается сделаться пастушком и отправиться бродить по рощам и полям, наигрывая на свирели и распевая, а не то и сам станет поэтом, что еще хуже, ибо, по слухам, болезнь эта неизлечима и прилипчива.

— Девушка говорит дело, — сказал священник. — Разумнее будет убрать с дороги нашего друга эту новую опасность и соблазн. И раз мы на-

чали с *Дианы* Монтемайора, то я полагаю следующее: сжигать ее не надо, но следует выкинуть из нее все, что относится к мудрой Фелисии и волшебной воде, а также почти все стихи с длинными строчками: и тогда, в добрый час, останется при ней ее проза и заслуга быть первой из всех подобных поэм.

— Дальше идет так называемая *Вторая Диана*, сочиненная Саламантинцем, — продолжал цырюльник, — а вот еще одна, произведение Хиля Поло.

— Что ж, — ответил священник, — пускай *Диана* Саламантинца последует за другими и увеличит собой число обреченных на сожжение. А *Диану* Хиля Поло мы сохраним, как если бы она была сочинена самим Аполлоном. Ну, давайте дальше, сеньор кум, нам нужно торопиться, а то уж время позднее.

— Вот *Десять книг Счастья Любви*, написанные сардинским поэтом Антонио де Лофрасо.

— Поверьте моему духовному званью, — сказал священник, — с тех пор как Аполлон зовется Аполлоном, музы музами, а поэты поэтами, более забавной и нелепой книги еще не было написано, и это в своем роде лучшее и ценнейшее произведение из всех когда либо появлявшихся на свет: тот, кто его не читал, может быть уверен, что он никогда не читал ничего по настоящему занятного. Дайте ка его сюда, любезный кум; если бы мне подарили сутану из флорентийского шелка, я бы обрадовался ей меньше, чем этой находке.

И он с величайшим удовольствием отложил книгу в сторону; а цырюльник продолжал:

— Далее следуют: *Иберийский пастух, Энаресские Нимфы и Средство против ревности.*

— Нечего с ними возиться, — сказал священник, — отдадим их в руки светской власти, эконолке; и не спрашивайте меня почему, не то мы никогда не кончим.

— Вот *Пастух Фйлиды.*

— Он вовсе не пастух, — заметил священник, — а тонкий столичный житель. Сохраним его как драгоценность.

— Этот толстый том, — продолжал цырюльник, — озаглавлен: *Сокровищница разных стихотворений.*

— Было бы их поменьше, — ответил священник, — так мы бы их больше ценили. Из этой книжки следовало бы выполоть сорную траву и очистить ее от произведений низменных, попавших туда вместе с возвышенными. Помилуем ее, ибо автор — мой друг, и другие его произведения более возвышенны и героичны.

— Вот *Сборник стихов Лопеса Мальдонадо.*

— Этот автор — тоже мой друг, — сказал священник, — и когда он сам читает свои стихи, все от них в восхищении. Он поет их таким сладостным голосом, что слушать его упоительно. Правда, его эклоги немного растянуты, но ведь хорошего всегда хочется побольше. Итак, присоединим его к избранныкам. А это что за книжка стоит рядом с ним?

— Это *Галатея* Мигеля де Сервантеса, — ответил цырюльник.

— Много лет уже я дружен с этим Сервантесом и знаю, что у него больше опыта в несчастиях, чем в стихах. В его книге есть вы-

думка, в ней кое что начато, но ничего не закончено. Подождем обещанной второй части. Быть может, исправившись, он заслужит наконец того снисхождения, в котором пока ему откажутся; а до тех пор подержите его у себя в заточении, сеньор кум.

— С удовольствием, ответил цырюльник. — А вот еще три книжки: *Араукана* дон Алонсо де Эрсильи, *Аустриада* Хуана Руфо, судьи из Кордовы, и *Монсеррат* Кристобая де Вирусаса, валенсианского поэта.

— Эти три книги — лучшее из всего, что было написано героическим стихом \* на испанском языке: они не уступят самым знаменитым итальянским поэмам. Сохраните их как драгоценнейшие сокровища испанской поэзии.

Наконец, просмотр утомил священника, и он предложил все оставшиеся книги сжечь без всякого разбора. Но в эту минуту цырюльник раскрыл еще один томик, озаглавленный *Слезы Анджелики*.

— Да я бы прослезился вместе с ней, если бы такую книжку велел бросить в огонь. Автор ее — один из самых знаменитых поэтов не только Испании, но всего мира: он с большим искусством перевел несколько сказаний Овидия.



## ГЛАВА VII

*о втором выезде нашего доброго рыцаря дон Кихота  
Ламанчского*



эту самую минуту они услышали голос дон Кихота:

— Сюда, сюда, отважные рыцари! — кричал он. — Пришло время показать силу ваших могучих рук: эти придворные рыцари хотят присвоить себе победу на турнире.

Пришлось нашим друзьям бежать на крик и шум, бросив оставшиеся книги без просмотра. Некоторые полагают, что *Каролеа* и *Лев Испанский*, вместе с *Деяниями императора* дон Луиса де Авилы, наверное тоже подлежавших пощаде, без суда и допроса попали в огонь, хотя возможно, что, если бы священник их увидел, он не изрек бы им столь сурового приговора.

Войдя в спальню, они увидели, что дон Кихот уже поднялся с постели, кричит, бушует и наотмашь рубит и колет во все стороны, такой бодрый, что, как будто бы, вовсе и не спал перед тем. Его обхватили и насильно уложили в по-

стель, после чего он, несколько успокоившись, обратился к священнику с такой речью:

— Поистине, сеньор архиепископ Турпин, великий позор для тех, кого мы именуем двенадцатью перами, что они так таки, ни слова не говоря, позволяют придворным рыцарям присвоить себе победу на этом турнире; между тем как в течение трех дней все победы были одержаны нами, странствующими рыцарями!

— Успокойтесь, ваша милость, сеньор кум,— отвечал священник,— бог даст, завтра все переменится, и то, что сегодня мы потеряли, завтра вернем с избытком. А пока пусть ваша милость подумает о своем здоровье, так как мне кажется, что вы, если и не ранены, то уж наверное крайне утомлены.

— Нет, я не ранен,— ответил дон Кихот,— но действительно порядком избит и помят: этот незаконнорожденный, дон Рольдан \*, избил меня стволом дуба; а все из зависти: ведь он видит, что я единственный его соперник в рыцарских делах. Но не зовите меня больше Рейнальдо Монтальбанским, если, поднявшись с этого ложа, я не отплачу ему, как бы он там ни был очарован. А пока принесите мне позавтракать, потому что я сейчас больше всего нуждаюсь в подкреплении, а отомстить ему—это уж мое дело.

Так они и сделали: принесли ему поесть, после чего он снова заснул, а они еще раз подивились его безумию.

В ту же ночь экономка сожгла все книги, бывшие во дворе и в доме, и наверное в числе их сгорели и такие, которые заслуживали веч-

ного хранения в архивах. Но такова была воля судьбы,—просмотр был проделан небрежно и, таким образом, на участи книг оправдалась пословица: из за грешников нередко терпят и праведники.

В качестве первого лекарства от недуга своего приятеля священник и цырюльник придумали заложить и замуровать вход в библиотеку, так чтобы встав он не мог их отыскать (они надеялись, что, устранив причину, они уничтожат и следствия). Решено было сказать дон Кихоту, что какой то волшебник похитил комнату вместе с книгами и всем прочим. Все это было исполнено с большой поспешностью. Два дня спустя дон Кихот встал и первым делом отправился посмотреть на свои книги. Не находя помещения, где они раньше стояли, он бродил по дому и шарил по всем комнатам: подходил к тому месту, где прежде была дверь, ощупывал его руками, смотрел направо, налево, и все это не говоря ни слова; наконец, после долгих поисков, спросил экономку, с какой стороны находится его библиотека. А та, заранее подученная как отвечать, сказала:

— Библиотека? Что это вы такое ищете, ваша милость? Никакой библиотеки, никаких книг нет: сам дьявол все это унес.

— И не дьявол вовсе, — возразила племянница, — а волшебник: прилетел он однажды ночью на облаке, после того как ваша милость отсюда уехали, и, спрыгнув с дракона, на котором сидел верхом, вошел в библиотеку, и уж не знаю, что он там делал, но только спустя некоторое время он вылетел сквозь крышу, а дом весь на-

полнился дымом. А когда мы решились посмотреть, что он натворил, то уж не было ни книг, ни комнаты. Одно только мы обе отлично помним: когда этот злой старик улетал, он крикнул громким голосом, что из тайной вражды к хозяину книг и комнаты он причинил ему большой урон и что мы впоследствии увидим какой. Он еще прибавил, что зовут его мудрый Муньятон.

— Не Муньятон, а Фрестон,—перебил дон Кихот.

— Уж я не знаю,—отвечала эконожка,— как его зовут: Фрестон или Фритон, помню только, что его имя кончалось на *тон*.

— Так оно и есть,—сказал дон Кихот,—это один мудрый волшебник, заклятый мой враг; он меня ненавидит, ибо с помощью своих магических книг и колдовства он узнал, что наступит время и я сражусь на поединке с рыцарем, которому он благоволит, и что мне суждено его победить, несмотря на все его усилия: вот почему он и старается всячески чинить мне помехи. Но я заявляю, что не избежать ему того, что определено самим небом.

— Да кто ж в этом сомневается? — сказала племянница.— Но ваша милость, сеньор дядя, кто велит вам лезть во все эти драки? Не лучше ль сидеть спокойно дома, чем бродить по свету в поисках птичьего молока? Ведь вы знаете: бывает, собираешься обстричь овцу, а смотришь—тебя самого обстригли.

— Ах, племянница,—воскликнул дон Кихот,— плохо же ты это дело понимаешь! Да прежде чем меня обстригут, я сам выщиплю и вырву бороды

у всех, кто только посмеет тронуть кончик одного моего волоса.

Женщины решили, что лучше ему не возражать, чтобы не разжигать его гнева.

После этого разговора дон Кихот целых две недели сидел спокойно дома, ничем не обнаруживая желания продолжать свои прежние сумасбродства. В течение этого времени он не раз вел забавные беседы с двумя своими приятелями, — священником и дырьюльником, насчет того, что мир ни в чем так не нуждается, как в странствующих рыцарях, и что в его лице странствующее рыцарство должно воскреснуть. Иногда священник возражал ему, а иногда и соглашался, ибо без этой уловки нечего было и думать о том, чтобы доказать ему его заблуждение.

В то же самое время дон Кихот начал подговаривать одного крестьянина, своего соседа, человека доброго (если только можно дать такое название тому, у кого своего добра не очень то много), но без царя в голове. В конце концов, он до того его убедил, столько наговорил и наобещал, что бедный крестьянин согласился отправиться вместе с ним в качестве его оруженосца. Между прочим, наш рыцарь советовал ему долго не раздумывать и немедленно пуститься в странствия, потому что с ним легко может случиться такое приключение, что он и ахнуть не успеет, как завоюет какой нибудь остров, который он потом отдаст ему в пожизненное управление. Под влиянием таких обещаний Санчо Панса (так звали крестьянина) бросил жену и детей и поступил к своему соседу в оруженосцы.

Затем дон Кихот принялся раздобывать деньги: одно он продал, другое заложил, с большим для себя убытком, и таким способом собрал порядочную сумму. Кроме того, он взял на прокат у одного из своих приятелей круглый щит, починил, как только мог, разбитый шлем и предупредил своего оруженосца Санчо, что в такой то день и час он намерен выступить в путь, а уж тот сам должен был позаботиться о своем снаряжении. Особенно дон Кихот настаивал на том, чтобы Санчо не забыл захватить дорожную сумку. Тот обещал не забыть и сказал, что задно захватит своего превосходного осла, так как сам он к пешему хождению не очень то приспособлен. Это обстоятельство немного смутило дон Кихота, и он старался припомнить, бывали ли когда нибудь у странствующих рыцарей оруженосцы, разъезжавшие верхом на ослах, но так ни одного и не припомнил. Однако, он на это согласился в уверенности, что при первом же удобном случае, при первой же встрече с каким нибудь неучтивым рыцарем, он отнимет у него коня и отдаст это более почтенное животное своему оруженосцу. Наконец, он запасся рубашками и всем, чем только мог, согласно советам, полученным от хозяина гостиницы. Когда все было готово и налажено, однажды ночью оба они, никем не замеченные, выехали из деревни, при чем Санчо не попрощался даже с женой и детьми, а дон Кихот—со своей экономкой и племянницей. Ехали они всю ночь, так что, когда рассвело, им больше нечего было бояться, что их отыщут, хотя бы и вздумали искать.



Санчо Панса, нагруженный сумкой и бурдюком, восседал на своем осле, подобно некоему патриарху; очень ему хотелось поскорее стать губернатором обещанного острова. Дон Кихот случайно повернул на ту самую дорогу, по которой он ехал в первый раз, именно на Монтельскую равнину, только теперь ехать ему было приятнее, так как час был еще ранний и косые лучи солнца его не беспокоили. Тут Санчо Панса сказал своему господину:

— Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте вашего обещания насчет острова, какой бы громадный он ни был, я уж с ним управлюсь.

На что дон Кихот отвечал:

— Следует тебе знать, друг мой Санчо Панса, что в старину среди странствующих рыцарей был весьма распространен обычай назначать своих оруженосцев губернаторами островов или королевств, ими завоеванных, и я твердо решил восстановить это превосходное обыкновение. Более того, я собираюсь пойти еще дальше: мои предшественники иногда, или вернее почти всегда, ждали, пока оруженосцы их состарятся и изнемогут от службы, и тогда, после многих тяжелых дней и еще более тяжелых ночей, жаловали им титул графа или, в лучшем случае, маркиза какойнибудь долины или провинции, в сущности довольно ничтожной; я же—если только мы оба останемся в живых—возможно, что дней через шесть завоюю такое королевство, которому подчинены будут несколько других, и то из них которое больше подойдет, я отдам тебе, сделав тебя королем. И не думай, что я преувели-



чиваю: со странствующими рыцарями случаются такие истории и события, каких никто и не видел и не воображал, так что я без всяких затруднений смогу подарить тебе еще и побольше того, что обещаю.

— Таким манером, — ответил Санчо, — ежели, как ваша милость говорит, я чудесным образом сделаюсь королем, так моя супружница Хуана Гутьеррес по меньшей мере будет королевой, а детки мои инфантами?

— Да кто же в этом сомневается? — ответил дон Кихот.

— Я в этом сомневаюсь, — ответил Санчо Панса, — потому что, если бы даже по воле божьей короны сыпались на землю дождем, то и то бы, думается мне, ни одна из них не пришлось бы по мерке Мари Гутьеррес. Да она, сеньор, как королева, двух грошей не стоит; графство — это бы, пожалуй, ей еще и подошло, да и то лишь с божьей помощью.

— Ну, положиись в этом на господа бога, Санчо, — ответил дон Кихот: — он даст ей то, что ей больше подходит; а сам не унижай своего духа и не вздумай удовлетвориться меньше чем губернаторством.

— И не подумаю, сеньор мой, — ответил Санчо, — особенно когда у меня такой могущественный господин, как ваша милость: уж вы наверное подарите мне то, что мне придется и по плечу, и по вкусу.

## ГЛАВА VIII

*о славной победе, одержанной доблестным дон Кихотом в ужасном и доселе неслыханном приключении с ветряными мельницами, также как и о других событиях, достойных приятного упоминания*



ут они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля; заметив их, дон Кихот сказал своему оруженосцу:

— Хорошая судьба руководит нашими делами лучше, чем мы могли бы этого желать. Посмотри вон в ту сторону, друг Санчо Панса, видишь там тридцать, а то и больше свирепейших великанов? Сейчас я вступлю с ними в бой и перебую их всех до единого: эта добыча послужит началом нашего богатства; ибо такой бой праведен, и самому богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли.

— Какие такие великаны? — спросил Санчо Панса.

— Да вот те, что перед тобой, — ответил дон Кихот. — Видишь, какие у них огромные руки? У некоторых они длиной почти в две мили.

— Поверьте, ваша милость, то, что там виднеется—вовсе не великаны, а ветряные мельницы, а то что вы принимаете за руки—это крылья, которые кружатся от ветра и вращают жернова.

— Сразу видно, — ответил дон Кихот, — что в деле приключений ты еще новичок: это—великаны; и если тебе страшно, так отойди в сторону и читай молитвы, а я тем временем вступлю с ними в жестокий, неравный бой.

С этими словами он вонзил шпоры в бока Росинанта, не обращая внимания на крики Санчо, который уверял его, что вне всякого сомнения он нападет не на великанов, а на ветряные мельницы. Дон Кихот, будучи твердо убежден в том, что перед ним великаны, не слышал криков своего оруженосца Санчо и не узнавал мельниц, хоть и были они совсем поблизости. Он мчался вперед, громко восклицая:

— Не бегите, малодушные и подлые создания, ибо лишь один рыцарь нападает на вас всех!

В эту минуту поднялся легкий ветер, и огромные крылья начали вращаться. Заметив это, дон Кихот продолжал:

— Если бы у вас было больше рук, чем у самого гиганта Бриарея, и вы бы замахали ими, от расплаты вам все равно не уйти.

Сказав это и поручив свою душу своей даме Дульсинее с просьбою помочь ему в опасную минуту, он, прикрывшись щитом, с копьем на перевес, пустил Росинанта в галоп, ринулся на ближайшую к нему мельницу и вонзил копьё в ее крыло. В эту минуту сильный порыв ветра повернул крыло, и оно, разломав в щепки копьё, потащило за собой и кося и всадника, которые

прежалким образом отлетели на большое расстояние. Санчо во всю прыть своего осла поскакал на помощь своему господину и, подъехав, убедился, что тот не в силах шевельнуться: с такой силой они вместе с Росинантом грохнулись о землю.

— Господи помилуй! — воскликнул Санчо. — Не говорил ли я вам, ваша милость, чтобы вы были осторожнее и что это — ветряные мельницы? Ведь только тому это не ясно, у кого самого мельница в голове.

— Замолчи, друг Санчо, — ответил дон Кихот. — Дела военные больше всех иных подвержены превратностям судьбы; тем более, что, мне думается, — да наверное так оно и есть на деле! — этот мудрец Фрестон, который похитил у меня книги и комнату, превратил и великанов в мельницы, чтобы лишить меня славы победы: так сильна его вражда ко мне. Но рано или поздно его злые чары рассеются мощью моего меча.

— Все в воле божьей, — отвечал Санчо.

Затем он помог ему подняться и снова сесть на Росинанта, у которого почти были вывихнуты обе передние ноги. Беседуя об этом приключении, они поехали по дороге к Пуэрто Лаписе, ибо по предположениям дон Кихота, там ждало их множество различных приключений, так как место это очень проезжее. Одно только его печалило — это потеря копья; поделившись своим горем с Санчо, он сказал:

— Я читал, мне помнится, об одном испанском рыцаре по имени Диэго Перес де Варгас, у которого во время сражения сломался меч. Тогда он отломал от дуба тяжелый сук, а не то и прямо кусок ствола, и этой дубинкой совер-



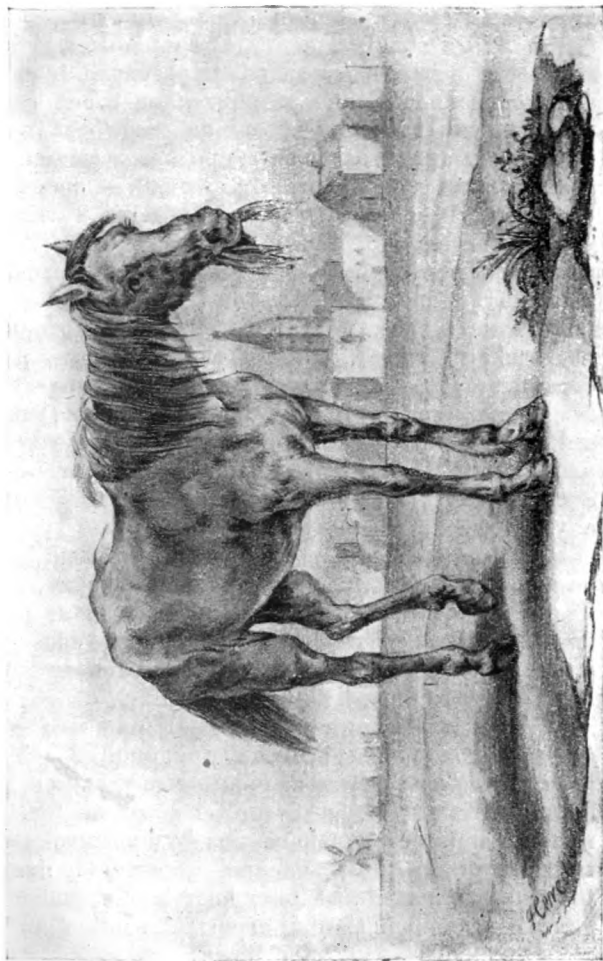
шил столько подвигов в этот день и перебил столько мавров, что прозвали его *Дубинка*, и с того времени и он, и все его потомки именуются *Варгас-Дубинка*. Говорю я тебе это к тому, что я тоже с первого же дуба, который нам попадетя по дороге, отломаю себе сук — точь в точь такой, какой был у Варгаса — и с этим суком в руках надеюсь и собираюсь совершить такие великие подвиги, что ты будешь благодарить судьбу за то, что она удостоила тебя чести быть участником и свидетелем этих дел, которые впоследствии будут казаться невероятными.

— Все в руде божией, — отвечал Санчо, — я всему верю, что ваша милость рассказывает. Только сядьте попряме, а то вы как будто совсем съехали на бок: должно быть, при падении вы здорово ушиблись.

— Да, это правда, — сказал дон Кихот, — и если я не жалуясь на боль, то только потому, что странствующим рыцарям не надлежит жаловаться на раны, хотя бы у них вываливались кишки.

— Ну, раз так, мне нечего возразить, — ответил Санчо. — Но одному богу известно, как бы я обрадовался, если бы ваша милость стала жаловаться, когда у нее что болит. Что касается меня, то я заору от самой пустячной боли, если только правило не жаловаться не относится также и к оруженосцам странствующих рыцарей.

Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего оруженосца и ответил, что Санчо разрешается стонать, как и когда ему вздумается, с причиной или без причины, ибо до сих пор он никогда не встречал в рыцарских книгах указаний на противное. Санчо заметил, что



пора бы и закусить. Дон Кихот ответил, что ему пока не хочется, а что Санчо может есть, когда ему заблагорассудится. С разрешения своего господина, Санчо устроился на своем осле поудобнее и, вытащив из сумки заготовленные им припасы, стал закусывать, продолжая медленно ехать позади дон Кихота; от времени до времени он прикладывался к своему бурдюку с таким удовольствием, что ему позавидовал бы любой разудалый трактирщик в Малаге. Так, трясясь шажком и попивая маленькими глотками вино, он и думать забыл обо всех обещаниях, которые надавал ему дон Кихот, и казалось ему, что странствовать в поисках приключений, хотя бы и опасных, вовсе не труд, а одно удовольствие.

Наконец, когда наступила ночь, наши путники улеглись под деревьями, и дон Кихот, отломав сухую ветку, которая могла кое как заменить ему копьё, прикрепил к ней железный наконечник, снятый со сломанного копьё. Всю эту ночь он не сомкнул глаз, думая о своей даме Дульсинее, чтобы ничем не отличаться от рыцарей, о которых он читал в романах: сколько ночей проводили они без сна в лесах и пустынях, погруженные в воспоминание о своих дамах! Совсем иначе провел ночь Санчо: желудок его был полон, и совсем не циторной водой \*, поэтому он как мертвый проспал до утра; и если бы дон Кихот не разбудил его, то он бы не проснулся ни от лучей солнца, ударявших ему прямо в лицо, ни от пения множества птиц, радостно приветствовавших наступление нового дня. А поднявшись, он первым делом приложился к бурдюку и, заметив, что уж нет в нем



той округлости, какая была вчера вечером, опечалился сердцем, так как ему казалось, что эту убыль не скоро удастся восполнить. Дон Кихот не пожелал завтракать, ибо, как мы уже сказали, он питался одними сладостными воспоминаниями. Поехали они дальше по дороге к Пуэрто Лаписе и часам к трем дня были уже в виду этого ущелья. Завидев его, дон Кихот сказал:

— Здесь, братец Санчо Панса, мы сможем по самые локти запустить руки в то, что зовется приключениями. Но имей в виду: в какие бы величайшие опасности на свете я ни попал, ты не должен хвататься за меч, чтобы защищать меня, разве только ты увидишь, что враги, напавшие на меня—чернь, жалкий сброд: лишь в таком случае ты можешь оказать мне помощь. Если же это будут рыцари, то по законам рыцарства никоим образом не подобает и не разрешается тебе помогать мне, пока ты сам еще не посвящен в рыцари.

— Можете быть вполне спокойны, сеньор,—ответил Санчо,—в этом деле я не стану с вами спорить, тем более, что по натуре своей я человек мирный и не люблю лезть в драки и потасовки. Но скажу по совести, если придется мне защищать собственную шкуру, то уж тогда я не посмотрю ни на какие рыцарские законы, ибо и божеские, и человеческие законы разрешают обороняться от обидчиков.

— Это самое и я говорю,—ответил дон Кихот.—Помни только, что если тебе захочется защитить меня от рыцарей, ты должен обуздать свой естественный порыв.

— Обещаю вам это,—сказал Санчо.—Буду соблюдать эту заповедь так же свято, как воскресный день.

Разговаривая таким образом, повстречали они по дороге двух монахов ордена св. Бенедикта, ехавших на таких громадных мулах, что их можно было бы принять за верблюдов. Монахи были в дорожных очках и под зонтиками, а за ними следовала карета, окруженная четырьмя или пятью верховыми и двумя погонщиками, шедшими пешком. Как выяснилось впоследствии, в карете ехала одна дама из Бискайи, направлявшаяся в Севилью, где находился ее муж, который с весьма почетным назначением должен был отплыть в Америку. Монахи, хоть и ехали по той же дороге, что и дама, но путешествовали сами по себе. Не успел дон Кихот их увидеть, как сказал своему оруженосцу:

— Или я заблуждаюсь, или нам предстоит такое замечательное приключение, какого еще никто не видал, ибо черные фигуры, что там виднеются, несомненно—волшебники, которые похитили какую то принцессу и увозят ее в карете. Я должен наперечь все свои силы, чтобы расстроить это злое дело.

— Да это будет еще похуже ветряных мельниц,—ответил Санчо.—Разве вы не видите, сеньор, что перед вами монахи-бенедиктинцы, а в карете едут, должно быть, какие нибудь путешественники? Послушайте меня и подумайте хорошенько, что вы делаете, не то вас опять нечистый попутает.

— Я уже говорил, тебе Санчо,—ответил дон Кихот,—что ты мало смыслишь в деле приключе-

ний: я ясно вижу истину, и ты сейчас в этом убедишься.

С этими словами он выехал вперед, остановился посреди дороги, по которой должны были проехать монахи, и когда те приблизились на такое расстояние, что, по его расчету, могли услышать его слова, закричал громким голосом:

— О вы, злобные исчадия ада, освободите немедленно благородных принцесс, которых вы насильно увозите в карете, не то—приготовьтесь принять скорую смерть, как достойную кару за ваши злодейства.

Монахи придержали за уздечку мулов и остановились, пораженные как видом дон Кихота, так и речами его, на которые они так ответили:

— Сеньор рыцарь, мы вовсе не злобные исчадия ада, а монахи ордена св. Бенедикта; мы путешествуем по своим делам и ничего не знаем о том, едут или нет похищенные принцессы в этой карете.

— Сладкими речами вы меня не проведете: знаю я вас, подлых лжецов,—ответил дон Кихот.

И, не дожидаясь ответа, он прищпорил Росинанта и, опустив копье, с такой яростной отвагой напал на первого монаха, что если бы тот сам не бросился на землю, он бы его наверное вышиб из седла и опасно ранил, а не то, пожалуй, и вовсе убил. Второй монах, видя как обращаются с его спутником, всадил пятки в бока своего доброго мула и быстрее ветра помчался по полю.

Санчо, заметив, что монах лежит на земле, легко соскочил с осла и, подбежав к нему, стал снимать с него платье. Тут подошли двое слуг,

сопровождавших монахов, и спросили Санчо, почему он его раздевает. Тот им ответил, что трофеи по закону принадлежат ему, ибо его господин дон Кихот завоевал их в бою. Слуги, не понимавшие шуток и ничего не смыслившие ни в трофеях, ни в битвах, заметив, что дон Кихот отъехал в сторону и вступил в разговор с путешественницей в карете, набросились на Санчо, повалили его на землю, повыщипали ему бороду и исколотили так, что у того сперло дух и отнялись все чувства. Тем временем перепуганный и перетрусивший монах, не теряя ни минуты, сел на мула и, бледный как смерть, погнал своего скакуна в поле, где на приличном расстоянии поджидал его спутник, недоумевавший, чем кончится вся эта тревога; затем, не дождавшись конца этой истории, они оба поехали дальше, крестясь с таким трепетом, как будто по пятам за ними гнался сам дьявол.

А дон Кихот, как мы уже сказали, принялся беседовать с дамой в карете:

— Ваша красота, моя сеньора, — говорил он, — вольна теперь располагать собой, как ей заблагорассудится, ибо наглость ваших похитителей уже повержена в прах мощью моей руки; и чтобы вас не печалило незнание имени вашего спасителя, я скажу вам, что зовут меня дон Кихот Ламанчский: я странствующий рыцарь, плененный несравненной и прекрасной доньей Дульсинеей Тобосской. И в награду за услугу, которую я только что вам оказал, я прошу у вас только одного: поезжайте в Тобосо, предстаньте от моего имени перед лицом моей дамы и скажите ей, что я даровал вам свободу.

Один из конюхов, сопровождавших карету, рядом бискаец, услышал речь дон Кихота и вида, что тот не желает пропустить карету и требует, чтоб все они немедленно повернули назад и отправились в Тобосо, подошел к нему и, схватив его за копьё, на плохом испанском и еще худшем бискайском языке заговорил следующим образом:

— Ходи себе, рыцарь; ходи к чорту! Клянусь господом создателем, пусти карету, не то твоя голова долой, не будь я бискаец!\*

Дон Кихот отлично его понял и с большим достоинством ответил:

— Жалкое создание! Если бы ты был не холопом, а рыцарем, я бы тебя проучил за дерзость и нахальство.

Бискаец ответил:

— Как не рыцарь? Клянусь бога, ты врешь, как христианин! Бросай копьё, бери в руки шпага; увидишь как твоя вода в кошке поплавает! Я бискайская земля, идальго на море, идальго, ко всем чертям! Коли нет говоришь, врешь совсем!

— Сейчас вы это увидите, как сказал Агрехес\*,—ответил дон Кихот.

И, швырнув копьё на землю, он выхватил шпагу, прикрылся щитом и напал на бискайца с твердым намерением его убить. Увидев это, бискаец хотел было спешиться, — так как мул его был наемный и он не очень то ему доверял,—однако ему это не удалось, и он только успел обнажить свою шпагу. К счастью для него, карета стояла совсем рядом, и ему не трудно было вытащить из нее подушку, которая заменила ему щит. И вот, наши противники стали

друг против друга, как два смертельных врага. Присутствующие пытались их помирить, но не тут то было: бискаец кричал на своем ломаном языке, что если ему помешают драться, он прикончит и свою госпожу, и всех, кто вздумает вмешаться. Дама, сидевшая в карете, пораженная и испуганная этой сценой, велела кучеру отъехать немного в сторону и стала издали наблюдать за яростным боем. В эту минуту бискаец поверх щита дон Кихота нанес ему такой удар по плечу, что не помешай щит, он бы наверное рассек нашего рыцаря по самый пояс. Дон Кихот оглушенный свирепым ударом, громко вскричал:

— О Дульсинея, госпожа моего сердца и цвет красоты, помогите вашему рыцарю, который вступает в отчаянный бой, чтобы воздать должное вашим добродетелям!

Сказать это, схватить меч, прикрыться щитом и наброситься на бискайца было для дон Кихота делом одного мгновения: он решил рискнуть всем и закончить поединок одним ударом. По решительному виду своего противника бискаец догадался о его отважном намерении и поклялся не менее храбро выдержать нападение; плотно прикрывшись подушкой, он поджидал врага, стоя на месте, тем более, что ему никак нельзя было повернуть своего мула ни вправо, ни влево: животное не могло сделать шага—до того оно было изнурено и непривычно к подобного рода потехам. Итак, повторяем, дон Кихот наступал на хитрого бискайца, подняв меч и приготовившись разрубить его пополам, а бискаец поджидал его, выставив подушку и тоже высоко подняв щпагу, меж тем как зрители, в страхе затаив дыхание,

ждали, когда наконец опустятся эти грозно повисшие в воздухе мечи. Дама в карете и ее служанки творили молитвы и приносили разные обеты всем угодникам и святым обителям Испании, лишь бы только господь бог избавил их и конюха от этой страшной опасности. Но все горе в том, что на этом самом месте автор нашей истории прерывает описание битвы, оправдываясь тем обстоятельством, что ему не удалось раздобыть никаких других сведений о деяниях дон Кихота, кроме вышеизложенных. Однако второй автор этого труда отказался поверить, чтобы такую любопытную историю могла поглотить бездна забвения и чтобы ламанчские умы были столь мало любознательны и не хранили в своих архивах и библиотеках каких либо рукописей, относящихся к этому знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не терял надежды отыскать окончание нашей занимательной повести; и действительно, с помощью милостивого неба, он его нашел, а каким образом—об этом будет рассказано во второй части\*.

## ГЛАВА IX

*в которой рассказывается о конце и исходе удивительного боя между храбрым бискайцем и доблестным ламанцем*



первой части этой истории мы оставили отважного бискайца и славного дон Кихота в ту минуту, как они замахнулись обнаженными шпагами и приготовились нанести друг другу такой яростный удар, что, не будь у них щитов, они наверное разрубили бы друг друга сверху до низу, вроде того как гранат разрезают на две половинки, и в этот решительный момент наша интересная история была прервана, причем автор не сообщил даже, где можно отыскать недостающее продолжение.

Это обстоятельство крайне меня огорчило, и удовольствие, испытанное при непродолжительном чтении, сменилось досадой, когда я подумал, какой трудный путь предстоит мне пройти, чтобы отыскать недостающую, весьма объемистую, как мне думалось, часть этой занимательной повести. Мне казалось невысказанным и противным



всем добрым правилам, чтобы у столь доблестного рыцаря не нашлось какогонибудь ученого мужа, который бы взял на себя описание таких невиданных подвигов. Ибо ни один из странствующих рыцарей:

Столь прославленных в народе  
Тем, что приключений ищут,

не остался без своего историка; у каждого из них, как по заказу, нашелся один или два мудрых старца, которые не только описали их подвиги, но и сообщили нам самые незначительные их мысли и ребячества, как бы глубоко сокрыты они ни были. И не мог же наш доблестный рыцарь оказаться таким неудачником, чтобы и у него не нашлось того, что у Платира и ему подобных было в избытке. Итак, я не мог заставить себя поверить, чтобы такая превосходная история осталась обрубленной и искалеченной, и всю вину приписывал я коварному времени, пожирающему и уничтожающему все на свете: наверное, думал я, оно или уничтожило эту историю или скрыло ее от нас.

С другой стороны, припоминая, что среди книг дон Кихота находились столь современные произведения, как *Средство против ревности* или *Энаресские нимфы и пастухи*, я полагал, что и его история должна быть совсем недавней и что если даже она никем не была записана, все же жители его родного села и окрестных деревень не могли о ней не помнить. Эти мысли смущали меня и усиливали мое желание узнать всю истинную правду о жизни и чудесах нашего достославного испанца дон Кихота Ламанчского, светила и зеркала ламанчского рыцарства, пер-

вого, кто в нашу эпоху и в наши бедственные времена посвятил себя трудному делу бродячего рыцарства, мстя за обиды, помогая вдовам и защищая девиц,—под последними я подразумеваю тех, что верхом на иноходце, с кнутом в руке, разъезжали, с бременем своей девственности на плечах, с горы на гору и из долины в долину; и если только какойнибудь бродяга или мужчина с секирой и в грубом рядне, или чудовищный великан не лишал их чести, то, проблуждав восемьдесят лет, не проспавши за все это время ни единой ночи под крышей, сходили в могилу столь же непорочными, как мать, что их родила\*. По этим то и многим другим соображениям я утверждаю, что наш бесстрашный дон Кихот заслуживает вечных и достопамятных похвал, да и меня не худо бы похвалить за труды и старания, потраченные на поиски окончания этой приятной истории; хоть я и уверен, что, не помоги мне небо, случай и судьба, мир был бы лишен развлечения и удовольствия, которые теперь в продолжение почти двух часов может испытать всякий, кто внимательно станет читать эту историю. А нашел я этот конец вот каким образом.

Забрел я однажды на улицу Альканá в Толедо и случайно увидел мальчика, который предлагал одному торговцу шелком купить у него старые тетради и бумаги; а так как я большой охотник до чтения и читаю даже обрывки бумаги, валяющиеся на улице, то, влекомый своей естественной склонностью, я взял одну из тетрадей, которые мальчик продавал, и увидел, что она исписана арабскими буквами. Хоть я и знал, что

это писано по арабски, однако прочесть не умел; и вот стал я искать какого-нибудь мориска, чтобы попросить его прочитать. Найти такого переводчика было делом не очень трудным: в Толедо нашлись бы переводчики и с других языков, получше этого и подревнее. Вскоре судьба столкнула меня с одним таким мавром; узнав, что мне нужно, и взяв из моих рук тетрадь, он раскрыл ее на середине, почитал немного и принялся смеяться. Я спросил его, чему он смеется, и он ответил, что его рассмешила одна фраза, написанная на полях, в виде примечания. Я попросил его перевести, и он, продолжая смеяться, сказал:

— Тут на полях, как я только что сказал, написано следующее: *«Эта Дульсинея Тобосская, о которой столь часто упоминается в настоящей истории, по слухам, была такой мастерицей солить свиному, как ни одна женщина во всей Ламанче»*.

Услышав имя Дульсинеи Тобосской, я был изумлен и поражен, ибо сразу же догадался, что тетрадь эта содержит историю дон Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я стал просить мавра поскорей прочитать заглавие, и он, исполняя мое желание, прямо с листа перевел мне его с арабского языка на испанский; оно гласило так: *«История дон Кихота Ламанчского, написанная Сидом Аметом Бененхели, арабским историком»*. Мне понадобилась вся моя сдержанность, чтобы скрыть радость, охватившую меня в ту минуту, когда я услышал заглавие этой книги; и, побежав к торговцу шелком, я за полреала купил у мальчика все его бумаги и тетради. Если бы он был догадливей и смекнул, как страстно мне хочется

их иметь, он бы мог запросить и взять с меня за покупку больше шести реалов. Затем вместе с мориском я удалился во двор соборной церкви и попросил его перевести мне на испанский язык все тетради, в которых рассказывалось о дон Кихоте, ничего не пропуская и не прибавляя; я предложил ему заплатить за это, сколько он пожелает. Он удовольствовался двумя арробами изюма и двумя фанегами пшеницы \*, обещав перевести хорошо, точно и в самое короткое время. Но чтобы ускорить это дело, а также не выпускать из рук счастливую находку, я поселил мориска у себя в доме, и там в полтора месяца с небольшим он перевел всю эту историю слово в слово так, как я здесь ее передаю.

В первой тетради была картинка, на которой весьма натурально изображался бой дон Кихота с бискайцем: противники были нарисованы в тех же позах, как рассказывается в истории, оба с высоко поднятыми шпагами, один прикрытый своим щитом, другой—подушкой; мул бискайца был изображен как живой, так что на расстоянии выстрела из арбалета было видно, что он прокатный; под фигурой бискайца стояла надпись: *Дон Санчо де Аспейтъя*—таково, без всяких сомнений, было его имя,--- а у ног Росинанта другая, гласившая: *Дон Кихот*. Росинант был нарисован замечательно: длинный, вытянутый, худой, тощий, с выдающимся хребтом, словом—кожа да кости, так что сразу же становилось понятным, что имя «Росинант» было дано ему кстати и по заслугам. Рядом с ним стоял Санчо Панса, держа его за уздечку, и под ним полоска с надписью: *Санчо Санкас*; судя по картинке,

у него был большой живот, короткий торс и длинные ноги, и потому вероятно его и прозвали Панса и Санкас \* — прозвища, которые неоднократно встречаются в этой истории. Можно было бы отметить еще и другие подробности, но все они маловажны и в изложении правдивых событий повести занимают незначительное место; повесть же эта не плоха, ибо правдива.

Единственное возражение, которое можно сделать против ее достоверности, заключается в том, что написана она арабом, а племя это от природы весьма склонно ко лжи; однако арабы—наши заклятые враги, и скорее можно предположить, что автор что либо пропустил, чем прибавил. Таково, по крайней мере, мое мнение; ибо там, где автор мог бы и должен был бы дать своему перу свободу восхвалять нашего доблестного рыцаря, он как будто нарочно хранит молчание. Разве это не дурной поступок и не злостное намерение, если принять во внимание, что историки обязаны и должны быть точными, правдивыми и беспристрастными, и ни расчет, ни страх, ни вражда, ни дружба не должны сводить их с прямого пути истины, чьей матерью является история—эта соперница времени, сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предупреждение для будущего? И я знаю, что в этой истории вы найдете все, что обычно ищут в самых занимательных повестях; а ежели окажутся в ней какие-нибудь недочеты, то виной этому, я уверен, не самый сюжет, а неумелость собаки-автора. Итак, вторая часть истории в переводе начинается следующим образом.

Когда наши отважные и разгневанные противники замахнулись в воздухе своими острыми мечами, можно было подумать, что они грозят небу, земле и самому аду: столько отваги и решимости было в их позе. Первым обрушил свой удар вспыльчивый бискаец, и сделал он это с такой силой и бешенством, что не повернись у него шпага в руке, этот один удар положил бы конец не только их жестокому поединку, но и всем вообще приключениям нашего рыцаря. Однако благостная судьба, хранившая дон Кихота для дальнейших великих дел, повернула шпагу в руке его противника, так что удар пришелся ему по левому плечу и не причинил большого урона: только со всего этого бока были сорваны доспехи, попутно отрублена часть шлема и срезана половина уха; все эти предметы с ужасающим грохотом свалились на землю, и наш рыцарь остался в весьма печальном состоянии.

Господи боже мой, найдется ли такой человек, который мог бы достойным образом изобразить ярость, исполнившую сердце нашего ламанча, когда он увидел, как его отделали! Я же скажу только, что дон Кихот снова привстал на стременах, еще сильнее сжал обеими руками меч и с таким бешенством ударил бискайца по подушке и по голове, что противнику, несмотря на его сильное прикрытие, показалось, что на него рухнула целая гора; из носа, рта и ушей полилась у него кровь, он зашатался и наверное бы свалился наземь, если бы не обхватил своего мула за шею. Несмотря все же на это, ноги его выскользнули из стремян, руки повисли, а мул, перепуганный ужасным ударом, помчался

по полю и, брыкаясь, сбросил наконец своего хозяина на землю.

Дон Кихот глядел на это с большим спокойствием, а когда бискаец свалился, он спрыгнул с лошади, легко подбежал к нему, и поднеся острие своей шпаги к самым его глазам, повелел ему сдаться, грозя в противном случае отрубить ему голову. Бискаец был так оглушен, что не мог вымолвить слова, и наверное пришлось бы ему худо (так дон Кихот был ослеплен гневом!), если бы дамы из кареты, следившие с трепетом за поединком, не подошли к нашему рыцарю и не стали с большой настойчивостью просить оказать им милость, даровав жизнь их слуге. На что дон Кихот с большой важностью и достоинством ответил:

— Конечно, прекрасные дамы, я с большим удовольствием исполню вашу просьбу; но я ставлю одно условие: этот рыцарь должен обещать мне, что он отправится в село, называемое Тобосо, предстанет от моего имени пред несравненной доньей Дульсинеей, а уж она распорядится им, как на то будет ее добрая воля.

Перепуганные и огорченные дамы, не разобрав толком, о чем он их просит, и даже не расспросив, кто такая эта Дульсиней, обещали, что их оруженосец в точности исполнит его приказание.

— Веря вашему слову,—сказал дон Кихот,—я больше не причиню ему зла, хоть он и весьма этого заслуживает.

## ГЛАВА X

*о остроумной беседе между дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой*



ем временем Санчо Панса, порядком помятый слугами монахов, уже успел подняться и с большим вниманием следил за поединком своего господина дон Кихота, моля в сердце своем, чтобы богу было угодно даровать нашему рыцарю победу и чтобы, одержав ее, он завоевал какой нибудь остров, где бы Санчо, согласно обещанию, мог сделать губернатором. Увидев, наконец, что бой кончен и что господин его собирается сесть на Росинанта, он подбежал поддержать ему стремя и прежде, чем тот успел сесть, бросился перед ним на колени, схватил его руку, поцеловал ее и сказал:

— Да будет угодно вашей милости, господин мой дон Кихот, пожаловать мне губернаторство на острове, который вы завоевали в этом жестоким бою. Как бы ни был он велик, я чувствую, что в силах управиться с ним ничуть не хуже всяких других островных губернаторов на свете.



На это дон Кихот ответил:

— Заметь себе, братец Санчо, что это приключения, как и иные, подобные ему, относятся к роду приключений не на островах, а на перекрестках дорог: тебе могут проломить голову или отрубить ухо, но ничего другого в них ты не заработаешь. Потерпи немного—будут у нас и такие приключения, которые мне позволят не только произвести тебя в губернаторы, но и сделать кое чем повыше.

Санчо горячо его поблагодарил, еще раз поцеловал руку и край кольчуги и подсобил сесть на Росинанта, сам же вскочил на своего осла и поехал следом за ним. Ни слова больше не сказав дамам, сидевшим в карете, и даже не попрощавшись с ними, дон Кихот быстрым шагом въехал в лес, который находился поблизости. Санчо трусил за ним во всю прыть своего ослика; но Росинант бежал так резво, что Санчо скоро отстал и должен был крикнуть своему господину, чтобы тот его подождал. Услышав его, дон Кихот придержал Росинанта за узду, пока его не нагнал истомленный оруженосец, который сказал:

— Сдается мне, сеньор, что мы поступили бы благоразумно, если бы укрылись в какойнибудь церкви: ведь человек, с которым вы сейчас сразились, остался в таком плачевном состоянии, что будет неудивительно, если об этом происшествии донесут Санта Эрмандад \*, и тогда нас посадят в тюрьму; а ведь, ей богу, немало нам придется попотеть, пока мы оттуда выберемся.

— Замолчи,—сказал дон Кихот.—Где это ты слышал или читал, чтобы странствующих рыцарей

привлекали к суду за какие бы то ни было совершенные ими смертоубийства?

— Про смертоубийц я ничего не знаю,—ответил Санчо,—и сам я отроду этим делом не занимался, а вот насчет драк в открытом поле так я знаю, что Санта Эрмандад очень ими интересуется, остального же я не касаюсь.

— Не печалься, друг мой,—сказал дон Кихот,—я тебя освобожу не только из рук Эрмандад, но и из рук самих халдеев \*. Но скажи мне по совести: видал ли ты когданибудь на свете рыцаря отважнее меня? Читал ли ты в романах, чтобы какойнибудь рыцарь проявил больше смелости при нападении, упорства в защите, стремительности при нанесении удара и ловкости при вышибании из седла?

— По правде сказать,—ответчал Санчо,—я никогда в жизни не читал никаких романов, потому что я не умею ни читать, ни писать; но рещусь побиться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я никогда не служил за всю мою жизнь, и дай бог, чтобы за всю эту отвагу нам не пришлось расплачиваться в том укромном местечке, о котором я только что упоминал. Но прошу вас, ваша милость, позаботьтесь о себе,—ведь у вас из уха сильно идет кровь, а у меня в сумке есть корпия и немножко белой мази.

— Все это было бы лишним,—ответил дон Кихот,—если бы я не забыл приготовить склянку бальзама Фьерабраса: одной капли его было бы достаточно, и мы сберегли бы и время и лекарства.

— А что это за склянка и бальзам? — спросил Санчо Панса.

— Состав этого бальзама, — ответил дон Кихот, — я помню наизусть: имея его, можно не бояться смерти, не опасаться умереть от ран. Я приготовлю его и дам тебе, а ты, когда увидишь, что во время сражения меня разрубили на пополам (что нередко в нашем деле случается), ты осторожно поднимешь ту половинку, которая упала на землю и, прежде чем кровь не застыла, приложишь ее к той, что осталась в седле, постаравшись при этом, чтобы обе половины пришились аккуратно точка в точку. Затем ты дашь мне испить два глотка этого самого бальзама, — и ты увидишь, что я буду жив и здоров, как румяное яблочко.

— Раз это так, — сказал Санчо, — так я немедленно же отказываюсь от губернаторства на обещанном мне острове и в награду за мою великую и верную службу вам прошу только одного: дайте мне, ваша милость, рецепт этой удивительной жидкости. Я твердо уверен, что в любом месте на свете можно продать унцию его за два реала, если не дороже, — а мне большего и не нужно, чтобы дожить свой век честно и спокойно. Однако, прежде нужно выяснить, дорого ли стоит его изготовление.

— На три реала его можно наготовить три асумбры\*, — ответил дон Кихот.

— Горе мне грешнику! — воскликнул Санчо. — Так чего же вы ждете, ваша милость, отчего вы сами его не делаете и меня не научите?

— Молчи, друг мой, — ответил дон Кихот, — еще и не такие тайны я тебе открою и не такими милостями осыплю. Ну, а теперь зай-

мемся моим ухом: оно у меня болит больше, чем мне бы хотелось.

Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но когда дон Кихот увидел, в какое состояние пришел его шлем, он едва не лишился чувств. Положив руку на меч и подняв глаза к небу, он сказал:

— Клянусь творцом мира и четырьмя святыми евангелиями, так, как если бы они передо



мною лежали \*, что отныне я буду вести такую же жизнь, какую вел великий маркиз Мантуанский, когда он поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдуина, а именно: не вкушать хлеба за скатертью, не тешиться со своей женой и прочее (что именно, я позабыл, но только все это тоже включаю в свою клятву), пока не отомщу тому, кто нанес мне подобное оскорбление.

Услышав эти слова, Санчо сказал:

— Да подумайте, ваша милость, сеньор дон Кихот, ведь если тот рыцарь исполнил ваше приказание и пошел представиться госпоже моей Дульсинее Тобосской, так значит он вам свой долг заплатил и не заслуживает нового наказания, пока не совершит другого преступления.

— Ты это правильно заметил и сказал, — отвечал дон Кихот. — Поэтому я отменяю свой обет в той части, которая касается мести этому рыцарю; но я снова клянусь, и подкрепляю свой обет, вести такую жизнь, о которой я говорил, пока силой не отниму у какого нибудь рыцаря шлема, по достоинствам равного этому. И не думай, Санчо, что мои слова, как дым от соломы, уносит ветер, ибо передо мной стоят великие образцы: ведь то же самое, слово в слово, случилось с шлемом Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту.

— Да пошлите вы к чорту, ваша милость, мой сеньор, все эти обеты! — воскликнул Санчо. — Они только здоровью во вред и совести в ущерб. А нет, так скажите мне: что если случайно в продолжении многих дней нам не повстречается ни один человек в шлеме, — что нам тогда делать? Неужели вы будете исполнять ваш обет несмотря на все неудобства и неприятности, как то: спать одетым, не ночевать в селеньях, и подвергать себя тысячам других испытаний, перечисленных этим выжившим из ума стариком, маркизом Мантуанским, обет которого ваша милость собирается воскресить? Подумайте, ваша милость, ведь по всем этим дорогам разъезжают

не вооруженные рыцари, а погонщики и возчики: у них не только никаких шлемов нет, но они пожалуй за всю свою жизнь о них и не слышали.

— Ошибаешься, — ответил дон Кихот. — Не пройдет и двух часов, как мы повстречаем на этих перепутьях больше вооруженных людей, чем было их в армии, осаждавшей Альбраку из за прекрасной Анджелики.

— Ну ладно, пускай будет по вашему, — ответил Санчо. — Дай то бог, чтоб нам повезло и чтобы поскорей пришел нам срок завоевать остров, который мне так дорого стоит, а уж там я умру спокойно.

— Я уже говорил тебе, Санчо, что тебе нечего об этом беспокоиться: не будет острова, так найдется какое нибудь королевство, в роде Дании или Собрadisы, и оно придется тебе прямо по мерке, как перстень на палец; да тебе же еще лучше будет: ведь королевства эти на твердой земле. Впрочем, мы поговорим об этом в свое время, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумке съестных припасов; подкрепившись, мы тотчас же отправимся на поиски какого нибудь замка, там переночуем, и я приготовлю бальзам, о котором я тебе рассказывал, ибо, клянусь тебе богом, у меня сильно болит ухо.

— У меня есть всего на всего одна луковица, кусочек сыра и несколько корок хлеба, — сказал Санчо. — Все это — кушанья, недостойные столь доблестного рыцаря, как ваша милость.

— Как мало ты в этом смыслишь! — воскликнул дон Кихот. — Так знай же, Санчо, доблесть странствующих рыцарей состоит в том, чтобы не

есть по целым месяцам, а если они и едят, то только то, что им попадется под руку. Ты бы знал это твердо, если бы прочел столько романов, сколько я, и хоть много их прочел я, но не запомню, чтобы рыцари когда либо ели иначе, как по чистой случайности и только на пышных пирах, устраиваемых в их честь; остальные же дни они питались ароматом цветов. Конечно, следует предположить, что они все же ели и удовлетворяли прочие естественные потребности, ибо были в конце концов такими же людьми, как и мы; а так как большую часть своей жизни проводили они в лесах и в пустынях, и не имели поваров, то следует допустить, что обычной их едой была простая деревенская пища, в роде той, какую ты мне сейчас предлагаешь. Поэтому, друг мой Санчо, пусть не огорчает тебя то, что меня радует, и не старайся перевернуть мир и вывести странствующее рыцарство из его привычной колеи.

— Простите мне, ваша милость, — сказал Санчо, — но так как я не умею ни читать, ни писать, о чем я уж вам докладывал, то и правил рыцарской должности я тоже отроду не читал. Впредь я буду возить для вас мешок со всякими сушеными плодами, ибо ваша милость рыцарь, а для себя — так как я не рыцарь — разную птицу и вообще вещи посущественнее.

— Я вовсе не говорю, Санчо, — возразил дон Кихот, — что странствующие рыцари обязаны есть одни только сушеные плоды: я только заметил, что обыкновенно они питались ими, да еще некоторыми полевыми травами, которые они умели отыскивать, как и я тоже умею.

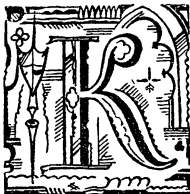
— Полезная штука—разбираться в травах,— сказал Санчо, — потому что, как мне это дело представляется, когданибудь эта наука нам пригодится.

Тут он вынул из сумки свои припасы, и они оба дружно и мирно принялись за еду. Но торопясь отправиться на поиски ночлега, они постарались сократить свой убогий и сухой обед. Потом снова сели верхом и погнали своих скакунов, надеясь засветло добраться до жилья. Но солнце зашло, и вместе с ним покинула их надежда достигь желаемого, а так как они находились возле шалашей козопасов, то они и решили там переночевать. Насколько Санчо огорчился, что они так и не доехали до села, настолько же дон Кихот, напротив, радовался мысли провести ночь под открытым небом, ибо каждый раз когда это с ним случалось, он считал это новым успехом, подтверждавшим его права на рыцарское звание.



## ГЛАВА XI

*о том, что произошло между дон Кихотом и козопасами*



козопасы приняли их радушно, и Санчо, позаботившись как можно лучше о Росинанте и о своем осле, направился в ту сторону, откуда несся запах козлятины, варившейся в котелке на огне; и хоть и тянуло его, не медля ни минуты, попробовать, не пригодно ли это мясо к тому, чтобы быть переправленным из котелка прямо в желудок, все же он воздержался, ибо в это самое время пастухи сняли котелок с огня и, разостлав на земле овчины, быстро приготовили свою сельскую трапезу, а затем с большой приветливостью предложили нашим путникам разделить с ними то, что у них нашлось. Все шесть пастухов, жившие в шалаше, расселись в кружок на овчинах, предварительно с неуклюжей учтивостью попросив дон Кихота занять место на корыте, перевернутом вверх дном. Дон Кихот сел, а Санчо остался на ногах, чтобы служить ему и подносить кубок, сделанный из рога. Но наш рыцарь, увидев, что он не садится, сказал ему:

— Чтобы ты видел, Санчо, какое благо заключается в странствующем рыцарстве и с какой быстротой люди, так или иначе служащие ему, достигают уважения и почестей в мире, я хочу, чтобы ты сел рядом со мною в кругу этих добрых людей и был равен мне, твоему господину и природному сеньору, чтобы ты ел с моей тарелки и пил из той же чаши, из которой пью я,—ибо о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что обычно говорится о любви: оно всех равняет.

— Благодарю покорно,—ответил Санчо,—но вот что я скажу вашей милости: было бы у меня что поесть, а кушать стоя и в одиночестве мне пожалуй еще сподручнее, чем сидя рядом с самим императором; и, уж если разрешите сказать откровенно, так мне куда приятнее есть хлеб с луком у себя в углу без всяких церемоний и жеманства, чем за чужим столом кушать индейку и быть вынужденным жевать медленно, пить мало, каждую минуту вытирать рот, не кашлять и не чихать, когда захочется, и не делать многого другого, что позволено на свободе и в уединении. Поэтому, мой сеньор, вместо почестей, которые ваша милость желает мне оказать, как слуге и сотруднику странствующего рыцарства,—ибо я оруженосец вашей милости,—пожалуйте мне чтонибудь другое, поприбыльнее и пополезнее; а эту честь я принимаю с благодарностью, но отказываюсь от нее и ныне и навеки.

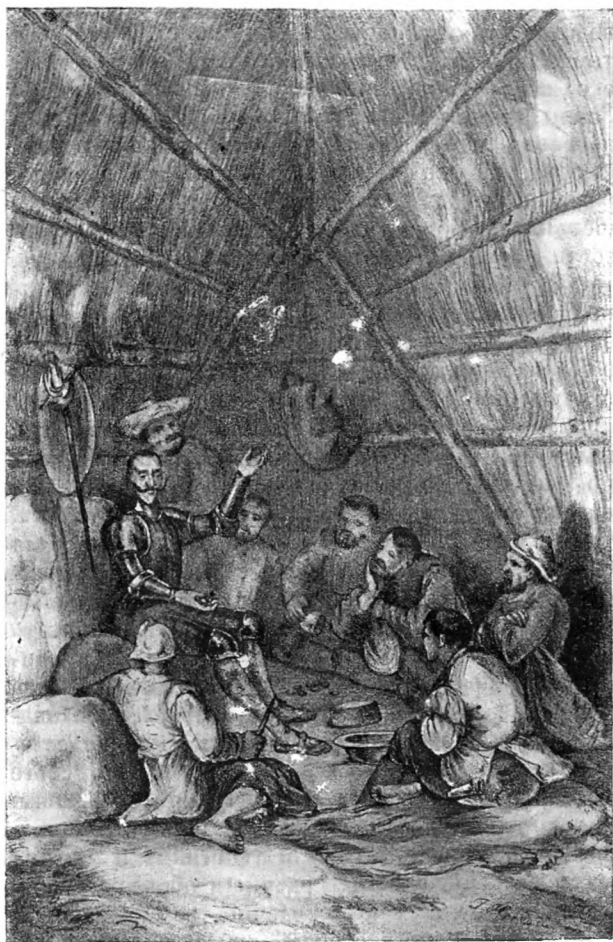
— Несмотря на это, все же садись, ибо того, кто смиряется, бог возвышает.

И, потянув его за рукав, дон Кихот заставил усесться с ним рядом.

Пастухи, ничего не понявшие в этой тарабарщине об оруженосцах и странствующих рыцарях, только и делали, что ели, молчали и поглядывали на гостей, которые с большим аппетитом и проворством уплетали куски величиной с кулак. Когда мясное блюдо было кончено, пастухи высыпали на шкуры огромное количество желудей, а вместе с ними поставили пол круга сыра, такого твердого, как будто он был сделан из извести. За этим десертом роговой кубок тоже не бездействовал: то полный, то пустой, как ведра водочерпалки, он с такой быстротой ходил по кругу, что из имевшихся налицо двух бурдюков вскоре и без особого труда один оказался опорожненным. Когда дон Кихот хорошо насытил свой желудок, он взял пригоршню желудей и, сосредоточенно глядя на них, начал следующую речь:

— Счастливо было то время и счастлив тот век, который древние прозвали золотым, и не потому, чтобы золото, столь ценимое в наш железный век, доставалось в те блаженные времена без всякого труда, а потому что люди, жившие тогда, не звали двух слов: твое и мое. В те святые времена все было общее. Чтобы получить свое дневное пропитание, человеку нужно было только поднять руку к ветвям могучих дубов, в изобилии предоставлявших сладкие и вкусные плоды. Светлые источники и быстрые реки с роскошной щедростью предлагали ему свои отрадные и прозрачные воды. В раселинах скал и дуплах деревьев скромные и трудолюбивые пчелы основывали свои царства, и любая рука могла безвозмездно завладеть

обильной жатвой их сладчайших трудов. Мощные пробковые дубы без всякого принуждения, из щедрой любезности обнажались от своей просторной и легкой коры, и люди покрывали ею свои хижины, построенные на неотесанных столбах, единственно для защиты от переменчивой погоды. Тогда всюду был мир, дружба и согласие. Тяжелый сошник кривого плуга еще не дерзал взрезать и вскрывать милостивую утробу нашей праматери, ибо без принуждения дарила она на всем протяжении своего плодородного и просторного лона все, что могло насытить, напитать и порадовать детей, владевших ею в ту пору. Тогда простосердечные и прекрасные пастушки прогуливались с холма на холм и из долины в долину, с волосами, распущенными или заплетенными в косы, и был на них всего лишь один покров, целомудренно прикрывавший места, которые благопристойность всегда требовала и требует прикрывать; и не было у них уборов, какие приняты в наше время, — украшенных тирским пурпуром или шелком, истерзанным на множество ладов, а всего лишь венки из листьев плюща и зеленого лопуха: и в этом наряде были они, пожалуй, не менее пышны и разукрашены, чем наши куртизанки с теми диковинными ухищрениями, которым научила их затейливая праздность. Тогда любовные порывы души выражались так же просто и искренне, как и зарождались в ней, и не нуждались для своего украшения в хитрых сплетениях слов. Обман, коварство и лукавство не примешивались тогда к правде и откровенности. Тогда правосудие царило полно-



властно, и ни корысть, ни пристрастие, которые ныне так унижают, гнетут и преследуют его, не смели еще ни оскорбить его, ни смутить. Закон личного произвола не приходил судьям в голову, ибо тогда еще незачто и некого было судить. Как уже сказал я, целомудренные девушки разгуливали, где им вздумается, одни одишешеньки, не боясь, что их оскорбит чужая дерзость или вожделение, а если они и теряли честь, так случалось это по их собственной склонности и доброй воле. А теперь, в наше ненавистное время, ни одна из них не находится в безопасности, даже если она спрятана и заперта в какомнибудь невиданном лабиринте, в роде критского, ибо теперь, вместе с этой проклятой галантностью, из всех скважин несетя на них по воздуху любовная зараза, а с нею прощай всякая сдержанность! Чем дальше шло время, тем больше росло это зло, пока, наконец, для безопасности девиц не был основан орден странствующих рыцарей, поставивший себе целью защищать девственниц, опекать вдов, помогать сиротам и бедным. К этому ордену и я принадлежу, братья пастухи, и я благодарю вас за угощение и радушный прием, который вы оказали мне и моему оруженосцу. Хотя по естественному закону все живущие на свете обязаны содействовать странствующим рыцарям, однако, я знаю, что вы в неведении этой обязанности приняли нас и угостили, и потому надлежит мне самым сердечным образом поблагодарить вас за вашу сердечность.

Всю эту длинную речь (от которой он отлично мог бы воздержаться) наш рыцарь про-

изнес только потому, что предложенные ему желуди навели его на мысль о золотом веке, и вот вздумалось ему без нужды разглагольствовать перед пастухами, которые, не произнося ни слова, слушали его в недоумении и растерянности. Санчо тоже молчал, грызя желуди и частенько навещая второй бурдюк, который, чтобы вино было холоднее, подвешен был к дубу.

Ужин уже кончился, а дон Кихот все еще говорил, пока наконец один из пастухов не обратился к нему со следующими словами:

- Чтобы у вашей милости, сеньор странствующий рыцарь, было еще более оснований поверить в искреннее радушие нашего приема, мы хотим вас потешить и повеселить пением одного нашего товарища, который сейчас должен сюда притти; он тоже пастух, парень с головой, служит любви, а главное — умеет читать и писать, и на рабеле \* играет так, что лучше и желать невозможно.

Не успел пастух сказать эти слова, как до слуха их донесся звук рабеля, а вскоре появился и сам музыкант, юноша лет двадцати двух, весьма привлекательной наружности. Его спросили, ужинал ли он, и когда он ответил утвердительно, тот самый пастух, что расхваливал его, сказал:

— В таком случае, Антонио, сделай нам удовольствие и спой чтонибудь: пусть сеньор, который у нас сегодня в гостях, увидит, что и в горах и в лесах встречаются люди, знающие толк в музыке. Мы ему уже сообщили о твоих способностях, — так прояви их и убеди его в том, что мы не солгали. Итак, горячо прошу тебя сесть и спеть нам романс в честь твоей возлю-

бленной, что сочинил гвои дядюшка священник и что так понравился всем в нашей деревне.

— С большим удовольствием,—ответил юноша, и, не заставляя себя больше упрашивать, он уселся на пень срубленного дуба, настроил свой рабель и вскоре запел приятным голосом следующий романс:

Ты меня, я знаю, любишь,  
Хоть ни разу не сказала,  
Даже взорами, Олалья,  
Языком любви безгласным.

Зная, что ты это знаешь,  
Я уже не сомневаюсь;  
Не бывает несчастливой  
Страсть, которая узналась.

Иногда, Олалья, правда,  
Ты старалась мне представить,  
Что душа твоя из бронзы,  
Перси белые—из камня.

Но среди твоих презрений  
И надменных невниманий  
Иногда надежда кромку  
Своего покажет платя.

Я кидаясь на приманку,  
Хоть не мог еще ни разу  
Ни зачехнуть, как незванный,  
Ни, как избранный, воспрянуть.

Если страсть всегда учтива,  
То твоя учтивость значит,  
Что концом моей надежды  
Будет то, о чем мечтаю.



Если верное служенье  
Может ждать себе награды,  
Кое что в моих поступках  
Мне дает на это право.

Ведь нераз могла ты видеть,—  
Если только замечала,—  
Что ношу я и по будням  
То, что надеваю в праздник.

Так как путь один и тот же  
У любви и у нарядов,  
Мне хотелось пред тобою  
Быть всегда щеголеватым.

Уж не говорю о танцах  
Или там о серенадах,  
Исполнявшихся под вечер  
И с ночными петухами.

Исчислять похвал не стану,  
Красоте твоей возданных;  
Их правдивостью у многих  
Я себе немилость нажил.

Беррокальская Тереса  
На мои хвалы сказала:  
«Про нных послушать—ангел,  
«А посмотришь—обезьяна.

«Мудрено ли всяким хламом,  
«Накладными волосами  
«И красотами из лавки  
«Хоть Амура одурачить!»

Я ответил. Оскорбилась.  
Брат двоюродный вмешался

Вышла ссора, а потом уж,  
Что мы сделали, ты знаешь.

Я люблю не как пошало,  
И служу, и помогаюсь  
Не сожительства с тобою,  
Ибо цель моя похвальна.

Церковь нам готовит узы,  
Петли шелковые вяжет;  
Положи свою в них шею,  
И свою вложу я рядом.

Если ж нет, клянусь на месте  
Всем, что есть святого в святцах,  
Что уйду из здешних дебрей,  
Разве только что в монахи.

Такими словами пастух закончил свою песню, и дон Кихот попросил его спеть еще чтонибудь, но тут вмешался Санчо Панса, которому больше хотелось спать, чем слушать пение. Поэтому он сказал своему господину:

— Пора бы уж вашей милости выбрать местечко, где она уляжется: ведь эти добрые люди целый день работают и не могут проводить ночи напролет в пении.

— Я тебя понимаю, Санчо,—ответил дон Кихот.—Сдается мне, что усердные беседы с бурдюком больше вознаграждаются сном, чем музыкой.

— Да кто ж из нас вина не любит, слава те господи! — воскликнул Санчо.

— Я этого не отрицаю,—сказал дон Кихот.— Ну, располагайся, где тебе угодно, а людям моего положения больше пристало бодрствовать,

чем спать. А все же было бы не плохо, Санчо, если бы ты еще разок перевязал мне ухо, потому что болит оно сильнее, чем надо бы.

Санчо исполнил приказание; а один козопас, увидев рану, сказал, что беспокоиться нечего, что у него есть лекарство, от которого она сейчас же заживет. И, сорвав несколько листиков розмарина, росшего вокруг в большом изобилии, он разжевал их, смешал с солью и приложил к ране: затем старательно ее перевязал и заявил, что никакого другого лекарства не понадобится: так оно и оказалось на деле.

## ГЛАВА XII

*о том, что рассказал один козопас компании, бывшей с дон Кихотом*



это время вернулся молодой парень, ходивший в деревню за припасами, и сказал:

— Товарищи, знаете, что случилось в деревне?

— Откуда нам это знать?—ответил один из пастухов.

— Так знайте, — продолжал пришедший, — что сегодня утром скончался знаменитый пастух-студент по имени Хризостом, и ходит слух, что умер он от любви к этой чертовке Марселе, дочери богача Гильермо, той самой, что бродит по нашим дебрям в одежде пастушки.

— Ты говоришь, к Марселе? — спросил один из компании.

— Да, к Марселе, — ответил козопас. — А самое замечательное это то, что в своем завещании он велит похоронить себя как мавра, среди чистого поля, у подножья скалы, где над источником растет дуб, ибо люди уверяют (будто бы с его собственных слов), что в этом месте он

увидел ее в первый раз. И еще есть другие у него разные желания, только здешние попы утверждают, что они не будут исполнены и что исполнять их не следует, потому что они в роде языческих. А попам возражает большой друг покойного, студент Амбросио, тоже переодетый пастухом, как и покойник: он говорит, что завещание Хризостома должно быть выполнено целиком с начала до конца, как он просит, и по этому случаю все село сейчас в волнении. Судя по разговорам, в конце концов все устроится, как желает Амбросио и его друзья пастухи, и завтра с большим торжеством понесут хоронить Хризостома в то самое место, о котором я говорил. По моему, на это очень стоит поглядеть; во всяком случае я пойду туда непременно, если только завтра мне не придется опять идти за припасами.

— Да мы все пойдем туда, — ответили пастухи, — и бросим жребий, кому остаться стеречь наших коз.

— Правильно, Педро, — подхватил другой пастух, — только не зачем прибегать к такому способу: я останусь за вас всех. И не думай, что я это предлагаю по доброте или из отсутствия любопытства, а просто я давеча занозил себе ногу, и мне трудно ходить.

— Как бы там ни было, мы все очень благодарим тебя, — ответил Педро.

Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто это такой умер и кто такая эта пастушка. На что Педро ответил, что, насколько ему известно, покойный был богатый идальго, родом из села, лежащего в горах неподалеку отсюда, что много лет учился он в Саламанке, а потом вернулся к себе на родину и слыл там весьма ученым

и начитанным человеком. Говорили, что особенно сведущ он был в науке о звездах и знал, что там на небе делают солнце и луна: «Он нам в точности предсказывал все солнечные и лунные сомнения».

— Это называется *затмением*, друг мой, а не *сомнением*, когда эти два великие светила помрачаются, — заметил дон Кихот.

Но Педро, не обратив внимания на такую мелочь, продолжал свой рассказ:

— А также он угадывал, какой будет год: урожайный или *бесплодный*.

— Вы хотите сказать, *неплодородный*, друг мой? — заметил дон Кихот.

— Бесплодный или неплодородный, велика разница! Одним словом, благодаря его предсказаниям, отец и друзья его очень разбогатели, ибо они доверяли ему и во всем следовали его советам, когда он говорил: «Сейте в этом году ячмень, а не пшеницу; а в этом сажайте горох, но не сейте ячменя; в будущем году оливковое масло будет в изобилии, а потом три года сряду не будет его ни одной капли».

— Эта наука называется астрологией, — сказал дон Кихот.

— Уж не знаю, как она там называется, — ответил Педро, — а только знаю, что смыслил он не только в этом, но и во многом другом. И вот, не прошло и нескольких месяцев после его возвращения из Саламанки, как вдруг в один прекрасный день сбросил он свое долгополое студенческое одеяние и появился перед нами в одежде пастуха, в овчине и с посохом в руках, а вместе с ним переоделся пастухом и вер-

ный друг его Амбросио, его товарищ по школьной скамье. Я позабыл вам сказать, что покойный Хризостом был хорошим стихотворцем: он сочинял вильянсики \*, что поются в рождественскую ночь, и священные действия к празднику тела Христова, которые разыгрывала наша деревенская молодежь, и все говорят, что были они превосходны. Когда эти два студента так неожиданно переоделись пастухами, все на селе были изумлены и никак не могли догадаться о причине столь необычного превращения. А в это время умер отец нашего Хризостома, и он остался наследником его немалого имущества, как движимого, так и недвижимого, а также большого количества крупного и мелкого скота и значительной суммы денег. Все это перешло в полное его распоряжение, и, по правде сказать, он вполне этого заслуживал, ибо был добрым и щедрым товарищем, любил хороших людей, а лицом был писанный красавец. Потом узнали, что переоделся он только потому, что решил удалиться в эти пустынные места вслед за пастушкой Марселою, о которой недавно упоминал наш товарищ, так как бедный, ныне покойный Хризостом влюбился в нее. Теперь я вам расскажу, чтобы вы знали, кто такая эта малютка: весьма возможно, а пожалуй даже наверное, вы не услышите ничего подобного во всю свою жизнь, даже если проживете дольше, чем Сарна.

— Не сарна, а Сарра, — прервал его дон Кихот, который не мог стерпеть, что пастух так калечил слова.

— Да ведь Сарна еще живучей \*, — возразил пастух. — Но только ежели вы, сеньор, будете

придираться к каждому моему слову, так я и через год не кончу.

— Простите, друг мой,—сказал дон Кихот,—я перебил вас, потому что между *сарной* и *Саррой* большая разница. Но вы превосходно мне ответили, что сарна еще долговечнее Сарры; продолжайте же ваш рассказ, я больше ни разу вас не прерву.

— Итак, дорогой сеньор мой,—сказал па-стух,—я продолжаю. В нашей деревне жил один крестьянин, еще побогаче, чем отец Хризостома, и звали его Гильермо. Помимо многих великих богатств, дал ему бог еще и дочку, мать которой, почтеннейшая женщина во всем нашем околке, умерла при ее рождении. Как сейчас вижу я ее лицо, светившееся с одной стороны как солнце, а с другой, как луна; а главное, была она доброй хозяйкой и любила бедных, так что мне думается, что ныне душа ее блаженствует на том свете у господ бога. После смерти столь доброй жены муж ее Гильермо умер с горя, и осталась его дочка, юная и богатая Марсела, на попечении у дяди, священника, имеющего бенефиций в нашем селе. Девочка росла такой хорошенькой, что все мы невольно вспоминали ее красавицу мать, а некоторые полагали даже, что со временем она станет еще прекраснее ее. Таким то образом, когда ей исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет, нельзя было смотреть на нее, не благословляя бога за то, что он создал ее такой прекрасной, и большинство наших юношей были до смерти в нее влюблены. А дядя держал ее под запорами, в большой строгости; но все же молва о ее великой красоте и боль-



шом богатстве разнеслась не только по нашему селу, но и на много миль вокруг, и лучшие женихи съезжались отовсюду просить, упрашивать и приставать к дяде, чтобы он выдал ее замуж. А тот, как настоящий добрый христианин, хоть и не прочь был ее пристроить, когда она вошла в возраст, все же не хотел этого делать без ее согласия, — хотя, конечно, не потому откладывал он ее замужество, что думал о доходах и прибылях, которые приносила ему опека над ее имуществом. Верьте мне, об этом часто говаривали у нас на посиделках и похваляли доброго священника. А ведь должен я вам сказать, странствующий сеньор, что у нас в деревушках обо всех болтают и кого угодно оговаривают; и уж будьте уверены, как уверен и я, что ежели прихожане, особенно деревенские, хорошо отзываются о какой-нибудь духовной особе, то это значит, что она вполне того заслуживает.

— Совершенно правильно, — заметил дон Кихот. — Продолжайте же: рассказ ваш очень хорош, и вы, добрый Педро, рассказываете его прекрасно.

— Была бы только милость божия, это самое главное. Ну, а дальше было так: хотя дядя предлагал племяннице множество женихов, подробно перечисляя достоинства каждого из тех, кто хотел на ней жениться, и прося ее решиться и выбрать себе по вкусу одного из них, — она на все его предложения отвечала, что пока еще не желает выходить замуж, что она еще слишком молода и не считает себя способной нести бремя супружеской жизни. Отговорки ее казались справедливыми, и дядя оставил ее в покое, поджидая, чтобы она под-

росла и выбрала наконец себе супруга по собственному желанию. Ибо он заявлял—и в этом был вполне прав,—что родители не должны устраивать судьбу своих детей против их воли. И вдруг, ни с того ни с сего, неожиданно нежданно, привередливая Марсела в один прекрасный день сделалась пастушкой. Хотя ее дядя и все односельчане отговаривали ее, она не послушалась и с другими пастушками из нашей деревни отправилась в поле пасти свое собственное стадо. А когда она появилась перед всеми и все смогли, наконец, увидеть ее красоту, множество богатых юношей, идадьго и поселян — ей богу, мне их всех и не пересчитать!—оделись так же, как Хризостом, и пошли вместе с нею скитаться, домогаясь ее милостей. Я уж вам сказал, что один из них был и покойный Хризостом, про которого рассказывали, что он не то что любил ее, а прямо боготворил. И не думайте, что если Марсела избрала свободу и привольную жизнь, не знающую никаких стеснений, так это означало или намекало на то, что честь и добродетель ее могли от этого пострадать; напротив, она так бдительно охраняет свою честь, что ни один из служащих ей и помогающих ей любви не похвалился еще, да, говоря правду, вероятно никогда и не похвалится, что она дала ему хоть малейшую надежду на удовлетворение его желаний. Она не избегает и не уклоняется от общества и бесед пастухов, обращается с ними любезно и дружески, но как только ктонибудь из них открывает ей свое желание — будь это даже законным и святым желанием жениться на ней — она тотчас же от-

брасывает его на расстояние выстрела из мортиры. И таким своим поведением она производит в нашей стране больше бедствий, чем чума, ибо приветливость ее и красота заставляют всех юношей, которые с ней встречаются, любить ее и служить ей; а ее презрение и бесчувственность доводит их до отчаянья, и они иначе не называют ее как жестокой, неблагоприятной и тому подобными именами, по которым можно судить о свойствах ее характера. И если бы вы здесь остались, сеньор, вы бы в один прекрасный день услышали, как наши горы и долины оглашаются жалобами отвергнутых влюбленных, которые за ней следуют. Неподалеку отсюда есть одно место, где растут дюжины две высоких буков, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы вырезано и написано имя Марселя, а на некоторых деревьях над именем вырезана еще и корона, как будто влюбленный этими знаками хотел сказать, что венец всей человеческой красоты по праву принадлежит Марселе. Тут вздыхает один пастух, там жалуется другой, здесь слышатся любовные песни, там — горестные пени. Один влюбленный проводит ночи напролет под дубом или у подножия скалы и, опьяненный и увлеченный мечтами, не смыкает до зари плачущих очей; другой вздыхает без перерыва и передышки и в самый нестерпимый зной летнего полдня лежит на раскаленном песке и шлет свои жалобы милосердному небу. А прекрасная Марсела, свободная и беспечная, торжествует над тем и над этим, над этими и другими. Мы все, знающие ее, ожидаем, когда придет конец ее над-

менности и кто будет тот счастливец, что укротит наконец ее ужасный нрав и насладится ее необычайной красотой. А так как все, что я вам рассказал, сущая правда, то, думается мне, правда и то, что наш пастух сообщил о причине смерти Хризостома. Поэтому советую вам, сеньор, непременно приходите завтра на похороны: право, стоит посмотреть, ибо у Хризостома было множество друзей, а до места, где он завещал себя похоронить, отсюда меньше чем пол мили.

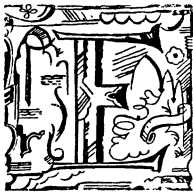
— Конечно пойду, — ответил дон Кихот, — и благодарю вас за удовольствие, которое вы мне доставили столь интересным рассказом.

— О, я не знаю и половины того, что случилось с возлюбленным Марселы, — ответил козопас. — Но, может быть, завтра мы встретим по дороге какого нибудь другого пастуха, и он нам расскажет остальное. А теперь вам не мешало бы прилечь поспать в шалаше, так как ночная свежесть может повредить вашей ране, — хотя, впрочем, с тем пластырем, что я вам положил, вы можете не бояться неприятных осложнений.

Санчо Панса, который давно уже посылал к черту разглагольствования пастуха, тоже принялся упрашивать дон Кихота лечь в шалаше Педро. Тот согласился и остаток ночи провел в мыслях о своей сеньоре Дульсинее, подражая в этом любовникам Марселы. А Санчо Панса, примостившись между Росинантом и ослом, заснул не как безнадежно влюбленный, а как человек изрядно помятый кулаками.

## ГЛАВА XIII

*содержащая конец повести о пастушке Марселе  
и разные другие события*



два только с балконов востока выглянул день, как пятеро из шести пастухов вскочили на ноги и принялись будить дон Кихота, спрашивая его, не изменил ли он своего намерения отправиться на необычайные похороны Хризостома и не хочет ли он присоединиться к их компании. Дон Кихот, только о том и помышлявший, встал и велел Санчо немедленно седлать лошадь и осла, что тот исполнил весьма проворно, и столь же проворно все они пустились в путь. Не успели они проехать и четверти мили, как на перекрестке двух тропинок завидели человек шесть пастухов, шедших к ним на встречу: на них были черные овчины, а на головах венки из веток кипариса и олеандра. Каждый держал в руках толстую дубовую палку. Рядом с ними ехали верхом два дворянина в богатом дорожном платье, сопровождаемые тремя слугами, которые шли пешком. Встретившись, пастухи учтиво друг друга привет-

ствовали и спросили, кто куда направляется; выяснилось, что все они держат путь к месту погребения, и потому они пошли дальше все вместе. Один из всадников, обратившись к другому, сказал:

— Мне кажется, сеньор Вивальдо, что время, которое у нас возьмет поездка на эти диковинные похороны, не будет потеряно, ибо наверное они будут достопримечательны, если верить тем удивительным вещам, которые — как о покойном пастухе, так и о сразившей его пастушке — рассказали нам наши спутники.

— Я того же мнения, — ответил Вивальдо, — и готов потратить не один день, а целых четыре, чтобы только на это посмотреть.

Дон Кихот спросил их, что они слышали о Марселе и Хризостоме. Всадник ответил, что нынче на рассвете встретили они этих пастухов и, увидя их траурный наряд, спросили, почему они так одеты; тогда один из них объяснил им, в чем дело, рассказал о странном нраве прекрасной пастушки по имени Марсела, о любви многочисленных ее поклонников и о смерти Хризостома, на погребение которого они отправляются. Одним словом, он рассказал дон Кихоту все, что тот уже знал со слов Педро.

Этот разговор между ними кончился, и начался другой, ибо всадник, которого звали Вивальдо, спросил дон Кихота, по какому случаю тот разъезжает в полном вооружении по столь мирной стране. На это дон Кихот ответил:

— Свойства моей профессии не позволяют и не разрешают мне разъезжать в ином виде. Удобства, роскошь и покой изобретены для изнеженных столичных жителей но труды, тревоги

и ратное дело изобретены и созданы для тех, кого мир именует странствующими рыцарями и из коих я, недостойный, считаю себя самым последним.

Услышав эти слова, все решили, что он сумасшедший; но чтобы проверить это и выяснить, какого рода его безумие, Вивальдо еще раз взял слово и спросил, что такое „*странствующие рыцари*“.

— Разве ваши милости, — отвечал дон Кихот, — не читали летописей и истории Англии, где рассказывается о славных подвигах короля Артура, который на нашем кастильском наречии обычно именуется *Артусом*? Во всем королевстве Великой Британии существует древнее, весьма распространенное предание о том, что король этот не умер, но чарами был обращен в ворона и что наступит время, когда он снова станет королем и возвратит себе королевство и скипетр: не по этой ли причине вы не найдете ни одного англичанина, который с того самого дня и поныне убил бы хоть одного ворона? Итак, во времена этого доброго короля был учрежден славный рыцарский орден рыцарей Круглого Стола, и именно тогда то дон Ланселот, рыцарь Озера, влюбился в королеву Джиневру, при чем наперсницей и посредницей между ними была почтеннейшая донья Кинтаньона—точь в точь так, как об этом рассказывается; вот откуда и пошел известный романс, который так часто поют у нас в Испании:

Никогда так нежно дамы  
Не пеклись о паладине,  
Как пеклись о Ланселоте,  
Из Британии прибывшем...

и все прочее, что в нем дальше нежно и сладостно поется о любовных и ратных делах Ланселота. С той поры этот рыцарский орден постепенно вырос и распространился по многим и различным частям света; в нем стали славны и известны своими подвигами отважный Амадис Гальский со всеми своими сыновьями и внуками до пятого колена, доблестный Фелисмартэ Гирканский и стоящий выше всех похвал Тирант Белый; а непобедимого и доблестного рыцаря дона Бельяниса Греческого мы чуть ли не в наши дни видели, общались с ним и слышали его. Так вот, сеньоры, что значит быть странствующим рыцарем и вот каков этот рыцарский орден; к нему, как я уже сказал, принадлежу и я, грешный, и все, что исповедывали перечисленные мною рыцари, исповедую и я. Посему странствую я по этим уединенным и пустынным местам в поисках приключений, с твердой решимостью встречать мечом и грудью все опасности, которые пошлет мне судьба, и защищать слабых и обездоленных.

После этой речи спутники дон Кихота окончательно поняли и то, что он безумен, и то, какого рода безумие им владеет; они были поражены этим, как, впрочем, и все, кто впервые встречался с нашим рыцарем. А Вивальдо, человек остроумный и веселого нрава, чтобы провести без скуки остающееся время пути (по словам пастухов до места в горах, где должно было происходить погребение, было уже совсем близко), решил дать дон Кихоту повод продолжать свои бредни и потому сказал:

— Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что ваша милость избрала одну из самых



суровых профессий на земле, и я уверен, что даже жизнь картезианских монахов не столь сурова.

— Может быть, она не менее сурова,— ответил дон Кихот,— но что она не столь необходима для человечества — в этом я готов дать руку на отсечение. Ибо, если говорить правду, то солдат, исполняющий приказание своего капитана, делает дело не менее важное, чем сам капитан, отдающий приказания. Я хочу сказать, что монахи в мире и покое молятся небу о благоденствии земли, мы же, солдаты и рыцари, приводим в исполнение то, о чем они молятся: мы защищаем землю мощью нашей руки и лезвием нашего меча, и не под прикрытием кровли, а под открытым небом, служа мишенью, летом — нестерпимым лучам солнца, зимой — колючим морозам. Поэтому на земле мы — слуги бога, мы — руки, с помощью которых осуществляется на ней его справедливость. И так как ратным делом и всем, что к нему примыкает и относится, нельзя заниматься без великого напряжения, пота и труда, то из этого следует, что посвятившие себя этому делу, без сомнения, трудятся больше, чем те, кто в невозмутимом мире и спокойствии просят бога сжалиться над обездоленными. Я не хочу сказать — такая мысль мне и в голову не может прийти — что дело странствующих рыцарей столь же свято, как жизнь монахов затворников; я только заключаю из всех лишений, которые мне приходится переносить, что наше существование еще более тягостно, убого, изнурительно, жалостно, еще более подвержено голоду, жажде и вшивости, ибо несо-

мненно, что всем странствующим рыцарям былых времен приходилось в течение их жизни претерпевать множество невзгод. А если кому из них и удавалось силою собственного меча сделаться императорами, то уж поверьте, что стоило это им немало пота и крови; да еще, если бы при достижении этих высоких степеней не помогли им мудрецы и волшебники, то так бы они и остались обманутыми в своих желаниях и разочарованными в своих надеждах.

— Я вполне с вами согласен,—ответил путешественник.—Но из всего, что я знаю о странствующих рыцарях, мне не нравится одно: когда они бросаются на какое нибудь великое и опасное приключение, в котором жизнь их подвергается явной опасности, — в эту решительную минуту им никогда не приходит в голову поручить себя милости божьей, как в подобных опасностях обязан делать каждый христианин; напротив, они поручают себя своим дамам, да еще с таким жаром и благоговением, как будто эти дамы — божество. Признаюсь, это немного пахнет язычеством.

— Сеньор,—ответил дон Кихот,—иначе и быть не может, и если бы странствующий рыцарь этого не делал, он бы опозорил себя; ибо в странствующем рыцарстве есть правило и обычай, чтобы странствующий рыцарь, готовясь вступить в великий бой, любовно и нежно обращал взоры на свою даму, если она при этом присутствует, как бы прося ее помочь и защитить его в предстоящем тяжелом испытании; и даже если никто не слышит, он обязан сквозь зубы пробормотать несколько слов, от всего

сердца призывая ее милость. В романах вы найдете этому бесчисленные примеры. Но из этого не следует заключать, что рыцари не поручают себя богу: для этого у них всегда найдется и время и случай в течение самого боя.

— Все же,—ответил путешественник,—у меня остается сомнение. Много раз читал и о том, что два странствующих рыцаря начинают спорить, потом мало по малу распаляются гневом, поворачивают коней и отъезжают в сторону для разгона, затем сразу устремляются друг на друга и на полном скаку поручают себя своим дамам; а схватка обыкновенно кончается тем, что один из них падает со своей лошади навзничь, насквозь пронзенный копьем противника, а другой вцепляется в гриву своего скакуна и только потому не свергается наземь. И я право не понимаю, как убитый рыцарь мог бы успеть поручить себя богу в течение такой стремительной схватки. Лучше бы ему было, пока он скачет, тратить время не на призывание дамы, а на исполнение своего долга и обязанности христианина, тем более,—я в этом уверен,—что не все странствующие рыцари имеют возможность поручать себя дамам, ибо не все же они влюблены.

— Это вещь невозможная, — ответил дон Кихот.—Я хочу сказать, что не может быть странствующего рыцаря без дамы, ибо каждому из них столь же свойственно и присуще быть влюбленным, как небу иметь звезды, и можно с уверенностью сказать, что не существует на свете такого романа, в котором был бы странствующий рыцарь без любви: ведь если б был такой рыцарь без любви, он тем самым доказал бы,

что он не законный рыцарь, а побочный сын рыцарства, не проникший в его твердыню через ворота, а перескочивший через ее ограду, как вор и разбойник.

— Однако,—возразил путешественник,— мне кажется, если только память мне не изменяет, что дон Галаор, брат доблестного Амадиса Галльского, никогда не имел знатной дамы, которой он мог бы поручить себя, и никто не ставил ему этого в упрек, так как он был весьма важным и славным рыцарем.

На это наш дон Кихот ответил:

— Сеньор, одна ласточка не делает весны, а кроме того мне известно, что этот рыцарь втайне был страстно влюблен. И если он ухаживал за всеми дамами, которые ему нравились, так делал он это по естественной склонности, с которой не мог совладать. Но для меня совершенно несомненно, что у него была дама, которую он сделал госпожей своего сердца и которой он постоянно и тайно поручал себя, ибо стремился быть весьма скрытным рыцарем.

— Раз вы утверждаете,—сказал путешественник,— что по самой своей сущности каждый странствующий рыцарь должен быть влюблен, то из этого можно заключить, что и ваша милость тоже влюблена, так как вы принадлежите к этому ордену. И если ваша милость не стремится быть столь же скрытным, как дон Галаор, то я весьма убедительно прошу вас от своего имени и от имени всего этого общества сообщить нам имя, родину и титул вашей прекрасной дамы; ибо она должна быть счастлива, если весь мир узнает, что ее любит и ей слу-

жит столь видный рыцарь, каким представляется мне ваша милость.

Тут дон Кихот испустил глубокий вздох и сказал:

— Не берусь утверждать, что нежному моему недругу угодно, чтобы весь мир знал, как я ей служу. В ответ на вашу столь учтивую просьбу одно лишь могу сказать: зовут ее Дульсинея, родом она из Тобосо, местечка в Ламанче, она по меньшей мере—принцесса, ибо она моя госпожа и королева. Красота ее—сверхчеловеческая, ибо все невозможные и химерические атрибуты красоты, которыми поэты наделяют своих дам, в ней стали действительностью: ее волосы—золото, чело—Елисейские поля, брови—небесные радуги, очи—солнце, ланиты—розы, уста—кораллы, зубы—жемчуг, шея—алебастр, перси—мрамор, руки—слоновая кость, белизна кожи—снег, а те части тела, которые целомудрие скрывает от людских взоров, таковы, что, по моему мнению и понятию, ими можно лишь скромно восхищаться, ибо они выше всяких сравнений.

— Нам хотелось бы узнать ее происхождение, историю рода и генеалогию,—сказал Вивальдо.

На это дон Кихот отвечал:

— Она происходит не от древне римских Курциев, Кайев или Сципионов, и не от нынешних римлян—Колонна и Орсини, не от каталанских Монкада и Рекесен, также не от валенсианских Ребелья и Вильянова, арагонских Палафокс, Нуса, Рокаберти, Корелья, Луна, Алагон, Урреа, Фос и Гурреа, кастильских Серда, Манрике, Мендоса и Гусман, португальских Аленкастро, Палья и Ме-

несет. Она—из рода Тобосо Ламанчских, рода не древнего, но могущего положить благородное начало самым знатым поколениям в грядущие времена. И если ктонибудь вздумает мне возражать, то я поставлю ему те же условия, которые написал Дзербину у подножья трофеев Роланда:

. . . . . ..Коснуться их достоин  
Лишь доблестью Роланду равный воин\*.

— Хоть и происхожу я из рода Качопинов Ларедских\*,—ответил путешественник,—но я не посмею сравнить его с родом Тобосо Ламанчских, хотя, по правде сказать, никогда доселе о таком имени я не слышал.

— Так я вам и поверю, что не слышали!—воскликнул дон Кихот.

Спутники наших собеседников с большим вниманием слушали их разговор, и теперь даже пастухи смекнули, что наш дон Кихот окончательно свихнулся. Один Санчо Панса был уверен, что все слова его господина—сухая правда, ибо он хорошо его знал и был с ним знаком с самого дня его рождения. Единственно в чем он немного сомневался—это в существовании прекрасной Дульсины Тобосской, ибо хоть и жил он поблизости от Тобосо, никогда еще не слышал он о таком имени и такой принцессе. Беседу подобным образом, продолжали они путь, пока наконец в ущельи, между двумя высокими горами, не увидели десятка два пастухов, одетых в черные овчины и с венками на головах, сплетенными, как вскоре выяснилось, частью из кипарисовых, а частью из тисовых ветвей.

Шестеро из них несли носилки, покрытые различными цветами и ветками. Увидев это, один из наших пастухов сказал:

— Вот несут тело Хризостома: у подножия этой горы он велел похоронить себя.

Путники наши ускорили шаг и подошли как раз в ту минуту, когда носилки были опущены на землю и четверо из носильщиков принялись острыми кирками рыть могилу неподалеку от твердой скалы.

Обе группы вежливо обменялись приветствиями, и дон Кихот со своими спутниками тотчас же приблизились к носилкам и увидели, что на них, весь в цветах, лежал покойник, на вид лет тридцати, одетый в пастушеское платье. Глядя на мертвого, нельзя было не заключить, что при жизни у него было прекрасное лицо и изящное сложение. Вокруг него на носилках лежало несколько книг и рукописей, из которых некоторые были раскрыты. Присутствовавшие — и те, что на него смотрели, и те, что копали могилу, и все остальные — хранили глубочайшее молчание, пока наконец один из принесших носилки не сказал другому:

— Посмотри хорошенько, Амбросио, то ли это место, о котором говорил Хризостом, раз вы желаете с полной точностью исполнить его завещание?

— Да это самое, — ответил Амбросио. — Сколько раз, сидя здесь, мой несчастный друг рассказывал мне свою горестную повесть. Здесь, по его словам, он впервые увидел этого смертного врага рода человеческого, Марселу, здесь впервые он открыл ей свое благородное и влю-

бленное сердце, и здесь в последний раз она довела его до отчаяния своим презрением, после чего он решил окончить трагедию своей злочастной жизни. И вот, в память стольких бедствий, он пожелал, чтобы именно здесь погрузили его в лоно вечного забвения.

И, обратившись к дон Кихоту и его спутникам, он продолжал:

— Это тело, сеньоры, на которое вы взираете с состраданием, хранило в себе душу, которую небо одарило бесчисленными своими сокровищами. Это прах Хризостома, первого по уму, единственного по учтивости, несравненного по благородству, феникса дружбы, великодушного без меры, достойного без самомнения, веселого без распушенности,—одним словом, первого во всех добродетелях и не имевшего себе равного в несчастиях. Он любил—его ненавидели, он обожал—его отвергали; он молил звериное сердце, домогался любви мраморного истукана, гнался за ветром, взывал в пустыне, служил воплощению бессердечия—и вот в награду за все это он стал добычей смерти в расцвете своей жизни: его убила пастушка, которую он старался обессмертить, дабы жила она в памяти людей; чему свидетелями могли бы служить рукописи, которые у вас перед глазами, если бы он не велел мне предать их огню, после того как тело его предано будет земле.

— Если вы это сделаете,—возразил Вивальдо,—вы поступите с ними еще с большей суровостью и жестокостью, чем сам их хозяин, ибо не следует и не надлежит исполнять приказания, идущие наперекор всякому здравому смыслу.





И не прав был бы Цезарь Август, если бы он позволил исполнить то, что наказал в своем завещании божественный мантуанец\*. Итак, сеньор Амбросио, предайте земле прах вашего друга, но не предавайте забвению его писаний; ибо если он велел это сделать под влиянием обиды, вам не следует исполнять этого безрассудно: напротив, пусть живут его писания и пусть вместе с ними вечно живет жестокость Марселлы, и да послужит она на будущее время назиданием для всех живущих,—да бегут они и остерегаются падения в подобные бездны. И я и все мои спутники знаем уже историю вашего влюбленного и отчаявшегося друга, знаем, как глубоко вы его любили, и как он умер, и что, умирая, вам завещал. Из этой плачевной повести можно заключить, как велики были жестокость Марселлы, любовь Хризостома и ваша верная дружба: вот к какой цели мчатся очертя голову те, кому безрассудная любовь указывает путь! Вчера вечером мы узнали о кончине Хризостома и о том, что погребение его состоится в этом месте. Жалость и любопытство побудили нас свернуть с прямого пути, и мы решили воочию увидеть то, рассказ о чем так нас разжалобил. И вот, в награду за наше сострадание и за желание по мере сил помочь вашему горю, мы просим тебя, Амбросио, как человека разумного,—по крайней мере я лично прошу тебя об этом—не сжигать этих бумаг и отдать мне хотя бы некоторые из них.

И, не дожидаясь ответа пастуха, он протянул руку и схватил рукописи, которые лежали поближе к нему. Увидев это, Амбросио сказал:

— Чтобы оказать вам любезность, сеньор, я согласен отдать вам те бумаги, которые вы уже взяли, но вы напрасно стали бы надеяться, что остальные не будут сожжены.

Вивальдо, желавший познакомиться с содержанием рукописей, тотчас же развернул одну из них и прочел заглавие: *Песнь отчаяния*. Амбросио услышал и сказал:

— Это последняя поэма, написанная моим несчастным другом, и если вам хочется увидеть, до какого состояния его довели несчастья, прочтите ее громко, так чтобы все вас слышали: вы успеете это сделать, пока пастухи закончат рыть могилу.

— Я прочту с большой охотой,—ответил Вивальдо.

И так как всем присутствовавшим хотелось послушать, они расположились вокруг него, и он ясным голосом начал так.

## ГЛАВА XIV

*где приводятся стихи впавшего в отчаяние покойного пастуха и другие неожиданные происшествия*

### ПЕСНЬ ХРИЗОСТОМА

Жестокая, раз хочешь оглашенья  
Из уст в уста по племенам и странам  
Упорства строгости твоей суровой,  
Так сделаю, что ад сам вдохновенье  
И горечь сообщит печальным ранам,  
Обычный голос мой сменив на новый.  
И сколько дух мой жаждет, уж готовый  
Сказать печаль свою, твои поступки,  
Настолько страшный голос укрепитя,  
И в нем для вящей муки будут биться  
Нутра живого жалкие обрубки.  
Так слушай же! пронзит твой слух прилежный  
Не звук гармонии, а шум мятежный,  
Что, затаившись в сердце, как в засаде,  
Вздывается по горькому велению  
Мне к утешенью, а тебе к досаде!

Рычанье льва, свирепейшей волчиды  
Протяжный вой, грозящее шипенье  
Змеи чешуйчатой, вытье на горе

Каких то чудищ, зловещуныи птицы  
Вороны карканье, ветров кипенье,  
Что рвут преграды в беспокойном море,  
Быка, уж с гибелью в померкшем взоре,  
Предсмертный рев, голубки одинокой  
Чувствительное воркованье, крики  
Совы, всем ненавистной, полчищ клики  
Из преисподней черной и глубокой,—  
Да выльются со скорбною душою  
В единый звук, смешавшись меж собою  
Так, чтобы все пришли в смятенье чувства,—  
Ведь выразить те муки, что скрываю,  
Не обретаю прежнего искусства.

Но слышать не пескам родного Таго,  
Не Бетиса оливковым утехам  
Унылый отзвук моего смятенья,—  
Там, на вершинах скал, на дне оврага  
Широко разнесется тяжким эхом  
На мертвом языке живое пенье,  
Иль в долах темных, на берегах, общенья  
С породой человеческой не знавших,  
Иль в местностях, где солнце свет не лило,  
Иль среди гадов илистого Нила,  
Дары Ливийца в пищу принимавших.  
И пусть в глухой безлюднейшей пустыне  
Страданья отзвук говорит отныне  
О строгости, которой равной нету,  
Но по правам моей судьбины черной  
Летит, проворный, он по белу свету.

Мертвит презренье, терпеливость гонят,  
Верны они, иль ложны, подозренья,  
Мертвит ревнивость и того жесточе,

В любви большей разлуки ничего нет,  
Тому, кого охватит страх забвенья,  
Надежда понапрасну смотрит в очи,—  
Все это—признаки смертельной ночи.  
А я живу, невиданное чудо,  
В разлуке, ревности, презреньи, зная,  
Что подозренья—истина святая.  
И пламень раздувая из под спуда,  
Среди страданий не смыкая вежды,  
Не вижу я спасительной надежды,  
И даже зреть ее не добиваюсь,  
Но чтобы бездну углубить страданий,  
От упований ныне отрекаюсь!

Возможно ли и гоже ль в то же время  
Питать надежду и боязнь совместно,  
Когда для страха больше оснований?  
Жестокой ревности почуя бремя,  
Закрывать глаза мне было б неуместно  
Пред очевидностью моих страданий.  
И кто дверей не распахнет заране  
Для недоверия, когда уж ясно,  
Что презрен ты и точно подтвердился  
Намеки грозные и обратились  
В неправду истины черты прекрасной?  
Владычица в стране любовной муки,  
Мне, ревность, цепи наложи на руки,  
Готовь меня, презренье, к бичеваньям!  
Но память о тебе зрит, торжествуя,  
Что не могу я страсть унять страданьем

Итак умру и чтоб не знать отравы  
Надежды в жизни или в смерти черной,  
Упорен буду я в своем сужденьи.

Скажу, что только любящие правы,  
И та душа свободна, что покорной  
Амуру отдается в подчиненье,  
Что в той, с кем схватываюсь, что ни день я,  
Душа прекрасна и прекрасно тело,  
Что в гордости ее я сам виною,  
И что Амур своею мукой злою  
Содержит мир и благо, и умело.  
И с этой мыслью и петлей жестокой,  
К концу толкая рок свой одинокий,  
К чему меня ее презренье нудит,  
Отдам свой дух и плоть ветрам на волю,  
Так что на долю славы мне не будет.

Ты, что несправедливостью являешь,  
Как прав я, относясь несправедливо  
К постылой жизни, что томясь влачу я,  
Из ран моих когда теперь узнаешь—  
О чем они твердят красноречиво,—  
Что подчиняюсь я тебе, ликуя,—  
Коль нужным ты найдешь, чтобы горюя  
Лазурь очей твоих вдруг омрачилась  
От смерти этой—воздержись от плача!  
Я не хочу, чтоб слез твоих отдача  
За бранные останки расплатилась!  
Напротив, смехом встретить печальный случай  
И плачем в празднике себя не мучай!  
Но просьба эта, может быть, наивна.  
Раз знаю я, что тем тебе славнее,  
Чем мне скорее станет жизнь противна.

Пускай же явятся—пристало время!—  
Из бездны Тантал, муж неутолимый,  
Сизиф пусть явится ужасной, острой,

Скалы таща невыносимой бремя,  
Иксион с колесом неутомимый,  
И Тидий с коршуном и с бочкой сестры!  
Пусть явятся сюда толпою пестрой  
И муки всяк на грудь мне возлагает!  
И запюют (коль грешнику пристало)  
Отходной заунывное начало  
Над телом, что и савана не знает!  
А вратарь адов, стражник трехголовый  
С толпою чудищ и химер суровой  
Да вторят им из пропасти глубокой.  
Не может ведь пышнее быть прославлен,  
Кто предоставлен участи жестокой!

О, вопль отчаянья, не будь унылым,  
Прощаясь с обществом моим постылым.  
Раз та, что жалобе была причиной,  
Себе в той смерти видит прославленье,  
При погребеньи скрой печаль личиной.

Всем слушателям очень понравилась песнь Хризостома, но Вивальдо, прочитав ее, заметил, что она не согласуется с общей молвой о скромности и добродетели Марселы, ибо в своих стихах Хризостом жалуется на ревность, подозрения и разлуку, а все это порочит добрую славу и доброе имя Марселы. На это Амбросио, хорошо знавший самые тайные мысли своего друга, ответил так:

— Чтобы рассеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что мой несчастный друг сочинил эту песню, находясь вдали от Марселы, с которой он расстался по собственной воле, чтобы посмотреть, не окажется ли на него раз-



лука своего обычного действия, а так как любовнику в разлуке все кажется несносным и все вызывает опасения, то и Хризостома терзали вымышленная ревность и боязливые подозрения, так, как если бы они были основательными. А между тем, то, что молва гласит о добродетели Марселлы, остается истиной; правда, она жестока, немного надменна и весьма презрительна, но в остальном сама зависть не должна и не может отыскать в ней ни одного недостатка.

— Да, это правда,—ответил Вивальдо.

И он собрался прочесть еще одну рукопись из тех, что он спас от огня, но тут ему помешало чудесное видение (ибо таким оно казалось), внезапно представшее перед их глазами: на вершине скалы, у подножия которой рыли могилу, появилась пастушка Марсела,—и была она так прекрасна, что красота ее превосходила все, что о ней говорили. Те, кто раньше ее не видели, смотрели на нее в безмолвном восхищении, однако и те, что привыкли встречаться с нею, были поражены не менее других, никогда ее не видевших. Но Амбросио, едва увидев ее, сказал негодующим тоном:

— Не для того ли ты пришла, о лютей вассилиск этих гор, чтобы посмотреть, не потечет ли от твоего приближения кровь из ран несчастного, которого твоя жестокость лишила жизни? Или, быть может, ты хочешь покичиться тем, что сделал твой жестокий прав, или же, подобно бессердечному Нерону, ты собираешься полюбоваться с высоты на пожар горящего Рима и дерзостно попать ногой этот несчастный труп, как жестокая дочь Тарквиния попра

останки своего отца? Говори же скорей, зачем ты пришла и что тебе больше по сердцу, — ибо, зная, что, пока Христом был жив, все помышления его всегда были тебе послушны, я постараюсь, чтобы и после его смерти тебе повиновались все те, кто называл себя его друзьями.

— Ни одна из тех причин, которые ты перечислил, о Амбросио, не побудила меня притти сюда, — ответила Марсела. — Нет, я пришла защититься и доказать, как неправы те, кто винит меня в страданиях и в смерти Христом. А потому прошу я всех присутствующих выслушать меня внимательно, ибо, чтобы убедить в истине людей разумных, не требуется тратить много времени и терять много слов.

«Небо создало меня, как вы говорите, прекрасной, и красота моя такова, что вы не в состоянии противостоят ей, но вместе с тем вы желаете и требуете, чтобы в отплату за вашу любовь я бы тоже была обязана вас любить. По естественному разумению, которым наградил меня господь, я знаю, что все прекрасное внушает любовь, но я не понимаю, по какой причине красота, которую любят, обязана любить того, кто ее любит, только потому, что она любима. Ведь может статься, что любящий красоту сам безобразен, и раз все безобразное достойно отвращения, то было бы нелепо говорить: «Я люблю тебя, так как ты прекрасна; полюби же меня, хоть я и безобразен». Но допустим даже, что любящий столь же прекрасен: из этого не следует, что и желания обоих должны быть одинаковы; ибо не всякий род красоты внушает любовь: иногда она радует взор, но не покоряет

сердце. Ведь если бы всякая красота внушала любовь и покоряла сердца, то наши желания блуждали бы беспорядочно и смутно, не зная на чем им остановиться,—ибо как прекрасных существ бесконечное множество, так и наши желания были бы тоже бесчисленны. А я слышала, что истинная любовь неделима, что она должна быть свободной, а не принужденной. Но раз это так,—в чем я твердо уверена,—то как же вы требуете, чтобы я насильно отдала свое сердце только потому, что вы заявляете, что меня любите? В самом деле, скажите мне: если бы небо, создавшее меня прекрасной, создало меня безобразной, была ли бы я права, жалуясь на то, что вы меня не любите? Подумайте еще и о том, что красоту свою не я избрала. Какова бы она ни была, небо дало мне ее в дар, которого я сама не просила и не выбирала. И как змею нельзя винить за то, что она ядовита, ибо яд, которым она убивает, дала ей сама природа, так и я не заслуживаю упреков за то, что я красива. Ведь красота честной женщины подобна далекому пламени или острому мечу: она не жжет и не ранит, пока к ней не приближаются. Честь и добродетели—это украшения души, без которых и тело, даже красивое, не должно почитаться прекрасным. А если чистота—одна из добродетелей, наиболее украшающих и облагораживающих душу и тело, то почему же женщина, любимая за ее красоту, обязана потерять свою чистоту, чтобы удовлетворить желания того, кто единственно ради собственного удовольствия всеми силами и способами добивается, чтобы она ее потеряла?

«Я родилась свободной и, чтобы жить свободно, избрала уединение этих полей: деревья этих гор—мои собеседники, ясные воды этих ручьев—мои зеркала; с деревьями и водами делюсь я своими мыслями и своей красотой. Я далекий огонь, я меч, лежащий в отдалении. Кого я воспламенила своим видом, тех охладила словами. Желания питаются надеждами, а так как я не подавала никаких надежд ни Хризостому, ни кому либо другому, то справедливо будет сказать, что его убило собственное упорство, а вовсе не моя жестокость. Если же вы ставите мне в упрек то, что намеренья Хризостома были самые честные и что поэтому я была обязана отвечать ему взаимностью, то я скажу вам на это: когда на том самом месте, где ныне роют могилу, он открыл мне свои честные намеренья, я ответила ему что собираюсь жить в постоянном уединении и что одна лишь земля насладится плодом моего целомудрия и трофеями моей красоты. Если же он, несмотря на все мои разуверения, пожелал упорствовать вопреки надежде и плыть против ветра, то можно ли удивляться, что он потонул в пучине своего безумия? Если бы я поддержала его надежды, я была бы лживой; если бы удовлетворила их, я поступила бы против моих лучших намерений и решений. Но несмотря на мои разуверения, он упорствовал и, не будучи ненавидим мной, впал в отчаяние: подумайте же теперь, разумно ли обвинять меня в его горестях? Пусть жалуется обманутый, пусть отчаивается тот, кому изменили внушенные надежды, пусть уповает тот, кого я призываю, пусть гордится тот, кого

я к себе допускаю,—но пусть не зовут меня жестокой убийцей те, кому я ничего не обещала, кого я не обманывала, не призывала и не допускала.

«Небу доселе не было угодно, чтобы судьба заставила меня полюбить; и нечего и думать о том, что я полюблю когданибудь по собственному выбору. Пусть послужит это предупреждение уроком всем, кто домогается моих милостей каждый для себя, и да будет впредь всем известно, что если ктонибудь умрет из за меня, то умрет он не от горя и ревности; ибо тот, кто никого не любит, ни в ком не может возбудить ревность, а отнять надежду не значит пренебречь. Кто называет меня зверем и василиском, пусть покинет меня, как существо вредное и злое, кто считает бесчувственной—пусть мне не служит, кто считает неблагодарной—пусть со мной не знается, кто считает жестокой—пусть не следует за мной; ибо зверь, василиск, бесчувственная, неблагодарная и жестокая никогда не станет сама искать их, служить им, знаясь с ними, преследовать их. Хризостома убили нетерпение и пылкая страсть,—так зачем же винить в том мою сдержанность и скромность? Если я сохраняю свою чистоту в обществе деревьев, то почему же вы желаете, чтобы я ее утратила в обществе людей? Вы знаете, что у меня есть собственное богатство, и чужого мне не надо; я свободна, и у меня нет желания поработаться; я никого не люблю и не ненавижу, не обманываю одного, не увлекаю другого, не издеваюсь над тем, не любезничаю с этим. Я довольствуюсь скромной беседой с пастушками

здешних сел и заботами о моих козочках. Мои желанья не переступают за пределы этих гор, а если и переступают их, то лишь для того, чтобы созерцать прекрасное небо—путь, по которому душа стремится в свою первоначальную обитель.

И после этих слов, не дожидаясь ответа, она повернулась и скрылась в чаще леса, покрывавшего ближайшую гору, а все присутствовавшие остались пораженные как умом ее, так и красотой. Некоторые (из числа тех, кого ранила могучая стрела лучей ее прекрасных глаз) уже готовы были последовать за нею, не внимая ясному предупреждению, которое они только что выслушали. Заметив это, дон Кихот решил, что ему предоставляется прекрасный случай выполнить свой рыцарский долг, повелевающий помогать преследуемым девицам, и потому, положив руку на рукоятку своей шпаги, он громким и отчетливым голосом заявил:

— Да не дерзнет никто, какого бы звания и положения он ни был, преследовать прекрасную Марселу, если не хочет навлечь на себя мой яростный гнев. Она ясными и убедительными словами доказала, что почти, или, вернее, совсем неповинна в смерти Хризостома и что отнюдь не расположена снисходить к мольбам кого бы то ни было из своих поклонников. По сей причине всем добрым людям надлежит не стремиться за ней и не преследовать ее, а почитать и уважать ее, ибо нам ясно, что нет на свете другого существа со столь чистыми намерениями.

Под влиянием ли угрозы дон Кихота, или потому, что Амбросио попросил пастухов испол-

нить до конца их долг перед добрым другом, но только ни один из них не двинулся с места и не удалился, пока не вырыли могилу, не сожгли бумаги Хризостома и не опустили с горькими слезами его тело в землю. На могилу временно положили большой камень, пока не будет готова надгробная плита (которую Амбросио, как он сообщил, собирался заказать) со следующей эпитафией:

Здесь любовник бедный спит,  
Охладел, покинут кровью,  
Пас стада свои с любовью,  
Но безлюбой был убит.

На смерть он сражен лежит,  
Ах, бесчувственной красою,  
Через кого над всей землею  
Злой Амур сильнее царит.

Затем, осыпав могилу множеством цветов и веток, и выразив другу покойного, Амбросио, свои соболезнования, пастухи разошлись. Вивальдо со своим спутником собрался в путь, и дон Кихот стал прощаться с приютившими его пастухами и с путешественниками. Последние предложили ему отправиться с ними в Севилью, говоря, что это место чрезвычайно подходящее для искателя приключений: они де там встречаются на каждом углу и в каждом переулке, гораздо чаще чем где бы то ни было. Дон Кихот поблагодарил их за совет и за готовность оказать ему услугу, но заявил, что он не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит

эти горы от воров и разбойников, которыми по слухам они кишат. Убедившись, что доброе намерение его непреклонно, путешественники не сочли возможным настаивать и, еще раз попросившись с ним, поехали своей дорогой, в продолжение которой они могли вдоволь поговорить как об истории Марсели и Хризостома, так и о безумии дон Кихота. А наш рыцарь решил отправиться на поиски пастушки Марсели, чтобы предложить ей свои услуги. Но его намерениям не суждено было осуществиться, как об этом будет рассказано в дальнейшем продолжении этой правдивой истории, вторая часть которой оканчивается здесь \*.



## ГЛАВА XV

*в которой рассказывается о злосчастном приключении, постигшем дон Кихота благодаря встрече с жестокосердыми ягуэсцами*



удрый Сид Амет Бененхели рассказывает, что, простившись со своими хозяевами и всеми присутствовавшими на похоронах пастуха Хризостома, дон Кихот и его оруженосец направились в тот лес, куда, на их глазах, устремилась пастушка Марсела. Проведя там более двух часов в поисках ее по всем направлениям и нигде не найдя ее, они очутились на зеленом лужке, возле которого протекал мирный и прохладный ручеек, весьма привлекший их и побудивший расположиться там на полуденный отдых, время которого как раз подошло. Дон Кихот и Санчо спешили и, предоставив ослу и Росинанту власть пастись на густой траве, покрывавшей лужок, взялись за свою дорожную сумку,— и не считаясь чинами, в добром мире и согласии, господин и слуга принялись улетать то, что в ней нашлось.

Санчо не позаботился спутать ноги Росинанту, считая его таким смирным и добронрав-

ным, что все кобылицы кордовского загона\* не могли бы, кажется, смутить его покой. Однако судьба, да видно и дьявол (который не всегда дремлет) устроили так, что в долинке этой пасся табун галисийских кобыл под надзором нескольких янгуэссских\* погонщиков, имеющих обыкновение делать привал со своими лошадьми в местах и уголках, изобилующих травой и водою, почему и местечко, где расположился дон Кихот, показалось им подходящим. Случилось так, что Росинанту взбрела на ум охота приволочнуться за сеньорами кобылицами; едва он их почуял, как, позабыв свой нрав и обычай и не спрашивая позволения у своего хозяина, он направился к ним щегольской рысцой заявить о своей потребности. Но кобылы, видимо больше нуждавшиеся в пастбище, чем в ином, встретили его ударами копыт и укусами: в один миг разорвали они ему подпругу, и Росинант остался без седла, совсем нагишом. Но еще горше пришлось ему от погонщиков, которые, увидев его покушение на кобыл, устремились на него с дубинками и так его отделали, что он свалился на землю полумертвый. Тем временем дон Кихот и Санчо, увидев избиение Росинанта, подбежали запыхавшись.

— Сразу видно, друг Санчо, — сказал дон Кихот, — что это не рыцари, а низкие людишки, жалкий сброд. Говорю я это к тому, что ты вполне можешь помочь мне отомстить по заслугам за оскорбление, нанесенное ими на наших глазах Росинанту.

— Какая тут к чорту месть, — ответил Санчо, — когда их больше двадцати, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора?

— Я один стою сотни,— сказал дон Кихот.

И, не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и набросился на янгуэсцев. Подстрекаемый и воспламеняемый примером своего господина, то же сделал и Санчо Панса. Дон Кихот сразу обрушился на одного из погонщиков и разрубил на нем кожаное полукафтанье вместе с изрядной долей плеча.

Янгуэсцы, видя, что их избивают два человека, между тем как их самих так много, взяли за дубинки и, окружив двух своих противников, принялись осыпать их ударами с замечательной ловкостью и усердием. Надо вам сказать, что со второго же удара Санчо свалился на землю, равно как и дон Кихот, которому мало помогли все его искусство и мужество; и судьбе было угодно, чтобы он упал к ногам Росинанта, который так и не подымался: хороший пример того, с каким бешенством работают дубины в руках разъяренных крестьян. Увидев затем, что они наделали, янгуэсцы с величайшей поспешностью навьючили своих кобыл и двинулись в дальнейший путь, оставив двух искателей приключений в весьма плачевном положении и в еще худшем состоянии духа.

Первый очнулся Санчо Панса. Увидев себя лежащим рядом со своим господином, он произнес слабым, жалобным голосом:

— Сеньор дон Кихот! А, сеньор дон Кихот?

— Что ты хочешь, братец Санчо?— сказал дон Кихот таким же расслабленным и скорбным голосом.

— Я хотел бы, если это возможно,— ответил Санчо Панса,— чтобы ваша милость дала мне

два глотка бальзама *Ферта Бласа*\*, если только он у вас под рукой; может быть, он так же помогает при переломах костей, как и от ран.

— Увы!—воскликнул дон Кихот.—Если б он был у нас, чего бы осталось нам желать. Но клянусь тебе, Санчо Панса, честью странствующего рыцаря, что не пройдет и двух дней,—



если только судьба не воспротивится, — как я добуду его, или у меня отнимутся руки.

— А как полагает ваша милость, когда у нас починятся ноги?—спросил Санчо Панса.

— О себе я скажу, — ответил избитый рыцарь, — что не могу определить срока. Но во всем случившемся виноват только я один: не следовало мне обнажать меч против людей, которые не такие же посвященные рыцари, как я сам. И потому, думается мне, в наказание за это нарушение рыцарских законов и допустил

бог сражений \*, что на меня обрушилась эта кара. Да, Санчо Панса, запомни хорошенько, что я тебе скажу, потому что это послужит нам обоим на пользу: как только завидишь, что подобная сволочь чинит нам обиду, не жди, чтобы я обнажил против них мой меч, а хватайся скорее за свой и карай их как тебе вздумается; ибо если на выручку и подмогу им явятся рыцари, тогда уж я сумею тебя защитить и разделаться с ними, как следует: ведь ты из тысячи примеров и случаев мог убедиться, как велика мощь моей доблестной руки.

Вот как возгордился бедный наш сеньор после победы своей над храбрым бискайцем! Но Санчо Панса был другого мнения, чем его господин, и потому, вместо того, чтобы промолчать, он ответил:

— Сеньор, я человек смиренный, кроткий, миролюбивый, и готов стерпеть любую обиду, потому что у меня есть жена и дети, которых надо прокормить и поставить на ноги. Потому, с разрешения вашей милости,—так как самому мне не дано на это власти,—я ни в коем случае не подниму меча ни на простолюдина, ни на рыцаря, и начиная с этой минуты наперед прощаю пред лицом бога все обиды, которые мне учинили или впредь учинят, кто бы ни был мой обидчик, знатный человек или простой, богач или бедняк, идалго или из податного сословия, словом какого бы ни был он звания и положения.

Услышав это, его господин сказал:

— Хотел бы я, чтобы у меня хватило сил долго говорить и чтобы боль в этом ребре несколько

утихла и не мешала мне объяснить тебе, Панса, в какое заблуждение ты впал. Слушай, грешник: если б ветер судьбы, доселе нам столь противный, вдруг сменился попутным и, надув паруса наших желаний, без помех и невзгод пригнал нас в гавань одного из тех островов, который я обещал тебе,—что бы было с тобой, если бы, завоевав его, я тебе его отдал? Ведь, пожалуй, ты все дело погубишь, раз, не будучи рыцарем, не хочешь им стать, не хочешь проявить доблесть, етараясь мстить за обиды и защищать свои владения. Ибо ты должен знать, что во вновь завоеванных королевствах и областях умы жителей никогда не бывают столь спокойны и преданы новому повелителю, чтобы можно было не опасаться волнений с целью еще раз переменить власть и попытать, как говорится, счастье. И потому новому повелителю необходимы уметь владеть собой и мужество, чтобы нападать или защищаться, смотря по обстоятельствам.

— В нынешних обстоятельствах, — ответил Санчо,— очень бы хотел я обладать тем уменьем и мужеством, о которых говорит ваша милость; но, клянусь честью бедняка, я больше сейчас нуждаюсь в припарках, чем в поучениях. Попытайтесь, сеньор, не удастся ли вам встать на ноги, и давайте, поможем подняться Росинанту, хотя он этого и не заслуживает, так как именно он — причина нашего избиения. Никогда не ждал я этого от Росинанта, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, как я сам. Правду говорят, что не так то просто раскусить своего ближнего, и что нет на свете ничего верного. Кто бы ожидал, что за блиста-

тельными ударами меча, которыми вы наградили того несчастного странствующего рыцаря, так быстро последует град палочных ударов, обрушившийся на наши плечи!

— Твои то, Санчо,—сказал дон Кихот,—привыкли к таким невзгодам, а моим, приученным к синабафе\* и тонкому голландскому полотну, конечно пришлось хуже от такой напасти. И если бы я не думал — да что я говорю! — если бы не знал наверняка, что все эти невзгоды сопряжены с воинским делом, я бы на месте умер от досады.

На это оруженосец ответил:

— Раз уж, сеньор, такие жатвы неизбежны в рыцарском деле, то скажите мне на милость, сыплются ли они все время понемножку, или для них есть какие положенные сроки? Потому что, думается мне, после еще двух таких жатв мы окажемся непригодными для третьей, если только господь бог, по бесконечной милости своей, не придет нам на помощь.

— Знай, друг мой Санчо, — ответил дон Кихот, — что жизнь странствующих рыцарей подвержена тысяче опасностей и злоключений, но зато каждый из них может надеяться в любую минуту сделаться королем или императором, как это показывает судьба многих рыцарей, история которых мне доподлинно известна. И я бы тебе рассказал, если бы только боль мне не мешала, как некоторые из них одной лишь доблестью своей руки достигли этого высокого положения, хотя и до этого и впоследствии претерпевали великие страдания и злоключения. Так например, доблестный Амадис Галльский очутился однажды во власти своего смертельного врага, волшеб-

ника Аркалая, который, как это достоверно известно, захватив его и привязав к столбу посреди двора, дал ему более двухсот ударов уздой своего коня. А другой, безымянный и заслуживающий большого доверия сочинитель, рассказывает, как рыцарь Феба провалился в западню, развернувшись у него под ногами в одном замке, и оказался в глубоком подземелье, где его, связанного по рукам и по ногам, угостили промывательным из ледяной воды с песком, отчего он едва не протянул ноги; и если бы на помощь бедному рыцарю не явился один мудрец, большой его приятель, то наверное пришел бы ему конец. Так что и я готов потерпеть вместе с этими благородными людьми, ибо несчастья, которые они испытали, много превосходят изведенные нами. Знай, Санчо, что раны, нанесенные случайно подвернувшимися под руку орудиями, не считаются позорными. На этот счет имеется ясное указание в правилах о поединках, где говорится: «Если сапожник ударит другого колодкой, которую держит в руке, то хотя колодка эта сделана из дерева, нельзя считать, что тот, кого ударили ею, избит палкой». Говорю я это к тому, чтобы ты не вообразил, что если нас побили в этой схватке, то пострадала наша честь, — ибо оружие, которое было в руках у этих людей и которым они нас побили, всего лишь простые дубины, и ни у одного из них, насколько мне помнится, не было при себе ни меча, ни шпаги, ни кинжала.

— У меня не было времени рассмотреть, — ответил Санчо, — потому что, едва я взялся за свою *писону* \*, как они уже благословили меня



своими палицами так, что у меня свет померк в глазах и ноги подкосились, и сразу свалили меня на том месте, где я сейчас лежу; так что у меня никакой охоты нет думать о том, пострадала ли моя честь или нет от палочных ударов, с такой же силой врезавшихся мне в память, как и в кости.

— Знай все же, братец Санчо,—сказал дон Кихот,—что нет горя, которое бы не забывалось, и боли, которую бы не исцеляла смерть.

— Да разве бывает невзгода,—ответил Санчо,—хуже той которую может облегчить только время, а исцелить смерть? Если б наша беда была из тех, что излечиваются доброй мазью, это было бы еще полгоря; но мне кажется, что все больничные пластыри нам сейчас мало помогут.

— Брось жаловаться, Санчо, и воспрянь духом: возьми пример с меня,—сказал дон Кихот.—Посмотрим, как обстоит дело с Росинантом, потому что, мне думается, бедняге досталось не меньше нашего.

— Не удивительно если и так,—ответил Санчо,—раз он тоже сделался странствующим коном. Удивляюсь я только тому, что осел мой дешево отделался, не потеряв ни волоска, в то время как мы едва не лишились кожи.

— Судьба в невзгодах всегда оставляет лазейку, чтобы можно было выбраться из них,—сказал дон Кихот.—Говорю я это к тому, что твоя скотина может на этот раз заменить мне Росинанта и довести меня до какого нибудь замка, где позаботятся о моих ранах. И еще прибавлю, что вовсе не считаю такого способа унижением

для рыцаря, потому что, помнится, я читал, что добрый старый Силен, приемный отец и воспитатель веселого бога смеха въехал в Стовратный город, с большим удобством сидя верхом на прекрасном осле\*.

— Правда только то, что, как выразилась ваша милость, он сидел верхом, — молвил Санчо. — Большая разни́ца — ехать верхом или лежа поперек седла, в роде мешка с мусором.

На это дон Кихот ответил:

— Раны, полученные в бою, скорее приносят честь, нежели отнимают ее. Поэтому, друг Панса, не спорь больше, а лучше постарайся, как я уже сказал, осторожно приподнять меня и уложить поудобнее на твоего осла, после чего давай двинемся отсюда, пока еще не спустилась ночь и не застала нас в этом глухом месте.

— Но я слышал от вашей милости, — сказал Панса, — что в обычае странствующих рыцарей ночевать по большей части в глухих местах, под открытым небом, и что они почитают это за великую удачу.

— Это случается, — ответил дон Кихот, — когда им не удастся устроиться иначе, или когда они влюблены. И правда, был один рыцарь, который простоял на скале целых два года, терпя зной, стужу и всякую непогоду, между тем как его дама и не знала об этом. Подобный случай был и с Амадисом, который, приняв имя Бельтенеброс\*, удалился на Пенья Побре\* на восемь лет или восемь месяцев, сейчас не припомню в точности; довольно тебе сказать, что он провел там какой то долгий срок, после того, как чем то навлек на себя немилость сеньоры Орианы. Но

будет об этом, Санчо. Поторопись, пока еще и с ослом не случилось какойнибудь беды, в роде той, что постигла Росинанта.

— Авось на этот раз дьявол не попутает,— сказал Санчо.

И, испутив десятка три охов и ахов, шесть десятков вздохов и дюжин десять проклятий по адресу того, кто его впутал в такое дело, он приподнялся, но согнулся на полпути на манер туредкого лука, не в силах будучи выпрямиться до конца. С превеликими усилиями взнуздal и оседлал он осла, который тоже бродил поодаль какой то растерянный в виду приключившегося в этот день беспорядка. Затем Санчо поднял Росинанта, который, будь ему дан язык для жалоб, не отстал бы в этом деле от Санчо и его хозяина. В заключение Санчо уложил дон Кихота на осла, привязал сзади Росинанта и, взяв осла за узду, пошел кое как в ту сторону, где, казалось ему, должна была пролегать большая дорога. Не прошел он и мили, как судьба, которая от добра к добру вела его, направила его на дорогу, где вскоре увидели они постоялый двор, который дон Кихоту (но отнюдь не Санчо) показался замком. Санчо уверял, что это постоялый двор, а его господин — что это замок. И так затянулся их спор, что они не закончив его прибыли на место, и Санчо, не спрашивая куда попал, проследовал во двор со всем своим обозом.

## ГЛАВА XVI

*о том, что случилось с хитроумным идалго на постоялом дворе, который он принял за замок*



озяин постоялого двора, увидев дон Кихота, лежащего поперек осла, спросил Санчо, что за беда случилась с этим человеком. Санчо ответил, что никакой особенной беды с ним не случилось, а просто он свалился со скалы и слегка расшиб бока. У хозяина была жена, нравом непохожая на женщин своего ремесла, потому что была она от природы сердобольна и сострадательна к горестям ближнего. Поэтому она поспешила на помощь к дон Кихоту и велела дочери своей, девушке молоденькой и миловидной, ухаживать за постояльцем. Служила еще на том дворе девка астурианка, широколицая, курносая, с плоским затылком, с одним глазом кривым, да и другим не совсем благополучным. Правда, что статное сложение возмещало эти изъяны: росту от головы до пят было в ней меньше семи четвертей, а плечи дыбились горбом, заставляя ее смотреть в землю больше, чем бы

ей хотелось. Эта пригожая девица стала тоже помогать хозяйской дочери, и обе они изготовили для дон Кихота прескверную постель на чердаке, который раньше, по всем признакам, долгое время служил местом для склада соломы. Там же еще ночевал погонщик мулов, постель которого находилась немного подалее ложа дон Кихота. И хотя она была сделана из одних только седел и попон его мулов, все же она была много лучше постели дон Кихота, состоявшей из четырех плохо обтесанных досок, положенных на две не вполне равные по высоте скамьи, и тюфяка, толщиной с вязаное покрывало, полного комьев, которые по твердости можно было бы на ощупь принять за булыжники, если бы сквозь дыры не вылезала наружу шерсть; в дополнение к этому—две простыни, должно быть буйволово́й кожи, и одеяло, все нитки которого можно было пересчитать без риска ошибиться.

На это то дьявольское ложе и возлег дон Кихот, и тотчас же хозяйка и ее дочка принялись сверху до низу облеплять его пластырями, между тем как Мариторнес (так звали астурианку) им светила. Приметив во время этой операции множество синяков на теле дон Кихота, хозяйка заявила, что это больше похоже на удары, чем на падение.

— Все это не удары,—ответил Санчо,— а просто скала была вся усеяна остриями и выступами, каждый из которых оставил по синяку.

И при этом добавил:

— Сделайте милость, хозяйшкa, поберегите немного этой пакли. Она еще кой кому пригодится, так как у меня самого ломит поясницу.

— Выходит, стало быть, что вы тоже свалились?—спросила хозяйка.

— Я то не падал,—ответил Санчо Панса,—а только от одного вида, как падает мой господин, меня так перетряхнуло, что все тело заболело, словно мне всыпали тысячу палок.

— Это бывает,—сказала девушка.—Мне самой часто случается видеть во сне, будто падаю я с башни и все не могу упасть, и когда потом просыпаюсь, то бываю так разбита и изломана, как будто и в самом деле упала.

— То то и есть, сеньора,—сказал Санчо,—что без всякого сна, а просто на яву, вроде как сейчас, я весь покрылся синяками не хуже дон Кихота, моего господина.

— Как зовут этого кабальеро?—спросила астурианка Мариторнес.

— Дон Кихот Ламанчский,—ответил Санчо Панса.—Он странствующий рыцарь, один из самых славных и могучих, каких только свет видывал.

— А что такое странствующий рыцарь?—опять спросила служанка.

— Вот простота!—воскликнул Санчо Панса.—Ужель никогда не слышали? Так знайте же, сестрица, что странствующий рыцарь—это такая штука, что, не успеешь глазом моргнуть, как он может и быть избит, и стать императором. Нынче он самое несчастное и жалкое существо на свете, а завтра у него три, четыре королевских короны на выбор для своего оруженосца.

— Как же это так,—спросила хозяйка,—раз ваш господин такая важная особа, а вы,



как я вижу, еще не обзавелись хоть какимнибудь графством?

— Не так то скоро это делается,—ответил Сапчо.—Ведь мы всего лишь месяц как выехали на приключения и до сих пор еще ни одного пугёвого не встретили. Бывает иной раз, что пошел за одним, а нашел совсем другое. Но верно говорю, если только господин мой, дон Кихот, оправится от своих ран, то бишь, падения, да и я цел останусь, то я не променяю своих надежд на первейшее княжество Испании.

Ко всему этому разговору очень внимательно прислушивался дон Кихот. Приподнявшись с трудом на своей постели, он взял хозяйку за руку и сказал:

— Поверьте, прекрасная сеньора, вы можете считать за счастье, что приютили в своем замке такую особу как я, ибо, если я не хвалю себя, то только потому, что, как говорится, похвала себе унижает. Но мой оруженосец расскажет вам, кто я. Сам же скажу только, что навеки запечатлеется в моей памяти услуга, вами мне оказанная, и что всю жизнь буду я вам за нее благодарен. И если бы любовь не сковала уже меня, подчинив своему закону силою глаз жестокой красавицы, имя которой я сейчас произношу шопотом, то глаза этой прекрасной девицы стали бы владыками моей свободы.

В смущеньи слушали хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес слова странствующего рыцаря, которые были столь же им понятны, как если бы он говорил по гречески, хоть и видно было по всему, что речь шла о каких то благодарностях и любезностях. Непривыкши к такой



манере выражаться, они только смотрели на него и дивились: поистине, он им казался человеком другой породы. Поблагодарив его по деревенски за его любезности, они его покинули, и астурианка Мариторнес занялась Санчо, который нуждался в помощи не меньше своего господина.

Еще раньше того погонщик и Мариторнес сговорились скоротать вместе ночь, и она дала ему слово, как только улягутся постояльцы и заснут хозяева, притти к нему, чтобы удовлетворить его желания. Говорили про эту славную девушку, что всякий раз, когда она давала такое обещание, то держала его даже если давала его в глухом месте и без свидетелей, так как она весьма кичилась своим дворянством \* и не считала для себя позором службу на постоялом дворе, говоря, что только злая судьба и плохие обстоятельства довели ее до такого положения.

Жесткое, тесное, убогое и шаткое ложе дон Кихота было первым от входа среди этого озаренного звездами стойла, а по другую сторону рядом расположил Санчо свою постель, состоявшую всего лишь из рогожной циновки да одеяла, с виду скорей холщевое чем шерстяное. Подальше стояла постель погонщика, устроенная, как мы уже сказали, из седел и других принадлежностей двух лучших его мулов; а всего было их у него двадцать, гладких, крупных и откормленных, потому что был он одним из самых богатых аревальских погонщиков \*, как сообщает автор этой истории, который подробно говорит об этом погонщике, так как он хорошо знал его лично, а как некоторые уверяют, был с ним

даже в родстве\*. Надо вам сказать, что Сид Амет Бененхели был историк пытливый и обстоятельный, как это видно из того, что ни одно из приведенных нами происшествий, столь мелких и ничтожных, не обошел он молчанием: пусть бы брали пример с него серьезные историки, которые повествуют нам о событиях так кратко и бегло, что, можно сказать, только мажут нас по губам, оставляя самую суть дела — из небрежности, коварства или невежества — на дне чернильницы. Слава Автору *Табланте дэ Рикамонте*, равно как и автору книги, где описываются подвиги графа Томильяса: с какой подробностью они повествуют\*!

Итак, возвращаясь к нашей повести, скажу вам, что погонщик, проведая своих мулов и вторично задав им корму, растянулся на вьючных седлах и принялся ждать свою неизменно точную Мариторнес. Санчо, весь облепленный пластырями, улегся тоже, стараясь, заснуть, хотя этому сильно мешала боль в боках; и дон Кихот, мучимый такой же болью, лежал с открытыми как у зайца глазами. Весь дом погрузился в тишину, и все огни были погашены кроме лампы, горевшей у входа.

Эта глубокая тишина, а также непрестанные размышления нашего рыцаря о приключениях, которыми были полны повинные в его беде книги, внушили ему одну из самых странных и нелепых выдумок, какие только можно вообразить: именно, ему представилось, что он прибыл в какой то знаменитый замок (ибо всякая харчевня, куда он попадал, казалась ему замком) и что дочь хозяина постоянного двора, —

иначе говоря дочь владельца замка, — покоренная его благородным видом, влюбилась в него и обещала этой ночью, тайком от родителей, притти разделить его ложе. Приняв весь этот бред, им сочиненный, за чистую правду он начал тревожно раздумывать над опасным положением, в каком могла очутиться его добродетель, и решил в сердце своем не изменять своей даме Дульсинее Тобосской, хотя бы даже сама королева Джиневра с дуэньей Кинтаньоной пришли предложить ему себя.

В то время как он обдумывал эти нелепости, настал срок и пробил час (для него злополучный) прихода астурианки, которая, босая и в одной рубашке, стянув волосы ситцевой повязкой, осторожными, бесшумными шагами вошла, пробираясь к погонщику, в помещение, где лежали все трое. Но едва она переступила порог, как дон Кихот, заслышав ее, присел на кровати, не взирая на свои пластыри и боль в боках, и раскрыл объятия, чтобы заключить в них свою юную красавицу. Астурианка, ступавшая тихо и безмолвно, с протянутыми вперед руками в поисках своего милого, наткнулась на руки дон Кихота, который крепко схватил ее за кисть и усадил девуку, не смеющую со страха вымолвить слова, к себе на постель. Он прикоснулся к ее рубашке, и хотя она была сделана из дерюги, эта дерюга показалась ему тончайшим и нежнейшим шелком. На руках девки были стеклянные четки, — ему почудилось, что это драгоценный восточный жемчуг. Ее волосы, смахивавшие на конскую гриву, представились ему нитями чистейшего арабского золота, способного

затмить своим блеском сиянье солнца. Что же касается ее дыхания, явно отдававшего прокисшим мясным салатом, то ему показалось, что уста ее источают сладкий аромат. Словом, он разрисовал ее в своем воображении совсем так, как в читанных им книгах изображалась некая принцесса, побежденная любовью тяжело раненого рыцаря и явившаяся к нему на свиданье в вышеописанном уборе. И таково было ослепление бедного идадьго, что ни его собственное осязание, ни дыхание и иные свойства милой девицы, способные нагнать тошноту на всякого другого кроме погонщика, не могли рассеять его заблуждения. Напротив, ему казалось, что он держит в своих объятиях богиню красоты. Крепко сжимая ее, он говорил тихим и нежным голосом:

— Как хотел бы я, прекрасная и знатная сеньора, быть в состоянии отплатить вам достойно за высокую милость, дарованную мне одним видом вашей великой красоты! Но судьбе, неустанно преследующей людей благородных, угодно было повергнуть меня на это ложе, где я лежу столь разбитый и изломанный, что если бы я даже хотел удовлетворить ваше желание, это было бы невозможно. Но к этой невозможности присоединяется другая, еще бо́льшая — верность, которой я обязан несравненной Дульсинее Тобосской, единственной владычице моих сокровенных помыслов. Не будь всех этих препятствий, я бы, конечно, не оказался таким простаком рыцарем, чтобы пропустить счастливый случай, предложенный мне вашей великой добротой.

Мариторнес до смерти перепугалась, и ее в пот ударило, когда ее так цепко схватил дон Кихот; не понимая и не слушая того, что он ей говорил, она молча старалась вырваться. Наш погонщик, которому грешные мысли мешали заснуть, сразу, как только его любезная переступила порог, учуял ее и стал внимательно прислушиваться к тому, что говорил ей дон Кихот. Мучась ревнивой мыслью, что астурианка обманула его ради другого, он подошел поближе к постели дон Кихота и притаился, выжидая, каков будет исход этих речей, для него непонятных. Но когда он увидел, что девка старается вырваться, а дон Кихот силой ее удерживает, эта шутка пришлось ему не по вкусу, и, размахнувшись, он с размаху так хватил кулаком по узким челюстям разнежившегося рыцаря, что у того весь рот залился кровью. Найдя, что этого еще мало, погонщик вскочил ногами к нему на грудь и резвой рысцой пробежался по всем его ребрам. Кровать, и без того непрочная благодаря шаткости своих подпорок, не выдержала новой тяжести и рухнула наземь с превеликим шумом, от которого проснулся хозяин, решивший сразу, что это проделки Мариторнес, потому что на его громкие крики она не откликнулась. В этой уверенности он встал, зажег светильник и пошел в ту сторону, откуда доносился шум. Завидев своего хозяина, сильно взбешенного, девка растерялась, с перепугу кинулась к постели Санчо Пансы, мирно спавшего, и, залезши в нее, свернулась клубком. Хозяин вошел и крикнул:

— Где ты там, потаскуха? Это наверное твои проделки!

Тут проснулся Санчо. Почувствовав навалившийся на него живой груз, он решил, что его душил домовый и начал рассыпать во все стороны кулачные удары, изрядное количество которых пришлось на долю Мариторнес. Та, позабыв от боли всякий стыд, дала ему сдачи так, что с него волей неволей слетел сон. Чувствуя как его обрабатывают и не видя противника, Санчо вскочил впопыхах, схватился с Мариторнес, и между ними завязалась самая жаркая и веселая потасовка. Увидев при свете хозяйского светильника, каково приходится его милой, погонщик, бросив дон Кихота, поспешил к ней на выручку. К ней же устремился и хозяин, но с иными намерениями, так как он хотел хорошенько проучить ее, твердо считая ее единственной виновницей всей этой музыки. И, как говорит поговорка, «кошка на крысу, крыса на веревку, веревка на палку», — так погонщик бросился на Санчо, Санчо на служанку, служанка на него, хозяин на служанку, — и все четверо замолотили кулаками без передышки. А так как в довершение удовольствия светильник у хозяина погас, то удары в темноте посыпались наугад, и такие нещадные, что куда они попадали, там уж не оставалось живого места.

Случилось так, что на том же дворе ночевал стрелок старой толедской Санта Эрмандад\*. Заслышав, как и все другие, необычайный шум сражения, он схватил свой короткий жезл и свою должностную жестяную коробку, и, пробравшись в темноте на чердак, закричал:

— Остановитесь, во имя правосудия! Остановитесь во имя Санта Эрмандад!

Первый, на кого он наткнулся, был дон Кихот, лежавший без чувств, носом кверху, на своей рухнувшей постели. Схватив его за бороду, стрелок несколько раз закричал: «На помощь правосудию!», затем, видя, что пойманный им человек не двигается и не шевелится, вообразил, что это убитый, а другие, находящиеся в комнате — его убийцы, и потому громко крикнул:

— Заприте ворота! Не выпускайте никого, потому что здесь убили человека!

Крик этот перепугал всех, и каждый, в тот же миг, как слышал его, прекратил бой. Хозяин торопливо вернулся в свою комнату, погонщик к своим попонам, служанка в свою клетушку; и только несчастные дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Тогда стрелок, выпустив из рук бороду дон Кихота, пошел искать огня, чтобы изловить и арестовать преступников. Но он не мог найти огня, потому что хозяин нарочно погасил лампу у входа, и таким образом стрелку пришлось отправиться к очагу, где после больших трудов и усилий ему удалось наконец зажечь свой светильник.

## ГЛАВА XVII

*в которой описываются дальнейшие бесчисленные невзгоды, испытанные храбрым дон Кихотом и его верным оруженосцем на постоялом дворе, который рыцарь, на свою беду, принял за замок*



ем временем дон Кихот успел притти в себя и таким же голосом, каким накануне обратился к своему оруженосцу, лежа на земле в Долине дубинок, принялся звать его:

— Санчо, друг мой, ты спишь? Спишь, друг мой Санчо?

— Какой тут к чорту сон, — откликнулся Санчо голосом, полным тоски и злости, — когда все дьяволы, кажется, натешились надо мной в эту ночь?

— Вполне готов этому поверить, — ответил дон Кихот, — потому что либо я ничего не понимаю, либо замок этот очарован. Ибо знай... впрочем, сперва ты должен мне поклясться, что все то, что я тебе расскажу, ты сохранишь в тайне и при жизни моей и после смерти.

— Клянусь, — сказал Санчо.



— Говорю я это к тому, — сказал дон Кихот, — что мне претит марать чью-либо честь.

— Говорю вам, — ответил Санчо, — что клянусь молчать об этом до того самого дня, когда ваша милость отдаст богу душу, и дай господи, чтобы мне удалось разболтать завтра же.

— Разве я так плохо обращаюсь с тобой, Санчо, — спросил дон Кихот, — что ты желаешь мне скорой смерти?

— Дело вовсе не в том, — ответил Санчо, — а просто мне противно чтонибудь долго держать в себе, из страха как бы оно не прокисло во мне от долгого лежания.

— Ну, хорошо, — сказал дон Кихот, — как бы там ни было, я полагаюсь на твою любовь ко мне и твое благородство. Знай же, что этой ночью со мной случилось одно из самых удивительных приключений, какими я могу похвалиться; короче говоря, ко мне только что приходила дочь владельца этого замка, прекраснейшая и привлекательнейшая девица, какую только можно сыскать в целом свете. Как описать тебе ее наряд, или остроту ее ума, или другие тайные ее прелести, о которых скромно умолчать мне повелевает верность госпоже моей Дульсинее Тобосской? Скажу тебе лишь одно: либо небо позавидовало моему столь великому счастью, либо (что, пожалуй, будет вернее) этот замок, как я уже сказал тебе, очарован, но только в то время, как я вел с ней нежнейшую любовную беседу, вдруг невидимая и неизвестно откуда появившаяся рука, подвешенная к плечу какого-то чудовищного великана, размахнулась и нанесла мне такой удар по челюстям, что они

до сих пор еще залиты кровью; а после так измолотила меня, что мне теперь еще хуже, чем вчера, когда погонщики оскорбили нас, как ты помнишь, из за невоздержности Росинанта. Это заставляет меня думать, что бесценную красоту этой девушки охраняет какой нибудь очарованный мавр, и что она создана не для меня.

— Да уж и не для меня наверное, — ответил Санчо, — потому что более четырехсот мавров прогулялось по моей спине таким манером, что в сравнении с этим вчерашние дубины — пирожки да печатные пряники. Но скажите сеньор, как вы можете называть редкостным приключение, которое привело нас в такое состояние, в каком мы сейчас? Еще ваша милость, как никак, хоть держала в руках эту несравненную красоту, о которой вы говорили, а я — что досталось на мою долю, кроме колотушек, которые, видно, уж всю жизнь будут меня преследовать? Несчастный я человек, и на горе родила меня мать, потому что не странствующий я рыцарь, да и никогда не собирался им быть, а между тем большая доля шишек на мою голову валится!

— Как, неужели и тебя поколотили? — спросил дон Кихот.

— Да разве не сказал я вам этого, будь прокляты мои родители? — ответил Санчо.

— Не печалься, друг мой, — сказал дон Кихот. — Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, который, не успеешь ты и глазом моргнуть, как нас исцелит.

В этот самый момент стрелок, которому удалось наконец зажечь светильник, вошел, чтобы

взглянуть на мнимого мертвеца. Увидев его приближающимся к ним в одной рубашке с головой, повязанной платком, со светильником в руках и с лицом, не предвещающим ничего доброго, Санчо спросил своего господина:

— Сеньор, уж не это ли ненароком очарованный мавр, не доделавший своего дела и вернувшийся, чтобы прикончить нас?

— Это не может быть мавр, — ответил дон Кихот, — потому что очарованных нельзя видеть.

— Если видеть их нельзя, то уже чувствовать навверное приходится, — ответил Санчо. — Об этом могут порассказать мои бока.

— Да и мои тоже, — сказал дон Кихот. — Но все же это не причина полагать, что человек, которого мы видим, зачарованный мавр.

Стрелок подошел и, застав их мирно беседующими, весьма удивился. Надо вам сказать, что дон Кихот продолжал лежать носом кверху, не в силах будучи пошевелиться из-за побоев и облепивших его пластырей. Стрелок подошел к нему и спросил:

— Ну, как дела, милейший?

— На вашем месте, — ответил дон Кихот, — я был бы повежливее. Или в ваших краях принято так разговаривать со странствующими рыцарями, мужлан вы этакий?

Видя, как с ним разговаривает этот человек, с виду столь убогий, стрелок не стерпел, размахнулся светильником, полным масла, и запустил его в голову дон Кихота так, что чуть не раскроил ему череп. Комната погрузилась во мрак, и стрелок тотчас же вышел.

— Нет сомнения, сеньор, — сказал Санчо Панса, — это и есть очарованный мавр. Он наверное бережет для других свое сокровище, а для нас приберегает только удары кулаками да светильниками.

— Должно быть, что так, — ответил дон Кихот, — и нечего пробовать бороться с таким волшебством. Бесполезно также сердиться или жаловаться, ибо раз это силы невидимые и призрачные, нам, при всем старании, некому здесь отомстить. Попробуй ка, Санчо, встать: поищи коменданта этой крепости и постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарина, чтобы я мог приготовить из этого целебный бальзам. По правде сказать, я порядком сейчас в нем нуждаюсь, так как у меня сильно идет кровь из раны, которую нанес мне этот призрак.

С превеликой болью в костях, Санчо поднялся и побрел в потемках к хозяину. Наткнувшись по дороге на стрелка, который выслеживал, что замышляет его враг, он сказал ему:

— Кем бы вы ни были, сеньор, окажите такую милость и благодеяние, дайте нам немного розмарина, масла, соли и вина, чтобы изготовить лекарство для одного из лучших странствующих рыцарей, который лежит на своем ложе, тяжело раненый рукой очарованного мавра, поселившегося на этом дворе.

Услышав это, стрелок решил, что перед ним сумасшедший. Так как уже начало светать, он открыл входную дверь и, крикнув хозяина, передал ему, о чем просил бедняга. Хозяин вручил Санчо все нужное, и тот отнес это дон

Кихоту, который стоял, обхватив голову руками и жалуясь на боль от удара светильником, хотя от удара этого у него всего лишь вскочили на лбу две изрядных шишки, а то, что он принял за кровь, был попросту пот, обильно выступивший у него от испытанного волнения.

Он тотчас взял эти снадобья и изготовил из них целебный состав, смешав их и продержав на огне, пока ему не показалось достаточно. Затем он попросил дать ему какуюнибудь склянку, чтобы перелить в нее смесь, но так как склянки во всем доме не оказалось, то он удовольствовался жестянкой из под оливкового масла, которую хозяин безвозмездно ему предоставил. После этого он прочитал над жестянкой не менее восьмидесяти раз «Отче наш» и великое множество всяких других молитв, сопровождая каждое свое слово крестным знамением в виде благословения. Санчо Панса, хозяин и стрелок присутствовали при этой операции; что же касается погонщика, то он преспокойно занялся своими мулами. Вслед затем дон Кихот захотел немедленно испробовать на себе силу столь целительного, по его мнению, бальзама, и сразу проглотил изрядную долю того, что не вместились в жестянку и оставалось в горшке, в котором варилось,—примерно с пол асумбры. Но едва он допил, как его так начало рвать, что он извергнул все содержимое своего желудка. От корчей и напряжения, вызванного рвотой, у него выступил обильный пот, после чего он попросил, чтобы его потеплее укрыли и оставили одного, что и было исполнено. Проспав добрых три часа, он проснулся с чувством

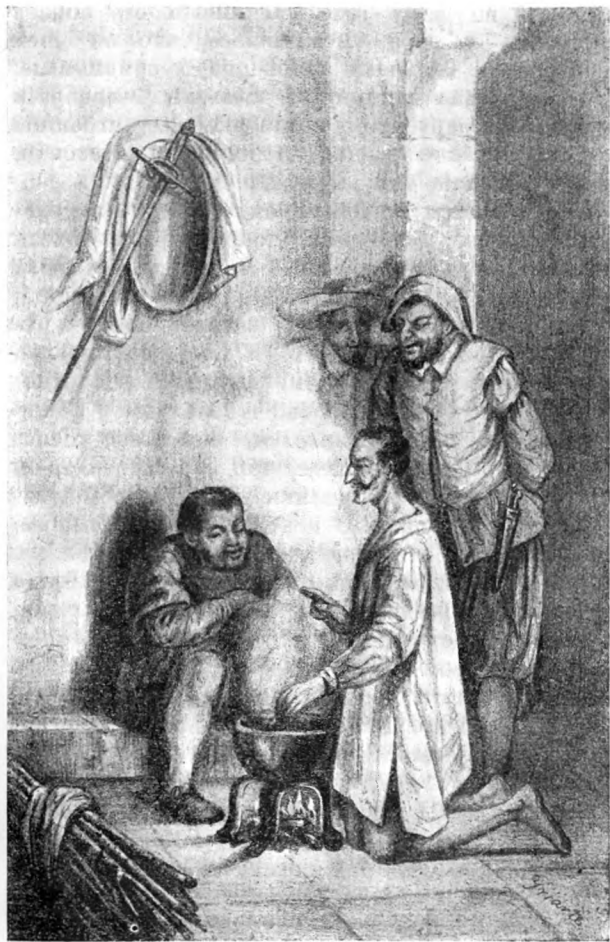
свежести во всем теле, и ломота от побоев настолько у него уменьшилась, что он счел себя совсем здоровым и поверил в самом деле, что изготовил настоящий бальзам Фьерабраса и что благодаря этому снадобью ему не страшны отныне никакие стычки, побоища и потасовки, как бы опасны они ни казались.

Санчо Панса, который счел за чудо исцеление своего господина, попросил дон Кихота дать ему то, что оставалось в горшке,—а была там еще не малая толика. Дон Кихот разрешил, и Санчо, ухватившись за котелок обеими руками, с превеликой верой и усердием перемлил себе в глотку немногим меньше, чем его господин. Но тут обнаружилось, что желудок у Санчо был не столь чувствителен, как у его господина, потому что прежде, чем его вырвало, он почувствовал такие колики и приступы тошноты, его так ударило в пот и он так ослабел, что твердо и искренне решил, что пришел его последний час; и в этом тяжком и мучительном состоянии принялся он проклинать и бальзам, и злодея, угостившего его им. Видя его в таком положении, дон Кихот сказал:

— Я полагаю, Санчо, что вся беда эта постигла тебя оттого, что ты не настоящий рыцарь; потому что, думается мне, напиток этот не приносит пользы тому, кто не рыцарь.

— Если ваша милость это знала,—воскликнул Санчо,—так зачем же—пропади я со всей моей родней!—позволили вы мне его выпить?

В эту минуту напиток оказал наконец свое действие, и несчастный оруженосец начал с такой быстротой опорожняться через оба плюза,



что вскоре и камышевая дыновка, на которую он свалился, и холщевое одеяло, его прикрывавшее, оказались ни на что более не пригодными. Обливаясь холодным потом, Санчо корчился в таких страшных судорогах, что не только он сам, но и все присутствующие думали, что пришел ему конец. Эта буря и терзания длились около двух часов, после чего Санчо отнюдь не пришел в такое состояние, как его господин, а напротив, оказался таким разбитым и измученным, что не мог стоять на ногах. Между тем дон Кихот, почувствовав себя, как мы уже сказали, свежим и бодрым, пожелал немедленно отправиться на поиски приключений, ибо каждый лишний час, проведенный им в этом месте, казался ему потерей для мира и для всех обездоленных, нуждающихся в его защите и покровительстве,—при чем его особенно побуждало к этому глубокое доверие, каким он проникся к свойствам своего бальзама. Томимый этим желанием, он собственноручно оседлал Росинанта и навьючил осла своего оруженосца, а затем помог последнему одеться и взобраться на него. После этого он сел на коня и, проехав в конец двора, схватил стоявшее там деревенское копьцо<sup>†</sup>, долженствовавшее заменить ему боевое копье.

Все обитатели постоялого двора, человек двадцать числом, если не больше, вышли поглядеть на него. Смотрела на него и дочка хозяина, с которой он тоже не спускал глаз, и от времени до времени у него вырывались вздохи, исходящие словно из глубины его существа. Присутствующим казалось, что причина этих вздохов—боль в боках; так, по крайней мере, ду-



мали те, кто накануне вечером видели, как его облепляли пластырями.

Когда оба они уселись верхом, дон Кихот подъехал к крыльцу постоялого двора и, обратившись к хозяину, размеренным и торжественным голосом сказал:

— Велики и многочисленны милости, владетельный сеньор, испытанные мной в вашей замке, и я считаю себя обязанным до конца дней моих хранить к вам за них благодарность. О, если бы я мог уплатить вам, наказав какогонибудь наглеца, причинившего вам обиду! Ибо знайте, что мое назначение — помогать слабым, мстить за угнетенных и карать низость. Припомните хорошенько, не случилось ли с вами чегонибудь подобного, и если найдете, что бы мне поручить, говорите прямо. Ибо обещаю вам честью рыцарского звания, которое я возложил на себя, что всякое ваше желание будет справедливо и полностью удовлетворено.

На это с таким же достоинством хозяин ему ответил:

— Сеньор кабальеро, мне нет никакой надобности, чтобы ваша милость мстила за нанесенные мне обиды, потому что я умею, при случае, и сам расправиться со своими обидчиками. Мне желательно только одно — чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег на моем дворе, именно за ужин и две постели, равно как за солому и корм для ваших двух животных.

— Значит, это постоялый двор? — спросил дон Кихот.

— Да, и пользующийся самой лучшей славой, — ответил хозяин.

— До этой минуты я пребывал в заблуждении,—сказал дон Кихот,—ибо, по правде сказать, воображал, что это замок, и не из плохих. Но раз это не замок, а постоялый двор, мне остается только просить вас избавить меня от платы. Ибо я не могу нарушить устава странствующих рыцарей, согласно которому—как это мне хорошо известно, так как я ни разу не встречал в книгах указания на противное—они никогда не расплачивались ни за ночлег, ни за что либо другое в гостиницах, где останавливались. Им по праву и по закону всюду полагается наилучший прием, оказываемый им в возмещение великих тягот, которые они несут, проводя дни и ночи в поисках приключений, зимой и летом, пешком или на коне, терпя голод и жажду, зной и стужу, подвергая себя всем превратностям непогоды небесной и бедствий земных.

— В этих вещах я мало смыслю,—заявил хозяин.—Заплатите мне что следует, а до разных басен и рыцарств мне дела мало.

— Вы неотесанный и дрянной трактирщик!—воскликнул дон Кихот.

И, пришпорив Росинанта, со своим копьедом на перевес, он без помехи выехал со двора и проехал порядочный кусок дороги, не оглядываясь чтобы посмотреть, едет ли за ним его оруженосец. Видя, что гость уехал не расплатившись, хозяин обратился со своим счетом к Санчо Пансо; но тот заявил, что раз господин его не пожелал заплатить, то тем менее склонен расплачиваться он, так как, будучи оруженосцем странствующего рыцаря, он подчинен тому же уставу, что и господин его, не позволяющему

за что либо расплачиваться на постоянных дворах и в харчевнях. Хозяин не на шутку рассердился и пригрозил, что если Санчо ему не заплатит, то он с ним по своему разделается. Но Санчо на это ответил, что, повинаясь рыцарскому уставу, коему подвластен его господин, он не заплатит ни гроша, хотя бы это стоило ему жизни, так как он не желает, чтобы по его вине был посрамлен прекрасный древний обычай странствующих рыцарей и чтобы оруженосцы, которые явятся после него на свет, могли посетовать и укорить его за нарушение столь справедливого закона.

На беду несчастного Санчо, в числе постояльцев двора оказалось четверо сеговийских сукновалов, трое продувных малых с Потро что в Кордове, да еще двое прошалыг из Ярмарочного околотка в Севилье—все ребята веселые, разудалые, выдумщики и большие шутники. У всех них явилась одна и та же мысль и не сговариваясь они обступили Санчо и стащили его с осла. Один из них сбежал за хозяйским одеялом, на которое они и опрокинули Санчо. Но подняв глаза и заметив, что навес низковат для задуманного им дела, они решили перебраться на задний двор, покровом которому служил свод небесный. Там, уложив Санчо на середину одеяла, они принялись подбрасывать его, играя им как собакой во время карнавала.

Крики подбрасываемого страдальца были так пронзительны, что достигли слуха его господина, который сначала было решил, что ему подвернулось какое то новое приключение, но вскоре узнал голос своего оруженосца. Повернув коня, он грозным галопом поскакал обратно

к постоялому двору и, найдя ворота запертыми, стал объезжать его со всех сторон, ища входа. Но едва подъехал он ближе к ограде заднего двора, не особенно высокой, как увидел веселую игру, затеянную с его оруженосцем. На его глазах тот взлетал в воздухе и затем опускался с такой уморительной быстротой, что если бы Дон Кихотом не овладел гнев, можно было бы уверенным, что он бы расхохотался. Он попробовал было перебраться с седла на забор, но был так слаб и разбит, что не мог даже слезть с коня; и потому, продолжая сидеть верхом, он принялся осыпая проказников градом таких проклятий и ругательств, что перо мое отказывается их воспроизвести. А шутники, не взирая на это, не переставали весело трудиться, равно как и порхавший в воздухе Санчо не прекращал своих воплей, в которых соединялись мольбы с угрозами. Все это однако мало ему помогало, пока наконец устав, они не бросили своей игры. Тогда, приведя осла, они усадили Санчо в седло и набросили ему на плечи плащ; а сердобольная Мариторнес, видя как он измучен, решила, что будет кстати поддержать силы его кружкой воды, которую она принесла ему, чтобы посвежее была, из колодца. Санчо взял кружку и уже поднес ее к губам, как вдруг остановился, услышав громкий крик своего господина:

— Санчо, сынок, не пей воды! Не пей ее, сынок, если не хочешь умереть! Смотри, вот чудодейственный бальзам (при этих словах он показал ему склянку), две капли которого тебя сразу исцелят!

Но в ответ на это Санчо только искоса взглянул на него и крикнул не менее громко:



— Иль ваша милость уже забыла, что я не рыцарь, и вам хочется, чтобы у меня вырвало последние внутренности, какие еще остались после нынешней ночки? Приберегите ваш напиток для себя—тысяча дьяволов!—а меня оставьте в покое.

Последние слова он произнес уже уткнувшись носом в кружку. Но заметив, после первого глотка, что это всего на всего вода, он не захотел продолжать и попросил Мариторнес принести ему вина, что она исполнила с большой охотой, заплатив за вино из собственного кармана. Правду говорят про нее, что хоть и неважное было ее занятие, все же она хранила в сердце крупицу христианских чувств. Выпив вино, Санчо ударил своего осла в бока пятками и, широко распахнув ворота, выехал со двора, весьма довольный тем, что ничего не заплатил и настоял таки на своем, хоть и не без ущерба для своих обычных поручителей—лопатов. Правда, что хозяин оставил себе его дорожную сумку в расплату по счету, но Санчо, когда выезжал, был так взволнован, что даже этого не заметил. Когда он удалился, хозяин хотел крепко запереть ворота на запор, но наши весельчаки этому воспротивились: и в самом деле, это были такие молодцы, что будь дон Кихот настоящим рыцарем Круглого Стола, они и то бы не дали за него ни полушки.

## ГЛАВА XVIII

*содержащая беседу Санчо Панса с его господином, а также разные другие приключения, достойные упоминания*



Санчо подъехал к своему господину такой помятый и ослабевший, что у него не было даже сил подогнать своего ослика. Видя его в таком состоянии, дон Кихот сказал:

— Теперь я начинаю верить, мой добрый Санчо, что этот замок, или постоянный двор, действительно очарован. Конечно же это так. Ибо кем другим могли быть существа, так жестоко потешавшиеся над тобой, как не призраками и выходцами с того света? Подтверждение этому я вижу в том, что, когда я следил через забор за перипетиями твоей печальной трагедии, я не в состоянии был не только перелезть через забор, но даже сойти с Росинанта на землю: без сомнения, меня очаровали. Ибо, клянусь тебе моей честью, если бы я только мог перелезть во двор или сойти с коня, я бы отомстил за тебя так, что они бы ввек этого не забыли, хотя бы и пришлось мне для этого нарушить

рыцарский закон, запрещающий рыцарю, как я уже не раз тебе это объяснял, поднимать руку на того, кто не рыцарь, кроме только самых крайних и тяжелых случаев, когда приходится защищать свою жизнь и личность.

— Я и сам бы отомстил за себя, кабы возможность была, рыцарь я там или нет, да только никак нельзя было. А все таки я полагаю, что игравшие мною были вовсе не призраки или люди очарованные, как утверждает ваша милость, а самые обыкновенные люди из тела и костей, вроде нас с вами. И у каждого из них было свое имя,—я слышал это, когда, подбрасывая меня, они перекликались: одного звали Педро Мартинес, другого Тенорио Эрнандес, а хозяина двора зовут Хуан Паломеке Левша. Так что, сеньор, если вы не могли перелезть через забор и сойти с лошади, то причина тут совсем другая, а вовсе не колдовство. Для меня же из всего этого ясно только одно: все эти поиски приключений приведут нас к таким злоключениям, что под конец мы не сможем отличить свою правую ногу от левой. Самое лучшее и спокойное, что могли бы мы сейчас сделать,— уж простите меня, дурака, — это вернуться к себе во свояси. Как раз подходит время жатвы, и самая пора теперь заняться хозяйством, вместо того, чтобы валандаться по свету, кидаясь из огня да в полымя.

— Мало же ты смыслишь, Санчо, — ответил дон Кихот, — в рыцарских делах! Молчи и вооружись терпением, потому что настанет день и ты собственными глазами убедишься, какое благородное дело заниматься такими подвигами.



Ну, скажи мне, есть ли на свете бóльшая радость и удовлетворение, чем одержать победу и поразить врага? Признайся, что нет ничего лучше этого.

— Должно быть, что так, — ответил Санчо, — хоть лично я ничего в этих делах не смыслю. Знаю только одно: что с того дня, как мы сделались странствующими рыцарями, — вернее сказать, только ваша милость, потому что я не могу причислить себя к этому высокому званию, — мы не одержали ни одной победы, не считая победы над бискайцем, да и то в этом сражении ваша милость потеряла пол уха и половину шлема, а с тех пор мы ничего не видели кроме колотушек да зуботычин. На мою же долю выпало еще подбрасыванье на одеяле, да и подбрасывали то меня люди очарованные, которым я не могу отомстить, чтобы испытать, так ли велико удовольствие от мести, как утверждает ваша милость.

— В этом и состоит, Санчо, ниспосланное мне наказание, от которого и тебе придется терпеть, — ответил дон Кихот. — Но на будущее время я постараюсь раздобыть какойнибудь меч, обладающий таким свойством, что тот, кто им владеет, не подвластен никакому колдовству. И возможно, что счастливая судьба даст мне в руки меч Амадиса — той поры, когда он называл себя Рыцарем Пламенного Меча, — а это — один из лучших мечей в мире, какими когда либо владел рыцарь, потому что, кроме упомянутого свойства, он резал как бритва, и не было таких прочных или очарованных доспехов, которые бы против него устояли,

— Таково уж мое счастье, — сказал Санчо, — что если б вашей милости и удалось добыть такой меч, то оказалось бы, что он пригоден только для рыцарей, как это случилось с бальзамом, а оруженосцы пускай расплачиваются своими боками.

— Отбрось свой страх, Санчо, — сказал дон Кихот, — скоро небо будет благосклоннее и к тебе.

В то время как они ехали, занятые этой беседой, дон Кихот вдруг заметил на дороге, по которой они и следовали, несущееся им навстречу огромное и густое облако пыли. Увидев его, он обернулся к Санчо и сказал:

— Настал день, о Санчо, когда ты увидишь, какую удачу приготовила мне судьба. Вот день, говорю тебе, когда проявится вся мощь моей руки и когда я совершу деяния, которые впишутся в книгу Славы для грядущих поколений. Видишь, Санчо, облако пыли, которое там стелется? Оно скрывает огромное войско из различных, бесчисленных племен, направляющееся в нашу сторону.

— Уж если на то пошло, — заявил Санчо, — то целых два войска, потому что с другой стороны несется точно такое же облако.

Обернувшись, дон Кихот убедился, что Санчо говорит правду. И, крайне обрадованный, он без колебаний решил, что две армии движутся, чтобы сойтись и сразиться между собой посреди обширной, расстилавшейся перед ними равнины. Ибо каждый час и каждую минуту его воображению рисовались битвы, чары, приключения, подвиги, любовные безумства, поединки, о которых рассказывается в рыцарских романах, и все

его слова, действия и мысли были направлены в эту сторону. На самом же деле облака пыли, замеченные им, производили два больших стада овец и баранов, которые шли по одной дороге с противоположных концов, поднимая пыль, мешавшую их видеть, пока они не приблизились совсем. Но дон Кихот с таким жаром утверждал, что это два войска, что Санчо в конце концов поверил и сказал:

— Что же теперь нам делать, сеньор?

— Что делать? — воскликнул дон Кихот. — Подкрепить и поддержать более слабую сторону, нуждающуюся в помощи. Знай, Санчо, что армией, идущей к нам навстречу, предводительствует великий император Алифанфарон, повелитель огромного острова Трапобаны \*, а тот, кто ведет войска позади нас — его враг, король гарамантов \*, Пентаполин «с Засученным Рукавом», прозванный так потому, что, идя в бой, он всегда обнажает свою правую руку.

— Да почему же так ненавидят друг друга эти два сеньора? — спросил Санчо.

— Потому что — ответил дон Кихот, — Алифанфарон, заядлый язычник, влюбился в красавицу дочь Пентаполина, очаровательную девушку, при том христианку, а отец не хочет выдавать ее за языческого короля, пока тот не отречется от закона лже-пророка Магомета и не примет нашей веры.

— Отвались моя борода, — воскликнул Санчо, — если Пентаполин не вполне прав! Я готов помочь ему изо всех моих сил.

— И ты поступишь вполне правильно, — сказал дон Кихот, — потому что для участия

в таких сражениях совсем не требуется быть рыцарем.

— Это я понимаю, — ответил Санчо. — Но вот что: куда мы припрячем моего осла, чтобы потом найти его после этой свалки? Потому что ехать в бой верхом на осле — это вряд ли когда делалось.

— Правда, — сказал дон Кихот. — Все что тебе остается — это бросить его на произвол судьбы, не заботясь, пропадет он или нет, — ибо, выйдя из боя победителями, мы получим в свое распоряжение столько лошадей, что даже Росинанту грозит опасность, как бы я не променял его на другого коня. А теперь слушай меня и смотри внимательно: я тебе перечислю главных рыцарей обеих этих армий. И чтобы тебе легче было рассмотреть каждого в отдельности, взъедем на соседний пригорок, откуда хорошо будут видны оба войска.

Так они и сделали: взобрались на холмик, откуда без труда можно было бы различить оба стада, принятые дон Кихотом за армии, если бы их не окутывали облака пыли, совершенно затмевавшие зрение. И вот, видя в своем воображении то, чего глаза его не видели и чего на деле не было, дон Кихот начал громким голосом:

— Видишь ты этого рыцаря в ярко желтых доспехах, на щите которого изображен венценосный лев, лежащий у ног девушки? Это доблестный Лауркалько, повелитель Пуэнте де Плата\*. А тот, в доспехах, украшенных золотыми цветами, имеющий на щите три серебряные короны на лазоревом поле, это — грозный Мико-

колембо, великий герцог Киросии. Дальше, справа от него, истинный великан, неустрашимый Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравий; он одет в змеиную кожу, и в руках у него вместо щита дверь, принадлежавшая, по преданию, храму, который разрушил Самсон, когда он, умирая, отомстил своим врагам. Теперь, если ты обратишь взор свой в другую сторону, ты увидишь, во главе второго войска, впереди него, вечно побеждающего и ни разу еще не побежденного Тимонеля Каркахонского, властителя Новой Бискайи; на нем четырехпольные доспехи лазоревые, зеленого, белого и желтого цвета, а на щите — кошка на рыжем поле, с надписью *Мьлу*: сокращенное имя его дамы, как утверждают — несравненной Миулины, дочери герцога Альфеньикена Альгарбского. Тот другой, подалее, под тяжестью которого сгибается хребет его могучего коня, рыцарь в белоснежных доспехах и с белым щитом без всякого девиза, это — рыцарь-новичок, француз родом, по имени Пьер Папин, сеньор Утрикских баронств. А тот, еще дальше, в небесно лазоревых доспехах, вонзающий железные шпоры в бока своей быстрой полосатой зебры — могучий герцог Нербии, Эспартафилардо дель Боске, с пучком спаржи на щите и девизом, написанным по кастильски: *Проследи мою судьбу*.

И, продолжая дальше в таком же роде, дон Кихот перечислил еще множество рыцарей обеих воображаемых армий, наделяя каждого особым гербом, цветом, приметам и девизом, которые ему подсказывало невиданное его безумие, а затем без передышки, продолжал:

— Войско, что впереди нас, состоит из самых разнообразных племен. Здесь есть народы, пьющие сладкие воды прославленного Ксанфа; люди, попирающие ногами массивнейшие горные долины; племена, просеивающие чистейший золотой порошок счастливой Аравии; те, что блаженно живут на дивных, прохладных берегах светлого Термодонта; те, что многообразными способами истощают золотоносный Пактол; нумидийцы, неверные своему слову; персы, славящиеся своим луком и стрелами; мидяне и парфяне, сражающиеся на бегу; арабы с их кочевыми шатрами; скифы, столь же известные своей жестокостью, как и белизной кожи; эфиопы с проколотыми губами, и несметное множество других еще племен, черты которых я вижу и узнаю, хотя имена их не в силах припомнить. В другой армии ты видишь племена, пьющие хрустальные струи Бетиса, орошающего оливковые рощи; те, что освежают и умывают лица свои влагою вечно обильного, золотоносного Тахо, те, что наслаждаются плодоносными водами дивного Хениля; те, что бродят на тартезийских равнинах с тучными пастбищами; те, что беззаботно живут на елисейских лугах Хереса; богатых ламанчцев в венках из золотых колосьев; мужей закованных в железо, последних потомков древних готов; людей; погружающих тела свои в Писуэргу, что славится плавным течением; тех, что пасут стада свои на просторных лугах извиистой Гвадианы, прославленной своими скрывающимися от глаз водами\*; тех, что дрожат от холода в лесистых Пиренеях и на снежных высотах Апенин; словом, все племена, какие только вмещает в себе и питает Европа.

Бог мой, сколько стран назвал он, сколько народов перечислил, мгновенно наделяя каждый особыми свойствами: и все это почерпнул он из чтения лживых романов, которыми была набита его голова! Внимательно слушал его Санчо, не решаясь проронить ни слова, и только время от времени поворачивал голову в надежде увидеть рыцарей и великанов, которых перечислял его господин; но так как ни одного из них ему не удалось обнаружить, то в конце концов он сказал:

— Куда к чорту запропастились, сеньор, все эти рыцари и великаны, о которых говорит ваша милость? Я, по крайней мере, ни одного из них не вижу. Или все они так же очарованы, как призраки, являвшиеся к нам прошлой ночью?

— Что говоришь ты? — воскликнул дон Кихот. — Иль ты не слышишь ржання коней, барабанного боя и звуков рожков?

— Ничего я не слышу, — ответил Санчо, — кроме бляенья овец и баранов.

И это была сущая истина, так как оба стада подошли уже в это время совсем близко.

— Страх, обуявший тебя, — сказал дон Кихот, — мешаает тебе, Санчо, правильно видеть и слышать. Одно из проявлений страха — это то, что наши чувства теряют свою ясность, и все представляется нам в искаженном виде. Если уж ты так испугался, отойди в сторонку и предоставь мне действовать одному, ибо меня одного достаточно, чтобы обеспечить победу тем, кому я окажу помощь.

С этими словами он вонзил шпоры в бока Росинанта и, взяв копьё на перевес, с быстрой молнии помчался с пригорка.

— Господин мой, сеньор дон Кихот, — принялся кричать Санчо, — вернитесь! Клянусь моей душой, вы нападаете на овец и баранов! Вернитесь, заклинаю вас именем моего отца! Ну, что это за безумие! Верьте мне, здесь нет ни великанов, ни рыцарей, ни кошек, ни доспехов, ни щитов цельных или четырехпольных, ни небесной лазури, ни всей этой вашей чертовщины. Да что же это он делает, грехи мои тяжкие!

Но ничто не могло остановить дон Кихота, восклицавшего громким голосом:

— Смелее, рыцари, верные знаменам благородного императора Пентаполина с *Засученным Рукавом!* Вперед, за мной! Вы увидите, как быстро я отомщу его врагу, Алифанфарону Трапобанскому!

С этим возгласом он врезался в самую гущу стада овец и принялся разить их своим копьём с такой яростной отвагой, словно это и вправду были его смертельные враги. Пастухи, сопровождавшие стадо, пробовали криками остановить его, но видя, что слова не помогают, взялись за свои пращи и стали приветствовать уши дон Кихота камнями величиной с кулак. Но тот, не обращая внимания на камни, метался по полю, восклицая:

— Где ты, надменный Алифанфарон? Выходи на меня. Я рыцарь, готовый один на один сразиться с тобой и поразить на смерть в наказание за твое дерзкое нападение на Пентаполина Гарамантского!

В эту минуту в самый бок ему угодил изрядный булыжник, пущенный из пращи, и вда-





вил ему внутрь два ребра. Почувствовав удар, дон Кихот решил, что он уже убит или смертельно ранен; но вспомнив про свой бальзам, он схватил жестянку и, поднеся ее ко рту, стал вливать себе жидкость в желудок. Но не успел он проглотить достаточную, по его мнению, порцию, как его настиг второй кругляк, пущенный так ловко, что, угодив ему в руку, он не только пробил насквозь жестянку, но и вышиб дон Кихоту три или четыре зуба в придачу, да еще разmozжил два пальца. Если первый удар был не плох, то второй свалил бедного рыцаря наземь. Подбежавшие к нему пастухи вообразили, что прикончили его; собрав свое стадо, они взвалили себе на плечи убитых овец, каковых оказалось штук семь, и, не долго думая, поспешно удалились.

Санчо, все время не покидавший пригорка и взиравший на безумства своего господина, рвал на себе волосы, проклиная день и час, когда судьба свела их вместе. Видя, что дон Кихот лежит на земле и что пастухи уже удалились, он спустился с пригорка и подошел к дон Кихоту, который был в весьма плачевном состоянии, хотя и не лишился чувств.

— Не старался ли я, сеньор дон Кихот,— сказал Санчо,— удержать вас? Не говорил ли, что это не армия, а стадо баранов?

— Вот какие подмены и превращения устраивает подлый враг мой, волшебник! Знай, Санчо, что для волшебников нет ничего легче, как заставить нас видеть все, что им захочется. Так и этот негодяй, меня преследующий, ревнуя к славе, которую я должен был покрыть себя

в этой битве, превратил вражескую армию в стадо баранов. Если не веришь, Санчо, сделай, прошу тебя, одну вещь, чтобы рассеять свои сомнения и убедиться, что я говорю правду: садись на своего осла и поезжай за ними потихоньку,—и ты увидишь, что, немного удалившись, они примут свое прежнее обличье, и из баранов превратятся опять в самых настоящих людей, таких, какими я тебе описал их. Но только не уезжай сразу, потому что мне нужна сейчас твоя поддержка и помощь. Подойди поближе и посмотри, сколько я потерял зубов: мне кажется, что у меня ни одного не осталось.

Санчо нагнулся к нему так, словно собирався влезть с головой к нему в рот. Но как раз в это время бальзам начал действовать в желудке дон Кихота, и в ту самую минуту, как Санчо принялся исследовать его рот, господин его с силой мушкетного выстрела извергнул из себя все, что у него было внутри, окатив бороду сострадательного оруженосца.

— Пресвятая дева, — воскликнул Санчо, — что же это такое делается! Должно быть, несчастный ранен на смерть, если его рвет кровью.

Вглядевшись, однако, он сразу же по цвету, вкусу и запаху убедился, что это не кровь, а бальзам, который дон Кихот на его глазах пил из жестянки. И от этого Санчо так затошнило, что весь его желудок вывернулся наизнанку, и его вырвало прямо в лицо дон Кихоту; оба они оказались разукрашенными на славу. Санчо кинулся к своему ослу, чтобы достать из сумки, чем бы утереться и перевязать своего господина, и, обнаружив ее исчезновение, чуть

было не рехнулся. Снова разразившись проклятиями, он твердо решил в душе бросить своего господина и вернуться к себе домой, махнув рукой на заработанное жалованье и на надежду стать губернатором обещанного острова.

Тем временем дон Кихот поднялся и, обхватив левою рукою рот, для того, чтобы оттуда не вывалились зубы, правой схватил узду Росинанта, который все время так и не отходил ни на шаг от своего хозяина (до того это было смиренное и верное животное!), и поплелся к тому месту, где стоял Санчо, припав грудью к своему ослу и подперев рукой щеку, в горьком раздумье. Увидев его в этой позе, выражавшей глубокую скорбь, дон Кихот сказал:

— Знай, Санчо, кто хочет возвыситься над другими, тот и делать должен больше других. Все эти бури, обрушившиеся на нас, свидетельствуют о том, что скоро небо прояснится и дела наши пойдут хорошо. Ибо ни горе, ни радость не бывают слишком продолжительны, а из этого следует, что, если горе тянулось очень долго, то значит радость близка. Поэтому брось печалиться о постигших меня невзгодах, которые тебя совсем не коснулись.

— Как это так не коснулись! — вскричал Санчо. — А тот, кого вчера подбрасывали на одеяле, не был сыном моего отца? А сумка, которая пропала вместе со всем моим скарбом, чужая разве, а не моя?

— У тебя пропала сумка? — спросил дон Кихот.

— То то и есть что пропала, — ответил Санчо.

— Значит, не придется нам сегодня обежать, — сказал дон Кихот.

— Да уж, конечно, не пришлось бы,—молвил Санчо,—если б на этих лугах не росло хорошо вам известных, по словам вашей милости, трав, которые могут с успехом заменить обыкновенную пищу незадачливым странствующим рыцарям вроде вашей милости.

— А все же я предпочел бы,—сказал дон Кихот,—всем травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с комментариями доктора Лагуны\*, хороший хлебец или даже просто краюху хлеба и пару копченых сардинок в придачу. Но что об этом толковать? Садись, добрый Санчо, на своего осла и поезжай за мной. Бог, который обо всех печется, не забудет и нас с тобой, тем паче что мы так усердно служим ему: посылает же он пищу и комарам в воздухе, и червям в земле, и головастикам в воде, столь милосердный, что солнце его светит и добрым и злым, а дождь поливает и праведных и неправедных.

— Вашей милости,—сказал Санчо,—больше бы пристало быть проповедником, чем странствующим рыцарем.

— Странствующие рыцари все всегда умели и все обязаны были знать,—ответил дон Кихот.—И в прежние времена встречались среди них такие, что могли произнести речь или проповедь в военном лагере не хуже любого доктора парижского университета,—из чего явствует, что никогда еще копьё не притупляло пера, как и перо—копья.

— Ладно, пусть будет по вашему,—сказал Санчо.—А теперь давайте ка, двинемся в путь и поищем где нибудь ночлега. Кабы бог нам

помог сыскать местечко, где не водится ни одеял, ни этих мастеров одеяльных, ни призраков, ни очарованных мавров! Провались я, коли мне охота еще раз с ними встретиться.

— Попроси, сынок, божьей помощи,—сказал дон Кихот,—и веди меня куда хочешь, потому что на этот раз я готов предоставить тебе выбор ночлега. А теперь протяни ка руку и пощупай, сколько у меня нехватает зубов в верхней челюсти, справа, потому что здесь у меня сильнее всего болит.

Санчо засунул ему в рот руку и, пощупав хорошенько, спросил:

— Сколько зубов у вашей милости было здесь раньше?

— Четыре,—ответил дон Кихот,—и все, кроме зуба мудрости, целые и здоровые.

— Не ошибается ли ваша милость?—спросил Санчо.

— Говорю тебе, что четыре, если не пять,—ответил дон Кихот,—потому что за всю мою жизнь мне не рвали зубов, и ни один не сгнил и не выпал от простуды.

— А теперь у вашей милости,—сказал Санчо,—с этой стороны внизу осталось два с половиной, а наверху ровно ничего, ни одной даже половинки: совсем гладко стало, как ладошка.

— Вот несчастье! — сказал дон Кихот, услышав от оруженосца эту печальную новость.— Лучше бы мне отрубили руку,—только конечно не правую, чтоб было чем держать меч. Ибо знай, Санчо, что рот без коренных зубов—то же, что мельница без жернова, и что каждый зуб для человека дороже алмаза. Но что поде-



лаешь, еще не таким напастям подвержены мы, принявшие на себя суровый обет рыцарства! Садись, мой друг, на осла и трогайся в путь, а я последую за тобой всюду, куда пожелаешь.

Так Санчо и сделал: он направился по большой дороге, тянувшейся перед ним прямо, в ту сторону, где, по его соображениям, можно было сыскать ночлег.

Потихоньку плетясь кое-как,—ибо неутихавшая боль в челюстях дон Кихота не позволяла им прибавить ходу,—Санчо, чтобы хоть чем-нибудь развлечь своего господина, решил завести с ним беседу, и в числе многого другого им было высказано нечто, о чем мы узнаем из следующей главы.



## ГЛАВА XIX

*о разумной беседе между Санчо Пансой и его господином и последовавшем за сим приключении с мертвым телом, равно как и о других замечательных происшествиях*



дается мне, сеньор, что все эти напасти, обрушившиеся на нас за последнее время — наказание за то, что ваша милость нарушила рыцарский закон и не сдержала своей клятвы: не вкушать хлеба за скатертью, не тешиться с королевой, и многое другое, чего вы давали слово не делать, пока не добудете шлема Маландрина, или как там звали этого мавра, уж не помню.

— Ты не ошибся, Санчо,—сказал дон Кихот.—По правде сказать, клятва эта у меня совсем из головы вылетела. Мало того, можешь быть уверен: именно за то, что ты мне во время об этом не напомнил, с тобой произошло это подбрасыванье на одеяле. Но я заглажу свою провинность,—ибо в рыцарских правилах предусмотрены способы искупить любую погрешность.

— Да я то разве в чем нибудь клялся?— воскликнул Санчо.

— Не важно, клялся ты или нет,—ответил дон Кихот.—Довольно того, что на мой взгляд тебя можно обвинить в соучастии. Но как бы там ни было, надо попробовать исправить нашу ошибку.

— Раз это так,—сказал Санчо,—то постарайтесь, ваша милость, хоть этого не забыть, как забыли вы свою клятву; а то, чего доброго, у привидений явится охота еще раз потешиться над мной, да пожалуй и над вашей милостью, если они увидят ваше упорство.

В этих и тому подобных разговорах, прежде чем они успели найти ночлег и добраться до него, их застигла среди дороги ночь. А хуже всего было то, что их начал мучить голод, потому что вместе с сумкой исчезли все их съестные припасы. И тут, в довершение беды, с ними случилось самое настоящее, отнюдь не вымышленное приключение. Хотя ночь была таки довольно темная, они пролгигались вперед, так как Санчо решил, что, раз это проезжая дорога, им должен встретиться наконец через милю или две какой нибудь постоялый двор. И вот, в то время как они оба,—голодный оруженосец и его господин, который тоже не прочь был бы закусить,—странствовали таким образом вдвоем впотьмах, они вдруг увидели на дороге множество движущихся им навстречу огней, похожих на блуждающие звезды. При виде их Санчо обмер от страха, да и дон Кихоту стало слегка не по себе. Один натянул недоуздок осла, другой—узду коня, и оба остановились, старательно

всматриваясь, что бы такое это могло быть. Они заметили, что огни направляются в их сторону и, по мере своего приближения, все более увеличиваются. При виде этого Санчо задрожал как человек, отравленный ртутью, да и у дон Кихота волосы встали дыбом. Слегка взволнованный, наш рыцарь сказал:

— Без сомнения, Санчо, это одно из величайших и опаснейших приключений, в котором мне придется проявить всю мою силу и мужество.

— Пропал я!—воскликнул Санчо.—Если это опять призраки,—а похоже что это так,—где мне набраться ребер, чтобы выдержать новую трепку?

— Будь это самые настоящие привидения,—заявил дон Кихот,—я не позволю им тронуть хотя бы нитку на твоём платье. Если прошлый раз они натешились над тобой, то только потому, что я не мог перелезть через изгородь во двор. Но сейчас мы в открытом поле, и здесь есть где разгуляться моему мечу.

— А если они опять вас очаруют и пригвоздят к месту как в тот раз,—сказал Санчо,—что пользы в том, что мы в открытом поле?

— Во всяком случае, Санчо,—сказал дон Кихот,—прошу тебя, не падай духом. Ты сейчас на деле увидишь, каково мое мужество.

— Постараюсь, с божьей помощью, набраться храбрости,—ответил Санчо.

Свернув немного с дороги, они снова начали пылливо вглядываться, пытаясь разобрать, что это за огни движутся на них, и вскоре различили множество фигур в балахонах; это жуткое

зрелище совсем доканало Санчо, который начал стучать зубами, как в лихорадке. Но еще больше затрясло его, и еще сильнее застучали его зубы, когда они разглядели все до конца. Их взорам предстало человек двадцать всадников в белых балахонах, ехавших, с зажженными факелами в руках, впереди похоронных дрог, за которыми следовало еще шесть таких же всадников, закутанных в траур до копыт своих мулов: что это были мулы, а не лошади, сразу было видно по их спокойной поступи\*. Всадники в балахонах медленно подвигались вперед, что то бормоча себе под нос тихим и жалобным голосом. Такое необычайное зрелище, в столь поздний час и в такой пустынной местности, могло бы смутить кого угодно, не только Санчо. Увы, зачем не случилось того же и с дон Кихотом! В то время как Санчо окончательно упал духом, совсем противоположное произошло с его господином, воображению которого живо представилось одно из приключений, описанных в его романах.

Ему почудилось, что похоронные дроги — траурная колесница, на которой везут какого-то убитого или тяжело раненого рыцаря, и что именно ему, дон Кихоту, надлежит за него отомстить. Поэтому, не долго думая, он взял на перевес свое копьцо, укрепился в седле и приосанившись, с молодецким видом, выехал на середину дороги, по которой должны были проехать всадники в балахонах; и когда они совсем приблизились, крикнул громким голосом:

— Остановитесь, рыцари, или кто бы вы ни были, и немедленно скажите мне, кто вы такие,

куда и откуда едете, и кого везете на этой колеснице. Ибо по всему видно, что вы либо виновники, либо жертвы некоего злодеяния. И потому я должен узнать, в чем дело, для того чтобы либо покарать вас за содеянное вами, либо отомстить за обиду, вам учиненную.

— Мы торопимся, — сказал один из людей в балахонах, — а до постоянного двора еще далеко; поэтому нам некогда вступать с вами в пространные объяснения.

И, прищипорив мула, он хотел проехать мимо. Сильно оскорбленный таким ответом, дон Кихот схватил мула за узду и сказал:

— Остановитесь, невежи, и отвечайте на мои вопросы! В противном случае я вызываю вас всех на бой.

Мул был пугливый, и когда его схватили за узду, он так испугался, что встал на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга, шедший рядом, увидев падение своего господина, принялся ругать дон Кихота. Тогда тот, уже и без того взбешенный, немедленно нацелился своим копьём и обрушился на одного из людей в черном, который, сильно ушибленный, покатылся на землю. Затем дон Кихот устремился на остальных, и надо было видеть, с какой быстротой он с ними стал расправляться! Кажется, у Росинанта выросли крылья — так легко и горделиво носился он взад и вперед. Всадники в балахонах были все люди робкие и безоружные, и потому в одно мгновение, без борьбы, они очистили дорогу и разбежались врассыпную по полю, с горящими факелами в руках, похожие на ражених, веселящихся ночью в дни

карнавала. А те, что были в черном, запутавшись в фалдах и полах своих балахонов, не могли быстро двигаться, что позволило дон Кихоту без особого труда славно отколошматить их всех и заставить, волей неволей, уступить ему поле брани. И впрямь им казалось, что это не человек, а дьявол, явившийся из преисподней, чтобы похитить тело, лежащее на дорогах.

Взирая на все это, Санчо только дивился смелости своего господина и думал: «Видно, и в самом деле сеньор мой так отважен и силен, как говорит». Возле всадника, сброшенного мулом, валялся на земле горящий факел, при свете которого дон Кихот заметил лежащего. Подъехав к нему, он приставил к его лицу конец своего копьца и повелел, под угрозой смерти, сдаться, на что тот ответил:

— Я уже больше чем сдался, потому что сломал ногу и не могу двинуться с места. Умоляю вашу милость, если вы добрый христианин, не убивайте меня, потому что я лицензиат и уже принял духовное звание.

— Так какой же дьявол, — воскликнул дон Кихот, — заставил вас, духовное лицо, впутаться в эту историю?

— Кто меня впутал в нее? — отвечал поверженный. — Моя злая судьба.

— Еще худшая постигнет вас, — сказал дон Кихот, — если вы не ответите мне толком на вопрос, который я вам с самого начала задал.

— Охотно удовлетворю вашу милость, — ответил лицензиат. — Итак, позвольте доложить вашей милости, что хотя я сейчас назвал себя

лиценциатом, я на самом деле всего лишь бакалавр, по имени Алонсо Лопес, родом из Альобендас. Я ехал из города Баэсы, вместе с теми одиннадцатью священнослужителями, что разбежались с факелами, и мы направлялись в Сеговию, провожая лежащее на этих дрогах тело одного дворянина, умершего в Баэсе: он сперва там был похоронен, а теперь мы перевозим его останки в фамильный склеп в Сеговии, откуда он родом.

— Кто же убил его?—спросил дон Кихот.

— Бог, с помощью гнилой горячки, унесшей его в могилу.

— Если так,—сказал дон Кихот,—то господь избавил меня от труда мстить за этого человека, в смерти которого никто не повинен. Раз он умер по воле пославшего ему смерть, мне остается только развести руками, как если бы это самое постигло меня самого. Должен вам сказать, ваше преподобие, что я рыцарь из Ламанчи, по имени дон Кихот, и занятие мое и назначение—странствовать по свету в поисках приключений, всюду чиня правый суд и карая злодеяния.

— Уж не знаю,—промолвил бакалавр,—как это вы чините правый суд, а только ногу мою вы так починили, что она до конца жизни моей не выправится, и благодеяния вашего я ввек не забуду. Поистине, приключение это оказалось для меня великим злоключением.

— Не всегда так делается, как мы хотим,—ответил дон Кихот.—Вся беда в том, сеньор бакалавр, что вас угораздило выехать на большую дорогу ночью, в каких то рясах, с зажженными факелами, обрядившись в траур, с це-

внятным бормотаньем, в роде каких-то выходцев с того света. Естественно, что я не мог не напасть на вас, исполняя свою обязанность. Я бы сделал это, если бы даже вы и впрямь оказались полчищем демонов, каким вы мне до последней минуты представлялись.

— Видно, мне это было на роду написано, — сказал бакалавр. — Но по крайней мере, сеньор странствующий рыцарь, раз уж вы причинили мне такую беду, то теперь, прошу вас, помогите мне выбраться из-под мула, потому что ногу мою, запутавшуюся в стремях, прищемило седлом.

— Вот чудак! — вскричал дон Кихот. — Так чего же вы мне раньше этого не сказали?

Он тотчас кликнул Санчо. Тот, однако, заставил себя подождать, занятый разгрузкой вьючного мула, который, изрядно нагруженный всякой снедью, шел в обозе этих добрых людей. Устроив из своего плаща мешок и наложив в него столько добра, сколько ему удалось захватить и вместить туда, Санчо навьючил всем этим осла и только после этого явился на зов своего господина. Он помог ему вытащить сеньора бакалавра из-под мула, а затем, усадив беднягу в седло, вложил ему в руки факел, после чего дон Кихот предложил ему отправиться вдогонку за своими спутниками и передать им его извинения за невольную обиду, которую он вынужден был им нанести. А Санчо при этом прибавил:

— Если бы эти сеньоры пожелали узнать, кто тот храбрец, который так ловко с ними расправился, скажите им, ваша милость, что это знаменитый дон Кихот Ламанчский, по прозванию Рыцарь Печального Образа.



Когда бакалавр отъехал, дон Кихот спросил Санчо, отчего это ему вздумалось вдруг назвать его Рыцарем Печального Образа.

— Сейчас я вам объясню,—ответил Санчо.— Как посмотрел я на вас с минутку при свете факела, который увозит теперь этот несчастный, так и показалось мне, что вид у вас, правду сказать, такой жалостный, какого я раньше еще никогда не видел. Должно быть, это от того, что вас очень утомило сражение, а может быть это от потери зубов.

— Вовсе не это тому причиной,—сказал дон Кихот,—а скорее всего то, что мудрец, которому предназначено написать историю моих подвигов, нашел, должно быть, уместным, чтобы я избрал себе какое нибудь прозвище, как все рыцари былых времен: один звался Рыцарем Пламенного Меча, другой—Единорога, этот—Рыцарем Дев, тот—Феникса, или Грифа, или еще Рыцарем Смерти, и под этими прозвищами и именами стали они известны на всем земном шаре. Так вот я и думаю, что этот мудрец внушил тебе мысль назвать меня Рыцарем Печального Образа. Отныне я принимаю это имя и, чтобы закрепить его за собой, при первой же возможности прикажу изобразить на своем щите весьма печальное лицо.

— Незачем тратить на это время и деньги,—сказал Санчо.— Довольно вам открыть свое лицо да показать его всем желающим, и каждый, без всяких изображений на щите, сразу же назовет вас Рыцарем Печального Образа,—уж можете на меня положиться. Уверяю вас, сеньор,—не обессудьте за шутку,—голод и выби-

тые зубы так украсили ваше лицо, что, повторяю, вы вполне можете обойтись без печального рисунка.

Дон Кихот улыбнулся на эту любезность Санчо, но все же решил принять новое прозвище и украсить свой щит придуманным им изображением.

— Сдается мне, Санчо,—заметил дон Кихот,— что я чего доброго подлежу отлучению от церкви за то, что поднял руку на священнослужителя: *juxta illud: Si quis suadente diabolo etc.\**, хотя, по правде сказать, я поднял на него не руку, а вот это копьцо. А кроме того, я думал, что нападаю вовсе не на священников и духовных лиц, которых я весьма чту и уважаю как добрый католик, а на каких-то чудищ, выходцев с того света. Но если бы и действительно было так, то мне весьма памятен случай с Сидом Руи Диасом, когда он сломал стул одного королевского посла в присутствии его святейшества папы, за что тот и отлучил его от церкви. И все же славный Родриго де Вивар поступил в тот день как достойный и благородный рыцарь.

Услышав это, бакалавр удалился, как мы уже сказали, не промолвив ни слова \*, а дон Кихот захотел проверить, действительно ли па дрогах лежит человеческое тело. Санчо, однако, отговорил его от этого:

— Сеньор,—сказал он,—это опасное приключение окончилось для вашей милости более счастливо, чем все прежние. Но люди, побежденные вами и обращенные в бегство, могут, пожалуй, спохватиться, что их победил всего лишь

один человек. И теперь, устыдившись и рассердившись, они еще способны, пожалуй, вернуться и задать нам трепку. Осел мой в полном порядке, горы близко, голод дает себя чувствовать, — так не лучше ли нам резвой рысцой удалиться отсюда? Мертвый, как говорится, в могилу, а живой к караваю!

И, схватив осла за узду, он предложил своему господину последовать за ним, и тот, сознавая, что Санчо прав, двинулся в путь без всяких возражений. Миновав два холма, между которыми пробегала дорога, они вскоре выехали на просторную, со всех сторон закрытую лужайку, на которой оба они спешились. Санчо разгрузил своего осла, после чего, растянувшись на зеленой травке, рыцарь и оруженосец, в подтверждение правила, что лучший повар — голод, сразу позавтракали, пообедали и поужинали, набив свои желудки множеством холодных закусок, которые господа церковники (редко о себе забывающие) везли на муле в своем обозе. Но тут явилась новая беда, для Санчо худшая из всех: именно, у них не оказалось не только вина, но даже воды, чтобы промочить себе горло. Тогда терзаемый жаждой Санчо, заметив, что лужайка, на которой они находились, покрыта мелкой, свежей травой, сказал, — а что именно, мы узнаем из следующей главы.

## ГЛАВА XX

*о невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один знаменитый рыцарь на свете не совершал с меньшей для себя опасностью, чем совершил его доблестный дон Кихот Ламанчский*



сное дело, сеньор: эта трава свидетельствует о том, что неподалеку должен находиться какой-нибудь источник или ручей, питающий ее своей влагой; а потому пройдемте ка немного дальше, и нам наверное посчастливится утолить эту ужасную жажду, которая, по правде сказать, мучит хуже всего.

Совет понравился дон Кихоту; он взял Роспнанта за узду, Санчо схватил за недоуздок осла, предварительно нагрузив на него все остатки от ужина, и они пошли по луку наугад, так как тьма ночи мешала им что либо видеть. Но не успели они сделать и двухсот шагов, как до слуха их долетел сильный шум потока, падавшего, казалось, с огромных и высоких утесов. Шум этот чрезвычайно их обрадовал. Они остановились, чтобы прислушаться, с какой стороны он доносится, но тут они вдруг различили

новый грохот, и он помешал их удовольствию, особенно же Санчо, который от природы был труслив и малодушен. В самом деле, они услышали каких-то равномерные удары и словно лязг железа и цепей. Звуки эти, сливаясь с яростным гулом потока, способны были вселить ужас в сердце всякого, но только не дон Кихота. Как мы уже сказали, ночь была темная, а они случайно проходили под деревьями, листья которых, колеблемые нежным ветерком, шелестели тихо и жутко. Все это вместе взятое—уединенная местность, темнота, шум воды, шелест листьев—невольно нагоняло страх. Но ужас их еще более возрос, когда они убедились, что удары не прекращаются, ветер не ослабевает и утро все не приходит; а вдобавок еще им было неизвестно, где они находились. Но дон Кихот, влекомый своей бесстрашной отвагой, вскочил на Росинанта, схватил щит, взял копьецо на перевес и сказал Санчо:

— Друг Санчо, ты должен знать, что небу было угодно произвести меня на свет в наш железный век, чтобы я воскресил век золотой, или, как некоторые выражаются, золоченый. Я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги. Я тот, повторяю, кому надлежит воскресить рыцарей Круглого стола, двенадцать перов Франции, девять мужей Славы\*, затмив собой всех Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, Фебов и Бельянисов, и все полчища знаменитых странствующих рыцарей минувших времен, ибо на веку своем я совершу столько великих и удивительных боевых подвигов, что перед ними померкнут самые славные

их деяния. Заметь, мой верный и преданный оруженосец, как беспросветна ночь, как необычно безмолвие, как глухо и невнятно лепечут листья, как жутко шумит поток, на поиски которого мы отправились и который словно падает и низвергается с высоких Лунных гор\*; как беспрестанные удары поражают и терзают наш слух. Все эти явления вместе взятые и каждое в отдельности способны заронить боязнь, страх и ужас в сердце самого Марса, а тем более тех, кто не привык к подобным встречам и приключениям! Однако, все эти описанные мною ужасы только пробуждают и воспаляют мою отвагу, и мое сердце готово выпрыгнуть из груди — до того жажду я броситься в это приключение, каким бы трудным оно ни представлялось. Поэтому подтяни немного подпруги у Росинанта, и да хранит тебя бог! Жди меня здесь три дня, не больше, и если в этот срок я не вернусь, ты можешь возвратиться в деревню, а оттуда, сделай милость, окажи мне услугу — сходи в Тобосо и передай несравненной госпоже моей Дульсинее, что плененный ею рыцарь погиб, желая совершить подвиг, который сделал бы его достойным называться ее слугой.

Выслушав слова своего господина, Санчо так растрогался, что начал плакать и сказал:

— Не понимаю, сеньор, почему вам вздумалось пускаться в это ужасное приключение: теперь ночь на дворе, никто нас здесь не видит, и мы отлично могли бы свернуть в сторону и уклониться от опасности, хотя бы нам пришлось не пить целых трое суток. И раз никто этого не видит, так никто нас и не сочтет трусами, тем

более, что наш деревенский священник, которого ваша милость отлично знает, не раз мне помнится, говорил на проповеди: кто лезет в опасность, тот в ней и погибает. Поэтому не следует испытывать господа, пускаясь в безрассудные предприятия, в которых можно уцелеть только чудом: довольно с вас и того, что небо спасло вашу милость от подбрасыванья на одеяле, которому мне пришлось подвергнуться, и позволило вам выйти победителем, свободным и невредимым, из толпы неприятелей, сопровождавших покойника. Если же все это не трогает и не смягчает вашего сурового сердца, так пусть его тронет вот что: знайте и будьте уверены, что не успеете вы меня здесь оставить, как я от страха тут же отдам свою душу первому, кто только попросит. Я покинул родину, бросил жену и детей, чтобы служить вашей милости, надеясь на этом деле не потерять, а выиграть; но, как говорится, жадность рвет мешок: она сгубила все мои надежды, ибо в ту самую минуту, когда я особенно горячо надеялся получить проклятый, злополучный остров, который ваша милость столько раз мне обещала, вы вместо этого желаете бросить меня в этом месте, столь удаленном от всякого человеческого жилья. Во имя сажого бога, сеньор мой, не причиняйте мне такого огорчения; и раз ваша милость не согласна совсем отказать от этого предприятия, то отложите его хоть до утра. Ведь если только наука, которую я изучил, будучи пастухом, меня не обманывает, до рассвета остается не более трех часов, ибо пасть Малой Медведицы приходится

как раз над нашими головами, и по линии ее левой лапы видно, что теперь полночь.

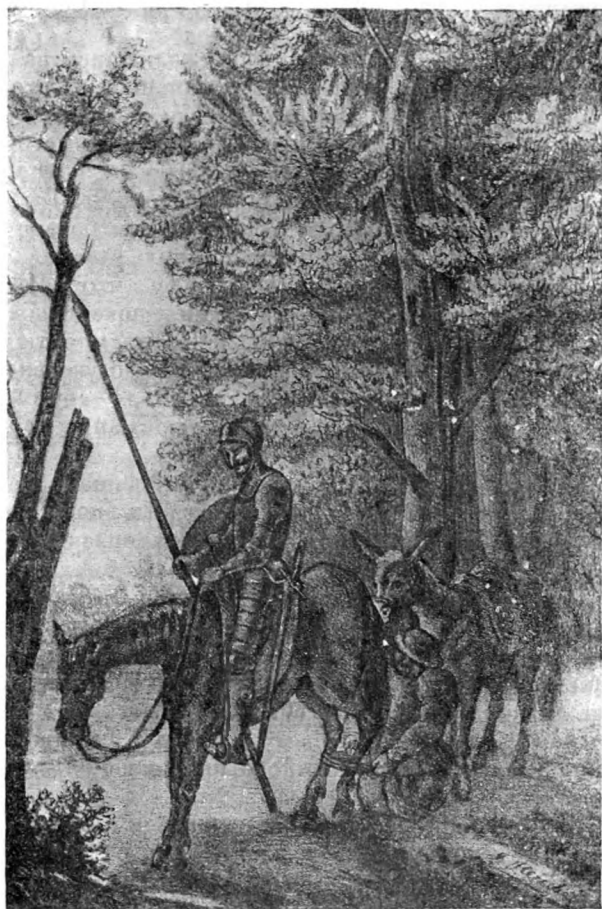
— Как ты можешь видеть, Санчо, — спросил дон Кихот, — где проходит эта линия и где находится пасть или затылок, о которых ты толкуешь? Ведь ночь так темна, что на небе нельзя разглядеть ни одной звезды.

— Это то верно, — ответил Санчо, — но у страха много глаз, и он видит то, что под землей, а тем более то, что на небе; а впрочем, здраво рассуждая, и без того ясно, что до рассвета недалеко.

— Пускай себе он наступает, когда ему вздумается, — ответил дон Кихот, — а только про меня ни сейчас, ни в будущем никто не скажет, что чьи либо слезы и мольбы удержали меня от исполнения рыцарского долга. И потому прошу тебя, Санчо, замолчи: господь, вложивший мне в сердце желание пуститься в это невиданное и страшное приключение, позаботится о моем здравии и утешит твою печаль. От тебя же требуется только, чтобы ты подтянул подпруги Росинанта и дожидался меня здесь; а я скоро вернусь, живой или мертвый.

Увидев, что решение его господина бесповоротно и что все его слезы, советы и мольбы бессильны, Санчо решил пуститься на хитрость и постараться задержать дон Кихота до утра. Поэтому, подтягивая подпруги Росинанта, он ловко и незаметно спутал его задние ноги уздечкой осла, таким образом, что когда дон Кихот вскочил на коня, он не мог сдвинуться с места, ибо Росинант передвигался только скачками.





Убедившись, что выдумка его удалась, Санчо Панса сказал:

— Вот видите, сеньор, небо, сжалившись над моими слезами и просьбами, устроило так, что Росинант не может двигаться; если же вы станете упорствовать, пришпоривать и бить его, то вы этим бросите вызов судьбе и будете, как говорится, лягать гвозди копытом.

Дон Кихот приходил в отчаянье: чем больше он шпорил коня, тем меньше ему удавалось сдвинуть его с места. Не догадываясь, что у Росинанта спутаны ноги, он решил покориться и дожидаться либо рассвета, либо той минуты, когда конь его тронется в путь. Твердо уверенный, что беда эта вызвана какой-то другой причиной, а отнюдь не хитростью Санчо, он сказал:

— Что же делать, Санчо! Раз Росинант не может двигаться, придется подождать, пока не засмеется на небе заря, хоть я и оплакиваю медленность ее прихода.

— Плакать тут нечего, — ответил Санчо, — я развлекаю вашу милость и до самого утра буду рассказывать вам всякие истории, если только вам не угодно спешиться и немножко вздремнуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей, чтобы, когда наступит день и час предстоящего вам несравненного приключения, вы почувствовали себя бодрее.

— Кому предлагаешь ты спешиться и вздремнуть? — возразил дон Кихот. — Неужели, ты думаешь, я из числа тех рыцарей, которые отдыхают во время опасности? Спи сам — ты для того родился, чтобы спать — или делай, что

тебе вздумается, а я буду делать то, что, на мой взгляд, более сообразуется с моим призыванием.

— Не гневайтесь, ваша милость, сеньор мой,— ответил Санчо,— я это только так, к слову сказал.

И, подойдя к своему господину, он положил одну руку на переднюю луку седла, другую на заднюю, и прижался к левому бедру дон Кихота, боясь отдалиться от него хотя бы на один палец: так устрашали его мерные удары, непрерывно до них доносившиеся. Дон Кихот попросил его исполнить обещание и рассказать ему для развлечения какую нибудь историю; на что Санчо Панса ответил, что он бы охотно это сделал, если бы его не пугал этот грохот.

— Но все же я постараюсь рассказать вам одну историю, и если только мне удастся ее кончить и никто мне не помешает, вы увидите, что лучшей истории нет на свете. Слушайте же внимательно, ваша милость, я начинаю. Итак, что было, то было; коль что доброе случится, пускай оно будет для всех, а коль злое что — для того, кто сам его ищет\*. И заметьте, ваша милость, сеньор мой, что древние начинали свои сказки не как попало, а непременно с изречения Катона Цонзорина римского\*, которое гласит: «А злое — для того, кто сам его ищет». Эти самые слова к нам подходят, как кольцо к пальцу: сидела бы ваша милость смирно и не бродила бы в поисках за злом! Не лучше ль нам вернуться по другой дороге, раз никто нас не заставляет идти именно по этой, где со всех сторон на нас лезут всякие ужасы?

— Продолжай свой рассказ, Санчо, — сказал, дон Кихот, — а по какой дороге нам ехать — это уж предоставь мне.

— Продолжаю, — отвечал Санчо. — Итак, в одном местечке Эстремадуры жил пастух коз, иначе говоря козопас, и этого пастуха коз, или козопаса, как рассказывается в моей истории, звали Лопе Руис, и этот самый Лопе Руис был влюблен в пастушку, которую звали Торральба, и эта пастушка по имени Торральба была дочерью одного богатого скотовода, а этот богатый скотовод...

— Если ты таким способом будешь рассказывать свою историю, Санчо, — перебил дон Кихот, — и повторять по два раза каждое слово, так ты ее в два дня не кончишь: рассказывай связно и толково, как разумный человек, а нет — так замолчи.

— Да я рассказываю точь в точь так, — ответил Санчо, — как рассказывают эти сказки у нас в деревне; иначе рассказывать я не умею, да вашей милости и не следует требовать, чтобы я вводил новые обычаи.

— Ну, рассказывай как умеешь, — сказал дон Кихот, — и продолжай, раз уж мне суждено тебя слушать.

— Так вот, дорогой сеньор мой, — продолжал Санчо, — этот пастух, как я уже вам докладывал, был влюблен в пастушку Торральбу, а была она девка дородная, строптивая и слегка похожая на мужчину, так как у нее росли усики, — как сейчас ее перед собой вижу.

— Да разве ты ее знал? — спросил дон Кихот.

— Я то ее не знал, — ответил Санчо, — но человек, который мне эту историю рассказывал, уверял, что все это быль и чистая правда, и что когда я стану рассказывать ее комунибудь другому, то могу свободно утверждать и клясться, что сам все видел собственными глазами. Так вот, время себе шло да шло, а дьявол, который, как известно, не дремлет и всюду пакостит, подстроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в лютую злобу и ненависть. Говорили злые языки, что случилось это потому, что она давала ему множество всяких поводов к ревности, не зная иной раз меры и преступая пределы дозволенного. И с этой поры пастух до того ее не взлюбил, что решил покинуть деревню, чтобы только она ему на глаза не попадалась, и удалиться в такие края, где бы и духу ее не было. А Торральба, как только заметила, что он ею брезгует, влюбилась в него так, как никогда раньше его не любила.

— Таково природное свойство женщин, — сказал дон Кихот: — отвергать тех, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай, Санчо.

— Случилось так, что пастух привел свое решение в действие и, забрав своих коз, отправился по полям Эстремадуры в сторону португальского королевства. Узнав об этом, Торральба устремилась за ним следом и долго шла так пешком, босая, с посохом в руках и с котомкой за плечами, а в котомке у нее, как говорят, был осколок зеркала, кусок гребня и баночка с какими то притираниями ну, да это не важно, что там было, я вовсе не собираюсь сейчас

все это проверять, а скажу только, что, как рассказывают, наш пастух вместе со своим стадом подошел к реке Гвадиане, — а в ту пору было половодье, и река почти выступила из берегов, и в том месте, куда он пришел, не было ни лодки, ни плота, и некому было переправить ни его, ни стадо. Сильно это его расстроило, так как он видел, что Торральба уже приближается и примется сейчас ему надоедать своими мольбами и слезами. Стал он поглядывать по сторонам и наконец завидел рыбака в такой маленькой лодочке, что поместиться в ней мог только один человек и одна коза. Делать однако было нечего: он поговорил с рыбаком и условился, что тот переправит и его и всех его триста коз. Рыбак сел в лодку и перевез одну козу, потом вернулся и перевез вторую, потом опять вернулся и перевез третью... Хорошенько считайте, ваша милость, сколько коз он перевез на другой берег, потому что, если вы хоть на одну ошибетесь, история моя тут же и кончится, и я уж больше не смогу прибавить ни слова. Итак, я продолжаю: противоположный берег был топкий и скользкий, так что на каждый переезд рыбаку приходилось тратить много времени. Он все таки перевез еще одну козу, потом еще одну, и еще одну...

— Скажи сразу, что он перевез их всех, — сказал дон Кихот, — и довольно тебе разъезжать с одного берега на другой, а то ты этак и в год их не переправишь.

— А сколько их было до сих пор переправлено? — спросил Санчо.

— А черт их знает, — ответил дон Кихот.

— Что я говорил, то и вышло: вот вы и сбились в счете. Видит бог, тут история моя кончена, и продолжения больше не будет.

— Да как же это возможно? — возразил дон Кихот. — Неужели это так важно для твоей истории, знать в точности, сколько коз было перевезено, и неужели, если при счете пропустишь хоть одну из них, то ты уж не можешь продолжать рассказа?

— Нет, сеньор, никоим образом, — ответил Санчо, — потому что в ту минуту, как я попросил вашу милость сказать мне, сколько коз было переправлено, а вы мне ответили, что не знаете, у меня сразу же вылетело из памяти все, что еще оставалось вам рассказать, — а, ей богу, продолжение было весьма интересное и занимательное.

— Значит, — спросил дон Кихот, история твоя кончилась?

— Да, скончалась как моя покойная матушка, — ответил Санчо.

— Скажу тебе по правде, — продолжал дон Кихот, — ты рассказал мне одну из самых необыкновенных сказок, повестей или историй, которые когда либо были придуманы на свете, и никто за всю свою жизнь не услышит и не сможет услышать повести, начатой и прерванной таким образом. Впрочем, я ничего другого и не ждал от твоего тонкого ума, и нисколько не удивляюсь: должно быть, эти непрерывные удары помutilи твой рассудок.

— Все может быть, — ответил Санчо. — Знаю только, что рассказу моему пришел конец, потому что он всегда кончается, как только кто нибудь собьется в счете перевезенных коз.

— Ну и пускай кончается, в добрый час, — сказал дон Кихот, — а теперь посмотрим, не согласится ли Росинант двинуться с места.

Он снова начал пришпоривать коня, но тот только брыкался, не двигаясь с места: так крепко были у него спутаны ноги.

И тут произошло следующее: оттого ли что на Санчо подействовал предрассветный холодок, или оттого, что он съел накануне чтонибудь ослабляющее, или же, наконец, он просто почувствовал естественную потребность (что, пожалуй, вернее всего), но только вдруг его охватило сильное желание сделать то, чего не мог сделать за него никто другой. Однако, столь великий страх владел его сердцем, что он не отваживался на шаг отойти от своего господина. А с другой стороны невозможно было и думать о том, чтобы не удовлетворить свое желание. И вот как он вышел из этого затруднения: он отнял правую руку, которой держался за заднюю луку седла, развязал ею потихоньку, без всякого шума, шнурок, на котором только и держались его штаны, после чего они сразу же упали ему на пятки и обхватили их как колодки; затем со всей возможной осторожностью поднял рубашку и выставил на воздух оба свои полушария, которые были не малого объема. Когда все это было проделано и Санчо казалось, что главная трудность им преодолена и что он уже почти выпутался из своего тяжкого и мучительного положения, явилось новое затруднение еще хуже: он стал опасаться, что ему не удастся проделать свое дело без шума и треска, и потому стиснула зубы, втянул голову в плечи и изо всех



сил старался удержать дыхание. Но несмотря на все эти старания, ему все-таки не повезло, и под конец он издал негромкий звук, нисколько не походивший на те звуки, которые приводили его в такой ужас. Услышав его, дон Кихот сказал:

— Что это за звук, Санчо?

— Не знаю, сеньор,—отвечал тот. — Должно быть, еще чтонибудь новенькое: ведь приключения и злоключения приходят все разом.

Затем он снова решил попытать счастье, и все обошлось так благополучно, что он без шума и новых тревог освободился наконец от тяжести, которая столь его угнетала. Но у дон Кихота обоняние было развито не менее чем слух, а Санчо стоял совсем рядом, словно пришитый к его боку, так что испарения снизу поднимались к нашему рыцарю почти по прямой линии; поэтому не могло не случиться, что кое что донеслось до носа дон Кихота, который почувствовав запах, поспешил себя защитить, зажав нос пальцами, и, немного гнусава, сказал Санчо:

— Сдается мне, Санчо, что ты сильно струсил.

— Что струсил—это верно,—ответил Санчо,—а только почему ваша милость заметила это сейчас, а не раньше?

— А потому, что никогда еще от тебя не пахло так сильно, как сейчас, и притом совсем не амброй,—ответил дон Кихот.

— Это вполне возможно,—сказал Санчо,—только виноват в этом не я, а ваша милость: зачем вы таскаете меня в неурочное время по непроезжим дорогам?

— Отойди ка в сторону, дружок, шага на три или на четыре,—сказал дон Кихот, все еще продолжая зажимать нос пальцами, — и впредь не распускайся и не забывай, что ты должен относиться ко мне с уважением; я слишком свободно с тобой разговариваю, и это толкает тебя на непочтительность.

— Бьюсь об заклад, — воскликнул Санчо, — ваша милость думает, что я сделал кое что такое, чего делать не полагается!

— Лучше не трогать того, что ты наделал, друг Санчо,—ответил дон Кихот.

В этих и подобных беседах господин и слуга скоротали ночь; и когда Санчо увидел, что вот наступит день, он украдкой распутал Росинанту ноги и завязал себе штаны. Хоть Росинант по природе своей никогда не был прытким конем, но тут, почувяв себя свободным, он как будто обрадовался и задергал головой: курбетов он не делал, ибо, не в обиду ему будь сказано, делать их не умел. А дон Кихот, увидя, что Росинант зашевелился, счел это добрым предзнаменованием и решил, что оно призывает его на свершение грозного подвига. Тем временем совсем рассвело, и когда все вокруг стало ясно видно, дон Кихот убедился, что находится под высокими каштанами, которые отбрасывают очень густую тень. Он слышал, что удары все еще не прекращаются, но откуда они исходят, ему не было видно,—и поэтому, не медля долее, он вонзил шпоры в бока Росинанта и, вторично пропродавшись с Санчо, как и в первый раз, велел ему ждать его самое большее три дня; если же через три дня он не вернется, то это



должно означать, что богу было угодно пресечь его дни в этом опасном приключении. Затем он повторил Санчо то, что тот должен доложить и сообщить от его имени сеньоре Дульсинее, и просил его не беспокоиться относительно вознаграждения за труды, ибо перед отъездом из дома он составил свое завещание, согласно которому Санчо будет сполна уплачено жалованье за все прослуженное им время; если же господь сохранит его среди опасностей здоровым, целым и невредимым, Санчо может считать получение обещанного ему острова вполне обеспеченным. Услышав снова жалостные речи своего доброго господина, Санчо снова заплакал и решил не покидать его до самого конца и завершения его предприятия. (Из этих слез и столь великодушного решения Санчо Пансы автор этой истории заключает, что был он не низкого происхождения и уж во всяком случае принадлежал к старинному христианскому роду.)

Сочувствие Санчо весьма растрогало его господина, но все же не настолько, чтобы заставить его проявить какую нибудь слабость духа; напротив, он сделал усилие, чтобы скрыть свое душевное состояние, и направился в ту сторону, откуда, как ему казалось, доносились звуки ударов и грохот потока. Санчо следовал за ним пешком, по обыкновению таща на уздечке за собой осла—вечного своего спутника в счастье и в горе. Пройдя порядочное расстояние под тенью каштанов и других развесистых деревьев, они вышли на лужок, расположенный у подножья высоких скал, с вершины которых низвергался громадный водопад. Под этими скалами

находилось несколько убогих хижин, которые походили не столько на дома, сколько на развалины каких то построек,—и теперь стало ясно, что шум и гул все еще не прекращавшихся ударов исходили именно оттуда. Росинант испугался грохота водопада и ударов, но дон Кихот, успокоив его, стал понемногу приближаться к хижинам, от всего сердца поручив себя своей госпоже, с мольбою поддержать его в этом грозном предприятии, а попутно попросив также господа бога не забыть его. Санчо не отставал от него, изо всех сил вытягивая шею и вглядываясь через ноги Росинанта, в надежде увидеть наконец то, что внушало ему такой страх и трепет. Они прошли шагов сто, обогнули выступ скалы, и тут внезапно открылась им воочию причина того жуткого и устрашающего шума, который всю ночь держал их в страхе и тревоге: это было нечто иное (не сердись и не обижайся, читатель!), как шесть молотов сукновальщи, которые своими попеременными ударами производили этот грохот.

Увидев это, дон Кихот, онемел и окаменел с головы до пят. Санчо взглянул на него и увидел, что господин его понурил голову с видом крайне смущенным, а дон Кихот в свою очередь взглянул на Санчо и увидел, что щеки у него надуты, что его душит смех и что по всем признакам он готов лопнуть от хохота. Как ни сильна была его меланхолия, посмотрев на Санчо, он рассмеялся; а Санчо, как только увидел, что господин его смеется, разразился таким хохотом, что ему пришлось подпереть бока кулаками, чтобы от смеха не треснуть пополам. Раза че-

тыре он успокаивался и снова принимался хохотать с немальшим увлечением, так что дон Кихот готов был послать себя ко всем чертям; но еще пуще рассердился он, когда Санчо в насмешку заговорил:

— Ты должен знать, друг Санчо, что небу было угодно произвести меня на свет в наш железный век, чтобы я воскресил в нем век золоченый или золотой. Я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги...

И, продолжая в таком роде, Санчо повторил почти всю речь, которую произнес дон Кихот, когда впервые услышали они эти страшные удары. Видя, что Санчо над ним издевается, дон Кихот обиделся и так рассердился, что поднял свое копьцо и раза два со всего размаха ударил беднягу по спине: если бы удары эти припились Санчо не по спине, а по голове, дон Кихот мог бы более не беспокоиться об уплате ему жалованья, разве только он захотел бы выплатить его наследникам. Но тут Санчо, увидев, что шутки его ни к чему хорошему не ведут, и испугавшись, как бы его господин не продолжил начатого, сказал с великим смирением:

— Успокойтесь, ваша милость: клянусь богом, я только пошутил.

— Потому то я и не шучу, что вы шутите\*,— ответил дон Кихот.—Подойдите ка сюда, господин шутник. Если бы вместо валяльных молотов перед нами оказалось какое нибудь другое опасное приключение—неужели вам кажется, что я не проявил бы достаточно мужества, чтобы начать и закончить это дело? Неужели я рыцарь,

обязан разбираться в звуках и определять, валяльные это молоты или что другое? Тем более, что, говоря по правде, я в жизни своей никогда их не видывал, тогда как вы, презренный мужичина, родились и выросли среди подобных предметов. Нет, вы лучше сделайте так, чтобы эти шесть молотов превратились в шесть великанов и чтобы они по очереди или вместе полезли прямо на меня: если они не полетят вверх тор-машками на воздух—вот тогда издевайтесь надо мной, сколько вам захочется.

— Полноте, сеньор мой, — сказал Санчо, — каюсь, что, желая пошутить, я хватил через край. Ну, а теперь, когда мы помирились (и дай бог, чтобы из всех будущих приключений вы вышли столь же здоровым и невредимым, как вышли из этого), скажите мне, ваша милость: разве это не смешно и разве не стоит потом рассказывать, как здорово мы с вами перетрусили? По крайней мере, как перетрусил я,—что же касается вашей милости, то ведь мне известно, что вы не знаете и не понимаете, что это за штука—страх и боязнь.

— Я вовсе не отрицаю, — ответил дон Кихот, — что случившееся с нами достойно смеха; но рассказывать об этом отнюдь не следует, ибо не все люди достаточно умны, чтобы понять вещи правильно.

— Во всяком случае, — ответил Санчо, — копьем ваша милость действует правильно: вы целили мне в голову и попали в спину только благодаря господу богу и ловкости, с которой мне удалось отскочить в сторону. Ну, да ладно, при стирке все это смывается, — недаром говорит по-

словица: кто крепко любит, тот крепко бьет. А знатные сеньоры, как только обругают слугу, тотчас же жалуют ему новые штаны; вот только не знаю, что жалуют своим слугам странствующие рыцари, после того как они их отлучают: уж не следуют ли у них за ударами острова или какиенибудь королевства на суше?

— Что ж, судьба может повернуть дело так, что все твои слова окажутся чистой правдой,—сказал дон Кихот.—Прости мне то, что случилось, ибо ты человек рассудительный и знаешь, что мы не властны в наших первых движениях. А на будущее время это тебе будет предупреждением: остерегайся и воздерживайся от излишних разговоров со мной,—ибо, хоть я прочел несметное количество рыцарских романов, ни в одном из них я не встречал, чтобы оруженосец так много разговаривал со своим господином, как ты со мной. И право, я считаю, что в этом мы оба сильно виноваты: ты виноват в том, что недостаточно меня уважаешь, а я в том, что не требую от тебя большего почтения. Например, Гандалин, оруженосец Амадиса Галльского, хоть и был он графом Сухопутного острова\*, а если верить истории, разговаривал со своим господином не иначе, как склонив голову, держа шапку в руках и согнувшись вдвое *more turquesco*\*. А о Гасабале, оруженосце дон Галаора, и говорить не приходится: он был так молчалив, что автор этой великой и истинной истории только один раз называет его по имени, и то только с целью отметить его удивительную добродетель—молчаливость. Из всего, что я тебе сказал, Санчо, ты должен сделать вывод: надо пом-



нить разницу между господином и слугой, сеньором и холопом, рыцарем и оруженосцем. А потому, начиная с нынешнего дня мы будем относиться друг к другу с бóльшим уважением и оставим всякие дурачества, ибо если вы чемнибудь рассердите меня, то только сами от этого пострадаете, как глиняный горшок в басне. А обещанные милости и награды придут в свое время, а не придут, так все равно, жалованья вы во всяком случае не потеряете, я уже не раз вам это говорил.

— Все это прекрасно, ваша милость,—сказал Санчо.—Но мне хотелось бы знать (ежели по-чему либо время для награды так таки и не наступит и придется мне удовольствоваться одним жалованьем), какое жалованье в старые времена получали оруженосцы странствующих рыцарей и как они нанимались—помесячно или подневно, вроде подмастерьев-каменщиков?

— Мне кажется, — ответил дон Кихот, — что в те времена оруженосцы никогда не состояли на жалованье, а только получали подарки. И если я упомянул тебя в завещании, которое оставил дома под печатью, так это только потому, что все может случиться: я ведь еще не знаю, какая судьба ждет рыцаря в наши бедственные времена, и мне бы не хотелось, чтобы из за какойнибудь мелочи душа моя мучилась на том свете. Ибо тебе следует знать, Санчо, что на этом свете нет занятия более опасного, чем поиски приключений.

— Это истинная правда, — ответил Санчо, — раз достаточно было одного стука валяльных молотов, чтобы смутить и встревожить сердце

столь доблестного странствующего рыцаря, как ваша милость. Но вы можете быть вполне уверены, что уж впредь я рта не раскрою, чтобы шутить над вашей милостью, и всегда буду почитать вас, как своего природного господина и сеньора.

— И благо тебе будет,—ответил дон Кихот,— жить на земле, ибо после отца и матери надо почитать своих господ, как если бы они были родителями.

## ГЛАВА XXI

*в которой рассказывается о великом приключении и завоевании драгоценного шлема Мамбрин, равно как и о других происшествиях, случившихся с нашим непобедимым рыцарем.*



ут начал накрапывать дождь, и Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни; но после насмешек своего оруженосца дон Кихот до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому он свернул направо и выехал на дорогу, похожую на ту, по которой они странствовали накануне. Вскоре дон Кихот увидел вдали всадника, на голове которого был какой то предмет, сверкавший как золото; едва завидев его, он обратился к Санчо и сказал:

— Мне кажется, Санчо, что в каждой пословице есть правда, ибо все эти изречения извлечены из самого опыта—матери всех наук; особенно же справедлива пословица, гласящая: одна дверь захлопнулась, другая открылась. Говорю я это вот к чему: вчера судьба закрыла перед нами дверь к приключению, которого мы искали,

и обманула нас сукновальной, а сегодня она настезь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому и более верному приключению. Если мне не удастся войти в эту дверь, я сам буду виноват, и уж тогда мне нельзя будет оправдываться незнанием звуков молотов и темнотой ночи. Говорю я это к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам едет человек, у которого на голове шлем Мамбрина, тот самый, который, как ты знаешь, я поклялся раздобыть.

— Подумайте, ваша милость, что вы говорите, — ответил Санчо, — а еще больше, что вы делаете! Как бы не оказалось это второй сукновальной, не отваляло бы нас в конец и не отшибло бы нам памороки.

— Чорт тебя побери, — вскричал дон Кихот, — что общего между шлемом и сукновальной?

— Да уж не знаю, — ответил Санчо, — но право, если бы я мог говорить так же свободно, как говорил раньше, я бы наверное привел вашей милости такие доводы, которые убедили бы вас в том, что вы ошибаетесь.

— Да как же я могу ошибаться, трус и предатель? — возразил дон Кихот. — Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади и что на голове у него золотой шлем?

— Я вижу и примечаю, — ответил Санчо, — что едет какой-то человек на осле; осел его такой же серой масти, как и мой, а на голове у всадника что то блестящее.

— Но ведь это и есть шлем Мамбрина, — сказал дон Кихот. — Отойди ка в сторону и оставь меня с ним с глазу на глаз: ты увидишь, как

без лишних слов и не теряя времени я совершу этот подвиг, и шлем, который я так желал иметь, окажется в моих руках.

— Отъехать то мне не трудно, — ответил Санчо, — а только повторяю: дай бог, чтоб это оказалось цветочками майорана, а не валяльными молотами.

— Говорил я вам, братец, чтоб вы не смели ни одним словом напоминать мне об этих молотах, — перебил его дон Кихот, — не то, разрази меня... не хочу только договаривать, — я из вас всю душу вымолочу.

Санчо замолчал, опасаясь, как бы его господин не привел в исполнение клятву, которая слетела с его уст, как легкое перышко.

А теперь следует рассказать, что это были за шлем, лошадь и всадник, замеченные дон Кихотом. В этом округе было два села, и одно из них такое маленькое, что в нем не существовало ни аптеки, ни дырюльника, а в другом, расположенном по соседству, имелось и то и другое: и вот, дырюльник из села побольше обслуживал и село поменьше, в котором как раз в это время одному жителю понадобилось побриться, а другому, больному, пустить себе кровь. За этим-то и ехал дырюльник, и он вез с собой медный таз, а так как судьбе было угодно, чтобы в пути застиг его дождь, то, не желая, чтобы промокла его шляпа (должно быть, она у него была новенькая), он надел себе на голову таз, который был так старательно вычищен, что блеск его виден был за пол мили. Ехал он на сером осле, как правильно заметил Санчо, — а дон Кихоту сразу почудились и серый

в яблоках конь, и рыцарь, и золотой шлем, ибо все, что ему попадалось на глаза, он немедленно принаравливал к своим рыцарским бредням и нелепым фантазиям. Увидев, что бедный всадник уже совсем близко, дон Кихот, не считая нужным вступать с ним в разговор, со всей быстротой, на какую был способен Росинант, устремился прямо на него с копьем на перевес, намереваясь проткнуть его насквозь. Подскакав к нему, наш рыцарь, не умеряя галопа своего коня, закричал:

— Защищайся, жалкое созданье, или добровольно отдай мне то, что по праву должно мне принадлежать!

Увидев, что на него неожиданно-негадано налетело какое-то привиденье, цырюльник, чтобы уберечься от удара, не нашел ничего лучшего, как шлепнуться с осла наземь; и едва коснувшись земли, он тотчас же с резвостью оленя вскочил на ноги и с таким проворством стал улепетывать по равнине, что и ветер бы его не догнал. Так как таз валялся на земле, дон Кихот этим удовольствовался и сказал, что язычник поступил благоразумно, последовав примеру бобра, который, настигнутый охотниками, отрывает от себя и отгрызает зубами то самое, из за чего, как подсказывает ему чутье, его преследуют. Дон Кихот велел Санчо подобрать шлем, и тот, взяв его в руки, сказал:

— А тазик, ей богу, недурен: восемь реалов нужно за него заплатить — все до последнего гроша.

Затем он передал его своему господину, который немедленно надел его на голову и стал поворачи-

чивать во все стороны, ища забрала. Так и не найдя его, он наконец сказал:

— Должно быть, у язычника, по мерке которого был впервые выкован этот знаменитый шишак, была громаднейшая голова, а хуже всего то, что у этого шлема не хватает половины.

Когда Санчо услышал, что бритвенный таз именуется шишаком, он не мог удержаться от смеха, но тут он вспомнил, как недавно господин его разгневался, и сразу же сдержал свое веселье.

— Ты чему смеешься, Санчо?—спросил дон Кихот.

— Я смеюсь,—ответил Санчо,—думая о том, какая громадная должна была быть голова у язычника, которому принадлежал этот шлем: ведь он как две капли воды похож на бритвенный таз.

— Знаешь ли, что мне пришло на мысль, Санчо? Этот знаменитый волшебный шлем, должно быть, по необыкновенной случайности, побывал в руках человека, который его не знал и не мог оценить по достоинству, — и вот он, видя, что шлем этот из чистейшего золота и не ведая, что творит, расплавил половину его, чтобы на этом поживиться, а из другой половины смастерил то, что по твоим словам тебе представляется бритвенным тазом. Ну, да все равно: как бы там ни было, я то знаю, что это такое, и для меня его превращение не имеет важности. В первом же селе, где найдется кузница, мы его перекуем, и тогда шлем, сделанный и выкованный богом кузнецов для бога битв, не только не будет иметь перед ним преимущества, но даже не сравнится с ним. А до тех пор я буду носить

его хоть в таком виде, ибо все же лучше чтонибудь, чем ничего, тем более, что он вполне может меня защитить от града камней.

— Да, конечно,—ответил Санчо,—если только враги не будут метать камни из пращей, как было это в тот раз, при столкновении двух войск, когда они вышибли у вашей милости зубы и разбили жестянку с благословеннейшим питьем, от которого у меня чуть не вырвало все внутренности.

— Я не особенно огорчен его потерей,—ответил дон Кихот:—ты ведь знаешь, Санчо, что рецепт его я помню наизусть.

— Да и я помню,—ответил Санчо.—Но провались я на этом самом месте, если хоть раз в своей жизни стану его готовить или пробовать. Да к тому же я не думаю, чтобы у меня когданибудь явилась в нем надобность, так как я постараюсь наперечь все свои пять чувств, чтобы никогда никого не ранить и не быть раненым. А насчет того, что меня могут еще раз покачать на одеяле, зарекаться не стану: подобные несчастья едва ли можно предупредить, и, когда они случаются, ничего не остается, как втянуть голову в плечи, задержать дыхание, зажмурить глаза и предаться на волю судьбы и одеяла.

— Ты плохой христианин, Санчо,—ответил на это дон Кихот,—ибо никогда не забываешь обид, которые тебе раз нанесли. Знай, что благородные и великодушные сердца не обращают внимания на пустяки. Разве ты охромел после этого? Или тебе сломали ребро, или проломили голову? Так почему же ты не можешь забыть



этой шутки? Ведь в конце концов это была шутка и забава, и если бы я смотрел на это дело иначе, я бы уж наверное туда вернулся и, мстя за тебя, наделал бы таких разрушений, каких не учинили греки из-за похищения Елены. Впрочем, если бы Елена жила в наше время или моя Дульсинея во времена Трои, то этой гречанке наверное не так легко было бы прославиться своей красотой.

Тут он поднял голову к небу и испустил глубокий вздох. А Санчо сказал:

— Ладно, пусть это будет шуткой, раз мы не можем отомстить по настоящему, — хоть я и хорошо знаю, какова была эта шутка на деле, как и то знаю, что никогда она у меня не выйдет из памяти, да и спина моя ее не забудет. Ну, да оставим это, а лучше вот что вы мне скажите, ваша милость: что нам делать с этой серой в яблоках лошадю, смахивающей на серого осла, и покинутой здесь без призора молодцом, сброшенным наземь вашей милостью? Судя по тому, что он задал тягу не хуже самого Вильядьего\*, навряд ли он вернется сюда за своей скотиной. А, клянусь бородой, серый не плох!

— Не в моих правилах, — ответил дон Кихот, — грабить побежденных мною врагов, да и рыцарский обычай запрещает отнимать у неприятеля коня и заставлять его идти пешком. И только в том случае, если победитель во время боя потеряет своего коня, ему дозволяется воспользоваться конем побежденного, как законной военной добычей. Поэтому, Санчо, оставь этого коня или осла (как тебе будет угодно), ибо,

когда хозяин его увидит, что мы удалились, он вернется и заберет его.

— Богу известно,—сказал Санчо,—как бы мне хотелось взять его себе или, по крайней мере, обменять его на моего: мой то ведь будет похуже. Очень уж стеснительны рыцарские законы, раз они даже не позволяют одного осла обменять на другого. Ну, а позвольте узнать: сбрую обменять можно?

— Насчет этого я не вполне уверен,—ответил дон Кихот. — Тут случай сомнительный, а пока я наведу справки, я позволяю тебе обменять, раз у тебя в том крайняя необходимость.

— Уж такая крайняя,—ответил Санчо,—что, будь эта сбруя для меня самого, то и тогда бы я в ней так не нуждался.

И, получив от своего господина разрешение, он тотчас же произвел *mutatio capparum*\*, разукрасив своего осла так, что тот оказался писанным красавцем. Покончив с этим, они позавтракали остатками припасов, захваченных Санчо в обозе ночной процессии, и напились воды из ручья, протекавшего мимо сукновальни, в сторону которой они не поворачивали и головы: так возненавидели они эту сукновальню за то, что она их ночью напугала.

Когда же наконец рассеялась их меланхолия и прошел гнев, сели они верхом и без определенной дороги (ибо ехать куда глаза глядят— вполне в обычае странствующих рыцарей) двинулись в том направлении, какое избрал Росинант, воле которого подчинилась не только воля его хозяина, но и осла, по братски и по при-

ятельски всюду шедшему за ним следом. Наконец им удалось выбраться на проезжую дорогу, по которой они и продолжали путь наугад, без определенной цели. И вот, путешествуя таким образом, Санчо сказал своему господину:

— Ваша милость, не соблаговолите ли вы дать мне разрешение немного с вами поговорить? С тех пор как вы наложили на меня этот суровый искус молчания, у меня уже прокисло в желудке по крайней мере четыре вопроса, а теперь пятый вертится на кончике языка, и мне бы не хотелось, чтобы и он тоже пропал.

— Ну, говори,—ответил дон Кихот,—только в речах своих будь краток, ибо многословие всегда неприятно.

— Я хотел сказать, сеньор,—начал Санчо,—что вот уже несколько дней я думаю о том, как мало проку и прибыли принесли нам эти странствия. Ваша милость ищет приключений на перекрестках дорог и в местах пустынных; где всех ваших побед и опасных подвигов все равно никто не увидит и не отметит: так они и останутся похороненными в вечном забвении, в великий ущерб и их высокому достоинству и благим намерениям вашей милости. А потому, сдастся мне, было бы лучше,—разве что только ваша милость рассудит иначе,—если бы мы поступили на службу к какомунибудь императору или другому великому государю, который ведет с кемнибудь войну; тут то ваша милость и могла бы обнаружить все свои достоинства—великую силу и еще более великий разум. А когда государь, которому мы будем служить, увидит это, он, конечно, обоих нас вознаградит, каждого по его за-

слугам, и уж конечно найдется там и историк, который запишет на бумаге все деянья вашей милости, чтобы память о них сохранилась вечно. О своих деяниях я не говорю, ибо они никогда не выйдут за пределы должности оруженосца; хотя, должен вам сказать, что ежели бы существовал такой рыцарский обычай записывать подвиги оруженосцев, так, смею вас уверить, и мои заняли бы не последнее место.

— Ты рассуждаешь не плохо, Санчо, — ответил дон Кихот. — Но прежде чем попасть на такую службу, рыцарь должен, в виде испытания, постранствовать по свету в поисках приключений, для того чтобы, отличившись в этом деле, снискать себе известность и славу, так чтобы этого рыцаря все знали по его делам. И вот, как только прибудет он ко двору какого нибудь великого монарха и мальчишки увидят, что он въезжает в ворота, — тотчас же все соберутся, окружают его и начнут кричать: «Вот — Рыцарь Солнца, или Рыцарь Змеи», — называя его тем отличительным именем, которое он уже прославил своими великими деяниями. «Вот тот», скажут они, «кто победил в поединке могучего и страшного великана Брокабуна, вот тот, кто рассеял ужасные чары, под властью которых Великий Мамелюк Персии томился целых девятьсот лет». Так, из уст в уста, разнесется молва о его славных подвигах. — И вот, на крик мальчишек и всего своего народа, король этого королевства выглянет из окна своего королевского дворца и, увидев нашего рыцаря, тотчас же узнает его по доспехам или по девизу на щите и непременно скажет: «Эй вы, мои придворные

рыцари. выходите все встречать цвет рыцарства, явившийся к нам». Тут по его приказу все они выйдут, а сам он спустится до середины лестницы, крепко обнимет гостя и, приветствуя, поцелует его в лицо, а потом за руку отведет в покои сеньоры королевы, и наш рыцарь увидит ее сидящей рядом с дочерью — инфантой, а эта последняя окажется одной из самых прекрасных и благонравных девиц, какую только можно найти во всех открытых доселе странах мира. И тут же немедленно случится, что она посмотрит на рыцаря, рыцарь на нее, и обоим им покажется, что перед ними существо не земное, а небесное, и неизвестно как и почему оба они попадут и запутаются в безвыходные и любовные сети и почувствуют в сердцах своих великую тревогу, — не будут знать, что сказать, чтобы открыть друг другу свои чувства и муки. А затем, конечно, рыцари проведут в какой нибудь роскошно убранной покой во дворце и там, сняв с него доспехи, набросят ему на плечи богатую пурпурную мантию; и если в полном вооружении он был хорош собой, то в этом наряде он покажется еще лучше. Когда наступит вечер, он сядет ужинать с королем, королевой и инфантой, и будет глядеть на нее не отрываясь, тайком от всех присутствующих, и она будет делать то же самое, с такой же осмотрительностью, ибо, как я уже сказал, девица она весьма разумная. А когда все встанут от стола, вдруг неожиданно в двери залы войдет безобразный маленький карлик, а за ним прекрасная дама в сопровождении двух великанов, и она предложит испытание, выдуман-

ное какимнибудь древним мудрецом: тот, кто на него отважится, будет почитаться лучшим рыцарем на свете.

Тотчас же король предложит всем своим придворным попытать счастья, но они все потерпят полное поражение, и один наш рыцарь выйдет из него с великой честью и славой, что весьма обрадует инфанту, и она будет вполне удовлетворена и рада, что отдала и подарила свои чувства такому достойному лицу. А самое замечательное в этой истории то, что этот король или принц, или кто бы он там ни был, ведет жесточайшую войну с другим, не менее могущественным монархом, и гостящий у него рыцарь, проведя при его дворе несколько дней, попросит разрешения послужить ему на этой войне. Король разрешит ему очень охотно, и рыцарь учтиво поцелует ему руку за оказанную милость. В ту же ночь он будет прощаться со своей дамой инфантой через решетку сада, в который выходят окна ее опочивальни: через эту решетку они уже и раньше много раз беседовали, с ведома и при содействии служанки, которой инфанта вполне доверяет. Он станет вздыхать, она упадет в обморок, служанка принесет воды и будет тревожиться, ибо уже близко утро и честь ее госпожи пострадает, если они будут застигнуты. Наконец инфанта придет в себя и через решетку протянет свои белые руки рыцарю, а он станет целовать их тысячи раз и орошать слезами. Они условятся между собой, как им сообщать друг другу о том, что случится хорошего или плохого, и принцесса станет просить его возвратиться как можно скорее; он



клятвою ей это пообещает и снова примется целовать ей руки, и расстанется с ней так трогательно, что будет казаться, что он расстанется с жизнью. Потом он пойдет к себе в комнату, бросится на постель и не сможет заснуть от горя разлуки; встанет чуть свет, отправится прощаться с королем, королевой и инфантой, а когда он попрощается с первыми двумя, ему сообщат, что сеньора принцесса плохо себя чувствует и не может принять его. Рыцарь догадается, что причиной тому—скорбь разлуки; сердце его будет разрываться, и он сделает большое усилие, чтобы не выразить явно свою муку... А служанка-наперсница видит все это и бежит рассказать своей госпоже; та встречает ее вся в слезах и говорит, как мучительно ей не знать, кто такой ее рыцарь и королевского ли он рода или нет. Служанка уверяет ее, что только человек знатного, королевского рода может обладать такой учтивостью, благородством и доблестью, какими обладает этот рыцарь. Опечаленная принцесса успокаивается и решает утешиться, чтобы не вызвать подозрений у родителей—и потому через два дня снова появляется на людях. А тем временем рыцарь уже уехал; он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает множество городов, выходит с триумфом из множества битв, возвращается ко двору, встречается в условленном месте со своей повелительницей и сговаривается с ней о том, что он попросит ее руки в награду за свою службу. Король не соглашается на его просьбу, так как не знает, кто он такой; но, несмотря на это, с помощью похищения или другим каким способом рыцарь



женится на инфанте, и король впоследствии почигает это великим для себя счастьем, так как узнает, что рыцарь этот — сын могущественного короля, а какого королевства — я не знаю, ибо полагаю, что его нет на карте. Король умирает, инфанта ему наследует, — и вот, коротко говоря, рыцарь становится королем. Тут то и наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, помогавших ему достичь столь высокого положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, скорей всего на той самой, которая была посредницей в их любовных делах, — и она оказывается дочерью могущественного герцога.

— Этого то мне и надо, скажу прямо, на чистоту! — воскликнул Санчо. — И я уверен, что все так и произойдет, слово в слово, раз ваша милость зовется Рыцарем Печального Образа...

— Можешь в этом не сомневаться, Санчо, — ответил дон Кихот, — ибо странствующие рыцари восходят и восходили на королевский или императорский престол именно тем способом и по тем ступеням, как я тебе рассказал. Теперь нам остается только разузнать, какой христианский или языческий король ведет войну и имеет красавицу дочь. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я тебе сказал, прежде чем отправиться ко двору, мы должны прославиться в других местах. Однако, мне еще кое чего недостает; ибо, допустив даже, что найдется король, ведущий войну и имеющий красивую дочь, и допустив, что я приобрел невероятную славу во всей вселенной, — как устроить, чтобы я оказался происходящим из королевского рода

или был, по крайней мере, троюродным братом императора? Ведь король не пожелает выдать за меня свою дочь, прежде чем в этом не удостоверится, хотя бы мои славные подвиги заслуживали и большего; и вот, я боюсь, как бы из-за этого недостатка мне не потерять награды, заслуженной доблестью моей руки. Правда, я—из старинного и известного дворянского рода, имею землю и владение, и могу за обиды требовать пятьсот суэльд<sup>о</sup>, и возможно даже, что мудрец, который напишет мою историю, так подробно установит мое родство и происхождение, что я окажусь внуком короля в пятом или шестом колене. Ибо, должен тебе сказать, Санчо, что знатность на свете приобретается двояким путем: одни ведут и числят свое происхождение от князей и монархов, фамилии которых с течением времени пришли в упадок и сузились, на подобие опрокинутой пирамиды; другие же происходят из низкого рода, потомки которого, поднимаясь со ступени на ступень, сделались наконец знатными сеньорами. Таким образом, разница между ними та, что одни уже перестали быть тем, кем были, а другие стали тем, кем никогда не были; и очень возможно, что по проверке окажется, что начало моего рода было великое и славное, и тогда, кто бы ни был король, мой будущий тесть, он вполне этим удовлетворится. А если не удовлетворится, то, все равно, инфанта полюбит меня так сильно, что наперекор воле отца и хотя бы ей было доподлинно известно, что я сын водовоза, она признает меня своим супругом и господином; а если нет, тогда у меня остается

еще одно средство: похитить ее и увести куда мне вздумается,—а уж там время или смерть положат конец гневу ее родителей.

— Тут будет кстати вспомнить, — сказал Санчо, — поговорку людей бессовестных: «не проси добром того, что можешь взять силой», хотя еще больше подойдет здесь другая: «лучше перепрыгнуть через забор, чем кланяться попусту». Говорю я это к тому, что ежели сеньор король, тесть вашей милости, не согласится выдать за вас сеньору инфанту, то нам, как говорит ваша милость, ничего другого не останется, как похитить ее и увести. Одно только горе: ведь пока вы не помиритесь с королем и не вступите в мирное владение своим королевством, бедному оруженосцу придется только зубы точить на награды, разве только что служанка-посредница, на которой он женится, последует за инфантой, и в ее обществе он скротаает это печальное время, пока господь не пошлет ему чего нибудь лучшего; потому что, думается мне, рыцарь может отдать ему эту девицу в законные супруги нимало не медля.

— А кто ж ему помешает?—сказал дон Кихот.

— Раз так,—ответил Санчо,—то нам остается только поручить себя господу богу и довериться судьбе, а уж она поведет нас по верной дороге.

— Господь да исполнит мое желание и да удовлетворит твои нужды, Санчо,—сказал дон Кихот.—А кто хочет быть ничтожеством, пусть им и остается.

— Дай то бог, — сказал Санчо. — Я старый христианин, и чтобы сделаться графом, мне этого достаточно.

— Этого даже слишком много,—сказал дон Кихот.—Если бы ты и не был старым христианином, то и это не важно: ведь как только я сделаюсь королем, я возведу тебя в дворянство,—и тебе за это не придется ни платить, ни служить мне. А стал ты графом—вот ты уже и рыцарь, и пускай себе люди говорят что им угодно, а всяк должен, хочет или не хочет, величать тебя сеньором.

— А что же вы думаете, я не сумею носить титул?—спросил Санчо.

— Ты хочешь сказать *титул*, а не *капитул*?—заметил дон Кихот.

— Пускай так,—сказал Санчо Панса.—Думаю, что я с ним справлюсь: я уже раз в своей жизни состоял некоторое время сторожем в одном братстве, и платье сторожа было мне так к лицу, что все говорили, что с моей представительностью мне не трудно сделаться и синдиком братства. А то ли будет, как накинута я себе на плечи герцогскую мантию и украшусь золотом и жемчугом, на манер иностранного графа? Да я уверен, что со ста миль в округе будут съезжаться, чтобы посмотреть на меня.

— Да, вид у тебя будет отличный,—сказал дон Кихот,—но только придется тебе частенько брить бороду: очень уж она у тебя густая, всклокоченная и нечесанная, и если ты не будешь скоблить ее бритвой по крайней мере через день, всякий увидит твое происхождение с расстояния мушкетного выстрела.

— За этим дело не станет,—ответил Санчо,—стоит только нанять цырюльника и держать его при себе на жалованьи; а понадобится, так я велю ему ходить за мной по пятам, как конюшие ходят за гравдами.

— А ты откуда знаешь, что за грандами ходят конюшие?

— Я сейчас вам скажу,— ответил Санчо.— Несколько лет тому назад я пробыл с месяц в столице, и там видел я одного сеньора очень маленького роста\*, хоть и говорили про него, что он очень большой барин. Он постоянно гулял, а за ним, куда бы он ни повернулся, ехал на лошади какой-то человек—ну точь в точь как его собственный хвост. Я спросил, почему этот человек никогда не поровняется с тем, а постоянно держится позади него. Мне ответили, что человек верхом—конюший того, что гуляет, и что у грандов такое обыкновение, чтобы их всюду сопровождали конюшие; с той поры я так это крепко запомнил, что уж никогда больше не забывал.

— Да, ты прав,—сказал дон Кихот,— и ты вполне можешь водить с собой цырюльника. Обычай не сложились все сразу и не были придуманы одновременно, а потому вполне допустимо, что ты будешь первым графом, разгуливающим в сопровождении своего цырюльника; к тому же, брадобрей—лицо более доверенное, чем человек, седлающий лошадь.

— О цырюльнике я сам позабочусь,—сказал Санчо,—а уж вы, ваша милость, позаботьтесь, чтобы стать королем и произвести меня в графы.

— Я это сделаю,—ответил дон Кихот, и, подняв глаза, увидел то, о чем будет рассказано в следующей главе.

## ГЛАВА XXII

*о том как дон Кихот даровал свободу множеству несчастных, которых насильно вели туда, куда им вовсе не хотелось идти*



рабский и ламанчский писатель Сид Амед Бененхели рассказывает в своей серьезной, велеречивой, смиренной, сладостной, и продуманной истории, что после того, как между наменитым дон Кихотом Ламанчским и Санчо Пансой произошла беседа, изложенная в конце двадцать первой главы, дон Кихот поднял глаза и увидел, что навстречу им, по той же дороге, по которой они ехали, двигалось пешком человек двадцать, нанизанных как четки на большую железную цепь: она сковывала им шеи, и на руках у них всех были кандалы. Их сопровождало два человека верхом и других два пешком; верховые были вооружены заводными мушкетами, а пешие пиками и шпагами. Едва увидев их, Санчо сказал:

— Вот цепь каторжников, королевских невольников, которых ведут на галеры.

— Как так невольников? — спросил дон Кихот. — Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию?

— Я этого не говорю, — ответил Санчо, — а хочу сказать, что эти люди за свои преступления приговорены к насильственной службе королю на галерах.

— Одним словом, как бы там ни было, — возразил дон Кихот, — этих людей тащат, и они идут, подчиняясь насилию, а не по своей доброй воле.

— Именно так, — ответил Санчо.

— А раз так, — продолжал его господин, — тут-то мне и следует исполнить свой долг: уничтожить насилие и пособить и помочь несчастным.

— Заметьте себе, ваша милость, — сказал Санчо, — что правосудие, — иначе говоря, сам король, — не насилует и не угнетает этих людей, а только наказывает их за преступления.

В это время цепь каторжников приблизилась, и дон Кихот в самых любезных выражениях попросил конвойных сделать ему милость — сообщить и объяснить причину или причины, по которым они таким образом ведут этих людей. Один из конвойных, сидевший на лошади, ответил, что это каторжники, люди, принадлежащие его величеству, и что отправляются они на галеры; вот и все, и больше ничего ему знать не полагается.

— А все же мне хотелось бы, — ответил дон Кихот, — расспросить каждого из них по одиночке о причине его злополучия.

К этим словам он присовокупил столько любезностей, чтобы побудить исполнить его просьбу, что, наконец, второй верховой конвойный сказал:

— Хотя мы и везем при себе отчеты и полную запись приговоров этих несчастных, но теперь не время останавливаться, доставать бумаги и читать; лучше вы сами, ваша милость, подойдите к ним и расспросите: если им захочется, они сами вам расскажут, а захочется им наверное, потому что для этих господчиков нет большего удовольствия, как делать мерзости или рассказывать о них.

Получив это разрешение (без которого он свободно бы обошелся), дон Кихот подъехал к цепи и спросил первого каторжника, за какие грехи он попал в такую беду. Тот ответил, что попал в нее потому, что был влюблен.

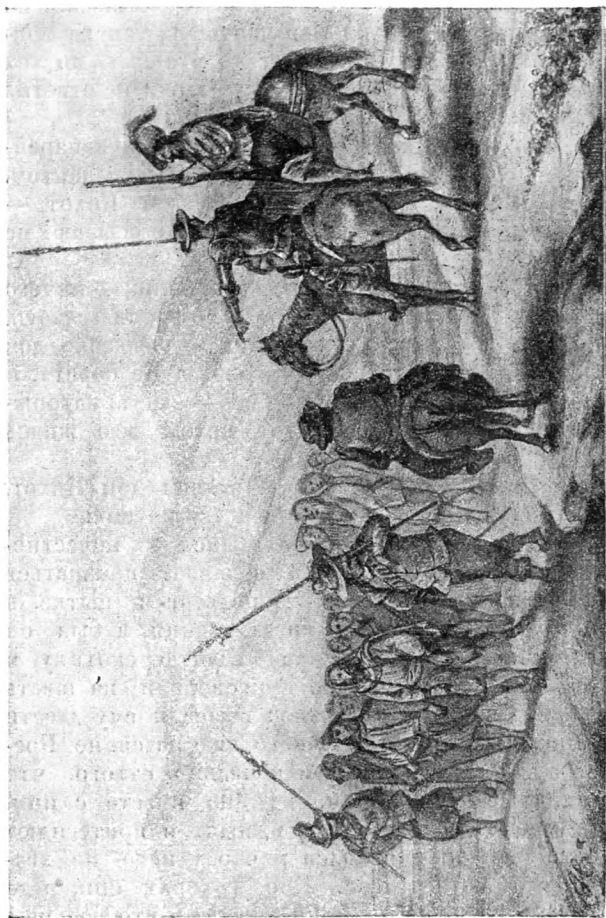
— Как, всего на всего за это? — воскликнул дон Кихот. — Да если всех влюбленных отправлять на галеры, так я уж давно должен был бы на них грести.

— Ваша милость не про ту любовь говорит, — ответил каторжник. — Моя любовь была такого рода, что влюбился я в корзину, полную белья, и так страстно прижал ее к своей груди, что если бы правосудие не вырвало ее силой, я бы по сей день не расстался с ней добровольно. Я был пойман с поличным, а потому пытки не понадобилось, и по моему делу вышло решение: вцепили мне в спину сто ударов кнутом, да в придачу дали три годика *гурап*\*.

— Что значит *гуралы*? — спросил дон Кихот.

— *Гуралы*—это галеры,—ответил каторжник.





Это был парень лет двадцати четырех, по словам его, родом из Пьедраиты. С тем же вопросом обратился дон Кихот ко второму, но тот продолжал итти печально и уныло и не ответил ни слова; за него ответил первый:

— Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейской, другими словами — певцом и музыкантом.

— Как так? — опять спросил дон Кихот. — Неужели певцов и музыкантов тоже ссылают на галеры?

— Да, сеньор, — ответил каторжник, — ничего не может быть хуже, чем петь во время тревоги.

— А я слышал, напротив, — возразил дон Кихот, — что «кто поет, того беда не берет».

— А вот тут выходит иначе — сказал каторжник: — кто раз запоет, тот потом всю жизнь не наплачется.

— Ничего не понимаю, — заявил дон Кихот.

Но тут один из конвойных сказал ему:

— Сеньор кабальеро, на языке этих нечестивцев *петь во время тревоги* означает признаться на пытке. Этого грешника подвергли пытке, и он признался в своем преступлении, а был он угонщиком, то есть крал всякую скотину, и когда он признался, его приговорили на шесть лет на галеры, да вдобавок всыпали ему двести ударов кнутом — они у него уже на спине. Бредет он так задумчиво и печально оттого, что остальные мошенники, идущие вместе с ним, презирают его, поносят, изводят и притесняют за то, что он признался и что у него не хватило духу отпереться. Ибо, говорят они, в да столько же букв, сколько и в *не*, и что большая выгода для всякого преступника — то, что его

жизнь или смерть зависят не от свидетелей или улик, а от собственного языка; и я полагаю, что рассуждают они довольно правильно.

— И я того же мнения, — ответил дон Кихот.

Затем он подошел к третьему и спросил его о том же, о чем спрашивал первых двух; и тот с живостью и без стеснения ответил:

— Я отправляюсь на пять лет к сеньорам *гурапам* из-за того, что у меня не было десяти дукатов.

— Да я вам с величайшей охотой дам двадцать, чтобы только вызволить вас из беды, — вскричал дон Кихот.

— Это похоже на человека, — ответил каторжник, — который сидит на корабле посреди моря, и денег у него много, а он умирает с голоду, так как ему негде купить съестного. Говорю я это к тому, что будь у меня тогда эти двадцать дукатов, что предлагает мне ваша милость, я бы смазал ими перо моего стряпчего и освежил мозги защитника, и теперь разгуливал бы себе по площади Сокодовер в Толедо, а не плелся по этой дороге, привязанный к своре, как бsrзая. Но господь велик: терпение — и довольно об этом.

Дон Кихот перешел к четвертому: это был человек почтенной наружности, с седой бородой по пояс. Услышав, что его спрашивают, как он сюда попал, он заплакал, не ответив ни слова. Но ему заменил толмача пятый каторжник, который сказал:

— Этот почтенный человек приговорен на четыре года грести на галерах, а перед тем его прокатили по улицам в парадном виде, верхом на коне,

— Сдается мне, — сказал Санчо Панса, — что, говоря другими словами, возили его на позорище.

— Совершенно верно, — продолжал каторжник, — а вина, за которую так его наказали, состояла в том, что был он маклером по делам не столько биржевым, сколько любовным. Проще говоря, он был сводником, и к тому же еще слегка колдуном.

— Если бы он не был слегка колдуном, — сказал дон Кихот, — а всего только сводником\*, ему бы надлежало не грести на галерах, а управлять и командовать ими, ибо профессия сводника — не пустяк: дело это требует немалого ума и крайне необходимо в благоустроенном государстве. Им следовало бы заниматься только людям самого хорошего происхождения, и над ними вовсе не мешало бы назначить инспекторов и контролеров, как это водится в других должностях, и чтобы было их строго определенное число, как, например, биржевых маклеров; таким способом было бы возможно устранить множество злоупотреблений, которые происходят от того, что должность эта и профессия попадают в руки людей глупых и необразованных, в роде всяких ничего не стоящих бабенок, мальчишек и шелопаев, слишком юных и неопытных, которые в трудный момент, когда необходимо проявить смекалку, проносят ложку мимо рта и не знают, где у них правая рука. Я бы многое еще сказал по этому поводу и изложил бы вам, почему на эту столь необходимую для государства должность следует принимать людей с большим разбором, но для всего этого здесь

место не подходящее; я когданибудь доложу об этом лицам, от которых зависит все это наладить и исправить. А теперь скажу только, что мне было очень горестно узнать, что человек убеленный сединами и столь почтенный на вид подвергается наказанию за сводничество, но огорчение мое исчезло, как только вы прибавили, что он был также и колдуном, — хотя я прекрасно знаю, что никаких колдунов на свете нет и что никто не может толкать или насиловать нашу волю, как полагают многие простаки; ибо наша воля свободна и никакие травы или волшебства не могут ее насиловать. Конечно, разные суеверные бабы и продувные обманщики могут варить месива и травы, которыми сводят людей с ума, вбивая им в голову, что они в силах заставить полюбить, — но, как я уже сказал, человеческую волю невозможно насиловать.

— Вы вполне правы, — сказал добрый старик, — и уверяю вас, сеньор, что ни в каком колдовстве я не повинен, а что я был сводником — не стану отрицать. Но только я никогда не думал, что это плохо, ибо я одного хотел: чтобы все люди на свете наслаждались, жили в мире и спокойствии, не враждуя и не мучась; и все эти добрые намерения принесли вот какие плоды: тащат меня в такие места, откуда я уж не надеюсь вернуться, ибо я обременен годами, да к тому же страдаю болезнью мочевого пузыря, от которой не имею ни минуты покоя.

Тут он снова заплакал, и Санчо так разжалобился, что вынул из за пазухи малый реал<sup>1</sup> и отдал его каторжнику в виде милостыни.

А дон Кихот перешел к следующему и спросил, в чем состоит его преступление. Этот отвечал гораздо бойчее, чем предыдущий:

— Я попал сюда за то, что слишком усердно забавлялся с моими двумя двоюродными сестрами и другими двумя сестрами, но уже не моими. Забавлялись мы, забавлялись, а кончилось тем, что родственные связи мои так разрослись и запутались, что сам черт в них теперь не разберется. Дело открылось, никто за меня не вступился, денег у меня не было, и я уже решил, что попаду на виселицу. Приговорили меня на шесть лет на галеры,—я спорить не стал: виноват так виноват. Но я молод, жизнь еще впереди, и все как-нибудь еще наладится. Если ваша милость может чем-нибудь помочь нам несчастным, господь заплатит вам за это на небе, а мы здесь на земле неустанно будем молиться богу о жизни и здоровье вашей милости, — да пошлет он вам долгую жизнь и доброе здоровье, как вы этого заслуживаете.

Говоривший был одет студентом, и один из конвойных сообщил про него, что он большой красобай и отличный латинист.

Самый последний был человек лет тридцати, очень привлекательной наружности, хоть и косоглазый. Скван он был не так, как остальные; на ноге у него была длинная цепь, которая обвивала все его тело, а на шее висело два железных ошейника: один был прикреплен к цепи, а другой, называемый «*стереги друга*» или «*нога друга*», двумя железными палками соединялся у пояса с кандалами, которые обхватывали его руки и запястья, запертые на огромный замок,

так что он не мог ни поднести рук ко рту, ни наклонив голову, коснуться их губами. Дон Кихот спросил, почему на этом человеке больше оков, чем на других. Конвойный ему ответил:

— А потому, что он один совершил преступлений больше, чем все остальные, вместе взятые; к тому же это такой наглец и пройдоха, что даже заковав его во все эти цепи, мы все-таки не чувствуем себя уверенными и боимся, как бы он от нас не сбежал.

— Да какие же за ним преступления, — спросил дон Кихот, — раз его осудили всего на всего на галеры?

— Осужден он на десять лет, — ответил конвойный, — а это все равно, что гражданская смерть. Достаточно вам сказать, что этот молодчик — знаменитый Хинès де Пасамонте, а иначе еще называют его Хинесильо де Парапилья.

— Осторожнее, сеньор комиссар, — заговорил тут каторжник, — бросьте перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а вовсе не Хинесильо, и я из рода Пасамонте, а не Парапилья, как утверждает ваше благородие. Вы бы лучше о своем роде подумали, — много бы интересного открыли.

— Потихше ты, сеньор первосортный разбойник, — ответил комиссар, — не то я заставлю тебя замолчать, хочешь ты там или не хочешь.

— Правду говорят, — ответил тот, — что все в воле божьей; но придет время, и кое кто узнает, зовут ли меня Хинесильо де Парапилья или нет.

— Да ведь люди-то зовут тебя так, мошенник? — спросил надсмотрщик.

— Зовут то зовут, — ответил Хинес, — но я заставляю их так меня не звать, а не то повыщиплю у них все волосы в тех местах, о которых вслух сказать неудобно. Сеньор кабальеро, если вы собираетесь чтонибудь нам дать, так давайте скорей и отправляйтесь своей дорогой. Надоели нам ваши расспросы о чужих делах; а ежели вам угодно узнать обо мне, так вот: я Хинес де Пасамонте, и биографию свою я написал вот этими самыми пальцами.

— Это он правду говорит, — заметил комиссар. — Он действительно описал свою жизнь, да еще так, что лучше описать невозможно, — только книга осталась в тюрьме, и под залог ее он получил двести реалов.

— Но я ее выкуплю, — сказал Хинес, — хотя бы пришлось заплатить двести дукатов.

— Что ж, она так хороша? — спросил дон Кихот.

— Так хороша, — ответил Хинес, — что не угнаться за ней *Ласарильо де Тормес* \* и всем книжкам в этом роде, которые когда либо были или будут написаны! Скажу только вашему благородию, что все в ней правда, и такая увлекательная и забавная, что никакие выдумки с ней не сравнятся.

— А как ее заглавие? — спросил дон Кихот.

— *Жизнь Хинеса де Пасамонте*, — ответил тот.

— И она закончена? — спросил опять дон Кихот.

— Как же она может быть закончена, — ответил Хинес, — если жизнь моя еще не кончилась? В книге описана вся моя жизнь со дня



рождения до того момента, как последний раз попал я на галеры.

— Так значит, вы уже побывали на галерах? — спросил дон Кихот.

— Служа богу и королю, я провел на них прошлый раз четыре года и знаю вкус сухарей и плети, — ответил Хинес. — Однако, я не очень огорчен, что снова туда отправляюсь: у меня будет досуг закончить книжку; много еще остается написать, а у работающих на испанских галерах столько свободного времени, что прямо девать некуда. Впрочем, для моих писаний мне не понадобится много времени, ибо я все уже знаю наизусть.

— Ловкий ты парень, — сказал дон Кихот.

— И несчастный, — прибавил Хинес, — ибо несчастья всегда преследуют людей с мозгами.

— Несчастья преследуют негодяев, — перебил комиссар.

— Я уже просил вас, сеньор комиссар, — сказал Хинес, — быть осторожнее. Вам вручили этот жезл не для того, чтобы вы притесняли нас бедняков, а для того, чтобы привели и доставили нас на место, назначенное королем, а не то, провались я на этом месте... не стану договаривать; и пятнышки, что вы наделали в харчевне, не беспокойтесь, еще отмоются \*. А посему пусть каждый помалкивает, живет по хорошему, слова выбирает еще получше, и давайте, пойдем дальше: повеселились и довольно.

Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить Пасамонте за его угрозы; но дон Кихот стал между ними и попросил не бить преступника;

что за важность, если у человека с крепко связанными руками чуть чуть развязался язык? Затем он повернулся к цепи каторжников и сказал:

— Из всего того, что вы мне рассказали, дорогие братья, я ясно понял следующее: хотя вы и наказаны по заслугам, но предстоящее наказание, как видно, не очень вам нравится, и вы идете на галеры весьма неохотно и против собственной воли; и очень возможно, что причиной вашей гибели было, у одного — малодушие во время пытки, у другого — недостаток денег, у третьего — отсутствие покровителей, четвертого — несправедливое решение судьбы: вот почему не восторжествовала правда, бывшая на вашей стороне. Все эти обстоятельства приходят мне теперь на ум и говорят, убеждают и даже заставляют меня показать вам, с какой целью господь произвел меня на свет, велел примкнуть к рыцарскому ордену, в котором я ныне состою, и принести обет в том, что я буду защищать обездоленных и угнетенных сильными мира сего. Но я знаю, — и это одно из правил благоразумия, — что не следует прибегать к силе там, где все может быть улажено по хорошему, и потому я сперва спрошу сеньоров конвойных и комиссара, не будет ли им угодно снять с вас цепи и отпустить с миром; ибо всегда найдутся люди, готовые послужить королю и при более благоприятных обстоятельствах, мне же представляется большой жестокостью делать рабами тех, кого господь и природа создали свободными. Тем более, сеньоры конвойные, — прибавил дон Кихот, — что эти несчастные перед вами ни в чем не провинились. Пусть каж-

дый несет свой грех: есть бог на небе, и он неусыпно карает за зло и награждает за добро, а честным людям не следует становиться палачами других людей, особенно, если им нет до них никакого дела. Я прошу вас об этом с мягкостью и кротостью, для того, чтобы мне было за что вас поблагодарить, если вы исполните мою просьбу; если же вы не исполните ее по доброй воле, — это копьё и меч и сила моей руки заставят вас сделать это против вашего желания.

— Что за дурацкая шутка! — воскликнул комиссар. — Посмотрите, до какого вздора он договорился! Ему желательно, чтобы мы отпустили государственных преступников, как будто в нашей власти их расковать, а он в праве давать нам такие наказания! Ступайте себе по добру по здорову, ваша милость, да поправьте как следует тазик, что у вас на голове и не ищите, сеньор, у кота пятой ноги.

— Сами вы кот, скот и мерзавец! — вскричал дон Кихот и с этими словами набросился на него так стремительно, что тот не успел приготовиться к нападению и повалился наземь, сильно ушибленный ударом копья.

Дон Кихоту повезло, так как именно этот конвойный был вооружен мушкетом. Остальные смутились и растерялись при виде столь неожиданного происшествия; но придя в себя, верховые схватились за шпаги, а пешие за пики, и все вместе напали на дон Кихота, поджидавшего их с большим хладнокровием; и наверное пришлось бы ему плохо, если бы каторжники, увидев, что им представляется случай вы-

браться на свободу, не напрягли все свои силы и не стали рвать сковывавшую их цепь. Началось смятение; конвойные не знали, что им делать: кидаться ли на каторжников, которые уже понемногу освобождались, или обороняться от напавшего на них дон Кихота—и в общем никакого толка из этого не выходило. А Санчо тем временем помог Хинесу де Пасамонте сбросить оковы, и тот, оказавшись без цепей и на свободе, подбежал к упавшему комиссару, выхватил у него из рук шпагу и мушкет, и стал по очереди направлять в конвойных то острие шпаги, то дуло мушкета. Но выстрелить ему не пришлось, так как вскоре на поле битвы не осталось ни одного врага: все они бежали от мушкета Пасамонте и от камней, которыми засыпали их другие каторжники. Это обстоятельство весьма опечалило Санчо, так как он решил, что беглецы донесут обо всем случившемся Санта Эрмандад, а та забьет в набат и бросится догонять преступников. Он сообщил об этом своему господину и стал убеждать его как можно скорей уйти и углубиться в горные ущелья, находившиеся неподалеку оттуда.

— Хорошо,—ответил дон Кихот,—я знаю, что нам сейчас нужно делать.

Затем он созвал каторжников, которые беспорядочно разбрелись по сторонам, предварительно ограбив комиссара и оставив его в чем мать родила; все обступили его кружком, в ожидании приказаний, и дон Кихот начал так:

— Люди благородные всегда бывают признательны своим благодетелям; ибо ни один

грех не гневит господа больше, чем неблагодарность. Говорю я это к тому, сеньоры, что вы только что, на собственном опыте убедились, что я ваш благодетель; взамен я хочу—и такова моя воля—чтобы вы возложили себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, и немедленно отправились в путь и явились в город Тобосо. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей Тобосской и скажете ей, что ее Рыцарь Печального Образа шлет ей привет, и затем во всех подробностях расскажете ей о том славном приключении, которому вы обязаны желанным освобождением. Сделав это, вы можете в добрый час отправляться, куда вам будет угодно.

За всех каторжников ответил Хинес де Пасамонте, сказав так:

— Сеньор спаситель наш, никак невозможно нам исполнить то, что ваша милость нам приказывает, ибо нельзя нам всем вместе ходить по дорогам: мы разделимся и каждый по одиночке пойдет в свою сторону и постарается запрятаться в самые недра земли, чтобы не попасться в руки Санта Эрмандад, которая без сомнения бросится за нами в догонку. Но ваша милость могла бы сделать вот что—и это было бы справедливо: вместо посещения и приветствия сеньоры Дульсинеи, прикажите нам прочитать известное число *Ave Maria* и *Credo*, и мы прочитаем их и помолимся за вашу милость, ибо такое дело выполнимо и днем и ночью, и во время бегства и во время отдыха, и в мире и войне. Но воображать, будто мы вернемся теперь к нашим котлам египетским,

то есть к нашей цепи, и пойдем по дороге в Тобосо—все равно, что думать будто сейчас ночь, когда на самом деле еще нет десяти часов утра, и просить нас об этом—все равно, что на вязе искать груш.

— Так я клянусь,—вскричал дон Кихот запальчиво,—дон мерзавец, дон Хинесильо де Паропильо, или как вас там зовут, вы отправитесь туда один с поджатым хвостом и потащите на себе всю цепь.

Пасамонте не особенно был терпелив (к тому же он заметил, что дон Кихот не в своем уме: ведь выдумал же он такую нелепость, как каторжников отпускать на волю!), а потому, услышав оскорбительные слова нашего рыцаря, он подмигнул своим товарищам, и все они отошли в сторону; и тут на дон Кихота посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться от них щитом, а бедный Росинант оставался нечувствительным к шпорам, как будто он был сделан из бронзы. Санчо спрятался за спину своего осла и таким способом защитил себя от тучи камней, летевших на них обоих. Как дон Кихот ни уклонялся от ударов, все же несколько камней попало в него с такой силой, что он свалился на землю; а как только он упал, студент бросился на него, сорвал с его головы таз, раза три или четыре ударил им нашего рыцаря по спине, потом столько же раз трахнул им об землю, так что разбил его почти вдребезги; затем каторжники сняли с него полукафтанье, которое он носил поверх доспехов, и хотели стащить чулки, но тут им помешали его поножи. У Санчо отняли они



плащ и оставили ему только платье; наконец, поделив между собой остальную военную добычу, они разошлись каждый в свою сторону, забываясь только о том, как бы удрать от грозной Санта Эрмандад, и вовсе не подумав взвалить себе на плечи цепь и отправиться к сеньоре Дульсинее Тобосской.

Остались только осел и Росинант, Санчо и дон Кихот. Осел стоял, задумчиво понуря голову и от времени до времени потряхивая ушами, воображая, вероятно, что каменный град еще не прекратился, так как в ушах у него все еще гудело; Росинант лежал на земле рядом со своим хозяином, ибо удары камнями свалили и его; Санчо, лишившийся плаща, трясся от страха перед Санта Эрмандад; а дон Кихот был глубоко удручен тем, что люди, им благодетельствованные, так дурно с ним обошлись.



## ГЛАВА XXIII

*о том, что произошло с знаменитым дон Кихотом в Сьерра-Морене, иначе говоря, об одном из самых редкостных приключений, о которых рассказывается в этой правдивой истории.*



видев себя в столь плачевном состоянии, дон Кихот сказал своему оруженосцу:

— Много раз я слышал, Санчо, что делать добро грубиянам— все равно что лить воду в море. Если бы я поверил твоим словам, я бы избежал этой неприятности; но раз дело сделано, потерпим и постараемся впредь научиться уму-разуму.

— Ваша милость научится уму-разуму,— отвечал Санчо,— когда я сделаюсь турком. Но раз вы говорите, что если бы вы мне поверили, вы бы избежали этого бедствия, так поверьте мне теперь—и вы избежите еще худшего; ибо, доложу я вам, против Санта Эрмандад не поможет вам все ваше рыцарство; да она за всех, что ни на есть, странствующих рыцарей грошь ломаного не даст. Знаете ли, мне уже сдается, что стрелы ее жужжат мимо самых моих ушей.

— Ты трус по природе, Санчо,— сказал дон Кихот.— Но чтобы ты не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь, на этот раз я последую твоему совету и удалюсь от гнева, которого ты так боишься; но только с одним условием: ты никогда ни при жизни, ни после смерти никому не скажешь, что я из страха уклонился и удалился от этой опасности, ибо я делаю это только потому, что снисхожу к твоим мольбам. Если же ты скажешь что-либо другое, ты солжешь,— и я отныне и дотоле, и оттоле донине\* уличаю тебя во лжи и заявляю, что ты лжешь\* и солжешь всякий раз, как это подумаешь или скажешь. И не возражай мне ни слова, ибо при одной мысли, что я удаляюсь и уклонюсь от опасности, а особенно от этой опасности, которая, пожалуй, может внушить тень страха, я уже готов остаться и один ждать здесь не только святое братство, о котором ты говоришь с ужасом, но и братьев двенадцати колен израилевых, семерых братьев Маккавеев, а также Кастора и Поллукса и всех братьев и братства, какие существуют на свете.

— Сеньор,— отвечал Санчо,— удалиться не значит бежать, а дожидаться врага, когда опасность превосходит все предположения,— это просто безумие; благоразумие велит беречь себя сегодня для завтра и не ставить все на карту в один день. И знайте, что хоть я невежда и деревенщина, а все же я кой что смыслю в том, что такое разумное поведение, а потому не жалейте, что послушались моего совета: садитесь на Росинанта, если только можете, а не мо-

жете, так я вам подсоблю, и поезжайте за мной, ибо смекалка моя мне говорит, что теперь ноги нам нужнее рук.

Дон Кихот, не возразив ни слова, сел на лошадь и последовал за Санчо, восседавшем на осле. Вскоре достигли они Сьерра-Морены, находившейся неподалеку от места их отправления. У Санчо был план перевалить через горы, добраться до Висо или до Альмодовара дель Кампо и там на несколько дней укрыться в скалах, чтобы в случае погони Санта Эрмандад не могла их отыскать. В этом намерении поддерживало его еще то обстоятельство, что после потасовки с каторжниками у него уцелели все съестные припасы, которые он вез на своем осле, что казалось ему чудом, ибо каторжники перешарили и отобрали все что могли.

К вечеру добрались они до самой середины Сьерра-Морены, и Санчо предполагал провести там и эту ночь и еще несколько суток,—во всяком случае просидеть там, пока не иссякнет провизия. Они расположились на ночлег под дубами между двумя скалами. Но роковая судьба, которая по мнению людей, не знающих света истинной веры, все ведет, образует и направляет, устроила так, что знаменитый плут и вор Хинес де Пасамонте, освободившись от цепей благодаря доблести и безумию дон Кихота, решил из страха перед Санта Эрмандад (а у него были достаточные основания ее бояться) скрыться в этих горах, и случайно страх привел его еще засветло в то самое место, где спрятались дон Кихот и Санчо Панса. Тотчас их узнав, он подождал, пока они заснули. И так

как злодеи всегда неблагодарны, необходимость толкает на дела недозволенные, а выгода в настоящем соблазнительнее выгоды в будущем,— по всем этим причинам Хинес, не отличавшийся ни благодарностью, ни благонамеренностью, порешил стащить у Санчо Панса осла (Росинанта он оставил в покое, так как добыча эта казалась ему не пригодной ни для продажи ни для заклада). Санчо Панса спал, Хинес украл осла, и еще не рассвело, как он уж удрал так далеко, что и отыскать его было нельзя.

Взошла заря, всей земле принесла радость, а Санчо Пансе—печаль, ибо не было с ним его серого; и вот, заметив пропажу, стал он испускать самые жалобные и скорбные стоны, так что от звуков его голоса проснулся дон Кихот и услышал такие слова:

— О возлюбленное чадо мое, рожденное в собственном моем доме, забава детей моих, утеха жены моей, зависть соседей моих, о, отрада моих трудов, кормилец целой половины моей особы, ибо те двадцать шесть мараведисов, что ты в день зарабатывал, составляли половину моего пропитания!

Дон Кихот, услышав этот плач и узнав причину его, по мере сил старался утешить Санчо, прося его запастись терпением и обещая выдать расписку, по которой он сможет получить трех ослов из числа пяти, оставшихся у него дома. Это утешило Санчо; он вытер слезы, сдержал рыдания и поблагодарил дон Кихота за оказанную ему милость.

А тот между тем, как только попал в горы, сразу возликовал, так как места эти показались

ему весьма пригодными для поисков приключений. Приходили ему на память чудесные происшествия, случавшиеся со странствующими рыцарями в подобных же пустынных и суровых краях; и так был он опыанен и увлечен этими мыслями, что ехал, позабыв обо всем на свете. А Санчо, почувствовав себя наконец в безопасности, думал только о том, как бы насытить свой желудок припасами, оставшимися у них от монашеской поклажи. Так-то плелся он за своим господином, нагруженный всем тем, что должен был везти его серый, и только и делал, что вытаскивал куски из мешка и пихал в рот; и странствуя таким образом, он не дал бы и гроша ни за какое другое приключение.

Внезапно поднял он глаза и увидел, что его господин остановился и старается концом копыща поднять какой-то сверток, лежащий на земле; он поспешно подошел на тот случай, если понадобится его помощь и, подойдя, заметил, что дон Кихот уже держит на кончике копыща сумку и привязанный к ней чемодан. Они прогнили наполовину, или, лучше сказать, совсем сгнили и развалились, но были так тяжелы, что Санчо пришлось спешиться для того, чтобы их поднять. Дон Кихот велел ему посмотреть, что находится в чемодане. Санчо проделал это с большим проворством; и хотя чемодан был перевязан цепочкой и заперт на замок, все же Санчо удалось увидеть его содержимое—настолько тот был гнил и поломан: в нем лежало четыре рубашки тонкого голландского полотна и другое щегольское,

совсем чистое белье, а в платке было завернуто порядочное количество золотых монет. Увидев их, Санчо воскликнул:

— Благодарение небу, пославшему нам столь выгодное приключение!

Стал он шарить дальше и нашел записную книжку в богатом переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги оставить себе. Санчо поцеловал ему руки, благодаря за подарок, и, вытащив белье из чемодана, переложил его в свой мешок с провизией. Дон Кихот, увидев это, сказал:

— Мне кажется, Санчо,—да иначе и быть не может,—что здесь в горах проходил какой то заблудившийся путник, и должно быть разбойники напали на него и убили, а тело отнесли сюда, чтобы зарыть в укромном месте.

— Не может этого быть,—возразил Санчо,—так как если бы это были разбойники, они бы не оставили денег.

— Правда твоя,—сказал дон Кихот,—но тогда я не могу понять и отгадать, что это такое. Подожди, может быть в этой записной книжке чтонибудь написано, что выведет нас на верный путь и объяснит нам то, что нам хочется знать.

Он раскрыл ее и первое, что представилось его глазам, был сонет, написанный начерно, но очень четким почерком; и чтобы Санчо тоже мог послушать, он громко прочел следующее:

Иль у Амура мало разуменья,  
Иль слишком он жесток, иль боль, чье жало  
Меня лютейшей пыткой истерзало,—  
Непостижимого происхожденья.



Но раз Амур есть бог, то, без сомненья,  
 Разумен он, и богу не пристало  
 Жестоким быть; так в чем тогда начало  
 Ужасного и милого мученья?

Сказав, что в вас, я бы ошибся, Фили,  
 Затем что зло и благо несовместны  
 И не от неба это мне мытарство.

Одно я знаю, что иду к могиле,  
 И раз причины мук нам неизвестны,  
 То было б чудом отыскать лекарство!

— Из этих виршей ничего не узнаешь—ска-  
 зал Санчо, разве только что, схватившись за эту  
 нитку \*, мы распутаем весь клубок.

— А где ж тут нитка?—спросил дон Кихот.

— Мне показалось, — отвечал Санчо, — что  
 ваша милость прочитала про какую то нитку.

— Не нитка, а Фили,—ответил дон Кихот:—  
 так вероятно зовут даму, на которую жалуется  
 автор этого сонета; и, честное слово, он  
 искусный поэт, если я чтонибудь смыслю  
 в поэзии...

— Как, ваша милость и в поэзии тоже толк  
 знает?—спросил Санчо.

— Больше, чем ты предполагаешь,—ответил  
 дон Кихот.—Ты убедишься в этом, когда я дам  
 тебе отнести моей госпоже Дульсинее Тобосской  
 письмо, все сверху донизу написанное стихами.  
 Ибо следует тебе знать, Санчо, что почти все  
 странствующие рыцари минувших времен были  
 великими трубадурами и великими музыкан-  
 тами, так как эти две способности или, лучше  
 сказать, эти два дара всегда были свойственны



странствующим влюбленным. Правда только, что в стихах древних рыцарей было больше пыла, чем уменя.

— Читайте дальше, ваша милость,—сказал Санчо,—может быть, там отыщется что-нибудь такое, что удовлетворит наше любопытство.

Дон Кихот перевернул страницу и сказал:

— Это проза и, кажется, письмо.

— Казенное?—спросил Санчо.

— Судя по началу, любовное,—ответил дон Кихот.

— Ваша милость, прочтите его вслух,—попросил Санчо,—я страх люблю любовные делишки.

— Охотно,—ответил дон Кихот и по просьбе Санчо прочел вслух следующее:

«Твои ложные обещания и мое неложное горе заставляют меня удалиться в те места, откуда до слуха твоего скорее донесется весть о моей кончине, чем звук моих жалоб. Ты покинула меня, бесчувственная, ради того, кто богаче меня, но вовсе не достойнее. Если бы добродетель ценилась как великое сокровище, мне не пришлось бы завидовать чужому счастью и оплакивать свое злополучие. То, что воздвигла твоя красота, разрушили твои поступки: она уверила меня, что ты ангел, они же показали, что ты женщина. Оставайся с миром, виновница моей тревоги, и да будет угодно небу, чтобы вероломство твоего супруга никогда не раскрылось и чтобы тебе не пришлось раскаяться в твоём поступке, а мне—получить отмщение, которого я не ищущу».

Прочитав письмо, дон Кихот сказал:

— Из этого письма можно вывести еще меньше заключений, чем из стихов; одно ясно — что писал его какой-то отвергнутый любовник.

Перелистав всю записную книжку, он нашел еще другие стихи и письма, из которых некоторые ему удалось разобрать, а другие нет; но во всех были жалобы, стенания, сетования, радости и огорчения: милости, которые восхвалялись, и суровость, которая оплакивалась. А пока дон Кихот просматривал книжку, Санчо осматривал чемодан и сумку, — и не было такого уголка, который бы он не обшарил, не перерыл, не исследовал; он распарывал каждый шов, вытряхивал каждый клочок шерсти, боясь по небрежности или нерадению чтонибудь упустить: вот какое рвение возбудила в нем находка этой сотни червонцев. И хотя он ни одного больше, сверх уже найденных, не отыскал, все же он решил, что не даром перетерпел и полеты на одеяле, и принятие рвотного лекарства, и благословение дубинками, и кулачную расправу погонщика, и потерю сумки, и пропажу плаща, и голод, и жажду, и усталость, которые он испытал, служа своему доброму господину: за все это он был более чем достаточно вознагражден милостью дон Кихота, подарившего ему эту находку.

Рыцарь Печального Образа страстно желал узнать, кому принадлежал чемодан, предполагая на основании сонета, письма, червонцев и превосходных рубашек, что хозяин всего этого был человек знатный, влюбленный в какую-то даму и что презрительное и жестокое обращение

возлюбленной довело его до какого-то отчаянного шага. Но в этих пустынных горных ущельях ему не к кому было обратиться за разъяснениями, и потому он, долго не думая, поехал дальше по дороге, выбранной Росинантом, который брел там, где ему было удобнее. Твердая уверенность владела дон Кихотом, что в этих дебрях с ним непременно случится какое нибудь удивительное приключение.

Погруженный в эти мысли, увидел он вдруг на вершине небольшой горки, находившейся прямо перед ним, какого-то человека, который с необыкновенной быстротой перепрыгивал со скалы на скалу и от куста к кусту. Ему показалось, что он обнажен, что у него черная густая борода, грива всклокоченных волос, босые ноги и голые колени; бедра его были прикрыты штанами, повидимому из рыжего бархата, давным давно превратившегося в лохмотья, сквозь которые во многих местах выглядывало голое тело, голова же была непокрыта. И хотя, как мы уже сказали, промчался он с большой быстротой, тем не менее все эти подробности Рыцарь Печального Образа уловил и заметил. Он хотел погнаться за незнакомцем, но не мог, ибо слабосильный Росинант не был в состоянии бегать по крутизнам, не говоря уже о том, что по природе своей он был медлителен и флегматичен. Дон Кихоту тотчас же пришло на ум, что этот человек и есть владелец сумки и чемодана, и он решил отыскать его, хотя бы для этого пришлось ему блуждать в горах целый год, а потому велел Санчо спешиться\* и обогнуть одну сторону горы,

меж тем как он сам станет объезжать ее с другой: быть может, таким способом они и натолкнутся где нибудь на незнакомца, так внезапно пропавшего у них на глазах.

— Не могу я этого сделать, — ответил Санчо, — потому что, как только я удаляюсь от вашей милости, нападает на меня страх и напускает на меня тысячу разных ужасов и привидений. Так наперед и знайте, что никогда я не отойду ни на шаг от вашей особы.

— Ну, как хочешь, — ответил Рыцарь Печального Образа. — Мне весьма приятно, что ты ищешь опоры в моей храбрости, которая тебя не покинет, хотя бы твоя душа покинула тело. Так следуй же за мной по пятам, или как сумеешь, и пусть глаза твои будут фонарями. Мы объедем вокруг эту горку и, может быть, встретим незнакомца, который без всякого сомнения никто иной, как хозяин всего того, что мы нашли.

На это Санчо отвечал:

— Гораздо лучше нам вовсе его не разыскивать, ибо если мы его найдем и окажется, что он действительно собственник этих денег, то ясно, что мне придется отдать их, а лучше, без лишних хлопот, сохраню я себе попросту эти денежки. Если же, без всяких наших стараний и поисков владелец их все-таки объявится, так, может быть, к тому времени деньги я уже истрачу, и тогда — на нет и суда нет.

— Ты заблуждаешься, Санчо, — ответил дон Кихот. — Раз у нас явилась догадка о владельце этих вещей, который промелькнул, быть может, сейчас перед нашими глазами, мы обязаны отыскать его и возвратить ему его имущество; и



если бы мы не стали его искать, то наше основательное предположение, что он и есть их владелец, делает нас виновными не менее, чем если бы у нас была в этом уверенность. Итак, друг мой Санчо, пусть не печалят тебя эти поиски, ибо, если я его найду, у меня большое время с души свалится.

Сказав это, он пришпорил Росинанта, а Санчо поплелся за ним пешком и навьюченный, по милости Хинесильо де Пасамонте. И вот, обогнув значительную часть горы, они на берегу ручья увидели павшего и сдохшего мула под седлом и в уздечке, наполовину съеденного собаками и истребленного воронами; это еще больше утвердило их в предположении, что человек, бежавший от них, был хозяином и мула, и сумки.

В ту минуту, как смотрели они на падаль, вдруг неожиданно послышался свист, похожий на свист пастуха, стерегущего стадо, и с левой стороны увидели они большое количество коз, а за ними на вершине горы появился и старик козопас. Дон Кихот закричал ему, прося спуститься к ним. Тот, тоже крича, спросил, как попали они в такое место, где почти никогда не ступала нога человека и где водятся только козы, волки и другие дикие звери. Санчо ответил ему, что они ему это объяснят, когда он спустится. Тогда пастух спустился и, подойдя к дон Кихоту, сказал:

— Бьюсь об заклад, что вы смотрите на наемного мула, издохшего в этом овраге. Сказать вам правду, вот уже шесть месяцев, как он здесь валяется. А кстати, не повстречался ли вам по дороге его хозяин?

— Нет, не повстречался, — ответил дон Кихот, — но неподалеку отсюда мы нашли сумку и чемодан.

— Я их тоже видел, — ответил пастух, — но не подобрал и даже близко не подошел к ним; ибо долго ли до беды — того и гляди еще обвинят в краже: хитер дьявол, и такое подсунет под ноги, что споткнешься и упадешь, а как да почему — и сам не знаешь.

— Это самое говорю и я, — сказал Санчо. — Я на них тоже натолкнулся, но только и на выстрел к ним не подошел: очень мне нужен пес, да еще с бубенчиками!

— Скажите, добрый человек, — спросил дон Кихот, — не знаете ли вы, кто владелец этого добра?

— Знаю я только, — ответил пастух, — что месяцев шесть, а то и больше тому назад, в одну пастушескую хижину, отстоящую отсюда милях в трех, явился юноша приятного облика и сложения; ехал он верхом на этом самом муле, что валяется здесьдохлый, и были при нем сумка и чемодан, которые вы нашли и не тронули. Он спросил нас, где в этих горах можно найти самое дикое и неприступное место. Мы ему указали на ущелье, где мы сейчас находимся; и это правда: стоит вам проехать еще с пол-мили вглубь, и уж навряд ли вы оттуда выберетесь. Да я и то удивляюсь, как вам удалось сюда попасть: ведь сюда не ведет ни дорога, ни тропинка. Итак, я продолжаю: услышав наш ответ, юноша повернул мула и поехал в том направлении, которое мы ему указали, а мы все продолжали восхищаться его изящной

наружностью и удивляться поспешности, с которой он помчался в горы. С тех пор мы никогда больше его не видели; только раз, спустя несколько дней после первой встречи, он выбежал на дорогу в ту минуту, когда по ней проходил один из наших пастухов, и, не говоря ни слова, набросился на него и здорово исколотил кулаками, потом подскочил к ослице, везшей провизию, забрал весь бывший на ней хлеб и сыр и, проделав это, с изумительной быстротою скрылся в горах. Некоторые из наших, узнав об этом, отправились за ним в погоню и искали его почти два дня в самых глухих местах, пока, наконец, не нашли его спрятанным в дупле большого и могучего дуба. Он скромно вышел к нам навстречу; одежда его была изорвана, а лицо обезображено и обожжено солнцем, так что мы с трудом его узнали, однако мы хорошо запомнили его платье и, хоть и было оно в лохмотьях, все же мы догадались, что он — тот, кого мы разыскиваем. Он учтиво нас приветствовал и в кратких и весьма разумных словах просил нас не удивляться тому, что он ведет такую странную жизнь: он мол должен так жить, ибо наложил на себя покаяние за великие свои грехи. Мы просили его открыть нам, кто он такой, но добиться этого нам так и не удалось. Затем мы попросили его, когда ему понадобится продовольствие, дать нам знать, где он находится: ведь не может же он жить без пищи, а мы с большой охотой и рвением доставим ему все необходимое; если же и на это он не согласен, то пусть по крайней мере просит у нас провизию, а не отнимает ее силой.



Он поблагодарил нас за предложение, извинился за совершенное им нападение и обещал впредь просить во имя господ бога и никому не причинять никакого ущерба. Затем он прибавил, что постоянного пристанища он не имеет и что обычно располагается на ночлег в том месте, где его застигнет ночь; речь свою закончил он таким горестным плачем, что мы были бы каменными статуями, если бы, услышав его, не заплакали вместе с ним: мы припомнили, в каком виде он предстал перед нами в первый раз и каким мы видели его сейчас. Ибо я уже сказал, что был он весьма привлекательным и изящным юношей, и по его вежливой и изысканной манере говорить было видно, что он человек знатный и тонко воспитанный; и хотя все мы, слушавшие его, были мужиками, все же благородство его было столь велико, что и мужики не могли этого не заметить. И вот, в самой середине своей речи он вдруг остановился и как будто онемел; долгое время сидел он, устремив глаза в землю, а мы все молчали и с волнением ждали, чем кончится его зачарованность—нельзя было без жалости глядеть на него; а он таращил глаза, долго и пристально смотрел в землю, не моргая ресницами, а потом закрывал глаза, сжимал губы и хмурил брови: из всего этого не трудно было заключить, что с ним случился припадок безумия. И вскоре мы окончательно убедились в правильности наших предположений: он сидел на земле и вдруг в великом бешенстве вскочил, набросился на пастуха, стоявшего ближе всего к нему, да с таким гневом и яростью, что не защити мы товарища, он бы прикончил его

кулаками и растерзал зубами. И при этом он кричал: «А, вероломный Фернандо, теперь ты мне заплатишь за нанесенное оскорбление! Я собственными руками вырву у тебя сердце, где кроются и гнездятся все, какие только есть на свете, пороки, особенно же обман и коварство!». И много других слов говорил он, проклиная этого Фернандо и клеймя его именем предателя и клятвопреступника. С большим трудом высвободили мы товарища, а юноша удалился от нас, не сказав больше ни слова, и вскоре исчез среди зарослей и кустарника, убежав так быстро, что мы не могли за ним поспеть. Из этого мы заключили, что у него только от времени до времени бывают припадки безумия, и что вероятно некий Фернандо причинил ему какую-то великую обиду, доведшую его до такого состояния. Все это подтвердилось впоследствии, и неоднократно, так как нередко потом выходил он на дорогу, то прося пастухов отдать ему провизию, которую они везли, то отнимая ее насильно; ибо, когда на него находит приступ безумия, он не принимает пищи, которую наши пастухи предлагают ему добровольно, а отбирает ее с дракой; когда же он в своем уме, он вежливо и учтиво просит во имя господа бога и горячо благодарит, проливая немало слез. И вот, скажу вам по правде, сеньоры,—продолжал пастух,—вчера порешили мы, я и еще четыре пастуха (из которых двое—мои приятели, а двое—помощники), пуститься на поиски этого юноши и искать, пока мы его не найдем; когда же мы его найдем—отвезти насильно или с его согласия в город Альмодóвар, в восьми милях отсюда,

и там вылечить его, если только болезнь эта излечима, или же по крайней мере узнать, кем он был до своей болезни и есть ли у него родственники, которых можно известить о постигшей его беде. Вот и все, сеньоры, что я могу вам сообщить в ответ на ваш вопрос; и будьте уверены, что человек, который с такой быстротой промелькнул перед вами полуголый, и есть хозяин всего виденного вами добра (ибо дон Кихот уже рассказал ему о том, как этот человек пробежал перед ним в горах).

Наш рыцарь был очень поражен рассказом пастуха, и у него еще усилилось желание узнать, кто этот несчастный безумец; поэтому он еще более утвердился в своем прежнем намерении разыскивать его по горам, не пропуская ни одного закоулка и ни одной пещеры, пока его не найдет. Но судьба устроила лучше, чем он думал и ожидал, ибо в этот самый момент в расселине утеса, поднимавшегося прямо перед ними, появился юноша, которого они искали; он бормотал какие-то слова, которые невозможно было разобрать не только издали, но и вблизи. Одет он был совсем так, как мы это описали, но когда дон Кихот подошел к нему поближе, он заметил, что его разорванный в клочья колет сделан из надушенной амброй кожи, из чего наш рыцарь заключил, что человек, носящий такое платье, не мог происходить из низкого сословия.

Подойдя к ним, юноша приветствовал их глухим и хриплым голосом, однако с большой учтивостью. Дон Кихот ответил на его приветствие не менее любезно и, соскочив с Росинанта,

подошел к нему и обнял его с большой сердечностью и лаской: он так долго сжимал его в своих объятиях, что, казалось, был дружен с ним с давних пор. Незнакомец, которого мы могли бы назвать *Оборванцем Плачального Образа* (подобно тому, как дон Кихот именовал себя *Рыцарем Печального Образа*), позволил себя обнять, а потом, немного отстранив от себя дон Кихота, положил ему руки на плечи и стал в него вглядываться, как будто хотел припомнить, знаком он с ним или нет. Казалось, облик, фигура и вооружение дон Кихота вызывали в нем такое же удивление, какое вызывал у нашего рыцаря он сам. Наконец, Оборванец, высвободившись из объятий, заговорил первый, а что он сказал, это будет сообщено ниже.

## ГЛАВА XXIV

*продолжение приключения в Сьерра-Морсе*



стория наша рассказывает, что дон Кихот с величайшим вниманием слушал обтрепанного Рыцаря Сьерры\*, который начал свою речь так:

— Кто бы вы ни были, сеньор,—ибо я вас не знаю,— благодарю вас за знаки учтивости, которые вы мне оказали: я бы хотел быть в состоянии отплатить вам не только одним добрым желанием за то расположение, которое вы ко мне проявили, но судьба запрещает мне платить за оказываемые мне благодеяния чем либо другим, кроме искренней готовности вознаграждать за них.

— А у меня,—ответил дон Кихот,—нет другого желания, как только служить вам, и я решил не покидать этих гор, пока не отыщу вас и не узнаю, нельзя ли чем нибудь исцелить ту скорбь, которая заставила вас избрать столь странный образ жизни; и если можно, то я буду искать вашего исцеления со всей возможной ревностью. Если же вашей горе принадлежит к числу тех, кои закрывают двери каким

бы то ни было утешениям, то я надеюсь помочь вам, от всей души плача и скорбя вместе с вами, ибо все же это — утешение в горе, когда ктонибудь разделяет нашу печаль; и если мои добрые намерения заслуживают благодарности, то я умоляю вас, сеньор, во имя той великой учтивости, которой, как я вижу, вы отличаетесь, а также во имя всего того, что вы особенно в жизни любили или любите, скажите мне, кто вы и какая причина побудила вас решиться жить и умереть в этих пустынных местах подобно неразумному животному; а что такая жизнь не создана для вас, об этом свидетельствует и ваша наружность и ваше платье. Клянусь, — прибавил дон Кихот, — орденом рыцарства, к которому принадлежу я, недостойный грешник, а также званием странствующего рыцаря, — если вы, сеньор, снизойдете к моей просьбе, я буду служить вам со всем усердием, к которому обязывает меня мое положение: я излечу ваше горе, если оно излечимо, или же помогу вам оплакивать его, как только что вам обещал.

*Рыцарь Леса*, слушая слова *Рыцаря Печального Образа*, смотрел, рассматривал и разглядывал его с ног до головы и наконец, насмотревшись вдоволь, сказал:

— Если у вас есть чтонибудь поесть, ради бога, дайте мне поскорей, а поевши я исполню все, что вы мне велите, дабы отблагодарить вас за благожелательность, которую вы ко мне проявляете.

Тотчас же Санчо полез в свой мешок, а пастух в свою торбу, и Оборванец стал удовле-

творять свой голод, накинувшись, как полоумный, на пищу с такой жадностью, что один кусок догонял другой, еще не проглоченный. Пока это длилось, ни он, ни окружающие не произносили ни слова. Кончив есть, он знаками предложил им следовать за собой, что они и сделали, и повел их на зеленый лужок, который находился за скалой неподалеку оттуда. Придя туда, он улегся на траве, и остальные последовали его примеру; все это происходило в полном молчании. Наконец, Оборванец устроился поудобнее и начал так:

— Если вам угодно, сеньоры, чтобы я в немногих словах рассказал вам о множестве моих злоключений, вы должны мне обещать, что ни одним вопросом или замечанием не прервете нить моего печального повествования, ибо как только вы это сделаете, я тотчас же прекращу свой рассказ.

Это вступление привело дон Кихоту на память рассказ его оруженосца, когда нашему рыцарю не удалось правильно сосчитать коз, переправленных через реку, и как из за этого история так и осталась незаконченной. А между тем Оборванец продолжал:

— Я предупреждаю вас об этом потому, что мне хотелось бы как можно скорей покончить с изложением моих бедствий, ибо, припоминая их, я к старым печалям прибавляю новые, и поэтому чем меньше вы будете меня спрашивать, тем скорее я вам о них расскажу; при этом я не пропущу ни одной важной подробности и постараюсь вполне удовлетворить ваше желание.

Дон Кихот от имени всех присутствующих обещал ему не перебивать, и после этих уверений Оборванец начал следующим образом:

— Меня зовут Карденио, и родился я в одном из лучших городов нашей Андалузии. Я из знатного рода и сын богатых родителей, но несчастье мое столь велико, что как бы ни оплакивали его мои родители и ни печалился о нем мой род, все их богатства ничем не могут мне помочь, ибо, как известно, земные блага бессильны против бедствий, посылаемых небом. В этом же городе жило небесное созданье, которое Амур украсил всеми совершенствами, о которых я только мог мечтать. Велика была красота Люсинды, девушки знатной и богатой не менее чем я, но более счастливой и менее постоянной, чем того заслуживала честность моих чувств. С самых ранних, юношеских лет моих я любил, обожал и боготворил Люсинду, и она любила меня просто и бесхитростно, как это бывает в ребяческие годы. Родители знали о нашей взаимной склонности, и это их не беспокоило: они понимали, что чувство это, окрепнув, приведет нас в конце концов к браку, а равенство происхождения и богатства делало наш союз вполне естественным. Шли годы, а с ними росла наша взаимная любовь, — и вот отец Люсинды из благоразумия счел нужным запретить мне навещать ее (в этом он как будто подражал родителям столь часто воспеваемой поэтами Фисбы). Этот запрет только разжег наше пламя и увеличил желания. Родители могли наложить молчание на наши языки, но не могли обречь наши перья на бездействие; а ведь когда мы



любим, перо еще с большей свободой, чем язык излагает то, что таится у нас в душе: ибо очень часто присутствие любимого существа приводит в смущение и безмолвие самые решительные намерения и самые смелые языки. О небо, сколько писем я ей написал! Сколько получил милых и невинных ответов! Сколько сочинил песен, сколько влюбленных стихов, в коих душа моя изъясняла и выражала свои чувства, высказывала свои пламенные желания, оживляла воспоминания и питала свою страсть! Наконец, измученный, я понял, что душа моя изнемогает от желания ее видеть, и решил немедленно же сделать все необходимое, чтобы получить желанную и заслуженную награду, то есть попросить отца Люсинды отдать ее мне в законные супруги. Так я и поступил; на это он мне ответил, что благодарит за честь, которую я ему оказываю, и что он в свою очередь готов оказать мне честь, выдав за меня свою дорогую дочь. «Но», прибавил он, «отец ваш еще жив, и ему принадлежит законное право просить об этом; если же на то не будет его искренней воли и согласия, то Люсинда не из тех, кого берут или выдают замуж тайно». Я поблагодарил его за благосклонность, ибо мне казалось, что возражение его справедливо и что мой отец согласится со мной, как только я изложу ему, в чем дело. С таким намерением я тотчас же отправился к отцу, чтобы сообщить ему о моем желании; но войдя в комнату, где он находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, и не успел я сказать и слова, как он протянул мне письмо и заговорил: «Из этого письма,

Карденио, ты увидишь, что герцог Рикардо хочет оказать тебе милость». Этот герцог Рикардо, как вы, сеньеры, должно быть знаете, — испанский гранд, поместья которого расположены в лучшей части нашей Андалузии. Я взял письмо и прочел его; оно было столь милостиво, что я сам упрекнул бы моего отца, если бы он не исполнил заключавшейся в нем просьбы: герцог просил моего отца немедленно прислать меня к нему, так как ему было угодно, чтобы я находился при его старшем сыне, в качестве приятеля, а не слуги, при чем он брал на себя заботы о дальнейшем моем устройстве и обещал, что оно вполне будет соответствовать его высокому мнению обо мне. Я прочел письмо и, прочитав, онемел; смущение мое еще увеличилось, когда я услышал слова моего отца: «Ты отправишься туда через два дня, Карденио, и исполнишь волю герцога. Поблагодари бога, открывающего тебе путь, который приведет тебя к тому, чего ты заслуживаешь». И к этим словам он прибавил несколько отеческих советов.

«Наступил срок моего отъезда. Перед этим я вечером беседовал с Люсиндой и рассказал ей обо всем, что случилось, затем я сообщил обо всем ее отцу и просил его подождать несколько дней и никому не обещать ее руки, пока я не узнаю, чего хочет от меня Рикардо. Отец пообещал мне, а Люсинда подтвердила его обещание клятвами и слезами. Наконец я явился ко двору герцога Рикардо, и он встретил и принял меня так ласково, что зависть немедленно же начала свое злое дело: старые слуги герцога возненавидели меня, ибо они полагали, что знаки

его благоволения ко мне пойдут им в ущерб. Но особенно обрадовался моему приезду второй сын герцога, по имени Фернандо, юноша статный, изящный, щедрый и влюбчивый; вскоре он пожелал, чтобы мы стали близкими друзьями, и все только об этом и говорили. Хотя старший брат тоже любил и отличал меня, все же его отношение нельзя было сравнить с горячей привязанностью дон Фернандо. И так как между друзьями нет тайны, которую бы они не открыли один другому, а меня с дон Фернандо связывали не просто приятельские отношения, но и дружба, то стал он поверять мне все свои мысли и рассказал об одном своем любовном увлечении, которое очень его волновало. Он любил крестьянку, родители которой были богатыми вассалами его отца, и была она так прекрасна, скромна, разумна и добродетельна, что знавшие ее не могли решить, которому из этих достоинств принадлежит преимущество и первенство. Эти качества прекрасной крестьянки пробудили в дон Фернандо такую страсть, что для достижения своих желаний и победы над ее добродетелью, он решил дать ей слово жениться на ней, ибо видел, что иначе обречен был стремиться к невозможному. По долгу дружбы, которая связывала меня с дон Фернандо, я постарался привести самые основательные доводы и самые яркие примеры, чтобы удалить и отвлечь его от подобного намерения; видя однако, что ничто не помогает, я решил было обо всем этом сообщить его отцу, герцогу Рикардо. Но дон Фернандо, человек хитрый и умный, догадался и испугался моего решения, сообразив,

что по долгу доброго слуги я не скрою от герцога, моего господина, всего того, что может причинить столь великий ущерб его чести. Поэтому, чтобы отвлечь меня от этого намерения и обмануть, дон Фернандо заявил, что он хотел бы уехать на несколько месяцев, и что для него это — лучший способ перестать думать о красавице, покорившей его сердце; он прибавил, что ему хотелось бы вместе со мной поехать к моему отцу, а герцогу мы скажем, что едем посмотреть и купить хороших коней, ибо мой родной город славится лучшими лошадьми на всем свете. Как только я услышал эти слова, я заявил, что лучшего решения нельзя себе представить: мной руководила моя любовь к Люсинде, и мне так хотелось воспользоваться случаем и возможностью повидаться с нею, что, кажется, я одобрил бы и не столь благоразумное решение. Под влиянием этих мыслей и желаний я одобрил его намерение, поддержал его решение и попросил как можно скорей привести его в исполнение, ибо действительно разлука с любимой может рассеять самые упорные мысли о ней. Впоследствии я узнал, что когда он мне предлагал это, он уже, под видом супруга, наслаждался любовью своей крестьянки и теперь ждал только случая, чтобы с наибольшей безопасностью открыть свою тайну; ибо он очень боялся и не знал, как поступит его отец герцог, узнав о его провинности. Но так как любовь юношей по большей части есть одна чувственность, и последняя цель ее — наслаждение, а потому, достигнув предела, она кончается и идет вспять (ибо чувство, казавшееся



еся любовью, не может преступить границу, положенную ему природой и не существующую для истинной любви),— по этой самой причине, как только дон Фернандо наслаждался любовью своей крестьянки желания его успокоились и жар его остыл, и если раньше он притворялся, что желает уехать, чтобы излечиться от любви, то теперь он искренне хотел удалиться, чтобы избавиться от возлюбленной. Герцог дал нам разрешение и велел мне сопровождать сына.

«Мы приехали в мой родной город; отец мой принял дон Фернандо сообразно его высокому званию, а я тотчас же свиделся с Люсиндой, и мои желания ожили (впрочем, они никогда не только не умирали, но и не ослабевали). На горе я доверил свою тайну дон Фернандо, ибо мне казалось, что его горячее дружеское чувство ко мне налагает на меня обязательство ничего от него не утаивать. Я так расхвалил ему красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в нем желание посмотреть на девушку, украшенную столькими достоинствами. Злосчастный рок побудил меня удовлетворить его желание, и однажды вечером я показал ему Люсинду при свете свечи в окне, у которого мы обычно с ней беседовали. Он увидел ее в корсаже, и она показалась ему столь прекрасной, что он сразу забыл всех красавиц, виденных им дотоле. Он онемел, потерял голову, был очарован, — словом, пламенно в нее влюбился (о силе его страсти, которую он скрывал от меня и только наедине доверял небу, вы сможете заключить из дальнейшего рассказа о моих несчастиях). И вот, чтобы вос-

пламенить его еще больше, судьбе было угодно, чтобы однажды попало ему на глаза одно письмо Люсинды ко мне, в котором она убеждала меня просить у отца ее руки; она писала об этом так умно, скромно и нежно, что дон Фернандо, прочитав письмо, объявил мне, что она одна владеет всеми сокровищами красоты и ума, которые обычно на свете распределяются между всеми женщинами. И тут я откровенно должен признаться, что хотя я и понимал, что у Фернандо были справедливые основания восхвалять Люсинду, все же мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст, и я начал бояться и остерегаться его, ибо не проходило и минуты без того, чтобы он не просил меня поговорить о ней,—и о чем бы мы ни начинали с ним беседу, он непременно сводил ее на Люсинду; а это вызывало во мне нечто похожее на ревность,—не потому, чтобы я опасался какого-нибудь удара со стороны добродетельной и верной Люсинды, а потому, что судьба, сулившая мне счастье, заставляла меня бояться за него. А дон Фернандо всегда старался просматривать все письма, которые я посылал Люсинде и которые она писала мне в ответ, под предлогом, будто ему очень нравилось наше умение тонко выражать чувства. И вот раз случилось, что Люсинда попросила меня прислать ей один рыцарский роман, который ей особенно нравился: это был *Амадис Гальский*...

Как только дон Кихот услышал название рыцарского романа, он тотчас же сказал:

— Если бы ваша милость в самом начале своего рассказа заявила, что ее милость сеньора Люсинда

любила рыцарские романы, вам бы не пришлось тратить много слов, чтобы убедить меня в возвышенности ее ума, да и не могла бы она быть столь разумной, как вы это, сеньор, описали, если бы у нее не было вкуса к такому увлекательному чтению. Поэтому со мной вам незачем тратить слова, изображая ее красоту, добродетель и ум: с меня достаточно ее любви к этим книгам—и я готов признать ее самой прекрасной и мудрой женщиной на свете. И мне бы хотелось, сеньор, чтобы вместе с *Амадисом Галльским* ваша милость послала ей также и славного *дон Рухеля Греческого*, ибо я уверен, что сеньоре Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарайя, а также остроумие пастушка Даринеля и прелестные буколические стихи, которые он пел и исполнял с таким вкусом, уменьем и естественностью. Впрочем, наступит время и вы исправите свою оплошность, что очень легко сделать, если ваша милость соизволит отправиться со мной в мою деревню: там я предоставляю вам более трехсот книг, которые служат мне услугой души и утехой жизни; впрочем, я вспоминаю, что этих книг у меня уж более нет, и виной тому—коварство злых и завистливых волшебников. Простите мне, ваша милость, за то, что я нарушил обещание не прерывать вашего рассказа, но когда я слышу о рыцарских делах и странствующих рыцарях, мне столь же невозможно воздержаться от разговора о них, как лучам солнца—не греть, а лучам луны—не увлажнять землю. Итак, простите и продолжайте, ибо уже пора нам вернуться к делу.



Пока дон Кихот произносил эту речь, Карденио сидел, опустив голову на грудь, и по всему было видно, что он пребывает в глубокой задумчивости. Дон Кихот уже два раза просил его продолжать свой рассказ, но он не подымал головы и не отвечал ни слова; наконец, по прошествии долгого времени, он выпрямился и сказал:

— Я твердо уверен—и никто на свете меня не разубедит и не заставит переменить мнение, ибо кто думает или полагает иначе, тот просто болван; да, я твердо уверен, что этот величайший плут, мастер Элисабат, был в любовной связи с королевой Мадасимой.

— Ничего подобного, клянусь вам чем угодно!—воскликнул в великом гневе дон Кихот (на самом деле выразившийся, по своему обыкновению, несколько сильнее)—это страшная клевета или, лучше сказать, подлость: королева Мадасима была благороднейшей сеньорой, и нельзя себе представить, чтобы она находилась в связи с каким то коновалом. А кто утверждает противное, лжет, как самый последний негодий, и я ему это докажу и на коне и пеший, и вооруженный и безоружный, и днем и ночью—одним словом, как ему больше по вкусу.

Карденио весьма внимательно смотрел на него: его уже охватил приступ безумия, и теперь ему было не до продолжения своей истории, да и дон Кихот не был расположен ее слушать—так возмутило его сказанное о королеве Мадасиме. Удивительное дело! Он с таким жаром заступился за нее, как если бы она действительно была его истинной и природной повелительни-

цей: вот до чего довели его окаянные книги! Итак, в виду того, что Карденио был охвачен безумием,—а тут еще он услышал, что его называют лжецом, негодяем и тому подобными бранными именами,—эта шутка ему не понравилась; он поднял валявшийся у его ног камень и с такой силой запустил его прямо в грудь дон Кихоту, что тот упал навзничь. Санчо Панса, увидев, как расправляются с его господином, со сжатыми кулаками набросился на сумасшедшего, но Оборванец встретил его таким манером, что одним ударом сбил с ног, вскочил на него и пересчитал ему ребра в свое полное удовольствие. Пастух хотел его защитить, но и его постигла та же участь—после чего, хорошенько исколотив и помяв всех троих, Оборванец с невозмутимым спокойствием удалился в горы. Санчо приподнялся в ярости, что его отдубасили ни с того ни с сего и налетел на пастуха, желая отомстить ему: он кричал, что во всем виноват пастух, не предупредивший их, что человек этот подвержен припадкам безумия; что ежели бы он это сделал, они бы остереглись и приготовились к защите. А пастух отвечал, что он предупреждал, а если Санчо просто не дослышал, то сам в этом виноват. Санчо что то возразил пастуху, пастух возразил Санчо, от слов они перешли к делу, вцепились друг другу в бороды и стали так колотить один другого, что если бы дон Кихот не водворил мира, то они кажется, растерзали бы друг друга в куски. Схватившись с козопасом, Санчо кричал:

— Оставьте меня, ваша милость, сеньор Рыцарь Печального Образа! Этот молодчик—такой

же мужик, как и я, никто его в рыцари не производил, а потому я имею право отплатить ему за нанесенные мне оскорбления и пуститься с ним в рукопашную, как честный человек.

— Это то верно, — сказал дон Кихот, — но я знаю, что он несколько не виноват в случившемся.

На том он их и помирил, а затем спросил пастуха, нет ли какогонибудь способа отыскать Карденио, ибо ему чрезвычайно было любопытно узнать конец истории. Пастух повторил то, что уже говорил раньше: он мол точно не знает, где обитает Карденио, и прибавил, что если дон Кихот постранствует еще в этих местах, он наверное его встретит либо в здравом уме, либо в припадке сумасшествия.

## ГЛАВА XXV

*в которой рассказывается о необычайных происшествиях, случившихся с доблестным ламажским рыцарем в Сьерра-Морене, и о покаянии, которое он наложил на себя в подражание Мрачному Красавцу*



опрощавшись с пастухом, дон Кихот снова сел на Росинанта и велел Санчо ехать за ним на осле\*; тот повиновался с большой неохотой. И вот понемногу стали они приближаться к самым глубоким ущельям. Санчо умирал от желания поговорить со своим господином, однако ждал, чтобы тот начал первый, ибо не хотел нарушить его приказ; под конец, не выдержав столь долгого молчания, он все же заговорил:

— Сеньор дон Кихот, благословите меня, ваша милость, и дайте мне разрешение,—я хочу как можно скорей вернуться домой к жене и детям: с ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается; а ваша милость велит мне странствовать ночью и днем по этой пустыне, да еще и не разговаривать, когда мне хочется,—так уж тогда лучше

закопайте меня живым. Если бы судьбе было угодно, чтобы животные умели говорить, как говорили они когда-то во времена Гисопета \*, так было бы еще полбеды: я бы тогда рассказывал ослику все, что взбредет мне на ум, и так коротал бы свой печальный век. Легкая ли это штука, и может ли на это хватить человеческого терпения: ты всю жизнь ищешь приключений, а вместо того тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями и тузят кулаками, а при всем том еще не смей и рта раскрыть, не смей высказать того, что накопело у тебя на сердце,—будто ты немой!

— Я понимаю тебя, Санчо,—ответил дон Кихот,—ты умираешь от желания, чтобы я снял запрет, наложенный на твой язык. Ну, так и быть—снимаю его, говори что хочешь, но при условии, что эта отмена будет в силе только пока мы находимся в этих горах.

— Пускай так,—ответил Санчо;—вот теперь то я наговорюсь, а там один бог знает, что будет. Итак, пользуясь вашим разрешением, я скажу вот что: чего ради понадобилось вашей милости заступаться за эту самую королеву Махимасу, или как ее там зовут? И какое вам дело до того, что этот Аббат был ее дружкой или не был? Ведь вы им не судья,—а если бы вы не перебили сумасшедшего, он бы кончил свою историю, и дело бы обошлось без удара камнем, без пинков и полдюжины оплеух.

— Уверяю тебя, Санчо,—ответил дон Кихот,—если бы ты знал подобно мне, как добродетельна и достойна была королева Мадасима, ты бы сказал, что я, наоборот, проявил слишком

много терпения, не проломив головы человеку, изрыгавшему такую хулу. Разве не величайшее кощунство думать и заявлять, что королева может быть наложницей какого-то костоправа? А на самом деле история рассказывает, что мастер Элисабат, о котором упоминал этот полоумный, был человек почтенный и мудрый советник, служивший королеве, как лекарь и управитель. Думать же, что она была его любовницей—это вздор, заслуживающий сурового наказания. Впрочем, ты и сам согласишься, что Карденио сам не знал, что говорил, если припомнишь, что когда он это говорил, он уже находился не в своем уме.

— Вот именно,—ответил Санчо;—так по тому то и не стоило обращать внимания на слова полоумного. Ведь если бы судьба не спасла вашу милость и если бы камень попал вам не в грудь, а в голову, хороши бы мы были, защитники королевы,—да посрамит ее господь бог! А с Карденио и взять нечего: он сумасшедший!

— Каждый странствующий рыцарь обязан защищать честь женщины и против здравых в уме и против сумасшедших, а тем более когда дело идет о чести столь высокой и почитаемой королевы, как королева Мадасима, которую я особенно чту за ее добродетели. Ибо она была не только прекрасна, но и на редкость умна, и с большим мужеством переносила все выпавшие на ее долю бедствия. А общество и советы мастера Элисабата были ей в помощь и утешение, и помогали ей пройти через все испытания с благоразумием и терпением. Вот почему невежественная и злонаправная чернь со-

чинила и стала утверждать, что они были любовниками; но я еще раз скажу и двести раз повторю: все, думающие и говорящие так, — лжецы!

— Да я вовсе этого не думаю и не говорю, — ответил Санчо. — Пускай их себе кушают это с хлебом! Были они любовниками или не были — в том они богу дадут ответ. Мое дело сторона, я ничего не знаю и знать чужих дел не желаю. Кто покупает, да плутует, тот на собственном кошеле это чувствует. Голяком я родился, голяком и сейчас остаюсь; и ничего я не выиграл и не проиграл. Были ли они любовниками — мне то какое дело? Часто думаешь, что у людей есть сало, а смотришь — у них и крючка то для него нет. На замок поле не замкнешь, а что до пересудов, так и на самого бога наговаривали!

— Господи помилуй, — воскликнул дон Кихот, — что это ты за вздор несешь, Санчо? Что общего между нашей беседой и поговорками, которые ты нанизываешь одну на другую? Помолчи, ради всего святого, Санчо, и впредь заботься о своем осле и не вмешивайся в то, что тебя не касается. Напряги все свои пять чувств и пойми наконец, что все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и согласовано с законами рыцарства, которые я знаю лучше всех рыцарей, какие когда либо были на свете.

— Скажите, сеньор, — ответил Санчо, — а это тоже полагается по законам рыцарства, чтобы мы без пути и дороги блуждали в горах и отыскивали сумасшедшего? А когда мы его найдем, так ему, пожалуй, еще вздумается довершить то, что он начал, — я говорю, конечно, не о рассказе,

которого он не кончил, а о голове вашей милости и о моих боках, которые он еще не до конца сокрушил.

— Замолчи, еще раз тебе говорю, Санчо, — сказал дон Кихот, — и заметь себе, что в эти места влечет меня не одно только желание разыскать сумасшедшего: я собираюсь совершить здесь такой подвиг, который навеки прославит мое имя по всему лицу земли и ляжет печатью на все деяния, благодаря которым странствующий рыцарь может достичь славы и совершенства.

— А подвиг этот очень опасен? — спросил Санчо Панса.

— Нет, — ответил Рыцарь Печального Образа, — хотя впрочем дело может обернуться и так, что вместо удачи нам придется и пострадать; однако, все будет зависеть от твоего усердия.

— От моего усердия? — воскликнул Санчо.

— Да, — продолжал дон Кихот. — Я намерен послать тебя в одно место, и если ты возвратишься скоро, то и испытания мои скоро кончатся и скоро начнется моя слава. А так как не следует мне держать тебя в неизвестности и в недоумении по поводу смысла моих речей, то я скажу тебе, Санчо, что знаменитый Амадис Галльский был одним из самых совершенных странствующих рыцарей. Нет, я нехорошо выразился: он был не одним из совершенных рыцарей, а единственным, первым и несравненным из всех рыцарей, существовавших на свете в его время. Стыд и позор дон Бельянису и каждому, кто утверждал, что хоть в чемнибудь сравнился с ним; клянусь тебе, они заблуждались. Скажу далее, что всякий художник,



стремящийся прославиться в своем искусстве, старается подражать творениям тех мастеров, которых он признает величайшими, и то же правило распространяется на все видные ремесла и занятия, кои служат к украшению государства; и тот, кто желал бы прослыть человеком благоразумным и терпеливым, должен подражать и подражает Улиссу и его трудам, — ибо в его лице Гомер дал нам живое изображение благоразумия и терпения, точно так же как Вергилий в лице Энея изобразил нам добродетели почтительного сына и мудрость отважного и расчетливого вождя: и тот и другой изобразили и описали своих героев не такими, какими они были, а какими они должны были быть, желая поставить их достоинства в пример будущим поколениям. Точно так же и Амадис был компасом, светочем и солнцем всех отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под знаменами любви и рыцарства, обязаны ему подражать. Приняв все это во внимание, я считаю, друг мой Санчо, что тот из странствующих рыцарей наиболее приблизится к совершенству в рыцарском деле, который будет подражать Амадису более, чем всем другим,—а рыцарь этот в наивысшей мере проявил свое благоразумие, доблесть, мужество, выносливость, твердость и любовь в ту минуту, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, удалился он на Пенья Побре и возложил на себя покаяние, переименовав свое имя на имя Бельтенеброс\*, поистине весьма выразительное и соответствующее жизни, которую он сам добровольно избрал. Притом же мне, конечно, легче подражать ему в этом, чем,

по его примеру, рубить великанов, обезглавливать драконов, убивать андриаков\*, обращать в бегство армии, рассеивать флотилии и разрушать чары волшебников; да и местность эта очень пригодна для задуманного мною дела; а потому не следует пропускать удобный случай, столь услужливо подставляющий мне свои локоны\*.

— Но что же, в конце концов, — спросил Санчо, — ваша милость собирается предпринять в этом уединенном месте?

— Да ведь я же тебе сказал, — ответил дон Кихот: — я намерен подражать Амадису и вести себя так, как будто я лишился разума, впал в отчаянье и неистовство, — а заодно я буду подражать и доблестному дон Роланду, когда он по следам у источника догадался, что прекрасная Анджелика обесчестила себя с Медором\*: тогда он с горя лишился ума, стал вырывать деревья, мутить воды прозрачных ручьев, убивать пастухов, истреблять стада, поджигать хижины, рушить дома, уводить кобылиц и проделывать тысячи других безумств, достойных вечного прославления историков. Впрочем, я не собираюсь во всем следовать примеру Роланда, Орlando или Ротоландо (его можно назвать любым из этих имен) и точь в точь проделывать все безумства, которые он совершил, задумал или высказал: нет, я по мере сил воспроизведу лишь те из них, которые представляются мне наиболее существенными. А то, пожалуй, удовлетворюсь подражанием одному Амадису, который никаких разрушительных безумств не проделывал, а все же одними своими слезами и чувствами добыл себе непревзойденную славу.

— Сдается мне,—сказал Санчо,—что рыцари, предельывавшие все эти штуки, были к тому вынуждены и не без причин каялись и выкидывали все эти глупости. Но у вашей то милости какая причина с ума сходить? Какая такая дама вас отвергла? Разве вы нашли какие нибудь следы и догадались, что сеньора Дульсинея Тобосская побаловалась с мавром или христианином?

— В том то вся суть,—ответил дон Кихот,— в том то вся тонкость этого дела! Если страствующий рыцарь сходит с ума, имея на то полное основание—так в этом нет ни заслуги, ни подвига. Другое дело—обезуметь так, без всякой причины; тогда моя дама поймет, на что я способен, если меня зарядить, раз я и в холостую могу так действовать. А к тому же еще долгая разлука с госпожей моей Дульсинеей Тобосской, навеки покорившей мое сердце, является для меня вполне достаточным основанием; ведь ты слышал слова нашего приятеля, пастуха Амбросио: в разлуке с любимым мы страдаем и всего боимся? Итак, друг Санчо, не теряй времени, стараясь отговорить меня от столь редкостного, счастливого и доселе невиданного подражания. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и, пока ты не вернешься с ответом, я безумствую и буду безумствовать; и если в ответе своем она воздаст должное моей верности, тогда кончится мое безумие и покаяние, а если нет, то я и вправду сойду с ума—и уж тогда ничего не буду чувствовать. Итак, что бы она ни ответила, страдания и испытания мои кончатся: если ты принесешь мне радость, я наслажусь ею в здравом уме, если же горе, то я не

почувствую его, ибо лишусь рассудка. Однако, скажи мне, Санчо, не правда ли — ты уберег шлем Мамбрина? Ибо я заметил, что ты поднял его с земли после того, как тот неблагодарный малый хотел разбить его на куски. Но это ему не удалось; теперь ты видишь, что шлем этот крепкого закала.

На это Санчо ответил:

— Ей богу, сеньор Рыцарь Печального Образа, вы иногда такое говорите, что у меня просто сил и терпенья не хватает. Слушаю я вас иногда и приходит мне в голову, что все ваши разговоры о рыцарстве, о завоевании царств и государств, о пожаловании мне острова и оказании милостей и почестей, как это в обычае у странствующих рыцарей, что все это вы болтаете на ветер, и все это одна побывальщина или небывальщина, — как бишь там это называется. Услышь ктонибудь, что ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина и вот уж пятый день все никак не может в этом разувериться — что он о вас подумает, раз вы говорите и утверждаете такие вещи? Не иначе, что вы с ума спятили. Этот таз у меня в сумке, и хоть весь оп исковеркан, все же я его подобрал; если бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду им пользоваться для бритья.

— Слушай, Санчо, — сказал дон Кихот, — как ты только что поклялся божьим именем, так и я клянусь тебе: не было еще на свете оруженосца с такой тупой головой, как у тебя. Неужели за то время, что ты меня сопровождаешь, ты не успел еще убедиться, что все вещи, к кото-

рым прикасаются странствующие рыцари, кажутся химерами, безумием и сумасбродством, словно все вокруг них делается наыворот? И это не потому, что и на самом деле они таковы, а потому, что нас постоянно окружают целые толпы волшебников, которые колдуют и подменяют все предметы, в зависимости от того, хотят ли они нас облагодетельствовать или погубить; и вот, то, что тебе представляется бритвенным тазом, мне представляется шлемом Мамбринна, а другому представится еще чем-нибудь. Мудрец, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы истинный и подлинный шлем Мамбринна казался тазом: иначе все стали бы преследовать меня и старались бы отнять его, ибо шлем этот—великая драгоценность. Но люди думают, что это всего на всего бритвенный таз и потому не добиваются его;—вспомни только, что наш противник сначала попытался его сломать, а потом швырнул на землю и даже не потрудился поднять; уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы так его не оставил. Береги же его, друг мой, ибо пока что он мне не нужен; сейчас, напротив, я сниму с себя все доспехи и останусь нагим, как мать родила, если только в покаянии своем решу подражать более Роланду, чем Амадису:

В таких беседах доехали они до подножья высокой горы, которая высилась одинокой скалой среди множества других гор. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Там росло множество диких деревьев, а растения и цветы делали это место

еще более приятным. Эту лужайку Рыцарь Печального Образа избрал местом своего покаяния и, завидев ее, заговорил громким голосом, как умалишенный:

— О небо, вот место, которое я назначаю себе и избираю, чтобы оплакивать ниспосланные мне тобой несчастья! Вот место, где влага моих глаз сольется со струями ручейка, где от беспрестанных глубоких вздохов моих будут непрерывно шелестеть листья горных деревьев, свидетельствуя и повествуя о печали истерзанного сердца. О, кто бы вы ни были, сельские божества, живущие в этом необитаемом месте, услышите жалобы злосчастного любовника! Долгая разлука и ревнивые подозрения побуждают его томиться в горных ущельях и жаловаться на непреклонность бесчувственной красавицы—венца и завершения всего, что есть прекрасного на свете! О вы, напеи и дриады \*, живущие обычно в лесах по склонам гор, пусть быстроногие и похотливые Сатиры, что безответно в вас влюбляются, не смущают никогда вашего отрадного покоя и не мешают вам оплакивать вместе со мной мои невзгоды или, по крайней мере, без усталости внимать моим стонам! О Дульсинея Тобосская, день в ночи моей, слава моей муки, компас путей моих, звезда моего счастья,—пусть небо благосклонно исполнит все твои желания,—посмотри только, до какого состояния довела меня разлука с тобой и, милостивая, награди по заслугам мою верность! О уединенные деревья, отныне товарищи моего одиночества, подайте мне знак нежным колебаньем ветвей, что мое присутствие вам не в тягость! О ты, мой оруже-

носец, приятный спутник в моих удачах и невзгодах, запечатлей в своей памяти все, что я сейчас стану делать и сообщу и расскажи это единственной виновнице всех моих по-ступков!

Сказав это, он соскочил с Росинанта и в одно мгновение снял с него седло и уздечку, потом хлопнул его рукой по крупу и сказал:

— О конь, столь же прославленный своими подвигами, сколь обездоленный судьбою, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается! Ступай, куда хочешь, ибо на челе твоём написано, что ни Гиппогриф Астольфа, ни знаменитый Фронтино, столь дорого обошедшийся Брадаманту\*, не сравнятся с тобой в быстроте.

А Санчо, увидев это, сказал:

— Чорт бы побрал того, кто избавил нас от труда расседлывать серого! Уж я бы тоже сумел похлопать его по спине и наговорить ему всяких похвал. Впрочем, если бы он был тут, я бы ни за что не согласился его расседлать: зачем бы это было нужно? Какое ему дело до безумств влюбленных, впавших в отчаяние, раз богу было угодно, чтобы его хозяином был я, который ничуть не влюблен? Но, по правде говоря, сеньор Рыцарь Печального Образа, если ваша милость в серьез собирается отослать меня, а потом спятить с ума, так следовало бы опять оседлать Росинанта: он заменит мне пропавшего серого, и таким образом я скорее доседу и возвращусь; если же мне придется идти пешком, так уж я и не знаю, когда я туда доберусь и когда вернусь обратно, ибо, в сущности говоря ходок я плохой.

— Ну что ж, — ответил дон Кихот, — пусть будет по твоему, — мысль твоя не плоха; и ты отправишься отсюда через три дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал ей обо всем этом.

— Да чего же мне еще смотреть? — сказал Санчо. — Мало я что ли посмотрелся?

— Ничего ты не понимаешь! — ответил дон Кихот. — Вот теперь я стану рвать на себе одежды, расшвыряю доспехи, буду биться головой о скалы и прочее в таком же роде, что должно привести тебя в изумление.

— Ради самого господя, — сказал Санчо, — бейтесь о скалы поосторожнее: ведь вы можете наткнуться на такую скалу и так о нее удариться, что вся эта ваша затея с покаянием разом кончится. И вот что я советую вашей милости: раз вы считаете, что в этом деле необходимо биться лбом и что без этого никак нельзя обойтись, и раз вся эта история сплошная выдумка, подделка и комедия, то не довольно ли будет с вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче, вроде ваты, а остальное предоставьте мне: уж я скажу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась лбом об острие скалы, твердое как алмаз.

— Благодарю тебя за доброе намерение, друг Санчо, — ответил дон Кихот, — но я должен тебе сказать, что все это я проделываю не в шутку, а в серьез, ибо иначе я нарушил бы законы рыцарства, запрещающие нам ложь, как нарушение устава, — а разве делать одну вещь вместо другой не то же самое, что лгать? Вот почему удары головой о камни должны быть подлин-



ными, крепкими и полновесными, без всякой примеси фальши и притворства. Необходимо также, чтобы ты оставил мне немножко корпии для лечения ран, раз уж волею судьбы мы потеряли бальзам.

— Хуже то, что мы потеряли осла,—ответил Санчо;—ведь на нем была и корпия и все остальное. А об этом проклятом питье, умоляю вас, ваша милость, лучше не напоминайте: стоит мне только услышать о нем — и у меня переворачивается не только душа, но и желудок. И еще прошу вас: вообразите, что назначенный вами трехдневный срок уже кончился, что все ваши безумства я уже видел и считаю это дело решенным и конченным, а я нашей сеньоре на скажу про вас разных чудес. Итак, пишите письмо и отправляйте меня поскорее, так как мне очень хочется пораньше вернуться и вызволить вашу милость из этого чистилища.

— Ты называешь это чистилищем, Санчо?—сказал дон Кихот. — Вернее было бы назвать это адом или еще похуже, если только есть на свете худшие места.

— Люди говорят,—ответил Санчо,—что для того, кто угодил в ад,—*nulla est retentio* \*.

— Не понимаю, что значит *retentio*,—сказал дон Кихот.

— *Retentio*,—отвечал Санчо,—означает, что кто попал в ад, не может уже оттуда выбраться. А с вашей милостью будет совсем наоборот, если только у меня не отнимутся ноги, чтобы прищоривать Росинанта. Как только я доберусь до Тобосо и предстану перед лицом нашей сеньоры Дульсинеи, так я ей такого наговорю о глу-

постях и безумствах (что одно и то же), которые ваша милость проделывала и продолжает проделывать, что станет она мягче перчатки, хотя бы до этого была тверже дуба; а затем, прихватив с собой ее сладкий как мед ответ, я на подобие колдуна прилечу обратно по воздуху и извлеку вашу милость из этого чистилища, которое только с виду похоже на ад, ибо вас не покидает надежда выйти из него,—а я уж вам докладывал, что у грешников в аду этой надежды нет, и я не думаю, чтобы ваша милость могла что либо мне возразить.

— Совершенно верно,—ответил Рыцарь Печального Образа.—Но каким же образом мы напишем письмо?

— И росписку на получение ослят?—прибавил Санчо.

— Все, все будет,—ответил дон Кихот;—но только у нас нет бумаги, и потому следовало бы нам по примеру древних писать на листьях деревьев или воощаных табличках, хотя впрочем найти здесь такие таблички столь же затруднительно, как и отыскать бумагу. Впрочем, вот счастливая мысль: ведь я могу отлично воспользоваться для этого записной книжкой, принадлежавшей Карденио! А ты в первом же местечке, куда приедешь, постарайся разыскать какогонибудь школьного учителя или хотя бы ризничего и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге и красивым почерком; только смотри, не давай его писарям, которые обычно пишут не отрывая пера от бумаги, так что их почерк сам сатана не разберет.

— Ну, а как же быть с подписью?—спросил Санчо.

— Амадис никогда не подписывал своих писем,—ответил дон Кихот.

— Так то оно так,—сказал Санчо,—а только росписка непременно должна быть за подписью, а если дать ее перебелить, так наверное скажут, что подпись поддельная, — и я так и останусь без ослят.

— Росписку свою я подпишу в книжке, и когда племянница увидит мою руку, она без всяких затруднений исполнит мое поручение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: «Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа». И неважно что это будет написано другим, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать, и во всю свою жизнь не видела ни моих писем, ни моего почерка, ибо наша взаимная любовь всегда была платонической и дальше почтительных взглядов никогда не шла. Да и то смотрели мы друг на друга весьма редко, и я могу по совести поклясться, что за все двенадцать лет, что я люблю ее больше света очей моих, которые рано или поздно покроются сырой землей, я не видел ее и четырех раз, и очень возможно что она то сама ни разу и не заметила, что я на нее смотрел: вот в какой строгости и замкнутости воспитали Дульсинею Лоренсо Корчуэло, ее отец, и Альдонса Ногалес, ее мать.

— Те-те-те!—воскликнул Санчо. — Так значит сеньора Дульсинея Тобосская никто иная, как дочка Лоренсо Корчуэло, иначе называемая Альдонса Лоренсо?

— Да,—ответил дон Кихот,—и она достойна быть царицей всего мира.

— Да я ее отлично знаю, — ответил Санчо; — барру \* она мечет так, что самый сильный пареня в деревне за ней не угонится. Накажи меня бог, она девка хоть куда, ладная да складная, — ражая баба: она хоть какого рыцаря, странствующего или собирающегося странствовать, за бороду из грязи вытащит, если только станет его любезной! Лопни я на этом месте, и силлица же у нее, а какой голос! Должен вам сказать, что однажды взобралась она на нашу колокольню и стала кликать батраков своего отца, работавших в поле, и хоть были они больше чем в пол миль от деревни, а слышали ее так же ясно, как будто стояли у самой колокольни. А что в ней самое хорошее, так это то, что она ничуть не жеманится, ко всем лезет \*, со всеми дурачится, и все ее смешит и потешает. Теперь я могу сказать, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумства, но что у вашей милости есть полное основание впасть в отчаяние и даже повеситься, — а если кто про это узнает, так наверное скажет, что поступили вы в высшей степени правильно, хотя бы потом сам черт потащил вас в ад. Мне уж не терпится тронуться в путь, чтобы поглядеть на нее; сколько дней уж я ее не видел, и, должно быть, она изменилась: она ведь постоянно в поле, на воздухе и на солнцепеке, — а от этого у женщин лица портятся. Ну, а теперь, сеньор дон Кихот, открою я вашей милости одну правду: до сего дня пребывал я в великом невежестве, ибо твердо и крепко полагал, что сеньора Дульсинел, в которую ваша милость влюблена, —

какая то принцесса или вообще важная персона, достойная тех богатых подарков, которые ваша милость ей посылала: ведь вы послали ей бискайца, каторжников и, должно быть, много и другого чего, — ведь наверно ваша милость одержала немало побед еще в ту пору, как я не состоял вашим оруженосцем. Но подумайте хорошенько, какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то есть я хочу сказать сеньоре Дульсинее Тобосской, в том, что ваша милость посылает к ней и будет посылать побежденных, а те будут падать перед ней на колени? Ведь может случиться, что в момент их прибытия она как раз будет расчесывать лен или молотить на гумне: тогда они, застав ее за такой работой, рассердятся, а ее ваш подарок рассмешит и обидит.

— Сколько раз уже я тебе твердил, Санчо, — сказал дон Кихот, — что ты великий болтун, и хоть голова у тебя тупая, вечно ты остроумничаешь. Но чтобы тебе было ясно, насколько ты глуп и насколько я умен, я расскажу тебе одну повестушку. Жила была молодая и красивая вдова; была она свободна, богата и весьма нестрогих нравов, и влюбилась она в молодого послушника, парня дюжего и рослого. Дошло это до сведения аббата, и однажды под видом отеческого наставления сказал он доброй вдове: «Удивляюсь я, сеньора, и не без причины: ваша милость — особа знатная, красивая и богатая, а влюбились вы в такого грязного, грубого и безмозглого мужика; а между тем в нашей обители есть столько магистров, лекторов и теологов, и ваша милость могла бы себе выбрать любую грушу по вкусу и сказать: «Этого не

желаю, хочу того». На что дама ответила ему весьма весело и непринужденно: «Ваша милость, сеньор мой, весьма заблуждается и очень отстала от века, если полагает, что я плохо выбрала дружка, хоть и кажется он престофилей: ибо в том, что я от него требую — он такой же философ, как Аристотель, а то и почище». Так вот, Санчо, в том, что мне надобно от Дульси-неи Тобосской, она не уступит самой высоко-родной принцессе на свете. Ибо не все поэты, прославляющие своих дам под произвольно вы-бранными именами, в действительности в них влюблены. Неужели ты думаешь, что все эти Амарилисы, Фили, Сильвии, Дианы, Галатеи, Фидиды и прочие дамы, которыми полны книги, романсы, лавки цырюльников и театры, были действительно женщинами из плоти и крови и возлюбленными тех, кто их воспевал или вос-певаает? Конечно же нет; большей частью поэты их просто выдумывают, чтобы было о ком пи-сать стихи и чтобы все считали их влюблен-ными или людьми, достойными любви. Так и с меня совершенно достаточно воображать и ве-рить, что эта славная Альдонса Лоренсо — де-вушка красивая и честная. Что же касается чи-стоты ее рода, то это не существенно: ведь никто не станет наводить о нем справок, как это делается при поступлении в какойнибудь орден \*, и потому для меня она — самая высоко-родная принцесса на свете. Ибо тебе следует знать, Санчо, — если ты только этого не знаешь, — что две вещи особенно возбуждают любовь, а именно — великая красота и добрая слава. и обе они в полной мере присущи Дульсине:

в красоте никто не сравнится с ней, а в доброй славе мало кто с ней поспорит. Одним словом, я считаю, что все мои слова — не более и не менее как чистейшая правда, и в воображении своем я рисую себе ее такой прекрасной и благородной, какой мне хочется ее видеть; с ней не сравнится Елена, с ней не в силах соперничать ни Лукреция, ни другие греческие, варварские и латинские знаменитые жены прошедших времен. И пусть люди говорят, что им угодно; ибо если невежды будут меня порицать, то строгие судьи не смогут осудить меня.

— Признаюсь, ваша милость вполне права, — ответил Санчо, — а я — осел. К чему только из уст моих вырвалось слово «осел»? Ведь в доме повешенного не говорят о веревке. Ну, пожалуйста письмо и прощайте — я отчаливаю.

Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо, а потом, окончив его, подзвал Санчо и сказал, что желает прочесть ему свое послание для того, чтобы тот запомнил его наизусть, на случай, если по дороге оно затеряется, ибо судьба столь к нему жестока, что всего можно опасаться. На это Санчо ответил:

— Да вы, ваша милость, напишите его в книжке раза два или три и передайте мне а уж я доставлю в целости; если же вы полагаете, что я выучу его наизусть, так уж это извините: память у меня такая дырявая, что я частенько и свое собственное имя забываю. Ну, а все таки, почитайте, мне будет очень приятно послушать: должно быть, оно написано в самый раз.

— Итак, слушай, что я написал, — сказал дон Кихот.

ПИСЬМО ДОН КИХОТА К ДУЛЬСИНЕЕ ТОВОССКОЙ

Высокая и властительная сеньора,

Раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки рыцарь, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, желает тебе здоровья, хотя сам и лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение несет мне гибель, — хоть и привычен я к страданию, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, о жестокая красавица, о возлюбленный враг мой, в том, в какое состояние ты меня привела. Если удостоишь меня помощи, я твой, если же нет, поступай, как тебе будет угодно: расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть.

Твой до гроба

Рыцарь Печального Образа.

— Клянусь жизнью моего батюшки, — воскликнул Санчо, выслушав это послание, — никогда сроду я не слыхал ничего более возвышенного! Диву даешься, как это ваша милость так складно передает свои мысли и как это все ловко подогнано к подписи «Рыцарь Печального Образа»! Да, ваша милость, право слово, сущий дьявол: чего вы только не знаете!

— В моем деле, — ответил дон Кихот, — все нужно знать.

— Ну, а теперь, — продолжал Санчо, — напишите ка вы, ваша милость, на обороте записочку



насчет трех ослят и подпишитесь как только можете разборчивей, чтобы каждый, взглянув, сразу же узнал ваш почерк.

— Охотно, — ответил дон Кихот и, написав, прочел следующее:

Велите, ваша милость сеньора племянника, выдать подателю настоящей ассигновки номер первый, моему оруженосцу Санчо Пансе, трех ослят из числа пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю вам выдать ему в возмещение за полученных мною здесь от него наличностью трех других. По совершении этого и получении от него росписки, наши счета с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морены, двадцать второго августа сего текущего года.

— Превосходно, — сказал Санчо, — а теперь, ваша милость, подпишитесь.

— Незачем подписываться, — ответил дон Кихот, — мне достаточно сделать росчерк — это все равно, что подпись: его хватит не только для трех ослят, а и для целых трех сотен.

— Верю вашей милости, — ответил Санчо. — Отпустите ка меня, — я пойду седлать Росинанта, — а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение: я сейчас и отправлюсь, а на безумства, которые ваша милость собирается проделывать, смотреть не стану, — все равно я скажу, что видел их такую уйму, что больше не потребуетя.

— Но, по крайней мере, я желаю, Санчо, — ибо это крайне необходимо, — я желаю, повторяю

тебе, чтобы ты увидел, как я сейчас проделаю нагишом дюжину-другую безумств, что займет какихнибудь полчаса. Если ты увидишь их собственными глазами, ты со спокойной совестью сможешь поклясться, что видел и те, которые тебе придет в голову прибавить к ним. И можешь быть уверен, что сколько бы ты их ни перечислил, на самом деле их будет гораздо больше.

— Ради самого бога, сеньор мой, не заставляйте меня смотреть на вашу милость в голым виде: мне так станет вас жалко, что я непременно разревусь, а я вчера вечером столько уж плакал из за серого, что у меня голова распухла, и я не в силах начинать сызнова. А если вашей милости так уж хочется показать мне какиенибудь безумства, так проделайте их одетый и поскорей, выбрав первые попавшиеся. Тем более, что для меня этого вовсе не требуется: как я уже вам докладывал, это только задержит мое возвращение с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Пускай сеньора Дульсинея твердо знает: ежели она не ответит, как полагается, так я приношу торжественный обет — надаю ей таких пинков и оплеух, что выколочу у нее из живота благоприятный ответ. Да помилуйте, как же это можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, так, ни с того ни с сего, спятил с ума из за такой... Нет уж, пусть она меня не заставляет договаривать, а то я такое загну, что ни ей, ни мне не поздоровится! Уж на это я мастер. Плохо она меня знает: а коли знала б, то постилась бы в день моего святого!

— По правде говоря, Санчо, — сказал дон Кихот, — кажется мне, что голова твоя не более в порядке, чем моя.

— Я не такой сумасшедший, — ответил Санчо, — но зато я вспыльчивее. Но оставим это; а вот, скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Не собираетесь ли вы выбегать на дорогу, как Карденио, и грабить пастухов?

— Об этом ты не беспокойся, — ответил дон Кихот; — если бы даже у меня и была провизия, я и то бы не стал есть ничего, кроме трав и плодов с этого луга и этих деревьев. Ведь вся тонкость моего предприятия и состоит в том, чтобы не есть и подвергать себя всяким лишениям.

На это Санчо ответил:

— А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги сюда.

— А ты хорошенько запомни приметы, — сказал дон Кихот, — я же постараюсь не уходить отсюда далеко и от времени до времени буду подниматься на самые высокие утесы, посматривая, не возвращаешься ли ты. Впрочем, для большей верности, чтобы не заблудиться и не потерять следы, нарежь побольше дроку, — видишь, сколько его растет кругом, — и разбросай его на небольших расстояниях, пока не выедешь на ровное место: по этим вехам и приметам ты, как по нити Тезея в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.

— Ладно, так я и сделаю, — ответил Санчо Панса.

Он сбрвал несколько веток дрока, попросил у своего господина благословения и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины, от времени до времени бросая ветки дрока, как велел ему его господин. Так он и уехал, хотя дон Кихот не переставал упрашивать его посмотреть хотя бы на парочку его безумств. Но не отъехав и ста шагов, Санчо вернулся и сказал:

— Ваша милость, вы весьма правильно давеча сказали, что мне следует посмотреть хотя бы на одно из ваших безумств, а не то я возьму грех на свою душу, коли поклянусь, что их видел,— хотя впрочем одно ваше великое безумство я уже видел: это то, что ваша милость здесь остается.

— Не говорил ли я тебе это самое?— сказал дон Кихот.— погоди немного, Санчо, ты не успеешь прочитать «Отче наш», как я уж их проделаю.

Поспешно скинув штаны, он остался в одной рубашке на голом теле и без долгих предисловий проделал два прыжка в воздухе, а потом перекувырнулся два раза, головой вниз и ногами вверх; тут перед глазами Санчо открылись такие подробности, что он, не желая увидеть их вторично, повернул Росинанта и двинулся в путь, вполне довольный и удовлетворенный, ибо теперь он мог поклясться, что господин его рехнулся. И здесь мы с ним расстанемся в ожидании его скорого возвращения.



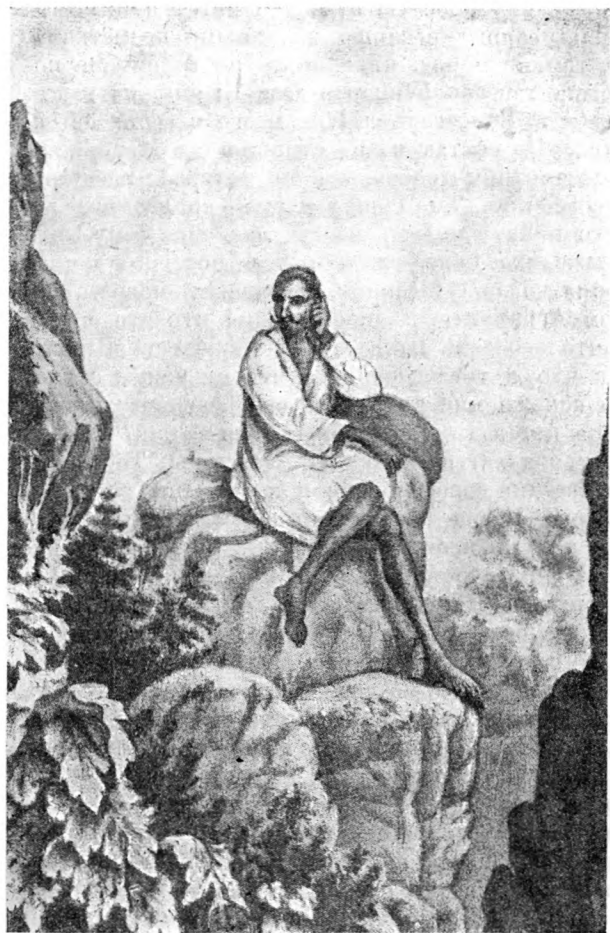
## ГЛАВА XXVI

*повествующая о дальнейших любовных подвигах  
дон Кихота в Северра-Морене*



озвращаясь к повествованию о том, что делал Рыцарь Печального Образа, оставшись один, наша история сообщает, что когда дон Кихот, одетый от головы до пояса и голый от пояса до пят, кончил свои кувыркания и прыжки и заметил, что Санчо, не пожелав присутствовать при дальнейших безумствах, уже уехал, он взобрался на вершину высокой скалы и принялся думать о том, о чем уже он думал множество раз, хоть и не мог до сих пор притти к какомунибудь решению, а именно, что лучше и полезнее: подражать ли Роланду в его бешеном неистовстве или Амадису в меланхолическом безумии? Рассуждая с самим собой, он сказал:

— Все говорят, что Роланд был добрым и отважным рыцарем, но в этом нет ничего удивительного, ибо, в конце концов, он был очарован. и убить его можно было не иначе, как



вонзив ему простую булавку в пятку, а он всегда носил сапоги с семью железными подмётками. И, тем не менее, никакие хитрости ему не помогли, так как Бернардо дель Карпио их разгадал и в Ронсевале задушил его в своих объятиях. Но оставим в стороне его храбрость, а рассмотрим теперь, как он потерял рассудок; несомненно, он сошел с ума, когда увидел у источника следы и пастух сообщил ему, что Анжелика более двух раз в послеполуденное время спала с Медором, курчавым мавром, пажом Аграманта. Если он решил, что это правда и что его дама нанесла ему такое оскорбление, так что ж тут особенного, что он сошел с ума? Но как же мне подражать его безумству, если у меня нет к тому подобных оснований? Ведь я могу поклясться, что моя Дульсинья Тобосская во все дни своей жизни и в глаза не видывала живого мавра в его настоящем наряде и что она так же невинна, как мать, которая ее родила \*. Я бы причинил ей явную обиду, если бы усомнился в этом и стал бы безумствовать в том же роде, как и неистовый Роланд. С другой стороны, я знаю, что Амадис Галльский, не теряя рассудка и не совершая никаких безумств, прославился своей влюбленностью, как никто на свете; ибо в истории его говорится, что когда его отвергла сеньора Ориана, повелев ему не появляться ей на глаза, пока не будет на то ее воля, он в сопровождении одного отшельника удалился на Пенья Побре и, поручив свою душу богу, исходил там слезами, пока небо не сжалилось над его великой скорбью и печалью. Если все это правда (что несомненно), то для чего



же мне брать на себя труд раздеваться до-нага и терзать эти деревья, не сделавшие мне никакого зла? Для чего мне мутить ясную воду этих ручьев, которые напойт меня, когда мне захочется? Да здравствует память Амадиса и да последует по мере возможности его примеру дон Кихот Ламанчский, о котором скажут то же, что говорят о другом герое: «великих дел он не свершил, но умер, к ним стремясь душою»\*. Правда, моя Дульсинея не отвергла и не презрела меня, но разве, как я уже сказал, мне не достаточно того, что я с нею разлучен? Итак, вперед и за работу: а вы, деянья Амадиса, придите мне на память и научите меня, с чего мне начать, подражая вам. Да, я припоминаю: он больше всего молился, поручая себя богу. Только как быть с четками, которых мне недостает?

Однако, он быстро придумал, как изготовить четки: оторвав широкую полосу от подола своей рубашки, болтавшей у него по ногам, он сделал на ней одиннадцать узелков, один из которых был покрупнее остальных, и получились четки, которых ему хватило на миллионы *Ave Maria*, прочитанных им за все время, пока он там находился. Одно только его смущало — что негде было найти отшельника, который бы исповедал и утешил его. Так проводил он время, разгуливая по лужку и сочиняя стихи либо по поводу своей печали, либо во славу Дульсинеи; он вырезывал их на коре деревьев и чертил на мелком песке. Но когда нашего рыцаря разыскали, из всех этих стихов уцелели и могли быть разобраны только следующие:

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дерева, растенья, травы,  
 Что вокруг меня стоите  
 Зелены, широкоглавы,  
 Коль не трудно, о, внимлите  
 Пеням жалобной отравы!

Пусть не даст забот к заботам  
 Вам печаль моя: ну где ей!  
 Чтоб сравниться с вами счетом  
 Слезы льются дон Кихотом,  
 Разлученным с Дульсинеей  
 Из Тобосо.

Местность дикая, пустая,  
 Цвет любовников куда  
 Загнала жестокость злая,  
 Чтобы бремя нес труда,  
 Почему, и сам не зная!

Треплется во всю Эротом,  
 Терпит и спиной, и шеей,  
 Так что впрямь водоворотом  
 Слезы льются дон Кихотом,  
 Разлученным с Дульсинеей  
 Из Тобосо.

Он, искавши приключенья  
 В тесной диких скал утробе,  
 Клял суровое презренье,  
 Очутился же в трущобе,  
 Встретив только зоключенья.

Ведь Амур, глухой ко льготам,  
 Нас бичем, не портупеей,  
 Так хватил, что уж чего там!  
 Слезы льются дон Кихотом,  
 Разлученным с Дульсинеей  
 Из Тобосо!

Эта прибавка слов *из Тобосо* к имени Дульсинеи немало насмешила прочитавших эти стихи, ибо они представляли себе, что дон Кихот, должно быть, воображал, что его куплеты будут непонятны, если он назовет свою даму просто Дульсинеей без прибавления *из Тобосо*. Это предположение оказалось правильным, так как впоследствии он сам в этом признался. Он написал еще много других стихов, но, как мы уже сказали, только эти три куплета удалось разобрать и прочесть целиком. Так он и проводил время: сочинял стихи, вздыхал и взывал к Фавнам и Сильванам этих лесов, к нимфам ручьев, к жалобному и влажному Эхо, умоляя их услышать его, ответить и утешить; а также искал он разных трав, чтобы поддержать свои силы до возвращения Санчо, — и если бы тот вернулся не через три дня, а через три недели, он нашел бы Рыцаря Печального Образа таким изменившимся, что и сама мать, произведшая его на свет, не узнала бы его.

А теперь оставим его, поглощенного стихами и воздыханиями, и расскажем о том, что случилось с Санчо Пансой во время его посольства. Выехав на проезжую дорогу, Санчо стал разыскивать путь в Тобосо и на другой день подъехал к постоялому двору, где некогда постигла его неприятность с подкидыванием на одеяле. Едва он завидел его, как почувствовал себя опять порхающим в воздухе, и потому ему не захотелось заезжать туда, хотя и следовало как будто это сделать: время было обеденное, а ему страшно хотелось съесть чегонибудь горячего, так как уже долгое время он ел одно холодное.

Эта необходимость заставила его подъехать к воротам, но он все колебался, входить ему или не входить; а пока он об этом раздумывал, из постылого двора вышло два человека, которые тотчас же его узнали, и один из них сказал другому:

— Скажите ка, сеньор лиценциат, этот верховой — не Санчо Панса ли, про которого экономка нашего искателя приключений говорила, что он отправился со своим господином в качестве оруженосца?

— Да, он самый, — ответил лиценциат, — и сидит он на лошади нашего дон Кихота.

Им нетрудно было его узнать, ибо это были священник и цырюльник из одной с ним деревни, — те самые, которые произвели обследование библиотеки и суд над книгами. А узнав Санчо Пансу и Росинанта, они приблизились, желая получить сведения о дон Кихоте, и священник, окликнув Санчо Пансу по имени, сказал:

— Друг Санчо Панса, где ваш господин?

Санчо Панса тоже немедленно их узнал, но решил скрыть, в каком месте и в каком положении остался его господин; поэтому он ответил, что господин его занят кое где одним делом величайшей важности, а каким, он сказать не может, хоть вырви они ему глаза.

— Нет, нет, Санчо Панса, — сказал цырюльник, — если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем — да впрочем уже и сейчас подумали, — что вы его убили и ограбили, раз вы едете верхом на его лошади. Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо.

— Нечего вам мне угрожать; не такой я человек, чтобы когонибудь убить или ограбить;

пускать себе каждый помирать, когда ему на роду написано или когда это угодно господа богу. Мой господин остался в горах и там в полное свое удовольствие предается покаянию.

И тут же без передышки и без остановки он рассказал им, в каком виде остался дон Кихот и какие с ним случились приключения; затем прибавил, что он везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобосской, дочери Лоренсо Корчуело, в которую его господин влюблен по самые уши. Священник и цырюльник были удивлены рассказом Санчо Панса; хотя они и знали о безумии дон Кихота, как знали и то, какого рода это безумие, а все-таки каждый раз, как они о нем слышали, удивлялись заново. Они попросили Санчо Пансу показать им письмо дон Кихота к Дульсинее Тобосской. Тот ответил, что оно находится в записной книжке и что ему велено переписать его на лист бумаги в первом же местечке, куда он придет; на это священник отвечал, что если только Санчо покажет ему письмо, он переписет его очень красивым почерком. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку, но не нашел ее, да и не нашел бы, если бы даже искал ее до сегодняшнего дня, так как книжка осталась у дон Кихота: тот позабыл ее передать, а Санчо и в голову не пришло самому ее спросить.

Не находя записной книжки, Санчо смертельно поблудней и поспешно стал шарить по всем карманам. Убедившись, что книжки нет, он не долго думая вцепился себе обеими руками в бороду, вырвал половину ее, а затем быстро и без передышки надавал себе с полдюжины

ударов кулаками по лицу и по носу, пока, наконец, из носа у него не потекла кровь. Увидев это, священник и дырюльник спросили, что с ним такое приключилось и за что он себя так казнит.

— Что со мной приключилось? — ответил Санчо. — А то приключилось, что я в одну минуту из под самого носа упустил трех ослят, из которых каждый стоит целого замка.

— Что это значит? — спросил дырюльник.

— Я потерял записную книжку, — сказал Санчо, — где было письмо к Дульсине и росписка за подписью моего господина, в которой он велит своей племяннице из четырех или пяти ослят, ему принадлежащих, выдать мне трех.

И тут он рассказал им о потере серого. Священник его утешил и сказал, что когда разыщется его господин, он уговорит его подтвердить свое обещание и еще раз написать росписку, но только на отдельном листе, как это водится и полагается, ибо документы, внесённые в записные книжки, никогда не принимаются и не оплачиваются.

После этого Санчо успокоился и заявил, что раз дело обстоит так, то потеря письма к Дульсине не очень его огорчает, так как он знает его почти наизусть и может продиктовать где и когда понадобится.

— Ну, так скажите его нам, Санчо, — попросил дырюльник, — а мы его запишем.

Санчо Панса принялся почесывать голову, чтобы извлечь из своей памяти содержание письма, и долго переминался с ноги на ногу; он поглядывал то на землю, то на небо, изгрыз

пол ногтя на одном пальце и наконец, порядком помучив слушателей, ожидавших, что такое он скажет, после длиннейшей паузы сказал:

— Чорт меня поberi совсем, сеньор лицензиат, никак не могу припомнить этого дьявольского письма; знаю только, что начиналось оно так: «Высокая и вместительная сеньора».

— Не может быть, чтобы «вместительная», — возразил цырюльник. — Должно быть, он написал «владетельная» или «властительная».

— Так оно и есть, — согласился Санчо. — А дальше, помнится мне, говорилось: «драный и бессонный, изъязвленный целует руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица», и еще что то дальше по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает, — очень хорошо все было расписано, а в конце стояло: «Ваш по гроб Рыцарь Печального Образа».

Священника и цырюльника не мало позабавила хорошая память Санчо Пансы; они расхвалили его и попросили повторить письмо еще два раза, для того, чтобы запомнить его наизусть и в свое время записать. Санчо повторил его еще три раза и снова наговорил три короба разной чуши. Затем он рассказал о делах своего господина; но о подбрасыванье на одеяле, случившимся с его собственной персоной на этом постоялом дворе, куда ему не охота было теперь заходить, он не сказал ни слова. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньоры Дульсинеи Тобосской его господин решил приложить все усилия, чтобы сделаться императором или по меньшей мере монархом, — так уж они между

собой порешили, — и что дело это совсем не трудное, если принять во внимание доблесть дон Кихота и мощь его руки. А как только это случится, он женит его (к тому времени Санчо овдовеет, ведь иначе и быть не может), и в жены ему даст какуюнибудь фрейлсну императрицы, наследницу богатых и обширных поместий на твердой земле, без всяких островов или островков, которые ему уж очень не по вкусу. Все это Санчо рассказывал с величайшей невозмутимостью, от времени до времени прочищая себе нос, и с таким дурацким видом, что священник и цырюльник снова изумились и подумали: каково же должно было быть безумие дон Кихота, если и этот бедняк заразился им и спятил с ума! Они решили не утруждать себя, объясняя Санчо его заблуждение, ибо рассудили, что не стоит его разубеждать, раз совесть его чиста: им же будет забавнее слушать его вздорные разглагольствования. Поэтому они посоветовали ему молить бога о здоровье дон Кихота и прибавили, что намерение его господина сделаться в будущем императором—дело исполнимое и возможное, не говоря уже о том, что его могут возвести в сан архиепископа или в другой равный этому чин. На это Санчо ответил:

— Сеньоры, а ежели фортуна повернет дело так, что моему господину вздумается стать не императором, а архиепископом, то хотелось бы мне знать: что странствующие архиепископы обычно жалуют своим оруженосцам?

— Обычно они жалуют им,—ответил священник,—какойнибудь бенефиций, должность священника или ризничего: это приносит хороший



годовой доход, не считая вознаграждения за требы, которые дают не меньше того.

— Но для этого необходимо, — возразил Санчо, — чтобы оруженосец не был женат и чтобы он по меньшей мере умел прислуживать во время мессы; а ежели так, то горе мне несчастному: я женат и не знаю даже первой буквы в азбуке! Что со мной будет, если господину моему взбрдет в голову сделаться архиепископом, а не императором, по примеру и обычаю странствующих рыцарей?

— Не тревожьтесь, друг мой Санчо, — сказал дырюльник, — мы упросим вашего господина, дадим ему добрый совет и поставим на вид, что ежели он сделается не императором, а архиепископом, то этим он возьмет грех на свою совесть; да первое ему ведь и легче, ибо у него больше военной доблести, чем учености.

— Да и мне так казалось, — ответил Санчо, — хотя должен я вам сказать, что у него, ко всему есть способности. А я вот что надумал: буду я молить господа бога, чтобы он вывел его на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпать великими милостями.

— Вы говорите разумно, — сказал священник, — и поступаете как добрый христианин. Ну, а теперь нам нужно действовать — принять меры, чтобы поскорей освободить вашего господина от бесполезного покаяния, которому, по вашим словам, он предается. И чтобы обдумать наш образ действий и закусить, — ибо час уже поздний, — давайте, зайдем на постоялый двор.

Санчо ответил, что они могут войти, а он подождет их снаружи и потом объяснит, почему

он не пожелал войти и почему это ему не подходит; но он их попросил вынести ему поесть чегонибудь горячего и кстати прихватить овса для Росинанта. Они расстались с ним и вошли в гостиницу и через несколько минут цырюльник вынес ему еду. Друзья наши долго между собой обсуждали, что бы им такое предпринять, чтобы достигь желанной цели, и наконец священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе дон Кихота и весьма подходящая к их затее: он объявил цырюльнику, что надумал переодеться странствующей девицей, цырюльник же должен был постараться изобразить из себя оруженосца; и в таком виде они отправятся в горы к дон Кихоту. Священник притворится оскорбленной и обездоленной девицей и попросит дон Кихота оказать ей милость, в которой тот, как доблестный странствующий рыцарь, не сможет ей отказать; а милость эта будет заключаться в том, чтобы дон Кихот последовал за ней повсюду, куда ей будет угодно его повести, и отомстил за обиду, нанесенную ей одним злым рыцарем. При этом она попросит позволения не снимать маски и не отвечать на расспросы, пока обида злого рыцаря не будет отомщена. Священник был уверен, что дон Кихот при этих условиях пойдет на все, и таким способом они уведут его оттуда, доставят на родину и там подумают, нет ли какогонибудь лекарства против его необычайного помешательства.

## Г Л А В А ХХVІІ

*о том, как священник и цырюльник привели в исполнение свой план и о других событиях, достойных упоминания в этой великой истории*



ырюльнику понравился план священника, и они тотчас же стали приводить его в исполнение. У хозяйки постоялого двора выпросили они юбку и головную повязку, а в залог оставили новую сутану священника. Цырюльник смастерил себе длинную бороду из бурого или рыжего бычьего хвоста, в который хозяин постоялого двора имел обыкновение втыкать свой гребень. Хозяйка спросила, для чего им нужны эти наряды. Священник в кратких словах рассказал ей о сумасшествии дон Кихота и прибавил, что им необходимо переодеться, дабы выманить его из горного ущелья, где он сейчас находится. И хозяин и хозяйка тотчас же догадались, что это — тот самый сумасшедший, который у них приготовлял свой бальзам, и что это его оруженосца подкидывали на одеяле; тут они рассказали священнику обо всем, что произошло в их дворе, не скрыв и того, что так тщательно

скрывал Санчо. Наконец, хозяйка нарядила священника так, что лучше и невозможно: надела на него суконную юбку с нашитыми на ней полосами из черного бархата шириною в ладонь, с набивными прорезами, и корсаж из зеленого



бархата, украшенный кантиками из белого атласа (такие юбки и корсажи носили, вероятно, во времена короля Вамбы\*). Священник не пожелал женского головного убора: он надел свой полотняный стеганный колпак, в котором обычно спал

почью, и повязал себе лоб полосой черной тафты, а из другой полосы сделал нечто в роде маски, которая отлично прикрывала его лицо и бороду. Поверх всего он нахлобучил шляпу, таких размеров, что она могла служить ему зонтом, и, запахнувшись в плащ, по дамски уселся на мула, а на другого мула сел цырюльник с бородой, которая доходила ему до пояса и была цвета не то белого, не то рыжего, ибо, как мы уже сказали, она была сделана из грязного бычьего хвоста.

Попрощались они со всеми, в том числе и с доброй Мариторнес, пообещавшей им на каждое зернышко четок прочесть по молитве: быть может, господь услышит ее, грешницу, и пошлет удачу в задуманном ими трудном и воистину христианском деле. Но не успели они отъехать от постоянного двора, как священнику пришло на мысль, что он поступает дурно, разъезжая в таком наряде, ибо не подобает духовной особе наряжаться женщиной, хотя бы и с самыми благими намерениями. Он сказал об этом цырюльнику и попросил его обменяться с ним платьем, — ибо гораздо приличнее, чтобы обездоленной девицей был цырюльник, а оруженосцем — священник: так, по крайней мере, он меньше унизит свой сан; и он прибавил, что, в случае его отказа, он решил бросить всю эту затею, и пускай дон Кихот отправляется к самому дьяволу. В эту минуту подъехал Санчо и, увидя их обоих в таком облачении, не мог удержаться от смеха. Цырюльник согласился исполнить желание священника, и тот, излагая новый план, стал его поучать, как ему надлежит себя вести и какие слова

говорить, чтобы побудить и заставить дон Кихота последовать за ним и покинуть берлогу, облюбованную им для своего бесплодного покаяния. Цырюльник ответил, что и без его уроков сделает все, как полагается; он заявил однако, что переоденется не раньше, чем подъедет к тому месту, где находится дон Кихот. Поэтому он уложил свои наряды, а священник нацепил себе бороду, и они поехали дальше, предводительствуемые Санчо Пансой; по дороге тот рассказал им, что у них произошло с безумцем, встреченным в горах, однако умолчал о находке чемодана с его богатым содержимым, ибо хоть и был наш парень простаком, а денежки он больно любил.

На следующий день прибыли они в местность, где Санчо разбросал ветки, чтобы по этому признаку легче отыскать место, где он оставил своего господина; узнав окрестности, он заявил, что это и есть вход в ущелье и что теперь пора им переодеться, если только это может им помочь освободить его господина. Дело в том, что священник и цырюльник еще раньше объяснили Санчо, что для спасения дон Кихота от бедствий, которые он сам себе придумал, им крайне важно приехать именно в таком виде и наряде, и убедительно просили его не открывать, кто они такие, и не говорить, что он их знает; если же дон Кихот спросит — а он не может не спросить — передал ли Санчо письмо Дульсинее, то он должен ответить, что передал и что она, за неграмотностью, велела ему сообщить на словах, что приказывает своему рыцарю, под страхом ее немилости, немедленно,

сию же минуту отправиться к ней: это мол крайне необходимо. Они прибавили, что намерены еще и сами с ним поговорить и с помощью всего этого надеются вернуть его к лучшей жизни и устроить так, чтобы он стал на верный путь и вскоре сделался императором или монархом. Что же касается архиепископства, то этого можно не опасаться. Санчо все это выслушал и твердо запомнил, потом поблагодарил их за намерение посоветовать его господину сделаться не архиепископом, а императором, ибо лично он был твердо убежден, что у императоров больше возможности жаловать своих оруженосцев, чем у странствующих архиепископов. Затем он прибавил, что ему бы следовало отправиться вперед и передать дон Кихоту ответ его сеньоры: может быть, одного этого будет достаточно, чтобы извлечь его оттуда, и тогда священнику и цырюльнику не придется так беспокоиться. Друзьям мысль Санчо Пансы понравилась, и они решили остановиться, подождать его возвращения и узнать, нашел ли он своего господина.

Санчо скрылся в горном ущелье, а они расположились на полянке, по которой протекал мирный ручеек в отрадной и свежей тени высившихся над ними скал и деревьев. Был один из самых знойных дней августа, когда жара в этих местах бывает особенно томительна, и прибыли они туда в три часа пополудни. Все это делало это место еще приятнее и располагало наших путешественников подождать здесь возвращения Санчо; так они и сделали. И вот, когда они расположились на отдых в тени де-

ревьев, до слуха их долетел голос, который сладко и искусно пел, без сопровождения какого либо музыкального инструмента; они не мало этому удивились, так как не ожидали, чтобы в таком месте мог жить столь умелый певец, ибо, хотя обычно и говорится, что в лесах и полях можно встретить пастухов с изумительными голосами, но это скорее поэтическое преувеличение, нежели правда. Но еще больше удивились они, убедившись, что слышат стихи, достойные не деревенских пастухов, а тонко воспитанных людей. И они были правы, ибо вот какие стихи пел неизвестный:

Что мне счастья рушит твердость?

Гордость.

Что дает печали древность?

Ревность.

Что в терпенье мне наука?

Разлука.

Значит, горестная мука

Никаких лекарств не знает,

Раз надежду убивает

Гордость, ревность и разлука.

Отчего болезнь в крови?

От любви.

Отчего преград столбы?

От судьбы.

Отчего мне казнь Эреба?

От неба.

Значит, смерти ждать мне, где бы

Ни был я, от странной хвори,

Раз угрозы, мне на горе,

От любви, судьбы и неба.



Что на помощь шлет мне твердь?

Смерть.

Что в любви не знает глена?

Измена.

Что исход от мук раздумья?

Безумье.

Значит глас благоразумья

Не велит искать спасенья,

Раз одно тут исцеленье—

Смерть, измена и безумье.

Время дня, погода, уединенность места, голос и искусство певца, — все это радовало и восхищало наших друзей. Они сидели, не шевелясь, в надежде, что певец будет продолжать. Однако видя, что молчание длится, они решили встать и отправиться на поиски сладкогласного певца; но едва они поднялись с места, как тот же голос раздался снова и запел следующий сонет:

Святая дружба, что, на крыльях вея  
И бросив на земле свою личину,  
Ввысь унеслась к блаженнейшему чину,  
Чтоб опочить в палатах Эмпирея,

Оттуда кажешь людям, сожалея,  
Высоких благ прикрытую картину,  
Откуда бьет порой, как чрез плотину,  
К добру порыв, что зла выходит злее.

Покинь, о дружба, небо и обману  
Не дай рядиться в платье высшей страсти,  
Чтоб вред чинить тем чистоте достойной,

Не потакай притворному дурману,  
Не то весь мир увидим мы во власти  
Вражды первоначальной и нестройной.

Пение завершилось глубоким вздохом, и наши друзья стали напряженно ждать, не запоеет ли этот голос опять. Но убедившись, что песня сменилась рыданием и жалобными стонами, они захотели узнать, кто этот несчастный, что поет так прекрасно и стонет так горестно. Не прошли они и нескольких шагов, как, обогнув одну скалу, увидели человека, вид и наружность которого вполне соответствовали описанию Санчо Пансы, когда он рассказывал им о Карденио. Незнакомец, заметив их, не испугался, а продолжал сидеть неподвижно, опустив голову на грудь с видом глубокой задумчивости; он взглянул на них только раз, когда они внезапно перед ним появились, и больше не поднимал глаз. Священник, обладавший даром слова (ему уже было известно несчастье Карденио, которого он успел узнать по внешним признакам), подошел к нему и в кратких, но разумных словах стал его просить и уговаривать покинуть эту горестную пустыню, чтобы не загубить здесь совсем свою жизнь, что было бы худшим из всех бедствий. Как раз в это время Карденио находился в здравом уме и не был подвержен яростному безумию, припадки которого так часто лишали его самообладания; а потому, увидя наших друзей, столь непохожих по платью на жителей этих дебрей, он был несколько озадачен. Его удивление увеличилось, когда он услышал, что они говорят о его делах, как о чем то хо-

рошо им известном (это было вполне ясно из речей священника), и он ответил следующим образом:

— Кто бы ни были вы, сеньоры, я вижу, что небо, всегда готовое помогать добрым, а нередко и злым, не по заслугам послало мне в эти места, удаленные от человеческого общежития, людей, которые ясными и разнообразными доводами пытаются доказать мне, что я поступаю безумно, избрав подобную жизнь. Вы желаете увлечь меня отсюда и вывести на верную дорогу; но вы не знаете, — а я то хорошо знаю, — что, уйдя от этого бедствия, я подвергнусь еще худшему страданию, и потому, должно быть, считаете меня человеком слабоумным или — что еще того хуже — совсем лишенным рассудка. Да и ничего не было бы удивительного, если бы вы так думали: я и сам вижу, что воображение, рисуящее мне мое несчастье, с такой силой толкает меня на гибель, что я никак не могу с ним бороться; я превращаюсь в камень, лишаясь чувств и разума, и что это именно так, я узнаю от пастухов, которые рассказывают мне, что я проделывал во время ужасных моих припадков и обращают мое внимание на следы моего бешенства. И тогда мне остается только тщетно жаловаться, бесплодно проклинать судьбу и в оправдание своих неистовств рассказывать всем, желающим слушать, о причине, их вызвавшей; ибо люди здравомыслящие, поняв причину, перестанут удивляться следствиям, и если и не исцелят меня, то по крайней мере не обвинят, и вместо того, чтобы сердиться на мое беспутство, посочувствуют моим несчастьям. Если вы, сеньоры, явились сюда с тем же намерением,

с которым приходили и другие до вас, то прошу вас: погодите уговаривать меня с таким благоразумием, а выслушайте сперва перечень моих неисчислимых горестей; быть может, дослушав его до конца, вы потеряете охоту утруждать себя, утешая меня в горе, не подлежащем никакому утешению.

Священник и цырюльник, жаждавшие услышать из собственных уст Карденио о причине его несчастья, стали просить его рассказать, обещая, что в помощь ему и в утешение они не предпримут ничего такого, чего бы он сам не пожелал. Тогда печальный кабалеро начал свою жалостную историю почти в тех же словах и выражениях, в каких он рассказывал ее дон Кихоту и козопасу несколько дней тому назад, когда из за мастера Элисабата и стремления дон Кихота в точности соблюсти честь рыцарства рассказ так и остался незаконченным, — как об этом уже было нами сказано. Но теперь доброй судьбе было угодно уберечь Карденио от припадков безумия и позволить ему рассказать свою историю до конца; и вот, дойдя до того момента, когда дон Фернандо нашел в книге об Амадисе Галльском письмо Люсинды, Карденио заявил, что он помнит это письмо наизусть и что глаголющее оно так:

#### Люсинда к Карденио

Каждый день открываю я в Вас новые достоинства, которые побеждают и заставляют меня ценить Вас все больше; и если Вам угодно, чтобы я заплатила Вам свой долг, не принося в жертву своей чести, Вы можете этого добиться: мой отец знает Вас и

сердечно любит меня; не насилуя моего сердца, он удовлетворит желание, которое Вы в праве питать, если только Вы уважаете меня, как Вы мне говорите и как я думаю.

— Это письмо побудило меня просить руки Люсинды, как я уже вам рассказывал, и оно же породило в дон Фернандо убеждение, что Люсинда — одна из самых умных и рассудительных женщин нашего времени. И как раз это самое письмо внушило ему желание разрушить мои планы прежде, чем мне удастся привести их в исполнение. Я сообщил дон Фернандо, что отец Люсинды настаивает на том, чтобы руки его дочери попросил для меня мой отец, и что я не смею заговорить об этом, опасаясь, как бы он мне не отказал: не потому, конечно, чтоб он сомневался относительно происхождения, достоинства, добродетели и красоты Люсинды, — всего этого у моей возлюбленной было достаточно, и союз с ней мог принести честь любому испанскому роду; нет, но я знал, что отец не желает моей столь ранней женитьбы, пока еще не выяснились планы герцога Рикардо насчет меня. Итак, я сказал дон Фернандо, что не дерзаю открыть свою тайну отцу, отчасти по вышеприведенной причине, отчасти же по другим, которые смущают меня, хотя, впрочем, я и сам не мог бы их объяснить; одним словом, мне казалось, что желание мое никогда не осуществится. На все это дон Фернандо ответил, что переговоры с моим отцом он берет на себя и устроит так, чтобы тот переговорил с отцом Люсинды. О тщеславный Марий! О жестокий

Катилина! О злокозненный Сулла! О вероломный Ганелон! О предатель Вельида! О мстительный Юлиан! О корыстный Иуда!\* О предатель, жестокий, мстительный и вероломный, какое зло причинил тебе несчастный, который с таким чистосердечием открыл тебе тайны и радости своей души? Какую обиду я тебе нанес? Разве когданибудь сказал я тебе слово или дал совет, которые не были направлены к приумножению твоей чести и пользы? Но на что жалуюсь я, несчастный? Ведь всем известно, что течение созвездий навлекает на нас бедствия, которые небеса с яростью и бешенством низвергают на нас, и тогда никакая земная сила не может их остановить и никакие человеческие ухищрения—отбросить! Кто бы мог подумать, что дон Фернандо, доблестный и умный дворянин, связанный со мной дружбой и обладающий возможностью удовлетворить все любовные причуды, какие только могли притти ему в голову, распалится желанием похитить у меня, можно сказать, единственную мою овечку, которая, притом, не была еще моей!

«Но оставим эти ненужные и бесполезные размышления и свяжем порвавшуюся нить моей истории. Итак, я продолжаю: задумав привести в исполнение свой коварный и злой замысел, дон Фернандо стал тяготиться моим присутствием и потому решил послать меня к своему старшему брату под предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за шесть лошадей, которых он купил нарочно в тот самый день, когда он вызвался переговорить с моим отцом, и единственно для того, чтобы отослать меня за день-

гами и в мое отсутствие удобнее выполнить свой преступный план. Мог ли я предупредить эту измену? Мог ли случайно о ней догадаться? Конечно нет; напротив, я с большой охотой согласился на поездку, радуясь его столь выгодной покупке. В тот же вечер я поговорил с Люсиндой и, сообщив ей о моем уговоре с дон Фернандо, просил ее твердо надеяться на счастливое увенчание нашей чистой и законной любви. Она не более меня подозревала о предательстве дон Фернандо и умоляла вернуться поскорей, ибо была уверена, что наши желания осуществятся, как только моему отцу удастся переговорить с ее отцом. Не знаю, что тут с нею сделалось, но только при этих словах глаза ее наполнились слезами, дыханье пресеклось, и, несмотря на все усилия, она не могла вымолвить ни слова,—а хотелось ей сказать многое, как мне казалось. Все это меня очень поразило, так как никогда раньше этого с ней не случилось: мгновения, которые благодаря счастливой судьбе и моим стараниям нам удавалось проводить вместе, всегда проходили для нас в радости и веселье, и никогда ни слезы, ни вздохи, ни ревность, ни подозрения, ни страхи не омрачали наших бесед. Я всегда восхвалял судьбу, давшую мне такую возлюбленную: славил ее красоту, восхищался ее умом и достоинствами, и она платила мне за это с избытком, хвала во мне те качества, которые ее любящим глазам казались достойными похвалы. А потом мы болтали о ста тысячах разных безделиц, о происшествиях среди наших соседей и знакомых, и наибольшей дерзостью, которую я себе позволял,

было то, что я почти насильно брал ее прекрасную белую руку и подносил к своим губам, поскольку мне это позволяли частые железные прутья разделявшей нас низкой решетки. Но вечером накануне печального дня моего отъезда она плакала, стонала и вздыхала и, уйдя, оставила меня в смятении и тревоге; я был испуган этими новыми и печальными для меня знаками ее скорби и огорчения, но, не желая разрушать своих надежд, я приписал все это силе ее любви ко мне и печали, которая при разлуке обычно охватывает влюбленных. Наконец, в печальной задумчивости, я уехал; душа моя была полна догадок и подозрений, хоть я и сам не знал, что я предполагаю и кого подозреваю,—это было ясным предвестием ожидавшей меня скорби и несчастья.

«Приехав в то место, куда я был послан, я передал письмо брату дон Фернандо. Меня приняли ласково, но задержали: мне было велено, к великому моему огорчению, подождать неделю и не показываться на глаза старому герцогу, по той причине, что дон Фернандо просил будто бы брата послать ему денег без ведома отца. Все это оказалось уловкой лживого дон Фернандо, ибо у брата его было достаточно денег, и он мог немедленно же отправить меня назад. Я хотел было ослушаться этого приказа и повеления, так как мне казалось невозможным прожить столько дней в разлуке с Люсиндой, особенно после того, как я покинул ее в такой грусти; и все же, как верный слуга, я повиновался, хоть и видел, что этим разрушаю свое собственное благополучие. Через четыре дня



после моего приезда явился ко мне посланец с письмом; я сразу же, не раскрывая его, догадался, что оно от Люсинды: это был ее почерк. Я распечатал его с волнением и страхом, в уверенности, что только крайне важная причина могла побудить ее написать мне в другой



город, ибо даже когда я жил в одном городе с нею, она писала мне редко. Но прежде чем прочесть письмо, я спросил посланного, кто вручил его ему и сколько времени он был в дороге. Он ответил, что однажды в полуденное время он случайно проходил по улице нашего

города, и какая то очень красивая сеньора окликнула его из окна; со слезами на глазах, она торопливо сказала ему: «Братец, если вы христианин, каким вы кажетесь, заклинаю вас богом как можно скорей доставить это письмо человеку, чье имя и адрес здесь написаны; разыскать его будет нетрудно. Вы совершите дело, угодное господа, а чтобы у вас хватило средств на это путешествие — вот вам деньги». С этими словами она бросила мне платочек, в котором было завязано сто реалов, вот это золотое кольцо и письмо, которое я вам уже вручил. И, не ожидая моего ответа, она отошла от окна; все же она успела увидеть, что я подобрал письмо и платочек и знаками показал ей, что исполню ее поручение. Убедившись, что мне хорошо заплатили за труды по доставке письма, и увидев по адресу, что меня посылают к вам, — а вас, сеньор, я отлично знаю, — я тронулся слезами этой прекрасной сеньоры и решил, никому не доверяясь, исполнить это дело лично. Письмо мне было вручено шестнадцать часов тому назад, и за это время я проделал весь известный вам путь, то есть восемнадцать миль.—Я с жадностью слушал рассказ этого необычного и услужливого посланца, и у меня так дрожали колени, что я едва мог стоять. Наконец, я вскрыл письмо и прочел следующее:

Слово, которое дон Фернандо дал Вам—переговорить с Вашим отцом для того, чтобы тот поговорил с моим—он сдержал, но не на пользу Вам, а в своих собственных интересах. Знайте, сеньор, что

он сам попросил моей руки, и мой отец, ослепленный теми преимуществами, которые дон Фернандо, по его мнению, имеет перед Вами, с такой готовностью согласился на его предложение, что через два дня должно состояться наше обручение; оно произойдет тайне и без приглашенных: свидетелями будет только небо и кое кто из домашней челяди. Можете себе представить, в каком я состоянии; решайте, следует ли Вам приехать; развязка этого события покажет, Вам, люблю ли я Вас или нет. Да будет угодно богу чтобы письмо мое попало в Ваши руки прежде, чем я буду принуждена отдать свою руку тому, кто не умеет хранить обещанной верности.

«Таково в общем было содержание этого письма, побудившего меня тотчас же пуститься в путь, не дожидаясь ни ответа, ни денег; ибо в эту минуту мне стало совершенно ясно, что дон Фернандо, посылая меня к своему брату, хлопотал не о покупке лошадей, а об удовлетворении своей прихоти. Гнев против дон Фернандо и опасение потерять то сокровище, которое я приобрел долгими годами служения и любви, окрылил меня, и на следующий день я прилетел в наш город, в тот самый час и минуту, когда обычно я отправлялся на свидания с Люсиндой. Я въехал никем не замеченный и отвел мула к тому самому доброму малому, который привез мое письмо; счастливая судьба мне благоприятствовала, и я увидел Люсинду за решетчатым окном — свидетелем нашей любви. Она тотчас меня узнала, и я узнал ее, но увы, не так предполагали мы встретиться! Ибо найдется ли на свете человек, который

мог бы похвалиться, что проник до дна и понял путаный и изменчивый характер женщины? Конечно, не найдется. Итак, я продолжаю: как только Люсинда завидела меня, она сказала: «Карденио, на мне подвенечный наряд; в зале ждут меня предатель дон Фернандо и корыстолюбивый мой отец с приглашенными, го они будут свидетелями не свадьбы моей, а смерти. Не волнуйся, друг мой, и постарайся присутствовать при обручальном обряде: если слова мои будут бессильны его расстроить, кинжал, спрятанный у меня на груди, расстроит козни и пострашнее этих; и когда кончится моя жизнь, ты начнешь понимать, как я тебя любила и люблю». Я отвечал ей взволнованно и торопливо, боясь, что у меня не хватит времени договорить до конца: «О, пусть твои поступки, сеньора, подтвердят правдивость твоих слов. Ты запаслась кинжалом, чтобы доказать мне свою любовь,— вот моя шпага: я защищу тебя ею или убью себя, если судьба будет к нам враждебна». Не думаю, чтобы она могла расслышать мои слова, ибо в эту минуту кто то ее позвал, говоря, что жених ее ожидает.

«И вот, наступила ночь моей печали, закатилось солнце моей радости, в глазах моих померк свет, и я остался, без слов и без мыслей. Я не в силах был войти в ее дом, я не мог сдвинуться с места; но потом, подумав, что, как бы дело ни обернулось, присутствие мое там необходимо, я собрался с духом и проник в дом Люсинды, все входы и выходы которого были мне хорошо известны, и за суетой тайных приготовлений никто меня не заметил. Так, не-

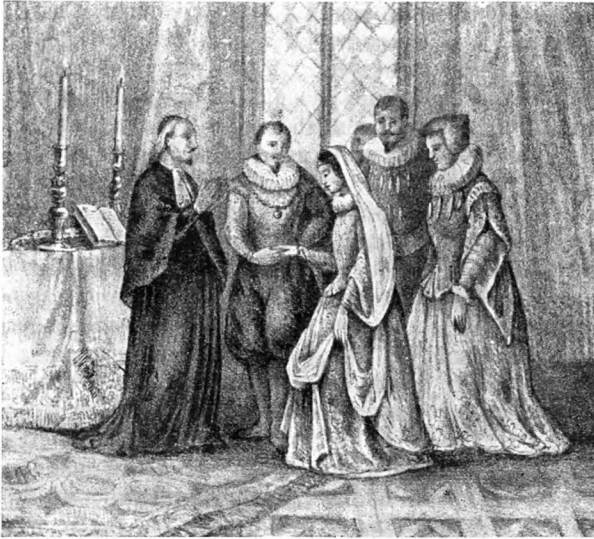
замеченный, проскользнул я в углубление окна, прикрытое краями двух ковров; там меня никто не видел, а я в щелку мог видеть все, что происходило в зале. Как рассказать вам о муках, которые испытало мое сердце, пока я там находился! Какие мысли обуревали меня! О чем я только не передумал! Но всего этого передать невозможно, да и не следует. Скажу вам только, что наконец в залу вошел жених: он был не в парадном наряде, а в обычном своем платье. Шафером при нем состоял двоюродный брат Люсинды, и во всей зале, кроме домашней челяди, не было ни одного постороннего лица. Через некоторое время из другой комнаты вышла Люсинда в сопровождении матери и служанок, в уборе и наряде, подобавших знатности и красоте той, которая могла служить примером изящества и благородной изысканности. Я был в такой тревоге и иступлении, что не мог подробно рассмотреть и заметить ее платье; мне запомнилось только, что было оно двух цветов—пурпурного и белого, что и прическа ее, и платье сверкали драгоценными камнями, и что изумительная красота ее прекрасных русых волос затмевала все: сияние их ослепляло глаза, соперничая с блеском самоцветных камней и светом горевших в зале четырех факелов. О память, смертельный враг моего покоя, зачем теперь рисуешь ты перед моими глазами несравненную красоту моего обожаемого врага? Ты бы лучше, жестокая память, напомнила и представила мне то, что она в ту минуту сделала, чтоб побудить меня, в справедливом негодовании, если не отомстить,

то, по крайней мере, лишит себя жизни! Не досадуйте, сеньоры, на вечные мои отступления, — о моем горе нельзя и не должно рассказывать кратко и быстро: ведь каждое обстоятельство этой истории представляется мне заслуживающим пространной речи\*.

На это священник ответил, что они не только не досадуют, но, напротив, выслушивают все эти подробности с большим удовольствием, так как ни одну из них нельзя обойти молчанием и все они достойны такого же внимания, как и самая суть истории.

— Итак, — продолжал Карденио, — когда все собрались в зале, вышел приходский священник и, как полагается по обряду, взял их обоих за руки и спросил: «согласны ли вы, сеньора Люсинда, признать здесь присутствующего сеньора дон Фернандо вашим законным супругом, как того требует наша святая мать церковь?» Тут я высунул из за ковра голову и шею, и в смятении, затаив дыхание, приготовился выслушать ответ Люсинды, ожидая от него или спасения моего или смертного приговора. О, если б я осмелился в эту минуту броситься к ней и закричать: «О Люсинда, Люсинда, подумай, что ты делаешь, вспомни, как ты со мной связана! Подумай — ведь ты моя и не можешь принаследовать другому! Знай же, что если ты скажешь да, жизнь моя прервется в то же мгновение! О предатель дон Фернандо, похититель моего счастья, губитель моей жизни! Чего хочешь ты, к чему стремишься? Пойми же, что, как христианин, ты не можешь удовлетворить своих желаний, ибо Люсинда — моя жена, и я — ее муж!» О я, безу-

мец,—теперь, когда я разлучен с нею и нахожусь вдали от опасности, я говорю то, что я должен был сделать и чего не сделал! Теперь, позволив отнять у себя драгоценное сокровище, я проклинаю похитителя, а между тем я мог бы ото-



мстить ему, если бы у меня было в то время столько мужества, сколько ныне остается для жалоб. Что ж, раз тогда я выказал себя глупым и малодушным, то теперь должно мне умереть в стыде, раскаянии и безумии!

«Священник ждал ответа Люсинды, а она все медлила, и когда я уже начал думать, что она ищет кинжал, чтобы доказать мне свою любовь,

или готовится сказать правду, чтобы рассеять эти гибельные для меня заблуждения,—в эту минуту она слабым и дрожащим голосом произнесла: «Да, согласна». То же сказал и дон Фернандо, который надел ей на палец кольцо: отныне они были связаны нерасторжимыми узами брака. Затем молодой муж подошел, чтобы обнять свою супругу, но Люсинда схватилась за сердце и упала без чувств на руки своей матери. Мне остается только рассказать вам, что случилось со мной, когда Люсинда своим «да» посмеялась над моими надеждами, показала, что все ее слова и обещания были лживы, и дала мне понять, что уж никогда в жизни мне не вернуть того счастья, которое потерял я в одно мгновение. Я не знал, на что решиться; мне казалось, что небо меня покинуло, что земля, на которой я стою, сделалась моим врагом, что воздух не дает мне своего дыхания для вздохов, а вода—своей влаги для слез; только огонь во мне разгорался все больше и больше, и я весь пылал яростью и ревностью. Обморок Люсинды смутил всех: мать расстегнула ей платье, чтобы ей было легче дышать, и у нее на груди нашли запечатанное письмо, которое дон Фернандо тотчас же схватил и стал читать при свете одного из факелов; окончив чтение, он опустил в кресло и с видом глубокой задумчивости подпер щеку рукой, не обращая внимания на присутствующих, которые суетились вокруг Люсинды, стараясь привести ее в чувство.

«Увидев, что все домашние в смятении, я решил выйти, и мне было безразлично, заметят меня или нет, ибо я был готов на самые



отчаянные поступки, и если бы меня заметили, то весь мир узнал бы, какое негодование кипело в моей груди; я наказал бы коварного дон Фернандо и легковверную изменницу, лежавшую передо мной без чувств. Но видно судьба хранила меня для горших бедствий, если только таковые бывают, и ей было угодно, чтобы в эту минуту ко мне вернулся рассудок,—который впоследствии меня здесь совсем покинул. Я отбросил мысль о мщении величайшим моим врагам (а сделать это было бы не трудно, так как они и не подозревали о моем присутствии) и решил обратить против себя заслуженное ими наказание; и пожалуй, если бы я их убил, страдания их были бы менее жестоки, чем те муки, что я сейчас переношу: ведь внезапная смерть быстро оканчивает нашу скорбь, между тем как смерть, отдаваемая пытками, непрестанно убивает нас, не лишая жизни. Словом, я вышел из дома Люсинды и отправился к человеку, у которого оставил своего мула; велел седлать, сел верхом и, не попрощавшись с хозяином, уехал из города, подобно Лоту не осмеливаясь обернуться, чтоб посмотреть назад. Когда же я очутился один в поле, и тьма ночи покрыла меня, а тишина расположила к жалобам, я возвысил голос, не заботясь и не опасаясь, что ктонибудь услышит и узнает меня, и разразился неисчислимыми проклятиями Люсинде и дон Фернандо, словно вознаграждая себя ими за перенесенную обиду. Я называл ее жестокой, бессердечной, лживой, неблагодарной; особенно же я клеймил ее за корыстолюбие, ибо богатство моего врага ослепило ее сердце, и она покинула

меня, отдавшись тому, кого Фортуна одарила более щедро и великодушно. То вдруг, прервав поток этих проклятий и укоров, я принимался ее оправдывать, говоря, что родители воспитали ее в строгости, что она привыкла и приучилась во всем их слушаться, и что потому не удивительно, что она пожелала исполнить их волю, тем более, что они выбрали ей в мужа дворянина столь достойного, богатого и знатного: если бы она его отвергла, то все бы подумали, что она сумасбродна или любит когонибудь другого,—а это подозрение весьма повредило бы ее славе и доброму имени. Но потом я возражал себе, что Люсинда должна была объявить, что я ее супруг,—и тогда все бы ее оправдали, так как она сделала не плохой выбор: ведь до предложения дон Фернандо сами ее родители не могли бы пожелать своей дочери лучшего супруга, если только их желаниями управлял разум; что Люсинда вместо того, чтобы подчиниться крайнему насилию и отдать свою руку дон Фернандо, обязана была сказать, что она связана со мной,—я бы помог ей и поддерживал бы во всем, что она придумала бы по этому поводу. В конце концов, я пришел к заключению, что она сумасбродна, бесчувственна и тщеславна, и потому жажда пышности заставила ее забыть те слова, которыми она обманывала, питала и поддерживала мои твердые надежды и благородные чувства.

«Весь остаток ночи я скитался, в тревоге беседуя с самим собой, и на рассвете очутился у этих гор. Три дня я пространствовал в горах без дороги и тропинки, пока не цопал, нако-

нед, на поляну, находящуюся где то неподалеку отсюда; там я спросил пастухов, где в этих горах самые дикие ущелья, и они направили меня в эту сторону. Я тотчас же пустился в путь, с твердым решением покончить там свою жизнь; при въезде в эти дебри мой мул пал от изнурения и голода: я даже думаю, что случилось это оттого, что он не желал больше влачить на себе ненужное бремя моего тела. Я побрел пешком, лишенный сил, изнемогая от голода, беспомощный, да и не ища чьей либо помощи. Не помню, сколько времени пролежал я распростертый на земле; потом поднялся, не чувствуя голода, и увидел неподалеку от себя козопасов: они то и помогли мне в беде. По их словам, когда они меня встретили, я говорил такие нелепые и безумные речи, что было ясно, что я лишился ума. Впоследствии я и сам убедился, что по временам я теряю рассудок, сознание мое затемняется и слабеет, и я проделываю тысячи безумств, рву на себе платье, оглашаю эту пустыню воплями, проклиная судьбу и тщетно повторяю возлюбленное имя моего врага; в эти минуты у меня одно только желание и одна мысль: покончить жизнь в этих воплях. Когда же я прихожу в себя, я чувствую себя таким разбитым и измученным, что с трудом могу пошевелиться.

«Ночую я обыкновенно в дупле дуба, достаточно просторном, чтобы укрыть мое жалкое тело. Крестьяне, пасущие здесь в горах коров и коз, из жалости питают меня, оставляя мне еду на краю дороги или на скалах, и я скитаясь случайно нахожу ее. И вот, даже когда

разум покидает меня, голос природы заставляет меня узнавать пищу, пробуждает во мне желание схватить ее и поглотить. Случается,—рассказывают мне пастухи в минуты моего просветления,—что я выбегаю на дорогу, когда они везут провизию из деревни в свои шалаши, и отнимаю насильно то, что они отдали бы мне добровольно. Так влачу я горькие и бедственные дни своей жизни, ожидая, когда небу угодно будет положить ей конец или же изгладить из моей памяти воспоминание о красоте и измене Люсинды и об оскорблении, нанесенном мне дон Фернандо. Если небо пошлет мне это раньше, чем я умру, разум мой успокоится, если же нет—мне остается только молить небо о безграничном милосердии к моей душе, ибо у меня нет ни сил, ни мужества исторгнуть мое тело из того бедственного положения, на которое я добровольно его обрек.

«Такова, сеньоры, горестная повесть моих несчастий. Скажите, разве можно пережить ее, не испытав тех волнений, которые испытываю я? Не утруждайте себя, уговаривая и советуя мне сделать то, что с точки зрения разума могло бы пойти мне на пользу; ибо ваши советы помогут мне столь же мало, как лекарство, прописанное знаменитым доктором больному, который не желает его глотать. Без Люсинды мне не надо исцеления; и раз ей было угодно отдаться другому, хотя она принадлежала и должна была принадлежать мне,—то мне угодно оставаться в горе, хоть я и мог бы быть счастливым. Постоянство моих мучений вызвано ее переменчивостью, и я сделаю все возможное, чтобы по-

губить себя и тем удовлетворить ее желания. Да послужит моя жизнь примером для будущих поколений, ибо у меня было отнято даже то, чем владеют все обездоленные; самая невозможность утешения утешает их, мои же муки и страдания от этого только увеличиваются,— и, кажется мне, они не окончатся даже со смертью.

Такими словами заключил Карденио длинную повесть о своей несчастной любви. Священник собирался сказать ему несколько слов в утешение, но в эту минуту его остановил долетевший до их слуха голос: он говорил жалобным тоном, а о чем он говорил, вы узнаете в четвертой части этой истории; ибо в этом месте мудрый и проникательный историк Сид Амет Бененхели заканчивает третью часть своего повествования.

## ГЛАВА XXVIII

*в которой рассказывается о новом и приятном происшествии, случившемся в тех же горах со священником и цырюльником*



частливое и благодатное было время, когда пустился по свету отважный рыцарь дон Кихот Ламанчский, ибо благодаря его великодушному решению воскресить и возвратить миру уже почти погибший и исчезнувший орден странствующего рыцарства, мы в наш век, лишенный веселых развлечений, наслаждаемся не только сладостью его правдивой истории, но и повестями и эпизодами, в нее вставленными, — а они большей частью не менее приятны, искусны и правдивы, чем самая история. Последняя же, следуя своей расчесанной, крученой и гладкой нити, рассказывает, что в ту минуту, как священник собрался утешать Карденио, до их слуха долетел печальный голос, говоривший следующее:

— О боже! Неужели, наконец, в этих горах я нашла тайную гробницу для моего тела, время которого я влачу против воли? Да, нашла, если

уединенность этих ущелий меня не обманывает. О, я несчастная! Среди этих чащ и скал я могу жаловаться небу на мои невзгоды, и пустыня милей мне общества людей, ибо нет на свете человека, от которого можно было бы ждать совета в сомнениях, утешения в жалобах и лекарства в скорбях!

Священник и его спутники уловили и слышали эти речи, и показалось им, что раздуются они совсем по близости (что и было в действительности). Поэтому отправились они на поиски говорившего, и не прошли и двадцати шагов, как вдруг за скалой, у подножия ясеня, увидели юношу в крестьянском платье; он сидел, опустив ноги в протекавший там ручей и низко склонив голову, так что сначала они не могли разглядеть его лица. Приблизились они так тихо, что юноша их не слышал: он тщательно мыл себе ноги, которые казались кусочками белого хрустала, родившимися в ручье меж других камней. Красота и белизна их поразили наших друзей; не верилось им, что такие ножки созданы топтать вспаханное поле или ходить за плугом и за волами, хотя по одежде юноша был крестьянин. Убедившись, что он их не заметил, священник, шедший впереди, дал знак своим спутникам скрыться и спрятаться за горами скал, что они и сделали, продолжая внимательно следить за юношей. На нем был серый полукафтан с разрезами на боках, тесно стянутый белым поясом, затем — панталоны и гамашы из серого сукна, а на голове — серый берет; гамашы были засучены до колен, а колени — как белый алебастр. Помыв

свои прекрасные ноги, он достал из под берета платок, которым стягивают голову, и стал их вытирать; но, снимая берет, он поднял голову, и смотревшие увидели лицо такой несравненной красоты, что Карденио шепотом сказал священнику:

— Ну, если это не Люсинда, то значит это не человек, а ангел.

Между тем, юноша снял берет и тряхнул головой, и тотчас же рассыпались и распустились по плечам его волосы, которым могли бы позавидовать солнечные лучи. Тут друзья наши поняли, что мнимый крестьянин—женщина, и притом прелестная, красивее которой оба они доселе не видывали; но даже Карденио, видевший и знавший Люсинду, потом уверяя, что только его возлюбленная могла бы красотой поспорить с незнакомкой. Ее длинные белокурые волосы вились в таком изобилии, что не только покрывали ей плечи, но скрывали ее всю, так что из всего ее тела видны были только ноги. Она расчесывала свои волосы руками; и если ноги в ручье казались кусками хрустала, то руки в волне волос напоминали куски твердого снега. При виде всего этого у смотревших вместе с восхищением росло желание узнать, кто она. Поэтому они решили показаться; слышав шум, раздавшийся при этом движении, прекрасная девушка подняла голову и, отбросив обеими руками волосы, закрывавшие ей глаза, посмотрела в ту сторону, откуда доносились до нее звуки. Но не успела она увидеть пришельцев, как вскочила на ноги, схватила узелок с вещами и, как была, босая и с распущенными волосами,



бросилась бежать в страхе и смятении. Однако ее нежные ножки не могли выдержать жесткого прикосновения камней, и, сделав шагов шесть, она упала. Увидев это, все трое подошли к ней, и священник заговорил первый:

— Кто бы вы ни были, сеньора, поверьте, что перед вами люди, единственное желание которых—вам служить. У вас нет причин обращаться в столь поспешное бегство: и ваши ножки этого не потеряют, и мы вам этого не позволим.

Удивленная и смущенная, она не отвечала ни слова. Тогда они приблизились, и священник, взяв ее за руку, продолжал так:

— То, что скрывало от нас ваше одеяние, выдали ваши волосы. Должно быть, важные причины заставили вас переодеться в платье, столь недостойное вашей красоты, и удалиться в эти глухие места, где счастливый случай помог нам вас найти; если мы и не в силах исцелить вашу горе, то, по крайней мере, мы поможем вам советом. Как бы ни угнетало нас несчастье, до каких бы пределов оно ни доходило, пока мы живы, мы не должны избегать советов тех, кто хочет облегчить наши страдания. Поэтому, моя сеньора, или мой сеньор, или как вам будет угодно,—откиньте страх, который причинило вам наше появление, и расскажите нам о ваших радостях и печалях, а мы все вместе, или каждый в отдельности, поможем вам перенести вашу горе.

Во все время речи священника переодетая девушка стояла как зачарованная и смотрела на них, не шевеля губами и не произнося ни звука, совсем как деревенский парень, которому вдруг показали редкие, никогда невидан-

ные вещи. Священник приводил всё новые доводы, направленные к той же цели; наконец с глубоким вздохом она прервала молчание и сказала:

— Раз даже пустынность этих гор не могла меня укрыть, а мои неубранные и распущенные волосы не позволили языку солгать, то напрасно я стала бы притворяться: вы сделаете вид, что мне поверите, но это будет из вежливости, не более. Поэтому, сеньоры, я благодарю вас за ваши предложения и считаю себя обязанной исполнить вашу просьбу; боюсь только, что повесть о моих бедствиях вызовет в вас не одно сострадание, но и уныние, ибо вы не найдете ни лекарства для их исцеления, ни совета для облегчения их. Все же, чтобы вы про себя не усомнились в моей чести, узнав, что я женщина, и увидев меня, столь юную, без спутников и в таком наряде, — а все эти обстоятельства, взятые вместе и каждое в отдельности, могут погубить любое доброе имя,—я расскажу вам то, о чем, если бы я могла, я предпочла бы молчать.

Все это она проговорила, не останавливаясь. Прекрасная девушка обладала столь складной речью и нежным голосом, что ум ее восхищал не менее, чем ее красота. Они снова принялись предлагать ей услуги и просить исполнить обещание; не заставляя себя уговаривать, она с величайшей скромностью обулась и прибрала волосы, потом уселась среди них в углублении скалы и, с трудом сдерживая выступившие на глаза слезы, спокойным и ясным голосом так начала историю своей жизни:

— В нашей Андалузии есть город, названием которого именуется себя ее герцог, один из грандов Испании\*; у него два сына: старший—наследник его титула и, как кажется, его благородных нравов, младший—не знаю, чей он наследник, разве что Вельидо в предательстве или Ганелона в злокозненности. Мои родители—вассалы этого сеньора; они из скромного рода, но так богаты, что если бы их знатность равнялась их богатству, им нечего было бы и желать, а я могла бы не бояться несчастий, которые теперь на меня обрушились,—ибо, быть может, все мои бедствия происходят от того, что они родились не знатными. Правда, их происхождение не столь низменно, чтобы приходилось его стыдиться, но и не достаточно высоко; потому то я и думаю, что оно—причиной моих невзгод. Словом, они крестьяне, люди простые, без примеси какойнибудь постыдной крови, и, как говорится, добрые старые христиане, и при том столь зажиточные, что богатство и пышный образ жизни сравнивали их мало по малу с идалго и даже кабальеро\*. Но больше, чем богатством и знатностью, гордились они мною, своей дочерью. И оттого ли, что у них не было других наследников, или оттого, что они меня страстно любили, но никогда еще, кажется, родители не баловали своих детей так, как они меня. Я была зеркалом, в которое они гляделись, посохом их старости, предметом их забот и покорных небу желаний, столь прекрасных, что и у меня иных быть не могло. Я была владычицей их душ и хозяйкой в их доме: я нанимала и отпускала слуг; расчет и запись всего, что сеялось и жалось,

проходили через мои руки; я распоряжалась точилами для оливкового масла и для винограда, вела счет скота, крупного и мелкого, ульев, — одним словом всего, что может иметь и имел такой богатый поселянин, как мой отец. Я вела себя как управительница и госпожа, и мое усердие и их радость были столь велики, что я просто не нахожу слов описать их. Отпустив надсмотрщиков, старших пастухов и батраков, я проводила досуги за работами, столь же необходимыми, сколь и приличными для девиц: например, за иглой и швейкой\*, а иногда за прялкой. Когда же, чтобы развлечься, я оставляла эти занятия, меня привлекало или чтение набожной книжки, или игра на арфе, — ибо я по опыту знала, что музыка врачует расстроенный дух и успокаивает волнения, порождаемые умом. Так проходила моя жизнь в родительском доме, и если я так подробно ее описываю, то поверьте, что делаю я это не из тщеславия или желания похвастаться своим богатством: я хочу, чтобы вы поняли, каким образом, без всякой моей вины, я перешла из того счастливого состояния в это — горестное.

«Проводя дни в постоянной работе и уединении, которое можно было сравнить с монастырским затворничеством, я была уверена, что никто, кроме домашних слуг, не может меня увидеть, ибо даже в церковь я ходила ранним утром, в сопровождении матери и служанок и под таким густым покрывалом, что глаза мои едва видели тот кусочек земли, на который я ступала. А между тем случилось, что глаза любви, — или, лучше сказать, праздности, — с которыми не сравнятся и глаза рыси, заметили меня. Дон

Фернандо—так звали младшего сына герцога, о котором я уже упоминала—обратил на меня свое внимание.

Едва незнакомка произнесла имя дон Фернандо, как Карденио побледнел, весь покрылся потом и проявил такое сильное волнение, что смотрешшие на него священник и цырюльник испугались, думая, что у него начинается припадок безумия, ибо они знали, что от времени до времени с ним такие припадки случаются. Но Карденио оставался неподвижным: весь в поту, не шевелясь, смотрел он на рассказчицу, стараясь разгадать, кто она такая. Она же, не замечая его движений, продолжала свою историю:

— И не успел он меня увидеть, как тотчас же его охватила страстная любовь ко мне (как он сам потом мне в этом признавался), силу которой подтвердили его поступки. Но чтобы поскорее кончить перечень моих несчастий—которых все равно не перечесать!—я обойду молчанием все попытки дон Фернандо открыть мне свои чувства. Все слуги в доме были им подкуплены; родители осыпаны дарами и милостями; каждый день на нашей улице был праздник и веселье, а ночью серенады никому не давали спать; письма, неизвестно каким путем попадавшие мне в руки, были бесчисленны, полны любовных слов и предложений; клятв и обещаний в них было больше, чем букв. Все это не только не смягчало моего сердца, но, напротив, ожесточало его, будто он был моим смертельным врагом и будто все, что он делал, чтобы покорить мое сердце, было направлено к обратной цели. Однако, ухаживанья дон Фернандо не возмущали меня,

и его искания не казались мне дерзостью, ибо я испытывала какое то удовлетворение при мысли, что меня любит и почитает столь знатный кабальеро; и не противно мне было в его письмах читать себе комплименты: в этом отношении, мне кажется, женщины, даже самые безобразные, всегда довольны, когда их называют красавицами. Но против дон Фернандо восставала моя честь и настойчивые советы моих родителей, которым прекрасно была известна его страсть ко мне, так как дон Фернандо не давал себе никакого труда скрывать ее перед кем бы то ни было. Итак, родители объявили мне, что, поскольку дело идет о чести и доброй славе нашего имени, они всецело полагаются на мою добродетель и разум; что я не могу не видеть, какое между нами неравенство; что стремления дон Фернандо направлены больше к его удовольствию, чем к моему благу; что я должна какнибудь пресечь его неуместные притязания, и тогда они выдадут меня замуж за того, кто больше всех придется мне по душе, будь он самым знатным юношей в наших краях или во всей округе: ведь при нашем богатстве и моей доброй славе это было нетрудно сделать. Их справедливые и серьезные уверения поддерживали во мне твердость, и я ни разу не пожелала сказать дон Фернандо хотя бы одно слово, которое могло бы дать ему отдаленную надежду на успех.

«Однако, моя сдержанность, которая казалась ему презрением, только еще более разжигала его сладострастное вожеление: да, страсть его ко мне заслуживает это имя, ибо если бы она была

такой, какой должна быть любовь, вы бы о ней ничего не узнали, так как у меня не было бы причины вам о ней рассказывать. Наконец, дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж для того, чтобы отнять у него надежду на обладание мной или по крайней мере, чтобы лучше охранить меня, и это известие или догадка побудили его сделать то, что вы сейчас услышите. Однажды ночью, когда я находилась в своей комнате одна со служанкой, и все двери были накрепко заперты из боязни, чтобы по оплошности моя честь не подверглась опасности, среди всех этих оград и предосторожностей, взаперти, в тишине уединения, вдруг—я не могу ни понять, ни вообразить, как это случилось—увидела я его перед собой. Его появление так меня поразило, что в глазах у меня помутилось и язык онемел; я даже не могла крикнуть, да он бы и не дал мне это сделать, ибо сразу же бросился ко мне и, сжав меня в своих объятиях (я была так смущена, что у меня ни хватило сил защищаться), стал говорить мне такие речи, что, право, я не знаю, как ложь могла быть столь искусной, а ее доводы так походить на правду! К тому же, слезы этого предателя подтверждали его слова, а вздохи—намерения. А я, бедняжка, одна-одинешенька, не получившая среди своих никакого опыта в подобного рода обстоятельствах, уж не знаю почему поверила его лживым уверениям; однако не настолько, чтобы его слезы и вздохи вызвали во мне больше, чем сострадание; и оправившись от первого страха, я немного собралась с духом, и с твердостью, на которую даже не считала

себя способной, сказала ему: «Если бы я находилась не в твоих объятиях, а в лапах свирепого льва, и если бы для моего спасения мне предложили сказать или сделать что нибудь противное моей чести, я бы ответила, что это столь же невозможно, как сделать бывшее небывшим. И как ты сжимаешь мое тело своими объятиями, так я связала свою душу добрыми намерениями, и насколько они непохожи на твои, ты это увидишь, если, применив насилие, захочешь пойти дальше. Я—твоя вассалка, но не раба; знатность твоей крови не имеет и не может иметь власти унижать и позорить незнатность моей; и я, простолоудинка и крестьянка, уважаю себя не менее, чем ты—сеньор кабальеро, уважаешь себя. Со мной не поможет тебе твоя сила, не подействует твое богатство; твои слова не смогут меня обмануть, а твои вздохи и слезы—растрогать. Но если какое либо из перечисленных мною качеств я открою в том, кого мои родители выберут мне в супруги, моя воля подчинится их воле и ни в чем ее не преступит; и если моя честь останется незапятнанной, я без радости, но по доброй воле, отдам ему то, чего ты, сеньор, добиваешься с таким упорством. Пойми же наконец мои слова: никто в мире, кроме законного мужа, не добьется от меня милости».—«Если все дело за этим, прекрасная Доротея (так зовут меня, несчастную)», ответил бесчестный кабальеро, «вот тебе моя рука в знак нашего обручения; и да будет мне свидетелем небо, от которого ничто ни укрывается, и этот образ Мадонны, стоящий перед тобой».

Когда Карденио услышал, что незнакомку зовут Доротеей, он снова пришел в волнение, так



как его предположение окончательно подтвердилось; однако, он не захотел прерывать рассказ, чтобы узнать, чем он кончится, хотя он почти уже знал конец. Он только спросил:

— Как, сеньора, тебя зовут Доротеей? Я уже слышал о девушке, называвшей себя этим име-



нем; ее бедствия равны твоим. Но продолжай, придет время, и я расскажу тебе кое что такое, что поразит тебя столь же, сколь и опечалит.

Эти слова Карденио, так же как его странный и убогий наряд, обратили на себя внимание До-

ротей, и она попросила его сказать сейчас же все, что он знает об ее делах; ибо одно благо подарила ей судьба—мужество в перенесении несчастий, и она уверена, что какое бы бедствие еще на нее не обрушилось, оно не увеличит ее страданий.

— Я не премину, сеньора, сказать тебе то, что я думаю, если только мои предположения подтвердятся; но время еще не пришло, и тебе это пока не к чему знать.

— Как вам будет угодно,—ответила Доротея.— Итак, я продолжаю мою историю. Дон Фернандо взял образ, находившийся в комнате, и поставил его перед нами, как свидетеля нашего обручения. С торжественными уверениями и необыкновенными клятвами дал он мне слово стать моим супругом. Я не позволила ему кончить и принялась умолять его подумать о том, что он делает: разве не будет возмущен его отец, узнав что сын женится на своей вассалке крестьянке? Пусть не ослепляет его моя красота, ибо, какова бы она ни была, она не послужит оправданием его поступку; если же он действительно меня любит и хочет мне добра, то пусть он не мешает мне связать свою судьбу с человеком равным мне по положению, ибо столь неравные браки, как наш с ним, никогда не приносят счастья, и радость, с которой они начинаются, длится недолго. Все эти доводы я ему привела, и еще много других, которых теперь не помню, но они не заставили его отказаться от своего намерения: ведь тот, кто заключает сделку, не собираясь платить, не заботится об условиях. Я же в эту минуту про себя по-

думала: «Не я первая через замужество из низкого звания попаду в высокое, и до дон Фернандо бывали знатные сеньоры, которых красота их возлюбленных или, вернее, их собственная слепая страсть, заставляла вступать в неравные браки. И раз не я меняю свет и его обычаи, так почему же мне отказываться от такой чести? Если даже, удовлетворив свои желания, он перестанет меня любить, разве перед богом я не останусь его супругой? А отвергну я его с презрением,—он, пожалуй, забыв свой долг, прибегнет к насилию, и тогда я останусь обещанной и не смогу оправдаться, так как никто мне не поверит, что я не по своей вине попала в такое положение. Как я докажу родителям и всем остальным, что он проник ко мне в спальню без моего согласия? Все эти вопросы и ответы в одно мгновение промелькнули у меня в уме; но больше всего склоняли и влекли меня к моей гибели (тогда я еще этого не понимала!) клятвы, уверения и обильные слезы дон Фернандо: такие проявления искренней любви со стороны изящного и любезного кавалера покорили бы чье угодно еще незанятое и стыдливое сердце. Я позвала служанку, желая к небесным свидетелям нашего союза прибавить свидетеля земного. И дон Фернандо снова стал повторять и подкреплять свои клятвы, призывать все новых и новых святых, орошать лицо слезами и умножать вздохи. Если он когданибудь мне изменит,—говорил он,—да поразят его тысячи самых страшных проклятий. Еще теснее сжал он меня в своих объятиях, которых не размыкал с самого начала нашей встречи; и вот,

когда служанка вышла из комнаты, я потеряла честь, и он завершил свое вероломство и предательство.

«День, сменивший ночь моего несчастья, наступил не так быстро, как, думается мне, желал того дон Фернандо: ведь мужчина, удовлетворив свою плотскую страсть, думает только о том, как бы поскорей удалиться от места, где он ее насытил. Говорю я это потому, что дон Фернандо с большой поспешностью расстался со мной и с помощью той самой служанки, которая провела его в мою комнату, выбрался на улицу еще до рассвета. Прощаясь, он сказал мне, — но уже не с тем жаром и пылом, как раньше, — чтобы я не сомневалась в его верности и что клятвы его крепки и правдивы; и в подтверждение своих слов он снял с руки драгоценный перстень и надел его мне на палец. И вот, он ушел, а я осталась ни печальна, ни весела; скорей я была смущена и задумчива, совсем растерянная от того, что со мной случилось. У меня не хватило духу, или, может быть, я просто забыла, побранить служанку за ее предательство: ведь я и сама еще не знала, хорошо или худо она поступила, введя тайком в мою комнату дон Фернандо. Когда он уходил, я сказала ему, что он может тем же путем приходить ко мне каждую ночь, ибо теперь я принадлежу ему; и что так будет продолжаться, пока он не пожелает объявить всем о нашем союзе. Он явился на следующую ночь, но после того больше не показывался. Прошел целый месяц, а я не видела его ни на улице, ни в церкви, и тщетно пыталась добиться с ним свидания; а между тем я знала,

что он живет в том же городе и целые дни проводит на охоте,—это было его любимое занятие.

«Горьки и печальны были мне, помню, эти дни и часы. Закралось мне в душу сомнение, и поколебалась моя вера в дон Фернандо. Тогда,—помню и это,—служанка услышала от меня упреки за свою дерзость, которых раньше не слыхала; и пришлось мне тогда вести счет слезам и делать веселое лицо, чтобы родители не спросили меня, чем я огорчена, и не заставили прибегнуть к выдумкам. Но наступил день, когда все это сразу кончилось, когда растоптано было мое уважение и забыты честные раздумья, когда исчезло терпение и открылись перед всеми мои тайные помыслы. А произошло это потому, что вскоре в нашем местечке распространился слух, что дон Фернандо женился в соседнем городе на девушке красоты самой необыкновенной и из весьма знатного рода, хотя, правда, и не столь богатой, чтобы по приданому своему она могла рассчитывать на такой высокий союз. Говорили, что зовут ее Люсиндой и что обручение ее с дон Фернандо обошлось без удивительных происшествий.

Услышав имя Люсинды, Карденио вздрогнул, закусил губы, нахмурил брови, и из глаз его полились ручьи слез. А Доротея продолжала тем не менее свой рассказ:

— Дошло до моих ушей это печальное известие, и сердце мое не оледенело: напротив, разгорелась в нем такая ярость и бешенство, что я чуть не выбежала на улицу, крича об измене и предательстве, жертвою которых я стала. Но я сдержала на время свое негодование и ре-

шила в ту же ночь сделать то, что и сделала: переделалась в это платье, которое мне уступил подпасок, работавший в имении моего отца; я рассказала ему о моем несчастье и попросила проводить до города, где, по слухам, жил мой злодей. Он упрекнул меня за опрометчивость и не одобрил моего решения, но видя, что я в нем упорствую, предложил сопровождать меня, как он выразился, хотя на край света. Тотчас я завернула в полотняную наволочку одно из моих платьев, взяла на всякий случай немного денег и драгоценностей, и той же ночью, тайком, не предупредив предательницу-служанку, покинула дом в сопровождении подпасака и с тревожными мыслями отправилась пешком в город; я не собиралась помешать тому, что уже свершилось, нет, меня влекло желание спросить у дон Фернандо, как хватило у него духа сделать то, что он сделал.

«Через два с половиной дня я прибыла в город и у заставы спросила, где находится дом родителей Люсинды. Первый же человек, к которому я обратилась, сообщил мне больше, чем я желала услышать. Он указал мне дом Люсинды и рассказал, что произошло при обручении (ибо событие это получило такую огласку, что во всем городе шли о нем толки и пересуды); а случилось вот что: в тот вечер, когда дон Фернандо обручился с Люсиндой и на его вопрос, хочет ли она быть его женой, она ответила «да», она вдруг упала в глубокий обморок, и когда жених ее, чтобы ей легче было дышать, растегнул ее корсаж, он на груди ее нашел записку, написанную ее собственной ру-

кой: в ней говорилось, что Люсинда не может быть женой дон Фернандо, так как она уже обручена с Карденио (по словам рассказчика, Карденио был весьма знатным кабальеро из того города) и что она ответила ему «да» только потому, что не посмела послушаться родителей. В конце концов, по его словам, из записки ясно было, что Люсинда собиралась после обручения убить себя, и она объясняла, почему она решила расстаться с жизнью. Кинжал, найденный, как говорят, в ее платье, подтверждал ее намерение. Увидев все это, дон Фернандо решил, что Люсинда насмеялась над ним, опозорила его и унизила, и, прежде чем она пришла в себя, бросился на нее с ее же кинжалом в руке, собираясь ее заколоть,—что он наверное бы и сделал, если бы родители и люди, бывшие при этом, его не удержали. Далее мне рассказали, что дон Фернандо немедленно же удалился из города, а Люсинда только на другой день пришла в себя и призналась родным, что она действительно жена этого Карденио. Я узнала также, что Карденио присутствовал при обряде и, увидев, что Люсинда обручена с другим,—а это казалось ему чудовищным,—в отчаянии убежал из города, написав ей письмо, в котором он упрекал ее за нанесенную ему обиду и заявлял, что навсегда уходит прочь от глаз людских. Все это было известно и ведомо всему городу; все только об этом говорили, но говорили еще больше, когда открылось, что Люсинда исчезла из родного дома, и что нигде не могут ее найти. Родители ее совсем потеряли голову и не знают, как ее отыскать,

«Все эти вести оживили мои надежды. Правда, я не нашла дон Фернандо, но это все же было лучше, чем если бы я нашла его женатым; раз он не женат, думалось мне, двери к моему спасению еще не заперты. Я говорила себе: само небо помешало его второму браку для того, чтобы он почувствовал свои обязательства по отношению к первому и вспомнил, наконец, что он христианин и что спасение души важнее всех человеческих расчетов. Все это я думала и передумывала и, безутешная, утешалась, сочиняя себе отдаленные, но слабые надежды, лишь бы поддержать в себе ненавистную жизнь. Дон Фернандо я все не находила и жила в городе, не зная, что предпринять, как вдруг раз услышала я площадного глашатая, который объявлял о большой награде тому, кто меня найдет, и сообщал мои отличительные признаки— возраст и платье. Шел слух, что меня похитил слуга, ушедший из дому вместе со мной; последнее известие особенно поразило мою душу, так как я увидела, что погибло мое доброе имя и что позор моего бегства связывается еще с именем человека низкого и недостойного моей любви. Как только я услышала глашатая, я ушла из города со слугой, и тут я стала замечать, что верность и преданность, в которых он мне клялся, стали в нем колебаться. К ночи мы забрались в глубину этих гор, опасаясь погони. Но, как говорится, одна напасть зовет другую и конец одной беды—начало другой, еще горшей; так было и со мной: мой доселе верный и надежный слуга, побуждаемый не столько моей красотой, сколько собственной низостью, захотел воспользоваться случаем, который ему предста-



вляла уединенность этих мест; как только мы остались вдвоем в этих горах, забыв о стыде, о страхе божием и об уважении ко мне, он стал домогаться моей любви. И когда я резкими и справедливыми словами ответила на бессовестные его предложения, он оставил мольбы, которыми вначале пытался тронуть мое сердце, и перешел к насилию. Но праведное небо, которое почти всегда благосклонно взирает на добрые намерения, помогло мне: своими слабыми руками я без труда столкнула его с обрыва, и не знаю, остался ли он жив или убится. Затем я бодро, несмотря на испуг и усталость, ушла в горы с одной только мыслью и одним желанием: скрыться от отца и от посланной за мною погони.

«Не знаю, сколько месяцев провела я в горах. Там встретила я пастуха, жившего в самой глубине этих ущелий; он взял меня к себе на работу, и все это время я прослужила у него подпаском, стараясь целые дни проводить под открытым небом, чтобы скрыть свои волосы, которые теперь так нечаянно меня выдали. Но все мои старания и усилия оказались бесплодными, так как хозяин наконец узнал, что я не мужчина, и в сердце его зародились те же дурные мысли, что и у моего слуги; а между тем, судьба не всегда вместе с болезнью посылает и лекарство от нее, и на этот раз не могла я, как сделала с моим слугой, сбросить его ни в овраг, ни в пропасть, измерив которую он бы умерил свой пыл. Поэтому я предпочла бежать и снова скрыться среди этих утесов, не пытаясь защищаться словами или силой. И вот,

с тех пор брожу я по горам и ищу места, где бы я могла без помех жаловаться небу на свою горькую участь и просить у него способа и средств или облегчить ее, или вовсе расстаться с жизнью в этой пустыне, так, чтобы не осталось даже памяти о несчастной, которая безвинно заслужила, чтобы говорили и шептались о ней и в родной ее земле, и в чужих краях.

## ГЛАВА XXIX

*в которой рассказывается об остроумной хитрости и способе, с помощью которых наш влюбленный кабальеро был избавлен от наложенного им на себя сурового покаяния*



аков, сеньоры, правдивый рассказ о моей трагедии: решайте и судите сами, достаточно ли у меня причин для того, что бы вздохи, которые вы слышали, слова, которым внимали, и слезы, которые лились из моих глаз, были еще обильнее; и, подумав о природе моей печали, вы увидите, что здесь бесплодны советы, ибо исцеление — невозможно. Об одном вас прошу (и вы легко сможете и должны это сделать), — посоветуйте, куда мне удалиться, где бы меня не преследовали страх и ужас быть настигнутой теми, кто меня разыскивает; ибо, хотя я знаю, что родители так меня любят, что я могу не сомневаться в их радостном приеме, стыд охватывает меня при мысли, что я появляюсь перед ними не такой, как этого бы им хотелось, и я предпочитаю навсегда скрыться от них: я не в силах буду прочесть в их глазах, что они счи-

тают меня потерявшей честь, которую я обещала блюсти.

Сказав это, она замолчала, и щеки ее покрыл румянец, ясно свидетельствовавший о чувствительности и стыдливости ее души. А слушатели в своих душах почувствовали и печаль и удивление перед ее несчастной судьбой. Священник хотел ее утешить и успокоить, но Карденио заговорил первый и сказал:

— Так значит, сеньора, вы—прекрасная Доротея, единственная дочь богатого Кленардо?

Доротея удивилась, услышав имя своего отца и увидев жалкое одеяние того, кто его назвал (мы уже говорили, что Карденио был в весьма убогом наряде), спросила:

— А кто же вы, братец, и откуда вы знаете имя моего отца? Ведь, если я не ошибаюсь, в продолжение всего моего рассказа я ни разу его не назвала.

— Я—тот несчастный,—ответил Карденио,—которого, как вы сказали, Люсинда назвала своим супругом; я—злополучный Карденио. Злодейство вашего обидчика сделало и меня таким, каким вы меня видите: оборванным, нагим, лишенным человеческого участия и, что хуже всего, лишенным разума,—увы! кроме тех редких минут, когда небо мне его возвращает. Да, Доротея, я присутствовал при клятвопреступлении дон Фернандо, я слышал, как Люсинда, ответив «да», обещала стать его женой; но у меня не хватило сил дожидаться, чем кончится ее обморок, и узнать, что содержится в записке, найденной на ее груди. Душа не вынесла стольких ударов судьбы, терпение покинуло меня, и я по-

кинул ее дом и, поручив моему хозяину передать Люсинде мое письмо, удалился в эту глушь, где намеревался покончить жизнь, которую с той самой минуты возненавидел как лютого врага. Но судьбе не было угодно отнять ее, и она отняла у меня только разум,—быть может для того чтобы оберечь меня до этой счастливой встречи с вами; если ваши слова—правда,—а я в это твердо верю,—то, может быть, судьба готовит нашим испытаниям конец лучший, чем мы предполагаем. Ведь если Люсинда, как она это объявила при всех, не может выйти замуж за дон Фернандо, так как она принадлежит мне, а дон Фернандо не может жениться на Люсинде, так как он связан с вами, то нельзя ли нам надеяться, что небо возвратит нам то, что наше,—ибо наше достояние—еще наше, и никто у нас его не отнял и не отобрал? И раз у нас есть такое утешение, порожденное не отдаленными надеждами и основанное не на бессмысленных мечтаниях, прошу вас, сеньора, примите в ваших благородных мыслях другое решение и действуйте на лучшую судьбу, и я сделаю то же. Я даю вам слово дворянина и христианина, что не покину вас, пока вы не будете в объятиях дон Фернандо; если же уговорами мне не удастся склонить его к исполнению долга, я воспользуюсь своим званием дворянина и с полным правом вызову вашего оскорбителя на бой, чтобы, забыв временно о своих обидах (за которые да покарает его небо!), здесь на земле отомстить за ваши.

Чем дольше говорил Карденио, тем более удивлялась Доротея; не зная, как отблагодарить

его за столь великодушные предложения, она бросилась к его ногам, желая обнять их. Но Карденио этого не допустил, а лицензиат ответил за обоих; одоблив прекрасную речь Карденио, он стал просить, уговаривать и убеждать их отправиться вместе с ним в его деревню: там они запасутся всем необходимым, а потом решат, как им отыскать дон Фернандо, как возвратить Доротею к ее родным, и вообще примут все нужные меры. Карденио и Доротея поблагодарили и приняли предложенную им услугу. Цырюльник, сосредоточенно молчавший в течение всей этой сцены, наконец тоже заговорил и с такой же готовностью, как и священник, предложил свою всяческую помощь. Тут же он вкратце рассказал о том, что привело его в эти места, сообщив о необычайном безумии дон Кихота и о том, что они поджидают его оруженосца, отправившегося на его поиски. Тут Карденио, как сквозь сон, вспомнил о своей ссоре с дон Кихотом и рассказал о ней присутствующим; только не мог объяснить причины этой ссоры. В эту минуту услышали они крик и узнали голос Санчо Пансы, который, не найдя их там, где оставил, взывал громким голосом. Они пошли к нему навстречу, и на вопрос их о дон Кихоте Санчо Панса ответил, что нашел его раздетым, в одной рубашке, слабым, желтым, умирающим от голода и вздыхающим о своей госпоже Дульсинея, и что когда Санчо ему объявил, что его послала Дульсинея с приказом покинуть эти места и отправиться в Тобосо, где она его ждет, он на это ответил что решил не показываться пред ее прекрасные очи, прежде чем не совер-

шит подвигов, достойных ее милости. Если так будет продолжаться,—прибавил Санчо Панса,—то дон Кихоту грозит опасность не сделаться не только, как он намеревался, императором, но даже, на худой конец, архиепископом, и поэтому крайне необходимо найти какой нибудь способ оттуда его извлечь.

Лиценциат ему на это ответил, что он может не беспокоиться, и что они извлекут его оттуда, хотя бы против его воли. И тотчас же рассказал он Карденио и Дорогее о том, что они придумали с целью излечить дон Кихота или, по крайней мере, вернуть его домой. Тогда Доротей заявила, что она лучше цырюльника сможет изобразить обиженную девицу, и выйдет это правдоподобнее, так как у нее есть женское платье; пусть ей только поручат эту роль, а уж она сумеет ее разыграть, потому что она читала много рыцарских романов и знает, каким языком говорят обездоленные девицы, прося заступничества у странствующих рыцарей.

— Если так,—сказал священник,—то ничего больше не остается, как приняться за дело. Судьба явно нам благоприятствует, потому что приоткрыв для вас обеих двери спасения, она в то же время помогла и нам в нашей нужде.

Доротей тотчас же достала из своего узла платье из тонкой и дорогой материи и мантилью из прекрасной зеленой ткани, а из ларца— ожерелье и другие драгоценности, и в одну минуту нарядилась как богатая и знатная сеньора. Эти вещи и еще кое какие другие, по ее словам, она захватила с собой из дому на всякий случай, но до сих пор этого случая не пред-

ставлялось. Всем чрезвычайно понравилась ее грация, изящество и прелесть, и все заявили, что дон Фернандо—человек с плохим вкусом, раз он мог покинуть такую красоту. Особенно же был восхищен ею Санчо Панса, ибо никогда еще в своей жизни не видел он такого престельного создания; и потому он с большим жаром и интересом стал расспрашивать священника, кто эта прекрасная сеньора и что ищет она в этой глуши.

— Эта прекрасная сеньора, братец Санчо,—отвечал священник,—никто иная как наследная принцесса по прямой мужской линии великого королевства Микомикон, а ищет она вашего господина, чтобы попросить у него милости: защитить ее от злого великана, который нанес ей ущерб и обиду; дошла до нее молва о добром рыцаре, вашем господине, и приехала она за ним из Гвиней.

— Счастливые поиски и счастливая находка,—сказал тогда Санчо-Панса,—а еще выйдет лучше, если моему господину удастся отомстить за обиду и искоренить зло, убив мерзавца-великана, о котором говорит ваша милость; да уж он его наверное убьет, как только с ним встретится, если, впрочем, это не призрак, потому что над призраками мой господин не имеет никакой власти. Но об одном хочу я попросить вашу милость, сеньор лиценциат: очень уж я опасюсь, как бы моему господину не пришло в голову сделаться архиепископом, а потому посоветуйте ему, ваша милость, сразу жениться на этой принцессе; тогда уж никто не сможет возвести его в архиепископский сан, и он с легко-



стью завоюет себе царство, а тогда и все мои желания исполнятся. Я уж все хорошенько обдумал и решил, что для меня очень неудобно, чтобы мой господин сделался архиепископом, потому что для церкви я бесполезный человек:



я ведь женат, у меня жена и дети, и если хлопотать мне теперь о расторжении брака для получения какойнибудь церковной синекуры,—волокита будет без конца! Так значит, сеньор, вся суть в том, чтобы мой господин поскорее женился

на этой сеньоре,—имени ее милости я еще не знаю, а потому и не величаю по имени.

— Ее зовут,—ответил священник,—принцесса Микомикона, ибо раз ее королевство называется Микомикон, то ясно, что и она должна так же называться.

— Несомненно так,—сказал Санчо.—Мне нередко приходилось встречать людей, которые брали себе имя и фамилию от места их рождения, например Педро де Алькала, Хуан де Убеда, Диэго де Вальядолид, и там в Гвинее, должно быть, такой же обычай: королевы называются по имени своего королевства.

— Наверное так,—сказал священник.—А что касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах.

Санчо был настолько удовлетворен этим, насколько священник был восхищен его простодушiem, видя, что воображение его полно такого же сумасбродства, как и у его господина, который без сомнения твердо верил, что делается императором.

Тем временем Доротея села на мула священника, цырюльник прикрепил себе к подбородку бороду из бычьего хвоста, и они попросили Санчо проводить их туда, где находился дон Кихот, наказав ему, чтобы он ему не говорил, что знает лиценциата и цырюльника; только де при этом условии его господин сможет стать императором. Священник и Карденио решили не присоединяться к ним: Карденио из опасения, что дон Кихот вспомнит о случившейся между ними ссоре, а священник потому, что считал свое присутствие пока что излишним. Они от-

правили их вперед, а сами последовали за ними пешком на некотором расстоянии. Священник продолжал учить Доротею тому, что она должна делать, но Доротея просила его не беспокоиться, обещав в точности вести себя так, как требуют и описывают рыцарские романы. Не проехали они и трех четвертей мили, как среди лабиринта скал увидели нашего рыцаря, уже одетого, но еще не вооруженного. Как только Доротея его заметила и узнала от Санчо Панса, что это и есть дон Кихот, она подхлестнула своего скакуна; бородатый дыряльник от нее не отставал. Когда они подъехали к дон Кихоту, оруженосец соскочил с мула и подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, но она сама ловко прыгнула на землю и сразу же бросилась на колени перед дон Кихотом. И хотя тот пытался ее поднять, она, не вставая, заговорила так:

— Я не встану с колен, о храбрый и могучий рыцарь, пока ваша доброта и любезность не осчастливят меня даром, который вашей особе принесет честь и славу, а мне, самой безутешной и обиженной девице на свете, великую пользу. И если доблесть вашей мощной руки соответствует голосу вашей бессмертной славы, то вы обязаны помочь обездоленной, которая прибыла из далеких стран, привлеченная блеском вашего знаменитого имени, просить у вас исцеления своих горестей.

— Ни слова я вам не отвечу, прекрасная сеньора, — сказал дон Кихот, — и слушать не буду о ваших несчастиях, пока вы не встанете.

— Я не встану, сеньор, — ответила опечаленная девица, — если сначала ваше великодушие не посылит мне дара, о котором я прошу.

— Даю его вам и обещаю, — сказал дон Кихот, — если только он не во вред и не в ущерб ни моему королю, ни моей родине, ни той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы.

— Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, — отвечала несчастная девица.

В это время подошел Санчо Панса и на ухо шепотом сказал дон Кихоту:

— Ваша милость вполне может обещать ей этот дар, потому что дело это совсем пустячное: нужно убить там какого то великана; а девица, что об этом просит — благородная принцесса Микомикона, королева великого королевства Микомикон в Эфиопий.

— Кто бы она ни была, — сказал дон Кихот, — я сделаю то, что велит мне мой долг и диктует моя совесть, согласно закону моего рыцарского ордена.

И, обратившись к девушке, прибавил:

— Встаньте, прекраснейшая дама, я обещаю вам дар, о котором вам угодно просить меня.

— Я прошу вас, великодушный рыцарь, — сказала девица, — чтобы ваша милость немедленно же отправилась со мной туда, куда я вас поведу, и чтобы вы обещали мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство вопреки всем законам божеским и человеческим.

— Повторяю, что обещаю вам это, — ответил дон Кихот. — Поэтому отныне, сеньора, вы мо-



жете откинуть гнетущую вас печаль и вернуть силу и крепость вашим ослабевшим надеждам; ибо, с помощью божьей и моего меча, вы вскоре увидите себя в вашем королевстве, на престоле вашего древнего и великого государства, на зло и на горе изменникам, дерзнувшим его оспаривать. Итак, скорее за дело, ибо, как говорят, в промедлении — опасность!

Обиженная девица с большой настойчивостью пыталась поцеловать дон Кихоту руки, но тот, будучи во всех отношениях учтивым и вежливым кавалером, этого не допустил; напротив, он ее поднял и обнял с большой учтивостью и вежливостью, затем велел Санчо подтянуть подпруги у Росинанта и немедленно принести ему полное вооружение. Санчо снял доспехи, висевшие на дереве словно трофеи и, подтянув подпруги, в одно мгновение вооружил своего господина. Тот, после того как вооружился, сказал:

— Едем же, во имя божие, на защиту этой высокой сеньоры!

Цырюльник все еще продолжал стоять на коленях, изо всех сил стараясь подавить свой смех и придержать рукою бороду, — ибо, если бы она свалилась, возможно, что разлетелись бы прахом все их планы. Когда же он увидел, что просимый дар обещан и дон Кихот с жаром спешит приняться за дело, он встал и, взяв свою госпожу за другую руку, вместе с дон Кихотом помог ей сесть на мула. Затем наш рыцарь вскочил на Росинанта, а цырюльник взмолился на своего скакуна; один только Санчо остался пеший, и тут он снова вспомнил о потере своего серого ослика, которого сейчас ему так недоста-

вало. Однако, он с этим легко примирился, ибо ему казалось, что господин его теперь на хорошей дороге и вот вот станет императором,— ибо он нисколько не сомневался, что дон Кихот женится на принцессе и делается по меньшей мере королем Микомикона. Огорчало его только то, что царство это расположено в стране негров и что все его будущие вассалы будут чернокожими; впрочем, и тут его воображение подсказало ему выход. «Что за беда», рассуждал он сам с собой, «что мои вассалы будут неграми? Уж будто так трудно погрузить их на корабли и отвезти в Испанию? Там я смогу их продать, мне заплатят наличными, а на вырученные денюжки я приобрету себе какойнибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай: ведь продать какихнибудь тридцать или десять тысяч вассалов — это плевое дело; ей богу, я их мигом сбуду с рук, больших с маленькими, и пускай себе они негры—а я их сделаю беленькими и желтенькими\*. Не на такого дурака попали!» И так он был взволнован и обрадован этими мыслями, что забывал о неприятностях пешего хождения.

Священник и Карденио наблюдали все происходящее сквозь кустарник, ломая голову, что бы им такое выдумать, чтобы к ним присоединиться. Наконец священник, бывший большим хитрецом, придумал способ: вытащил из находившегося при нем футляра ножницы и с большим проворством остриг Карденио бороду, затем надел на него свой серый плащ и пристяжной черный воротник, а сам остался в одном камзоле и

птанах. Карденио так преобразился, что если бы он поглядел в зеркало, он бы сам себя не узнал. Пока они переодевались, всадники их уже опередили, но им легко удалось выбраться раньше на проезжую дорогу, так как скалы и заросли этой местности не позволяли конным продвигаться так же быстро, как пешим. Итак, они вышли из ущелий и пошли по равнине, а когда вдали появились дон Кихот и его спутники, священник принялся в них всматриваться, показывая знаками, что он их узнает, и, проделав это некоторое время, с распростертыми объятиями кинулся к ним навстречу.

— В счастливый час я вас встретил,—вскричал он,—о зеркало рыцарства, добрый мой земляк, дон Кихот Ламанчский, цвет и сливки благородства, оплот и убежище обездоленных, квинтэссенция странствующих рыцарей!

Говоря это, он прижимал к груди левую ногу дон Кихота. Тот, изумленный его словами и поведением, стал пристально его разглядывать и, наконец, узнал, после чего, крайне пораженный этой встречей, сделал усилие, чтобы слезть с лошади, но священник его удержал. Тогда дон Кихот сказал:

— Дайте мне сойти, ваша милость, сеньор лиценциат: не подобает мне ехать верхом, в то время как столь почтенная особа, как ваша милость, идет пешком.

— Ни за что этого не допущу, — отвечал священник, — пусть ваше величие остается на лошади, ибо, сидя на ней, вы совершаете деяния и подвиги, славнее которых наш век не видел, я же, недостойный священнослужитель, удо-



вольствуюсь, если ктонибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула, и будет мне казаться, что, как рыцарь, еду я на коне Пегасе или на зебре, принадлежавшей знаменитому мавру Мусараке, что поныне спит зачарованный в великом холме Сулэма близ великого Комплута \*.

— Я об этом не подумал, сеньор лицензиат, — ответил дон Кихот, — но я уверен, что сеньора принцесса из любви ко мне прикажет своему оруженосцу уступить вашей милости седло, а самому устроиться на крупе, если только животное это выдержит.

— Мне кажется, что выдержит, — отвечала принцесса, — и я полагаю, что мне не за чем приказывать, так как мой оруженосец столь учтив и любезен, что и сам не позволит духовной особе итти пешком, когда она может ехать верхом.

— Совершенно верно, — ответил цырюльник.

И, быстро спешившись, он предложил священнику сесть на седло, что тот и сделал, не заставляя себя долго просить. Но к несчастью мул был наемный, а следовательно никуда не годный, и потому, когда цырюльник собрался сесть к нему на круп, тот вдруг приподнял задние ноги и два раза брыкнул ими в воздухе. Хорошо еще, что он не угодил мастеру Николасу в грудь или в голову, не то цырюльник наверное послал бы ко всем чертям свою поездку за дон Кихотом. Все же это брыканье так на него подействовало, что он бросился на землю, забыв о своей бороде, которая тотчас же у него отвалилась; заметив это, он не придумал ничего лучшего, как закрыть

лицо обеими руками и закричать, что у него выбиты все зубы. Дон Кихот, увидев, что пучок бороды без челюстей и без крови валяется поодаль от упавшего оруженосца, сказал:

— Клянусь богом, вот великое чудо! Мулу него сорвал и отделил бороду, словно ножом срезал!

Видя, что положение опасное и что выдумка его может открыться, священник быстро подбежал к бороде и, подняв ее, бросился к мастеру Николасу, который продолжал лежать и стонать; он положил голову цырюльника себе на грудь и, бормоча какие то слова, приставил ему бороду, а присутствующим заявил, что это некое заклинание для приращивания бород и что они сейчас в этом убедятся. Прикрепив мастеру Николасу бороду, священник отошел, и оруженосец встал здоровый, невредимый и бородатый, как прежде. Дон Кихот был чрезвычайно удивлен и попросил священника при случае сообщить ему это заклинание, в уверенности, что действие его простирается не только на приращивание бород, — ибо, если кому нибудь оторвут бороду, на щеках его должны остаться болячки и раны; а раз это заклинание исцеляет решительно все, то значит польза от него не только для бород.

— Совершенно верно, — ответил священник, и при первом же удобном случае обещал сообщить заклинание.

Затем они порешили, что священник сядет на мулу, и все трое будут по очереди сменяться: так и доедут они до постоянного двора, находившегося в двух милях оттуда. После того, как



трое уселись на мулов, а именно дон Кихот, принцесса и священник, а трое—Карденио, цырюльник и Санчо Панса—двинулись в путь пешком, дон Кихот сказал Доротее:

— Ваше высочество сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.

Но прежде чем она успела ответить, заговорил лицензиат:

— Куда ваша светлость соблаговолит нас повести? Вероятно, в королевство Микомикон? Должно быть так, или я ничего не смыслю в королевствах.

Доротее, понимавшая в чем дело, мигом сообразила что ей нужно ответить утвердительно, и потому сказала:

— Да, мой сеньор, путь мой лежит в это королевство.

— Если так,—продолжал священник,—то нам придется проехать через мою деревню, а оттуда ваша милость отправится в Картахену, где при благоприятных обстоятельствах и попутном ветре вы сможете сесть на корабль. И если на море не будет бури, вы в каких нибудь девять лет доедете до великого Меонийского, то бишь Меотийского озера \*, а уж оттуда немногим больше ста дней пути до королевства вашего высочества.

— Ваша милость ошибается,—отвечала Доротея;—не прошло и двух лет, как я выехала из дому, и на всем пути погода мне не благоприятствовала; а все же я доехала и увидела того, кого так желала увидеть — сеньора дон Кихота, Ламанчского, молва о котором, едва я ступила на берег Испании, достигла до моего слуха и побу-

дила меня разыскать его, чтобы прибегнуть к его великодушию и поручить мое правое дело силе его непобедимой руки.

— Довольно меня хвалить, — прервал ее дон Кихот, — ибо я враг всякого рода лести, и допустив даже, что слова ваши не лесть, они все же оскорбляют мой стыдливый слух. Скажу лишь вам, сеньора, что, какова бы ни была моя доблесть, поскольку я вообще обладаю ею, она всецело к вашим услугам, и для вас я даже готов пожертвовать жизнью. Но для этого еще придет время, а сейчас расскажите мне, сеньор лицензиат, какими путями попали вы в эти места — один, налегке и без слуг; все это очень меня удивляет.

— Отвечу вам кратко, — начал священник. — Да будет известно вашей милости, сеньор дон Кихот, что мы с нашим другом цырюльником, мастером Николасом, направлялись в Севилью за получением некоторой суммы денег, которую прислал мне один мой родственник, уже много лет тому назад переселившийся в Америку; и сумма не малая: шестьдесят тысяч полновесных песо\* — это не пустяки. И вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, напали на нас четыре разбойника и забрали у нас все дочиста, даже бороды, так что цырюльнику пришлось приделать себе фальшивую; этого же юношу, нашего спутника (прибавил он, указывая на Карденио), оставили в чем мать родила. Но самое удивительное это то, что, по словам окрестных жителей, грабители наши никто иные, как каторжники, выпущенные на свободу неподалеку отсюда; и говорят, что сделал это, не-

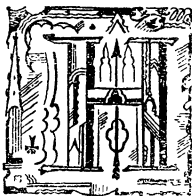
смотря на сопротивление комиссара и стражи, какой то храбрец. Несомненно, это или сумасшедший, или такой же негодяй, как и они, или же человек без души и совести: ведь он пустил волка на овец, лису на кур, или муху на мед. Видно, замыслил он оскорбить правосудие и восстать против своего законного господина, короля, раз он нарушил мудрые его приказания; замыслил он, повторяю, галеры лишить их опоры, всполошить Санта Эрмандад, которая уже много лет отдыхает; словом, замыслил совершить дело, от коего душа его погибнет, да и тело не спасется.

Санчо успел рассказать священнику и цырюльнику о приключении с каторжниками, из которого его господин вышел покрытый славой, и поэтому священник нарочно так красочно расписывал, чтобы посмотреть, как к этому отнесется дон Кихот. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что освободил эту славную компанию никто иной как он.

— Так вот кто наши грабители, — закончил священник, — и да простит милосердный бог тому, кто укрыв их от заслуженной кары.

## ГЛАВА XXX

*в которой рассказывается об уме прекрасной Доротеи и многих других вещах простых и занимательных*



е успел священник кончить, как Санчо воскликнул:

— Честное слово, сеньор лицензиат, да ведь этот подвиг совершил мой господин! Я и тогда ему говорил и указывал, чтобы он подумал о том, что делает, и что грех отпускать их на свободу: ведь на галеры то отправляют их за величайшие злодеяния!

— Глупец,—сказал тут дон Кихот,—не надлежит и не подобает странствующим рыцарям проверять, виновны или не виновны те удрученные, оскорбленные и закованные в цепи, которых они встречают на больших дорогах; им подобает только помогать нуждающимся, обращая внимание на их страдания, а не на их преступления. Я столкнулся с измученными и несчастными людьми, нанизанными на цепь как четки или бусины на ожерелье, и поступил

так, как мне велела моя религия, а остальное— пусть на небе рассудят. А кому это кажется дурным, тот ни аза не смыслит в рыцарстве и жжет, как мужлан и мошенник (выключая конечно святой сан сеньора лиценциата и почтенную его особу), и я докажу ему это мечом, как если бы меч мой лежал передо мной \*.

Сказав это, он укрепился в стременах и нагнул на лоб свой шишак,—ибо дырюльничий таз, который он принимал за шлем Мамбрина, висел у него на передней луке седла, приведенный каторжниками в такое состояние, что он весьма нуждался в починке.

Доротея, девица находчивая и остроумная, зная, что дон Кихот поврежден в уме и что все, кроме Санчо Пансы, над ним потешаются, не пожелала отстать от других и так сказала обиженному дон Кихоту:

— Сеньор рыцарь, вспомните о даре, который вы мне обещали, и о том, что вы не можете пускаться ни в какие другие приключения, как бы неотложны они ни были. Умерьте же ваш гнев; если бы сеньор лиценциат знал, что эти каторжники были освобождены вашей непобедимой рукой, он бы трижды зашил себе рот и трижды прикусил себе язык, прежде чем сказать что либо неугодное вашей милости.

— Клянусь, что это правда,—подхватил священник;—да я бы себе прежде оторвал ус.

— Я замолчу, моя сеньора,—ответил дон Кихот,—и сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди; отныне я буду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения, прошу вас, ска-



жите мне, если это не тяжело вам, в чем ваша печаль и сколько этих лиц, кто они и какого звания—на кого обрушится моя праведная, полная и достойная месть.

— Охотно вам отвечу, — сказала Доротея, — если только вам не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях.

— Не наскучит, моя сеньора, — отвечал дон Кихот.

На это Доротея сказала:

— Если так, то слушайте меня, сеньоры.

Как только она произнесла эти слова, Карденио и цырюльник подошли к ней поближе, желая узнать, какую историю сочинит умница Доротея; то же сделал и Санчо, находившийся в таком же заблуждении, как и его господин. А она, усевшись поудобнее на седле, откашлявшись и приготовившись, как делается в таких случаях, с большой приятностью начала так:

— Прежде всего да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня...

И тут она запнулась, потому что забыла, какое имя дал ей священник. Но последний сейчас же пришел ей на помощь, так как сразу понял, в чем затруднение, и сказал:

— Не удивительно, сеньора, что ваше высокочество смущается и затрудняется, желая пересказать нам свои невзгоды. Таково уж их свойство, что они лишают памяти тех, на кого сваливаются: люди в несчастье нередко забывают свои собственные имена, как это и теперь случилось с вами, забывшею, что зовут вас принцессою Микомиконой, и что вы законная наследница великого королевства Микомикона. После

этого напоминания, ваше величество без труда сможет восстановить в своей удрученной памяти все, что вам будет угодно рассказать нам.

— Совершенно верно, — ответила девица, — и я надеюсь, что в дальнейшем я обойдусь без напоминаний и доведу до благополучной гавани мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был весьма сведущ в науке, называемой магией; и чрез нее открылось ему, что мать моя, королева Харамилья, должна умереть раньше его и что вскоре после того суждено и ему покинуть этот мир, а мне на роду написано остаться сиротой, без отца и матери. И хоть был он этим огорчен, но еще сильнее, как говорил он, удручало его другое: он доподлинно знал, что на большом острове, почти рядом с нашим государством, царствовал чудовищный великан по имени Пандафирандо Свирепоглазый (всем известно, что хотя глаза у него в порядке и на своем месте, а смотрит он всегда в бок, как будто он косой, и делает это из ехидства, чтобы пугать и устрашать всех, на кого он смотрит). И вот, мой отец узнал, что когда до великана дойдет слух о моем сиротстве, нападет он с большим войском на наше королевство и все у меня отнимет, не оставив мне даже маленькой деревушки, где бы я могла найти себе пристанище. Однако, я могла бы избежать этого бедствия и разорения, если бы пожелала выйти за него замуж; но по всем данным отец мой полагал, что я никогда не соглашусь на такой неравный брак, и в этом он несколько не ошибался, ибо никогда мне и в мысль не приходило обвенчаться ни с этим великаном, ни с другим



каким, как бы велик и могуч он ни был. И еще сказал мне отец, что когда он умрет и Пандафирандо двинется на мое королевство, я не должна и думать о сопротивлении, ибо это будет равносильно гибели; а надлежит мне, если я хочу спасти от смерти и полного истребления моих добрых и верных вассалов, добровольно очистить королевство, так как нет возможности защищаться против дьявольской силы этого великана. И завещал он мне немедленно с несколькими верными людьми отправиться в путь в Испанию и отыскать там спасителя от всех моих бедствий—странствующего рыцаря, чья слава в то время распространится по всему государству, а звать его будут, если только я хорошо помню, дон Асот или дон Хигот \*.

— Должно быть, он сказал: дон Кихот,—прервал ее Санчо Панса,—или, по другому, Рыцарь Печального Образа.

— Именно так,—ответила Доротея.—И еще он прибавил, что рыцарь этот—высокого роста, худощав лицом и что у него с правой стороны пониже левого плеча или где то поблизости темная родинка с волосиками на подобие щетины.

Услышав это, дон Кихот сказал своему оруженосцу:

— Иди ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться; ибо я хочу убедиться, действительно ли тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.

— К чему же вашей милости раздеваться?—спросила Доротея.

— Чтобы посмотреть, есть ли у меня та родинка, о которой говорил ваш отец,—ответил дон Кихот.

— Для этого незачем раздеваться,—сказал Санчо,—я и так знаю, что у вашей милости посредине спины как раз такая самая родинка, и это знак мужественности.

— Этого совершенно достаточно,—сказала Доротея,—потому что между друзьями на такие мелочи не смотрят, и не важно, на плече она или на спине; главное, что родинка есть, а где бы она ни была, тело всюду одинаковое. Нет сомнения, что мой добрый отец предсказал правильно, и я тоже не ошиблась, обратившись к сеньору дон Кихоту, так как его то несомненно мой отец и имел в виду. Ведь с телесными признаками согласуется и добрая молва, которая идет о нем не только в Испании, но и во всей Ламанче,—ибо не успела я высадиться в Осуне, как уже услышала о его деяниях, и сразу же подсказало мне сердце, что его то я и ищу.

— Но как же, моя сеньора, ваша милость могла высадиться в Осуне,—спросил дон Кихот,—когда это не морская гавань?

Прежде чем Доротея успела ответить, вмешался священник и сказал:

— Сеньора принцесса, должно быть, хотела сказать, что с тех пор как она высадилась в Малаге, первое место, где она услышала о вашей милости, была Осуна.

— Да, именно это я и хотела сказать,—подтвердила Доротея.

— Тогда все понятно,—сказал священник.—Итак, продолжайте, ваше величество.

— Мне нечего прибавить,—сказала Доротея,—разве только то, что наконец судьба надо мной сжалась, и я нашла сеньора дон Кихота. Теперь

я уже считаю себя королевой и владычицей всего моего королевства, ибо по своей любезности и великодушью он соблаговолил согласиться отпраздновать со мной, куда я его поведу; а поведу я его к великану Пандафирандо Свирепоглазому для того, чтобы он его убил и возвратил мне то, что у меня незаконно им отнято. И все это должно совершиться как по писаному, ибо так предсказал мой добрый отец Тинакрио Мудрый. И еще оставил он грамоты, написанные по гречески и по халдейски, прочесть их я не умею, но значится в них следующее: если рыцарь, о котором мне предсказано, отрубив великану голову, пожелает на мне жениться, то должна я немедленно, без всяких отговорок, стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть и над всем королевством.

— Что ты на это скажешь, друг мой Санчо?— сказал тут дон Кихот. — Ты слышишь, о чем идет речь? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.

— Ей богу верно!—сказал Санчо. — Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору *Пандафирандо* и не жениться на принцессе! Что же вы скажете, королева плоха? Хотел бы я, чтоб такие блошки прыгали в моей постели!

И сказав это, он в знак особого удовольствия брыкнул обеими ногами в воздухе; потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени, умоляя позволить ему поцеловать ей руки, как своей королеве и сеньоре. Кто бы не рассмеялся, видя такое безумие господина и простодушие слуги! Доротея протянула ему

руки и обещала сделать его важным вельможей, когда небо позволит ей снова вступить во владение своим королевством. Санчо стал ее благодарить в таких выражениях, что присутствующие снова рассмеялись.

— Такова, сеньоры, моя история,—продолжала Доротея.—Мне остается сказать вам, что из всей свиты, которую я вывезла из моего королевства, остался у меня один этот бородастый оруженосец, а все остальные потонули во время ужасной бури, настигшей нас в виду гавани; мы же с ним на двух досках чудом добрались до берега. Да и вся моя жизнь, как вы уже заметили, есть чудо и тайна. Если же я что либо сказала лишнее и некстати, то виной этому обстоятельство, на которое в самом начале моего рассказа указал сеньор лицензиат: необыкновенные и непрерывные испытания лишают памяти тех, на кого они обрушиваются.

— Сколько бы мне ни пришлось их пережить, как бы велики и удивительны они ни были, о высокородная и отважная сеньора,—заявил дон Кихот,—служба вам, я не потеряю памяти! И я снова подтверждаю вам свое обещание и клянусь, что последую за вами на край света, пока не встречу свирепого вашего врага, у которого с помощью бога и моей руки я надеюсь отрубить дерзкую голову лезвием этого доброго меча,—хотел бы сказать, да не могу, потому что мой добрый меч похитил у меня Хинес де Пасамонте.

Последние слова он проговорил сквозь зубы, затем продолжал:

— А когда я его обезглавлю и введу вас в мирное владение вашим государством, вы

сможете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо память моя занята, воля пленена и разум похищен той... больше ничего не прибавлю; а только невозможно мне не только жениться, но даже и помыслить о женитьбе, хотя бы на самой птице Фениксе.

Эти слова дон Кихота насчет невозможности жениться так не понравились Санчо, что с большой досадой он возвысил голос и сказал:

— Клянусь вам и присягаю, сеньор дон Кихот, что вы не в своем уме: как же это возможно колебаться, когда дело идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Что ж вы думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи, как эта? Или, может быть, по вашему сеньора Дульсинея красивее? Конечно нет—и на половину так не красива; готов поклясться, что она принцессе и в подметки не годится! Значит, насчет моего графства пиши пропало, если ваша милость будет ждать, чтобы на дне моря выросли груши? Женитесь, непременно женитесь, заберите вас сатана, не упускайте королевства, которое само плывет вам в руки ни за что, ни про что; а когда станете королем, сделайте меня маркизом или наместником, а там, по мне, пускай все идет к дьяволу!

Дон Кихот, улышав эти кощунства по отношению к своей госпоже Дульсинее, не стерпел и, подняв копьцо, без всяких слов и предупреждений закатил Санчо таких два удара, что тот растянулся во весь рост, и если бы Доротей своим криком не удержала дон Кихота, он наверное прикончил бы его на месте.



— Неужели вы думаете, подлый мужлан,— начал он через некоторое время,— что вы вечно будете совать мне палки между ног, а я вечно прощать вам ваши наглости? Не воображайте этого, окаянный негодяй,— ибо вы негодяй, раз ваш язык посмел коснуться несравненной Дульсиinei! Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что она одна дает силу моей руке и что без нее я не мог бы убить блохи? А ну ка, скажите, плут с языком гадюки, кто по вашему завоевал это королевство, отрубил голову великану и сделал вас маркизом (ибо все это я считаю уже совершившимся: то, что задумано, сделано),— не доблесть ли Дульсиinei, избравшей мою руку орудием своих подвигов? Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и от нее моя жизнь и бытие. О гнусный негодяй, как вы неблагодарны, вы, поднятый из праха земли и возведенный в знатные сеньоры! Благодарительнице своей вы платите за это злословием!

Как ни был Санчо избит, все же он услышал слова своего господина и, не без проворства поднявшись, укрылся за иноходцем Доротеи и оттуда ответил:

— Скажите мне, сеньор, если ваша милость решила не жениться на этой знатной принцессе, то значит королевство не будет вашим? А если так, то каких милостей мне от вас ждать? Вот на это то я и жалею. Обязательно женитесь на этой королеве, которая к нам прямо с неба свалилась, а потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсиinei: ведь бывали же на свете короли, которые жили с любовницами. А что

касается красоты, то уж я в это дело не вмешиваюсь, ибо действительно, раз на то пошло, обе мне кажутся красотками, хотя впрочем сеньоры Дульсинея я никогда в глаза не видывал\*.

— Как не видывал?—перебил его дон Кихот.—Да ведь ты только что, богомерзкий предатель, принес мне от нее привет!

— Я хотел сказать, что видел ее недостаточно долго, чтобы подробно, со всех сторон рассмотреть ее красоту и все ее прелести; но так, в общем, она кажется мне хорошенькой.

— Вот теперь я тебя прощаю,—сказал дон Кихот,—и ты прости мне причиненную тебе обиду, ибо первые движения не зависят от воли человека.

— Уж это я знаю,—ответил Санчо;—а у меня первое движение—охота поговорить. Никак не могу удержаться, чтобы хоть разок не сказать того, что у меня на языке вертится.

— И все же, Санчо,—сказал дон Кихот,—думай о том, что ты говоришь; ты ведь знаешь: повадился кувшин по воду ходить... продолжать не стану.

— Да уж хорошо,—ответил Санчо,—бог в небе видит все проступки, и он рассудит, что хуже: плохо ли говорить, как я, или делать плохое, как ваша милость.

— Ну, довольно,—прервала Доротея.—Бегите, Санчо, поделуйте руку вашему господину и попросите у него прощения, а впредь будьте осторожнее в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о сеньоре из Тобосо, которой я готова служить, хоть ее и не знаю; а в остальном доверьтесь богу, и будут у вас владения, и заживете вы в них по княжески.

Санчо, опустив голову, подошел к дон Кихоту и попросил его пожаловать ему руку, которую тот протянул ему с достоинством; и когда Санчо ее поцеловал, дон Кихот дал ему свое благословение и предложил пройти с ним вперед: ему де нужно расспросить его и побеседовать об очень важных вещах. Санчо повиновался, и когда они немного опередили остальных, дон Кихот сказал:

— С тех пор как ты вернулся, у меня не было случая узнать от тебя в подробностях, как ты исполнил поручение и какой принес ответ. Но сейчас, когда судьба дарует нам и место и время для этого, не лишай меня счастья услышать добрую весть от Дульсины.

— Спрашивайте, ваша милость, обо всем, что вам будет угодно,—отвечал Санчо;—каков был привет, таков будет и ответ. Об одном только прошу вашу милость, сеньор мой, не будьте вы впредь столь мстительны.

— К чему ты это говоришь, Санчо?—спросил дон Кихот.

— А к тому,—ответил Санчо,—что избili вы меня сейчас скорее за то, что прошлой ночью чорт нас попутал поссориться, а не за мои слова о сеньоре Дульсине, которую я люблю и уважаю как святыню (хотя какая там у нее святыня!),—единственно за то, что она дорога вашей милости.

— Брось болтать об этом, Санчо, прошу тебя,—сказал дон Кихот,—твои слова мне неприятны. Я только что тебя простил, а ты сам знаешь, что говорится: «За новый грех — новое покаяние».

В эту самую минуту увидели они перед собой на дороге какого то человека верхом на осле, и когда он подъехал ближе, они приняли его за цыгана. Но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза из орбит готовы были выпрыгнуть, всмотрелся в незнакомца, как тотчас же он узнал в нем Хинеса де Пасамонте — и, схватившись за нитку, то есть за цыгана, распутал клубок, а именно догадался, что серый осел, на котором ехал Пасамонте, был его собственный. Так оно и оказалось. Пасамонте, чтобы его не узнали и не помешали продать осла, переделал цыганом; на цыганском же языке и на многих других он говорил как на своем родном. Увидел его Санчо и узнал, а увидев и узнав, громко закричал:

— Вор Хинесильо, отдай мне мое добро, верни мне жизнь, не смущай моего покоя, оставь моего осла, возврати мне мою усладу! Улепетывай мошенник, убирайся прочь, воришка, и брось то, что не твое!

Столько бранных слов и не понадобилось: при первом же из них Хинес соскочил с осла и пустился рысдой, похожей на галоп, так что в одну минуту и след его простыл. Санчо подошел к своему серому и, обняв его, сказал:

— Как тебе жилось, сокровище мое, ослик души моей, друг мой сердечный?

И, говоря это, он его ласкал и целовал точно человека; а осел молчал, позволяя себя ласкать и целовать, и не отвечал ни слова. Подошли остальные и стали поздравлять Санчо с находкой, особенно же дон Кихот, заявивший, что несмотря на это он не отменит своего уговора



относительно трех ослят. Санчо поблагодарил его.

В то время как дон Кихот с Санчо шли впереди и беседовали, священник сказал Доротее, что она в рассказе своем обнаружила большую ловкость, сделав его коротким и похожим на подобные же рассказы в рыцарских романах. Она ответила, что часто для развлечения читала эти романы; одного только она не знала, это — где находятся приморские страны и города и поэтому наугад сказала, что высадилась в Осуне.

— Я так и понял, — ответил священник, — и поторопился вмешаться и все уладить. Но разве не странно видеть, с какой легкостью этот злополучный идальго верит во все фантазии и выдумки только потому, что по слогу и складу они похожи на его сумасбродные книги?

— Вещь действительно странная, — сказал Карденио, — необыкновенная и доселе невиданная. Если бы кому захотелось нечто подобное выдумать и сочинить, не думаю, чтобы это ему удалось, какого бы острого ума он ни был.

— И это еще не все, — сказал священник. — Этот добрый идальго несет вздор, когда речь заходит о предмете его помешательства, обо всем же остальном он рассуждает вполне разумно и проявляет ясный и светлый ум; так что, если не заговорить с ним об его рыцарских материях, никак нельзя догадаться, что он не в своем уме.

А пока они вели этот разговор, дон Кихот продолжал беседовать с Санчо:

— Друг мой Панса, бросим наши споры, и да разлетятся они как пух над водой. Не помни

зла, забудь обиды и скажи мне теперь: где, как и когда видел ты Дульсинею? Что она делала? Что ты ей сказал? Что она тебе ответила? С каким выражением на лице читала она мое послание? Кто тебе его переписал? Одним словом, расскажи мне все, что в подобном случае заслуживает рассказа, вопросов и ответов,—не прибавляя и не присочиняя ничего, чтобы доставить мне удовольствие, а главное ничего не опуская, дабы не лишить меня оногo.

— Сеньор,—ответил Санчо,—если уж говорить правду, то письма вашего никто мне не переписывал, потому что я его и не взял с собой.

— Ты говоришь правду,—сказал дон Кихот,—потому что записную книжку, в которой я его набросал, я нашел у себя через два дня после твоего ухода, и это меня крайне огорчило, так как я не знал, что ты будешь делать, когда обнаружишь отсутствие письма; я все думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что его нет.

— Так бы я и поступил,—ответил Санчо,—если бы не запомнил его наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я продиктовал его ризничему, который ловко, слово в слово, его записал и при этом еще прибавил, что хоть много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал.

— И ты до сих пор помнишь его наизусть?—спросил дон Кихот.

— Нет сеньор,—отвечал Санчо,—как только я его продиктовал, так сейчас же, за ненадоб-

ностью, поспешил забыть. Впрочем нет, начало я помню: «Превозмутительная...», виноват: «превосходительная сеньора», и конец тоже: «Ваш по гроб Рыцарь Печального Образа»; а в середку я вставил сотни три «душа моя», «жизнь моя», да «очи мои».



## ГЛАВА XXXI

*о замечательной беседе дон Кихота с его оруженосцем Санчо Пансой и о других происшествиях*



се это недурно, — продолжай дальше, — сказал дон Кихот. — Когда ты пришел, что делала эта королева красоты? Должно быть, она низала жемчуг или золотыми нитками вышивала эмблему для своего плененного рыцаря?

— Нет, — ответил Санчо, — она на заднем дворе просеивала две фанеги\* зерна.

— Да, но имей в виду, — сказал дон Кихот, — что зерна, к которым прикасались ее руки, превращались в жемчужины. А ты посмотрел, мой друг, какое это было зерно — белое или черное?

— Желтое, — ответил Санчо.

— Уверяю тебя, — сказал дон Кихот, — это просеянное ее руками зерно дает несомненно белый хлеб. Но продолжай: когда ты вручил ей мое письмо, она его поцеловала? Или возложила себя на голову\*? Или проделала другие це-

ремонии, достойные моего письма? Что она сделала?

— Когда я ей подавал письмо, она усердно трясла сито, в котором было порядком зерна, и сказала мне:—положите его, друг мой, там на мешок: мне его читать недосуг, пока вот это все не просею.

— О мудрая сеньора!—сказал дон Кихот.— Она хотела прочитать его не спеша, чтоб полностью им насладиться. Ну, дальше, Санчо: а во время своих трудов, какие беседы вела она с тобой? Что спрашивала обо мне? И что ты отвечал? Ну кончай же, рассказывай все, ничего не оставляя на дне своей чернильницы.

— Ничего она не спрашивала,—сказал Санчо, но я ей рассказал, что ваша милость, служа ей, наложила на себя покаяние: бродит в горах, по пояс голый как дикарь, спит на твердой земле, хлеб ест без скатерти, бороды не чешет и с плачем прокликает судьбу.

— Это ты плохо выразился, что я проклиная судьбу,—возразил дон Кихот;—напротив, я ее благословляю и буду благословлять все дни моей жизни за то, что удостоила она меня счастья любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская.

— Высока то она—высока, вершка на три повыше меня будет,—ответил Санчо.

— А разве вы мерялись с ней, Санчо?—спросил дон Кихот.

— А вот как мы мерялись,—ответил Санчо:—я ей подсобил взвалить мешок пшеницы на осла и стал с ней рядом; тут то я и заметил, что она повыше меня на добрую пядь.

— Поистине, — сказал дон Кихот, — этому высокому росту сопутствует, украшая его, миллион прелестей души. Но одного ты не станешь от-



рицать, Санчо: когда ты стоял рядом с ней, ты почувствовал сладкое благоухание, нежный аромат, нечто столь приятное, что нельзя выразить словами, какое то благовоение или испаре-

ние, ну как если бы ты был в лавке модного перчаточника?

— Скажу только, — отвечал Санчо, — что почувствовал я дух как от мужчины, должно быть потому, что от сильных движений она изрядно вспотела и разопрела.

— Не может этого быть! — вскричал дон Кихот. — Просто у тебя был насморк, или ты почувшал свой собственный запах. Но я то знаю, как благоухает эта роза меж шипов, эта полевая лилия, этот раствор амбры.

— Все возможно, — ответил Санчо; — от меня часто идет такой дух, какой, мне показалось, шел тогда от ее милости, сеньоры Дульсинеи. И дивиться тут нечему: чорта с чортом легко смешать.

— Итак, — продолжал дон Кихот, — когда она кончила просеивать пшеницу и отправила ее на мельницу, что она сказала, прочитав письмо?

— Да она его и не читала, — ответил Санчо; — она заявила, что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо да и порвала на мелкие кусочки, не желая чтобы ктонибудь его прочел и чтобы в деревне узнали про ее секреты: с нее мол довольно и того, что я ей на словах передал насчет любви вашей милости и удивительного покаяния, которое вы ради нее на себя наложили. А под конец она мне сказала, чтоб передал я вашей милости, что она целует вам руки и что ей более желательно повидаться с вами, чем писать вам письма, и еще — что она вас умоляет и приказывает, чтобы вы по получении ее ответа выбрались бы из этих дебрей, перестали делать глупости и скоренько от-

правились в Тобосо, если только ничего более важного вас не задержит, так как ей весьма хочется повидать вашу милость. Очень она смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя Рыцарем Печального Образа. Я ее спросил, был ли у нее наш приятель бискаец; она сказала, что был и что он хороший человек. Еще я ее спросил насчет каторжников, но она ответила, что до сих пор никого из них не видела.

— Пока все идет хорошо, — сказал дон Кихот. — Но скажи мне, какую драгоценность подарила она тебе на прощанье за вести, тобою принесенные? Ибо между дамами и странствующими рыцарями существует издревле укоренившийся обычай: оруженосцам, наперсницам или карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам, дарятся обыкновенно богатые драгоценности в награду за посольства.

— Возможно что так; и по моему, это обычай хороший. Но, должно быть, так делалось в старину, а теперь принято дарить ломоть хлеба с сыром, в роде того ломтя, который протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался; и могу еще прибавить, что сыр был овечий.

— Она обыкновенно щедра, — сказал дон Кихот. — Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой драгоценности, оттого она тебе и не дала. Впрочем, рукава и после Пасхи не лишни\*; я с ней поговорю и все улажу. Но знаешь, что меня изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху: ведь ты в три дня с небольшим побывал

в Тобосо и вернулся, а пути туда больше тридцати миль. Из этого я заключаю, что мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует (а такой у меня есть и должен быть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем), так вот, этот волшебник вероятно помогал тебе итти, а ты и не замечал. Это часто случается, что какойнибудь мудрый волшебник уносит странствующего рыцаря, спящего на своей постели, а утром тот просыпается и сам не знает, как и каким образом очутился он за тысячу миль от того места, где заснул. Да, без этого странствующие рыцари не могли бы выручать друг друга в опасностях, как это они делают на каждом шагу; ибо иногда бывает, что в то время как один из них сражается в горах Армении с какимнибудь андриаком\*, со свирепым чудовищем, или с другим рыцарем,— вдруг, в самый разгар боя, в минуту смертельной опасности, откуда ни возьмись, появляется на облаке или на огненной колеснице рыцарь, его приятель, который только что перед тем находился в Англии, и выручает его, спасая от смерти; а к вечеру тот уже у себя дома и преспокойно ужинает, — а между тем от одного до другого места не меньше двух или трех тысяч миль. И все это благодаря искусству и мудрости этих мудрых чародеев, которые заботятся об отважных рыцарях. Поэтому, друг мой Санчо, я без труда верю, что ты мог в такое короткое время побывать в Тобосо и вернуться, ибо, как я уже сказал, ктонибудь из моих мудрых покровителей перенес тебя по воздуху, а ты этого и не заметил.

— Так он верно и было — сказал Санчо. — Ей богу, потому что Росинант скакал как цыганский осел, у которого в ушах ртуть\*.

— Какая там ртуть! — перебил его дон Кихот. — Да у него там был целый легион бесов, — ибо это отродье без устали само носится и других заставляет носиться, кого только ему вздумается. Но оставим это. Как мне, по твоему, следует поступить, раз моя сеньора велит мне к ней явиться? С одной стороны, я обязан исполнить ее приказание, а с другой — это невозможно, так как я дал клятву принцессе, которая за нами следует, а закон рыцарства велит сперва сдерживать данное слово, а потом уже думать о собственном удовольствии. Меня преследует и томит желание увидеть мою сеньору, и одновременно влечет и призывает долг чести и жажда закончить со славою начатое дело. Но вот что я решил: я поспешу добраться до этого великана, быстро срублю ему голову, благополучно водворю принцессу в ее владениях, и сразу затем устремлюсь к той, чей свет озаряет мои чувства. Я конечно сумею оправдаться перед нею, и она даже одобрит мое промедление, так как оно послужит лишь к увеличению ее чести и славы: ибо все, чего я достиг, достигаю и достигну моим мечом в этой жизни, — все это происходит от ее благосклонности и моей преданности ей.

— Ах, ваша милость, — воскликнул Санчо, — как плохо у вас голова устроена! Ну скажите мне, сеньор, неужели ваша милость собирается так задаром проделать все это путешествие и упустить и прозевать такую богатую и знат-

ную невесту, приносящую в приданое целое королевство, которое, как мне, честное слово, говорили, имеет больше двадцати миль в окружности и весьма изобилует всем необходимым для поддержания человеческого существования? Право, ведь оно больше, чем Португалия и Кастилия вместе взятые! Не спорьте, ради бога, лучше постыдитесь ваших слов и последуйте моему совету, и — простите мне — женитесь немедленно в первом же местечке, где встретится священник; а не то и наш лицензиат обвенчает вас на славу. Заметьте, что я уже в таком возрасте, что могу давать советы, а этот вам точь в точь по мерке. Лучше воробей в руках, чем коршун в небе, и кто много имеет, да плохо выбирает, коли не худо ему, пусть на других пеняет\*.

— Слушай, Санчо,—сказал дон Кихот,—если ты советуешь мне жениться только для того, чтобы я, убив великана, поскорей сделался королем и мог исполнить свое обещанье, осыпав тебя милостями, то знай же, что я и без женитьбы весьма легко могу удовлетворить твое желание. Ибо еще до вступления в бой я заключу условие, чтобы в случае моей победы мне отдали часть королевства, даже если я не захочу жениться на принцессе, и тогда я смогу подарить ее кому мне захочется. А когда я ее получу, кому же мне ее подарить, как не тебе?

— Ясное дело, — ответил Санчо. — Но уж вы позаботьтесь, ваша милость, чтобы эта часть прилегала к морю, потому что, если тамошние края мне не понравятся, я погружу моих вассалов-негров на корабли и сделаю с ними то,



что я уже раньше говорил. А только, ваша милость, вы теперь к сеньоре Дульсинее не заезжайте, а отправляйтесь себе убивать великана, и обделаем мы это дельце. Ей богу, мне сдается, что будет от него нам и большая честь и немалая польза.

— Повторяю тебе, Санчо, — сказал дон Кихот, — что ты можешь на меня положиться: я последую твоему совету и сначала поеду с принцессой, а уж потом повидаюсь с Дульсинеей. Но имей в виду: о том, что мы с тобой тут обсуждали и решали, никому ни слова, даже нашим спутникам! Ибо если Дульсинея столь осмотрительна, что не желает открывать своих мыслей, то ни мне, ни другому кому не следует их разглашать.

— Но в таком случае, — сказал Санчо, — почему же вы отсылаете к сеньоре Дульсинее всех, кого побеждает ваш меч? Не значит ли это расписываться своим именем в том, что вы ее любите и что она ваша возлюбленная? А если уж необходимо, чтобы все побежденные падали на колени перед ее особой и объявляли, что они посланы вашей милостью и присягают ей в верности, так как же могут остаться в тайне ваши общие мысли?

— О, как ты прост и глуп! — воскликнул дон Кихот. — Разве ты не понимаешь, Санчо, что все это служит к вьдшему ее возвеличению? Должен тебе сказать, что по нашим рыцарским обычаям для дамы великая честь, когда ей служит много странствующих рыцарей, не помышляя ни о чем другом, как только служить ей ради нее самой, и не ожидая за все свои стре-

мления иной награды, кроме чести быть принятыми в число ее рыцарей.

— Нам священник говорил в проповеди, — ответил Санчо, — что такой любовью следует любить господа бога: ради него самого, без надежды на награду и без страха наказания, — хотя я бы предпочел любить его и служить ему за чтонибудь.

— Чорт побери этого деревенщину! — воскликнул дон Кихот. — Иной раз он не плохо рассуждает, право же не хуже школяра!

— А я, ей богу грамоте не знаю, — ответил Санчо.

В эту минуту мастер Николас крикнул им, чтоб они немного подождали, так как компания решила остановиться и напиться у источника, протекавшего у дороги. Дон Кихот остановился к немалому удовольствию Санчо, который уже устал врать и боялся, как бы господин не поймал его на слове; ибо, хоть он и знал, что существует в Тобосо крестьянка по имени Дульсинея, однако он ее никогда в жизни не видел\*.

За это время Карденио успел переодеться в то платье, в котором наши друзья встретили. Доротею, и хоть оно было и неважное, но все же не в пример лучше его прежнего. Все спешили у источника и провизией, которую священник раздобыл в харчевне, слегка утолив мучивший их голод.

Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Он стал с большим вниманием всматриваться в расположившихся у источника, затем вдруг бросился к дону Кихоту и, обняв ему колени, горько заплакал и сказал:



— Ах, мой сеньор! Неужели ваша милость меня не узнает? Да ведь я тот самый Андрес, который был привязан к дубу и которого ваша милость освободила!

Дон Кихот его узнал и, взяв за руку, обратился к присутствующим со словами:

— Теперь вы можете убедиться, сеньоры, как необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые восстанавливают справедливость и мстят за обиды, творимые на свете злыми и порочными людьми. Знайте же, сеньоры, что несколько дней тому назад, проходя по лесу, услышал я крики и жалобные стоны, как будто кого то обижали и истязали; побуждаемый чувством долга, поспешил я на звук этого плачевного голоса и увидел мальчика, привязанного к дубу, — я весьма рад, что он сейчас перед вами, ибо он может служить свидетелем и подтвердить, что я не лгу. Итак, он был привязан к дубу, обнаженный до пояса, а рядом с ним стоял крестьянин (я впоследствии узнал, что это был его хозяин) и до крови стегал его возжами от кобылы. Как только я это увидел, я его спросил, за что он так жестоко его бьет; грубиян отвечал, что бьет он его потому, что он его слуга, и не за то, что он простофиля, а за то, что повадки у него воровские. А тогда мальчик сказал: «Сеньор, он меня бьет за то, что я у него прошу свое жалованье». Хозяин рассыпался в объяснениях и оправданиях, которые я выслушал, но не признал правильными. В конце концов, я велел отвязать мальчика, и крестьянин мне поклялся, что он отведет его к себе и заплатит ему все до последнего реала,

даже с процентами. Правда это или нет, сынок Андрес? Заметил ли ты, как строго я ему это объявил и как униженно обещал он исполнить все, что я ему предписал, велел и приказал? Отвечай, не смущайся и не бойся; расскажи этим сеньорам все что было, дабы они увидели и поняли, сколь полезны бывают на больших дорогах странствующие рыцари.

— Все, что ваша милость рассказала — истинная правда, — ответил мальчик, — только конец дела был не такой, как ваша милость полагает, а совсем наоборот.

— Как наоборот? — спросил дон Кихот. — Значит хозяин тебе не заплатил?

— Не только не заплатил, а едва ваша милость выехали из лесу, и остались мы вдвоем, как он опять привязал меня к дубу и снова так меня отстегал, что остался я как святой Варфоломей, с ободранной кожей. И при каждом ударе отпускал он какую нибудь шутку или прибаутку, издеваясь над вашей милостью, так что не будь мне больно, я наверное бы хохотал. И оставил он меня в таком виде, что до сегодняшнего дня я провалялся в больнице, лечась от ран, причиненных этим дрянным крестьянином. А во всем этом виновата ваша милость, ибо если бы вы ехали своей дорогой и не лезли бы туда, куда вас не звал, и не путались бы в чужие дела, мой хозяин удовольствовался бы дюжиной, другой ударов, а потом бы отвязал меня и заплатил свой долг. Но так как ваша милость оскорбила его без всякого повода и наговорила множество бранных слов, он разозлился, но не посмел выместить свою злобу на вашей

милости; и вот, когда вы уехали, вся эта туча разразилась над моей головой, да так, что я, должно быть, уж никогда в жизни не буду настоящим человеком.

— Ошибка моя состояла в том, — сказал дон Кихот, — что я уехал оттуда прежде чем он тебе заплатил; ибо по долгому опыту мне следовало знать, что мужик никогда не держит слова, когда это ему не выгодно. Но ведь ты помнишь, Андрес, что я поклялся, если он тебе не заплатит, разыскать его, где бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.

— Это правда, — ответил Андрес, — да проку то из этого не вышло никакого.

— Ты сейчас увидишь, будет прок или нет! — воскликнул дон Кихот.

С этими словами он поспешно встал и велел Санчо оседлать Росинанта, который пасся, пока они закусывали.

Доротея спросила, что он намерен делать. Он ответил, что поедет разыскивать крестьянина, чтобы наказать его за ослушание и заставить уплатить Андресу все до последнего мараведиса, на зло всему мужичью на свете. Тогда она попросила его припомнить, что, согласно данному ей обещанию, он не может пускаться ни в какие предприятия, пока не устроит ее дел; что все это ему известно лучше, чем кому бы то ни было, а потому он должен сдержать свой пыл до возвращения ее королевства.

— Да, это правда, — сказал дон Кихот. — Придется Андресу потерпеть до моего возвращения, но я еще раз обещаю и клянусь, что не успо-

коюсь, пока не отомщу за него и не заставлю заплатить ему.

— Не верю я в ваши клятвы, — сказал Андрес, — и всякой мести в мире я бы предпочел, чтоб было у меня с чем добраться сейчас до Севильи. Дайте мне съестного на дорогу, если у вас найдется, и оставайтесь с богом, и вы, и все странствующие рыцари, и пусть они настранствуют себе столько добра, сколько они мне его настранствовали.

Тут Санчо вытащил из своего запаса ломоть хлеба и кусок сыра, отдал их мальчику и сказал:

— Возьмите ка это, сынок Андрес; мы все разделяем ваше горе.

— Так какая же доля его приходится на вас? — спросил Андрес.

— Вот эта самая доля хлеба и сыра, что я даю вам, — ответил Санчо, — так как одному богу известно, буду ли я их иметь или нет; ибо должен я вам сказать, что нам, оруженосцам странствующих рыцарей, приходится переносить и голод и зоключения и другие невзгоды, которые легче перенести, чем о них рассказывать.

Андрес схватил хлеб и сыр и видя, что никто ему больше ничего не дает, опустил голову и, как говорится, закинул ноги на плечи. Только на прощанье он сказал дон Кихоту:

— Ради бога, сеньор странствующий рыцарь, если вам еще когда нибудь доведется со мной встретиться, пожалуйста не защищайте и не заступайтесь за меня, хоть бы меня резали на куски; ибо как бы ни велика была моя беда, от помощи вашей милости она станет еще горше,

и да будьте вы прокляты вместе со всеми странствующими рыцарями, когда либо жившими на свете.

Дон Кихот хотел подняться, чтобы наказать его; но Андрес бросился улепетывать так проворно, что никто не решился его догонять. Очень смущен был дон Кихот рассказом Андреса, и присутствующие должны были делать величайшие усилия, чтобы удержаться от смеха и не смутить его окончательно.



## ГЛАВА XXXII

*в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом дворе со всей компанией дон Кихота*



кончив свой изысканный обед, они оседлали мулов и без приключений, заслуживающих упоминания, на следующий день приехали на постоялый двор, которого так боялся и страшился Санчо Панса; как ему ни хотелось удрать, а все таки он должен был войти туда. Хозяин, хозяйка, дочка и Маригорнес, увидев дон Кихота и Санчо, бросились к ним навстречу с выражениями шумной радости. Наш рыцарь важно и с достоинством поздоровался с ними и попросил приготовить ему постель получше, чем в прошлый раз. Хозяйка ответила, что если он заплатит получше, чем в прошлый раз, постель будет у него княжеская. Дон Кихот согласился, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, что и в тот раз, после чего он тотчас же улегся, так как был очень изнурен и расстроен в мыслях.

Не успел он еще запереть свою дверь, как хозяйка бросилась к цырюльнику и, схватив его за бороду, закричала:

— Клянусь всеми святыми, не позволю я вам больше из моего хвоста делать себе бороду! Отдайте его сейчас же! А то ведь штучка моего мужа валяется на полу, просто стыд и срам. Я говорю, гребешок моего мужа валяется. Ведь я его всегда втыкала в мой прекрасный хвост!

Цырюльник не хотел его отдавать, а она все тянула, пока, наконец, лицензиат не велел ему отдать, заявив, что в этом ухищрении больше нет надобности и что он может открыться и появиться в обычном своем виде, а дон Кихоту сказать, что после того как их ограбили каторжники, он, спасаясь бегством, укрылся на этом постоялом дворе; если же дон Кихот спросит, где оруженосец принцессы, ему ответят, что она его отправила вперед, чтобы оповестить своих о скором своем возвращении вместе с их общим избавителем. После этого цырюльник охотно отдал хозяйке бычий хвост и все остальные предметы, которые она им одолжила, чтобы выручить дон Кихота.

Все на постоялом дворе были поражены красотой Доротей и привлекательной наружностью пастуха Карденио. Священник велел дать им поесть, и хозяин в надежде на лучшее вознаграждение приготовил им недурной обед. А дон Кихот все продолжал спать, и его решили не будить, так как в эту минуту сон ему был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, Мариторнес и всех постояльцев, зашел разговор о необычайном

помешательстве дон Кихота и о том, как его отыскивали. Хозяйка, убедившись сперва, что Санчо нет в комнате, рассказала о том, что произошло между дон Кихотом и погоищиком мулов, и как Санчо подбрасывали на одеяле; все это очень позабавило слушателей. Когда священник заявил, что у дон Кихота ум зашел за разум от чтения рыцарских романов, хозяин на это заметил:

— Не понимаю, как это могло случиться, ибо, на мой взгляд, честное слово, нет в мире лучшего чтения. У меня тут есть среди разных бумаг два-три таких романа, и право, я им, можно сказать, обязан жизнью, и не я, но и многие другие; потому что, когда во время жатвы собираются тут по праздникам жнецы, среди них всегда находится хоть один грамотный, и вот, берет он книгу, а мы садимся вокруг, человек тридцать, и слушаем с таким удовольствием, что тут и о седых волосах забудешь. О себе, по крайней мере, могу сказать, что когда я слышу о яростных и ужасных ударах, наносимых этими рыцарями, меня самого разбирает охота сделать то же самое, и я готов слушать об этом день и ночь.

— Да, и я тоже,—прибавила хозяйка.—Когда вы слушаете чтение, у меня в доме покой, потому что вы так этим увлекаетесь, что даже забываете со мной ругаться.

— Истинная правда,—сказала Мариторнес.— Я тоже, ей богу, люблю послушать эти прекрасные истории, особенно когда рассказывается о какойнибудь сеньоре, как она под апельсиновым деревом обнимается со своим кавалером,

а в это время дуэнья стоит на страже, помирая от зависти и страха. Для меня это — прямо мед.

— Ну, а вы, сеньорита, что скажете?—спросил священник, обращаясь к хозяйской дочке.

— По правде сказать, сеньор, сама не знаю,—ответила она.—Я тоже слушаю их чтение, и хоть я мало что понимаю, но слушать мне бывает приятно. Только мне нравятся не удары, которые так по вкусу моему отцу, а скорее жалобные речи, произносимые рыцарями в разлуке с дамами; право, я даже иногда плачу от жалости.

— Если бы эти рыцари плакали из за вас,—сказала Доротей,—вы бы их сейчас же утешили, не правда ли, сеньорита?

— Уж не знаю, что бы я сделала,—ответчала девушка;—знаю только одно, что некоторые из этих дам так жестоки, что рыцари называют их львицами, тигрицами и другими отвратительными именами. Господи Иисусе! И что же это за женщины, такие бессердечные и бессовестные, что им трудно посмотреть на честного человека, а он из за этого умирает или делается сумасшедшим! Не понимаю, к чему все это жеманство. Если они не хотят уронить своей чести, так пускай выходят замуж: кавалеры только об этом и думают.

— Молчи, девочка,—прервала ее хозяйка.—Что то ты больно много понимаешь в этих делах, а девице не гоже ни знать, ни болтать об этом.

— Сеньор меня спросил,—ответила она,—не могла же я не ответить.

— Ну, довольно,—сказал священник,—принесите ка мне, сеньор хозяин, все эти ваши книжки—я на них взгляну.

— С удовольствием,—отвечал хозяин и, войдя в свою комнату, притащил оттуда старый сундук, замкнутый на цепочку, открыл его и вынул три огромные книги и несколько рукописей, очень четко написанных. Первая книга была *Дон Сиронхимо Фракийский*, вторая—*Фелисмартте Гирканский*, а третья—*История великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского, вместе с жизнеописанием Диего Гарсия де Паредес*. Прочитав два первых заглавия, священник повернулся к цырюльнику и сказал:

— Нам недостает только экономки нашего друга и его племянницы.

— Обойдемся и без них,—отвечал цырюльник,—я тоже сумею снести их на скотный двор или бросить в печку, которая, кстати, отлично растоплена.

— Что?—сказал хозяин.—Ваша милость собирается сжечь мои книги?

— Только эти две: *Дона Сиронхимо и Фелисмартте*.

— А что, может быть они еретические или флегматические?—спросил хозяин.

— Вы хотели сказать, дружок, схизматические, а не флегматические?—поправил его цырюльник.

— Да, да,—сказал хозяин,—только если вы уж непременно хотите чтонибудь сжечь, то возьмите лучше *Великого капитана и Диего Гарсию*; что же касается остальных, то я скорей позволю сжечь собственного сына, чем одну из них.

— Брат мой,—начал священник,—обе эти книги лживы, полны нелепостей и бредней; а история *Великого Капитана*—чистая правда; в ней рассказывается о деяниях Гонсало Эрнандеса Кордовского, который за свои великие и многочисленные подвиги заслужил во всем мире прозвание великого капитана: это славное и знаменитое прозвище причисляется ему одному. А Диэго Гарсия де Паредес, родом из города Трухильо в Эстрамадуре, был замечательным воином: он от природы обладал такой силой, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на полном ходу; а однажды он один с рапирой в руках стал у входа на мост и не дал перейти неисчислимой армии; и еще много совершил он таких дел, что если бы не сам он рассказал и описал их со скромностью дворянина и собственного историка, а предоставил сделать это комунибудь другому—свободному и беспристрастному свидетелю, то они затмили бы деяния Гекторов, Ахиллов и Роландов.

— Рассказывайте моей бабушке! — сказал хозяин.—Подумаешь, что его удивляет: остановил мельничье колесо! Ей богу, ваша милость, вам бы не худо было почитать *Фелисмарте Гирканского*, который одним взмахом меча рассек пополам пять великанов, словно они были сделаны из бобов, в роде тех монашков, что делают наши ребятишки. А другой раз он столкнулся с громаднейшим и сильнейшим войском, в котором было больше миллиона шестисот тысяч солдат, вооруженных с головы до ног, и обратил его в бегство как стадо овец. А что вы скажете о славном дон Сиронхило Фракний-

ском, который был смелым и отважным рыцарем, как об этом написано в книжке? Однажды плыл он по реке, и вдруг из воды вынырнул огненный змей; тогда он, увидев чудовище, бросился на него, сел верхом на его чешуйчатую спину и стиснул ему руками горло с такой силой, что змей, задыхаясь, ничего другого не мог придумать, как опуститься на дно реки, увлекая за собой рыцаря, который ни за что не хотел его отпустить. А очутившись на дне, попал он в такие прекрасные дворцы и сады, что просто чудо; и тут змей превратился в древнего старца и рассказал ему о таких вещах, что, право, стоит послушать. Нет, и не говорите, сеньор, если бы вы все это услышали, вы бы рехнулись от восторга. А за вашего Великого Капитана и Диэго Гарсию я не дам и двух фиг.

Услышав это, Доротея тихо сказала Карденио:

— Нашему хозяину немногого недостает, чтобы стать вторым дон Кихотом.

— Мне тоже так думается; — ответил Карденио. — Повидимому, он твердо верит, что все описанное в этих книгах точь в точь соответствует действительности, и разубедить его в этом не могли бы даже босые кармелиты\*.

— Но послушайте, братец мой, — продолжал священник, — ведь не было на свете никакого Фелисмарте Гирканского, никакого дон Си-ронхилио Фракийского, ни других подобных рыцарей, о которых рассказывается в романах, ибо все это — вымысел и выдумка праздных писак, сочинивших все это, как вы сами сказали, для пустого времяпрепровождения, то есть для того же, для чего ваши жнецы проводят время

за этим чтением. Но, клянусь истиной, никогда не было на свете таких рыцарей, и никогда не случалось таких подвигов и нелепостей.

— Подманивайте другую собаку этой костью,— ответил хозяин,— я до пяти считать умею, и где мне сапог жмет, тоже знаю! И незачем вашей милости меня кашкой кормить— я ведь не олух! Нечего сказать, ваша милость хочет меня убедить, что в этих прекрасных книжках все— ложь и нелепость! Да ведь напечатаны то они с разрешения членов Королевского Совета, а это не такие господа, чтобы позволить печатать сказки о волшебствах и сражениях, от которых голову можно потерять!

— Я уж вам сказал, друг мой,— возразил священник,— что это делается с целью развлечь нашу праздность, и, подобно тому, как в благоустроенных государствах дозволяется игра в шахматы, в мяч или на шарокате для развлечения тех, кто не хочет, не должен или не может работать, точно так же разрешается издавать романы, ибо предполагается— да оно так и есть на самом деле— что не найдется такого невежды, который принял бы эти истории за правду. И если бы мне было позволено и мои слушатели этого бы пожелали, я бы рассказал, как следует писать хорошие рыцарские романы; быть может, мои слова многим были бы и полезны и приятны. Но я надеюсь, что современем мне удастся поговорить об этом с людьми, которые могут помочь беде, а пока, сеньор хозяин, верьте моим словам; вот вам ваши книги, решайте сами, что в них правда и что ложь, и да будет вам от них прок. Дай только бог, чтобы вы не за-



хромали на ту же ногу, что и ваш постоялец дон Кихот.

— Ну нет,—ответил хозяин,—я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я прекрасно понимаю, что теперь порядки не те, что были в то время, когда странствовали по свету эти славные рыцари.

Среди этого разговора вошел Санчо и, услышав, что в наше время странствующих рыцарей не водится и что все рыцарские романы—вздор и выдумки, смутился и призадумался; и тут же он про себя решил подождать, чем кончится путешествие его господина, и если оно, против ожиданий, кончится неудачей, то бросить дон Кихота и вернуться к жене, детям и привычным занятиям.

Хозяин уже собрался было унести сундучок с книгами, когда священник его остановил:

— Погодите, — сказал он,—мне хочется посмотреть, что это за бумаги, исписанные таким прекрасным почерком.

Хозяин их вынул, и священник увидел рукопись листов в восемь, в начале которой крупными буквами было написано заглавие: *Повесть о безрассудно-любопытном*. Пробежав три, четыре строки, священник сказал:

— Право, заглавие этой повести мне нравится, и мне хотелось бы прочесть ее целиком.

На это хозяин ответил:

— Ваша милость может ее прочесть. Должен вам сказать, что ее читали многие из моих постояльцев, и всем она очень нравилась. А как ее у меня выпрашивали! Но я не отдал, так как хочу возвратить ее владельцу, который забыл у

меня этот сундучок с книгами и бумагами; ведь может же быть, что он когданибудь вернется, и тогда я ему отдам. А жалко мне будет расставаться с романами! Что ж, хоть я и хозяин гостиницы, а все таки христианин.

— Вы вполне правы, мой друг,—сказал священник.—Но все же, если эта повесть мне понравится, вы мне позволите ее переписать.

— С большим удовольствием,—ответил хозяин.

Пока они разговаривали, Карденио взял повесть и стал читать. Он тоже весьма ее одобрил и попросил священника прочесть ее вслух, чтоб все могли послушать.

— Я бы охотно прочел,—ответил тот,—но не лучше ли будет употребить это время на сон вместо чтения?

— Для меня будет достаточным отдыхом послушать эту повесть,—ответила Доротея,—потому что я еще очень взволнована и не могу заснуть, хоть и нуждаюсь в покое.

— Ну, если так,—сказал священник,—то я прочту повесть, хотя бы из одного любопытства, а может быть она и доставит нам удовольствие.

Мастер Николас, а за ним и Санчо, тоже принялись его упрашивать. Тогда священник, видя что чтение доставит удовольствие всем присутствующим, да и ему самому, сказал:

— Так слушайте же внимательно: повесть начинается так.

## ГЛАВА XXXIII

*в которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном*



Италии, в провинции, называемой Тоскана, в славном и богатом городе Флоренции жили два богатых и знатных дворянина, Ансельмо и Лотарио; были они так дружны между собой, что все знавшие их, называли обычно и по преимуществу «два друга». Оба были молоды, холосты, одних лет и схожих характеров: этого было достаточно, чтобы связать их взаимной дружбой. Правда, Ансельмо был более склонен к любовным утехам, а Лотарио больше увлекался охотой. Но когда представлялся случай, Ансельмо оставлял свои удовольствия и следовал за Лотарио, а Лотарио забывал свои забавы и сопровождал Ансельмо. И так во всем согласовались их желания, как стрелки хорошо проверенных часов.

Ансельмо страстно влюбился в благородную и красивую девушку из того же города. Она происходила из хорошей семьи и сама была

столь хороша, что Ансельмо, посоветовавшись с другом, без которого он ничего не предпринимал, решил попросить у родителей ее руки и возложил это поручение на Лотарио, который, отправившись послом, выполнил его к полному удовлетворению своего друга. Вскоре Ансельмо уже обладал той, кого любил, а Камила была так счастлива с Ансельмо, что не переставала благодарить небо и Лотарио, который явился орудием ее блаженства. Первые дни, как обычно, прошли в свадебных празднествах, и все это время Лотарио попрежнему продолжал бывать в доме своего друга, доставляя ему всевозможные почести, удовольствия и увеселения. Но когда кончилось торжество и поток гостей и поздравителей уменьшился, Лотарио начал сокращать свои посещения, решив (как и всякий бы рассудительный человек на его месте сделал), что женатого приятеля неприлично навещать столь же часто, как и холостого, ибо, хотя добрая и истинная дружба не должна быть подозрительной, все же честь мужа так щепетильна, что оскорбить ее может не только друг, но и родной брат.

Ансельмо заметил сдержанность Лотарио и стал горько жаловаться, говоря, что он никогда бы не женился, если бы думал, что это может помешать их дружескому общению; до его женитьбы их доброе согласие заслужило им сладостное прозвище «двух друзей»; так неужели же теперь, из за излишней осторожности одного из них это общеизвестное и приятное название будет потеряно? Он умолял Лотарио — если только между ними допустимо такое выражение — быть по



прежнему полным господином у него в доме, приходите и уходите как и раньше, и уверял, что супруга его Камила вполне разделяет его вкусы и желания: она, мол, знает, как искренне они друг друга любили, и очень удивлена его нелюбезностью.

На все эти и многие другие доводы, которыми Ансельмо старался убедить Лотарио бывать у него попрежнему, последний отвечал с таким благоразумием, деликатностью и рассудительностью, что Ансельмо поверил в его добрые намерения, и они условились, что Лотарио будет приходиться к нему обедать два раза в неделю и по праздникам. Но, несмотря на этот уговор, Лотарио решил, что его поведение ни в чем не должно затрагивать чести его друга, доброе имя которого он берег больше своего собственного. Он говорил — и говорил правильно — что муж, которому небо послало красивую жену, должен вводить к себе в дом друзей с большой разборчивостью и столь же внимательно следить за приятельницами своей жены; ибо интриги не всегда завязываются на площади, в церкви или во время народных праздников и паломничества к святыням (все места, посещение которых муж не всегда может запретить своей жене), но часто с большой легкостью они завязываются в доме какойнибудь приятельницы или родственницы, пользующейся наибольшим доверием. И еще говорил Лотарио, что каждому женатому человеку необходимо иметь друга, который бы ему указывал на все оплошности его поведения, ибо нередко случается, что муж, влюбленный в свою жену, не замечает или, из боязни огорчить,

делает вид что не замечает ее пошукков, несовместимых с его честью. А между тем, предупрежденный другом, он без труда мог бы все исправить. Но где же найти такого умного, преданного и верного друга? Я право, не



знаю; один Лотарио мог им быть. С какой ревностью и благоразумием охранял он честь своего друга, решив урезывать, сокращать и ограничивать число условленных посещений, чтобы праздным зевакам и недоброжелателям не показались предосудительными визиты молодого,

богатого, знатного и одаренного многими качествами (как ему самому казалось) дворянина к столь красивой даме, как Камила. Конечно, ее добродетель и скромность могли обуздать самые злоречивые языки, но все же Лотарио не желал подвергать опасности ее честь и доброе имя своего друга. Поэтому те дни, когда он должен был обедать у Ансельмо, он большей частью заполнял другими делами и уверял, что эти дела неотложны. Когда же друзья встречались, все почти время уходило на жалобы одного и оправдания другого. Однажды гуляли они в поле за городом, и Ансельмо сказал Лотарио:

— Ты, вероятно, полагаешь, друг Лотарио, что мне следует неустанно благодарить providение: родился я от благородных родителей; судьба щедрой рукой наделила меня природными дарами и житейскими благами; она осчастливила меня таким другом, как ты, и такой женой, как Камила—двумя сокровищами, которые я ценю по мере сил, и все же меньше, чем они этого заслуживают. И вот, несмотря на все эти дары, которых более чем достаточно, чтоб сделать человека счастливым, я чувствую себя самым разочарованным и несчастным существом на свете. Уже много дней гнетет меня и мучит желание, столь странное и непохожее на обычные наши желания, что я сам себе дивлюсь и обвиняю себя, борюсь с собой, стараюсь скрыть и утаить его от собственных мыслей; и мне так же трудно совладеть с этой тайной, как было бы трудно сознательно поведать ее всему свету. Но раз все равно она должна обнаружиться, то я предпочитаю вручить ее твоей скромности в



надежде, что ты, как истинный друг, приложишь все старания, чтобы помочь мне. Тогда кончится моя тревога, и великие мучения, причиняемые мне моим безумием, сменятся такой же великой радостью, благодаря твоему старанию.

Лотарио был озадачен речами Ансельмо и не мог понять, к чему ведет такое длинное вступление или предисловие; он старался догадаться, какое желание мучит его друга, но все его предположения были очень далеки от истины. Чтобы выйти поскорей из этой мучительной неизвестности, он заявил Ансельмо, что прибегать к таким недомолвкам и околичностям вместо того, чтобы прямо высказать свои сокровенные мысли, значит оскорблять их великую дружбу, ибо он, Ансельмо, всегда может рассчитывать получить от него, если не содействие в выполнении своих желаний, то хотя бы совет, способный помочь им.

— Да, это правда, — ответил Ансельмо, — я тебе верю; так знай же, что меня мучит желание узнать, действительно ли моя жена Камила столь добродетельна и совершенна, какой я ее считаю. Чтобы убедиться в этом, у меня нет иного средства, как подвергнуть испытанию ее добродетель, — так, как золото испытывают огнем. Ибо я думаю, друг мой, что нельзя назвать добродетельной ту женщину, любви которой никто не добивался, и что только та сильна, которую не тронут ни уверения, ни подарки, ни слезы, ни долгие ухаживания настойчивых воздыхателей. В самом деле, — продолжал он, — в чем заслуга верной жены, если никто никогда не склонял ее к измене? И что из того,

что женщина сдержанна и боязлива, когда у нее нет повода быть иной или когда она знает, что при первом же ее проступке муж ее убьет? Женщина, сберегшая свою честь оттого, что она боится или оттого, что не представилось случая, достойна меньшего уважения по сравнению с той, которая из всех соблазнов и испытаний вышла с победным венком. По всем этим причинам и по многим другим, которые я мог бы привести в оправдание и подтверждение моей мысли, я хочу, чтобы жена моя Камила прошла через этот искуc, чтобы она очистилась и закалилась в огне преследований и домогательств человека, достойного ее любви; и если из боя она выйдет победительницей, — а я верю, что так и будет, — я скажу, что счастьем моему нет равного в мире, что сосуд моих желаний полон до краев и что судьба дала мне лобродительную жену, о которой Мудрец сказал: «кто найдет ее?»\*. Если же случится противное моим ожиданиям, — у меня останется удовлетворение в том, что я был прав, и оно усладит горечь дорого мне стоившего опыта. Поверь, что все твои возражения будут напрасны и не заставят меня отказаться от моего плана; а потому, друг мой Лотарио, согласиcь быть орудием задуманного мной испытания! Я помогу тебе и предоставлю все необходимые средства, чтобы завоевать любовь этой честной, уважаемой, скромной и бескорыстной женщины. Я поручаю именно тебе это трудное дело еще и потому, что, в случае твоей безгрешной победы, ты не перейдешь последней грани, и свершившимся будет лишь то, чему предстояло свершиться; честь моя будет

оскорблена одним злым умыслом, а мой позор ты похоронишь в своем молчании, которое будет—я в этом уверен, ибо тут дело касается меня—вечно как молчание смерти. Итак, если ты желаешь, чтобы жизнь моя была похожа на жизнь, ты немедленно вступишь в любовный бой и будешь сражаться не холодно и вяло, а с жаром и упорством, как этого требует мой план и заслуживает мое дружеское доверие.

Так говорил Ансельмо, а Лотарио слушал его столь внимательно, что кроме нескольких слов, приведенных нами, не разомкнул губ, пока тот не кончил. Когда же Ансельмо замолчал, Лотарио долго смотрел на него, как будто видел в первый раз и будто лицо друга внушало ему страх и изумление. Наконец он ответил:

— Я не могу поверить, друг мой Ансельмо, что твои слова не шутка; если бы я думал, что ты говоришь серьезно, я бы не дал тебе продолжать и, просто перестав слушать, прервал бы этим твою длинную речь. Нет, должно быть или ты меня не знаешь, или я не знаю тебя. Впрочем, нет, я знаю, что ты—Ансельмо, а ты знаешь, что я — Лотарио; горе в том, что ты не тот Ансельмо, каким ты был раньше и, вероятно, ты думаешь, что и я — не прежний Лотарио, ибо то, что ты мне только что сказал, не могло исходить от моего друга Ансельмо, и у того Лотарио, которого ты знаешь, ты не мог просить подобной услуги. Ведь, по словам поэта, добрые друзья испытывают своих друзей и прибегают к их помощи *usque ad aras*\*, что означает, что нельзя пользоваться дружбой в делах, противных богу. Если так думал о дружбе

язычник, то сколь понятнее это должно быть для христианина, знающего, что любовь к богу— выше всякой человеческой любви! Но допустим, что ктонибудь, решившись откинуть заботы о небе, всей душой предается заботам о своем друге: у него должны быть на это не мелкие и ничтожные причины, а какие либо серьезнейшие основания, в роде спасения чести или жизни друга. Но скажи мне, Ансельмо, какой опасности подвергается твоя жизнь или твоя честь, и почему в угоду тебе я должен отважиться на столь постыдное дело? Опасности я не вижу: напротив, мне кажется, что ты меня просишь лишить тебя и чести и жизни, а кроме того и самому потерять их. Ибо, лишив тебя чести, я, естественно, лишу тебя и жизни: ведь человек без чести хуже, чем мертвый. И раз ты выбираешь меня орудием своего несчастья, значит я и себя обещею, а следовательно умерщвлю! Выслушай меня, друг Ансельмо, будь терпелив и не перебивай, пока я не выскажу тебе всего, что думаю о твоём намерении: ты еще успеешь мне возразить, а я—тебя выслушать.

— Я согласен, — сказал Ансельмо, — говори все, что тебе хочется.

Лотарио продолжал:

— Мне кажется, Ансельмо, состояние твоего ума сейчас похоже на состояние ума мавров, которых ведь нельзя убедить в ложности их веры ни цитатами из святого евангелия, ни доводами, основанными на суждениях разума или на догматах веры: им нужны примеры осязательные, легкие, попятные, наглядные и неопровержимые, с математическими доказательствами,

с которыми нельзя не согласиться, вроде например следующего: *Если от двух равных величин отнять равные части, то и остатки будут равны.* И когда они даже этого не понимают на словах (как часто случается), приходят показывать им руками, подносить доказательства к самим глазам, хотя и этого бывает недостаточно, чтобы убедить их в истинах святой нашей религии. Так и с тобой нужны мне те же способы и средства, — ибо в желании, возникшем у тебя, так мало смысла, и заблуждение твоё столь велико, что я не стану терять время, объясняя тебе твою душевную простоту, — чтоб не назвать её иначе. Я предоставил бы тебя твоему безумию и заслуженному наказанию, если бы наша дружба позволяла отнестись к тебе так сурово; но я не в силах покинуть тебя в столь явной и губительной опасности. Будь же разумен, Ансельмо, и скажи: ты просишь меня, как сам говоришь, ухаживать за женщиной скромной, обольщать честную, предлагать подарки бескорыстной, волочиться за добродетельной? Да, ты так сказал. Но раз ты знаешь, что жена твоё скромна, честна, бескорыстна и добродетельна, так чего же ты домогаешься. Если она выдержит мои нападения и выйдет победительницей, — а это несомненно, — какие ещё более почетные имена прибавишь ты к тем, которыми она уже обладает? Какой же она может стать? Или ты не считаешь её такой, как ты говоришь, или же ты не знаешь, чего просишь. Если ты не считаешь её такой как говоришь, к чему же ты хочешь её испытывать? Не лучше ли

немедленно поступить с ней так, как тебе вздумается? Если же она добродетельна, как ты думаешь, разве не дерзость испытывать самое истину, которая и после испытания ни в чем не изменит твоего первоначального мнения? Справедливо говорится, что только безрассудные и отчаянные люди предпринимают дела, от которых можно ждать скорей вреда, чем пользы, особенно если никто не побуждает и не заставляет их и если заранее ясно, что дела эти — чистое безумие. Трудные дела совершаются или для бога, или для мира, или для того и другого вместе. Для бога творят дела люди святые, которые в человеческих телах живут ангельской жизнью; для мира творят дела люди, переплывающие необъятные моря, странствующие по различным странам, посещающие чужие народы, чтобы приобрести то, что мы называем житейскими благами; наконец, для того и другого вместе творят дела отважные воины: завидев в неприятельской стене брешь, проломленную пушечным ядром, они, забыв о страхе, не думая и не рассуждая об угрожающей им явной опасности, бестрепетно бросаются вперед навстречу тысяче смертей, окрыленные желанием постоять за веру, родину и короля. Вот какие дела совершаются на свете, и хоть полны они трудностей и опасностей, но приносят честь, славу и пользу. Но то, что ты предпринимаешь и замышляешь, не послужит во славу божию и не принесет тебе ни чести, ни житейских благ; ибо, если даже кончится оно так успешно, как ты этого желаешь, то не станешь ты от этого ни знаменитее, ни

богаче, ни славнее; если же кончится оно плохо, то навлечешь ты на себя такие бедствия, что и вообразить невозможно. Тогда не утешит тебя мысль, что никто не знает о твоём несчастье: ты сам будешь знать о нём, и это сознание измучит тебя и погубит. А в подтверждение этой истины я приведу тебе строфу, которою оканчивается первая часть поэмы знаменитого поэта Луиса Тансилло \*, — *Слезы святого Петра*:

Растет печаль, растет и укоризна,  
Как Петр почуял света приближенье;  
Хоть никого не видит, укоризна —  
Перед самим собой за прегрешенье.  
Ведь в сердце благородном укоризна  
Не от других рождается осужденья —  
А укоризна со грехами ввидет,  
Пусть только небо да земля нас видят.

Так и ты не убежишь от скорби пряча ее, и если слезы не прольются из твоих глаз, кровавые слезы беспрерывно будут течь из твоего сердца, как у того простодушного доктора, что, по словам нашего поэта, подверг себя испытанию кубком, от которого уклонился благородный Ринальдо \*. Конечно, это — поэтический вымысел, но в нем заключено скрытое нравоучение, которое следует заметить, понять и усвоить. Но вот тебе пример, который должен окончательно показать тебе, как велико твое заблуждение. Представь себе, Ансельмо, что небо и счастливая судьба сделали тебя владельцем и законным обладателем прекраснейшего алмаза, чистота и достоинства которого восхи-

щают всех ювелиров: все они согласно и единодушно утверждают, что чистота, блеск и другие качества его достигают пределов возможного совершенства, и ты сам того же мнения и не можешь привести ни одного довода против. Неужели же, несмотря на все это, тебе могло бы притти в голову взять этот алмаз, положить его на наковальню и изо всех сил бить по нему молотом, чтобы убедиться в его предполагаемой крепости и доброкачественности? И если бы ты это сделал и камень выдержал столь жестокое испытание, что прибавилось бы к его ценности и славе? А если бы не выдержал (что вполне возможно), разве не погиб бы он безвозвратно? Конечно, владелец его прослыл бы в мнении света человеком безрассудным. Знай же, друг Ансельмо, этот прекрасный алмаз — Камила; так думаешь и ты сам, и все окружающие; и бессмысленно подвергать этот алмаз опасности быть разбитым, ибо если он уцелеет — ценность его не увеличится, а если не выдержит и разобьется — подумай, что станет с тобой без него, и сколь основательно тебе придется обвинять себя в гибели и его и твоей собственной! Пойми, что нет на свете большей драгоценности, чем целомудренная и верная жена, и что вся честь женщины — в доброй славе, которой она пользуется среди людей. И раз ты знаешь, что поведение твоей жены выше всяких похвал, то почему же ты сомневаешься в этой истине? Друг мой, женщина — существо несовершенное, и не следует расставлять ей западни, потому что она может споткнуться и упасть; напротив, нужно удалять с ее



пути все препятствия, чтобы она легко и без затруднений дошла до недостающего ей совершенства—до полной добродетели. Естествоиспытатели рассказывают, что когда охотники хотят поймать горностаю, зверька с белоснежной шерстью, они прибегают к следующей хитрости: заметив, по каким тропинкам он обыкновенно бегаёт, они покрывают их грязью и затем, завидев горностаю, гонят его к этому месту; добежав до грязи, зверек останавливается, так как предпочитает сдаться и попасть в руки охотников, чем, пройдя по грязному месту, запачкаться и потерять свою белизну, которой дорожит он больше, чем свободой и жизнью. Честная и целомудренная жена подобна горностаю: добродетель ее чище и белее снега. Если ты хочешь, чтобы она не потеряла, а наоборот, сохранила и соблюла ее, ты не должен подражать хитрости охотников; нельзя окружать ее грязью услуг и подарков назойливых воздыхателей, потому что, вероятно, и даже можно сказать наверное, природа не наделила ее такой силой и стойкостью, чтобы могла она без чужой помощи перешагнуть и пройти через все засады. Необходимо их устранить, а ее направить к чистоте добродетели и красоте доброй славы. И еще можно сравнить добрую жену с зеркалом из прозрачного и блестящего хрусталя: дохни на него, и оно тотчас же потускнеет и затуманится. С честной женой нужно обращаться как с реликвией: почитать, но не трогать. Ее следует ценить и охранять, как прекрасный сад, полный роз и других цветов; его хозяин не позволяет входить в него и срывать

цветы: достаточно издали, через прутья решетки наслаждаться его благоуханием. В заключение я хочу тебе прочесть несколько стихов из одной современной комедии, которые припомнились мне и, кажется, вполне подходят к предмету нашего разговора. Один благоразумный старик советует другому, у которого— молодая дочь, хранить ее, беречь и держать взаперти; между прочим, он говорит следующее:

Женщина — как есть стекло,  
Потому не след судить,  
Можно ли ее разбить,  
Раз на свете все легко.

А похоже — может биться.  
Лишь глупец не бережется:  
Ведь рискует расколоться  
Что не может починиться.

Все согласны с мыслью той,  
Да и я согласен, зная,  
Что, коль есть меж нас Даная,  
Дождь найдется золотой \*.

Все, что я до сих пор говорил, Ансельмо, касалось тебя; разреши мне теперь сказать несколько слов и о себе. Прости мне мою странную речь: этого требует твое положение,— ведь ты попал в лабиринт и хочешь, чтоб я тебя из него вывел. Ты называешь меня другом и хочешь лишить чести, — это противоречит понятию дружбы. Более того: ты просишь, чтобы я сам тебя обесчестил. Что ты желаешь лишить меня чести — это ясно; ибо, когда Камилла увидит, что я добиваюсь ее любви, она, конечно, сочтет меня человеком бесчестным и



низким, раз я замыслил и начал дело, столь несовместное с моим достоинством и нашей дружбой. Что ты просишь обесчестить тебя— это тоже несомненно, так как, заметив мои домогательства, Камила решит, что я считаю ее женщиной легкомысленной и только потому осмеливаюсь открыть ей мои порочные желания; она почувствует себя обесчещенной, а раз она принадлежит тебе, то позор ее падает и на тебя. Вот отчего мужа неверной жены обыкновенно называют постыдными и низкими именами, хотя бы он и не знал об измене жены, никогда не подавал ей для этого повода и не мог избежать этого несчастья, так как произошло оно не по его небрежности и беспечности; и все таки, кто знает о поведении жены, относится к мужу не с сочувствием, а с некоторым презрением, хотя и понимает, что виноват в этом не он, а единственно ее порочный нрав. Я сейчас тебе объясню, почему муж неверной жены по справедливости считается обесчещенным, хотя бы он был непричастен, невиновен, ничего не знал и никогда не подавал повода. Надеюсь, что эти рассуждения тебе не наскучат, так как направлены они к твоему же благу. Когда господь создал в земном раю нашего прародителя, он, по словам святого писания, навел на него сон, и пока Адам спал, вынул из его левого бока ребро и сотворил из него нашу прародительницу Еву. Проснулся Адам и, увидев Еву, сказал: «Ты—плоть от плоти моей и кость от костей моих». А господь сказал: «Ради жены оставит человек отца своего и мать свою и будут две плоти воедино».

И тогда основано было святое таинство брака, узы которого одна смерть может расторгнуть. Такая сила и крепость в этом чудесном таинстве, что в нем два отдельных существа образуют единую плоть; и более того: у добрых супругов — две души, но единая воля. Вот почему, если муж и жена — единая плоть, все недостатки и несовершенства, оскверняющие тело жены, оскверняют и тело мужа, хотя бы, как я уже сказал, и не было в том его вины. Когда у тебя болит нога или другой член, — боль эту чувствует все тело, ибо все оно — единая плоть: голова чувствует боль лодыжки, хоть и не виновата она в этой боли; так и муж разделяет позор жены, потому что он и она — одно. Но так как наша мирская честь и бесчестие всегда связаны с плотью и кровью, то следовательно и доля бесчестия дурной жены должна пасть на мужа; хотя бы он и оставался в неведении, все же он опозорен. Подумай, Ансельмо, какой опасности ты подвергаешь себя, смущая душевный покой твоей доброй жены! Из праздного и безрассудного любопытства ты тревожишь тишину ее чистой души. Заметь, что выиграть ты можешь мало, а проиграть столько, что и сказать невозможно, — для этого у меня не хватит слов. Если же всех моих слов недостаточно, чтобы отвлечь тебя от этого дурного намеренья, ищи себе другого сообщника: орудием твоего позора и несчастья я не стану, даже если из за этого потерю твою дружбу, — а большей потери я и представить себе не могу.

Сказав это, добродетельный и благоразумный Лотарио замолчал, а Ансельмо в раздумьи и

смущеньи долго не мог вымолвить слова. Наконец он ответил:

— Ты видел, друг Лотарио, с каким вниманием я тебя слушал. Из твоих речей, примеров и сравнений я убедился, как велика твоя рассудительность и как сильна твоя истинная дружба. Я понимаю и соглашаюсь с тобой, что, настаивая на своем решении и отвергая твои советы, я бегу от добра и стремлюсь ко злу. Но на все это я тебе скажу: у женщин бывает болезнь, во время которой им хочется есть землю, штукатурку, уголь и еще худшие вещи, на которые и смотреть отвратительно; представь себе, что я сейчас болен такой же болезнью и, чтобы меня вылечить, нужно употребить хитрость,—и это будет не трудно, если ты, хотя бы притворно и небрежно, попытаешься ухаживать за Камиллой. Она не настолько беззащитна, чтобы пасть в первом же бою. Я удовлетворюсь этим опытом, а ты исполнишь долг дружбы: не только возвратишь мне жизнь, но и докажешь мне, как крепка моя честь. Ты обязан это сделать еще вот почему: я твердо решил произвести испытание, а ты не допустишь, чтобы о своем безумии я сообщил комунибудь другому и рисковал честью, которую ты так бережно охраняешь. Ты говоришь, что Камила, заметив твои ухаживанья, сочтет тебя бесчестным? Это имеет мало или, вернее, не имеет никакого значения; ибо, как только ты убедишься в ее верности, ты тотчас же расскажешь ей всю правду о нашей хитрости, и она станет уважать тебя попрежнему. Ты рискуешь малым, а можешь дать мне великое

удовлетворение; итак, прошу тебя, решишь на это, как бы тебе ни было трудно. Повторяю, тебе стоит только начать, и я буду считать испытание законченным.

Лотарио понял, что воля Ансельмо непреклонна. Не находя больше ни примеров, ни доводов, чтобы его разубедить, и видя, что он грозит разгласить о своем преступном замысле, он решил, во избежание худшего зла, согласиться на просьбу; но задумал он повести дело так, чтобы и удовлетворить Ансельмо и не смутить души Камилы. Он ответил, что не следует никому об этом рассказывать, так как он берет эту задачу на себя и приступит к ней, когда Ансельмо будет угодно. Тот нежно и любовно его обнял и поблагодарил за согласие, как за великую милость; они условились, что испытание начнется на следующий день, что Ансельмо снабдит Лотарио деньгами и драгоценностями для подарков и устроит так, чтобы тот мог встречаться с Камиллой наедине. Он посоветовал Лотарио давать в честь Камилы серенады и писать ей стихи; если же это ему кажется слишком хлопотливым, Ансельмо сам будет это делать за него. Лотарио на все соглашался, но в мыслях у него было не то, что думал его друг. Сговорившись, они отправились к Ансельмо в дом, где Камила ждала мужа с беспокойством и тревогой, так как он вернулся позже, чем обыкновенно.

Лотарио оставил своего друга вполне удовлетворенным и пошел домой в задумчивости, не зная, как выйти с честью из столь безрассудного предприятия; но в ту же ночь он придумал

способ, как обмануть Ансельмо и не оскорбить Камилы. На следующий день он пришел обедать к Ансельмо и был любезно встречен Камиллой, которая очень радушно принимала и угощала его, как лучшего друга своего мужа. Когда кончился обед и убрали со стола, Ансельмо попросил Лотарио побыть с Камиллой, пока он сходит по одному безотлагательному делу, и обещал вернуться через полтора часа. Камила стала уговаривать его остаться, а Лотарио предложил проводить, но Ансельмо не согласился и настоял на том, чтобы Лотарио не уходил до его возвращения, так как ему нужно будет переговорить с ним по одному очень важному делу. На прощанье он попросил Камилу занимать Лотарио, пока он не вернется. Он так искусно представил безусловную (вернее сказать безумную!) необходимость для себя отлучиться, что никто бы не заподозрил его в притворстве.

Ансельмо ушел, а Камила и Лотарио остались вдвоем за столом, так как все слуги ушли обедать. Лотарио почувствовал, что желание его друга исполнилось, что вот он стоит на ристалище, а против него враг, который одной своей красотой может победить целый отряд вооруженных рыцарей: согласитесь, что Лотарио было чего бояться. И вот как он поступил: положил локоть на ручку кресла, подпер ладонью щеку и, извинившись перед Камиллой за свою неучтивость, сказал, что до возвращения Ансельмо он хотел бы немного вздремнуть. Камила ответила, что на настиле\* ему будет удобнее, чем в кресле, и предложила лечь. Но



Лотарио поблагодарил и остался спать в кресле. Вернувшись, Ансельмо застал жену в ее комнате, а Лотарио—спящим и подумал, что, так как он опоздал, они должно быть успели и поговорить и отдохнуть. С нетерпением стал он ждать пробуждения Лотарио, чтобы выйти с ним и расспросить о том, что было. Наконец его желание исполнилось. Лотарио проснулся, они вышли вместе, он спросил его и тот ответил, что в первый раз он не мог открыть Камиле своих чувств, а пока только восхвалял ее красоту и уверял, что весь город говорит о ее красоте и уме; ему мол кажется, что для начала это хорошо: он войдет к ней в милость и расположит ее к тому, чтобы в следующий раз она слушала его с удовольствием; ведь сам дьявол прибегает к такой хитрости, когда хочет соблазнить человека, зорко следящего за его кознями; дух тьмы принимает образ духа света, обманывает прекрасной видимостью, а потом открывает свое настоящее лицо и торжествует, если только обман его не разоблачили в самом начале.

Все это очень понравилось Ансельмо, и он сказал, что каждый день, даже не уходя из дома, он будет удаляться в свою комнату под видом занятий делами, устраивая так, чтобы Камила оставалась наедине с Лотарио, не подозревая его хитрости. Так прошло много дней, в продолжение которых Лотарио не сказал Камиле ни одного слова, а Ансельмо он сообщал, что разговаривает с ней постоянно, но что до сих пор не заметил в ее поведении ничего предосудительного, и она не подала ему ни малейшего

признака или тени надежды. Более того, она будто бы грозила все рассказать мужу, если только он не оставит своих преступных мыслей.

— Отлично! — сказал Ансельмо. — Камила устояла против слов, — теперь посмотрим, устоит ли она против дел. Завтра же я вручу тебе две тысячи червонцев, которые ты ей предложишь и подаришь, и другие две тысячи на покупку драгоценностей, которые могли бы ее прельстить. Как бы ни были женщины добродетельны, все они — щеголихи и любят наряжаться, особенно если они красивы. Пусть она устоит и против этого искушения, — тогда я буду вполне удовлетворен и не стану больше тебя утруждать.

Лотарио ответил, что раз он начал дело, он доведет его до конца, хотя и не сомневается в своем полном поражении. На следующий день он получил четыре тысячи золотых, а с ними четыре тысячи затруднений, ибо он не мог придумать, как бы ему еще солгать. Наконец, он решил сказать Ансельмо, что Камила столь же равнодушна к подаркам и обещаниям, как и к словам, и что незачем продолжать эту затею и напрасно терять время. Но судьба устроила иначе: однажды Ансельмо, оставив по обыкновению Камилу наедине с Лотарио, заперся у себя в комнате и через замочную скважину стал подсматривать и подслушивать, что они делают; тут он обнаружил, что больше чем за полчаса Лотарио не сказал Камиле ни слова, и ему стало ясно, что он не заговорит, пробудь он с ней хоть целый век. Тогда Ансельмо понял, что все ответы Камилы, о которых пере-

давал ему его друг, были сплошной выдумкой и ложью. А чтобы проверить это, он вошел к ним в комнату и, отозвав Лотарио в сторону, спросил его, что нового и как настроение у Камилы. Лотарио сказал, что он не желает продолжать борьбу, ибо Камила отвечает ему так резко и сурово, что у него больше не хватает духа с ней разговаривать.

— Ах, Лотарио, Лотарио, — воскликнул Ансельмо, — как плохо ты исполняешь свой долг и как мало ты достоин моего великого доверия! Я только что следил за тобой через отверстие, в котором помещается вот этот ключ, и убедился, что ты не сказал Камиле ни одного слова, — из чего я заключаю, что и во все предыдущие свидания ты молчал. Если это так, — а, конечно, иначе быть не может, — то зачем ты меня обманываешь и своей уловкой лишаешь возможности без твоей помощи удовлетворить мое желание?

Ансельмо не продолжал; но и этих слов было достаточно, чтобы смутить и пристыдить Лотарио. Чувствуя себя уличенным во лжи, — что, по его мнению, затрагивало его честь, — он поклялся Ансельмо, что отныне будет стараться удовлетворить его, не обманывая: пусть Ансельмо подсматривает за ним, если хочет в этом убедиться, а, впрочем, к подобным мерам не придется прибегать, так как он уверен, что его усердие рассеет вскоре все подозрения друга. Ансельмо поверил и для того, чтобы Лотарио мог действовать с полным удобством и без помех, решил на неделю уехать к одному приятелю, жившему в деревне неподалеку от

города. Приятель этот по его просьбе стал усиленно приглашать его к себе, чтобы у Ансельмо, таким образом, был перед Камилой предлог для отъезда. Злополучный и безумный Ансельмо, что ты делаешь, что замышляешь, к чему стремишься! Посмотри, ты сам делаешь зло себе, замышляешь свой позор, стремишься к своей гибели! Добродетельна твоя жена Камила, в мире и покое обладаешь ты ею, ничто не нарушает твоего блаженства; желанья ее не переступают за стены ее дома, ты — ее небо и земля, предмет ее мечтаний, цель ее стремлений, мера, которой меряется ее воля, согласуясь во всем с твоей волей и волей небесной. Все сокровища ее чести, красоты, добродетели и скромности, как драгоценные копи раскрыты перед тобой; ты можешь брать все, что в них есть, и все, что ты пожелаешь. Зачем же хочешь ты рыть землю и искать следов нового, невиданного клада? Ведь все может рухнуть, ибо сокровища эти держатся на слабых подпорках ее хрупкой природы. Знай же, что от человека, гонящегося за невозможным, отнимется и возможное, как это выразил, лучше меня, поэт:

В буре я ищу погоду,  
Здравия ищу в чуме,  
Воли я ищу в тюрьме.  
В тупике ищу проходу,  
В бедаче — верность мне.

Перестал добра я ждать  
От судьбы; она ж, подстать  
Небу, ставит непреложно:  
Раз прошу что невозможно,  
И в возможном отказать.

На другой день Ансельмо уехал в деревню и прощаясь сказал Камиле, что во время его отсутствия Лотарио будет приходить обедать и следить за домом, и что он просит ее относиться к его другу так, как она относится к нему самому. Скромная и верная Камила была огорчена таким приказанием и ответила, что неприлично в отсутствие мужа другому занимать его место за столом; если же Ансельмо дает этот приказ, не веря в ее умение управлять домом, то пусть он на этот раз ее испытает и на опыте убедится, что она способна и на большее. Ансельмо ответил, что такова его воля и что она должна склонить голову и повиноваться. Камила сказала, что исполнит его желание, хоть и против своей воли. Ансельмо уехал, а на следующий день пришел Лотарио и был ею встречен любезно и с достоинством. Но она устраивала так, что никогда не оставалась с ним наедине: постоянно ее окружали слуги и служанки, а чаще всего сопровождала ее служанка по имени Леонела; они с ранних лет росли вместе в доме ее родителей, и поэтому Камила ее особенно любила и взяла с собой, выйдя замуж за Ансельмо. В течение первых трех дней Лотарио совсем не говорил с Камиллой, хотя и мог бы, так как после обеда, убрав со стола, все слуги уходили наскоро поесть, — ибо Камила велела им возвращаться как можно скорее; а, кроме того, она приказала Леонеле обедать раньше и никогда не оставлять ее одну. Но у служанки были другие мысли в голове: она пользовалась часами обеда, чтобы повеселиться, а поэтому нередко забывала о прика-

зании своей госпожи и оставляла ее наедине с Лотарио, как если бы ее нарочно подговорили. Но скромный вид, строгое лицо и сдержанное обращение Камилы обуздывали язык Лотарио.

Однако, если добродетели ее заставляли его молчать, из этого проистекала другая, еще худшая для них обоих беда: уста его безмолствовали, но мысль не бездействовала и могла подробно на досуге созерцать редкие достоинства и красоту Камилы; а были они таковы, что мраморная статуя — и та бы в нее влюбилась, не только живое сердце. Лотарио не говорил, но смотрел и думал: как достойна она любви! Эта мысль постепенно стала вытеснять его преданность Ансельмо. Тысячу раз хотел он бежать из города и скрыться так, чтобы Ансельмо не видел его, а он не видел Камилы, но наслаждение смотреть на нее удерживало его. Он делал усилия, боролся с собой, чтобы преодолеть и не испытывать этого наслаждения, и наедине с собой осуждал свое безумие, называя себя дурным другом и даже дурным христианином. Он рассуждал и сравнивал себя с Ансельмо, и эти сравнения сводились к тому, что ослепление и самоуверенность мужа преступнее, чем неверность друга; и если, думал он, ему так же легко оправдаться в своем грехе перед богом, как он оправдается перед людьми, то ему нечего бояться наказания.

Наконец, достоинства и красота Камилы, с помощью благоприятных обстоятельств, созданных неразумным мужем, восторжествовали над верностью Лотарио; и через три дня после отъезда Ансельмо, в продолжение которых Лотарио

беспреданно боролся со своим желанием, он, забыв обо всем и повинувшись лишь внушениям чувства, объяснился Камиле с таким волнением и страстью, что она, пораженная, не ответила ему ни слова, встала и ушла к себе в комнату. Но холодность ее не убила в нем надежды, которая



рождается всегда вместе с любовью, — напротив, он полюбил ее еще больше. Для Камилы все это было столь неожиданно, что она не знала, как поступить; и решив, что опасно и неприлично давать Лотарио повод к новым объяснениям, она в ту же ночь послала к Ансельмо слугу с письмом следующего содержания.

## ГЛАВА XXXIV

*в которой продолжается повесть о Безрассудно-  
любопытном*



оворят, что плохо, когда войско остается без предводителя и крепость без коменданта, а я скажу, что еще хуже, когда молодая жена остается без мужа, если того не требуют крайне важные обстоятельства. Мне так худо без вас и так тяжело в разлуке, что, если вы скоро не вернетесь, я буду принуждена отправиться к моим родителям и покинуть ваш дом без сторожа, ибо тот сторож, которого вы оставили (если только вы действительно возложили на него эту обязанность), кажется, думает больше о своем удовольствии, чем о вашем благе. Так как вы рассудительны, этих слов для вас достаточно, да и не подобает мне говорить больше.

Получив это письмо, Ансельмо заключил из него, что Лотарио уже начал действовать и что Камила ведет себя так, как ему этого хотелось, и, крайне обрадованный этим известием, велел на словах передать Камиле, чтобы она ни в коем случае не покидала своего дома, так как он



скоро возвратится. Камила была удивлена этим ответом, который привел ее еще в большее замешательство, так как теперь она не решалась ни оставаться дома, ни уехать к родителям: остаться значило подвергнуть опасности свою честь, а уехать — ослушаться мужа. В конце концов она склонилась к худшему решению, а именно осталась, с твердым намерением не избегать более общества Лотарио, чтобы не дать слугам повода к болтовне. Она даже раскаивалась, что написала письмо, опасаясь, как бы Ансельмо не вообразил, что Лотарио заметил в ее поведении какую нибудь развязность и только потому нарушил должное ей почтение. Однако, уповая на свою добродетель, она положила на бога и на свою твердость, решив на все речи Лотарио отвечать молчанием, а Ансельмо ничего не сообщать, чтобы не волновать и не тревожить его. Более того, Камила уже обдумывала, как бы ей оправдать Лотарио перед Ансельмо, если тот спросит, что заставило ее написать это письмо. Проникшись такими намерениями, более великодушными, нежели полезными и разумными, Камила на другой день внимала Лотарио, который заговорил снова с таким жаром, что твердость Камилы заколебалась и она должна была призвать себе на помощь всю свою добродетель, чтобы Лотарио не прочитал в ее глазах нежного состраданья, вызванного в ее сердце его словами и слезами. Но тот все заметил, и страсть его запылала еще сильнее. Пользуясь отсутствием Ансельмо, благоприятным для его целей, он решил сжать кольцо осады и принялся действовать на ее тщеславие восхвалением ее

красоты, зная, что укрепленные башни тщеславной красоты легче всего подкопать и одолеть тем же тщеславием, вложенным в льстивые речи. И Лотарио так искусно повел подкоп под скалу ее целомудрия, что, если бы Камила была сделана из бронзы, и то бы она не устояла. Он рыдал, умолял, обещал, льстил, уговаривал и притворялся с таким чувством и видимым жаром, что наконец честность Камилы не устояла, и он одержал победу, которой так желал и на которую так мало надеялся.

Камила уступила, Камила сдалась. Чему же тут удивляться: ведь и дружба Лотарио тоже не выдержала! Вот ясный пример, показывающий нам, что любовную страсть нельзя побороть, не бежав от нее, и что никому не следует отваживаться на такую борьбу: ее человеческой силе может сопротивляться только сила нечеловеческая. Одна Леонела знала о поражении своей госпожи: друзья-предатели и недавние любовники не могли от нее укрыться. Лотарио решил не рассказывать Камиле, что сам Ансельмо все это затеял и помог ему добиться ее любви; он боялся уронить себя в ее глазах, так как она могла подумать, что он покори́л ее сердце случайно, а не по собственному побуждению.

Через несколько дней возвратился Ансельмо и не заметил, что он утратил то, что больше всего ценил и меньше всего берег. Он немедленно поспешил к Лотарио и застал его дома; друзья обнялись, и Ансельмо спросил: жить ли ему или умереть.

— Я могу тебе сообщить, друг Ансельмо,— сказал Лотарио,— что твоя жена достойна быть

примером и венцом всех верных жен. Все мои речи были напрасны; она презрела предложения, отвергла подарки, посмеялась над моими притворными слезами. Одним словом, Камила не только образец красоты: она — обитель, где живет честность, пребывает благопристойность, целомудрие и все добродетели, приносящие честь и славу верной жене. Возьми же обратно твои деньги, друг мой, — вот они; мне не пришлось ими воспользоваться, ибо обещания и подарки — вещи слишком низменные, чтобы соблазнить ее чистоту. Будь доволен Ансельмо, и не ищи других испытаний. Не замочив ног, переплыл ты море сомнений и подозрений, которые бывают и могут быть у мужа по отношению к жене, — не пускайся же опять в плаванье по океану новых опасностей, не поручай другому кормчему испытывать крепость и прочность корабля, данного тебе небом для жизненного странствия, но считай, что ты уже достиг безопасной гавани. Укрепись в ней на якоре доверия и пребывай в благополучии, пока судьба не явится к тебе за долгом, который все мы смертные ей платим.

Речь Лотарио вполне удовлетворила Ансельмо, и он поверил ей как прорицанию оракула, но все же он попросил друга не бросать их затей, хотя бы ради забавы и из любопытства. Конечно, теперь он может ухаживать не с таким рвением и настойчивостью, но было бы очень хорошо, если бы он, например, написал в честь Камилы стихи и воспел ее в них под именем Хлориды; а Ансельмо сказал бы жене, что Лотарио влюблен в одну даму, которую прославляет под именем Хлориды из уважения к ее скромности; и он

прибавил, что если Лотарио это трудно, он сам готов сочинить эти стихи.

— Нет, в этом нет нужды,—сказал Лотарио,—музы не вовсе ко мне враждебны, и от времени до времени меня посещают. Предупреди же Камилу о моем любовном притворстве, и хоть стихи мои не будут достойны их предмета, я постараюсь написать как можно лучше.

Так сговаривались друг безрассудный с другом неверным. Вернувшись домой, Ансельмо спросил Камилу, что побудило ее написать ему письмо. Камила, которая уже давно удивлялась, почему он до сих пор ее об этом не спрашивает, ответила, что во время его отсутствия поведение Лотарио показалось ей несколько непочтительным, но теперь она в этом разубедилась и думает, что ей просто почудилось, так как давно уже Лотарио ее избегает и никогда не остается с ней наедине. Ансельмо посоветовал ей откинуть эти подозрения: ему де хорошо известно, что Лотарио влюблен в одну девицу благородного происхождения и воспевает ее под именем Хлориды; а если бы это и не было так, она должна верить честности Лотарио и их великой близости. И если бы Лотарио не предупредил Камилу о том, что он рассказал Ансельмо о своей мнимой любви к Хлориде, чтобы иметь возможность иногда воспевать в своих стихах Камилу, ее сердце, без сомнения, попало бы в мучительные сети ревности; но предупрежденная, она приняла это известие без огорчения.

Как то раз, когда они втроем сидели после обеда, Ансельмо попросил Лотарио прочесть им, что он написал в честь своей возлюбленной

Хлориды; он де может не стесняться, так как Камила все равно ее не знает.

— Если бы даже она ее знала, — ответил Лотарио, — я и тогда не стал бы скрывать своих стихов; ибо когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и называет ее жестокой, он не бесчестит этим ее доброго имени. Как бы то ни было, вот сонет, который я вчера написал в честь жестокой Хлориды:

*СОНЕТ*

В безмолвии полуночи, при виде  
Людей, покоем взятых благодатным,  
Отчет убогий о мученьи знатном  
Передаю я небу и Хлориде.

И той минутой, как в цветной хламиде  
По розовым восходит солнце пятнам,  
Со стонами и лепетом невнятным  
Все возвращаюсь к прежней я обиде.

И то же солнце на златом престоле,  
Лучем горя земному мирозданию,  
Мой плач растит и вздох усугубляет.

К земле вернется ночь, я ж к горькой доле,  
И снова смертному в любви страданию  
Свод неба глух, Хлорида ж не внимает.

Сонет понравился Камиле, но еще больше понравился он Ансельмо, который похвалил его и сказал, что дама эта, должно быть, безмерно жестока, раз она не отвечает на такое искреннее чувство. Услышав это, Камила спросила:

— Разве все, что говорят влюбленные поэты, правда?

— Как поэты, они могут лгать, — ответил Лотарио, — но как влюбленные, они всегда столь же скромны, как и искренни.

— Несомненно, — подтвердил Ансельмо, желая поддержать мнение Лотарио перед Камиллой, которая была так увлечена своей новой любовью, что и не заметила уловки мужа.

И так как все, что исходило от Лотарио, доставляло ей наслаждение, а еще приятнее ей было знать, что и желания его и стихи обращены к ней и что она и есть настоящая Хлорида, она спросила Лотарио, нет ли у него еще сонета или других стихов.

— Есть еще один, — ответил Лотарио, — только мне кажется, что он не так хорош, как первый, или лучше сказать — еще хуже. Впрочем, судите сами:

#### СОNET

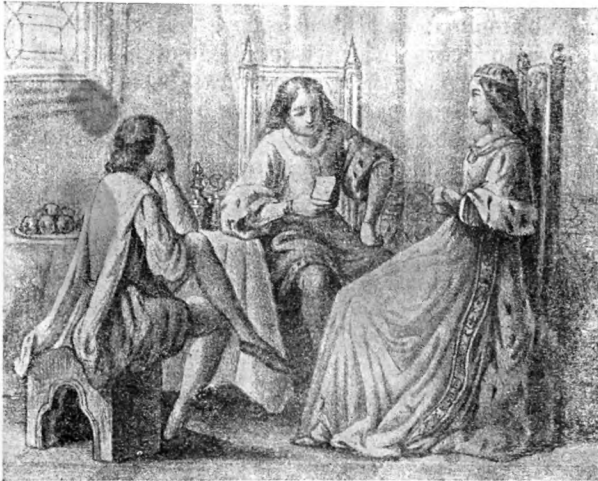
Я умираю; и на зло сомнению,  
Вернее смерть моя и то вернее,  
Что я к ногам твоим паду, хладея,  
Чем то, что я раскаюсь в поклоненье.

Уж вижу я себя в стране забвенья,  
Ни жизни, ни отрады не имея,  
Но сердце кажет, кровью пламенел,  
Твое, прекрасная, изображенье.

Ведь дорожу я этим знаком томным  
Для мига крайнего в борьбе той страстной,  
Которой ты потворствуешь жестоко.

Увы — плывущему под небом темным  
По морю дикому стезей опасной,  
Когда и гавань и звезда — далеко.

Ансельмо второй сонет похвалил не меньше первого. Так прибавлял он звено за звеном к цепи, привязывавшей и приковывавшей его к позору. Чем больше Лотарио его бесчестил, тем больше он гордился своей честью; Камила ступень за ступенью спускалась до глубины



своего унижения, а ему казалось, что она восходит на вершину добродетели и доброй славы. Как то раз случилось Камиле быть наедине с своей служанкой, и она сказала ей:

— Мне стыдно, друг мой Леонела, что я так низко себя оценила и позволила Лотарио слишком быстро завладеть моей волей, не заставив его добиваться этого ценою долгих усилий. Боюсь, что он станет презирать меня за слабость и

податливость, забыв силу своего порыва, сломившего мое сопротивление.

— Не печалься об этом, сеньора,—ответила Леонела,—это не имеет значения: ценность подарка не уменьшается от того, что вам не приходится долго его ожидать, если подарок сам по себе хорош и достоин уважения; есть на это пословица: *кто дает сразу, дает вдвое*.

— Но есть и другая пословица,—сказала Камила:—*что дешево обходится, мало ценится*.

— Эта поговорка к тебе не относится,—возразила Леонела,—потому что любовь, как я слышала, то шагом идет, то на крыльях летит; с одним бежит, с другим еле плетется; одних она студит, других сжигает, одних ранит, других убивает; в одну минуту начинается бег ее желаний и в ту же минуту кончается; утром начинает она осаду крепости, а вечером крепость уже взята,—ибо ничто не может ей сопротивляться. Почему же ты удивляешься и чего боишься, раз то же самое случилось и с Лотарио, ибо любовь воспользовалась отлучкой Ансельмо как орудием вашего поражения? И было неизбежно, чтобы ее решение исполнилось немедленно, в отсутствие Ансельмо, потому что он мог возвратиться и тогда затея любви осталась бы незаконченной; ибо нет у нее лучшего помощника, чем случай, и она пользуется им во всех своих делах, особенно по началу. Это я знаю хорошо, больше по опыту, чем с чужих слов, и когданибудь все это тебе расскажу; ведь и я, сеньора, тоже сделана из плоти и крови. Впрочем, я не нахожу, сеньора Камила, что ты подчинилась и сдалась ему слишком скоро: ведь



сначала в его взглядах, вздохах, словах, обещаниях и подарках ты увидела всю его душу и убедилась, что достоинства его заслуживают любви. А если так, то отбрось свою мнительность и щепетильность и поверь, что Лотарио уважает тебя не меньше, чем ты его: он счастлив и доволен, что вы связаны любовными узами, и за это он еще больше ценит тебя и и почитает. У него не только четыре S \*, которые полагается иметь каждому истинному влюбленному, но и вся азбука целиком. Да вот послушай, я тебе сейчас наизусть ее скажу. Он, как я вижу и насколько судить могу — *agradecido, bueno, caballero, dadiuoso, enamorado, firme, gallardo, honrado, ilustre, leal, mozo, noble, onesto, principal, quantioso, rico* (признателен, добр, рыцарственен, щедр, влюблен, постоянен, красив, почтенен, славен, верен, молод, благороден, честен, знатен, пышный, богат); потом четыре S, о которых говорилось; затем: *tácito* (молчалив), *verdadero* (правдив); X—буква грубая, сюда не подходит, также как и Y; остается Z — *zelador* (ревнитель) твоей чести.

Камилу позабавила азбука служанки, и она нашла, что Леонела в любовных делах опытнее, чем сама признается. Тогда служанка созналась, что у нее любовная интрига с одним юношей из хорошей семьи, живущим в этом же городе. Камила испугалась, как бы эта история не повредила ее доброму имени, и стала допрашивать, как далеко зашла ее интрига. Леонела с развязностью и бесстыдством отвечала, что интрига зашла далеко. Ведь известно, что когда господа грешат, слуги теряют стыд: видя, что

госпожа сделала ложный шаг, служанка и сама не боится оступиться и захромать на глазах у всех. Камиле не оставалось ничего другого, как просить Леонелу не рассказывать о ее делах своему любовнику и строго хранить собственную тайну, чтобы какнибудь о ней не узнал Ансельмо или Лотарио. Леонела обещала, но исполнила свое обещание так небрежно, что вполне оправдала опасения Камилы.

Бесстыдная и дерзкая служанка, видя, что госпожа ее ведет себя уже не по прежнему, осмелилась привести в дом любовника, в уверенности, что ее госпожа промолчит, даже если его увидит. Вот одно из пагубных последствий греха: госпожа становится рабой своей собственной служанки и бывает принуждена прикрывать ее низкое, бесчестное поведение. Так случилось и с Камилей: не раз заставляла она Леонелу с возлюбленным в одной из комнат своего дома и не только не решалась выбрать ее, но еще сама помогала спрятать ее поклонника и заботилась, чтобы Ансельмо его не увидел. Но, несмотря на все ее старания, однажды Лотарио увидел, как тот на рассвете выходил из дому. Не зная, кто это, он сперва подумал, что перед ним призрак, но заметив, что тот крадется тайком, тщательно завернувшись и закутавшись в свой плащ, Лотарио отбросил это наивное предположение и заподозрил иное. Подозрения эти погубили бы их всех, если бы не находчивость Камилы. Лотарио совершенно забыл о существовании Леонелы, поэтому ему и в голову не пришло, что незнакомец, выходивший из дома Камилы в такое неурочное время, был

там у Леонелы; и он решил, что Камила так же легко сошлась с другим, как некогда она уступила ему. Вот к каким последствиям ведет прегрешение неверной жены: тот самый, что мольбами и уверениями добился ее любви, не доверяет больше ее чести, считая, что еще с большей легкостью она может отдаться другому; любое подозрение кажется ему основательным. В эту минуту вся рассудительность покинула Лотарио; он забыл о своем обычном благоразумии и не придумал ничего более разумного и правильного, как сделать следующее: горя нетерпением, ослепленный терзавшей его бешеной ревностью, снедаемый желанием отомстить Камиле, ни в чем перед ним не повинной, он бросился к Ансельмо, который еще не вставал, и, войдя, сказал:

— Узнай, Ансельмо, что уже много дней я борюсь с собой и делаю усилия, чтобы не сказать тебе того, что я не могу и не должен долее от тебя скрывать. Знай же: осада моя увенчалась успехом, и Камила готова удовлетворить все мои желания. Если до сих пор я скрывал от тебя правду, то лишь потому, что хотел убедиться, не простой ли это с ее стороны каприз, и не хочет ли она испытать и проверить, насколько серьезны мои домогательства, предпринятые с твоего разрешения. Я полагал также, что будь Камила такой, какой ей быть надлежит и какой мы оба ее считали, она бы наверное рассказала тебе о моих преследованиях, но я вижу, что она молчит, и из этого заключаю, что обещания ее—не шутка; как только ты снова уедешь, она будет меня ждать

в твоей уборной комнате (и действительно, в этой комнате происходили все их свидания). Однако, я хотел бы удержать тебя от необдуманного мщения, ибо пока грех содеян ею только мысленно, и возможно, что до момента его совершения она еще одумается и раскаяется в своих помыслах. Ты всегда или почти всегда следовал моим советам,—последуй же им еще раз, чтобы, осторожно расследовав дело, без риска опибиться, принять затем наиболее подходящее решение. Сделай вид, что тебе, как и раньше, необходимо отлучиться дня на два на три, а сам спрячься в уборной комнате: там много мебели и ковров, так что сделать это тебе будет не трудно; и тогда мы оба собственными глазами увидим, что замышляет Камила. Если она окажется неверной женой,—а этого, к сожалению, следует опасаться,—ты втайне, рассудительно и спокойно отомстишь за свою честь.

Слова Лотарио поразили, смутили и изумили Ансельмо, который их менее всего ожидал, так как был уверен, что Камила вышла победительницей из притворной осады Лотарио, и начинал уже наслаждаться радостью победы. Долго, молча и не мигая, смотрел он себе под ноги и, наконец, сказал:

— Лотарио, ты поступил как истинный друг. Я во всем последую твоему совету: делай что хочешь, только храни тайну, как этого требует столь неожиданное событие.

Лотарио обещал, но, едва выйдя, раскаялся в своем нелепом поступке: ведь он мог сам отомстить Камиле и не таким жестоким и постыдным способом. Он стал проклинать свое

безумие, упрекать себя за легкомыслие, и не знал, как ему поступить, чтобы исправить ошибку и найти какой нибудь разумный выход. В конце концов он решил признаться во всем Камиле и в тот же день без труда нашел случай повидаться с ней наедине. Едва увидев его, она, удивившись, что никто их не подслушивает, сказала:

— У меня большая тяжесть на сердце, друг мой Лотарио, которая так меня давит, что грудь моя готова разорваться, и будет чудо, если это не случится. Бесстыдство Леонелы дошло до того, что каждую ночь она прячет у меня в доме своего возлюбленного и остается с ним до утра. Ведь если кто нибудь увидит, что из моего дома в такое необычное время выходит мужчина, он будет вправе заподозрить мою честь! И особенно меня огорчает, что я не могу ни выбрать ее, ни наказать, так как она знает нашу тайну, и я вынуждена молчать и закрывать глаза на ее поведение. Но я боюсь, как бы из этого не вышло какого нибудь несчастья.

Сначала, слушая Камилу, Лотарио подумал, что она хитрит и хочет уверить его, что неизвестный приходил не к ней, а к Леонеле; но когда он увидел, что она сильно расстроена, плачет и просит у него помощи, он поверил, что все это правда; а поверив, еще больше устыдился и раскаялся в содеянном. Все же он попросил Камилу не огорчаться и обещал найти способ, как обуздать наглость Леонелы. Затем он ей признался, что, ослепленный бешеной ревностью, он все рассказал Ансельмо, и что тот по условию должен спрятаться в уборной

комнате, чтобы воочию убедиться в ее неверности. Он умолял ее простить его безумство и помочь ему все уладить, чтобы какнибудь выбраться из запутанного лабиринта, куда их завела его опрометчивость.

Камила была поражена признанием Лотарио и гневно и рассудительно упрекнула и выбрала его за низкое мнение о ней и за отчаянное и вздорное решение. И так как женский ум по природе своей быстрее мужского решается и на доброе и на злое (взамен чего он неспособен на правильное и спокойное обсуждение), то Камила тотчас же нашла выход из этого, казалось бы, безысходного положения. Она попросила Лотарио устроить так, чтобы Ансельмо действительно на следующий день спрятался в уборной комнате,—ибо она надеялась, что благодаря этой хитрости Ансельмо они смогут впредь наслаждаться любовью без всяких помех. Не открывая Лотарио всего своего плана, она прибавила, что, когда Ансельмо спрячется, он должен будет явиться по зову Леонелы и отвечать так, как если бы он не подозревал о его присутствии. Лотарио принялся настаивать, чтобы она сообщила ему до конца свои намерения;—тогда мол он сможет действовать увереннее и искуснее.

— Говорю вам,—отвечала Камила,—что вы должны только отвечать мне на то, о чем я стану вас спрашивать.

Ибо она не желала наперед объяснять свой замысел, боясь, что Лотарио не одобрит ее плана, казавшегося ей весьма хорошим, а вместо этого станет искать другого, менее удачного. С этим Лотарио и ушел, а на другой день

Ансельмо уехал под предлогом, что он отправляется в деревню к приятелю, но потом вернулся и спрятался. Устроить это ему было очень нетрудно, так как Камила и Леонела сами ему в этом помогли. Легко себе представить, с каким волнением он прятался: ведь он ожидал, что сейчас на его глазах будут рвать на куски его честь, похищать то, что он считал величайшим своим сокровищем—его возлюбленную Камилу. Удостоверившись, что Ансельмо спрятался, Камила в сопровождении Леонелы вошла в комнату и, едва переступив ее порог, с глубоким вздохом заговорила:

— Нет, я не открою тебе моего замысла, так как я боюсь, что ты станешь меня удерживать; но лучше, ах, друг мой Леонела, прежде чем я исполню его, возьми кинжал Ансельмо, который я велела тебе принести, и пронзи мою бесчестную грудь. Впрочем, погоди, не должно мне подвергаться каре за чужую вину. Я хочу узнать сначала, что такое заметили во мне дерзновенные и преступные взоры Лотарио, давшее ему смелость открыть мне свою постыдную страсть, бесчестия меня и позоря своего друга. Подойди к окну, Леонела, и позови его: он верно стоит на улице и ждет минуты, чтобы свершить свой недобрый умысел. Но раньше свершится мой—жестокий, но благородный.

— Ах, сеньора, моя,—ответила сметливая и подученная Леонела,—зачем тебе этот кинжал? Неужели хочешь ты убить себя или заколоть Лотарио? И то и другое погубит твою славу и доброе имя. Лучше затаи свою обиду и не позволяй этому злому человеку войти в дом, когда

мы здесь одни. Подумай, сеньора: ведь мы—слабые женщины, а он—мужчина; исполненный решимости. Что если, ослепленный своей дурной страстью, он раньше чем ты выполнишь свое намерение, отнимет у тебя то, что для тебя дороже жизни? Да накажет бог сеньора Ансельмо, которому угодно было дать такую власть в доме этому наглому распутнику! Но даже если ты его убьешь (а мне кажется, что ты это замыслила), что мы станем делать с его трупом?

— Что ж,—отвечала Камила,—пускай его хоронит Ансельмо: этот труд не покажется ему тяжелым,—ведь он будет хоронить свой собственный позор. Скорей же, зови его, ибо промедление с мстью за нанесенную мне обиду кажется мне нарушением обета верности супругу.

Ансельмо все слышал и при каждом слове Камилы мысли его менялись. Когда же он услышал, что она намерена убить Лотарио, он решил выйти и открыться, чтобы помешать, но его удержало желание посмотреть, к чему приведет это отважное и благородное решение; в самую последнюю минуту он собирался выйти и удержать ее.

А между тем Камила сделала вид, что лишается чувств, и упала на кровать, стоявшую поблизости, Леонела же принялась горько плакать, приговаривая:

— О горе мне! На руках у меня, несчастной, погибает цвет чести, венец добрых жен и пример целомудрия!

И такие еще слова она говорила, что всякий, кто бы ее услышал, счел бы ее самой верной и опечаленной служанкой на свете, а госпожу



ее—второй преследуемой Пенелопой. Недолго Камила пролежала в обмороке и, очнувшись, сказала:

— Что же, Леонела, ты не идешь звать друга, вернее которого не освещало солнце и не скрывала ночь? Скорей иди, беги, зови,—чтобы не погас от промедления пыл моего гнева и не расточилась в угрозах и проклятиях моя жажда справедливого мщения.

— Иду, иду, моя сеньора, — ответила Леонела, — но сперва отдай мне кинжал: я боюсь, как бы в мое отсутствие ты не совершила дела, которое потом всю жизнь будут оплакивать твои близкие.

— Не бойся, друг мой Леонела, я этого не сделаю,—ответила Камила.—Хоть я и кажусь тебе безумной и глупой, защищая свою честь, все же я не так безрассудна как Лукреция: та, как говорят, умертвила себя ни в чем неповинную, не убив наперед виновника своего несчастья. Да, я умру, но не прежде, чем отомщу тому, кто принудил меня, невинную, оплакивать здесь его дерзость.

Леонела заставила себя долго просить, но наконец пошла за Лотарио; а пока она за ним ходила, Камила говорила вслух сама с собой:

— Господи боже мой! Может быть, было бы вернее и на этот раз прогнать Лотарио, как я уже часто делала, чем давать ему повод считать меня бесчестной и дурной женщиной, как бы мимолетно ни было его заблуждение? Да, конечно, так было бы лучше. Но если после всех своих преступных замыслов он уйдет цел и невредим, не будет отомщена ни моя честь, ни

честь моего супруга. Нет, пусть предатель заплатит своей жизнью за то, что задумал в своем развратном сердце, и пусть знает свет—если только молва об этом дойдет до него—что Камила не только соблюла верность мужу, но своей рукой отомстила тому, кто осмелился ее оскорбить. Все же, я думаю, что лучше было бы все сообщить Ансельмо. Однако, я намекала об этом в письме, которое послала ему в деревню, но он не поторопился вернуться, чтобы помочь мне в грозящей мне беде: чрезмерно добрый и доверчивый, он, вероятно, не хотел, да и не мог поверить, чтобы в груди его столь испытанного друга зародился какой либо умысел против его чести. Я и сама потом долгое время так думала и продолжала бы думать, если бы дерзость Лотарио не дошла до крайних пределов, проявляясь в пышных подарках, пространных уверениях и постоянных слезах. Но к чему сейчас все эти речи? Разве отважное решение нуждается в советах? Нет, конечно. Берегись, изменник, тебя ждет месть! Пусть явится предатель, пусть войдет, приблизится, умрет и исчезнет, а там будь что будет! Чистой вступила я в дом того, кто небом был мне послан в супруги, и чистой выйду я из него, хотя бы пришлось мне смешать мою непорочную кровь с нечистой кровью самого коварного друга на свете.

Говоря это, она расхаживала по комнате с обнаженным кинжалом в руке, делая жесты и движения столь порывистые и беспорядочные, что, казалось, она потеряла рассудок и из нежной женщины превратилась в отчаянного злодея.

Ансельмо наблюдал все это из за занавески, за которой спрятался, восхищался и думал, что после всего им виденного и слышанного всякие подозрения должны исчезнуть. Ему даже хотелось, чтобы Лотарио не приходил, ибо он боялся, как бы дело не кончилось внезапно бедой. Он готов был уже выйти, объявиться Камиле и, обняв ее, открыть ей правду, как вдруг увидел, что Леонела ведет за руку Лотарио. Завидев его, Камила провела перед собой кинжалом черту на полу и сказала:

— Лотарио, слушай, что я тебе скажу: если ты осмелишься переступить эту черту или хотя бы приблизиться к ней, в ту же самую минуту я вонжу себе в грудь этот кинжал, который держу в руках. Но раньше чем отвечать на это, выслушай, что я еще тебе скажу, а потом ты мне ответишь все, что тебе будет угодно. Прежде всего, Лотарио, скажи мне, знаешь ли ты моего супруга Ансельмо и какого ты о нем мнения, а затем я спрашиваю тебя, знаешь ли ты меня? Ответь мне на это, не смущаясь и долго не раздумывая, ибо вопросы мои не трудные.

Лотарио был достаточно проникателен, чтобы догадаться о плане Камилы еще тогда, когда она просила его спрятать Ансельмо; поэтому он отвечал ей так ловко и находчиво, что всякий бы принял их общую ложь за чистую правду.

— Я не думал, прекрасная Камила,—сказал он,—что ты позвала меня сюда, чтобы расспрашивать о вещах, нисколько не относящихся к цели моего прихода. Если это уловка, чтобы отсрочить обещанную мне награду, то зачем же

раньше ты меня обнадежила? Ведь чем ближе цель наших желаний, тем томительнее промедление. Но не думай, что я отказываюсь отвечать тебе,—изволь: я знаю твоего супруга Ансельмо, мы знакомы с ним с равных лет. Я не стану говорить о нашей дружбе, которая тебе достаточно известна, ибо мне пришлось бы сознаться, что я ее оскорбил: виной тому—всемогущая любовь, которая оправдывает величайшие преступления. Тебя я тоже знаю и ты дорога мне не меньше, чем ему. Если бы не твои достоинства, не пошел бы я против своей чести и святых законов истинной дружбы; но любовь—могучий враг: она заставляет преступить их и нарушить.

— Коль скоро ты в этом сознаешься,—сказала Камила,—то ответь мне, смертельный враг всего заслуживающего любви, как осмеливаешься ты предстать передо мной, зная, что я—зеркало, в которое глядится тот, о ком ты должен был бы помнить, чтобы понять, сколь незаслуженно ты его оскорбляешь? Но горе мне, я, кажется, начинаю понимать, что заставило тебя забыть о долге чести: должно быть, ты подметил во мне некоторую снисходительность,—я не называю ее распушенностью, ибо не было в ней определенного намерения. Ведь когда нам, женщинам, кажется, что некого опасаться, мы нередко по неосторожности позволяем себе некоторую свободу в обращении. Если это не так, то скажи мне, изменник: на все твои мольбы ответила ли я тебе хоть одним словом, хоть одним знаком, которые могли вызвать у тебя тень надежды на исполнение твоих постыдных желаний? Разве я не встречала всегда твои

любовные речи с суровостью и негодованием? Разве я верила твоим богатым посулам, разве я принимала твои еще более богатые подарки? Но я полагаю, что любовный жар не может пылать так долго, если его не питает надежда, и в твоём безрассудстве я обвиняю самое себя. Несомненно, моя беспечность поддерживала твою страсть, и вот—я хочу себя наказать и понести кару, заслуженную тобой. Теперь ты увидишь, что я бесчеловечна к себе не менее, чем к тебе: я позвала тебя, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я собираюсь принести поруганной чести своего почитаемого супруга. Ты всеми силами старался оскорбить его, и я тоже оскорбила его, оберегаясь от твоих преследований и укрепив и поощрив этим твои нечистые намерения. Еще раз скажу: мысль, что моя неосторожность разбудила в тебе столь безумные желания, терзает меня больше всего, и вот за это я хочу казнить себя собственной рукой,—ибо, если это сделает другой мститель, то, быть может, преступление мое разгласится. Но умирая, я убью и увлеку за собой того, чья смерть утолит мою жажду мести: пусть праведный и нелицеприятный суд накарает того, кто довел меня до такого отчаяния.

Сказав это, она с обнаженным кинжалом в руке бросилась на Лотарио; было это сделано с такой силой и быстротой, что он подумал: а вдруг это не притворство, и она в самом деле собирается его заколоть. Ему понадобилась вся его сила и ловкость, чтобы удержать ее руку,—с таким удивительным правдо-

подобием лгала и притворялась Камила. Чтобы сделать эту картину еще убедительнее, она решила запечатлеть ее собственной кровью, и потому, убедившись (или притворившись), что не может поразить Лотарио, воскликнула:

— Раз судьба отказывает мне в полном свершении моего справедливого желания,—как она ни всемогуща, она не помешает мне свершить его хоть отчасти.

Тут Камила с усилием высвободила руку, которую ей сжимал Лотарио, и, обратив острие кинжала против самой себя, однако, с тем расчетом, чтобы ранить не глубоко, поразила себя в левый бок ниже плеча и упала на пол, как бы лишившись чувств.

И Лотарио и Леонела, изумленные и потрясенные этим происшествием, не знали, правда ли это или игра: Камила лежала перед ними на земле, залитая кровью. Задыхаясь от ужаса, Лотарио стремительно бросился к ней и вырвал из раны кинжал, но увидев, что рана незначительная, успокоился и снова стал дивиться хитрости, ловкости и уму прекрасной Камилы; чтобы не выйти из своей роли, он начал горестно и протяжно оплакивать Камилу как покойницу, осыпая проклятиями не только себя, но и главного виновника несчастья. Зная, что друг его Ансельмо все слышит, он говорил такие слова, что всякий, кто бы его услышал, пожалел бы его еще больше, чем погибшую Камилу. Леонела подняла за плечи свою госпожу и положила на постель, умоляя Лотарио бежать за лекарем, чтобы втайне вылечить ее рану; она просила также посоветовать ей,

что сказать Ансельмо, если случайно он вернется раньше, чем Камила оправится. Лотарио отвечал, что она может сказать все, что ей придет в голову, и что он сейчас не в состоянии дать



ей хороший совет; он просил только поскорее остановить кровь, лившуюся из раны, прибавив, что сам он теперь скроется от глаз людских. Так он ушел, притворившись, что убит

горем; и дойдя до места, где оказался один и никто не мог его увидеть, долго крестился и удивлялся искусству Камиллы и ловкости Леонелы. Он представлял себе, как непоколебима теперь уверенность Ансельма в том, что жена его—вторая Порция\*, и ему хотелось поскорее с ним встретиться и отпраздновать вместе успех этой затеи: ведь никогда еще на свете ложь не торжествовала так над правдой. Леонела, как сказано, остановила кровь у своей госпожи (а крови вытекло ровно столько, сколько нужно было для правдоподобия выдумки), потом обмыла рану вином и перевязала как умела, приговаривая при этом так жалобно, что одни ее слова без всего предшествовавшего могли бы убедить Ансельмо, что жена его воплощение самой добродетели. Наконец, и Камила заговорила: называла себя трусливой и мало-душной, жаловалась, что мужество покинуло ее в решительную минуту и что ей так и не удалось расстаться с ненавистной жизнью. Она советовалась с Леонелой, следует ли рассказывать о случившемся любимому супругу Ансельмо, на что та отвечала, что лучше не рассказывать, не то Ансельмо сочтет необходимым мстить Лотарио, и значит рисковать своей жизнью,—а добрая жена не должна толкать мужа на ссоры, а напротив, должна удерживать его. Камила ответила, что совет ей по душе и она ему последует; но что тем не менее нужно подумать, как объяснить Ансельмо происхождение раны, которой он не сможет не заметить. На это Леонела отвечала, что она даже в шутку не умеет лгать.



— И я тоже, сестрица, — сказала Камила. — Я ни за что не решусь выдумать чтонибудь или сочинить, хотя бы от этого зависела моя жизнь. А раз у нас ничего из этого не выйдет, так не лучше ли, не попытаюсь хитрить, сказать Ансельмо всю чистую правду?

— Не беспокойся, сеньора, — ответила Леонела, — я до завтра придумаю, как сказать. Впрочем, и рана у тебя в таком месте, что, кто знает, может быть и удастся ее скрыть от твоего мужа; бог милостив, он поможет нашему честному и праведному намерению. А теперь отдохни, сеньора, и постарайся успокоиться, чтобы Ансельмо не застал тебя в таком тревожении. В остальном же положишься на меня и на господина, который всегда помогает благим намерениям.

С большим вниманием слушал и смотрел Ансельмо трагедию гибели своей чести, действующие лица которой играли с таким увлечением и так естественно, что, казалось, превратились в тех, кого они изображали. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы выйти из дома, встретиться с добрым своим другом Лотарио и вместе с ним отпраздновать это радостное событие: ведь он сомневался в верности своей жены, а оказалось, что она — перл добродетели. Камила и Леонела представили ему удобный случай выбраться из уборной комнаты, и он не преминул им воспользоваться и тотчас же поспешил к Лотарио. Трудно передать, как он его обнимал, как выражал свой восторг и восхвалял Камилу. Лотарио слушал и не мог себя заставить сделать веселое лицо, ибо он думал о том, как жестоко обманут Ансельмо и как неспра-

ведливо он его оскорбил. А тот, видя, что Лотарио не весел, полагал, что его друга мучит мысль о ране Камилы и о том, что он этому виной. Поэтому он между прочим сказал Лотарио, что состояние Камилы не должно его беспокоить, что рана несомненно неопасна, раз ее собираются от него скрыть, и что никакого основания для тревоги нет, — а, следовательно, Лотарио может отныне радоваться и ликовать вместе с ним: ведь только благодаря его помощи и хитрости его друг находится теперь на вершине блаженства, какого мог только себе желать. Единственное, что ему остается делать, это писать стихи в честь Камилы, чтобы обессмертить ее имя в памяти грядущих поколений. Лотарио похвалил его мудрое решение и сказал, что и он по мере сил будет содействовать возведению этого великолепного памятника.

Никто еще на свете не был так презабавно обманут, как Ансельмо: он сам ввел за руку в свой дом того, в ком видел орудие своей славы и кто был губителем его доброго имени. Камила встречала его с хмурым лицом, но с радостным сердцем. Этот обман длился еще некоторое время, пока, через несколько месяцев, Фортуна не повернула своего колеса; тогда злодеяние, доселе столь искусно скрываемое, вышло на свет, и Ансельмо поплатился жизнью за свое безрассудное любопытство.

## ГЛАВА XXXV

*в которой рассказывается о жестокой и необыкновенной битве дон Кихота с мечами красного вина и дается окончание повести о Безрассудно-любопытном*



о конца повести оставалось немного страниц, как вдруг из каморки, где спал дон Кихот, в ужасе выбежал Санчо Панса, крича:

— Сюда, сеньоры, скорей на помощь! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видывали! Клянусь богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры принцессы Микомиконы, что отсек ему голову начисто, словно репку!

— Что вы такое говорите, братец? — сказал священник, прерывая чтение. — В своем ли вы уме, Санчо? Как это могло случиться, чорт возьми, когда великан находится за две тысячи миль отсюда?

В эту минуту донесся до них из каморки сильный шум и крики дон Кихота:

— Берегись, вор, разбойник, трус, ты в моих руках и твой ятаган не поможет тебе!

И, казалось, что в то же время, он наносил яростные удары в стены. А Санчо сказал:

— Нечего вам стоять и слушать, идите разнимите их или помогите моему господину, хотя, кажется, нужды в этом уже нет, потому что вне всякого сомнения великан убит и теперь дает богу отчет в своей прошлой нечестивой жизни. Я видел, как лилась кровь и как отлетела в сторону его срубленная голова, величиной в мех с вином.

— Убейте меня! — вскричал тут хозяин гостиницы, — но я уверен, что этот дон Кихот или дон Дьявол вспорол один из мехов с красным вином, висевших у его изголовья; вино вытекло, а этот молодчик вообразил, что это кровь.

С этими словами он вошел в комнату в сопровождении всех остальных, и они увидели дон Кихота в самом удивительном наряде. Он был в одной рубашке, и притом такой короткой, что спереди она едва прикрывала его ляжки, а сзади была еще на шесть пальцев короче; его длинные и тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны; голову его украшал красный и засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, ненавистное Санчо (по хорошо известной ему причине), а в правой он держал обнаженную шпагу, которой наносил удары во все стороны и при этом кричал так, как будто он и вправду сражался с великаном. Но всего забавнее было то, что он проделывал все это

с закрытыми глазами: он спал, и ему приснилось, что он бьется с великаном. Воображение его было так занято мыслями о предстоявшем бое, что во сне ему пригрезилось, что он уже приехал в королевство Микомикон и сражается со своим врагом; и он так изрубил меха, принимая их за великана, что вся комната была залита вином. Увидев это, хозяин пришел в ярость и, стиснув кулаки, набросился на дон Кихота и стал так его колотить, что, если бы не Карденио и священник, война с великаном была бы кончена. Но и потасовка не разбудила бедного рыцаря; пришлось дырюльнику принести из колодца большой котел холодной воды и окатить его с головы до ног; тут только он проснулся, и то не настолько, чтобы заметить, в каком он костюме. Доротея, бросив взгляд на его легкое и короткое одеяние, не решилась присутствовать при битве между ее защитником и врагом. А Санчо шарил всюду, ища голову великана, и, не найдя ее, сказал:

— Я уж знаю, что в этом доме все заколдованное. В прошлый раз, вот на этом самом месте, где я стою, я получил кучу пинков и тумачков, а от кого — не знаю: так я его и не видел. Вот и теперь пропала эта голова, а между тем я собственными глазами видел, как ее отрубили, — даже кровь хлынула фонтаном.

— Какая там кровь, какой фонтан? Накажи тебя бог и все его святые, — закричал хозяин, — разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови — из проткнутых мехов и что здесь можно плавать в красном вине; чтоб ему

на том свете у чертей так плавалось,—ишь, как он их истыкал!

— Ничего не понимаю, — отвечал Санчо, — знаю только, что, коль не отыщу я этой головы, растает мое злополучное графство как соль в воде.

Санчо на яву был еще хуже, чем его господин во сне: так ему вскружили голову обещания дон Кихота. Хозяин, взбешенный невозмутимостью слуги и бесчинством его господина, божился, что на этот раз им не удастся, как прежде, уехать не заплативши: теперь уж им не помогут привилегии рыцарства, — он заставит их рассчитаться даже за заплаты, которые придется наложить на продырявленные меха. Священник держал дон Кихота за руки, а тот, считая, что подвиг его совершен и что перед ним принцесса Микомикона, опустился перед священником на колени и сказал:

— Отныне, ваше величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козней этого подлого существа; а я отныне свободен от взятого на себя обязательства, ибо с помощью великого бога и милостью той, ради которой я живу и дышу, я исполнил свое обещание.

— Ну, разве я вам не говорил? — вскричал при этом Санчо. — Не пьян же я был, в самом деле! Полюбуйтесь, как мой господин засолил великана! Одним словом, быки в порядке \*, и графство у меня в кармане.

Как было не смеяться этим бредням обоих, господина и слуги? Все и расхохотались, за исключением хозяина, который всячески пре-



поручал себя сатане. Наконец, цырюльнику, Карденио и священнику удалось не без труда уложить дон Кихота в постель; он заснул, и видно было, что он изнурен до крайности. Они оставили его спать, а сами вышли в сени утешать Санчо Пансу, который все еще не мог найти голову великана. Но труднее всего было им успокоить хозяина, оплакивавшего внезапную кончину своих мехов. А хозяйка между тем кричала и причитала:

— В проклятую минуту и недобрый час вошел к нам в дом этот странствующий рыцарь, чтоб мои глаза его не видели, — дорого же он мне обошелся! Прошлый раз он уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за овес для себя, своего оруженосца, лошади и осла: заявил, что он рыцарь, ищущий приключений — пошли, господи, и ему и всем другим рыцарям такое приключение, чтоб они век помнили! — и что он не обязан платить; будто, мол, в тарифе бродячего рыцарства оно так и значит. А потом, из за него явился ко мне этот другой сеньор, унес мой хвост и возвратил мне его с изъяном больше чем на два квартильо \*: — так он его обди-пал, что мой муж больше не может им для своего дела пользоваться. А в заключение и довершение всего этот рыцарь изрешетил меха и выцедил все вино, — чтоб ему кровь так выцедили! И пусть он себе не воображает: если он не заплатит мне всего до последней полушки, клянусь костями моего отца и жизнью моей матери, — или я не я, или я не дочь своих родителей!



И много других слов в великом гневе наговорила хозяйка гостиницы, а ей вторила ее добрая служанка Мариторнес. Дочка же молчала и только от времени до времени усмехалась. Наконец, священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за меха и за вино, а особенно за повреждение хвоста, которым они так дорожили. Доротея утешила Санчо Пансу, сказав ему, что как только подтвердится, что господин его обезглавил великана и она вступит в мирное владение своим королевством, Санчо получит там самое лучшее графство. Санчо успокоился и стал уверять принцессу, что он несомненно видел голову великана и что у этой головы борода была по пояс, а исчезла она потому, что в этом доме все заколдованное, как он уже успел убедиться в прошлый раз. Доротея ответила, что она тоже так думает, а поэтому не стоит огорчаться, ибо все устроится к лучшему и пойдет как по маслу. Когда все затихли, священник предложил дочитать повесть, так как оставалось уже немного. Карденио, Доротея и все остальные попросили его об этом. Видя, что им так же приятно слушать, как ему читать, он снова взялся за рукопись и прочел следующее:

Счастливо и беспечно жил Ансельмо с Камиллой, вполне удовлетворенный ее добродетелью, а Камилла, чтобы лучше скрыть свою любовь к Лотарио, притворялась, что его вид ей ненавистен. Чтобы Ансельмо окончательно в этом уверился, Лотарио просил уволить его от посещений их дома, раз Камилла так ясно показы-

вает, что он ей неприятен. Но обманутый Ансельмо никоим образом на это не согласался. Таким то образом, и тысячью других способов, Ансельмо сам способствовал своему бесчестию, воображая, что устроил свое счастье. Между тем, Леонела, возгордившись, что госпожа признала ее любовную связь, дошла до полной распушенности и ни на что больше не обращала внимания, в уверенности, что госпожа не только покроет, но и поддержит ее, и следовательно она может предаваться любовным удовольствиям без всяких опасений. И вот, однажды ночью Ансельмо услышал шаги в комнате Леонелы; он захотел войти и посмотреть, что там происходит, но почувствовал, что кто то изнутри придерживает дверь. Тогда ему еще больше захотелось ее открыть; он напряг силы, дверь подалась, и он успел заметить, что кто то из окна выпрыгнул на улицу. Он стремительно бросился, чтобы схватить неизвестного или, по крайней мере, увидеть его в лицо, но не смог сделать ни того, ни другого, так как Леонела обхватила его руками и заговорила:

— Успокойтесь, мой сеньор, не волнуйтесь и не бегите за ним; я одна в этом замешана: этот незнакомец—мой муж.

Ансельмо ей не поверил; ослепленный гневом, он выхватил кинжал и, подняв его над Леонелой, пригрозил ей смертью, если она не расскажет ему всю правду. Та, от страха потеряв голову, сказала:

— Не убивайте меня, сеньор, я расскажу вам кое о чем более важном, чем вы можете себе представить.

— Так говори же, — вскричал Ансельмо, — или ты немедленно умрешь!

— Сейчас я рассказать не могу, — ответила Леонела, — потому что я слишком взволнована. Подождите до завтрашнего утра, и вы узнаете нечто удивительное; только поверьте, что выскокивший из окна — юноша из нашего города, и он обещал на мне жениться.

На этом Ансельмо успокоился и согласился дать просимую отсрочку, ибо ему и в мысли не приходило, что служанка расскажет ему чтонибудь о Камиле, — настолько он был уверен в своей жене. Поэтому он вышел из комнаты, заперев Леонелу на ключ и заявив ей, что не выпустит, пока она всего ему не расскажет.

Затем он отправился к Камиле и сообщил ей все, что произошло между ним и Леонелой, упомянув также, что служанка дала ему слово рассказать что то очень важное и значительное. Излишне описывать смятение Камилы, которая поняла (и в этом не ошиблась), что Леонела собирается рассказать Ансельмо о ее измене. Ее охватил такой ужас, что она решила не ждать, оправдается ли ее подозрение или нет: в ту же ночь, как только она заметила, что Ансельмо заснул, она тайком покинула дом, захватив с собою немного денег и лучшие свои драгоценности, и, придя к Лотарио, рассказала ему о случившемся, умоляя или спрятать ее или бежать вместе с ней подальше от Ансельмо. Слова Камилы так смутили Лотарио, что он не в силах был ни отвечать, ни решиться на что бы то ни было. Наконец, он придумал отвезти ее в монастырь, где настоятельницей была его

сестра. Камила согласилась, и поспешно, как этого требовали обстоятельства, Лотарио отвез ее и оставил там, а сам, никого не предупредив, покинул город.

На следующее утро Ансельмо встал и, занятый мыслями о том, что ему расскажет Леонела, даже не заметив отсутствия Камилы, тотчас же пошел в комнату, где вчера запер Леонелу. Он открыл дверь и вошел, но служанки там не было; только из окна свешивались простыни — явное свидетельство, что она по ним спустилась и убежала. Огорченный, он отправился рассказать об этом Камиле, но не нашел ее ни в постели, ни во всем доме, что еще больше его омрачило. Он стал допрашивать слуг, но ни один ничего не мог ему ответить. В поисках Камилы случайно наткнулся он на ее сундуки: они были открыты, и многих драгоценностей в них неоставало. Тут он понял, какое бедствие его постигло, и догадался, что не Леонела была причиной его. Тогда он как был, не окончив одеваться, в печали и задумчивости отправился поделиться своим горем с другом Лотарио. Но когда он и его не застал и слуги сообщили ему, что Лотарио ночью уехал из дома, забрав с собой все свои деньги, Ансельмо показалось, что он теряет рассудок. А в довершение всех бед, когда он вернулся домой, оказалось, что все слуги и служанки разбежались и что дом его покинут и пуст.

Не зная, что ему подумать, что сказать, что сделать, он чувствовал, что понемногу сходит с ума. Он смотрел на себя и не верил: его оставила жена, друг, слуги, его покинуло само небо,

расстилавшееся над ним, а главное — у него отняли честь, ибо в бегстве Камилы он видел свою гибель. Наконец, после долгого раздумья, он решил отправиться к своему другу в деревню, куда он уезжал раньше, содействуя этим своей собственной гибели. Он запер дом на ключ, сел на лошадь и, убитый горем, пустился в путь. Но не проехал он и половины дороги, как пришлось ему сойти с лошади, — так невыносимы были его душевные муки; он привязал лошадь к дереву, бросился около него на землю и стал горестно и жалобно стонать. Так пролежал он до самого вечера, когда увидел человека, ехавшего из города верхом. Поздоровавшись с ним, Ансельмо спросил, что нового во Флоренции. Горожанин ответил:

— Новости самые удивительные, каких давно уже не бывало: ходит слух, что Лотарио, верный друг богача Ансельмо, что живет близ святого Иоанна, похитил этой ночью его жену Камилу; и сам Ансельмо тоже исчез. Рассказала все это служанка Камилы, которую стража застигла в ту минуту, когда она по простыне спускалась из окна дома Ансельмо. Впрочем, в точности я не знаю, как было дело; знаю только, что весь город поражен этим происшествием, потому что ничего подобного нельзя было ожидать: ведь говорят, что между Ансельмо и Лотарио была такая горячая и тесная дружба, что их называли не иначе как *двумя друзьями*.

— Не знаете ли вы случайно, — спросил Ансельмо, — по какой дороге поехали Лотарио и Камила?

— Совсем не знаю, — отвечал горожанин, — а только стража усиленно их разыскивает.

— Счастливого вам пути, сеньор, — сказал Ансельмо.

— Счастливого вам оставаться, — ответил горожанин и поехал дальше.

При этом прискорбном известии Ансельмо почувствовал, что готов лишиться не только разума, но и жизни. Поднявшись с трудом, он отправился к своему другу, которому еще ничего не было известно о его несчастьи. Но увидев бледное, исхудалое и расстроенное лицо Ансельмо, тот сразу понял, что с ним стряслась большая беда. Ансельмо просил только позволить ему лечь и дать ему перо и бумаги. Просьба его была исполнена: его уложили в постель, оставили одного и даже по его желанию заперли дверь. В одиночестве мысль о постигшем его горе стала угнетать его еще сильнее, и в своих терзаниях он почувствовал, что наступает конец его жизни. Тогда он решил объяснить в письме причину своей необычайной смерти; он начал писать, но не успел он сообщить всего, что хотел, как дыхание его прервалось, и он испустил дух в страданиях, которыми он заплатил за свое безрассудное любопытство. Хозяин дома, видя, что уже поздно, а Ансельмо все его не зовет, решил войти и спросить, не хуже ли ему. Ансельмо полусидел на кровати, навалившись грудью на стол и склонив лицо на раскрытое, недописанное письмо; в руке он еще держал перо. Хозяин подошел и сначала окликнул его, затем, не получая ответа, схватил его за руку; рука была холодна: Ансельмо был

мертв. Хозяин дома, крайне пораженный и опечаленный, созвал слуг, чтобы они были свидетелями кончины Ансельмо. Затем он взял письмо и, убедившись, что оно написано собственной рукой умершего, прочел следующее:

«Глуное и безрассудное желание лишило меня жизни. Если весть о моей смерти дойдет до Камилы, то пусть она знает, что я ее прощаю, ибо не в ее силах было творить чудеса, и не следовало мне требовать их от нее. Я сам виновник своего позора, и потому...»

На этом письмо обрывалось: было ясно, что в этот момент, не кончив фразы, Ансельмо окончил жизнь. На другой день друг Ансельмо оповестил о его смерти родителей, которые уже знали о несчастье, постигшем сына, и об удалении Камилы в монастырь. Неверная жена едва не последовала за супругом в его последнем страстии, — не из за известия о его смерти, а из за другой вести—о бегстве своего друга. И говорят, что, овдовев, она не желала ни уйти из монастыря, ни постричься в нем, пока вскоре не дошла до нее молва о гибели Лотарио; он был убит в Неаполитанском королевстве, в битве между Лотреком и Великим Капитаном Гонсало Фернандесом Кордовским \*. Так кончил этот слишком поздно раскаявшийся друг. Узнав об этом, Камилла постриглась в монахини и прожила недолго, в тоске и печали. Вот к какому концу привело их всех опрометчивое желание одного.

— Повесть мне нравится, — сказал священник, — только я никак не могу поверить, что это

правда. А если все это придумано, то придумано неудачно, ибо нельзя себе представить, чтоб существовал на свете муж столь неразумный, чтобы решиться на такое опасное испытание. Еще между любовниками подобное могло бы случиться, но между мужем и женой — это прямо невозможно. А сама манера изложения мне скорей нравится.



## ГЛАВА XXXVI

*в которой рассказывается о других редкостных происшествиях, случившихся на постоялом дворе*



это время хозяин, стоявший у ворот гостиницы, сказал:

— Вон едет целая компания гостей; если бы они остановились у нас, была бы нам пожива.

— Что это за люди? — спросил Карденио.

— Четверо мужчин верхом на лошадях в легкой сбруе \*, с копьями и маленькими щитами, и все в черных масках \*, а с ними женщина, в дамском седле, одетая в белое и тоже в маске, а позади двое слуг.

— Они уже близко? — спросил священник.

— Так близко, — ответил хозяин, — что сейчас подъедут.

Услышав это, Доротея закрыла себе лицо, а Карденио ушел в комнату дон Кихота; и едва успели они это сделать, как путешественники, о которых говорил хозяин, остановились у постоялого двора. Четыре стройных и изящных

всадника, спешившись, помогли своей спутнице сойти с лошади, и один из них, подхватив ее на руки, усадил в кресло, стоявшее у двери той комнаты, куда скрылся Карденио. За все это время ни кавалеры, ни дама не произнесли ни слова и не сняли масок; только, садясь в кресло, незнакомка испустила глубокий вздох и опустила руки, как будто была больна и обессилена. Слуги, прибывшие пешком, отвели лошадей в конюшню.

Увидев это, священник полюбопытствовал узнать, кто эти замаскированные и безмолвные люди; он пошел вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать. Тот ответил:

— По чести, сеньор, не могу вам сказать, что это за господа; одно только знаю, что господа, видно, очень важные, особенно тот, что подхватил даму, которую вы видели. Сужу об этом по тому, что все остальные оказывают ему почет, и все, что ни делается — все по его распоряжению и приказу..

— А кто же эта дама? — спросил священник.

— И этого не сумею сказать, — отвечал слуга, — потому что за всю дорогу я и лица ее не видел; только слышал много раз, как она вздыхала и стонала так, что, казалось, вот вот отдаст богу душу. Да и не удивительно, что мы ничего больше не знаем, потому что мы с товарищем сопровождаем их всего только два дня; повстречали они нас по дороге и стали упрашивать и уговаривать проводить их до Андалузии, да и заплатить обещали хорошо.

— И вы не слышали, как зовут когонибудь из них? — спросил священник.

— Ей богу, не слышали, — ответил слуга; — едут они в таком молчании, что просто удивительно; только и слышно, что вздыхает и рыдает бедная сеньора, так что жалость берет. Сдается нам, что, видно увозят ее насильно; и если можно судить по ее платью, то она или монахиня, или собирается в монастырь. Последнее более вероятно; и, должно быть, не по своей воле постригается, — оттого и кажется такой печальной.

— Все может быть, — сказал священник и, оставив их, вернулся к Доротее.

Та же, слыша вздохи дамы в маске и побуждаемая естественным состраданием, подошла к незнакомке и сказала:

— Какое у вас горе, сеньора? Подумайте, не могла ли бы его исцелить другая женщина, опытная и много испытавшая? Я от всего сердца предлагаю вам свои услуги.

Опечаленная дама не отвечала на эти слова; и хотя Доротее предложила ей свою помощь еще настоятельнее, та продолжала хранить молчание, пока не вернулся кавалер в маске, тот самый, которому, по словам слуги, все подчинялись, и не сказал Доротее:

— Не утруждайте себя, сеньора, и не предлагайте ничего этой женщине, ибо такой уж у нее обычай: что бы для нее ни сделали, она вас не поблагодарит; не добивайтесь же ее ответа, если не желаете услышать ложь.

— Я никогда не лгала, — сказала тут дама, доселе хранившая молчание, — напротив, именно потому, что я была правдива и не знала лживых ухищрений, попала я теперь в такую беду.

Я требую, чтоб вы сами были тому свидетелем, ибо моя чистая правда сделала вас обманщиком и лжецом.

Карденио ясно и отчетливо услышал эти слова, так как находился рядом, в комнате дон Кихота, и одна только дверь отделяла его от говорившей; услышав их, он громким голосом закричал:

— Господи помилуй! Что я слышу? Чей голос долетел до моих ушей?

Пораженная этими словами, незнакомка повернула голову и, не видя, кто говорит, встала и хотела было открыть дверь, но кавалер, заметив это, удержал ее за руку и не позволил сделать ни шага. В смятении и поспешности, она уронила шелковую ткань, покрывавшую ее лицо, и все увидели ее несравненную красоту, ее дивное лицо, испуганное и бледное; глаза ее перебегали с предмета на предмет с такой быстротой, что, казалось, она потеряла рассудок. Не понимая причины такого странного поведения, Доротея и все присутствующие почувствовали к ней глубокую жалость. Кавалер крепко держал ее за плечи и был так озабочен тем, чтобы она не вырвалась, что не успел придержать спадавшую с его лица маску, которая, наконец, совсем упала. Тут Доротея, обнимавшая незнакомку, подняла глаза и увидела, что тот, кто держал даму, был ее собственный супруг, дон Фернандо, и не успела она его увидеть, как, исторгнув из глубины души протяжное и горестное «ах!», она упала навзничь без чувств; не подхвати ее на руки стоявший рядом цырюльник, она бы грохнулась о землю. Тотчас же подбежал священник, поднял ее покрывало и

брызнул в лицо водой, а когда ей открыли лицо, дон Фернандо (ибо это он держал в своих объятиях незнакомку!) узнал Доротейку и замер на месте от изумления. Но все же он продолжал обнимать Люсинду, которая пыталась от него освободиться, так как по вздохам она узнала Карденио, как и он узнал ее. Последний услышал также восклицание, которое испустила, падая в обморок, Доротейку, и, думая, что это вскрикнула его Люсинда, испуганный выбежал из комнаты, и первого, кого он увидел, был дон Фернандо, обнимавший Люсинду. Дон Фернандо также узнал Карденио, и все трое, Люсинда, Карденио и Доротейку, застыли на месте и онемели, как будто не понимая, что с ними происходит.

Все молчали и смотрели друг на друга: Доротейку на дон Фернандо, дон Фернандо на Карденио, Карденио на Люсинду, Люсинда на Карденио. Наконец, Люсинда первая прервала молчание, обратившись к дон Фернандо с такими словами:

— Оставьте меня, сеньор дон Фернандо, из уважения к вашему собственному достоинству, раз все другие доводы для вас недействительны. Не мешайте плющу обвиться вокруг его стены; ни ваши домогательства, ни угрозы, ни обещания, ни подарки не смогли оторвать меня от моей опоры. Посмотрите, какими необычайными и для нас скрытыми путями небо привело меня к моему истинному супругу. После тысячи дорогого вам стоивших попыток вы хорошо знаете, что одна смерть может исторгнуть его из моей памяти. Пусть же это явное разоблачение,

превратив вашу любовь в ярость и желание в ненависть (поскольку другие чувства для вас недоступны), явятся для вас поводом убить меня: расставаясь с жизнью перед лицом моего супруга, я сочту это добрым концом: быть может, смерть моя убедит его в верности, которую я хранила ему до последнего вздоха.

Между тем, Доротея очнулась от обморока. Слыша речи Люсинды, она по ним догадалась, кто была говорившая, и видя, что дон Фернандо не отпускает Люсинду и ничего не отвечает на ее слова, Доротея, собрав все свои силы, встала, бросилась к его ногам и, проливая ручьи нежных и умильных слез, заговорила так:

— Если бы, о мой сеньор, то солнце, которое лежит омраченным в твоих объятиях, не ослепляло тебя своими лучами и не лишало тебя зрения, ты бы уже давно заметил у ног своих несчастную Доротею, горе которой не кончится, пока ты этого не захочешь. Я — та скромная крестьянка, которую по доброте своей или для собственного удовольствия ты удостоил высокой чести назвать своею; я — та, которая жила счастливо, замкнувшись в пределах пристойности, пока на зов твоих искательств, твоих, казалось, искренних любовных чувств не открыла я дверей своей скромности и не вручила тебе ключей своей свободы, — ты же так отблагодарил меня за этот дар, что пришлось мне скитаться по этим местам и встретиться с тобой при нынешних обстоятельствах. Но все же, не думай, прошу тебя, что пришла я сюда с мыслями о своем бесчестии: нет, привела меня горькая дума о том, что ты меня забыл. Ты

пожелал, чтобы я была твоей, и пожелал этого так сильно, что теперь, как бы ты ни желал иного, ты никогда не перестанешь быть моим. Подумай, мой сеньор, разве моя несравненная преданность не вознаградит тебя за красоту и знатность той, ради которой ты меня покинул? Ты не можешь принадлежать прекрасной Люсинде, ибо ты — мой, и она не может быть твоей, ибо принадлежит Карденио. Рассуди, не легче ли тебе будет постараться полюбить меня, которая тебя обожает, чем принудить к любви ту, что тебя ненавидит? Я была простодушна — и ты домогался меня, я была чиста — и ты молил меня; тебе известно было мое происхождение, ты знаешь, как покорилась я твоей воле, и у тебя нет ни причины, ни основания жаловаться на то, что тебя обманули. И если все, что я говорю — правда, и если ты кабальеро и христианин, — зачем же прибегаешь ты ко всяким уловкам и медлишь подарить мне в конце то счастье, что ты подарил мне в начале? Если же ты не хочешь, чтобы я была той, что я есть, — твоей истинной и законной супругой, — то позволь мне быть хотя бы твоей рабой: повинаясь тебе, я буду считать себя довольной и счастливой. Не допусти же, чтобы, брошенная и покинутая тобой, я стала предметом постыдных толков; мои родители всегда честно служили твоим, как добрые вассалы, и не заслужили горькой старости, какую ты им готовишь. Если ты думаешь, что унизишь свою кровь, смешав ее с моей, то вспомни, что все или почти все знатные роды шли по той же дороге и что не по крови матери определяется

благородство происхождения. Более того, подлинное благородство заключается в добродетели, и если ты изменишь ей, отказав мне в моей столь справедливой просьбе, я останусь с большими правами на благородство, чем те, которыми ты обладаешь. Итак, сеньор, вот что я тебе скажу в заключение: хочешь ты или не хочешь, я — твоя супруга. Мой свидетель — твое слово, которое не будет и не должно быть лживым, если только ты гордишься тем \*, из за чего ты меня презираешь; свидетель — твоя подпись, свидетель — небо, которое ты призывал в свидетели правдивости твоих обещаний. Но если всего этого недостаточно, то знай, — к этим свидетелям присоединится безмолвный голос твоей совести, который заглушит шум веселья и, напомнив о правде, которую я тебе высказала, смутит все твои радости и наслаждения.

И еще другие речи говорила опечаленная Доротея с таким чувством и слезами, что даже спутники дон Фернандо и все присутствующие заплакали вместе с ней. Дон Фернандо слушал, не прерывая, пока она не кончила; а потом начала она так вздыхать и рыдать, что нужно было иметь бронзовое сердце, чтобы не растрогаться при виде ее горя. Люсинда смотрела на Доротею, и сострадание к ее печали было в ней столь же велико, как восхищение перед ее умом и красотой. Ей хотелось подойти к Доротее и сказать ей несколько слов в утешение, но дон Фернандо не отпуская ее, продолжая сжимать в своих объятиях. Он долгое время пристально смотрел на Доротею и, наконец, в смущении и



замешательстве разомкнул руки и, отпустив Люсинду, сказал:

— Ты победила, прекрасная Доротея, ты победила, ибо ни у кого не хватило бы духу отрицать, что все, что ты говорила — правда.

Люсинда была почти в обмороке, и когда дон Фернандо выпустил ее из рук, она наверное бы упала, если бы Карденио не подбежал ее поддержать. Не желая, чтобы дон Фернандо его узнал, он стоял за его спиной, неподалеку от Люсинды, но тут, забыв всякий страх и решившись рискнуть всем, он подхватил ее в свои объятия и сказал:

— Если милосердное небо позволяет и разрешает тебе немного передохнуть, о, верная, непоколебимая и прекрасная моя госпожа, то где же отдохнешь ты более безмятежно, чем в моих объятиях, в которые я заключал тебя в те времена, когда судьба позволяла мне называть тебя своей.

Услышав эти слова, Люсинда посмотрела на Карденио, которого уже раньше узнала по голосу, и, убедившись собственными глазами, что это действительно он, не считаясь с приличиями, вне себя, обвила его шею руками, прижалась лицом к его лицу и воскликнула:

— О, сеньор мой, вы — мой истинный господин, а я — ваша пленница, как бы ни противилась этому враждебная судьба и как бы ни грозили люди моей жизни, которая вся — в вас!

Это было неожиданное зрелище для дон Фернандо и для остальных, и все дивились столь невиданному происшествию. Доротею показалось, что дон Фернандо побледнел в лице

и положил руку на рукоять шпаги, словно намереваясь посчитаться с Карденио; не успела она это заметить, как тотчас же с необыкновенной быстротой бросилась к его ногам, обняла и так крепко прижала их к себе, что тот не мог двинуться, и, не переставая проливать слезы, заговорила:

— О мое единственное прибежище, что ты хочешь сделать в эту необычайную минуту? У ног твоих лежит твоя супруга, а та, которой ты домогаешься — в объятиях своего мужа. Подумай, подобает ли тебе, да и возможно ли расстраивать то, что устроило само небо? Не лучше ли будет, если ты поднимешь и возвысишь до себя ту, которая, презрев все препятствия и доказав тебе свою правдивость и верность, смотрит тебе в глаза и обливает любовными слезами лицо и грудь своего истинного супруга? Заклинаю тебя богом и твоей честью, пусть это гласное разоблачение не усиливает твоего гнева, а напротив, успокоит его. Хладнокровно и без гнева дозвожь этим влюбленным беспрепятственно наслаждаться миром во все дни, что пошлет им милостивое небо; прояви в этом великодушие твоего высокого и благородного сердца, и да увидит свет, что разум имеет над твоей душой власть большую, чем страсти.

Во время этой речи Доротеи Карденио, прижимая к груди Люсинду, не спускал глаз с дон Фернандо, чтобы при первом же его угрожающем движении быть готовым не только защищаться, но и напасть на всякого, кто выступит против него, хоть бы эта борьба стоила ему

жизни. Но в эту минуту подбежали друзья дон Фернандо, а с ними священник и дырюльник, которые тоже присутствовали при этой сцене, и все они, не исключая добрейшего Санчо Пансы, обступили дон Фернандо и стали умолять его жматься над слезами Доротеи: если правда то, что она говорит—а они были твердо в этом уверены—дон Фернандо не может позволить, чтобы справедливые ее надежды были обмануты; они просили его поверить, что не случай, как это могло показаться, а особая воля неба свела их всех в таком месте, где они меньше всего рассчитывали встретиться.

— Поверьте,—прибавил священник,—что одна смерть может разлучить Карденио с Люсиндой, и если один меч поразит их обоих, они умрут счастливые. В непреодолимых обстоятельствах проявляет величайшую мудрость тот, кто, поборов и победив себя, показывает великодушие своего сердца; да будет же ваша воля на то, чтобы эти влюбленные наслаждались счастьем, ниспосланным им свыше. Обратите ваши взоры на Доротею и убедитесь, что трудно, или вовсе невозможно найти женщину, которая бы не то что превзошла, но хотя бы сравнилась с ней красотой. Прибавьте к этой красоте ее смирение и безграничную любовь к вам; и прежде всего помните, что, почитая себя кабальеро и христианином, вы не можете не сдержать данного вами слова, а сдержав его, вы исполните свой долг перед богом и удовлетворите всех рассудительных людей; ибо все знают и понимают, что красота, украшенная добродетелью, какого бы скромного происхождения она ни

была, может подняться до любой знатности и сравняться с нею, нисколько не унижая того, кто возвышает и равняет ее с собой. И тот, кто следует властным законам своего влечения, если только в этом не замешан грех, не может быть осужден за то, что им повинуется.

К этим доводам остальные присутствующие прибавили разные другие, и наконец великодушное сердце дон Фернандо (недаром в нем текла благородная кровь) смягчилось и склонилось перед правдой, которой он не мог отрицать, если бы и хотел. И чтобы показать, что он сдался и покорился справедливым увещаниям, дон Фернандо наклонился к Доротее и, обняв ее, сказал:

— Встаньте, моя сеньора, ибо не подобает стоять на коленях у моих ног той, которая владеет моей душой; и если до сих пор я ничем не доказал вам правдивости этих слов, то, быть может, потому, что такова воля неба: чтобы научиться уважать вас по заслугам, я должен был сперва увидеть, с какой верностью вы меня любите. Об одном вас прошу: не упрекайте меня за недоброе и пренебрежительное отношение к вам, ибо та же сила, что побудила меня назвать вас моей, заставила меня попытаться перестать быть вашим. Вы поверите мне, если обернетесь и посмотрите в глаза ныне счастливой Люсинды; в них найдете вы оправдание всех моих заблуждений. Но раз она достигла того, чего хотела, а я нашел в вас исполнение моих желаний, то дай ей бог прожить в мире и довольстве долгие и счастливые годы со своим Карденио, а я на коленях испрошу у господ счастья для себя и для моей Доротей.

И, сказав это, начал он ее обнимать и целовать с таким нежным чувством, что пришлось ему сделать большое усилие, чтобы, как несомненное доказательство любви и раскаянья, не полились у него из глаз слезы. Но Люсинда, Карденио и все кто присутствовал при этом не могли удержаться и стали проливать столько



слез (одни радуясь за себя, иные за других), что могло показаться, что их постигло большое горе: даже Санчо Панса—и тот плакал, хотя впоследствии он утверждал, что делал это только потому, что Доротея оказалась совсем не королевой Микомиконой, от которой он ждал столько милостей. Слезы и удивление продолжались некоторое время, а затем Карденио и Люсинда опустились на колени перед дон Фернандо и

в таких изысканных выражениях благодарили за оказанное им благодеяние, что дон Фернандо не знал, что отвечать; он их поднял и обнял с большой вежливостью и любовью.

Потом он попросил Доротеею рассказать ему, как очутилась она так далеко от дома. Она вкратце и искусно рассказала то, что уже раньше рассказывала Карденио. Рассказ ее очень понравился дон Фернандо и его спутникам, и они пожалели о его краткости: с такой приятностью рассказала Доротея о своих злоключениях. А когда она кончила, дон Фернандо рассказал, что случилось с ним в городе после того, как он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что обвенчана с Карденио и потому не может стать его женой. Он хотел ее убить и наверное бы это сделал, если бы его не удержали родители Люсинды. Тогда в досаде и гневе он уехал из города, с намерением отомстить, как только представится случай; но на другой день узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома и что никто не знает, куда она ушла. Наконец, через несколько месяцев, до него дошла весть, что Люсинда удалилась в монастырь, где предполагала дожить свой век, если ей не будет позволено соединиться с Карденио. Как только дон Фернандо об этом узнал, он взял себе в помощники трех кабальеро и отправился с ними к монастырю. С Люсиндой он не виделся, ибо опасался, как бы, узнав о его прибытии, в монастыре не усилили охраны. И вот, выждав день, когда ворота были открыты, он двоих своих спутников оставил на страже у входа, а сам в сопровождении третьего

отправился искагь Люсинду. Та стояла в монастырском дворе, разговаривая с монахиней; они схватили ее и, не дав времени опомниться, отвезли в такое место, где можно было запастись всем необходимым для поездки. Все это удалось сделать без всяких помех, так как монастырь находился в поле, далеко от города. Когда Люсинда убедилась, что она во власти дон Фернандо, она тотчас же лишилась чувств, а придя в себя все время молчала и только вздыхала и плакала. Так в молчании и слезах прибыли они на этот постоялый двор, и кажется ему теперь, что попал он на небо, где преодолеваются и кончаются все земные бедствия.

## ГЛАВА XXXVII

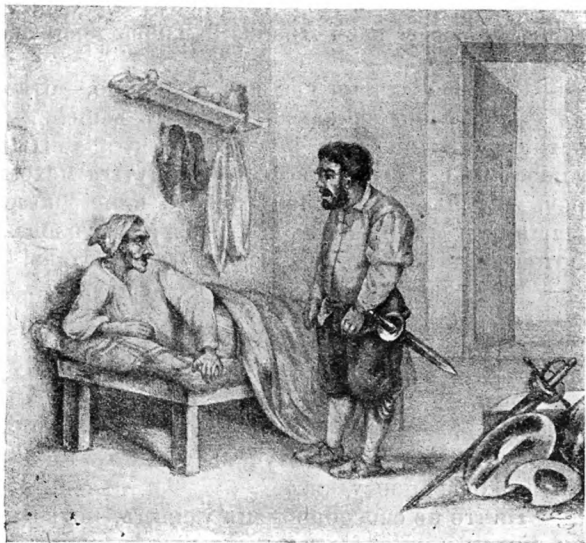
*в которой продолжается история инфанты Микомикона вместе с другими забавными приключениями*



анчо слушал все эти речи и сокрушался душой, видя как исчезают и разлетаются прахом его надежды на получение титула: прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, великан в дон Фернандо, а тем временем господин его спит крепким сном и не подозревает даже о случившемся. Доротея никак не могла поверить, что это счастье ей не приснилось; так же думал и Карденио, да и Люсинде представлялось это не иначе. Дон Фернандо благодарил небо за посланную ему милость и за то, что он наконец выбрался из запутанного лабиринта, где рисковал погубить и свою душу и свое доброе имя. Одним словом, все находившиеся на постоялом дворе радовались и веселились, что эти сложные и безнадежные обстоятельства так счастливо разрешились. Священник, как человек разумный, старался все уладить и



поздравлял каждого с достигнутой удачей. Но больше всех ликовала и радовалась хозяйка постоянного двора, потому что Карденио и священник пообещали ей возместить с процентами все убытки, которые она потерпела из за дон



Кихота. Один Санчо, как уж было сказано выше, скорбел, печалился и грустил. С унылым видом вошел он в комнату своего господина, который тем временем проснулся, и сказал:

— Ну, теперь, ваша милость, сеньор Печальный Образ, вы можете спать сколько вам заблагорассудится, и нечего уж вам заботиться о

том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство: это дело слажено и кончено.

— И я так думаю,—ответил дон Кихот,—ибо у меня был с великаном такой жестокий и страшный бой, какого, должно быть, не будет у меня ни с кем в жизни. Я нанес ему удар,—раз!—голова с плеч долой, и кровь полилась рекой, как вода.

— Скажите лучше, как красное вино,—ответил Санчо,—ибо осмелюсь доложить вашей милости, коли ей это неизвестно, что убитый великан был всего на всего проткнутым мехом, кровь—шестью арробами красного вина, помещавшимися в его брюхе, а отрубленная голова... чортова матушка, и заberi мою душу сатана!

— Что говоришь ты, безумец?—вскричал дон Кихот.—В своем ли ты уме?

— Лучше поднимитесь, ваша милость, да посмотрите, каких вы дел наделали и сколько нам придется заплатить. Тогда вы увидите, что королева превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея, и что случилось много такого, что вас наверное удивит.

— Ничто не способно меня удивить,—ответил дон Кихот,—ибо еще в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, я тебе сказал,—ты наверное помнишь,—что все в этом доме подвержено волшебству. Неудивительно, что и теперь дело обстоит не иначе.

— Всему бы этому я поверил,—возразил Санчо,—если бы и одеяло, на котором меня подкидывали, было заколдованным. Да нет, оно то было настоящим, самым взаправдушным. И

я помню, что тот самый хозяин, что и теперь тут, держал его с одного краю и подбрасывал меня изо всех сил в воздух, да еще с шуточками и прибауточками. Хоть человек я неученый и грешный, но полагаю, что раз я их всех в лицо признал, то значит никакого тут волшебства и не было, а была просто здоровая трепка и большая неприятность.

— Ну, даст бог все устроится,—сказал дон Кихот,— а теперь подай мне одеться: я хочу пойти посмотреть на все эти происшествия и превращения, о которых ты рассказываешь.

Санчо подал ему платье, а пока дон Кихот одевался, священник рассказал дон Фернандо и остальным присутствующим о безумии рыцаря и о той хитрости, к которой пришлось им прибегнуть, чтобы выманить его с «Пенья Побре», куда он удалился из за воображаемой суровости своей дамы. Также он рассказал им почти обо всех приключениях, о которых ему сообщил Санчо, и все немало удивлялись и смеялись, так как нашли (как и всякий бы нашел на их месте), что это—самый странный вид помешательства, какой когда либо постигал расстроенный ум. Затем священник заявил, что раз счастливый исход дела не позволяет сеньоре Доротее продолжать играть свою роль, то необходимо изобрести и выдумать другой способ доставить дон Кихота домой. Карденио предложил продолжать игру, говоря, что Люсинда отлично заменит Доротею и доиграет ее роль.

— Нет,—сказал дон Фернандо,— в этом нет надобности. Я хотел бы, чтобы Доротея продолжала изображать королеву, и если только

родина этого доброго кабальеро не очень далеко отсюда, я буду рад посодействовать его исцелению.

— До нее не более двух дней пути,—сказал священник.

— Если б даже было и больше,—ответил дон Фернандо,—я с удовольствием проделаю эту дорогу ради такого доброго дела.

В эту минуту появился дон Кихот в своем полном убранстве, с прогнутым шлемом Мамбрина на голове и щитом в руке, опираясь на свою жердь или копьцо. Дон Фернандо и все остальные были поражены его странной наружностью: сухим и желтым лицом длиной с поларшина, сборным вооружением и видом полным достоинства; все смолкли и ждали, что он скажет, а он, торжественно и спокойно обратив свои взоры на прекрасную Доротею, сказал:

— Мой оруженосец, прекрасная сеньора, доложил мне, что ваше величие погибло и ваша личность исчезла, ибо из королевы и знатной сеньоры, которой вы были раньше, ныне вы стали простой девицей. Если произошло это по воле короля-чернокнижника, вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам достаточной и нужной помощи, то знайте, что он в своей науке и до середины не дошел и мало смыслит в рыцарских историях. Если бы он читал и изучал их так внимательно и долго, как изучал и читал их я, он бы нашел в них на каждом шагу примеры того, как другие рыцари, менее меня знаменитые, совершали подвиги гораздо более трудные. Не великое дело—убить какого то великанишку, как бы дерзок он ни был. Всего

несколько часов тому назад я встретился с ним, и... но я предпочитаю умолкнуть, чтобы не сказали, что я лгу. Но время, от которого ни одно наше дело не остается скрытым, откроеет вам все, когда вы меньше всего будете этого ждать.

— Встретились вы с двумя мехами, а не с великаном,—вмешался тут хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и никоим образом не прерывать речей дон Кихота; а тот продолжал:

— В конце концов, вот что я скажу, о высокородная и развенчанная сеньора: если по причине, о которой я упомянул, ваш отец произвел с вами эту метаморфозу, то не верьте ей; ибо нет на свете таких опасностей, через которые мой меч не проложил бы дороги; и, низложив голову вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону вашей земли.

Дон Кихот замолчал, ожидая ответа принцессы; а та, зная, что дон Фернандо решил продолжать обман, чтобы водворить дон Кихота во свояси, с большой серьезностью и остротой ответила:

— Кто бы вам ни сказал, доблестный Рыцарь Печального Образа, что я изменила и потеряла свой прежний сан, он сказал вам ложь, ибо и сегодня я та же, что была вчера. Правда, некоторые благоприятные события изменили немного мое положение и сделали его лучшим, чем я могла надеяться, однако из за этого я не перестала быть той, кем была раньше и не оставила неразлучной со мною мысли воспользоваться мощью вашей могучей и непобедимой

руки. Итак, мой сеньор, благоволите возвратить честь тому, кто дал мне жизнь, и поверьте, что он человек мудрый и разумный, так как с помощью своей науки нашел он столь легкий и правильный путь к прекращению моих бедствий. Ибо я уверена, что без вас, сеньор, я никогда бы не достигла того счастья, которым ныне обладаю. И правдивость моих слов может засвидетельствовать большинство добрых сеньоров, здесь стоящих. Нам остается только двинуться завтра в путь, ибо сегодня мы уж не успеем сделать большого переезда. Что же касается счастливого завершения дела, на которое я надеюсь, я в этом полагаюсь на бога и на ваше мужественное сердце.

Так сказала разумная Доротея; выслушав ее, дон Кихот в большой досаде обратился к Санчо и сказал:

— Знай, Санчо-дружище, такого негодяя как ты не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощальга, где ты ли мне только что говорил, что принцесса превратилась в девицу по имени Доротея, что отрубленная мною голова великана—чортова матушка, и нес прочую чепуху, от которой я пришел в смущение, какого никогда еще не испытывал во все дни моей жизни? Клянусь господом бо... (тут он поднял глаза к небу и стиснул зубы), что я тебя сейчас искрошу в куски, для острастки всех лживых оруженосцев, какие только будут у странствующих рыцарей.

— Успокойтесь, ваша милость, сеньор мой, — отвечал Санчо, — очень может быть, что я что нибудь спугал насчет превращения сеньоры

принцессы Микомиконны. А что касается головы великана, вернее продырявленных мехов, и то о, что кровь была красным вином, то клянусь богом, что я не ошибаюсь, ибо проткнутые меха еще до сих пор валяются у изголовья постели вашей милости, а красного вина натекло на пол целое озеро. А не верите, так погодите до тех пор, пока яички поспеют: увидите, какой счет вам представит за убытки его милость, сеньор хозяин. А в остальном, ежели сеньора королева осталась той же, что и была, так я этому сердечно рад: значит, и мне, как и всякому сыну на свете, моя доля достанется.

— Вот что я тебе скажу, Санчо, — ответил дон Кихот: — прости меня, но ты болван, и довольно.

— Довольно, — повторил дон Фернандо, — и не будем больше об этом говорить. И раз сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, так как сегодня уже поздно, то пусть так оно и будет. Всю ночь до рассвета мы проведем в приятной беседе, а завтра все проводим сеньора дон Кихота, ибо нам хочется быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые собирается он совершить, затеяв это великое предприятие.

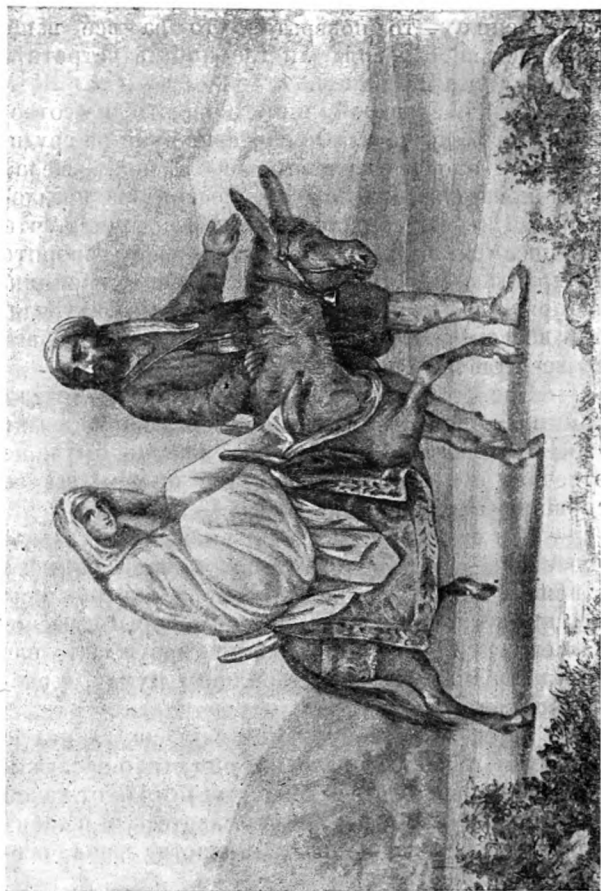
— Это мне надлежит служить вам и сопровождать вас, — ответил дон Кихот. — Я глубоко вам признателен за милость, вами мне оказанную и за ваше высокое обо мне мнение, которое я постараюсь оправдать, хотя бы мне это стоило жизни или даже большего, если только это возможно.

Еще множеством любезностей и предложений услуг обменялись дон Кихот и дон Фернандо;

но конец всему этому положило появление на постоялом дворе одного путешественника, по одежде которого было видно, что он христианин, недавно прибывший из страны мавров. На нем было полукафтанье из голубого сукна, без воротника, с рукавами до локтей и короткими фалдами, берет и полотняные штаны того же цвета; на ногах—башмаки желтоватого цвета, через плечо перевязь, а на ней кривая мавританская сабля. За ним на осле ехала женщина, одетая по мавритански; лицо ее было закрыто чадрой, голову, повязанную покрывалом, украшала парчевая шапочка; длинная аль-малафа \* ее спускалась до самых пят. Мужчина был рослый и приятный на вид, лет около сорока, смуглый лицом, с длинными усами и изящной бородкой: одним словом, было ясно, что будь он хорошо одет, все бы сочли его благородным и знатным сеньором. Войдя, он потребовал отвести ему комнату, и когда ему заявили, что свободной комнаты нет, он, казалось, очень огорчился; и затем, подойдя к своей спутнице, которая по виду была мавританкой, подхватил ее на руки и снял с осла. Люсинда, Доротей, хозяйка, ее дочка и Мариторнес, заинтересованные особенным и еще никогда ими не виданным нарядом, окружили незнакомку; а Доротей, как всегда приветливая, любезная и обходительная, видя, что дама и ее спутник опечалены тем, что им негде остановиться, сказала:

— Не обращайтесь внимание, сеньора, на недостаток удобств: на постоялых дворах их обычно мало; однако, если вы соблаговолите





поместиться с нами,—прибавила она, указывая на Люсинду,—то поверьте, что за все ваше путешествие вы вряд ли где нибудь встретите более радушный прием.

Женщина с чадрой ничего на это не ответила, а только встала и, скрестив руки на груди, нагнула голову и поклонилась в пояс, желая этим показать, что она благодарит за предложение. Из этого молчания они заключили, что она несомненно мавританка и не умеет говорить по христиански. В эту минуту подошел пленник, который до тех пор был занят другим, и увидя, что все окружили его спутницу, а она на все слова отвечает молчанием, сказал:

— Прекрасные дамы, эта девушка с трудом понимает наш язык и говорит только на языке своей родины; вот почему она, должно быть, не отвечала и не отвечает на то, о чем вы ее спрашивали.

— Мы ее ни о чем не спрашивали, — сказала Люсинда, — а просто предлагали ей провести ночь в нашем обществе, в комнате, где мы устроились; мы предоставим ей все удобства, которыми располагаем, ибо доброе желание побуждает нас услужить иностранцам, терпящим нужду, и особенно женщине.

— За себя и за нее, моя сеньора, я целую вам руки и ценю высоко, как она этого заслуживает, оказываемую нам милость: исходя от такой особы, какой вы мне представляетесь, и в таких крайних обстоятельствах, милость ваша особенно велика.

— Скажите мне, сеньор, — спросила Доротея, — эта сеньора христианка или мусульманка?

Ибо ее молчание и наряд заставляют нас думать о ней то, что нам не по сердцу.

— Одеждой и телом она мусульманка, но душой — пламенная христианка, ибо она охвачена живейшим желанием стать таковой.

— Значит, она еще не крещена? — спросила Люсинда.

— У нас не было на это времени, — ответил пленник. — С тех пор как она покинула свою родную землю, Алжир, она ни разу не подвергалась такой смертельной опасности, которая побудила бы нас совершить крещение до того, как она достаточно ознакомится со всеми обрядами, которым учит нас наша святая мать церковь. Но господь поможет ей в скором времени принять крещение с пышностью, подобающей ее положению; ибо она знатнее, чем можно заключить по ее и моему платью.

Эти слова возбудили во всех присутствующих сильное желание узнать, кто такие пленник и мавританка; но в эту минуту никто не решился его расспрашивать, ибо все видели, что он больше нуждается в отдыхе, чем в рассказах о своей жизни. Доротея взяла незнакомку за руку, усадила ее рядом с собой и попросила снять покрывало. Та взглянула на пленника, как бы спрашивая его, что они говорят и что ей следует делать. Он сказал ей на арабском языке, что они просят ее снять покрывало и что она должна это исполнить. Тогда она его откинула, и все увидели такое прекрасное лицо, что Доротея она показалась красивее Люсинды. Люсинде — более красивой, чем Доротея, а все окружающие заявили, что если кто может срав-

ниться с обеими красотой, то только мавританка; некоторые даже нашли, что в известных отношениях она их превосходит. И так как красота обладает силой и даром вносить мир в сердца и влиять на волю, то все сразу загорелись усердием услужить и угодить прекрасной мавританке. Дон Фернандо спросил у пленника, как ее зовут; тот ответил: Лела Зорайда. Мавританка, услышав это имя и поняв, о чем они спрашивают на языке христиан, поспешно, с беспокойством и живостью выкликнула:

— Нет, не Зорайда, Мария, Мария! — желая этим объяснить, что зовут ее не Зорайда, а Мария.

Эти слова, произнесенные с такой страстностью, растрогали до слез многих из присутствующих; особенно растроганы были женщины, которые по природе своей нежны и сострадательны. Люсинда с большой любовью обняла ее и сказала:

— Да, да, Мария, Мария.

А мавританка ответила:

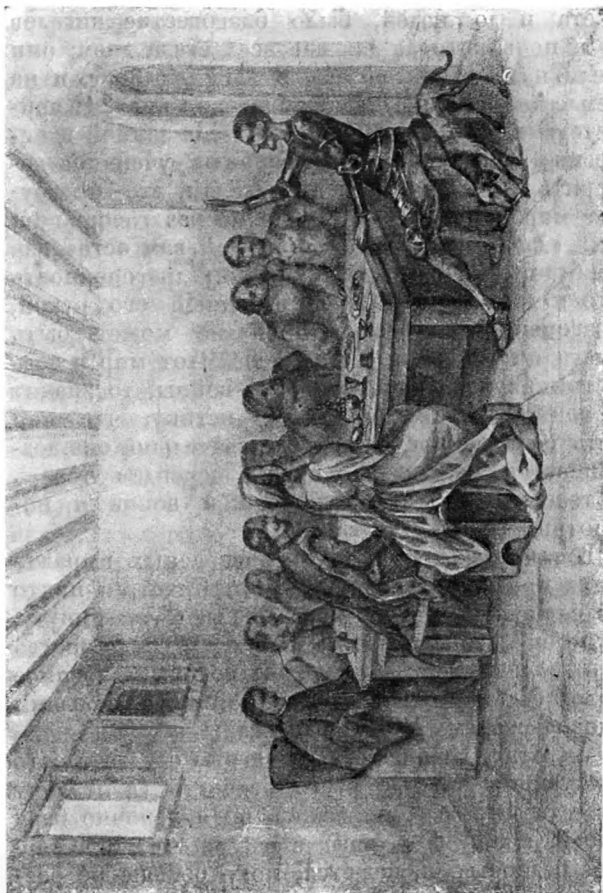
— Да, да, Мария, Зорайда—ма кан ши (что значит—нет).

Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы, по приказанию спутников дон Фернандо, позаботился и постарался приготовить ужин, как можно лучше. И когда подошло время, все уселись за длинный, вроде трапезного стол, так как ни круглого стола, ни квадратного в гостинице не оказалось,—и на главное почетное место усадили дон Кихота, хотя тот и отказывался. Дон Кихот выразил желание, чтобы сеньора Микомикона села рядом с ним, как со своим

покровителем. Далее поместились Люсинда и Зорайда, против них дон Фернандо и Карденио, затем пленник и остальные кавалеры, а рядом с дамами — священник и дырюльник. Так они увеличилась с большой приятностью, которая еще увидела, что дон Кихот перестал есть и, осененный таким же обильным вдохновением, как и за ужином у козопасов, заговорил:

— Поистине, — начал он, — если хорошенько рассудить, мои сеньоры, великие и неслыханные вещи приходится видеть тем, кто посвящен в орден странствующего рыцарства. Представьте себе, что ктонибудь из живущих на свете въедет в ворота этого замка и увидит нас сидящими как сейчас, — неужели он догадается и поверит, что мы те самые, кто мы есть на самом деле? Кто скажет, что эта сеньора, сидящая со мной рядом — всем нам известная великая королева, и что я — тот Рыцарь Печального Образа, имя которого восхваляется Славой? Да, теперь уже невозможно сомневаться, что искусство и профессия рыцаря превосходят все искусства и все профессии, придуманные людьми, и заслуживают особенного уважения, как сопряженные с наибольшими опасностями. Да скроются с глаз моих люди, утверждающие, что науки выше военного дела, ибо я отвечаю им, кто бы они ни были, что они не знают, что говорят. Ибо довод, который они обычно приводят и на котором особенно настаивают, состоит в том, что духовный труд возвышеннее телесного, а в военном деле участвует одно только тело, как будто оно, подобно ремеслу

поденщиков, ничего другого, кроме силы, не требует; как будто в то, что мы, воины, называем военным искусством, не входят также от-важные деяния, для исполнения которых необходимы большие способности; и как будто ум воина, на чьей ответственности находится армия или защита осажденного города, работает меньше, чем его телс. Если это не так, то скажите мне, помогут ли вам телесные силы, чтобы понять и предугадать намерения неприятеля, его планы, военные хитрости и подвохи, и предотвратить грозящие вам опасности? А ведь все это — дело ума, и тело не принимает в нем никакого участия. Но раз доказано, что военное дело нуждается в духе столько же, как и науки\*, то посмотрим теперь, чей ум—грамотея или военного, трудится больше. Об этом мы можем судить по тому, к какой цели и задаче каждый из них стремится,—ибо то стремление должно почитаться более важным, которое направлено к более благородной цели. Цель и задача наук (я, конечно, не говорю о науках богословских, назначение которых—возносить наши души к небу, ибо с этой беспредельной конечной целью ничто не идет в сравнение; нет, я говорю о науках мирских), итак, цель их—утвердить справедливость в распределении благ; отдать каждому то, что ему принадлежит, и стараться и заботиться, чтобы исполнялись добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал; но все же цель, к которой стремится военное дело, заслуживает похвал еще больших, ибо цель эта—мир, а в нем—высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Вот



к чему первой благой вестью, дошедшей до света и до людей, было благовестие ангелов в ту ночь, которая для нас всех стала днем; они пели над землей: «слава в вышних богу, и на земле мир, и в человецех благоволение». И приветствие, которое лучший учитель земной и небесный учил своих возлюбленных учеников говорить, входя в какой нибудь дом, это—«да будет мир дому сему». И еще не раз говорил он им: «даю вам мир мой, мир мой вам оставляю, да будет мир с вами». Воистину драгоценность это и дар, данный и оставленный его рукой, драгоценность, без которой не может быть блага ни на земле, ни на небе. Этот мир и есть истинная цель войны, а если войны, то значит и воинов. Итак, допустив ту истину, что мир есть цель войны, и что, следовательно, она вышяется над целью науки, перейдем теперь к телесным тяготам ученого и воина и посмотрим, чьи будут тяжелее.

В таком роде и в таких прекрасных выражениях продолжал свою речь дон Кихот, и никто из слушавших его не сказал бы в ту минуту, что он сумасшедший; напротив, большинство его слушателей, кабальеро, которым военное дело было близко, внимали ему с большим удовольствием. А он продолжал:

— Итак, говорю, я что тяготы студента суть следующие: прежде всего бедность (я не хочу сказать, что все они бедны, но я нарочно беру самый крайний случай); а сказав, что они терпят бедность, я, кажется, могу больше не распространяться о их бедствиях, ибо кто беден, тот ничем хорошим не владеет. Терпят они



бедность во всех ее видах: то голод, то холод, то наготу, то все это вместе; и все же, несмотря на бедность, они питаются, хоть и немного позже обыкновенного, хоть и крохами со стола богачей; и среди ученой братии считается это величайшей нуждой и называется «ходить по супу» \*. И все же находится для них у добрых людей какая нибудь жаровня или печь, которая хоть и не совсем согревает их, но все же умеряет стужу; к тому же, по ночам они спят под кровом. Я не стану говорить о других мелочах: всем известно, что рубашек у них мало, обуви тоже не бог весть сколько, что одежда у них бывает не всегда, а если и есть, то сношенная до последней нитки, и что когда счастливая судьба посылает им угощение, они набрасываются на него с великой жадностью. По этой, только что мной описанной дороге, крутой и трудной, в одном месте спотыкаясь, в другом падая, в третьем поднимаясь, чтобы затем снова упасть, — доходят они до желанной ученой степени. А перейдя через все эти зыбучие пески, через все эти Спиллы и Харибды, многие из них на крыльях благосклонной фортуны достигают высоких постов, откуда они руководят и управляют миром; и тогда недоедание их сменяется сытостью, холод — приятной прохладой, нагота — пышным платьем, и возлежат они уже не на рогоже, а на голландском полотне и дамасском шелке: такая награда по справедливости дается их добродетели. Но сопоставьте и сравните их тяготы с тяготами воина-солдата, и окажутся они значительно меньшими, как это я вам сейчас покажу.

## ГЛАВА XXXVIII

*в которой передается любопытная речь дон Кихота  
о военном деле и науках*



он Кихот продолжал:

— Покончив со всякими видами бедности студентов, посмотрим теперь, на много ли богаче их солдаты. Не трудно убедиться, что среди всех бедняков нет никого беднее солдата, ибо он существует либо на ничтожное жалованье, которое или вовсе не выплачивается, или выплачивается с опозданием, либо на то, что нагребит собственными руками с явной опасностью для своей жизни и совести. Вот почему нищета его нередко бывает столь велика, что один изодранный колет служит ему одновременно и парадным платьем и рубашкой; очень часто в зимнюю стужу, в открытом поле, в непогоду, согревается он одним своим дыханием, и я считаю доказанным, что дыхание это, исходя из пустого желудка, вопреки законам природы, должно быть не теплым, а холодным. Но не думайте, что с наступлением

ночи ему удастся отдохнуть от этих невзгод в приготовленной для него постели. Его вина, если эта постель покажется ему узкой, ибо от него зависит отмерить себе на голой земле сколько угодно места и разлечься на своем ложе, не боясь измять простынь. А когда наступит после всего этого день и час получения высокой степени в своей профессии, и придет день битвы—тут наденут ему на голову докторскую шапочку\* из бинтов и коршии, если шальная пуля прострелила ему висок; а не то останется он увечным, безруким или безногим. Если же этого не случится и милосердное небо уберезит и сохранит его живым и здоровым, останется он наверное таким же бедняком, как и раньше, а чтобы возвыситься, ему придется ожидать новых стычек, новых сражений и победоносного их окончания; однако, такие чудеса случаются редко. Скажите мне, сеньоры, думали ли вы когда нибудь о том, что на войне награждаются весьма немногие, а погибает множество? Несомненно вы мне ответите, что тут не может быть и сравнения, что количество погибших неисчислимо, а чтобы пересчитать тех, кто остался в живых и был награжден, достаточно трехзначной цифры. У юристов все это наоборот: гонорарами ли они пробавляются, или приношениями, а только жить им есть на что. Итак, труды солдат тяжелее, а награда меньше. На это, однако, можно возразить, что легче наградить две тысячи юристов, чем тридцать тысяч солдат, ибо первые награждаются должностями, которые естественно могут быть поручены голько людям их профессии,

а вторые могут быть вознаграждены только из средств того сеньора, которому они служат; но это возражение только подкрепляет мою мысль. Однако, оставим это, ибо из этого лабиринта нам будет очень трудно выбраться, и вернемся опять к превосходству военного дела над науками,—вопросу и поныне еще не решенному, так как каждая из сторон приводит свои доводы. Сторонники наук приводят, между прочим, тот довод, что без них военное дело не могло бы существовать, ибо и война имеет свои законы и зависит от них, а эти законы относятся к области науки и грамотеев. А сторонники военного дела на это возражают, что самые законы не могли бы существовать, если бы не было искусства войны, ибо только оно защищает государства, оберегает королевства, охраняет города, следит за безопасностью дорог и очищает моря от корсаров, одним словом, если бы его не было, государства, королевства, монархии, города, пути морские и сухопутные были бы подвержены всем неурядицам и бедствиям, которые влечет за собой война, пока действуют ее право и сила. А ведь давно доказано, что то, что дорого стоит, должно цениться и ценится дороже. Достижение выдающегося места в ряду ученых покупается ценою времени, бдений, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка и многого другого, сюда относящегося и мною отчасти уже перечисленного. Но для того, чтобы в конце концов сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще в такой степени, что и сравнения здесь быть

не может, ибо воин на каждом шагу рискует потерять жизнь. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата, сидящего в осажденной крепости? Он стоит на часах, охраняя какойнибудь бастион или рavelин, и слышит, что враг ведет подкоп под то самое место, где он находится,—но он ни под каким видом не может уйти и бежать от опасности, угрожающей ему так близко. Единственное, что он может сделать, это доложить о происходящем капитану, с тем чтобы предотвратить неприятельскую мину контроминной, а потом—продолжать стоять, боясь и ожидая, что вот вот он взлетит без крыльев под самые облака и низвергнется в пропасть помимо собственной воли. А если эта опасность не кажется вам значительной, так есть и другие, не только равные ей, но и похуже: среди открытого моря две галеры сцепляются на abordаж, напирают и теснят одна другую так, что солдатам приходится стоять на доске сходен шириной в два фута; прямо на них наведены неприятельские пушки, слуги смерти, грозящие гибелью; жерла их—на расстоянии копья; каждый неосторожный шаг может отправить сражающихся в глубокое лоно Нептуна; и, несмотря на все это, побуждаемые чувством чести, они выставляют свою грудь против огнестрельных орудий и устремляются по узкой доске на вражеский корабль. Но вот что особенно достойно удивления: лишь только один упадет туда, откуда не встать ему до скончания века, как другой уже занимает его место;

один упадет в волны, подстерегающие его как врага,—новые и новые заменяют его, и нехватает времени заметить их гибель. Поистине, большого мужества и отваги не найти вам среди всех ужасов войны! Счастливы были те благословенные времена, когда не было еще этой устрашающей ярости дьявольских огнестрельных орудий, и я твердо верю, что тот, кто их выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, ибо благодаря ему рука подлого труса ныне может лишить жизни доблестного кабальеро. Смелость и отвага воспаляют и вдохновляют храброе сердце бойца— и вдруг, неведомо как и неведомо откуда, шальная пуля пресекает и мысли и жизнь того, кто достоин был бы наслаждаться ею долгие века; а стрелявший, может быть, удрал, сам испугавшись вспышки выстрела этой проклятой машины. Поэтому, приняв все это в соображение, я почти рассказываю в душе, что избрал профессию странствующего рыцаря в тот отвратительный век, в который мы сейчас живем, ибо хотя никакая опасность меня не устрашает, все же меня несколько смущает мысль, что порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всему лицу земли мощью моей руки и клинком моего меча. Но да исполнится воля неба, а я, если суждено мне привести в исполнение свои замыслы, стану еще более знаменитым, ибо преодолею опасности большие, чем какие преодолевали странствующие рыцари минувших времен.

Эту длинную речь произнес дон Кихот в то время, как остальные ужинали: он забыл о еде

и не проглотил ни куска, хотя Санчо неоднократно уговаривал его поесть, уверяя, что он и потом успеет сказать все, что ему захочется. А слушавшим его опять стало жалко, что человек, который на вид так разумен и красноречив в своих словах, безнадежно сходит с ума, как только дело коснется его кромешного, беспросветного рыцарства. Священник сказал дон Кихоту, что во всех своих доводах в пользу военного дела он совершенно прав, и что сам он, — хоть и человек он ученый и со степенью, — придерживается того же мнения. Кончился ужин, убрали со стола, и пока хозяйка с дочкой и Мариторнес приводили в порядок каморку дон Кихота Ламанчского, — так как было решено, что на ночь в ней поместятся одни дамы, — дон Фернандо попросил пленника рассказать им историю своей жизни, ибо уже одно его появление в обществе Зорайды позволяло надеяться, что история его окажется необыкновенной и занимательной. На это пленник ответил, что он очень охотно исполнит их просьбу, но только боится, что рассказ его доставит слушателям меньше удовольствия, чем бы ему хотелось; но все же, подчиняясь их желанию, он согласен рассказать. Священник и все остальные поблагодарили пленника и еще раз попросили его об этом, а он, видя, что столько людей его упрашивает, сказал:

— Излишни просьбы, когда приказания достаточно. Так слушайте же, господа: вы услышите правдивую историю, и, сдается мне, ни одна сочиненная повесть, как бы искусно и старательно она ни была придумана, не сравнится с ней.

После этих слов его все уселись, и воцарилась глубокая тишина; а он, видя, что все безмолвствуют и приготовились его слушать, спокойным и приятным голосом так начал свой рассказ.



## ГЛАВА XXXIX

*в которой пленник рассказывает о событиях своей жизни*



родом из одной деревни в горах Леона; природа была ко мне благосклонна и щедрее, чем фортуна, хотя среди общей бедности тамошних селений мой отец считался богатым человеком, да он бы и действительно был таковым, если бы у него не было больше охоты тратить, чем копить имущество. Эта привычка к щедрости и расточительности сохранилась у него со времен его молодости, когда он был солдатом; ибо военная служба есть школа, в которой бережливый становится щедрым, а щедрый — расточительным; а если и бывают среди солдат скупые, то таких чудищ редко можно встретить. Мой отец переходил границы щедрости и скорей приближался к расточительности,—а качество это отнюдь не на пользу человеку женатому, которому придется передать сыновьям свое имя и свое имущество. Нас было три брата и все трое в возрасте,

когда пора подумать о выборе профессии. Отец, видя, что со своим характером он ничего поделывать не может, решил лишиться себя орудий и средств, позволявших ему быть расточительным и тароватым, а именно отказаться от имуществва, без которого сам Александр Великий показался бы скрягой; и вот, однажды, позвал он нас всех троих к себе в комнату и без посторонних свидетелей сказал нам следующее: «Дети мои, мне не к чему говорить, что я вас люблю: достаточно знать и сказать, что вы — мои сыновья; но люблю я вас плохо, ибо я никак не могу себя заставить беречь ваше состояние. Так вот, чтобы впредь вы были уверены, что я люблю вас как отец, а не желаю погубить вас как отчим, хочу я вам предложить один план, который я давно уже обдумал и подготовил со зрелым размышлением. Вы уже в возрасте, когда следует подумать о деле или, по крайней мере, о выборе профессии, которая впоследствии могла бы принести вам честь и пользу. Я надумал разделить наше имение на четыре части; три из них я отдам вам, каждому поровну, как подобает, а четвертую оставляю себе, чтобы прожить и поддержать свое существование все дни, которые небу будет угодно мне послать. Но мне хотелось бы, чтобы каждый из вас, получив причитающуюся ему часть, избрал один из трех путей, на которые я вам укажу. Есть у нас в Испании пословица, на мой взгляд весьма правильная, как впрочем и все пословицы, ибо каждая из них есть краткое изречение, основанное на долгом и мудром опыте; она гласит так: «Или церковь, или море, или королевская

служба», иначе говоря: кто хочет стать дельным человеком и разбогатеть, должен или принять духовное звание, или плавать по морям, занимаясь купеческим делом, или поступить на службу к королю и быть при его дворе; недаром гово-



рится, что «лучше крохи с королевского стола, чем милости сеньора». Говорю я это к тому, что хотел бы я,—и такова моя воля,—чтобы один из вас посвятил себя наукам, другой торговле, а третий послужил королю на военной службе, ибо попасть к его двору очень трудно, а военное дело, хоть и не приносит большого богатства,

зато дает человеку почет и славу. Через неделю каждый из вас получит свою часть денег — и вы на деле убедитесь, что я не обманул вас ни на один грош. Ответьте же мне теперь, готовы ли вы последовать моему мнению и совету, которые я вам изложил». Мне, как старшему, пришлось отвечать первому, и я сначала попросил отца не раздавать имущества, а тратить его сколько ему будет угодно, так как мы молоды и можем зарабатывать сами, а в заключение сказал, что исполню его волю и что мне хочется посвятить себя военному делу и послужить этим богу и моему королю. Второй брат, обратившись сначала к отцу с такой же просьбой, как и я, сказал, что он намерен отправиться в Америку, вложив свою долю наследства в какое нибудь дело. Меньшой, по моему мнению самый разумный, сказал, что избирает духовное звание и собирается поехать в Саламанку, чтобы закончить там уже начатое учение.

После того как мы в полном согласии избрали себе профессии, отец обнял каждого из нас и в короткий срок, им назначенный, исполнил то, что обещал. И получив каждый, как мне помнится, по три тысячи дукатов (ибо отец все имение продал нашему дяде, который, не желая, чтобы оно перешло в чужие руки, немедленно заплатил наличными), мы в тот же день все трое простились с отцом. Но мне показалось бесчеловечным оставлять старика с такими ничтожными средствами, и перед отъездом я настоял, чтобы из моих трех тысяч он две тысячи взял себе, так как оставшихся денег мне вполне должно было хватить на солдатское снаряже-

ние. Побуждаемые моим примером, братья тоже дали отцу каждый по тысяче дукатов, так что у него осталось четыре тысячи деньгами и имущество, стоимостью в три тысячи: он не пожелал его продавать и сохранил за собой эту недвижимость. Итак, мы простились с отцом и с дядей, о котором я уже упоминал; все были растроганы и проливали слезы, а отец заклинал нас всякий раз, как представится случай, присылать ему вести о наших успехах и неудачах. Мы ему пообещали, он нас обнял и дал свое благословение, затем один брат отправился по дороге в Саламанку, другой поехал в Севилью, а я — в Аликанте; там я узнал, что один генуэзский корабль вскоре отправляется в Геную с грузом шерсти.

Вот уже двадцать два года, как я покинул родительский кров, и за все это время, хоть и посылал много писем, ни разу не имел вестей ни об отце, ни о братьях. Расскажу вам вкратце, что за эти годы со мной случилось. Я сел на корабль в Аликанте, благополучно прибыл в Геную, оттуда проехал в Милан, где приобрел себе оружие и военное платье, и собирался поступить в пьемонтскую армию, но по дороге в Александрию де Ла Палья услышал, что знаменитый герцог Альба едет во Фландрию. Я изменил свое решение, присоединился к нему, проделал с ним весь поход, присутствовал при казни графов Эгмонта и Горна\* и выслужил чин знаменосца под командой храброго капитана из Гуадалахары, по имени Диэго де Урбина\*. Через некоторое время после прибытия моего во Фландрию прошел слух о союзе, заключенном его

святейшеством, блаженной памяти папой Пием V, с Венецией и Испанией против общего врага — турок, которые в это самое время с помощью флота завладели славным островом Кипром, находившимся под властью Венеции, — потеря плачевная и прискорбная.

Было достоверно известно, что главнокомандующим союзных войск будет светлейший дон Хуан Австрийский, незаконный брат нашего доброго короля дон Филиппа; говорили о великих военных приготовлениях. Все это воспламенило мой дух и внушило мне мысль и желание принять участие в предстоящем походе. Хотя у меня была надежда и даже прямое обещание, что при первом благоприятном случае я буду произведен в капитаны, я, однако, решил все бросить и ехать в Италию; так я и сделал. Моей счастливой судьбе было угодно устроить так, что в это самое время сеньор дон Хуан Австрийский, прибыв в Геную, отправлялся на корабле в Неаполь, чтобы соединиться с венецианским флотом, что он затем и сделал в Мессине. Итак, скажу вам, что я участвовал в знаменитой великой битве уже произведенный в чин капитана пехоты, которым обязан я был более благосклонной судьбе, чем моим заслугам. И в этот день, столь счастливый для всего христианского мира, когда разрушено было ложное убеждение всего мира и всех народов в непобедимости турок на море, в этот день, повторяю я, когда посрамлена была оттоманская спесь и гордыня, среди всего этого множества счастливых (ибо христиане, погибшие в этом бою, должны почитаться еще счастливее живых, что вышли из

него победителями), я один был обездолен: ибо вместо того, чтобы получить морской победный венок (как случилось бы, будь это во времена древних римлян), я вместо этого в ночь, следовавшую за великим днем, — увидел на руках своих цепи и на ногах кандалы. Случилось это вот каким образом: алжирский король Учали, дерзкий и удачливый корсар, напал на капитанскую галеру Мальтийского ордена и захватил ее; на ней оставалось в живых всего три воина, и то тяжело раненых. Тогда на помощь ей устремилась капитанская галера Хуана Андреа, на которой был я со своим отрядом. Как полагается в подобных случаях, я прыгнул на неприятельскую галеру, но в эту минуту она отделилась от судна, которое ее атаковало, что помешало моим солдатам последовать за мной. Так очутился я один посреди врагов и, изнемогая от ран, должен был уступить их численности: они захватили меня в плен. И так как Учали, как вы, должно быть, слышали, удалось спастись со всей его эскадрой, то он увез меня с собой как пленника, одного печального среди стольких веселых, одного пленного среди стольких свободных: ведь в этот день пятнадцать тысяч христиан, прикованных к веслам на турецких галерах, получили, наконец, желанную свободу.

Меня отвезли в Константинополь, где султан Селим назначил моего хозяина морским генералом за то что в сражении он исполнил свой долг и в доказательство своей доблести привез знамя Мальтийского ордена. Через год, то есть в семьдесят втором году, гребя на капитанском

судне с тремя фонарями\*, я присутствовал при Наваринской битве\*. Я видел своими глазами, как был здесь упущен случай захватить в гавани весь турецкий флот, ибо все левентцы и янычары\*, сидевшие на кораблях, были твердо уверены, что атака произойдет в самом порту, и уже держали наготове свои узелки с вещами и *пасамаки*, — так они называют свои туфли, — чтобы бежать сухим путем, не дожидаясь боя: таков был их страх перед нашим флотом. Но небо судило иначе, не по вине или оплошности командира нашей эскадры, но за грехи христиан, ибо господь желает и позволяет, чтобы не переводились палачи для нашего наказания. И действительно, Учали удалось отплыть к Модону, острову, находящемуся неподалеку от Наварина, где, высадив войска, он укрепил вход в гавань и благополучно отсиделся там, пока сеньор дон Хуан не возвратился на родину. Во время этой кампании нами была захвачена галера по имени *Ла Преса*\* капитаном которой был сын знаменитого корсара *Барбарохи*\*. Захватило ее капитанское судно из Неаполя *Лоба*\*, которым командовал отец солдат, гроза войны, счастливый и непобедимый капитан дон Альваро де Басан, маркиз де Санта Крус\*. Не могу не рассказать о том, что случилось при взятии *Ла Пресы*. Сын *Барбарохи* был жесток и плохо обращался с невольниками, и вот, когда его гребцы увидели, что *Лоба* идет прямо на них и скоро их настигнет, они все сразу бросили весла, схватили капитана, который, стоя на шканцах, кричал, чтобы они сильнее гребли, и, перебрасывая его из рук в руки, от одной скамьи



к другой, начиная с кормы и до самого носа, изгрызли его зубами так, что вскоре после того как его убрали с вышки, душа его оказалась уже в преисподней: такова была, повторяю, жестокость его обращения и ненависть, которую он во всех возбудил.

Мы вернулись в Константинополь, и в следующем, семьдесят третьем году, там стало известно, что сеньор дон Хуан захватил Тунис, отняв его у турок и отдав во власть Мулей Хамета; этим была уничтожена надежда на возвращение на тунисский престол у Мулей Амета, самого жестокого и отважного мавра, жившего когда либо на свете. Султан был очень опечален этой потерей, и с лукавством, свойственным всему его роду, он заключил мир с венецианцами, которые жаждали конца войны еще больше, чем он сам, и в следующем, семьдесят четвертом году, осадил Голету и форт неподалеку от Туниса, наполовину построенный сеньором дон Хуаном. Во время всех этих военных действий я греб на галере, потеряв всякую надежду на освобождение; во всяком случае, на выкуп я не надеялся, так как решил о моем несчастье не писать отду.

Наконец Голета и форт были взяты; в осаде их участвовало семьдесят пять тысяч наемных турецких войск, мавров и арабов со всей Африки более четырехсот тысяч, а в тылу этой многочисленной армии было столько обозов, военного снаряжения и саперов, что если бы каждый из солдат бросил одну пригоршню земли, они могли бы голыми руками засыпать землей и Голету и форт. Сначала сдалась Голета, дотоле слывшая

непрístupной, и сдалась не по вине защитников, ибо последние для обороны ее сделали все, что могли и должны были сделать, а потому, что опыт показал, что в песке этой пустыни было весьма легко рыть траншеи: обычно на глубине двух футов уже попадает вода, а турки копали на две вары\* вглубь и воды не встречали. Поэтому они из множества мешков с песком соорудили такой высокий вал, что могли господствовать над стенами крепости, и осажденные не могли ни защищаться, ни мешать врагам стрелять в них с высоты.

По общему мнению, нашим не следовало запереться в крепости, а напротив, ждать в открытом поле высадки неприятеля; но говорившие так судили издали и не обладали достаточным опытом в подобных делах, ибо в Голете и форту едва насчитывалось семь тысяч солдат,—как же мог такой немногочисленный отряд, как бы отважен он ни был, выйти в поле и защищать крепость против столь превосходных сил неприятеля? Да и может ли удержаться крепость без помощи извне, когда осаждают ее многочисленное и ожесточенное войско, действующее на собственной территории? А мне, как и многим другим, казалось, что уничтожение таких очагов и скопищ всякого зла, высасывавших как губка и съедавших как моль бесконечные средства, бесцельно на них расходуемые, было особым благоволением и милостью неба к Испании; ибо ровно никакой пользы нам от них не было, не считая поддержания памяти о завоевании их непобедимейшим королем Карлом V. Но разве и без этих камней память о нем не есть и не

будет вечной? Затем сдался и форт; но тургам пришлось завоевывать его пядь за пядью, ибо защитники его бились так мужественно и жестоко, что в течение двадцати двух штурмов неприятель потерял более двадцати пяти тысяч человек убитыми. Из трехсот человек, оставшихся в живых, ни один не был взят в плен не раненым, — достоверное и явное доказательство их мужества и отваги: все они храбро защищались и оставались до конца на своих местах. Наконец пал и маленький форт, или вернее башня, которая стояла посреди озера и находилась под командой дон Хуана Саногеры, валенсианского кабальеро и славного воина. Дон Педро Пуэртокарреро, комендант Голеты, был взят в плен; он сделал все, что было в его силах, для защиты крепости и был так опечален ее сдачей, что умер с горя по дороге в Константинополь, куда везли его пленником. Также попал в плен и комендант форта, по имени Габрио Сервеллон, миланский дворянин, искусный инженер и блестящий воин. В этих двух крепостях погибло много выдающихся людей, между прочим некий Паган Дория, кавалер ордена святого Иоанна, человек благородной души, доказавший это своим великодушным отношением к брату, знаменитому Джованни Андреа Дория. Смерть его была тем более прискорбной, что пал он от руки арабов, которым доверился, убедившись, что всякая надежда на спасение форта потеряна: они предложили отвезти его переодетым в мавританское платье в Табарку, маленькую гавань, или вернее поселение на морском берегу, которое принадлежит генуэзцам, промышленным

там ловлей кораллов, и затем отрубили ему голову и отнесли ее командиру турецкой эскадры; а он поступил с ними по нашей кастильской пословице: «предательство нам на руку, но предатель — ненавистен». Говорят, что командир в награду за поднесенный ему подарок велел их повесить, за то, что они не доставили врага живым.

Среди христиан, взятых в плен в форту, был некто по имени дон Педро де Агилар, родом не помню из какой местности в Андалузии, который в форту был знаменосцем, считался превосходным солдатом и человеком редкого ума; он имел особое дарование в искусстве, именуемом поэзией. Я рассказываю об этом потому, что судьба соединила нас на одной галере и на одной скамье, ибо он также стал невольником моего хозяина. Прежде чем мы покинули этот порт, он сочинил два сонета в роде эпитафий, один посвященный Голете, другой — форту. Право, мне хочется прочесть их вам, так как я помню их наизусть и думаю, что они доставят вам скорей удовольствие, чем неприятность.

Когда пленник назвал имя дон Педро де Агилара, дон Фернандо посмотрел на своих спутников, они все трое обменялись между собой улыбками, и в тот момент, когда рассказчик собирался прочесть сонеты, один из кабальеро сказал ему:

— Прежде чем ваша милость будет продолжать, умоляю вас сказать мне, что случилось с этим дон Педро де Агиларом, о котором вы упомянули.

— Вот что я о нем знаю, — ответил пленник: — пробыв два года в Константинополе, он

бежал, переодетый арнаутом, с одним шпионом греком, но мне неизвестно, попал он на свободу или нет, хотя думается мне, что да. Год спустя я встретил этого грека в Константинополе, но мне не удалось расспросить его, чем кончился их побег.

— Он на свободе, — ответил кабальеро. — Ибо этот дон Педро — мой родной брат, и сейчас он живет у себя на родине, в богатстве и добром здоровье; он женат и у него трое детей.

— Да будет благословен господь за ниспосылаемые им великие милости, — воскликнул пленник, — ибо, думается мне, нет на свете большего счастья, чем, потеряв свободу, обрести ее вновь!

— Более того, — продолжал кабальеро, — я тоже знаю сонеты, сочиненные моим братом.

— Так скажите их, ваша милость, — попросил пленник, — вы наверное прочтете их лучше меня.

— С удовольствием, — ответил кабальеро. — Вот сонет, посвященный Голете.

## ГЛАВА XL

*в которой продолжается история пленника*

### СОНЕТ

Святые души, что, от плоти бренной  
Отрешены за праведное дело,  
Возвысились от дольного предела  
К высокой тверди, чистой и блаженной;

Вы, что, пылая ревностью священной,  
Так гневно состязались мощью тела,  
Что ваша кровь и кровь врагов одеда  
Песчаный брег и округ моря пенный;

Жизнь, а не доблесть первой изменила  
Руке бойцов, которая стяжала  
И в поражении победный жребий,

И эта ваша скорбная могила  
Меж башен и железа вас венчала  
Земною славой и бессмертьем в небе.

— Да, это так, слово в слово,—сказал пленник.

— А сонет, посвященный форту, помнится, гласит так:

*СОNET*

От этого разгромленного края,  
От башен, рухнувших в огне и в дыме,  
Три тысячи отважных душ, живыми,  
Взнеслись в блаженную обитель рая  
Вослед за тем, как, тщетно напрягая  
Мощь смелых рук, последние меж ними,  
Изнурены трудами боевыми,  
Угасли, жизнь железу отдавая.

Сия земля извела немало,  
И в наше время. и во время оно,  
Воспоминаний, скорбью окруженных;

Но праведней ее скупое лоно  
Вовеки к небу душ не воссылало  
И не носило тел, столь непреклонных.

Оба сонета всем понравились, а пленник, порадовавшись вести о своем товарище, продолжал свой рассказ:

— Завладев Голетой и фортом, турки отдали приказ Голету снести; форт же находился в таком состоянии, что и разрушать было нечего. И вот, чтобы облегчить и ускорить эту работу, они с трех сторон подвели под Голету мины, но им не удалось разрушить того, что казалось наименее крепким — старых стен; а все, что уцелело от новых укреплений, построенных Фратино\*, разлетелось немедленно. Наконец, эскадра возвратилась в Константинополь с три-

умфом и победой, а через несколько месяцев после этого умер мой хозяин Учали, по прозвищу Учали Фартакс, что по турецки означает *Шелудивый ренегат*, каким он был в действительности,—ибо у турок есть обычай называть человека или по какому нибудь его недостатку или по особому качеству; это потому, что у них существует только четыре фамилии, происходящие от оттоманского дома, а все остальные, как я уже сказал, именуются или по телесным недостаткам или по душевным качествам. Этот *Шелудивый*, будучи рабом великого султана, греб на галере целых четырнадцать лет и когда ему было уже года тридцать четыре, отрекся от своей веры из ненависти к одному турку, который на галере дал ему пощечину, и желая отомстить ему. И так велики были его достоинства, что ему не пришлось даже проходить позорными путями и дорожками, по которым обычно поднимаются фавориты султана, и он вскоре был назначен королем Алжира, а затем Морским Генералом, — третья должность по важности в турецком государстве. Родом он был из Калабрии, имел добрую душу и с большой человечностью относился к своим рабам; а было их у него три тысячи, и после его смерти, согласно оставленному им завещанию, они были распределены между великим султаном (который считается наследником каждого своего подданного и получает свою долю наравне с сыновьями покойного) и его ренегатами. Я достался одному ренегату-венецианцу, который раньше служил юнгой на корабле; захваченный в плен Учали, он так расположил его к себе,



что вскоре сделался одним из его любимцев, а потом превратился в регената такого свирепого, какого еще свет не видывал. Звали его Асан Ага; он очень разбогател и был назначен королем Алжира. С ним я и отправился туда из Константинополя, радуясь, что буду жить ближе к Испании,—не потому, чтобы я собирался написать кому нибудь о своем бедствии,—нет, но я надеялся, что в Алжире судьба будет ко мне благосклоннее. В Константинополе я тысячью способов пытался бежать, но ни разу мне не посчастливилось найти удобный случай; в Алжире же я рассчитывал найти другие способы и добиться того, о чем я так мечтал,—ибо надежда на свободу никогда меня не покидала, и когда в том, что я замышлял, готовялся и проводил в исполнение, успех не соответствовал намерению, я не падал духом и тотчас же придумывал и находил новую надежду, хотя бы слабую и жалкую, которая меня поддерживала. Вот какими мыслями питал я душу, сидя в тюрьме или, как ее пазывают турки, баньо\*, где помещались пленники-христиане, как рабы короля и некоторых частных лиц, так и рабы альмасына\*, другими словами рабы городского совета, посылаемые на постройки и другие городские работы. Этим последним особенно трудно выйти на свободу, так как они принадлежат не отдельному лицу, а общине и поэтому, если бы они даже достали выкуп, им некому его предложить. В этих тюрьмах, как я уже сказал, некоторые частные лица города тоже держат своих рабов, в особенности если ждут за них выкуп, так как невольники живут там в хоро-

ших условиях и под надежным присмотром, пока не придет за них выкуп. Также и невольники короля, за которых ожидается выкуп, посылаются на работу с остальной партией только в том случае, если выкуп запаздывает, ибо тогда, чтобы заставить их хлопотать о нем более настойчиво, их гоняют на работы и на рубку леса,— а это труд не легкий.

Я тоже попал в число ожидающих выкупа, так как, хотя я и заявил, что средства мои ничтожны и на родине у меня нет никакого имущества, мавры, узнав, что я капитан, мне не поверили и включили в партию дворян и выкупных невольников. Цепи, в которые меня заковали, были знаком не столько рабства, сколько ожидаемого выкупа; и так проводили мы дни в этом баньо, в обществе дворян и многих знатных людей, отмеченных и предназначенных для выкупа. Часто, или лучше сказать постоянно, страдали мы от голода и лишений, но ничто так не мучило нас, как невиданные и неслыханные жестокости нашего господина по отношению к христианам: их мы видели и о них слышали на каждом шагу. Каждый день одного он вешал, другого сажал на кол, третьему рубил уши, и все по ничтожному поводу или совсем без повода, так что сами турки понимали, что поступает он так для собственного удовольствия, ибо природа сотворила его извергом рода человеческого. Только с одним испанским солдатом, по имени Сааведра\*, обращался он хорошо; хотя последний, чтобы вырваться на свободу, пускался на такие предприятия, о каких турки не скоро забудут,—тем не менее

Асан Ага ни разу его не ударил, ни разу не приказал его избить и никогда не сказал ему дурного слова, меж тем как мы все со страхом думали, что за самую малую из своих проделок он будет посажен на кол, да и сам он не раз этого опасался. Если бы время мне позволило, я рассказал бы вам о кое каких подвигах этого воина, и я уверен, что они заинтересовали и удивили бы вас куда больше, чем моя история.

Но возвращаюсь к моему рассказу. На двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого и знатного мавра: по тамошнему обычаю, они напоминали скорее щели, чем окна и к тому же они были еще закрыты частыми и плотными камышевыми занавесками. Случилось раз, что стоял я с тремя товарищами на крыше нашей тюрьмы, и от нечего делать мы пробовали прыгать с цепями на ногах; кроме нас там никого не было, так как все остальные ушли на работу. Внезапно поднял я глаза и увидел, что из одного из этих закрытых окошек свешивается тростинка, а на конце ее привязан платок; тростинка двигалась и раскачивалась, как будто подавая знак, чтоб ее схватили. Поглядели мы на нее, и наконец один из нас отправился под окно посмотреть, бросят ли ему эту тростинку, или что вообще с ней сделают. Но не успел он подойти, как рука, державшая тростинку, подняла ее вверх и помахала ею вправо и влево, как будто качнула головой, желая сказать: *нет*. Он отошел, и тростинка снова опустилась и стала раскачиваться как и прежде. Отправился второй из моих товарищей, но и с ним случилось то же, что с первым.

Наконец пошел третий—и с ним повторилось то же, что с первыми двумя. Увидев это, я тоже решил попытать счастье, и как только я стал под окном, тростинка упала на двор тюрьмы прямо к моим ногам. Я поспешил отвязать платок: на нем был узелок, а в узелке я нашел десять *силий* — золотых монет низкой пробы, имеющих хождение у мавров: каждая из них на наши деньги стоит десять реалов. Излишне рассказывать, как я обрадовался находке; я с радостью и удивлением размышлял, откуда мог свалиться на нас такой подарок, к тому же предназначенный мне, так как то, что тростинка была брошена не другим, а только мне, ясно доказывало, что имели в виду никого иного, как меня. Я спрятал свои денежки, сломал тростинку, вернулся на вышку, посмотрел на окошко и увидел, что в нем появилась белоснежная ручка, которая быстро приоткрыла занавеску и снова ее закрыла. Тогда мы поняли и сообразили, что это благодеея оказала нам женщина, живущая в этом доме, и, чтобы выразить нашу благодарность, мы сделали ей *сале́м* по мавританскому обычаю, то есть наклонили голову, согнулись пополам и приложили руки к груди. Через некоторое время из окна спустили маленький крестик из тростника и тотчас же подняли обратно. Этот знак внушил нам мысль, что в этом доме живет пленница-христианка и что это она нам помогает; но вскоре мы отбросили это предположение, заметив, что рука слишком бела и на ней много браслетов. Поэтому мы решили, что эта женщина хоть и христианка, но из ренегаток, кото-

рых мавры, их хозяева, часто берут в законные жены, да еще почитают это за счастье, так как они ценят их гораздо больше, чем жен из своего народа.

Во всех наших рассуждениях мы были очень далеки от истины. С этого дня мы только и делали, что смотрели на окошко, как кормчий смотрит накомпас, и все ждали, не появится ли наша путеводная звезда-тростинка; но прошло две недели, в течение которых мы не видели ни тростинки, ни руки, ни какого либо другого знака. И хотя мы с большим усердием старались разузнать, кто живет в этом доме, и нет ли там христианки-рenegатки, никто ничего не мог нам сообщить. Известно было только, что живет там один мавр, очень богатый и важный, по имени Аджи-Морато; бывший раньше губернатором Ла Паты\*, — должность, которая считается у них одной из самых почетных. И вот, когда мы меньше всего надеялись, что на нас прольется новый дождь *силли*, вдруг снова появилась тростинка с платком, на котором был завязан узел потолще, чем в первый раз; и случилось это опять в такой час, когда в тюрьме никого кроме нас, не было. Мы проделали тот же опыт, что и раньше: сначала подошли по очереди три моих товарища, но тростинка снова ускользнула от них и упала только тогда, когда подошел я. Я развязал узелок и нашел в нем сорок испанских золотых и письмо, написанное по арабски; в конце его был начертан большой крест. Я поцеловал крест, спрятал золотые, вернулся на крышу, мы проделали наши *салеми*,

снова мелькнула ручка, я показал знаками, что письмо у меня, и окошко закрылось. Мы были поражены и обрадованы этим происшествием. Никто из нас не понимал по арабски, и нам всем страстно хотелось узнать, что заключается в письме, но найти когонибудь, кто бы нам его прочел, было очень трудно. Наконец, я решил довериться одному ренегату родом из Мурсии, который заверял меня в своей дружбе и был связан со мною такими обязательствами, что не мог, как мне казалось, не соблюсти порученной ему тайны: дело в том, что многие ренегаты, собираясь вернуться в христианские страны, запасаются записками от наиболее видных пленников, в которых те, поскольку могут, удостоверяют, что такой то ренегаг—человек честный, что он всегда хорошо относился к христианам и что при первом же удобном случае намеревается бежать. Некоторые достают эти свидетельства с добрыми намерениями, другие же запасаются ими из хитрости и на всякий случай: бывает, что грабя христианские страны, они сбиваются с дороги и попадают в плен,— и вот тогда, предъявив эти бумаги, они и говорят, что по этим документам видно, с какой целью они прибыли,—что они намерены остаться у христиан и только потому приняли участие в турецком набеге. Таким способом они предохраняют себя от опасностей первой встречи, благополучно примиряются с церковью, а затем, при благоприятном случае, возвращаются обратно в Берберию и продолжают заниматься тем же, чем занимались раньше. Есть и такие, которые достают эти бумаги и пользуются ими с по-

хвальной целью и остаются в христианских странах. Одним из последних и был мой друг, и у него имелись записки от всех наших товарищей, с самыми лучшими рекомендациями, если бы мавры нашли на нем эти бумаги, они сожгли бы его живьем. Я знал, что он отлично владеет арабским языком и не только говорит, но и пишет на нем. Но все же, прежде чем открыться ему во всем, я просто попросил его прочесть мне письмо, которое я будто бы нашел в углу своей каморки. Он развернул его и довольно долго разглядывал и разбирал, бормоча сквозь зубы. Я спросил, понимает ли он, что написано; он ответил, что прекрасно понимает и что, если мне угодно, переведет мне его слово в слово: я должен только принести ему перо и чернила,—тогда де он переведет лучше. Мы немедленно дали ему то и другое, он стал переводить и, кончив, сказал:

— Вот по испански буквальный перевод того, что в письме написано по арабски; при этом имейте в виду, что *«Лела Мариен»* означает всюду: *«госпожа наша дева Мария»*.

Мы прочли письмо, в котором заключалось следующее:

«Когда я была ребенком, у моего отца была невольница, которая на нашем языке научила меня христианской вере\* и много рассказывала мне о Леле Мариен. Христианка эта умерла, и я знаю, что пошла она не в огонь, а к Аллаху, ибо после видела я ее два раза, и она велела мне отправиться в землю христиан, чтобы повидать Лелу Мариен, которая очень меня любит. Не знаю, как туда попасть.

Многих христиан видела я из моего окна, но ты один показался мне достойным дворянином. Я—девушка, очень красива и могу захватить с собою много денег; подумай, не можешь ли ты устроить так, чтобы отправиться со мной, и там, если захочешь, ты станешь моим мужем, а если не захочешь, то и это не беда: Лела Мариен найдет мне другого жениха. Я это написала, а ты дай прочесть только надежному человеку и не доверяй маврам, так как все они лукавы. Это меня очень тревожит, и я бы хотела, чтобы ты никому не открывался, потому что, если мой отец об этом узнает, он бросит меня в колодез и закидает камнями. Я прикреплю к тростинке нитку; привяжи к ней ответ, а если у тебя нет никого, кто бы мог написать по арабски, то объясни мне знаками,—Лела Мариен поможет мне тебя понять. Да хранит тебя она и Аллах и этот крест, который я целую много раз, как мне велела это делать невольница.»

Судите сами, сеньоры, как должно было нас удивить и обрадовать содержание этого письма. Нам трудно было скрыть нашу радость, и ренегат догадался, что письмо было не случайно найдено, а действительно написано одному из нас. Поэтому он нас попросил, если только догадка его справедлива, довериться ему вполне и рассказать все, так как он для нашего освобождения готов рискнуть своей жизнью. Говоря это, он достал с груди металлический крест и со слезами поклялся тем, кто был на нем изображен и в кого он, хоть и злодей и грешник, крепко и искренне верил,—что он не предаст нас и сохранит тайну, которую нам будет угодно



ему открыть; ибо он предполагал и почти был уверен, что с помощью той, которая написала письмо, мы все получим свободу, а он достигнет наконец своей заветной цели — вернуться в лоно матери святой церкви, от которой по неведению и греховности он оторвал себя и отсек, как отсекают гниющий член. Говорил он это обливаясь слезами и с видом такого искреннего раскаяния, что мы все единодушно согласились открыть ему всю правду и сообщить все без малейшей утайки. Мы указали ему на окошечко, откуда спускалась тростинка, и он заметил этот дом и обещал приложить старания, чтобы узнать, кто в нем живет. Затем мы решили, что следует ответить на письмо мавританки, и так как теперь среди нас был человек, знающий по арабски, то ответ был составлен немедленно; содержание того, что я продиктовал ренегату, помню я слово в слово, ибо ни одна из существенных подробностей этого происшествия не изгладилась у меня в памяти, да вероятно и не изгладится до самой моей смерти. Итак, вот что я ответил мавританке:

«Истинный Аллах да хранит тебя, моя сеньора, а ним благословенная Мариен, истинная мать господня, которая, любя тебя, вложила тебе в сердце желание поехать в землю христианскую. Моли ее, да вразумит она тебя и откроет путь к исполнению этого намерения; ибо велика ее благодать, и она услышит тебя. От своего имени и от имени всех находящихся вместе со мной христиан обещаю тебе сделать для тебя все, что будет в наших силах, хоть бы, пришлось умереть за тебя. Напиши мне и сообщи

что ты намерена предпринять, и я тотчас же тебе отвечу; ибо великий Аллах послал нам пленника христианина, который умеет говорить и писать на твоём языке, как ты можешь убедиться по этому письму. Итак, без всяких опасений ты можешь сообщать нам все, что тебе будет угодно. Что же до твоих слов, что, прибыв в христианскую землю, ты хотела бы стать моей женой, то я обещаю тебе это как добрый христианин, и знай, что христиане держат свои обещания лучше, чем мавры. Да хранит тебя Аллах и Мариен, мать его.»

После того, как это письмо было написано и запечатано, я подождал два дня, пока баньо опять опустеет, и когда это случилось, стал на обычном месте на крыше, выжидая появления тростинки, которая не замедлила показаться. Хоть я и не мог различить, кто стоял за занавеской, но, увидев тростинку, я показал письмо, давая этим понять, что прошу спустить нитку. Нитка уже была прикреплена к тростинке, и я привязал к ней письмо; через некоторое время звезда наша—тростинка показалась снова и на конце ее был платок, как белое знамя мира. Она упала, я ее поднял и нашел в платке более пятидесяти эскудо \* в разной серебряной и золотой монете; они в пятьдесят раз усилили нашу радость и укрепили надежду на освобождение. Той же ночью вернулся наш ренегат и сказал нам, что по его сведениям в доме этом действительно живет тот самый мавр, о котором нам говорили, по имени Аджи Морато, что он необыкновенно богат и что у него единственная дочь, наследница всего его имущества; все

в городе в один голос уверяют, что она самая красивая девушка во всей Берберии; многие вице-короли приезжали просить ее руки, но она упорно не соглашалась выходить замуж. Ренегат узнал также, что была у нее невольница христианка, которая умерла несколько лет тому



назад. Все эти сведения вполне соответствовали тому, что нам было известно из письма.

Мы стали совещаться с ренегатом, каким бы способом нам похитить мавританку и бежать с ней в христианские земли, и, наконец, порешили мы подождать второй весточки от Зорайды: так звали ту, которая ныне жемлет называться

Марией. Ибо нам было ясно, что только она одна, а не кто либо другой, может помочь нам найти выход из наших затруднений. На этом мы и остановились, и ренегат стал убеждать нас не беспокоиться, говоря, что он готов погибнуть, лишь бы добыть нам свободу. В течение четырех дней баньо был полон народу, и по этой причине четыре дня тростинка не появлялась. Наконец, когда баньо опять опустел, она снова показалась; но на этот раз узел на ней был таким пузатым, что, казалось, предвещал весьма приятное разрешение от бремени. Тростинка с узелком опустилась передо мной; я нашел, кроме письма, сто эскудо в одной золотой монете. Ренегат был тут же; мы отвели его в наше поместье и дали прочесть письмо, которое он перевел так:

«Я не знаю, сеньор мой, как нам сделать, чтобы уехать в Испанию, и Лела Мариен тоже ничего мне не сказала, хоть я ее и спрашивала. Но вот что можно устроить: я передам вам через окно очень много золотых монет, а вы выкупите себя и ваших друзей, и пусть один из вас отправится в христианскую землю, купит там фелюгу и вернется в ней за остальными \*. А меня вы найдете в загородном доме моего отца, что у Бабазонских ворот, неподалеку от морского берега: там я буду проводить лето с отцом и слугами. Оттуда ночью вы легко сможете меня похитить и отвести к лодке. И не забудь, что ты должен на мне жениться, а если ты этого не сделаешь, я попрошу Мариен тебя наказать. Если ты никому не можешь доверить покушку фелюги, так выкупи себя и отправляйся сам: я знаю,

что ты вернешься вернее, чем кто либо другой, ибо ты дворянин и христианин. Постарайся узнать, где находится наш сад. Когда ты станешь прогуливаться по двору, я пойму, что, значит, в баню никого нет, и передам тебе много денег. Да хранит тебя Аллах, о господин мой.»

Вот что содержало и гласило это второе письмо. Как только мои товарищи ознакомились с ним, каждый наперебой стал просить, чтобы его выкупили, обещая уехать и точно вернуться к сроку; то же предложил и я. Но ренегат воспротивился этому, говоря, что он ни в коем случае не позволит, чтобы один попал на свободу раньше, чем все другие: он де по опыту знает, что освободившиеся плохо исполняют обещания, данные ими в плену; уже не раз многие знатные пленники прибегали к этому способу, выкупая одного из своих и отправляя его с деньгами в Валенсию или на Майорку, чтобы он снарядил там фелюгу и вернулся на ней за оставшимися, — и уехавшие никогда не возвращались, ибо радость обретения свободы и боязнь снова утратить ее заставляли их забывать обо всех обязательствах на свете. И в подтверждение своих слов он вкратце рассказал нам случай, совсем недавно происшедший с некими кабальеро христианами; и хотя в этой стране на каждом шагу случаются происшествия ужасные и удивительные, но даже и здесь это событие показалось необыкновенным\*. В заключение он заявил, что можно и должно сделать следующее: деньги, предназначенные для выкупа одного из нас, отдать ему на приобретение тут же, в Алжире,

фелюги, как будто для торговли с Тетуаном и всем побережьем; будучи хозяином этого судна, он без труда может вывести всех нас из тюрьмы и посадить на фелюгу. А тем более, если мавританка, согласно своему обещанию, даст денег, чтобы выкупить всех; выйдя на свободу, мы можем сесть на судно, хотя бы средь бела дня. Гораздо большее затруднение состоит в том, что мавры не разрешают ренегатам ни покупать, ни иметь никаких суден, кроме больших кораблей, ибо они опасаются, что тот, кто приобретает фелюгу, особенно, если он испанец, замышляет бежать на ней в христианские страны. Но ренегат надеялся устранить и это препятствие, купив фелюгу пополам с одним мавром-тагаринном\* и предоставив ему долю в торговых барышах: под этим прикрытием он станет ее хозяином, а уж тогда все остальное устроится само собой.

Мне и моим товарищам казалось более разумным отправить за фелюгой когонибудь на Майорку, как нам это советовала мавританка, но мы не посмели перечить ренегату, боясь, что, если мы не исполним его желание, он донесет на нас и откроет наше соглашение с Зорайдой; тогда и мы погибнем, и погубим ту, за которую готовы умереть. Итак, мы решили предаться в руки господу бога и ренегата. Тотчас же мы сообщили Зорайде, что исполним все ее советы, ибо они так разумны, что, кажется, сама Лела Мариен внушила их, и что от нее самой зависит отложить это дело или приступить к нему немедленно; в заключение я снова предложил ей стать моей женой. И вот, на следующую

ший день, когда случайно банью опять был пуст, она в несколько приемов с помощью тростинки и платка передала нам две тысячи золотых эскудо, а с ними письмо, в котором говорилось, что в ближайшую *джуму*, то есть пятницу, она переезжает в загородный дом своего отца и что до отъезда передаст нам еще денег, а что если этой суммы не хватит, нам стоит только дать ей знать, и она достанет нам сколько мы попросим, так как у отца ее так много денег, что он и не заметит пропажи, тем более что все ключи в ее руках.

Мы сейчас же дали пятьсот эскудо ренегату на покупку фелюги; восемьсот я вручил одному валенсианскому купцу, который в ту пору находился в Алжире, и на честное слово он выкупил меня у короля, пообещав внести деньги как только прибудет корабль из Валенсии: сразу заплатить он не решился, так как король мог заподозреть, что выкуп за меня хранится у него давно и что он молчал об этом, желая на нем нажитья. Одним словом, мой господин был так подозрителен, что я никоим образом не мог пойти на то, чтобы заплатить ему немедленно. В пятницу Зорайда должна была отправиться в загородный дом, а в четверг она передала нам еще тысячу эскудо и известила нас о своем отъезде, прося меня ознакомиться с местоположением этого дома, как только я внесу за себя выкуп, и изыскать способ повидаться с ней там. Я ответил ей в немногих словах, что исполню ее желание и прошу ее обратиться к Леле Мариен со всеми теми молитвами, каким научила ее невольница. После

этого я устроил выкуп всех трех наших товарищей, сделав это для того, чтобы облегчить наш выход из бань, а также чтобы они не волновались понапрасну: ибо, увидев, что я себя выкупил, а их нет, хотя денег для этого было достаточно,—они могли подпасть соблазну дьявола и чем нибудь повредить Зорайде. Правда, я знал их слишком хорошо, чтобы этого бояться, но все же мне не хотелось рисковать нашим делом. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя: вручил деньги купцу, который с полной уверенностью и безопасностью за них поручился. Однако, нашего тайного плана мы ему не открыли, ибо считали это опасным.



## ГЛАВА ХLI

*в которой пленник продолжает свой рассказ*



е прошло и двух недель, как у нашего ренегата уже была превосходная фелюга, в которой помещалось более тридцати человек. Чтобы придать всему этому вполне естественный вид, он решил предпринять путешествие в Сарджел, — порт в двадцати милях от Алжира в сторону Орана, где происходит крупная торговля сушеными фигами. Он совершил эту поездку два или три раза в сопровождении мавритагарина, о котором я уже упоминал. *Тагаринами* в Берберии называют мавров арагонских, а гранадских называют *мудехарами*; в Фесском же королевстве *мудехаров* зовут *эльчами*, и король этой страны из них набирает свои войска. Всякий раз по дороге в Сарджел, ренегат бросал якорь в небольшой бухте, отстоявшей на расстоянии двух выстрелов из арбалета от дома, в котором ждала нас Зорайда. И там со своими гребцами-маврами он как будто невзначай творил свою *залу*, или же в шутку проделывал то, что

впоследствии намеревался сделать в действительности: а именно, отправляясь в сад Зорайды и просил фруктов, и отец ее, хоть его и не знал, все же ему не отказывал. Впоследствии он мне сообщил, что пытался повидать Зорайду и сказать ей, что я поручил ему отвезти ее в христианские земли и что ей нечего беспокоиться; но ему ни разу не удалось с нею встретиться, потому что мавританки не показываются ни туркам, ни маврам, разве только по приказанию отца или мужа (с христианскими же пленниками они встречаются и беседуют даже больше, чем следовало бы). А мне было бы неприятно, если бы ему удалось с ней поговорить, так как она могла бы встревожиться, видя, что ее дело доверено ренегату. Но господь, решивший иначе, не допустил, чтобы доброе желание ренегата было удовлетворено. Последний, убедившись, что он с полной безопасностью может ездить в Сарджел и обратно, бросая якорь где и как ему заблагорассудится, что его товарищ, мавр-тагарин, всецело подчиняется его желаниям, что я уже выкуплен и что остается только отыскать нескольких христиан-гребцов, — попросил меня выбрать из числа пленных тех, кого я хотел бы взять с собой, кроме трех уже выкупленных товарищей, и уговориться с ними, чтобы они были готовы к ближайшей пятнице, — ибо на этот день был назначен наш отъезд. Тогда я столкнулся с двенадцатью испанцами, отличнейшими гребцами, которые все могли свободно покинуть город. Найти такое количество людей было большой удачей, потому что уже двадцать кораблей отправились в плаванье, забрав всех

свободных гребцов; я бы и этих не нашел, если бы их хозяин не остался на лето на берегу, желая закончить постройку галеры, находившейся на верфи. Я им в кратких словах приказал в ближайшую пятницу тайком и по одиночке выйти из города, отправиться к дому Аджи Морато и ждать там моего прихода. Это приказание я дал каждому в отдельности и прибавил, что если они встретят там других христиан, то пусть скажут им только, что я велел им дожидаться в этом месте.

Покончив с этим делом, я приступил к другому, которое было мне более по сердцу: нужно было сообщить Зорайде, в каком положении находится наше дело, для того чтобы она была предупреждена и осведомлена и не испугалась нашего внезапного нападения: ибо она не могла предположить, что фелюга так скоро прибудет из христианских стран. Итак, я решил пройти к ней в сад и попытаться ее повидать; и вот, накануне моего отъезда, я отправился туда, как будто для того, чтобы собрать травы. Первый человек, с которым я там столкнулся, был отец Зорайды; он заговорил со мной на языке, на котором во всей Берберии и даже в Константинополе объясняются между собой мавры и пленные: язык этот—ни мавританский, ни касгийский, ни вообще наречие какой нибудь страны, а просто смесь всех языков, но мы на нем отлично друг друга понимаем. Так вот, на этом то языке он и спросил меня, кто я такой и чего ищу в его саду. Я ответил, что я невольник арнаута Мамй\* (сказал я это погому, что по моим достоверным сведениям арнаут Мама был

его близким другом), и прибавил, что ищу разных трав, чтобы приготовить салат. Тогда он меня спросил, можно ли меня выкупить или нет, и сколько требует за меня мой хозяин. Пока он меня спрашивал, а я ему отвечал, из дома вышла в сад прекрасная Зорайда, уже давно меня заметившая. И так как мавританки, как я уже сказал, нисколько не боятся показываться христианам и не сторонятся их, то она не постеснялась подойти к отцу, который со мной разговаривал; более того, как только Аджи Морато увидел, что она медленно направляется к нам, он позвал ее и велел подойти поскорее.

Невозможно было бы описать вам необыкновенную красоту и грацию моей возлюбленной Зорайды, пышность и изящество ее наряда; скажу только, что в ее косах не было столько волос, сколько было жемчуга на ее прекрасной груди, в ушах и на голове. На щиколотках ее ног, обнаженных по тамошнему обычаю, были надеты две *каркаджи* (так называются по мавритански кольца или браслеты, которые носят на ногах) из чистейшего золота, усыпанные таким множеством алмазов, что отец ее, как впоследствии она мне говорила, оценивал их в десять тысяч дублонов\*; да и запястья на ее руках стоили не меньше. На ней было много великолепного жемчуга,—ибо у мавританских женщин драгоценный жемчуг, крупный и мелкий, считается самым пышным украшением. Поэтому у мавров жемчуга больше, чем у всех остальных народов; а про отца Зорайды ходила молва, что он обладает не только большим количеством самого лучшего во всем Алжире жемчуга, но и

капиталом в двести тысяч испанских эскудо, и госпожей всего этого богатства была та, что ныне стала моей супругой. Если после всех перенесенных бедствий она осталась такой, какой вы ее видите, посудите, сеньоры, какой должна была она быть в роскошном наряде и во времена благополучия. Ведь известно, что у многих женщин красота меняется в зависимости от времени и обстоятельств, уменьшаясь или увеличиваясь от случая; и вполне естественно, что страсти души то возвышают, то принижают ее, а чаще всего губят. Одним словом, в тот момент и ее красота и ее убор достигали предела совершенства,—по крайней мере, ничего более прекрасного до тех пор я не видел, и помня, скольким я ей обязан, я решил, что это богиня сошла с неба на землю, чтобы спасти и осчастливить меня.

Когда она подошла, отец объяснил ей на их языке, что я—невольник его друга, арнаута Мамй, и пришел набрать трав для салата. Она заговорила на том смешанном языке, о котором я уже упоминал, и спросила меня, дворянин ли я и почему я еще себя не выкупил. Я ответил ей, что я уже свободен и что по размеру моего выкупа нетрудно заключить, как меня высоко оценил мой хозяин: я должен был выплатить ему тысячу пятьсот *солтанй* \*. Тогда она сказала:

— Поистине, если бы ты принадлежал моему отцу, я бы настояла, чтобы он не отдавал тебя и за сумму в два раза бóльшую, потому что вы, христиане, ждете во всех ваших речах и притворяетесь бедняками, чтобы обмануть мавров.

— Быть может, это и так, сеньора,—отвечал я,—но с моим господином я поступил по совести, и так поступаю и буду поступать с кем бы то ни было.

— А когда ты уезжаешь?—спросила Зорайда.

— Надеюсь, завтра,—ответил я,—потому что в гавани стоишь французский корабль, который завтра снимется с якоря, и я думаю уехать на нем.

— Разве не лучше,—возразила Зорайда,— подождать корабля из Испании и уехать на нем, чем отправляться с французами, которые тебе не друзья?

— Нет,—ответил я,—если бы подтвердился слух, что вскоре прибудет корабль из Испании, я бы, конечно, его дождал, но все же вероятнее, что я уеду завтра, ибо у меня столь сильное желание увидеть родину и людей близких моему сердцу, что если иной более удобный случай уехать запоздает, я не стану его дожидаться.

— Ты, должно быть, оставил на родине жену,—сказала Зорайда,—и торопишься уехать, чтобы увидеться с нею?

— Нет,—ответил я,—жены я не оставил, но дал слово жениться, как только вернусь на родину.

— А красива та, которой ты дал слово?—спросила Зорайда.

— Так красива,—ответил я,—что лучшей похвалы ей я не найду, чем сказав, что она, право, очень похожа на тебя.

Услышав это, отец Зорайды громко рассмеялся и сказал:

— Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста действительно красавица, если она похожа

на мою дочь; ибо Зорайда—самая красивая девушка во всем нашем королевстве. Не веришь, так посмотри на нее и увидишь, что я говорю правду.

В течение почти всего этого разговора отец Зорайды служил нам переводчиком, так как был более сведущ в языках. Действительно, хоть она и говорила на ломаном языке, который, как я уже сказал, употребляется в этих странах, все же она больше изъяснялась знаками, чем словами. Так мы толковали о том, о сем, как вдруг прибежал мавр и закричал, что через забор и стены сада перелезли четыре турка, которые рвут фрукты, хотя они еще не созрели. И старик и Зорайда сильно взволновались, ибо все мавры обычно и вполне естественно боятся турок, особенно солдат, которые так дерзки и пользуются такой властью над подчиненными им маврами, что обращаются с ними хуже, чем со своими рабами. Поэтому отец сказал Зорайде:

— Дочь моя, ступай домой и хорошенько запрись, а я пойду разговаривать с этими собаками. Ты же, христианин, кончай собирать свои травы, а потом отправляйся в добрый час, и да поможет тебе Аллах благополучно вернуться на родину.

Я поклонился ему, и он ушел к туркам, оставив меня вдвоем с Зорайдой. Та сделала вид, что идет домой, как ей было приказано, но едва только отец скрылся за деревьями сада, она вернулась ко мне и с глазами полными слез сказала:

— *Таммиши, кристиано, таммиши?* (что значит: ты уезжаешь, христианин, ты уезжаешь?)

Я ей ответил:

— Да, сеньора, но без тебя—ни за что. Жди меня в первую *джуму* и не пугайся, когда нас увидишь. Мы непременно уедем в христианские земли.

Я все ей объяснил так, что она поняла все мои слова; затем обвила мне одной рукой шею и, опираясь на меня, дрожащими шагами направилась к дому. Это могло бы очень плохо для нас кончиться, если бы судьбе не было угодно устроить иначе, ибо когда мы шли, обнявшись так, как я только что сказал, отец Зорайды, прогнав турок, повернул назад и увидел, что она обвивает рукой мою шею; да и мы увидели, что он нас увидел. Но находчивая и разумная Зорайда не сняла своей руки, а напротив, еще теснее прижалась ко мне, положила голову мне на грудь и немного согнула колени, как бы ясно этим показывая, что готова лишиться чувств, а я в свою очередь сделал вид, что поддерживаю ее, словно нехотя. Отец подбежал к нам и, видя состояние дочери, спросил, что с ней, и, не получив ответа, сказал:

— Ну конечно, она испугалась вторжения этих собак, и ей стало дурно.

Потом, приняв ее из моих рук, положил ее голову себе на грудь, а она с глубоким вздохом приоткрыла еще влажные от слез глаза и сказала мне:

— *Амеш, кристиано, амеш* (что значит: уходи, христианин, уходи).

На что отец ответил:

— Зачем христианину уходить? Ведь он не сделал тебе никакого зла, а турки уже убра-



лись. Не бойся, никто тебя не обидит; говорю тебе, что турки по моей просьбе ушли откуда явились.

— Они то ее и испугали, сеньор,—сказал я отцу Зорайды;—но раз она велит мне уходить,



я не хочу ее огорчать. Оставайтесь с богом, а я, если ты разрешишь, приду еще раз, когда мне понадобятся травы для салата, ибо господин мой говорит, что ни в одном саду нет лучших трав для салата, чем у тебя.

-- Можешь приходить когда тебе захочется,— сказал Аджи Морато,—ибо моя дочь сказала это не потому, чтобы ты или другой какойнибудь христианин были ей неуютны. Она хотела сказать туркам «уходите», а сказала это тебе; а может быть, хотела сказать что тебе пора итти собирать травы.

На этом я распростился с ними обоими; Зорайда, у которой, как видно было, разрывалось сердце, последовала за отцом, а я под предлогом собирания трав, тщательно и сколько мне хотелось обошел весь сад; осмотрел хорошенько все ходы и выходы, все запоры дома и изучил все подробности, которые были важны для успеха нашего дела. Проделав это, я отправился к ренегату и товарищам и сообщил им обо всем случившемся; я не мог дожидаться той минуты, когда мне будет позволено без помехи наслаждаться счастьем, ниспосланным мне судьбой в лице прекрасной Зорайды. Наконец подошло время и наступил столь долго нами ожидаемый день и срок. Действуя сообразно с планом, выработанным нами после зрелого обсуждения и долгих размышлений, мы легко достигли желаемого успеха. На следующий день после моего свидания в саду с Зорайдой, а именно в пятницу, ренегат, как только стемнело, бросил якорь как раз против дома прекрасной Зорайды.

Христиане, которые должны были грести на нашей фелюге, уже были предупреждены и спрятались в разных местах по соседству с домом. Они ждали меня с нетерпением и тревогой, готовые напасть на корабль, остановившийся перед самыми их глазами, ибо они не

знали о нашем уговоре с ренегатом и полагали, что им придется силой собственных рук завоевать свободу и перебить всех находившихся на корабле мавров. Как только я появился с товарищами, все сидевшие в засаде, увидя нас, выбежали нам навстречу. Был час, когда городские ворота уже закрываются, и на всем берегу не видно было ни души. Собравшись все вместе, мы не могли решить, отправиться ли нам сначала за Зорайдой, или же захватить мавров-багаринов \*, сидевших на веслах в фелюге. Пока мы колебались, подоспел ренегат и спросил, почему мы медлим: уже пора мол начинать; его гребцы-мавры ничего не подозревают и большинство их спит. Мы сообщили ему наши сомнения, и он ответил, что самое важное — прежде всего захватить корабль, что можно сделать с большой легкостью и без всякого риска, а уж потом следует отправиться за Зорайдой. Все мы одобрили его решение и, не медля более, под его предводительством двинулись к кораблю: он первый вскочил на него и, схватив свой палаш, крикнул по арабски:

— Тот, кто из вас двинется, заплатит за это жизнью!

В это время уже почти все христиане были на палубе. Малодушные мавры, услышав такие слова своего арраэса \*, перепугались и, не берясь за оружие, которого к тому же у них почти не было, молча позволили христианам связать им руки; те быстро все это проделали, грозя перерезать их всех до единого, если только кто вибудь из них вздумает крикнуть. Когда с этим было покончено, половина наших оста-

лась сторожить связанных, а остальные, с ренегатом во главе, отправились к саду Аджи Морато, и как только мы собрались взламывать ворота, они отворились так легко, как будто по счастливой случайности вовсе не были запорты; затем в полной тишине и молчании мы подошли к дому, так что никто нас не услышал.

Прекрасная Зорайда ждала нас, стоя у окна, и, заслышав наши шаги, тихим голосом спросила, не низарани \* ли мы (это значит: не христиане ли). Я ответил ей: «да» и попросил спуститься вниз. Узнав меня, она, не колеблясь ни минуты и не отвечая ни слова, тотчас же спустилась, отперла дверь и предстала пред нами в таком блеске красоты и богатого наряда, что описать невозможно. Как только я ее увидел, я схватил ее руку и стал ее целовать; ренегат и два моих спутника сделали то же, да и остальные последовали их примеру, ибо, хоть они и не знали, в чем дело, но им было ясно, что мы благодарим ее за освобождение и признаем нашей госпожей. Ренегат спросил Зорайду по арабски, дома ли ее отец. Она отвечала, что дома и спит.

— Что ж, придется нам его разбудить и увезти с собою, — сказал ренегат, — захватив все, что есть ценного в этом прекрасном доме.

— Нет, — ответила она, — отца моего ни в коем случае нельзя трогать, а все, что есть в доме ценного, я захвачу с собой. Поверьте, этого хватит, чтобы обогатить и удовлетворить вас всех; погодите немного, вы сейчас увидите.

И с этими словами она вошла обратно в дом, попросив нас не двигаться и не шуметь, так

как она сейчас же вернется. Я спросил ренегата, о чем он говорил с Зорайдой, и он передал мне их разговор; тогда я сказал ему, что он обязан делать только то, что будет ей угодно. В эту минуту она появилась со шкатулкой, полной золотых эскудо; она с трудом ее несла — столько там было золота. Но злой судьбе нашей было угодно, чтоб в это время проснулся отец Зорайды и услышал шум в саду; высунувшись в окно, он тотчас же заметил, что в саду находятся христиане, и стал громко и пронзительно кричать по арабски:

— Христиане, христиане! Воры, воры!

Эти крики привели нас всех в великое и страшное смятение. Однако, ренегат, увидев, какой мы подвергаемся опасности, и поняв, что нам нужно покончить с этим прежде чем слуги сбегутся на его зов, с величайшей поспешностью бросился в комнату Аджи Морато; некоторые из наших спутников последовали за ним, а я не решился оставить Зорайду, которая почти без чувств упала мне на руки. Взбежав по лестнице, они так ловко обделали дело, что в одно мгновение привели Аджи Морато со связанными руками и платком во рту; он не мог выговорить ни слова, и они грозили ему смертью, если только он попытается заговорить. Увидев отца, Зорайда закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на него, он же был весьма изумлен, не зная еще, что она добровольно отдалась в наши руки. Но в ту минуту мы думали только о том, как бы унести ноги, и поэтому поспешно добрались до фелюги, где остальные ожидали нас с тревогой, боясь, не случилось ли с нами какой беды.

Еще не было двух часов ночи, как мы уже были все в сборе на фелюге. Там отцу Зорайды развязали руки и вынули изо рта платок, но ренегат повторил, что если он скажет хоть слово, его сейчас же убьют. А он, увидев дочь, стал нежно вздыхать, и вздохи его еще усилились, когда он заметил, что я сижу с ней обнявшись, а она не защищается, не жалуется, не отталкивает меня и принимает это спокойно; и все же он молчал, боясь, как бы мы не привели в исполнение ужасной угрозы ренегата. Зорайда, увидев, что все мы уже на судне и собираемся отчаливать, увозя с собой ее отца и связанных по рукам мавров, попросила ренегата передать мне, что она умоляет меня о милости — отпустить мавров и освободить отца, ибо она скорей бросится в море, чем увидит своими глазами, что из за нее увезут в плен отца, так горячо ее любившего. Ренегат передал мне ее слова, и я выразил свое согласие. Но он ответил, что это не годится, ибо если мы их сейчас отпустим, они позовут на помощь и поставят на ноги весь город; а тогда пошлют за ними в погоню несколько легких фрегатов и окружат нас с суши и с моря, так что мы не сможем никуда спастись; единственное, что можно было сделать, это спустить пленников на берег в первом же христианском порту. На этом мы и порешили. Когда Зорайде объяснили, по каким причинам мы не в состоянии немедленно исполнить ее желание, она тоже с нами согласилась; и вот, с веселым рвением и тихой радостью, наши славные гребцы сели на весла, и, от всей души поручив себя воле

божией, поплыли мы по направлению к Майоркским островам — ближайшей от нас христианской земле. Но тут поднялся северный ветер, море разбушевалось, и нам оказалось невозможно держать путь прямо на Майорку: пришлось плыть вдоль берега в сторону Орана, что нас очень беспокоило, ибо мы опасались, как бы нас не заметили из Сарджела, гавани, находящейся на том же побережье, в шестидесяти милях от Алжира; а кроме того мы боялись встретить в этих водах какуюнибудь галеру, возвращающуюся с товаром из Тетуана. Впрочем, каждый из нас и все вместе мы полагали, что так как купеческая галера — не военный корабль, то встреча с ней не только не погубит нас, а напротив, даст нам возможность завладеть судном, на котором мы сможем завершить наше путешествие с большей безопасностью. Во все время плавания Зорайда лежала, спрятав лицо в моих руках, чтобы не видеть отца, и я слышал, как она молила Делу Мариен помочь нам.

Так проплыли мы, должно быть, миль тридцать, когда рассвет застиг нас на расстоянии трех аркебузных выстрелов от берега. Он был пустынен, и никто не мог нас заметить; но все же гребцы наши изо всех сил налегли на весла, держа в открытое море, которое к тому времени немного успокоилось. Отъехав мили на две, мы предложили гребцам работать в четыре смены, чтобы отдыхающие могли поесть, тем более что фелюга шла отлично; но гребцы на это ответили, что еще не настало время для отдыха и что пусть их покормят те, кто не на веслах, — они

же во что бы то ни стало хотят продолжась грести. Так и было сделано, а в это время попутный ветер, и мы, оставив весла, подняли паруса и стали держать путь на Оран, ибо в другую сторону плыть было невозможно. Этот маневр был исполнен с большой быстротой, и на парусах мы стали делать более восьми миль в час; одного мы только боялись — встречи с какимнибудь корсарским судном. Мы дали поесть маврам, и ренегат успокоил их, сказав, что их в рабство не отдадут, а освободят при первом же подходящем случае. То же самое сказали и отцу Зорайды, который на это ответил:

— Я многому готов поверить и многое готов ждать от вашей доброты и великодушия, о христиане, но когда вы обещаете мне свободу, я не так прост, чтобы вообразить, что вы, с такой опасностью для себя, отняв ее у меня, теперь так охотно отдадите обратно. Ведь вы знаете, кто я и какую выгоду вы можете извлечь, захватив меня. Если вы определите ее размеры, я немедленно готов заплатить вам все что вы потребуете в качестве выкупа за меня и несчастную мою дочь, или только за нее одну, ибо она лучшая и большая часть моей души.

Говоря это, он заплакал так горько, что всем нам стало его жаль, а Зорайда взглянула на него и, увидев его слезы, растроганная, вскочила с моих колен и бросилась его обнимать; прижавшись лицом к его лицу, она заплакала вместе с ним так чувствительно, что многие из нас тоже не могли удержать слез. Но когда отец заметил, что дочь его одета по праздничному, вся в драгоценных камнях, он сказал ей на их языке:



— Что значит, дочь моя, что вчера вечером, перед тем как случилась с нами эта ужасная беда, я видел тебя в простом домашнем платье, а сегодня на тебе самый богатый наряд из всех, которые я когда либо дарил тебе в лучшие дни? Ведь и времени у тебя не было переодеться, да и не случилось никакой хорошей новости, которая могла бы побудить тебя отпраздновать ее, нарядившись и приукрасившись. Отвечай же мне, ибо это обстоятельство смущает и удивляет меня еще больше, чем постигшее меня бедствие.

Все, что мавр говорил дочери, ренегат переводил нам; она же не отвечала ему ни слова. Но тут Аджи Морато, заметив у борта шкатулку, в которой дочь его обычно хранила свои драгоценности, и помня, что Зорайда оставила ее в Алжире и не взяла с собой в загородный дом, смутился и спросил ее, каким образом шкатулка попала к нам в руки и что в ней находится. Тогда ренегат, не дожидаясь ответа Зорайды, сказал:

— Не трудись, мой сеньор, задавать твоей дочери столько вопросов; я могу одним словом ответить на все. Итак знай, что она — христианка; это она распилила наши цепи и вывела нас из плена. Она последовала за нами по своей доброй воле, и думается мне, что счастлива она не менее того, кто из мрака вышел к свету, из смерти — к жизни, из мук — к блаженству.

— Правда ли то, что он говорит, дочь моя? — спросил мавр.

— Правда, — ответила Зорайда.

— И ты действительно христианка, и предала отца своего врагам?

Зорайда на это ответила:

— Я христианка, это правда, но тебя не предавала. Никогда у меня не было желания покинуть тебя или причинить тебе зло; я только искала для себя добра.

— И какое же добро ты нашла для себя, дочь моя?

— Об этом спроси Лелу Мариен, она лучше меня объяснит тебе, — ответила Зорайда.

Едва мавр это услышал, как с невероятной быстротой он бросился вниз головой в море; и он бы наверно утонул, если бы его длинное и просторное платье не удержало его некоторое время на поверхности. Зорайда стала кричать, зовя на помощь, мы все кинулись и, ухватив его за альмаффу \*, вытащили из воды полуживого и без сознания. Зорайда в отчаянии стала горестно и нежно плакать над ним как над умершим. Мы положили его лицом вниз; изо рта его полилась вода, и через два часа он пришел в себя. За это время ветер переменился, и нас понесло к земле, так что пришлось грести изо всех сил, чтобы не быть выброшенными на берег. Но доброй нашей судьбе угодно было пригнать нас в бухту, расположенную за небольшим мысом или косой, которую мавры называют *Кава румия*, что на нашем языке значит *Блудница христианка*. Ибо среди мавров существует предание, что в этом месте похоронена *Кава*, по вине которой была потеряна Испания; *Кава* на их языке означает — блудница, а *румия* — христианка \*. И когда им по необходимости приходится приставать к этому мысу и бросать там якорь, они считают это

дурным предзнаменованием, и без крайней необходимости никогда этого не делают. Но для нас это место было не убежищем блудницы, а безопасной гаванью, спасшей нас от бури на море. Мы поставили на берегу часовых, между тем как наши гребцы продолжали сидеть на веслах; затем подкрепили себя пищей, которую захватил для нас ренегат, и от всей души помолились господу богу и святой деве, прося их помочь нам благополучно докончить столь счастливо начавшееся плаванье. Зорайда стала снова умолять нас высадить на сушу отца и всех остальных связанных мавров, ибо ее нежное сердце терзалось и она не могла дольше видеть перед собой в оковах отца и соотечественников. Мы пообещали исполнить ее просьбу перед самым отъездом, ибо высадить их в этой безлюдной местности не представляло для нас никакой опасности. Наши молитвы не были тщетны, и небо нас услышало: ветер ослабел и море успокоилось, приглашая нас радостно продолжать начатое путешествие. Увидев это, мы развязали мавров и по одиночке спустили их на землю, чем они были крайне поражены. Но когда мы собирались высадить отца Зорайды, который к тому времени окончательно пришел в себя, он сказал:

— Как вы думаете, христиане, почему эта злая женщина радуется, что вы даруете мне свободу? Вы полагаете, что она поступает так из сострадания ко мне? Конечно нет: она не хочет, чтобы мое присутствие смущало ее, когда она станет приводить в исполнение свой дурной замысел. И не верьте, что она переме-

нила веру убедившись, что ваша религия лучше нашей; нет, просто ей сказали, что в вашей стране легче заниматься распутством, чем у нас!

Затем он обратился к Зорайде, между тем как я с одним товарищем крепко держал его за руки, опасаясь, как бы он не решился на какойнибудь безумный поступок:

— О бесчестная и неразумная дева, куда, ослепленная и безумная, бежишь ты с этими собаками — природными нашими врагами? Да будет проклят час твоего рождения, да будут прокляты ласка и нега, в которых я тебя возрастил!

Видя, что он собирается долго так говорить, я поторопился высадить его на берег; а он и там продолжал проклинать нас и жаловаться, моля Магомета упросить Аллаха, чтобы он истребил, уничтожил и доканал нас. И когда мы уже порядочно отъехали, распустив паруса, так что голос его перестал долетать до нас, мы продолжали видеть его движения: он терзал бороду, вырывал волосы на голове и катался по земле, а один раз он так возвысил голос, что мы слышали его слова:

— Дочь моя любимая, причаль к берегу, я все тебе прощаю! Отдай этим людям золото, которое все равно уже в их руках, и приди утешить твоего горестного отца, который умрет на этом пустынном берегу, если ты его покинешь!

Зорайда все это слушала с глубоким чувством, плакала и наконец ответила:

— Да будет угодно Аллаху, отец мой, чтобы тебя утешила в печали Лела Мариен, по воле

которой я стала христианкой. Аллаху ведомо, что не могла я поступить иначе чем поступила и что мое решение не зависело от этих христиан; так как, если бы даже я захотела остаться дома и не ехать с ними, это было бы



мне невозможно из за пламенного желанія моего совершить доброе дело, которое тебе, любимый мой отец, кажется таким дурным.

Она это говорила, но мавра уже не было видно и он не мог ее слышать. Я стал утешать Зорайду, а другие принялись за дело. Благо-

приятный ветер помогал нашему плаванию, и все мы были уверены, что на следующий день на рассвете увидим уже берега Испании. Но очень редко (вернее никогда) добро приходит к нам в чистом виде, без всякой примеси: зло обычно сопровождает и сопутствует ему, пятная его и омрачая. Судьба ли в этом была виновата, или проклятия, которые мавр призвал на голову своей дочери, — а какой бы ни был отец, проклятия его всегда страшны, — но только когда мы были в открытом море и плыли на всех парусах с поднятыми веслами, — ибо попутный ветер позволял гребцам отдохнуть от труда, — часа в три ночи, при свете луны, ярко сиявшей на небе, мы заметили невдалеке круглый корабль \*, который, слегка накренившись, мчался на полных парусах прямо нам наперерез. Он прошел так близко, что нам пришлось подобрать паруса, чтобы не наскочить на него, да и на встречном судне изо всех сил налегли на руль, чтобы пропустить нас мимо. С его борта стали нас спрашивать, кто мы, откуда и куда плывем; но так как спрашивали они по французски, то ренегат сказал:

— Не отвечайте ни слова: это несомненно французские корсары, которые никого не щадят.

После такого предупреждения никто из нас не ответил. Мы миновали корабль и оставили его с подветренной стороны, но в эту минуту раздалось два пушечных выстрела; должно быть это были двойные ядра, соединенные между собой цепочкой, ибо первый снаряд срезал половину нашей мачты, которая с парусом обрушилась в воду,

а второй, пущенный вслед, за ним немедленно, попал в середину нашего судна, пробив его насквозь, но не причинив нам никакого другого вреда. Видя, что наша фелюга погружается, мы стали громко кричать и звать на помощь, умоляя подобрать нас, потому что мы шли ко дну. Тогда они собрали паруса и спустили лодку или баркас, в который села дюжина французов, вооруженных аркебузами с зажженными фитилями. Они подъехали к нам и увидя, что нас немного и что фелюга идет ко дну, погрузили нас на лодку и заявили, что эта беда приключилась с нами от того, что мы так невежливо не ответили на их вопрос. Наш ренегат схватил шкатулку с драгоценностями Зорайды и бросил ее в море, при чем никто не заметил, как он сделал это.

Когда мы попали к французам на корабль, они расспросили нас обо всем, что им хотелось знать, и затем как злейшие враги ограбили нас дочиста, отняв у Зорайды даже браслеты, которые были у нее на ногах; но меня не столько мучила та обида, которую они нанесли Зорайде, сколько страх, что, отняв у нее богатейшие и драгоценнейшие сокровища, они посягнут потом и на то сокровище, которое было дороже всех остальных и которое она ценила больше всего. Но эти люди думают только о деньгах, и корыстолюбие их ненасытно: жадность их доходила до того, что они не задумались бы снять с нас нашу тюремную одежду, если бы она могла им на чтонибудь пригодиться. Потом стали они между собой обсуждать, не завязать ли им нас всех в парус и не бросить ли

в море, так как они намеревались торговать в испанских портах, выдавая себя за бретонцев, и потому боялись, как бы их грабеж не открылся и их бы не наказали, если они привезут нас живыми. Но капитан, — тот самый, который ограбил мою возлюбленную Зорайду, — заявил, что с него довольно этой добычи и что он не желает заходить ни в один из испанских портов, а думает продолжать путь и, миновав ночью Гибралтарский пролив, вернуться в Ла Рошель, откуда они выехали. Поэтому они решили дать нам лодку с корабля и снабдить нас всем необходимым для оставшегося нам короткого переезда; так они и сделали на следующий день, уже в виду испанского берега. Когда мы его завидели, радость наша была так велика, что мы забыли все наши горести и невзгоды, как будто с нами ничего дурного не случилось: так сладостно было нам обрести утраченную свободу.

Было, должно быть, около полудня, когда французы посадили нас в лодку и дали нам два боченка воды и немного сухарей. И когда прекрасная Зорайда спускалась в лодку, капитан, движимый внезапным состраданием, подарил ей сорок золотых эскудо и не разрешил матросам снять с нее платье, в котором вы ее сейчас видите. Мы сели в лодку и поблагодарили их за оказанную нам милость, выразив им скорее признательность, нежели неудовольствие. Французский корабль скрылся в открытом море в направлении пролива, а мы, держа, как на путеводную звезду, прямо на видневшийся перед нами берег, с таким напряжением налегли на



весла, что при заходе солнца подъехали совсем близко к земле, и уже надеялись до наступления ночи высадиться на сушу. Но так как в эту ночь луна не светила, небо было черное и мы не знали точно, где мы находимся, то мы считали небезопасным немедленно пристать к берегу. Многие, однако, полагали, что все же лучше высадиться, хотя бы среди скал и далеко от жилья, ибо тогда нам можно будет не бояться кораблей тегуанских корсаров, — опасения же эти были вполне справедливы, так как в этом месте постоянно разъезжают корсары: вечером они в Берберии, а на утро — нередко уже у берегов Испании, и, захватив там добычу, возвращаются ночевать домой. Обсудив эти противоположные мнения, мы наконец порешили не спеша подойти к берегу и, если море будет не очень бурное, высадиться где придется. Так мы и сделали, и незадолго до полуночи прибыли к подножию высокой и крутой горы, начинавшейся, однако, не у самого берега, так что оставалась небольшая полоса земли, где можно было удобно причалить. Лодка врезалась в песчаное дно, мы вышли на сушу и, поцеловав землю, с величайшей радостью и слезами возблагодарили господа бога за несравненную милость, ниспосланную нам. Вытащив лодку на берег, мы достали из нее все припасы и поднялись довольно высоко в гору; но даже и там мы не могли успокоить волнения сердца и окончательно поверить, что ноги наши ступают по христианской земле.

Рассвет наступал медленнее, чем бы мне хотелось. Мы дошли до вершины горы и стали

смотреть во все стороны, не увидим ли где нибудь селения или пастушьей хижины; но как мы ни напрягали зрение, ничего не было видно, ни людей, ни селения, ни дороги, ни тропинки. Тем не менее, мы решили продолжать путь вглубь страны: должны же мы были наконец встретить кого нибудь, кто бы нам сказал, где мы находимся. Но более всего меня мучило то, что Зорайда шла пешком по этой тяжелой дороге. Я попробовал посадить ее себе на плечи, но она больше уставала от моей усталости, чем отдыхала от своего отдыха, и потом уж ни за что не соглашалась, чтобы я ее нес. Она шла терпеливо и весело, держа меня за руку. Так прошли мы около четверти мили, как вдруг до нашего слуха донесся звук колокольчика, ясно говоривший, что неподалеку находится стадо. Мы все стали пристально вглядываться и наконец увидели у подножия дуба молодого пастуха, который спокойно и беззаботно вырезывал ножом палочку. Мы закричали, на наши голоса он поспешно вскочил и, как мы впоследствии узнали, первым он заметил ренегата и Зорайду. Увидев людей в мавританском платье, он подумал, что на него ополчилась вся Берберия, и, бросившись в рощу, находившуюся поблизости, стал кричать пронзительным голосом:

— Мавры высадились на сушу! Мавры, мавры! К оружию! к оружию!

Мы были так смущены его криком, что не знали, что нам делать; но решив, что эти крики поднимут на ноги все население и что береговая конная стража не замедлит явиться узнать, в чем дело, мы посоветовали ренегату «снять

турецкое платье и надеть на себя невольничью куртку или полукафтанье, которое ему уступил один из пленников, сам оставшись в одной рубашке. Итак, поручив себя воле божией, пошли мы по той же дороге, по которой убежал пастух, все ожидая, что вот вот нагрянет береговая стража. И предчувствие нас не обмануло, ибо не прошли мы и двух часов, как, выйдя из чащи на равнину, увидели около пятидесяти всадников, которые быстро, коротким галопом мчались прямо на нас; при виде их, мы остановились, поджидая. Они подскакали и убедившись, что мы не мавры, которых они разыскивали, а бедные христиане, видимо смуглились, и один из них спросил, не по нашей ли вине один пастух тут взывал к оружию. «Да», ответил я и собирался рассказать ему, откуда мы, кто мы и что с нами случилось, но в эту минуту один из христиан, наших спутников узнал всадника, который нас допрашивал и, перебив меня, воскликнул:

— Возблагодарим господа приведшего нас в эти счастливые пределы, ибо, если я не ошибаюсь, сеньоры, мы ступаем по земле Велес-Малаги! \* И если годы плена еще не помрачили моей памяти, то вы, сеньор, спрашивающий, кто мы такие,—Педро де Бустаманте, мой дядя.

Не успел пленник произнести эти слова, как всадник, соскочив с лошади, обнял юношу и сказал:

— Племянник, радость души и жизни моей, узнаю тебя! И я, и моя сестра, твоя мать, и все из твоих родственников, кто остались еще в живых, оплакивали твою смерть, но господу

было угодно продлить их дни, чтобы могли они порадоваться встрече с тобой. Мы знали, что ты в Алжире, и по виду и одежде твоей и всех твоих спутников я догадываюсь, что вы чудом спаслись из плена.

— Так оно и есть,— отвечал юноша;— у нас будет еще время все вам рассказать.

Когда другие всадники услышали, что мы — пленники-христиане, они спешили и предложили нам своих лошадей, чтобы отвезти нас в город Велес-Малагу, находившийся на расстоянии полуторы мили. Часть всадников, узнав от нас, где мы оставили лодку, отправилась за ней, чтобы привезти ее в город; остальные же посадили нас на крупы своих лошадей; Зорайда села на лошадь дяди юного пленника. Весь город вышел к нам навстречу, ибо один из всадников, опередив нас, сообщил уже о нашем прибытии. Жителей удивляло не то, что перед ними были освобожденные пленники и пленные мавры,—население этого побережья привыкло видеть и тех и других,—нет, удивляла их красота Зорайды, особенно блистательная в ту минуту: от усталости долгого пути и от радости, что она наконец в полной безопасности и в стране христиан, яркий румянец выступил на ее лице. И если только любовь меня не ослепляет, я решусь утверждать, что более прекрасного создания свет не видал, по крайней мере, не видали мои глаза.

Мы отправились прямо в церковь возблагодарить бога за оказанную нам милость, и Зорайда, войдя, сказала, что она видит лица, похожие на Лелу Мариен. Мы ей объяснили, что

это—образа святой девы, и ренегат постарайся, как только мог, растолковать, что это означает и почему она должна почитать их, как если бы каждое изображение воистину было той самой Ледой Мариен, которая с ней беседовала. Зорайда, будучи весьма сообразительной и обладающая от природы быстрым и ясным умом, все, что было ей рассказано об образах, легко усвоила. Затем нас увели и разместили по разным домам, а Зорайду, меня и ренегата пленник, наш спутник, повел в дом к своим родителям, которые, будучи людьми довольно зажиточными, приняли нас с неменьшей любовью, чем собственного сына.

Шесть дней пробыли мы в Велесе, а затем ренегат, наведя все нужные справки, отправился в город Гранаду, чтобы там при посредстве святой инквизиции вернуться в лоно святой церкви; остальные же освобожденные христиане отправились кому куда заблагорассудилось. Остались лишь мы вдвоем с Зорайдой, и были у нас только те эскудо, которыми Зорайда была обязана любезности француза; на эти деньги купил я лошадь, на которой она сюда приехала. До сих пор я был для нее отцом и оруженосцем, но не супругом, и едем мы на родину узнать, жив ли еще мой отец и не посчастливилось ли комунибудь из моих братьев больше, чем мне; хотя, впрочем, мне кажется, что судьба, послав мне в спутницы жизни Зорайду, не могла подарить мне более великого и ценного блага. Она с таким терпением переносит лишения, которые влечет за собой бедность, и так страстно желает стать христианкой, что

я, исполнившись восхищения, готов служить ей до скончания дней моих. Но радость, испытываемая мной при мысли, что я принадлежу ей, а она мне, отравлена и омрачена, ибо я не знаю, найду ли у себя на родине уголок, где бы мог с ней поселиться; ибо может быть, что отца и братьев уже нет в живых, или за это время в делах их произошли такие перемены, что некому будет меня встретить.

Вот и вся моя история, сеньоры. Судите сами, насколько она занимательна и приятна; что же касается меня, то скажу только, что мне хотелось бы рассказать вам ее еще покороче, хотя боязнь наскучить вам и без того заставила меня пропустить несколько подробностей.

## ГЛАВА XIII

*в которой рассказывается о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о многих других вещах, достойных внимания*



казав это, пленник умолк, а дон Фернандо воскликнул:

— Поистине, сеньор капитан искусство, с которым вы нам рассказали о ваших удивительных приключениях, равняется их необычайности. Истории ваша—редкостная, необыкновенная, полная неожиданностей, которые восхищают и захватывают слушателей. Удовольствие, полученное нами от вашего рассказа, так велико, что если бы даже он затянулся до зари, то и тогда бы мы готовы были выслушать его с начала.

После этих слов дон Фернандо, Карденио и все остальные стали предлагать пленнику свои услуги в таких сердечных и искренних выражениях, что капитан был очень тронут их дружеской готовностью. В частности, дон Фернандо предложил пленнику отправиться с ним, обещая устроить так, что его брат маркиз бу-

дет крестным отцом Зорайды, а он со своей стороны снабдит его всем необходимым, чтобы капитан мог вернуться в свои края с честью и достатком, подобающими его званию. Пленник любезно поблагодарил за все эти великодушные предложения, но не принял ни одного из них.

Тем временем уже наступила ночь, и когда совсем стемнело, к гостинице подъехала карета, окруженная несколькими всадниками. Они потребовали помещения, на что хозяйка ответила, что во всей гостинице нет ни одного свободного закоулка.

— Как бы там ни было,— заявил один из подъехавших всадников,— а для сеньора аудитора \*, которого мы сопровождаем, местечко отыщется.

Услыхав это, хозяйка смутилась и сказала:

— Дело то в том, сеньор, что у нас нет ни одной кровати, но если его милость сеньор аудитор, как я полагаю, везет с собой свою постель, то просим его пожаловать; чтобы угодить его милости, мы с мужем уступим ему нашу комнату.

— В добрый час,— сказал конюх.

В это время из кареты уже вышел человек, по костюму которого сразу можно было заключить о его чине и звании; его длинная мантия и рукава в сборах показывали, что слуга сказал правду и что это был действительно аудитор. Он держал за руку девушку лет шестнадцати в дорожном платье, такую хорошенькую, нарядную и изящную, что при виде ее все пришли в восхищение; и если бы присутствую-



шне не видели перед этим Доротен, Люсинды и Зорайды, они бы паверное решили, что другую, такую красавицу трудно отыскать на свете.

Дон Кихот, наблюдавший прибытие аудитора с девушкой, сказал:

— Ваша милость без опасений может вступить в этот замок и расположиться в нем. Правда, в нем тесно и неудобно, но нет на свете такой тесноты и неудобства, которые не отступили бы перед воецным искусством и науками, особенно когда вождем и глашатаем военного искусства и наук выступает красота; ибо учености вашей милости предшествует красота этой девицы, перед которой не только раскрываются и распахиваются ворота замков, но должны распадаться скалы, раздвигаться и рушиться горы, чтобы достойно принять ее. Итак, войдите в этот рай, ваша милость, где вы найдете звезды и солнца, которые украсят небо, что вы привезли с собой: здесь вы найдете военное искусство во всем его блеске и красоту во всем ее совершенстве.

Аудитор, пораженный речами дон Кихота, стал пристально его разглядывать, и внешность рыцаря удивила его не менее, чем его слова. Но прежде чем он нашелся что ответить, ему пришлось снова удивиться, когда пред ним появились Люсинда, Доротен и Зорайда, которые, узнав о прибытии новых гостей и услышав от хозяйки о прекрасной незнакомке, вышли наружу, чтобы встретить ее и посмотреть на нее. Тем временем дон Фернандо, Карденио и священник стали изысканно и учтиво предлагать аудитору свои услуги. В конце концов, этот

сеньор вошел в дом, крайне смущенный всем, что он видел и слышал, и красавицы, собравшиеся на постоялом дворе, приветствовали прекрасную путешественницу. Аудитор, конечно, не мог не заметить, что люди, окружавшие его, были все благородного происхождения; но внешность, физиономия и манеры дон Кихота вызывали в нем недоумение. Обменявшись множеством любезных предложений и осмотрев помещение, наша компания осталась при своем прежнем решении, а именно: все дамы должны были почевать в уже упомянутой комнате, а кавалеры остаться в сенях и охранять их покой. Итак, аудитор разрешил молодой девушке (которая была его дочерью) поместиться с остальными дамами, что она и исполнила с большой охотой. Соединив вместе часть кровати хозяина и половину постели аудитора, дамы расположились на ночь с большим удобством, чем предполагали.

Как только пленник увидел аудитора, у него забилось сердце, так как ему показалось, что он узнает в нем своего брата; тогда он спросил одного из слуг, как зовут его господина и не знает ли он, из каких тот краев. Слуга ответил, что господин его — лицензиат Хуан Перес де Вьедма и что родом он, кажется, из одного местечка в горах Леона. Это сообщение, в связи с тем, что он видел собственными глазами, окончательно убедило его, что аудитор — его брат, который последовал совету отца и пошел по ученой дороге. Взволнованный и обрадованный, пленник отозвал в сторону дон Фернандо, Карденио и священника, и сообщил им о происшедшем, заверив их, что аудитор — род-

ной его брат. Слуга рассказал также, что господин его получил назначение аудитором в Америку, в провинцию Мексику; что девушка, путешествующая с ним — его дочь, рождение которой стоило жизни ее матери; что жена принесла ему большое приданое и что теперь он очень богат. Пленник попросил совета у друзей, каким образом ему открыться перед братом, и не лучше ли ему сперва узнать, примет ли он его с распростертыми объятиями или, напротив, устыдится, увидев своего брата бедняком.

— Предоставьте мне проделать это испытание, — сказал священник, — тем более, что я не допускаю мысли, сеньор капитан, чтобы ваш брат мог вас плохо встретить; ибо во всех его манерах проявляется столько благородства и рассудительности, что его никак нельзя заподозрить в чванстве и бессердечии: он наверное умеет понимать превратности судьбы.

— И все же, — возразил капитан, — мне хотелось бы открыться ему не сразу, а какимнибудь окольным путем.

— Повторяю, — ответил священник, — что я это устрою так, что все мы останемся довольны.

Тем временем подали ужинать, и все сели за стол, исключая пленника и дам, которые ужинали отдельно в своей комнате. Среди ужина священник сказал:

— Был у меня в Константинополе, где я пробыл в плену несколько лет, один приятель, которого звали так же, как и вашу милость, сеньор аудитор. Это был один из самых отважных воинов и капитанов во всей испанской пехоте, но его сила и мужество равнялись его несчастиям.

— А как звали этого капитана, сеньор?— спросил аудитор.

— Его звали, — ответил священник, — Руи Перес де Вьедма, и был он родом из одного местечка в горах Леона. Он рассказал мне историю про своего отца и двух своих братьев, — такую, что если бы я не был уверен в правдивости моего приятеля, я бы счел ее сказкой, вроде тех, что старухи рассказывают зимой у очага. А именно, он мне рассказал, что отец его разделил все имущество между тремя своими сыновьями и дал им советы более мудрые, чем изречения Катона \*. Скажу вам, что мой приятель избрал военную карьеру и так в ней преуспел, что в несколько лет, единственно благодаря своей доблести и мужеству, с помощью одних своих заслуг, достиг чина капитана в пехоте и уже стоял на верном пути к производству в полковники. Но в ту самую минуту, когда он мог надеяться на удачу, судьба ему изменила: он потерял счастье, а вместе с ним и свободу, в тот благословенный день, когда столь многие ее обрели — я говорю о битве при Лепанто. Я был взят в плен в Голете, и впоследствии, после разных мытарств, судьба свела нас вместе в Константинополе. Оттуда он попал в Алжир, и там случилось с ним одно из самых необыкновенных происшествий, когда либо случившихся на свете.

И продолжая далее рассказывать, священник сжато и кратко сообщил аудитору обо всем, что произошло между его братом и Зорайдой. Аудитор слушал с таким вниманием, что, кажется, никогда еще в жизни он не был *ауди-*

*тором* \* в столь полном смысле этого слова. Священник дошел до того места, когда французы ограбили наших беглецов на фелюге, и изобразил, в какой бедности и нищете остался его друг с прекрасной мавританкой; а дальше, мол, он ничего не знает,— что с ними стало и удалось ли им добраться до Испании, или же французы увезли их с собой во Францию.

Пленник, стоя немного поодаль, слышал весь рассказ священника и внимательно следил за движениями своего брата. А тот, дождавшись конца рассказа, глубоко вздохнул и с глазами полными слез воскликнул:

— О сеньор, если бы вы знали, какие важные известия вы мне сообщаете и как глубоко они меня трогают! Ибо вы видите, что несмотря на все мое желание сдержаться и сохранить спокойствие, слезы выдают мое волнение. Этот храбрый капитан, о котором вы рассказываете—мой старший брат: более мужественный, чем я и другой брат, и человек более возвышенных мыслей, он избрал почетное и славное военное поприще — один из трех путей предложенных нам отцом,—как вы об этом уже знаете из рассказа (по вашим словам, похожего на сказку) вашего приятеля. Я пошел по ученой дороге и с помощью божьей и моего прилежания достиг звания, в котором ныне состою. А младший мой брат живет в Перу, где он так разбогател, что деньгами, присланными им мне и отцу, он не только возместил полученную им некогда долю, но и дал возможность отцу проявлять присущую ему щедрость, мне же — пристойно и безбедно прожить

занимаясь науками и получить должность, в которой я ныне состою. Отец мой еще жив, но он умирает от желания узнать, что стало с его первенцем, и неустанно воссылает молитвы богу о том, чтобы смерть повременила закрыть ему глаза, пока он не увидит света глаз своего сына. Но меня удивляет только одно: почему мой брат, будучи столь благоразумным, ни разу не позаботился написать отцу ни о своих удачах, ни о своих невзгодах? Ведь если бы отец или кто либо из нас знал о его пленении, ему незачем было бы дожидаться чуда с тростинкой для получения выкупа. А теперь меня тревожит мысль, отпустили ли его на свободу эти французы или же убили, чтобы скрыть свой грабеж. Вот почему я буду продолжать свой путь не с радостью, с какой я его начал, а с грустью и печалью. О мой добрый брат, если бы я знал, где ты сейчас находишься, я отыскал бы тебя и освободил от твоих страданий хотя бы ценою собственных мук! О, если бы ктонибудь принес старику-отцу весть о том, что ты жив, — находишь ты даже в самых сокровенных подземельях Берберии, богатство моего отца, брата и мое извлекут тебя оттуда! О, прекрасная и великодушная Зорайда, кто вознаградит тебя за милости, оказанные тобой брату! Как счастливы мы были бы присутствовать при возрождении души твоей\* и на твоей свадьбе!

И долго еще в таком роде говорил аудитор, опечаленный известиями о брате, и все слушающие его не могли сдержать чувства живейшего сострадания. Наконец священник, увидев, что

план его вполне удался и что желания капитана выполнено, решил, что пора прервать их общую скорбь; он встал из за стола и, войдя в комнату, где находилась Зорайда, взял ее за руку; за ним последовали Люсинда, Доротея и дочь аудитора. Капитан ждал, что сделает дальше священник; а тот взял его за руку и повел их обоих в комнату, где сидел аудитор с остальными кавалерами.

— Сеньор аудитор, — сказал он, — не плачьте больше; величайшее на свете благо увенчало ваши желания: перед вами ваш брат и ваша добрая невестка. Вот — капитан Вьедма, а вот — прекрасная мавританка, сделавшая ему столько добра. Французы, о которых я вам рассказывал, оставили их в жалком состоянии, как вы видите своими глазами, и вы можете теперь обнаружить великодушие вашего доброго сердца.

Капитан бросился обнимать своего брата, а тот, положив ему руки на грудь, немного отстранился, чтобы лучше его рассмотреть, и узнав обнял так крепко и от радости заплакал так трогательно, что большинство присутствующих заплакали вместе с ним. Что братья говорили друг другу, какие чувства они проявили, — это, думается мне, не только описать, но и вообразить невозможно. В кратких словах они рассказали друг другу о своей жизни и убедились в неизменности своей братской любви; затем, аудитор обнял Зорайду и предложил ей быть хозяйкой в его доме; затем велел дочери тоже обнять Зорайду; затем прекрасная христианка и прекраснейшая мавританка снова заставили всех заплакать. А дон Кихот, ни слова не говоря,

внимательно следил за всеми этими необычными происшествиями и объяснял их себе в духе своих рыцарских бредней. Было решено, что капитан и Зорайда отправятся с аудитором в Севилью, оттуда сообщат отцу, что сын бежал из плена и нашелся, и будут просить его, если только возможно, приехать в Севилью, чтобы присутствовать при крещении и свадьбе Зорайды, — так как аудитору невозможно было задерживаться в пути, в виду получения им известия, что через месяц из Севильи отправлялся флот в Новую Испанию, и пропустить этот случай ему было бы крайне неудобно.

Итак, все были веселы и довольны, что история пленника закончилась так счастливо; а тем временем две трети ночи уже прошли, и было решено оставшиеся часы поспать и отдохнуть. Дон Кихот вызвался охранять замок, опасаясь нападения какого нибудь великана или злокозненного лиходея, жадность которого могли пробудить великие сокровища красоты, хранившиеся в замке. Все знавшие дон Кихота поблагодарили его и рассказали о его странностях аудитору, которого они очень позабавили. Только Санчо Панса был в отчаянии, что все так долго не ложатся спать и только он один устроился поудобнее, чем остальные, разлегшись на упряжи своего осла (что дорого ему обошлось, как в свое время будет рассказано). Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились как кто мог, а дон Кихот вышел на дорогу, чтобы оберегать замок, согласно своему обещанию.

И вот, совсем уж незадолго до рассвета, донесся до слуха дам голос, такой прекрасный и



мелодичный, что все они невольно к нему прислушались, особенно Доротея, которая, не в силах будучи заснуть, лежала рядом с доньей Кларой де Вьедма (так звали дочь аудитора). Никто не мог догадаться, кто это так хорошо поет: голос раздавался один, без сопровождения какого либо инструмента. То казалось, что поют во дворе, то в конюшне. В то время как удивленные дамы внимательно слушали, к дверям их комнаты подошел Карденио и сказал:

— Если вы не спите, то послушайте: это поет погонщик мулов, и поет право упоительно.

— Да, мы слышим, сеньор, — ответила Доротея.

Карденио ушел, а Доротея, вся обратившись в слух, услышала следующую песню:

### Г Л А В А ХЛIII

*в которой рассказывается приятная история погонщика мулов, вместе с другими необычайными происшествиями, случившимися на постоялом дворе*

Я моряк, моряк любви,  
И в ее пучине бурной  
Я скитаюсь, без надежды  
Гденибудь земли коснуться.

Я плыву, ведом звездою,  
Различимой отовсюду,  
Лучезарней и прекрасней  
Всех, светивших Палинуру;

Но куда ведет, не знаю  
И скитаюсь в море смутном,  
Устремленный к ней душою  
И безгорестной, и грустной.

Возмутительная скромность,  
Благонравные причуды  
От меня ее, как тучи,  
Застылают поминутно

О, лучистое светило,  
В чьем огне светлею духом!  
Миг, когда свой лик ты скроешь,  
Мне смертельным мигом будет.

Когда певец дошел до этого места, Доротея подумала, что не следует лишать Клару удовольствия послушать такой прекрасный голос, и стала ее будить, тряся за плечи.

— Прости, малютка, — сказала она, — что я тебя бужу, но мне хочется, чтобы ты наслаждалась звуками голоса, прекраснее которого ты, быть может, не услышишь во всю свою жизнь.

Клара проснулась и сначала со сна не поняла, что ей говорит Доротея, но когда та на ее вопрос снова объяснила ей, в чем дело, Клара стала слушать. Не успела она, однако, прослушать двух стихов песни, которую юноша продолжал петь, как ее охватила такая странная дрожь, как если бы с ней случился припадок перемежающейся лихорадки; она крепко прижалась к Доротее и сказала:

— Ах, сеньора души моей и жизни, зачем вы меня разбудили? Величайшим благом для меня было бы сейчас закрыть глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать этого несчастного певца.

— Что ты говоришь, малютка? Да ведь это, говорят, поет погонщик мулов.

— Нет, это — владелец многих поместий и местечка в моем сердце, которым он владеет так прочно, что сохранит его за собой навеки, если только сам не пожелает его покинуть.

Доротей, крайне удивленная складной речью девочки, развитой, как ей казалось, не по летам, сказала ей:

— Объяснитесь, сеньора Клара, так, чтобы я могла вас понять: скажите мне ясно, что означают ваши слова о сердце, поместьях и певце, голос которого приводит вас в такое смятение? Впрочем, ничего сейчас не говорите: хоть я и готова помочь вам в вашей тревоге, мне все же не хочется лишать себя удовольствия послушать певца; он, кажется, как раз начинает новую песню и на новый мотив.

— Что ж, в добрый час, — ответила Клара и, чтобы не слышать песни, обеими руками закрыла себе уши. Доротей, которую это тоже удивило, стала внимать песне и услышала следующее:

Тебе, моей надежде,  
Которая сквозь трудности и чащи  
Идешь, тверда, как прежде,  
Намеченной стезей, тебя манящей,  
Пусть душу не тревожит,  
Что каждый шаг твой стать смертельным может.

Не суждены ленивым  
Почетные триумфы и победы,  
И не бывать счастливым  
Тому, кого не закалили беды  
И кто вверяет, хилый,  
Досужей лени вянущие силы.

Амур свои услады  
Высоко ценит, что и справедливо:  
Всех драгоценней клады,  
Которые он бережет ревниво;

И так всегда ведется:  
Негодно то, что дешево дается.

Любовное упорство  
Несбыточных свершений достигает;  
И пусть в единоборство  
С владычеством любви мой дух вступаст,  
Я все же полон веры,  
Что от земли достигну звездной сферы.

Тут песня кончилась, и Клара начала снова рыдать. Все это разожгло любопытство Доротеи, и она, желая узнать причину столь сладкого пения и столь горького плача, принялась допытываться, что означали слова Клары. Последняя, боясь как бы ее не услышала Люсинда, крепко обняла Доротею и приблизила свои губы совсем вплотную к ее уху; уверившись, что другие ее не услышат, она начала так:

— Тот, кто сейчас пел, моя сеньора, приходится родным сыном одному кабальеро родом из Арагонского королевства, владельцу двух поместий, дом которого в столице находится как раз против дома моего отца. И хотя отец всегда закрывал наши окна зимой полотняными занавесками, а летом — решетчатыми ставнями... уж я не знаю, как это случилось, но только раз этот юноша, учившийся в школе, увидел меня, — может быть, это было в церкви, а может быть, и в другом месте; одним словом, он меня полюбил и стал мне об этом толковать из окна своего дома с помощью разных знаков и бесконечных слез, и я ему поверила и тоже полюбила его, хоть еще и не знала, чего он хочет от меня. Между другими знаками у него был

такой: он соединял одну руку с другой, желая этим показать, что он хочет на мне жениться. Я была бы очень рада, если бы это случилось, но так как я жила одна, без матери, и мне никому было довериться, то и не дарила ему никаких милостей, за исключением того, что, когда моего отца не бывало дома и его отец тоже отсутствовал, я немного отодвигала занавеску или ставни, и он мог видеть меня всю; и тогда он так бурно выражал свою радость, что, казалось, он сходит с ума. Между тем, подошло время отъезда моего отца, и он узнал об этом не от меня, ибо я никак не могла ему этого сообщить. Я слышала, что он с горя заболел, так что в день нашего отъезда я не видела его и не попрощалась с ним даже взглядом. Однако, после двух дней пути, подъезжая к постоялому двору в одном селе, отстоящем отсюда на расстоянии одного дня пути, я увидела его у ворот дома: он был так искусно переодет погонщиком мулов, что если бы его образ не был запечатлен в моей душе, мне было бы невозможно его узнать. Но я его узнала, удивилась и обрадовалась; и он посмотрел на меня тайком от моего отца: он всегда от него прячется, когда попадаетея мне на глаза на дороге или в гостинице, где мы останавливаемся. И так как я знаю, кто он, и понимаю, что он странствует пешком и с такими трудностями только из за любви ко мне, то я умираю от тоски и следую глазами за каждым его шагом. Я не знаю, с каким намереньем он сопровождает нас и как удалось ему бежать из дома отца, горячо его любящего, так как он — един-

ственный наследник, да и вообще он заслуживает быть любимым, в чем ваша милость сама убедится, как только его увидит. Прибавлю еще, что все свои песни он сочиняет из собственной головы, и мне про него говорили, что он преуспевает в науках и отличный поэт. И еще знайте, что всякий раз как я его вижу или слышу его пение, я вся дрожу и трепещу от страха, что мой отец его узнает и откроет нашу любовь. За всю свою жизнь я не сказала ему ни слова, и, тем не менее, я люблю его так сильно, что жить без него не могу. Вот и все, сеньора, что я могу вам рассказать о певце, голос которого так вас очаровал; по одному пению его вы могли бы догадаться, что он не погонщик мулов, как вы говорите, а владелец поместий и сердец, как я вам это сказала.

— Этого достаточно, сеньора донья Клара, — прервала ее тут Доротея, осыпая тысячами поцелуев. — Повторяю, этого достаточно: подождите, пока наступит день, и тогда, надеюсь, дело ваше пойдет по такому пути, что счастливый конец увенчает столь непорочное начало.

— Ах, сеньора, — сказала донья Клара, — как же мне надеяться на счастливый конец, когда отец его столь знатен и богат, что он не только не позволит своему сыну жениться на мне, но даже не разрешит ему взять меня к себе в служанки? А вместе с тем я ни за что на свете не соглашусь обвенчаться с ним тайно от моего отца. Я бы хотела, чтобы этот юноша вернулся домой и оставил меня. Быть может, разлука с ним и огромное расстояние, которое ляжет между нами, немного облегчат мои теперешние стра-

дания; впрочем, я хорошо знаю, что придуманное мною лекарство поможет мне очень мало. Уж не знаю, какой дьявол в этом виноват и откуда пришла ко мне эта любовь; ведь и я еще так молода, и он так молод: кажется, мы с ним однолетки, а мне еще не исполнилось шестнадцати лет, — отец говорит, что мне будет шестнадцать в день святого Михаила.

Доротей не могла не рассмеяться, слушая, как по детски рассуждает донья Клара, и сказала ей:

— Отдохнете, сеньора; — кажется, до утра осталось совсем немного, а завтра, даст бог, чтонибудь придумаем, — я для вас постараюсь.

После этих слов она заснула, и вся гостиница погрузилась в глубокую тишину; не спали только дочка хозяйки и служанка Мариторнес, которые, зная о странном нраве дон Кихота и видя, что он как часовой на коне и в полном вооружении разъезжает вокруг гостиницы, решили вдвоем подшутить над ним или, по крайней мере, поразвлечься его бреднями.

Ни одно окно во всем доме не выходило в сторону поля, кроме слухового окошка на сеновале, через которое снаружи кидали солому. Наши полу-девы \* стали у этого оконца и увидели дон Кихота, который, сидя на коне и опершись на копые, время от времени испускал столь глубокие и горестные вздохи, что, казалось, с каждым из них у него разрывалось сердце; и слышали они, как говорил он нежным, сладким и любовным голосом:

— О госпожа моя Дульсинея Тобосская, предед всякой красоты, край и граница мудрости,



вместилище остроумия, сосуд добродетели, воплощение всего что есть благого, пристойного и отрадного на свете! Что делает сейчас твоя милость? Не вспоминаешь ли ты сейчас случайно о плененном тобой рыцаре, который добровольно подвергает себя стольким опасностям единственно для того, чтобы служить тебе? О, принеси ты мне весть о ней, трехликое светило \*! Быть может, в эту минуту ты с завистью смотришь ей в лицо, в то время как она прохаживается по галерее своего пышного дворца или стоит опершись грудью на перила балкона и думает, как ей поступить, чтобы без ущерба для своего величия и чести смягчить муки, которые ради нее претерпевает мое удрученное сердце; и размышляет она, каким увенчать меня блаженством за страдания, какой утехой за безутешность, какой жизнью за смерть, какой наградой за службу! И ты, солнце, уже спешащее запрячь коней, чтобы выйти на заре навстречу моей госпоже, молю тебя: когда ты ее увидишь, передай ей привет от меня !Но, глядя на нее с приветствием, остерегись лобзать ее лицо, — не то я приревную ее к тебе еще больше, чем ты ревновал быстроногую и бесчувственную деву, за которой в поте лица бегал по равнинам Фессалии или по берегам Пеней (не помню твердо, где именно), влюбленный и ревнивый \*.

Когда дон Кихот дошел до этого места своей трогательной речи, дочь хозяйки тихонько подзвала его и сказала:

— Сеньор, будьте любезны ваша милость, подойдите сюда!

На ее знаки и голос дон Кихот повернул голову и при свете луны, которая все заливала своим сиянием, увидел, что кто то подзывает его из слухового окошка (а окошко это показало ему большим окном с золоченой решеткой, какие бывают в богатых замках, ибо, как мы знаем, он принимал гостиницу за замок), и его безумному воображению тотчас же представилось, как и в прошлый раз, что прекрасная дочь владелицы замка, охваченная страстью к нему, снова добивается его любви. Подумав это и не желая, чтобы его сочли неучтивым и невнимательным, он повернул Росинанта, подъехал к слуховому оконцу и, обратившись к девушкам, сказал:

— Я очень жалею, прекрасная сеньора, что вы обратили ваши мысли на человека, который не может ответить вам так, как того заслуживают ваша любезность и великие достоинства. Но вы не должны винить в этом несчастного страстующего рыцаря, ибо любовь не позволяет ему служить никому другому - кроме дамы, которая с той самой минуты, как ее увидели его глаза, сделалась полновластной владычицей его души. Простите же мне, добрая сеньора, удалитесь к себе в покои и не изъявляйте мне больше ваших чувств, ибо иначе вы заставите меня выказать вам еще большую невнимательность. Но если, несмотря на вашу любовь ко мне, я могу чемнибудь другим, кроме самой любви, удовлетворить ваши желания, попросите меня, и клянусь вам именем отсутствующего моего нежного врага я исполню немедленно вашу просьбу, даже если бы вы потребовали от меня

прядь волос Медузы, сплетенную из змей, или лучи солнца, заключенные в склянку.

— Ничего такого моей госпоже не нужно, сеньор рыцарь, — прервала его тут Мариторнес.

— А что же нужно вашей госпоже, учитывая дуэнья? — спросил дон Кихот.

— Она просит только, чтобы вы протянули ей одну из ваших прекрасных рук, — отвечала Мариторнес, — ибо прикосновение ее успокоит страсть, побудившую ее с опасностью для чести показаться в этом окошке: ведь если сеньор ее отец узнает о ее поступке, он по меньшей мере отрежет ей ухо.

— Хотел бы я это видеть! — воскликнул дон Кихот. — Пусть он только посмеет это сделать, и его постигнет такой плачевный конец, какой не постигал еще ни одного отца на свете, державшего поднять руку на нежные члены своей влюбленной дочери!

Мариторнес, убедившись, что дон Кихот исполнит ее просьбу и протянет руку, быстро сообразила, что ей надо сделать: она спустилась вниз, побежала в конюшню, взяла там уздечку осла Санчо Пансы и с большим проворством вернулась в ту самую минуту, когда дон Кихот, став обеими ногами на седло Росинанта и, дотянувшись, как он воображал, до решетчатого окна, за которым сидела раненая любовью девица, уже протянул ей руку со словами:

— Примите, сеньора, эту руку или, лучше сказать, этот бич всех злодеев на свете. Примите, повторяю, руку, к которой ни одна женщина еще не прикасалась, не исключая той, которая безраздельно владеет всем моим суще-

ством. Я протягиваю ее вам не для того, чтобы вы ее облобызали,—нет, посмотрите на сплетение ее сухожилий, строение мускулов, ширину и крепость жил; судите же теперь, какой силой должна обладать рука, у которой такая кисть.

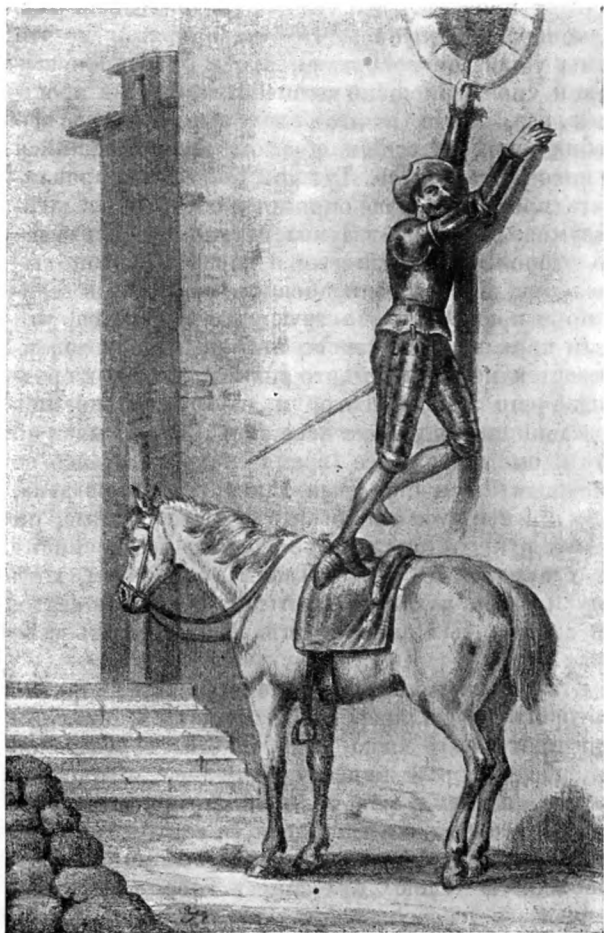
— Сейчас мы увидим это, — ответила Мариторнес.

И, сделав мертвую петлю на уздечке, она накинула ее на кисть руки дон Кихота, а затем, отбежав от слухового окна, крепко привязала другой конец уздечки к засову на двери сеновала. Почувствовав в руке боль от стиснувшего ее ремня, дон Кихот сказал:

— Мне кажется, что ваша милость не гладит мне руку, а трет ее теркой. Не обращайтесь с ней так сурово: она не виновна в страданиях, которые причиняет вам моя холодность. Не следует обрушивать на столь малую часть моего тела весь ваш гнев. Знайте, что кто любит не должен мстить так жестоко.

Но никто уже не слушал речей дон Кихота, ибо, как только Мариторнес привязала его, обе девицы убежали, помирая со смеху, и оставили его в таком положении, что ему невозможно было освободиться.

Как мы уже сказали, наш рыцарь стоял во весь рост на Росинанте, просунув руку в слуховое оконце, и кисть его руки была привязана уздечкой к дверному засову; он пребывал в великом страхе и тревоге, так как при малейшем движении Росинанта в правую или левую сторону он наверное повис бы на одной руке: поэтому он боялся пошевелиться и надеялся только на то, что Росинант так спокоен и терпелив, что



сможет простоять неподвижно хоть целый век. Наконец, догадавшись, что он привязан и что дамы ушли, он вообразил, что в этом происшествии снова замешано волшебство, как и в прошлый раз, когда в этом же самом замке его избил мавр, чудесным образом превратившийся в погонщика мулов. Тут дон Кихот стал проклинать про себя свою опрометчивость и неблагоприятие: зачем он вздумал остановиться в замке во второй раз, когда уже в первый раз он вышел оттуда в столь плачевном виде? Ведь сказано в правилах странствующего рыцарства, что если приключение какого нибудь рыцаря заканчивается неудачно, то это значит, что оно предназначено для другого, и, следовательно, нет нужды приниматься за него снова! Раздумывая об этом, он дергал все время руку, стараясь ее освободить, но она была так крепко привязана, что все его усилия были тщетны. Правда, он тянул руку осторожно, боясь, как бы Росинант не сдвинулся с места. Таким то образом, хоть ему и очень хотелось спуститься и сесть в седло, он должен был либо стоять, либо оторвать себе руку.

Стал он тут мечтать о мече Амадиса, против которого бессильны все заклинания; стал он тут проклинать свою судьбу; стал горевать об ущербе, который нанесет миру его отсутствие за все то время, что он проведет здесь зачарованным (а что он зачарован, — в этом он был убежден твердо); стал он снова вспоминать возлюбленную свою Дульсинею Тобосскую; стал призывать своего доброго оруженосца Санчо Пансу, который в это время, растянувшись на

седле своего осла, спал таким глубоким сном, что не помнил даже о матери, родившей его на свет; стал взывать к помощи мудрецов Лиргандео и Алькифе; стал молить свою добрую приятельницу Урганду заступиться за него. Когда же, наконец, наступило утро, дон Кихот пришел в такое отчаянье и смятение, что заревел быком, потому что уже не надеялся, что с приходом дня кончится его бедствие: ему казалось, что он прочно заколдован и что муки его продлятся вечно. Эта уверенность возрастала в нем еще и потому, что Росинант за все это время ни разу не шелохнулся, и вот, он думал, что суждено и ему и его коню простоять так, не пивши, не евши и не спавши, пока не кончится злое влияние созвездий или пока не расколдует его другой, более мудрый волшебник.

Но он очень ошибся в своих предположениях, ибо как только стало рассветать, к постоялому двору подъехало четыре всадника, отлично одетых и снаряженных, с мушкетами у седельных луков. Ворота гостиницы были еще заперты, и приехавшие стали громко стучать; дон Кихот, продолжавший, несмотря ни на что, исполнять обязанности часового, завидел их и закричал громким и гневным голосом:

— Рыцари, оруженосцы или кто бы вы ни были, перестаньте стучать в ворота этого замка! Разве вам не ясно, что в такую раннюю пору обитатели его еще спят и что ворота крепостей открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами? Ступайте прочь и погодите, пока наступит день, а тогда мы посмотрим, следует ли вас впускать или нет.

— Что это за чортова крепость или замок, — сказал один из всадников, — и какие тут еще могут быть церемонии? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли: мы — путешественники, нам нужно дать овса лошадям и ехать дальше, — мы очень торопимся.

— Неужели вам, кабальеро, кажется, что я похож на хозяина постоялого двора? — спросил дон Кихот.

— Не знаю я, на кого вы похожи, — отвечал всадник, — знаю только, что вы мелете вздор, называя гостиницу замком.

— Да, это замок, — сказал дон Кихот, — да еще один из самых лучших в этих краях, и находятся в нем люди, которые носили в руке скипетр, а на голове — корону.

— Было бы лучше, — ответил путешественник, — если бы у них был скипетр на голове, а корона на руках\*; должно быть, просто на просто там находится труппа комедиантов, у которых, как известно, часто бывают и короны и скипетры, ибо я не думаю, чтобы в такой маленькой гостинице, погруженной в полную тишину, ночевали особы, достойные скипетра и короны.

— Плохо вы знаете свет, — возразил дон Кихот, — если вам неведомы приключения, случающиеся со странствующими рыцарями.

Спутникам всадника, вступившего в разговор с дон Кихотом, этот спор, наконец, надоел, и они снова с такой яростью принялись стучать в ворота, что все находившиеся в гостинице проснулись, и хозяин вышел узнать, кто



там стучит. В это время случилось, что одна из четырех лошадей всадников подошла и стала обнюхивать Росинанта, который стоял опустив уши, грустный и задумчивый, и не шевелясь поддерживал своего повисшего господина. Но хоть он и казался деревянным, все же в жилах его текла кровь: он не остался нечувствительным к ласке и в свою очередь потянулся, обнюхать приятеля. Но как только он сделал легкое движение, ноги дон Кихота разбегались и соскользнули с седла, так что он грохнулся бы об землю, если бы не повис на уздечке. Сразу же он почувствовал ужасную боль, словно ему резали кисть или вырывали руку из плеча. Он висел так низко от земли, что касался ее ногами, но от этого ему было только хуже: ибо, видя, что еще немного и он сможет стать на землю всей ступней, он изо всех сил старался дотянуться до земли, в роде людей, подвергаемых пытке с блоком когда они сами увеличивают свои страдания, сиюсь вытянуться, ибо их обманывает надежда упереться ногами в землю.

## ГЛАВА XLIV

*в которой продолжают неслыханные происшествия на постоялом дворе*



вот, дон Кихот завопил так, что хозяин гостиницы, поспешно отперев ворота, в страхе выбежал узнать, откуда несутся эти крики; за ним последовали и люди находившиеся перед гостиницей. Мариторнес, разбуженная этими воплями, догадалась в чем дело, побежала на сеновал и тайком от всех отвязала уздечку, на которой висел дон Кихот; тот шлепнулся на землю на глазах у хозяина и у путешественников, которые, обступив его, стали спрашивать, что с ним и почему он так кричит. Наш рыцарь, не отвечая ни слова, развязал на своей руке петлю, поднялся на ноги, вскочил на Росинапта, прикрылся щитом, взял копьцо на перевес и, отъехав для разгона на порядочное расстояние, вернулся полу-галопом и закричал:

— Всякого кто скажет, что околдование мое было правым делом я с позволения моей гос-

пожи принцессы Микомиконы объявляю лжецом, требую к ответу и вызываю на поединок!

Эти слова дон Кихота очень удивили новоприбывших; но они перестали удивляться, когда хозяин объяснил им, кто такой дон Кихот, и посоветовал не обращать на него внимания, так как он не в своем уме. Тогда они спросили хозяина, не заходил ли случайно к нему в гостиницу юноша лет пятнадцати в платье погонщика мулов; при этом они сообщили все приметы поклонника доньи Клары. Хозяин ответил, что у него сейчас столько постояльцев, что он не помнит, есть ли среди них тот, о ком они спрашивают. В это время один из всадников заметил карету, в которой приехал аудитор, и сказал:

— Ну конечно, он должен быть здесь: вот карета, за которой, как нам говорили, он следует. Пусть один из нас станет у ворот, а остальные пусть войдут и поищут его, а еще лучше, если один из нас будет ходить вокруг гостиницы, так как он может перелезть через забор двора и убежать.

— Все будет исполнено, — ответил всадник.

И вот, двое из них вошли в гостиницу, третий остался у ворот, а четвертый стал ходить вокруг гостиницы. Хозяин, глядя на них, никак не мог догадаться, с какой целью они все это проделывают, хоть он отлично понимал, что они ищут юношу, приметы которого они ему описали.

К этому времени уже совсем рассвело, и солнечные лучи, а также суматоха, поднятая дон Кихотом, разбудили постояльцев, которые начали вставать. Раньше всех поднялись донья

Клара и Доротея: одна была взволнована тем, что ее возлюбленный находится так близко, другая горела желанием поскорей увидеть своего, и поэтому они обе очень плохо спали в эту ночь. Дон Кихот, видя, что ни один из четырех всадников не обращает на него внимания и не принимает его вызова, выходил из себя от бешенства и досады, и если бы только он мог отыскать в уставе своего рыцарского ордена пункт, разрешающий странствующему рыцарю пускаться и отваживаться на новые подвиги несмотря на то, что он дал слово воздерживаться от них, пока не закончит прежде начатого им предприятия, он бы наверное напал на них всех вместе и заставил бы их волей неволей принять вызов. Однако, ему казалось неприличным и неподобающим начинать новые приключения, пока принцесса Микомикона еще не водворена на свой престол, и поэтому ему пришлось замолчать, успокоиться и ждать, чем кончатся тщательные поиски новоприбывших. Наконец один из них нашел розыскиваемого юношу: он спал рядом с другим погонщиком, и даже в мыслях не имел, что его ищут, а тем более,—что его могут найти. Человек этот схватил его за руку и сказал:

— Поистине, сеньор дон Луис, ваша одежда вполне соответствует вашему положению, и ложе, на котором я вас нахожу, вполне достойно той роскоши, в которой вас воспитала ваша матушка.

Юноша протер заспанные глаза, долго смотрел на того, кто держал его за руку, и, узнав в нем, наконец слугу своего отца, так перепугался,

что долгое время не мог выговорить слова. Слуга между тем продолжал:

— Вам ничего другого не остается, сеньор дон Луис, как запастись терпением и возвратиться домой, если только вашей милости не угодно, чтобы ваш батюшка, мой господин, отправился на тот свет, ибо ваше исчезновение повергло его в такую скорбь, что ничем другим это кончиться не может.

— Но как отец узнал,—спросил дон Луис,— что я отправился в эту сторону и в таком платье?

— Один школяр, которого вы посвятили в свой план,—отвечал слуга,—сообщил нам об этом, сжалившись над отчаяньем вашего батюшки, и тогда господин мой тотчас же отправил в погоню за вами четверых из своих слуг; мы все тут и ждем ваших приказаний. Наша радость не поддается описанию при мысли, как будет счастлив ваш батюшка, когда мы привезем ему его горячо любимого сына.

— Будет так, как я этого пожелаю или как прикажет небо,—отвечал дон Луис.

— Чего же вы можете желать и что может приказать небо? Вы должны согласиться вернуться,—ничего другого быть не может.

Погонщик, спавший рядом с дон Луисом, слышал весь этот разговор и, поднявшись, побежал рассказать о случившемся дон Фернандо, Карденио и остальным, которые тем временем уже успели одеться; он передал все содержание разговора и сообщил, что незнакомец называет юношу *доном* и хочет отвезти его домой, а тот не соглашается. Все это вызвало у присутствующ-

щих сильное желание узнать поближе юношу, которому небо дало такой прекрасный голос, и помочь ему, в случае если незнакомцы попытаются учинить над ним насилие; они поспешили к нему и увидели, что он все еще разговаривает и спорит со своим слугой. В это время из комнаты вышла Доротея, а за ней взволнованная донья Клара, и Доротея, отозвав в сторону Карденио, в кратких словах изложила ему историю доньи Клары и певца, а он в свою очередь сообщил ей о прибытии слуг, посланных отцом на поиски юноши. Но как тихо он ни говорил, донья Клара все же его услышала и пришла в такое смятение, что, не подхвати ее Доротея, она бы упала на землю. Карденио посоветовал Доротее увести девушку в комнату, обещав ей все уладить,— и они его послушались.

Все четверо слуг, прибывших за доном Луисом, уже вошли в гостиницу и, окружив юношу, уговаривали его, не медля долее, вернуться утешить отца. Он же отвечал, что никак не может это сделать, пока не закончит одного дела, от которого зависит его честь, жизнь и душа. А слуги настаивали, говоря, что они ни за что не вернутся без него и увезут его, хочет он того или не хочет.

— Этого вы не сделаете,— сказал дон Луис,— разве только увезете мой труп, ибо увести меня отсюда значит лишить меня жизни.

В это время на спор их сбежались все постояльцы гостиницы, в том числе Карденио, дон Фернандо, его спутники, аудитор, священник, цырюльник и дон Кихот (ибо последний

решил, что ему уже незачем более охранять замок). Карденио, осведомленный об истории юноши, спросил слуг, почему они желают увести его насильно.

— Мы хотим вернуть жизнь отцу этого кабальеро,—ответил один из четырех,—ибо отсутствие его может причинить ему смерть.

На что дон Луис возразил:

— Незачем тут рассказывать о моих личных делах; я свободен, и если мне захочется,—вернусь, а не захочется — никто из вас не посмеет меня заставить.

— Благоразумие заставит вашу милость,—ответил слуга,—а если у вашей милости его недостаточно, то его хватит у нас, чтобы сделать то, что предписывает нам долг.

— Следовало бы выяснить, в чем тут дело,—сказал аудитор.

Тогда слуга, узнавший в нем соседа своего господина, спросил:

— Разве ваша милость сеньор аудитор не узнает этого кабальеро, сына вашего соседа? Он бежал из дома отца в одежде не приличествующей его званию, как ваша милость может убедиться в этом своими глазами.

Аудитор посмотрел внимательнее на юношу и, узнав его, заключил в свои объятия со словами:

— Что это за ребячество, сеньор дон Луис? Какие важные причины побудили вас отправиться в путь в наряде, столь мало подобающем вашему званию?

У юноши выступили на глазах слезы, и он ни слова не мог ответить аудитору; тогда тот приказал слугам успокоиться, заверив их, что

все кончится благополучно, затем, взяв за руку дон Луиса, отвел его в сторону и спросил, что означает его появление в этих местах. В то время как он его подробно расспрашивал, у ворот гостиницы раздались громкие крики, а раздалась они потому, что два постояльца, проводившие эту ночь в гостинице, заметили, что вся компания занята делами четырех новопривывших, и решили улизнуть, не заплатив за ночлег. Но хозяин, для которого свои интересы были важнее чужих, поймал их у ворот и потребовал платы, понося их такими бранными словами, что те в ответ пустили в ход кулаки и принялись колотить его так, что несчастный стал кричать и звать на помощь. Хозяйка и ее дочь не видели никого, кто бы был не занят и мог помочь бедняге, кроме дон Кихота, и потому хозяйская дочка обратилась к нему со словами:

— Ваша милость, сеньор рыцарь, если бог наградил вас силой, так помогите моему бедному отцу, которого эти злодеи молотят как рожь.

На что дон Кихот ответил медленно и с большим спокойствием:

— Прекрасная девица, в настоящее время я не в состоянии исполнить вашу просьбу, ибо я не в праве начинать новые приключения, пока не завершу того, к чему меня обязывает данное мною слово. Но чтобы услужить вам, я могу сделать следующее: бегите и скажите вашему отцу, чтобы он бился как можно смелее и ни в коем случае не сдавался, а я тем временем попрошу разрешения у принцессы Микомиконы помочь ему в беде; если она мне позво-



лит, вы можете быть уверены, что я его выручу.

— Ах, грехи наши! — воскликнула Мариторнес, стоявшая тут же. — Да прежде чем ваша милость получит это самое разрешение, мой господин будет уж на том свете!

— Только бы, сеньора, мне получить это разрешение, — ответил дон Кихот, — а уж там безразлично, будет ваш господин на этом свете или на том: я его и оттуда верну, хотя бы весь тот свет на меня ополчился, или, по крайней мере, так отомщу тем, кто его туда отправил, что вы будете вполне удовлетворены.

С этими словами он преклонил колени перед Доротеей и стал просить ее влчество на рыцарском и странствующем языке соизволить дать ему разрешение помочь владельцу замка, который сейчас бьется в жесточайшем бою. Принцесса охотно дала свое согласие, и дон Кихот, прикрывшись щитом и схватив меч, тотчас же устремился к воротам гостиницы, у которых два постояльца продолжали колотить хозяина. Но приблизившись, он остановился и замер на месте, хотя Мариторнес и хозяйка кричали ему, чтобы он не медлил и поскорее помог их господину и супругу.

— Я медлю потому, — сказал дон Кихот, — что мне не подобает поднимать меч против низкого люда. Позовите сюда моего оруженосца Санчо, ибо ему подобает и приличествует защита и отмщение в таких случаях.

Вот что происходило в воротах гостиницы, Удары и пинки так и сыпались на злополучного хозяина, метко попадая в цель и увеличи-

вая ярость и отчаяние Мариторнес, хозяйки и ее дочки, которые выходили из себя, видя, как дон Кихот трусит, в то время как их господину, супругу и отцу приходится плохо. Но оставим его пока (будем надеяться, что ктонибудь ему поможет, а нет,—так пусть его терпит и молчит: поделом тому, кто лезет в драку не рассчитав своих сил), а лучше отойдем назад шагов на пятьдесят и послушаем, что ответил дон Луис аудитору. Мы расстались с последним в ту минуту, когда он спрашивал юношу о причине его путешествия пешком в столь недостойном одеянии. Дон Луис в ответ крепко схватил его за обе руки, как бы желая этим показать, что у него на сердце большое горе, и, проливая потоки слез, сказал:

— Сеньор мой, я вам признаюсь, что с той самой минуты, когда небо пожелало, а соседство с вами позволило, чтобы я увидел сеньору донью Клару, вашу дочь и мою госпожу, с того самого мгновения она стала владычицей моего сердца; и если вы, истинный отец мой и господин, не воспротивитесь, она сегодня же станет моей супругой. Ради нее я покинул дом отца, ради нее переоделся в это платье, чтобы следовать за ней, куда бы она ни отправилась,—как стрела следующая к своей цели, как мореход, следящий за компасом. О любви моей она ничего не знает, если только, увидев издали несколько раз на глазах моих слезы, она не догадалась, что я ее люблю. Вам известны, сеньор, знатность и богатство моих родителей, и вы знаете также, что я единственный наследник. Если этих счастливых обстоятельств достаточно,



чтобы вы решились осчастливить меня вполне, назовите меня немедленно своим сыном, и если мой отец, побуждаемый иными намерениями, не захочет оценить сокровище, которое я нашел, то вспомните, что время, которое все разрушает и все меняет, сильнее человеческих желаний.

Сказав это, влюбленный юноша замолчал, меж тем как аудитор стоял в смущении, замешательстве и изумлении, пораженный рассудительностью, с которой дон Луис открыл ему свои чувства, и не зная, как ему поступить в таком внезапном и неожиданном деле. Поэтому он вместо ответа только попросил дон Луиса успокоиться и убедить слуг не увозить его сегодня, обещав, что он тем временем подумает, как уладить дело к общему удовольствию. Дон Луис насильно поцеловал ему руки и облил их слезами: и мраморное сердце смягчилось бы от такого поступка, не только сердце аудитора; последний же, как человек умный, понимал, насколько союз этот выгоден для его дочери. Но все же он предпочитал, чтобы этот брак произошел, если только возможно, с согласия отца дон Луиса; который, как он знал, желал добыть сыну высокий титул.

К этому времени постояльцы уже помирились с хозяином и заплатили ему все, что тот требовал, не столько из за его угрозы, сколько из за уговоров и разумных доводов дон Кихота; а слуги дон Луиса поджидали, чем кончится разговор с аудитором и какое решение примет их господин. Но в эту минуту дьявол, который не дремлет, привел в гостиницу того самого дырюльника, у которого дон Кихот отнял шлем

Мамбрина, а Санчо Панса снял упряжь с осла, обменяв ее на ту, что была у него. И вот цырюльник, приведя своего осла в конюшню, застал там Санчо Пансу, который возился с седлом и, сразу узнав свое добро, набросился на него и закричал:

— А, дон воришка, теперь вы попались! Давайте ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили!

Почувствовав столь внезапный натиск и услышав брань, Санчо одной рукой ухватился за седло, а другой влепил цырюльнику такой удар кулаком, что у того весь рот залился кровью; но, несмотря на это, цырюльник не выпускал из рук добычи, то есть седла, и кричал так громко, что все находившиеся в гостинице прибежали на шум. Цырюльник взывал:

— Правосудие, сюда, именем короля! Я забираю обратно свое добро, а этот вор, этот разбойник с большой дороги хочет меня убить!

— Врешь, — отвечал Санчо, — я не разбойник с большой дороги, и эту добычу завоевал в честном бою мой господин дон Кихот.

Дон Кихот стоял и с большим удовольствием смотрел, как нападает и обороняется его оруженосец, в эту минуту он решил, что Санчо — храбрец; и подумал про себя, что при первом же подходящем случае его следует посвятить в рыцари, ибо он может хорошо послужить рыцарскому ордену. А цырюльник, споря с Санчо Пансой, между прочим сказал следующее:

— Чго седло это мое, сеньоры, это так же верно, как то, что бог пошлет мне смерть; я знаю его так хорошо, как если б сам его

родил. Да вот, здесь в стойле находится мой осел, который не станет лгать; не верите, так при- мерьте сами: если седло не придется как по мерке, зовите меня мошенником. Больше скажу: в тот самый день, как исчезло мое седло, они утащили еще мой медный бритвенный таз, со- всем новенький и не бывший в употреблении, ценой в один эскудо.

Тут дон Кихот не мог больше сдерживаться: он стал между спорящими, рознял их и, поло- жив седло на землю, так чтобы оно было у всех на виду, пока не выяснится, на чьей стороне правда, произнес:

— Сеньоры, вам сейчас станет ясно и оче- видно заблуждение, в котором пребывает этот добрый оруженосец, называя бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою, и с тех пор я его законный и непререкаемый владеец! Что же касается седла, то до него мне дела мало. Скажу только, что мой оруже- носец Санчо Панса попросил у меня разреше- ния снять сбрую с коня этого побежденного труса и надеть ее на своего; я ему это позволил, и он ее снял. А если теперь сбруя превратилась в седло, то я объясняю себе это не иначе, как обычными превращениями, какие в рыцарских историях случаются постоянно. Чтобы подтвер- дить все это, сбегай ка, сынок Санчо, и принеси сюда шлем, который этому доброму человеку представляется бритвенным тазом.

— Чорт возьми, сеньор, — отвечал Санчо, — если у нас нет других доказательств нашей пра- воты, то окажется, что шлем Малина такой же

бритвенный таз, как и сбруя этого молодчика,—ослиное седло!

— Делай что тебе приказывают,—сказал дон Кихот. — Не все же, наконец, в этом замке заколдовано!

Санчо сходил за тазом, принес его, и как только дон Кихот его увидел, он взял его в руки и сказал:

— Судите сами, сеньоры, какова наглость этого оруженосца, утверждающего, что это не шлем, а бритвенный таз. Клянусь рыцарским орденом, к которому принадлежу, это тот самый шлем, который я у него отнял, и с тех пор я ничего к нему не прибавил и ничего от него не убавил.

— Да уж это верно,—сказал тут Санчо,—потому что с того самого дня, как мой господин его завоевал, он сражался в нем один только раз, когда освобождал несчастных, закованных в цепи; и не будь тогда на нем этого тазового шлема, пришлось бы ему плохо, потому что в этом бою камни на нас так и сыпались.

## ГЛАВА XLV

*В которой окончательно рассеиваются сомнения относительно шлема Мамбрина и седла и рассказывается о других, весьма правдивых происшествиях*



у что скажут ваши милости,—спросил цырюльник, — насчет заявления этих господ, уверяющих, что это не бритвенный таз, а шлем?

— А кто скажет противное,—воскликнул дон Кихот,—то если он рыцарь, я докажу ему, что он лжет, а если оруженосец — что он тысячу раз лжет!

Наш цырюльник, присутствовавший при этой сцене и знавший характер дон Кихота, решил поощрить его сумасбродство и для общей потехи продлить эту шутку; поэтому, обратившись к чужому цырюльнику, он сказал:

— Сеньор цырюльник, или кто бы вы ни были, знайте, что я ваш собрат по ремеслу, что уже больше двадцати лет у меня имеется на то диплом, и нет такой бритвенной принадлежно-



сти, которая не была бы мне хорошо знакома; а вместе с тем я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шлем, шишак, закрытый шлем и прочие предметы, относящиеся к военному делу, иначе говоря все виды оружия. Так вот, если нет возражений (пусть кто может меня поправить), я утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, отнюдь не бритвенный таз и столъ же от него далек, как белый цвет от черного и правда от лжи. Прибавлю, однако, что хоть это и шлем, но он не цельный.

— Конечно не цельный, — сказал дон Кихот, — потому что у него нет половины, а именно набородника.

— Совершенно верно, — подхватил священник, догадавшись о намерении своего друга цырюльника.

То же самое подтвердили Карденио, дон Фернандо и его спутники; даже аудитор, не будь он так погружен в раздумье относительно случая с дон Луисом, и тот принял бы участие в этой шутке однако, серьезные мысли так его поглотили, что он почти совсем не обращал внимания на эти забавы.

— Господи помилуй! — воскликнул одураченный цырюльник. — Как же это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем? Такой случай мог бы привести в изумление целый университет, при всей его учености. Ну, что ж, если мой таз — шлем, так и седло, видно, окажется сбруей как утверждает этот сеньор.

— По моему, это седло, — ответил дон Кихот. —

Впрочем, я уже сказал, что в это дело не вмешиваюсь.

— Седло это или сбруя, должен решить сеньор дон Кихот, — сказал священник, — ибо во всем, что относится к рыцарскому делу, и я и все эти сеньоры считаем его знатоком.

— Клянусь богом, сеньоры, — сказал дон Кихот, — я дважды останавливался в этом замке, и в нем случилось со мной столько удивительных приключений, что о чем бы вы ни спросили меня из относящегося к нему, я не решусь дать вам уверенный ответ, ибо по моему мнению все происходящее здесь творится силою волшебства. В первый раз мне очень досаждал живущий в этом замке очарованный мавр, да и Санчо немало претерпел от его пособников, а этой ночью я почти два часа провисел подвешенный за руку, и так и не знаю, как и почему свалилось на меня это бедствие. Поэтому высказывать свое мнение в делах столь запутанных было бы с моей стороны опрометчиво. По поводу заявления, что это не шлем, а таз, я уже ответил, что же касается седла или сбруи, я не решаюсь утверждать что либо определенное. Предоставляю это дело вашему разумению, сеньоры: быть может, именно потому, что вы не посвящены, подобно мне, в рыцари, волшебные силы этого замка не имеют над вами власти, ваш разум свободен и вы в состоянии видеть вещи, происходящие в этом замке, так, как они есть в действительности и на самом деле, а не как они мне кажутся.

— Несомненно, — ответил на это дон Фернандо, — сеньор дон Кихот говорит совершенно

правильно: наше дело решить этот вопрос. И чтобы действовать вполне основательно, я тайно соберу голоса этих сеньоров и потом дам ясный и точный отчет о том, что получится.

Те, кто знал причуды дон Кихота, потешались от всей души, но тем, кто их не знал, вся эта история казалась величайшей нелепостью на свете: так думали четверо слуг дон Луиса, сам дон Луис и еще три путешественника, как раз в это время прибывшие в гостиницу (по виду их можно было принять за стрелков, какими они впоследствии и оказались). Но особенно сокрушался цырюльник, у которого на глазах бритвенный таз превратился в шлем Мамбринга; он не сомневался, что и седло его сейчас превратится в роскошную конскую сбрую. Все же остальные хохотали при виде того, как дон Фернандо ходит и по очереди собирает у всех голоса: каждому он говорил на ухо, просил сообщить, чем ему представляется сокровище, из за которого завязалась такая распря—седлом или конской сбруей. Наконец, отобрав голоса у всех, знавших дон Кихота, дон Фернандо громко заявил:

— Так вот как обстоит дело, почтеннейший. Я устал собирать голоса, потому что все, кого я ни спрашивал об этом предмете, отвечали мне одно: что нелепо называть седлом то, что на самом деле сбруя да еще с породистого коня; так что уж вам придется с этим примириться, ибо, как ни неприятно это вам или вашему ослу, это сбруя а не седло, и все ваши доводы и доказательства признаны неудовлетворительными.

— Пусть я не попаду в царствие небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь; пусть душа моя не предстанет перед лицом господа бога, если это сбруа а не седло. Вижу я теперь, для царей закон не писан! Право же, я не пьян: если я чем сегодня утром и погрешил, то уж никак не завтраком!

Простодушие цырюльника забавляло всех не меньше, чем бредни дон Кихота, который заявил:

— Что же, теперь остается только каждому забрать то, что ему принадлежит. Что бог даровал, то и святой Петр благословит.

Один из четырех слуг сказал:

— Если только это не преднамеренная шутка, я никак не могу поверить, чтобы люди столь с виду разумные могли говорить и утверждать, что это не таз и не седло. Но раз они явно говорят и утверждают вещи, противные простому опыту и истине, я заключаю из этого, что здесь скрывается какая то тайна, потому что — хоть вы все тут лопните (так он и сказал), — а ни один человек на свете не заставит меня поверить, что это не цырюльничий таз и не седло осла!

— Может быть, это седло и не осла, а ослицы, — сказал священник.

— Какая тут разница? — отвечал слуга. — Дело не в этом, а в том, седло это или не седло.

Услыхав это, один из новоприбывших стрелков, присутствовавший при этой распре и диспуте, в гневе и досаде воскликнул:

— Это седло, не будь я сыном своего отца! А кто говорит или скажет противное, тот пьян как винная бочка.

— Вы ждете как низкий негодяй! — сказал дон Кихот и, подняв свое копьцо, которое ни на минуту не выпускал из рук, так трахнул им, целясь в голову, что если бы стрелок не уклонился во время, то он наверное бы свалился на землю. Копье, ударившись в землю, разлетелось в щепки, а остальные стрелки, увидев, как обращаются с их товарищем, стали требовать повиновения Санта Эрмандал.

Хозяин гостиницы, состоявший тоже членом этого братства, побежал за своим жезлом и шпагой, и вернувшись примкнул к своим товарищам; слуги дон Луиса окружили своего господина, опасаясь, как бы он не удрал, воспользовавшись суматохой; цырюльник, увидев, что весь дом пошел вверх дном, ухватился за свое седло; то же самое сделал и Санчо; дон Кихот обнажил свою шпагу и напал на стрелков; дон Луис кричал слугам, чтобы они оставили его и бежали на помощь дон Кихоту и его сторонникам — Карденио и дон Фернандо; священник кричал, хозяйка орала, дочка хозяйки вопила, Мариторнес плакала, Доротея растерялась, Люсинда перепугалась, донья Клара упала в обморок. Цырюльник лупил Санчо; Санчо колотил цырюльника; дон Луис, которого один из слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не убежал, дал ему такую зуботычину, что у того весь рот залился кровью; аудитор стал его защищать; дон Фернандо повалил на землю одного из стрелков и с большим удовольствием топтал его ногами; хозяин кричал все громче, зовя на помощь Санта Эрмандал; словом, всю гостиницу наполнили плач, крики, вопли, смятенье, страх, переполох,

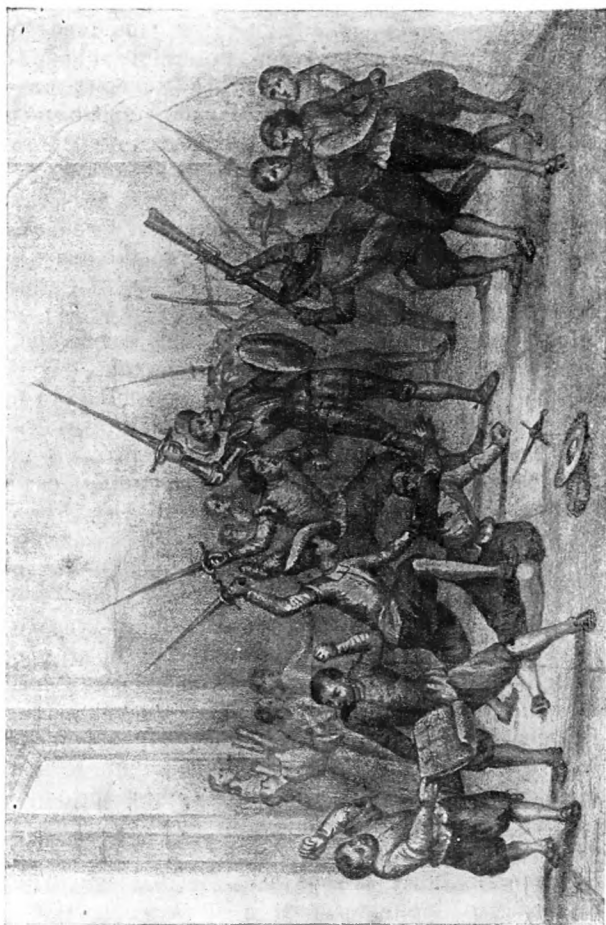
бедствие, удары шпаг и палок, тумачи, пинки и кровопролитие. В самый разгар этой неразберихи, хаоса и путаницы, дон Кихот вообразил, что он неожиданно-негаданно очутился среди жесточайшего раздора в лагере Аграманте \*, и поэтому громким голосом, прогремевшим по всему постоялому двору, закричал:

— Остановитесь! Вложите мечи в ножны! Успокойтесь! Слушайте меня все, если вам дорога жизнь!

Услышав его громовой голос, все утихло, и он продолжал:

— Не говорил ли я вам, сеньоры, что этот замок заколдован и что несомненно в нем обитает целый легион демонов? В подтверждение этого я хочу, чтобы вы убедились собственными глазами, что распря в лагере Аграманте перенеслась сюда и снова завязалась между нами. Посмотрите, все здесь сражаются: одни из за меча, другие из за коня, третьи из за орла, четвертые из за шлема, — все мы сражаемся и ни один не понимает другого. Пожалуйте сюда, ваша милость сеньор аудитор, и вы, ваша милость сеньор священник: пусть один из вас будет королем Аграманте, а другой — королем Собрино, и заключите между собою мир. Клянусь всемогущим богом, для нас, людей благородного звания, величайший позор — убивать друг друга из за столь ничтожных поводов.

Стрелки, ничего не понимавшие в речах дон Кихота, не желали успокоиться, так как дон Фернандо, Карденио и его приятели сильно их поколотили; цырюльник, напротив, только этого и хотел, ибо во время потасовки ему вырвали



бороду и потрепали седло; Санчо, как добрый слуга, повиновался по первому же слову своего господина; слуги дон Луиса немедленно перестали драться, сообразив, что эта история нимало их не касается; и только хозяин продолжал настаивать на том, чтобы наказали дерзость этого сумасшедшего, который при всяком удобном случае переворачивает вверх дном всю его гостиницу. Наконец шум понемногу затих, и в воображении дон Кихота седло до дня страшного суда так и осталось сбруей, таз — шлемом, а постоялый двор — замком.

Когда все, благодаря увещаниям аудитора, и священника успокоились и помирились, слуги дон Луиса принялись снова настаивать на том, чтобы он немедленно же отправился с ними домой; а пока тот с ними спорил, аудитор стал советоваться с дон Фернандо, Карденио и священником относительно того, как ему быть в подобных обстоятельствах, и передавал им рассказ дон Луиса. Наконец было решено, что дон Фернандо откроет слугам дон Луиса, кто он такой, и заявит им, что он намерен увезти дон Луиса с собой в Андалузию, где брат его маркиз примет молодого человека со всеми почестями, подобающими его достоинству (ибо всем было ясно, что дон Луис скорее согласится быть изрубленным в куски, чем предстать перед глазами своего отца). Когда четверо слуг узнали о звании дон Фернандо и о намерениях своего господина, они порешили между собой так: трое из них возвратятся и доложат отцу дон Луиса о происшедшем, а четвертый останется прислуживать дон Луису и не расстанется



с ним, пока остальные не вернутся за ним, или пока от их господина не придет какоенибудь новое распоряжение. Так властью Аграманте и благоразумием короля Собрино был водворен мир в этом хаосе распрей. Но когда враг согласия и недруг мира \* увидел себя посрамленным и одураченным, и убедился, что все его старания завести наших героев в безвыходный лабиринт принесли самые скудные плоды, он задумал еще раз попытаться счастье и разжечь новые ссоры и раздоры.

Случилось вот что. Когда стрелки узнали, сколь высокого звания были люди, с которыми они сражались, они успокоились и удалились с поля битвы, поняв, что чем бы дело не кончилось, в проигрыше будут только они. Но тут один из них, тот самый, которого бил и топтал ногами дон Фернандо, вдруг вспомнил, что среди других приказов об аресте преступников у него имеется распоряжение о задержании дон Кихота: Санта Эрмандада постановила арестовать его за то, что он отпустил на свободу каторжников (как раз то самое, чего Санчо с полным основанием опасался). А вспомнив об этом, стрелок решил проверить, правильны ли перечисленные у него в бумаге приметы дон Кихота. Поэтому он вытащил из за пазухи свиток, отыскал нужное место и, не будучи большим грамотеем, стал читать по складам, при каждом слове поглядывая на дон Кихота и сравнивая приметы, указанные в приказе, с наружностью нашего рыцаря. Таким то образом он наконец убедился, что дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать; а уверившись

в этом, он свернул свиток, взял его в левую руку, а правой схватил дон Кихота за шиворот с такой силой, что у того сперло дыхание, и закричал громким голосом:

— Повиновение Санта Эрмандад! А кто не верит, что я действую от ее имени, пусть прочтет этот приказ: в нем значит, что я должен задержать этого разбойника с большой дороги!

Священник взял приказ и убедился, что стрелок говорит правду, так как все приметы дон Кихота были описаны вполне правильно. А дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой то жалкий проходимец, пришел в ярость и, будучи сам схвачен так, что у него все кости затрещали, обеими руками вцепился стрелку в горло; и если бы к тому не подоспели товарищи, он бы испустил дух раньше, чем дон Кихот выпустил его из своих пальцев. Хозяин, который по обязанности должен был заступаться за членов своего братства, тотчас же пришел к пострадавшему на помощь. Хозяйка, видя, что ее муж опять полез в драку, снова принялась кричать, и ей опять стали вторить дочка и Мариторнес, прося помощи у неба и всех святых. А Санчо, глядя на то, что творилось, сказал:

— Господи боже мой, да ведь все, что господин мой говорит насчет волшебства в этом замке — суцая правда: в нем и часу нельзя провести спокойно!

Дон Фернандо ронял дон Кихота и стрелка к обоюдному их удовольствию, оторвав руки стрелка от ворота куртки, в который они крепко вцепились, и разжав пальцы рыцаря,

впившиеся в горло врага. Но, несмотря на это, стрелки продолжали добиваться выдачи преступника и настаивать, чтобы им помогли связать его по рукам и по ногам, как это предписывают законы королевства и Санта Эрмандад, снова требуя от имени последней содействия и повинования в деле ареста разбойника, грабящего на горных тропах и проезжих дорогах. А дон Кихот, слушая их речи, только посмеивался и, наконец, с большим хладнокровием сказал:

— Пойдите ка сюда, подлые и низкие людишки! Так вы называете разбойником с большой дороги того, кто отпускает на свободу закованных в цепи, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступает за обездоленных? О низменные существа, ваш жалкий и презренный ум недостойн того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства! В каком грехе и неведении пребываете вы! Одна тень странствующего рыцаря должна внушать вам почтение, а тем более его живое присутствие! Пойдите ка сюда, стрелки-разбойники, грабители на больших дорогах с разрешения Санта Эрмандад, и скажите мне: как имя того невежды, что подписал приказ о задержании такого рыцаря как я? Разве ему не было известно, что странствующие рыцари не подвластны обычному суду, что их закон — меч, их судьи — храбрость, их декреты — собственная воля? Кто, повторяю, тот тупица, которому было неизвестно, что ни одна дворянская грамота не дает столько преимуществ и привилегий, сколько даруется их странствующему рыцарю в день, когда он получает посвящение и отдает

свою жизнь трудному делу рыцарства? Какой рыцарь когда либо платит налоги, подати, туфлю королевы \*, поместные пени, речной или подо-рожный сбор? Разве он платит портному за пошивку платья, разве владелец замка берет с него деньги за оказанное ему гостеприимство? Какой король не сажает его за свой стол? Какая благородная девица не влюблялась в него и не подчинялась его воле и желаниям? И, наконец, был ли, есть или будет на свете такой странствующий рыцарь, у которого не хватило бы смелости, встретившись с четырьмя сотнями стрелков, влечь им четыре сотни палочных ударов?

## ГЛАВА XLVI

*о достопримечательном происшествии со стрелками и о великой свирепости нашего доброго рыцаря дон Кихота \**



о время этой речи дон Кихота священник убеждал стрелков, что дон Кихот не в своем уме, как они легко могли догадаться по его словам и поступкам, и что поэтому лучше всего прекратить это дело: ведь даже если они его арестуют и уведут с собой, все равно им придется отпустить его как умалишенного. Стрелок, у которого был приказ, ответил на это, что не его дело судить, сумасшедший ли дон Кихот или нет, и что он обязан исполнить приказание начальства, а когда дон Кихот будет арестован, пусть его потом выпускают хоть триста раз.

— И все же,—ответил священник,—на этот раз вы его не арестуете; да и он, как мне кажется, не позволит себя арестовать.

В конце концов, священник такого им наговорил, а дон Кихот наделал столько глупостей,

что если бы стрелки не поверили в сумасшествие нашего рыцаря, они бы доказали этим, что они еще большие безумцы, чем он; поэтому они сочли за благо успокоиться и даже выступить посредниками в деле примирения цырюльника с Санчо Пансой, которые все еще с великим упорством продолжали ссориться. Слуги правосудия рассудили их и вынесли приговор, который, если и не вполне примирил тяжущиеся стороны, то все же кое как их удовлетворил: враги обменялись седлами, но каждый сохранил свои подруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком, так чтобы дон Кихот этого не заметил, дал цырюльнику за бритвенный таз восемь реалов, а тот написал ему расписку, в которой обязывался не жаловаться на обман, ни ныне, ни во веки веков аминь. Когда дело с этими двумя ссорами, самыми крупными и значительными, было покончено, оставалось только убедить слуг дон Луиса, чтобы трое из них возвратились домой, а четвертый отправился туда, куда дон Фернандо пожелает его увести. И счастливая судьба и удача, начав уже ломать копыя и устранять затруднения в угоду влюбленным и смельчакам, находившимся в гостинице, пожелала довести до конца свое благое дело: слуги согласились на просьбу дон Луиса, и донья Клара так этому обрадовалась, что стоило только посмотреть на ее лицо, чтобы прочесть на нем ликование ее сердца. Зорайда, хоть и не очень разбиралась в событиях, происходивших у нее на глазах, все же печалилась и радовалась в зависимости от выражения лиц присутствовав-

ших; особенно же следила она за лицом своего испанца, к которому были прикованы ее взоры и привязана душа. Хозяин, от которого не укрылось, что священник дал подарок и вознаграждение дырьюльнику, потребовал у дон Кихота плату за ночлег и возмещение убытков за меха и вино, божась при этом, что не выпустит из конюшни ни Росинанта, ни осла Санчо, пока ему не будет уплачено все до последнего гроша. Священник и это уладил: за все заплатил дон Фернандо, хотя аудитор тоже с большой готовностью предлагал заплатить. Таким то образом водворились добрый мир и согласие, и уж не казалось больше, что раздор лагеря Аграманте, как выразился дон Кихот, охватил постоянный двор: напротив, на нем царили мир и тишина времен Октавиановых \*. Все единодушно признали, что за все это следует благодарить благожелательного и весьма красноречивого священника и несравненного в своей щедрости дон Фернандо.

Когда дон Кихот, увидел что он наконец освободился и избавился от всех этих неприятностей, как своих личных, так и касающихся его оруженосца, он подумал о том, что ему пора продолжить начатый путь и закончить то великое дело, к которому он призван и предназначен. С отважной решимостью он опустился на колени перед Доротеей, но та заявила, что не разрешит ему вымолвить слово, пока он не встанет; тогда он поднялся и сказал:

— Есть, прекрасная сеньора, пословица: «усердие — мать успеха», и опыт показывает, что нередко рвение тяжущегося доводит до благополучного конца самое сомнительное дело.

Но нигде эта истина не обнаруживается с такой ясностью, как в военном деле, где быстрота и натиск опрокидывают планы неприятеля и увенчиваются победой прежде, чем он вздумает защищаться. Говорю я это к тому, благородная и превосходная сеньора, что по моему мнению и дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и в один прекрасный день может оказаться для нас даже весьма пагубным, ибо кто знает, может быть через тайных и ревностных соглядатаев ваш недруг великан уже проведал, что я поклялся его убить, и, воспользовавшись предоставленной ему отсрочкой, укрепился в какомнибудь неприступном замке или крепости, против которых бессильны мое усердие и сила моей неутомимой руки? Поэтому, как я уже сказал, моя сеньора, предупредим нашим рвением его злые умыслы и немедленно же, в добрый час, пустимся в путь; ибо лишь только удастся мне встретиться лицом к лицу с вашим врагом, как ваше величество увидит исполнение всех своих желаний.

Дон Кихот замолчал и ни слова более не прибавил, со спокойным достоинством ожидая ответа прекрасной инфанты; она же, подлаживаясь под его слог, с величавым видом отвечала так:

— Благодарю вас, сеньор рыцарь, за готовность пособить моей великой беде так, как следует и надлежит рыцарю помогать сиротам и несчастным. Да будет угодно небу, чтобы наше общее желание исполнилось, ибо тогда вы увидите, что еще не перевелись на свете благодарные женщины. Что же касается моего отъезда,



я готова в путь немедленно, так как моя воля во всем согласна с вашей: располагайте мною по вашему желанию и усмотрению. Раз уж я вручила себя вашему покровительству и отдала в ваши руки судьбу моего королевства, я не стану прекословить тому, что предпишет ваше благоразумие.

— Бог в помощь! — воскликнул дон Кихот. — Когда на моих глазах унижают такую сеньору я не желаю упустить случая возвысить ее и возвести на престол предков. Двинемся же немедленно: нетерпение и долгий путь торопят меня, ибо недаром говорится, что в промедлении — гибель. Небо не создало и преисподняя не породила еще такого существа, перед которым бы я испугался или струсил, а потому, Санчо, седлай Росинанта, взнуздай своего осла и скакуну королевы, простимся с владельцем замка и этими сеньорами, и устремимся отсюда прямо к цели.

Санчо, присутствовавший при этом разговоре, только покачал головой и ответил:

— Ах, сеньор, сеньор, а в деревне то у нас больше худого, чем о том в песне поется, — не в обиду будь сказано почтенным дамам!

— А о чем же худом могут петь в деревне, да и во всех городах на свете, что было бы в ущерб моей чести, болван?

— Если ваша милость изволит гневаться, — ответил Санчо, — я замолчу и не скажу того, что обязан сказать как добрый оруженосец и добрый слуга, говорящий правду своему господину.

— Говори что хочешь, — сказал дон Кихот, — только не воображай, что твои слова меня испу-

гают. Ты чего то боишься—таков твой обычай; мой же обычай — ничего не бояться.

— Нет, дело не в этом, — ответил Санчо, — а только я, грешный, твердо и доподлинно знаю, что эта сеньора, выдающая себя за королеву великого королевства Микомикон, такая же королева, как моя матушка: была бы королевой, так не стала бы она всякий раз и при каждой оказии чмокаться с одним молодчиком из нашей компании.

При этих словах Санчо Доротея густо покраснела: действительно, супруг ее дон Фернандо, стараясь, чтобы никто этого не заметил, уже несколько раз срывал с ее уст поделуи, в счет будущей награды за свою любовь (а Санчо это подглядел и решил, что такая свобода поведения подходит гораздо больше куртизанке, чем королеве великого государства); поэтому Доротея не пожелала, да и не могла ничего возразить Санчо, который продолжал свою болтовню:

— Говорю я это к тому, сеньор, что может выйти так: набегаемся мы по путям да по дорожкам, проведем худые ночи и еще худшие деньки, а этот молодчик, что здесь на постоялом дворе с нею забавляется, заберет себе все плоды наших трудов. А коли так, незачем мне торопиться седлать Росинанта, взнуздывать осла и запрягать скакуна; лучше уж сидеть на месте, и пускай себе шлюхи прядут, а мы сыты будем.

Великий боже, как вдруг разгневался дон Кихот, услышав непристойные речи своего оруженосца! Он оказался столь рассерженным, что голос у него сорвался, язык стал плохо слушаться в глазах вспыхнули искры, и он воскликнул:

— О низкий негодяй, бесчинный, непристойный, невежественный, косноязычный, сквернослов, наглый клеветник и сплетник! И ты посмел сказать такие слова в присутствии моем и этих знаменитых сеньор! Как могло твое дурацкое воображение внушить тебе такие неприличные и наглые мысли? Убирайся прочь от меня, чудовище, склад лжи, сундук обманов, погреб плутней, сочинитель козней, распространитель вздора, покусившийся на уважение, воздаваемое особам королевского рода! Убирайся, скройся с глаз моих, а не то — берегись моего гнева!

И, говоря это, он хмурил брови, надувал щеки, метал взгляды во все стороны и наконец сильно топнул об землю правой ногой, — что было явными признаками гнева, кипевшего в его груди. От его слов и яростных жестов Санчо пришел в такой страх и трепет, что если бы в эту минуту под его ногами разверзлась земля и поглотила его, он только бы этому обрадовался; и ничего лучшего он не придумал, как повернуть спину и удрать от своего разгневанного господина. Но тут, рассудительная Доротея, отлично постигшая характер дон Кихота, заговорила чтобы умерить его гнев:

— Не гневайтесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, на те вздорные слова, которые произнес ваш добрый оруженосец: ведь, может быть, он произнес их и не без основания. Принимая во внимание его здравый разум и христианскую совесть, никак нельзя заподозреть его в лжесвидетельстве; поэтому без всякого сомнения следует предположить, что Санчо только показалось, что он видел нечто порочащее мою

честь, а на самом деле это было дьявольским навождением: ведь вы сами говорили, сеньор рыцарь, что все случающееся и происходящее в этом замке повинуется силе волшебства.

— Клянусь всемогущим богом, — воскликнул тут дон Кихот, — ваше величество попало в самую точку. Ну конечно, этот грешник Санчо был обманут злым видением и увидел такие вещи, какие никак невозможно увидеть без вмешательства нечистой силы: ведь я знаю, что этот бедняга — честный и невинный малый и неспособен на лжесвидетельство.

— Что верно, то верно, — сказал дон Фернандо, — а посему, ваша милость сеньор дон Кихот, вы должны простить его и возвратить в лоно вашей благосклонности *sicut erat in principio* \*, прежде чем злые видения лишили его разума.

Дон Кихот заявил, что он прощает; священник отправился за Санчо, и тот смиренно приблизился и, опустившись на колени, попросил своего господина пожаловать ему ручку. Дон Кихот протянул ему руку, позволил облобызать ее и, благословив Санчо, сказал:

— Ну что, сынок Санчо, теперь, надеюсь, тебе ясно, что я был прав, когда неоднократно объяснял тебе, что все в этом замке заколдовано?

— Я тоже так думаю, — отвечал Санчо, — все заколдовано, кроме только подкидыванья на одежде, которое произошло самым естественным образом.

— Напрасно ты так думаешь, — сказал дон Кихот, — ибо тогда я бы рано или поздно за тебя

отомстил; однако, ни в тот раз, ни теперь я не мог разыскать твоего обидчика и рассчитаться с ним.



Всем захотелось узнать, что это за история с подкидыванием на одеяле, и тогда хозяин во всех подробностях рассказал, как Санчо Панса делал по воздуху. Все много смеялись, и Санчо

хотел было уже рассердиться, но тут дон Кихот снова принялся его уверять, что все это было дьявольским навождением. Тем не менее, простодушие Санчо не было безгранично, и он все же продолжал считать чистой и достоверной правдой без всякой примеси обмана, что его подкидывали существа, сделанные из плоти и костей, а вовсе не пригрезившиеся и померещившиеся ему призраки, как полагал и уверял его господин.

Прошло уже два дня с тех пор, как все это блестящее общество прибыло в гостиницу; стали уже подумывать, что пора уезжать, и порешили устроить так, чтобы Доротее и дон Фернандо не пришлось утруждать себя, сопровождая дон Кихота до его деревни и продолжая разыгрывать историю изгнанной королевы Микомиконы: ведь священник и цырюльник могли одни отвезти его туда и затем попытаться на месте излечить его от безумия. Для этой цели сговорились с крестьянином, который случайно проезжал по дороге в телеге, запряженной волами, и придумали следующее: из сплетенных дощечек сделали нечто в роде клетки, таких размеров, чтобы наш рыцарь мог в ней поместиться вполне удобно; затем, по совету и распоряжению священника, дон Фернандо со своими товарищами, дон Луис со слугами, все стрелки и, наконец, сам хозяин, кто как мог, замаскировались и нарядились так, чтобы дон Кихот не мог в них узнать тех людей, с которыми он жил в этом замке. Сделав все это, они в полном молчании вошли в комнату, где он спал, отдыхая от перенесенных им волнений.

В то время как он спокойно спал, не подозревая, что для него готовится, они все подошли к нему и крепко схватили и связали по рукам и по ногам, так что, когда наш рыцарь в смятении проснулся, он не в силах был пошевелиться, и ему оставалось только дивиться и изумляться при виде таких необычайных лиц. Тотчас же у него явилась мысль, внушенная его неустанным расстроенным воображением: что все эти лица — привидения из заколоченного замка и что без всякого сомнения он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться; словом, все произошло в точности так, как рассчитал придумавший эту хитрость священник. Из всех находившихся при этом один Санчо был в своем виде и в своем уме; и хотя очень малого не доставало, чтобы он разделил недуг своего господина, все же он сразу разгадал, кто были эти переодетые люди. Однако, он не решался открыть рта, ожидая чем кончится эта история с захватом и пленением его господина; тот тоже молчал, дожидаясь развязки постигшей его напасти. А развязка была та, что ряженные притащили клетку, посадили его в нее и заколотили доски так крепко, что он не мог бы их сломать, даже если бы стал их распечатывать обеими руками.

Потом клетку взвалили на плечи, и когда выносили ее из комнаты, цырюльник—не тот, которому принадлежало седло, а другой—закричал страшным голосом:

— О Рыцарь Печального Образа, не сетуй, что ты попал в плен, ибо так нужно для скорейшего завершения подвига, на который по-

двинуло тебя твое мужество, а завершится он тогда, когда свирепый ламанчский лев соединится с белоснежной тобосской голубкой и когда их гордые главы склонятся под сладостным ярмом брака. От этого дивного союза появятся на свет божий отважные львята, у которых будут столь же цепкие когти, как у их славного родителя. Произойдет же это раньше, чем бог, преследующий убегающую нимфу, в своем естественном стремительном беге дважды посетит сияющие знаки небес \*. А ты, о самый благородный и послушный из всех оруженосцев, которые когда либо обладали шпагой на поясе, бородой на подбородке и обонянием в ноздрях, не пугайся и не огорчайся, видя, что на твоих глазах увозят таким образом цвет странствующего рыцарства! Ибо скоро,— если только угодно будет зиждителю мира,— ты достигнешь такого высокого и почетного положения, что сам себя не узнаешь, и тогда исполнятся все обещания твоего доброго господина. Заверю тебя от имени мудрой Ментиронианы \*, что жалованье будет тебе заплачено, как ты в этом убедишься на деле. Следуй же по стопам этого доблестного очарованного рыцаря,— ибо вам надлежит до конца пути быть вместе. Больше мне говорить не велено, и потому оставайся с богом, а я вернусь туда, куда мне полагается.

В конце этого пророчества цырюльник сперва сильно возвысил голос, а потом стал затихать на таких нежных нотах, что даже посвященные в эту шутку готовы были поверить, что все это происходит взаправду.



Услышав пророчество, дон Кихот утешился, так как смысл его был ему ясен во всех подробностях: он уразумел, что согласно этому обещанию он сочетается священными и законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобосской, что из ее благословенного чрева родятся сыновья его, львята, которым суждено навеки прославить Ламанчу. И, уверовав в это твердо и окончательно, он возвысил голос и с глубоким вздохом сказал:

— Кто бы ты ни был, предсказывающий мне столь великое благо, молю тебя, попроси от моего имени мудрого волшебника, пекущегося о моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в темнице, в которой меня увозят! Да исполнятся сначала несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал! Если свершится это, я сочту за счастье все тяготы моего пленения и за утешение — сковывающие меня цепи; а подстилка, на которую меня бросили, покажется мне не жестким полем битвы, а мягкой постелью и счастливым свадебным ложем. Что же касается утешений, которые ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе, я уверен, что при своем благородстве и честности он не покинет меня ни в радости, ни в горе; ибо если мой или его злой рок не позволят мне сдержать обещание и подарить ему остров или что либо другое, этому равноценное, то жалование его во всяком случае не пропадет, так как я уже составил завещание и в нем определил ему награду, правда, соразмерную не с его великими услугами, а только с малыми моими средствами.

Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед дон Кихотом и поцеловал ему обе руки (да он и при желании не мог бы поцеловать только одну, ибо они были связаны вместе).

Затем привидения взвалили клетку себе на плечи и поставили ее на телегу, запряженную волами.

## ГЛАВА XLVII

*о том, каким необычайным образом был очарован дон Кихот Ламанчский и о других достославных происшествиях \**



он Кихот, увидев, что его посадили в клетку и погрузили на телегу, сказал:

— Много замечательных историй прочел я о странствующих рыцарях, но никогда не читал, не видал и не слышал, чтобы очарованных рыцарей похищали подобным способом и увозили с медлительностью, которой можно ожидать от этих ленивых и неторопливых животных. Обыкновенно волшебники уносят их по воздуху с удивительной быстротой, окутав серым или черным облаком, или посадив на огненную колесницу, на гиппогрифа \* или на другое какое либо чудовище. Но быть похищенным на телеге, запряженной волами,—клянусь богом, это приводит меня в смущение! Хотя, может быть, рыцарство и волшебство наших времен идут не по тем путям, по которым они шли в древние времена, и вполне возможно, что для меня, но-

воявленного рыцаря на этом свете и первого, кто воскресил забытое дело рыцарей, искателей приключений, в наши дни были изобретены новые виды волшебства и иные способы похищения очарованных. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?

— Уж не знаю, что и думать, — ответил Санчо; — ведь я не так начитан, как ваша милость, в странствующем писании. А все же, я бы решился клятвенно утверждать, что призраки, шагающие рядом с нами, совсем не добрые католики.

— Католики! — воскликнул дон Кихот. — Голубчик ты мой, да как же им быть католиками, когда все они — дьяволы, принявшие призрачные тела, чтобы проделать эту штуку и довести меня до такого состояния? Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их — из воздуха и что все это — одна только видимость.

— Ей-богу, сеньор — возразил Санчо, — я уж их трогал, и вот у этого дьявола, что шагает с таким усердием, тело холеное, и есть у него еще одно свойство, которого, как я слышал, у дьяволов не бывает, ибо говорят, что от чертей разит серой и другими скверными запахами а от него за пол мили несет амброй.

Санчо говорил о дон Фернандо, который, как знатные сеньоры, был действительно надушен так, как говорил наш оруженосец.

— Нечему тут дивиться, друг мой Санчо, — ответил дон Кихот. — Имей в виду, что дьяволы хитры, и хотя они окружены смрадом, но сами не пахнут, потому что они духи; если же они

пахнут, то запах их не может быть приятным: от них исходит одно мерзкое зловоние. Причина же этого заключается в следующем: куда бы они ни отправились, они всюду тащат за собой ад, и ничто не может облегчить их мук, а так как благовоние есть нечто радующее и услаждающее, то и невозможно им иметь приятный запах. Итак, если тебе кажется, что этот дьявол пахнет амброй, то это значит, что либо ты ошибаешься, либо же он хочет тебя обмануть, чтобы ты не догадался, что он дьявол.

Вот такая беседа происходила между господином и слугой. Дон Фернандо и Карденио, опасаясь, как бы Санчо не догадался окончательно об их хитрости (к чему он был уже весьма близок), решили ускорить отъезд и, отозвав хозяина в сторону, приказали ему оседлать Росинанта и взнуздать осла Санчо, что и было им исполнено с большой поспешностью. Тем временем священник уговорил стрелков проводить его до его деревни за некоторую поденную плату. Карденио повесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу; а по бокам телеги он поместил двух стрелков с мушкетами. Но прежде чем поезд двинулся, хозяйка, ее дочка и Мариторнес вышли проститься с дон Кихотом, притворяясь что плачут от горя по поводу постигшей его беды. Увидя это, дон Кихот сказал им:

— Не горюйте, мои добрые сеньоры! Такие невзгоды неразлучны с служением, которому я себя посвятил; а если бы мне не приходилось

их переживать, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем. Ибо с рыцарями ничем себя не прославившими подобные бедствия никогда не случаются, — потому то никто на свете о них и не вспоминает; а доблестные рыцари постоянно испытывают злоключения, так как многие принцы и другие рыцари, завидуя их мужеству и отваге, стараются злыми способами извести их. Однако, добродетель столь могущественна сама по себе, что на зло всему чернокнижью, какое только было ведомо первому изобретателю его, Зороастру, она выйдет победительницей из испытаний, и свет ее засияет на земле, как свет солнца в небе. Простите мне, прекрасные дамы, если по оплошности своей я в чемнибудь вам не угодил (ибо намеренно и умышленно я никогда никого не обижал), и просите бога, чтобы он вывел меня из темницы, куда заключил меня какой то злокозненный волшебник. И когда я снова буду на свободе, из памяти моей никогда не изгладится воспоминание о милостях, которыми вы осыпали меня в этом замке, и я отблагодарю вас и вознагражу своей службой так, как вы этого заслуживаете.

Пока дон Кихот разговаривал с владелицами замка, священник и цырюльник прощались с дон Фернандо и его товарищами, с капитаном и его братом и со всеми довольными своей судьбой дамами, особенно же с Доротеей и Люсиндой. Все обнялись и пообещали сообщать друг другу о дальнейшем ходе их дел; а дон Фернандо дал священнику адрес, по которому можно было посылать ему письма, и очень просил уведо-

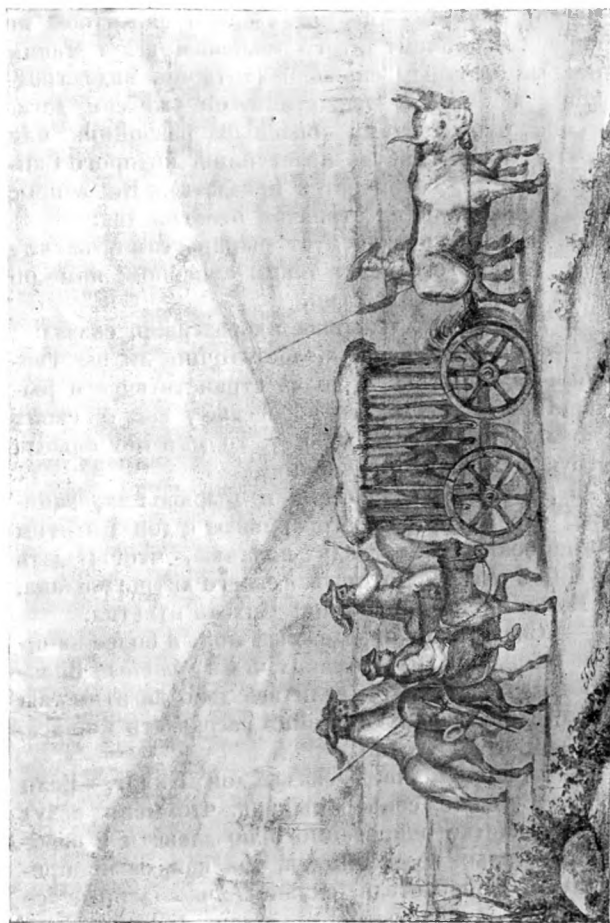
мить его, чем кончится история с дон Кихотом, уверяя, что ничто на свете не доставит ему такого удовольствия, как весть о нашем рыцаре. В свою очередь и он обещал священнику написать обо всем, что могло бы того интересовать: о своей свадьбе, о крещении Зорайды, о судьбе дон Луиса и возвращении Люсинды в отчий дом. Священник заявил, что он в точности исполнит его просьбу. Потом они снова обнялись и снова обменялись дружескими уверениями. А хозяин гостиницы подошел к священнику и вручил ему какие то бумаги, говоря, что он нашел их за подкладкой сундучка, в котором отыскалась повесть о Безрассудно-любопытном, и прибавил, что владелец сундука никогда больше не возвращался за ним, и потому священник может увезти их с собой: ему самому они ненадобны, так как он не умеет читать. Священник поблагодарил и, сразу же развернув рукопись, прочитал заглавие: *Повесть о Ринконтете и Кортадильо* \*, из чего убедился, что это какая то повесть, и подумал, что раз повесть о Безрассудно-любопытном была хороша, то возможно, что и эта не хуже, ибо по всем вероятностям обе они принадлежали одному автору. Поэтому он спрятал рукопись, намереваясь прочитать ее, когда представится удобный случай.

Затем священник и его друг цырюльник сели на лошадей, не снимая масок, так как они не желали, чтобы дон Кихот их узнал, и поехали вслед за телегой. Порядок шествия был такой: впереди ехала телега, которою правил ее владелец — крестьянин; по бокам ее, как мы уже сказали, шли стрелки с мушкетами; далее сле-

довал на осле Санчо Панса, ведя на поводу Росинанта; позади всех на здоровых мулах ехали в масках священник и дырюльник, подвигаясь неторопливо и важно, сообразно с медленной поступью волов. Дон Кихот со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорей каменную статую, чем живого человека. Так, медленным шагом и в глубоком молчании, проехали они около двух миль, и когда достигли одной долины, погонщик заявил, что в этом месте будет удобно отдохнуть и покормить волов; но дырюльник, посоветовавшись со священником, предложил проехать немного дальше, так как он знал, что за видневшимся поблизости холмом лежала другая долина, с более густой и сочной травой, чем в том месте, где они собрались расположиться на отдых. Все согласились с дырюльником и продолжали путь.

В эту минуту священник обернулся и увидел за своей спиной шестерых или семерых всадников, хорошо одетых и снаряженных, которые быстро нагнали наших путников, так как они ехали не на ленивых и медлительных волах, а на мулах, какие бывают у каноников; и видно было, что они спешат добраться до съезды на постоялый двор, находившийся от этого места на расстоянии не больше одной мили. И вот, торопливые путешественники нагнали ленивых и любезно их приветствовали; а один из них, как впоследствии оказалось каноник из Толедо и хозяин тех, кто его сопровождал, увидев эту странную процессию—телегу, стрелков, Санчо, Росинанта, священника, дырюльника





и, наконец, связанного и посаженного в клетку дон Кихота — не мог удержаться, чтобы не спросить, почему этого человека везут таким необыкновенным способом (хотя, при виде стрелков с жезлами и мушкетерами, он уже сам догадался, что пленник — опасный разбойник или другой какой нибудь преступник, которого Санта Эрмандад собирается наказать). На вопрос каноника, один из стрелков ответил так:

— Сеньор, пускай этот рыцарь сам объяснит вам, почему его везут таким способом; нам об этом ничего неизвестно.

А дон Кихот, услышав их разговор, сказал:

— Сеньоры рыцари, достаточно ли вы сведущи и опытни в делах странствующего рыцарства? Если да, то я расскажу вам о своих злоключениях, если же нет, то мне нет смысла утруждать себя объяснениями.

В это время священник и цырюльник, заметив, что всадники разговаривают с дон Кихотом Ламанчским, подъехали поближе, чтобы дать пужный ответ, не открывая своего хитрого плана.

Каноник на вопрос дон Кихота ответил:

— Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, чем в *Simulas* Вильяльпандо \*, так что, если все дело за этим, вы можете без всяких опасений рассказать мне все, что вам будет угодно.

— В добрый час, — сказал дон Кихот. — Если так, то знайте, сеньор рыцарь, что меня везут в этой клетке очарованного по зависти и вероломству злых волшебников, так как злые преследуют добродетель сильнее, чем добрые ее любят. Я — странствующий рыцарь, и не из числа

тех, имени которых ни разу не вспомнила, дарующая бессмертие Слава, а из тех, кому предназначено, на зло самой зависти, всем магам Персии, брахманам Индии и гимнософистам Эфиопии начертать свое имя в храме бессмертия, дабы послужило оно образцом и примером для грядущих поколений и дабы видели все странствующие рыцари, какими путями им надлежит идти, добываясь вершин и почетных высот военной профессии.

— Сеньор дон Кихот Ламанчский говорит сущую правду,—сказал на это священник.— Он действительно сидит на этой телеге очарованный, и не за свои грехи и преступления, а вследствие козней злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Перед вами, сеньор, *Рыцарь Печального Образа*, о котором вы, пожалуй, уже отчасти наслышались. Достопадные деяния его и великие подвиги будут когда нибудь начертаны на твердой бронзе и вечном мраморе, сколь бы ни силилась зависть затмить их, а злоба—их омрачить.

Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и находящийся на воле, он от изумления чуть не перекрестился, отказываясь понять, что такое с ним приключилось; да и всех спутников его это повергло в неменьшее недоумение. Но тут Санчо Панса, подойдя послушать, о чем идет разговор, захотел вывести это дело на чистую воду и заявил:

— Сеньоры, вы можете меня хвалить или ругать, а только вот что я вам скажу: мой господин дон Кихот очарован не больше, чем моя матушка. Он в полном своем уме: он ест, пьет и отправляет все свои нужды как и остальные

люди, совсем так же, как и вчера, прежде чем его засадили в клетку. А раз все это так, неужели же вы станете меня уверять, что он очарован? Мне всегда говорили, что очарованные не едят, не пьют и не говорят, а мой господин, если только его не остановить, мог бы наговорить больше чем тридцать стряпчих.

И, обратившись к священнику, он продолжал:

— Ах, сеньор священник, сеньор священник, неужто ваша милость думала, что я ее не узнаю? Неужто вы полагаете, что я не пронюхал и не смекнул, к чему клонятся все эти новые волшебства? Как вы там не закрывайте лицо и не притворяйтесь, все равно я вас узнал и хитрости ваши раскусил. Да, там где царствует зависть, нет места для добродетели, и со скупостью не уживается щедрость. Чорт меня побери! Ведь если б не ваше преподобие, так мой господин об эту пору уже женился бы на инфанте Микомиконе, а я по меньшей мере был бы теперь графом, на что величие моего сеньора Печального Образа и огромные мои заслуги вполне позволяли мне рассчитывать. Но я вижу теперь, правду говорят люди: колесо Фортуны вертится быстрее мельничного жернова, и те что вчера были на вышке, сегодня лежат на земле. Жаль мне моей жены и детей: ведь они могли с полным правом надеяться, что их отец вернется домой губернатором или вице-королем какогонибудь острова или королевства, а вместо этого он возвратится конюхом. Все это я говорю к тому, сеньор священник, чтобы пробудить в вас отеческие чувства и побудить вас раскаяться в недобром отношении к моему господину: смо-

трите, как бы на том свете господь не потребовал вас к ответу за его пленение и не осудил бы вас за то, что мой господин лишен возможности во время своего пленения делать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся.

— Хорошую он нам свечу отлил,—сказал на это цырюльник.—Так значит, вы, Санчо, одного толка с вашим господином? Ей-богу, я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку к нему за компанию, ибо, видно, вы тоже очарованы, заразившись его рыцарскими бреднями! В недобрый час забеременели вы от его обещаний и в недобрый день вбили себе в голову этот любезный вам остров.

— Ни от кого я не беременел,—ответил Санчо,—и не такой я человек, чтобы забеременеть, хотя бы даже от самого короля. Я хоть и бедняк, но старый христианин, и никому ничего не должен. Что ж из того, что мне хочется острова? Другим хочется вещей и того похуже. Каждый из нас—сын своих дел. Я ведь человек, а значит могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой, а мой господин может завоевать и не один остров, а столько, что и раздавать их будет некому. Лучше вы, сеньор цырюльник, сначала подумайте, а потом говорите: это вам не бритые бороды, одно на одно не приходится. Говорю я это к тому, что все мы друг дружку знаем, и нечего мне очки втирать. Что же до того, будто мой господин очарован, то бог правду видит. Не будем об этом говорить, и лучше этого дела не трогать.

Цырюльник решил не отвечать Санчо, боясь, как бы он своим простодушием не выдал того,

что он и священник так тщательно старались скрыть. По этой же причине священник попросил каноника проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о тайне с клеткой и о многих других забавных вещах. Каноник согласился и, проехав вместе со своими слугами вперед вслед за священником, с большим вниманием выслушал его рассказ об образе жизни, положении, нраве и безумии дон Кихота. Священник кратко рассказал о начале и причине умопомешательства нашего рыцаря, о всех его приключениях до того момента как он попал в эту клетку, и о своем намерении отвезти его на родину и попытаться там на месте каким нибудь способом его вылечить. Каноник и все его слуги снова подивились, слушая необыкновенную историю дон Кихота, и когда священник умолк, каноник сказал:

— Поистине, сеньор священник, я того мнения, что книги, именуемые рыцарскими романами, приносят вред государству, и хотя праздность и ложный вкус побудили меня прочесть первые главы почти всех печатных романов, все же я ни разу не мог себя заставить дочитать хотя бы один из них до конца, ибо мне кажется, что все они, за небольшими отклонениями, представляют собой одно и то же: в одном содержится то же самое, что и в другом, а в другом то же, что в третьем. И на мой взгляд романы эти по своему слогу и содержанию относятся к тому же роду, что и так называемые милетские сказки: нелепые выдумки, которые только развлекают, но не поучают нас, в противоположность апологам, которые одновременно и развлекают

и поучают\*. Если же главная цель подобных книг—доставлять удовольствие, то спрашивается: каким образом они могут этой цели достигнуть, будучи переполнены самыми дикими бессмыслицами? Ведь душа наша испытывает удовольствие, когда в явлениях мира, воспринятых через зрение или воображение, она наблюдает и созерцает красоту и согласованность; явления же безобразные и бесформенные не могут доставить нам никакого удовлетворения. А какая же может быть красота, какое соответствие частей с целым и целого с частями, в романе или повести, в которых шестнадцатилетний мальчик поражает мечом великана ростом с башню и рассекает его на две половины, как если бы он был сделан из марципана, или когда, описывая битву, автор сообщает, что в неприятельской армии было больше миллиона бойцов, а потом оказывается, что против этого войска выступил герой романа, и конечно,—хочешь не хочешь, а изволь верить,—этот рыцарь один, силой своей могучей руки, одержал полную победу? А что вы скажете о легкости, с которой какая нибудь королева или наследница императорского престола бросается в объятия безвестного странствующего рыцаря? Какое нужно иметь варварское и неотесанное воображение, чтобы испытать удовольствие, читая о том, как огромная башня наполненная рыцарями, плывет по морю подобно кораблю при попутном ветре, и сегодня вечером она у берегов Ломбардии, а завтра утром—в Индии, в земле пресвитера Иоанна, или в других еще странах, которых ни Птоломей не описывал, ни Марко Поло не выдывал\*?

А если на это мне возразят, что сочинители этих книг смотрят на них как на чистый вымысел и не считают себя обязанными соблюдать точность и правду, то я отвечу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем приятнее, чем ближе к вероятному и возможному. Вымышленные истории должны соответствовать пониманию читателя, и их нужно писать так, чтобы, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное и приковывая внимание, они возбуждали в нас восторг, удивление, волнение и удовольствие, вызывая одновременно и в равной степени удивление и радость. А этой цели никогда не достигнет писатель, избегающий правдоподобия и подражания, в которых заключается все совершенство литературных произведений. Я еще ни разу не встречал рыцарского романа, в фабуле которого все члены составляли бы одно тело, так, чтобы середина соответствовала началу, а конец—началу и середине; обычно истории эти составлены из стольких членов, что кажется, будто автор задумал создать какую то химеру или чудовище, а не соразмерную в своих частях фигуру. Кроме всего этого, у авторов романов слог—неотесан, приключения—неправдоподобны, любовные истории—сладострастны, понятия о вежливости—грубы, описания битв—бесконечны, рассуждения—неосмыслены, рассказы о путешествиях вздорны; одним словом, они лишены всякого истинного искусства и заслуживают по своей бесполезности изгнания из христианского государства.

Священник, выслушав все это с большим вниманием, решил, что каноник—человек разумный



и высказывает мысли вполне основательные. Поэтому он ему сообщил, что вполне разделяет его мнение и что сам он так ненавидит рыцарские романы, что в свое время сжег большую грудку книг, принадлежавших дон Кихоту. Он рассказал, как он их обследовал, какие обрек огню, а какие помиловал. Каноник от души посмеялся и сказал, что несмотря на все перечисленные им недостатки этих романов, в них есть кое что и хорошее, а именно—сюжеты их позволяют просвещенному уму обнаружить свои силы, ибо они открывают перед ним широкое и просторное поле, где может беспрепятственно развернуться его талант. Писателю представляется случай описывать кораблекрушения, бури, стычки и сражения; он может изобразить отважного капитана, наделив его всеми качествами, присущими такому характеру, показать, с каким благоразумием он предупреждает замыслы неприятеля, с каким ораторским красноречием убеждает или разубеждает в чемнибудь своих солдат, как он мудр в совете, быстр в решениях и равно отважен в выжидании и нападении; автор может описывать то плачевные и трагические события, то непредвиденные радостные происшествия; вот вам прекраснейшая дама, скромная, разумная и осмотрительная; а вот—рыцарь-христианин, отважный и учтивый; вот—грубиян и бесшабашный хвостун; а вот любезный, доблестный и изысканный принц; писателю надлежит изображать честность и верность вассалов, величие и великодушные сеньоров. Он может предстать перед нами в роли астролога, ученого космографа или музыканта, поде-

литься с нами своими знаниями в области государственных дел, а если представится случай— при желании превратиться и в чернокожника. Он расскажет нам о хитрости Улисса, о благочестии Энея, о мужестве Ахилла, о несчастиях Гектора, о предательстве Синона, о дружбе Евриала, о щедрости Александра, о храбрости Цезаря, о мягкости и правдивости Траяна, о верности Зопира, о мудрости Катона, одним словом о всех качествах, которые делают совершенными великих мужей; от него зависит все эти свойства придать одному герою или распределить их между несколькими. И если все это будет искусно придумано и написано приятным слогом, и если вымысел будет мало уклоняться от действительности, то из прекрасных, разноцветных нитей ему бесспорно удастся выработать ткань, которая в законченном виде будет— сама красота и совершенство; и тогда, повторяю, он достигнет высокой цели писательства— поучать и услаждать одновременно, так как свободная форма романа дает автору возможность быть эпиком, лириком, трагиком и комиком, соединяя вместе все элементы, которые заключает в себе приятная и сладостная наука поэзии и реторика; ибо произведения эпические с равным правом могут писаться и в прозе и в стихах.

## ГЛАВА XLVIII

*в которой каноник продолжает рассуждать о рыцарских романах и других материях, достойных его тонкого ума*



ы совершенно правы, ваша милость сеньор каноник, — сказал священник, — и посему доселе жившие авторы подобных книг особенно достойны порицания: они сочиняли, пренебрегая всяким смыслом и правилами искусства, следуя которым они могли бы прославиться в прозе так же, как в стихах прославились два князя поэзии — греческой и латинской \*.

— Я лично, — ответил каноник, — однажды поддался искушению написать рыцарский роман, руководствуясь всеми мною изложенными правилами, и скажу вам правду, исписал более ста листков. Затем, чтобы проверить, соответствует ли в действительности мое произведение тому, что я о нем думаю, я прочитал его многим любителям такого чтения — как людям умным и ученым, так и людям невежественным, которым

нравится всякая дребедень; и те и другие удостоили меня лестного одобрения. Но, несмотря на это, я не продолжал: во первых, это занятие казалось мне не подобающим моему сану, а во вторых, я видел, что на свете больше глупцов, чем умников, и хотя похвала немногих понимающих людей предпочтительней, чем насмешки многочисленных невежд, все же я не пожелал подчиняться бессмысленному суждению изменчивой толпы, которая то главным образом и читает подобные книги. Но окончательно побудило меня бросить мои писания и оставить самую мысль о том, чтобы их закончить, следующее соображение, явившееся у меня по поводу комедий, которые в настоящее время представляются на сцене. Если известно, что все или большая часть современных комедий с историческими или вымышленными сюжетами — сплошной вздор; если это — уроды без ног и без головы, а толпа тем не менее смотрит их с удовольствием и одобряет, считая превосходными, хотя они весьма далеки от совершенства; если авторы, сочиняющие их, и актеры, их разыгрывающие, утверждают, что они должны быть таковыми, ибо публика любит такую манеру, и что комедии, в которых интрига и фабула развиваются согласно правилам искусства, удовлетворяют всего какихнибудь трех четырех понимающих людей, а все остальные зрители лишены способности оценить их художественность, — а для актеров и авторов заработок, который им дает толпа, важнее доброго мнения немногих, — если все это так, то разве не та же судьба постигнет и мою книгу? Я буду палить себе брови \*,

стараясь в своих писаниях соблюсти все вышеуказанные правила, а в итоге окажусь в положении «портного с угла»\*. Неоднократно пытался я убедить авторов комедий, что их воззрения ошибочны, что если бы вместо того, чтобы сочинять нелепости, они ставили пьесы, написанные по правилам, они бы привлекли еще больше публики и снискали бы еще большую известность; они так слепы и упорны в своей уверенности, что ни доводы, ни сама очевидность не могут ее поколебать. Припоминаю, как я однажды сказал одному из этих упрямцев: «Скажите пожалуйста, помните ли вы, как несколько лет тому назад были поставлены на испанской сцене три трагедии, принадлежащие перу одного знаменитого писателя нашей страны, и как они удивили, взволновали и восхитили всех зрителей, невежественных и образованных, простолюдинов и знатных? Разве эти три пьесы не принесли актерам больше дохода, чем тридцать лучших трагедий, ставившихся после них?» Автор, о котором я говорю, ответил мне: «Ваша милость без сомнения понимает *Изабеллу, Филиду и Александру?*» — «Да, именно их», сказал я. «И заметьте, что в них соблюдены все правила искусства, что, однако, не помешало им быть тем, чем они были, и понравиться всем зрителям. А следовательно, виновата не публика, будто бы требующая нелепых зрелищ, а те, кто не умеет показать ей ничего другого. Вы не отыщете нелепостей в *Наказанном бессердечии*, в *Нуманси*, во *Влюбленном купце*, еще менее в *Благосклонной неприятельнице*\* и в некоторых других пьесах, на-

писанных просвещенными поэтами и доставивших им известность и славу, а актерам—большой доход». Я еще много говорил по этому поводу, и, кажется мне, мой собеседник был несколько смущен; но все же мои замечания не убедили его до конца в ошибочности его суждений.

— Ваша милость, сеньор каноник,—сказал священник,—затронула предмет, пробудивший во мне мою старую вражду к нынешним комедиям, которая не менее сильна, чем неприязнь к рыцарским романам. По словам Туллия \*, комедия должна быть зеркалом человеческой жизни, примером нравов и образом истины, а те комедии, что ныне идут на сцене, суть зеркала нелепости, примеры глупости и образы сладострастия. И в самом деле, может ли в этом деле быть бóльшая несообразность, чем когда в первой сцене первого акта нам показывают ребенка еще в пеленках, а во второй выводят его уже взрослым, бородатым мужчиной? Не нелепо ли изображать старика—отважным, юношу—трусливым, лакея—ритором, пажа—советчиком, короля—поденщиком, а принцессу—судомойкой? А что вы скажете о соблюдении закона времени \*, в течение которого могут или могли произойти изображаемые в комедии события? Я раз видел одну пьесу, первый акт которой начался в Европе, второй в Азии, а третий закончился в Африке; и если бы в ней были четыре акта, то четвертый наверное бы разыгрывался в Америке, и таким образом действие охватило бы все четыре части света \*! Если признать, что главная основа комедии—

подражание, то какое же удовлетворение может получить даже самый средний зритель, когда он видит, что действие пьесы происходит во времена королей Пипина и Карла Великого, а главный герой ее—император Ираклий, которого автор превращает в крестоносца и заставляет вступить в Иерусалим и завоевать гроб господень подобно Готфриду Бульонскому, между тем как эти две личности разделены огромным промежутком времени? Если же комедия основывается на вымысле, то не нелепо ли вводить в нее исторические факты, сваливая в одну кучу события, случившиеся с разными лицами и в разные времена, при чем все это делается с полным пренебрежением ко всякому правдоподобию и с явными, ничем не оправдаваемыми ошибками? И хуже всего то, что находятся еще невежды, утверждающие, что это и есть само совершенство, а искать лучшего—значит искать птичьего молока. А взять хотя бы духовные драмы! Сколько в них насочинено небывалых чудес, сколько апокрифических и ложно понятых событий, как часто чудеса, совершенные одним святым, приписываются другому! Да и в светских пьесах авторы осмеливаются без всяких оснований и уважительных причин изображать чудеса, единственно потому, что эти чудеса или, как они их называют, видения кажутся им подходящими и способными поразить невежественную толпу и привлечь ее в театр. Все это делается в ущерб истине, наперекор истории, и навлекает позор на испанских писателей, ибо иностранцы, с большой точностью соблюдающие законы комедии, счи-

тают нас варварами и невеждами, видя нелепости и сумасбродства наших произведений. И мы плохо бы оправдались, если бы стали заявлять, что основная цель, которую преследуют благоустроенные государства, разрешая публичные представления, состоит в доставлении обществу пристойных развлечений и в отвлечении его от дурных склонностей, порождаемых праздностью, и что раз этой цели достигают одинаково и хорошие и плохие комедии, то следовательно незачем навязывать им законы и заставлять авторов писать а актеров разыгрывать их согласно правилам,—потому что, как я уже сказал, любая комедия достигает своей цели. В ответ на все это я бы сказал следующее: этой цели мы бы достигли с несравненно большим успехом, сочиняя не плохие, а хорошие комедии, ибо после представления искусной и правильно построенной комедии зритель уходит из театра, развлеченный шутками, вразумленный моралью, восхищенный происшествиями, умудренный рассуждениями, предупрежденный против плутней, наученный примерами, возмущенный пороком и влюбленный в добродетель,—ибо хорошая комедия должна пробудить все эти чувства в самой грубой и тупой душе; и никак невозможно, чтобы пьеса, заключающая в себе все эти достоинства, не развлекала, не удовлетворяла и не поучала больше, чем зрелище, всех этих качеств лишенное,—а большинство нынешних комедий именно таково. Вины в этом не писатели, сочиняющие подобные комедии,—ибо многие из них прекрасно повимают свое заблуждение и отлично знают, как следует



писать: беда в том, что комедии в наше время стали просто товаром, и авторы говорят (и вполне справедливо), что будь они написаны не по принятому образцу, актеры их не купят; и поэтому они стараются подладиться к требованиям актеров, которые платят им за их произведение. Эту истину можно подтвердить примером многочисленных, вернее бесчисленных комедий, написанных величайшим писателем нашего королевства: сколько в них блеска, изящества, сколько превосходных стихов, мудрых рассуждений и глубокомысленных изречений; одним словом, язык и слог их столь возвышен, что комедии эти славятся на весь мир, и тем не менее только немногие из них, а во все не все, достигают вершины совершенства из за того, что автор их склонен приспособляться ко вкусу актеров \*. Иные авторы пишут комедии так небрежно, что после представления актеры вынуждены бывают скрываться и бежать из боязни преследований, как это не раз уже с ними случалось после исполнения пьесы, оскорбительной для достоинства короля или какой нибудь знатной фамилии. Злоупотребления, о которых я говорю, равно как и многие другие, о которых умалчиваю, прекратились бы, если бы в столице находилось какое нибудь просвещенное и умное лицо, которое просматривало бы все комедии до их публичного исполнения, и так, чтобы просмотр этот касался не только комедий, ставящихся в столице, но и всех вообще пьес, разыгрываемых в Испании: без одобрения, печати и подписи этого лица местные власти

нигде не должны были бы разрешать ни одного представления. При таком положении дел, комедианты были бы обязаны посылать свои пьесы в столицу и потом могли бы разыгрывать их без всяких опасений, а авторы относились бы к своему делу с большей заботливостью и тщательностью, страшась строгого суда сведущего лица. Таким образом, у нас появились бы хорошие комедии, в полной мере выполняющие свое назначение: развлекать народ и поддерживать славу испанских писателей; вместе с тем актерам были бы обеспечены доход и безопасность, и власти не нужно было бы никого преследовать. И если бы этому самому лицу или другому какомунибудь был поручен просмотр рыцарских романов, выходящих в свет в наше время, то несомненно у нас появились бы романы, обладающие совершенством, о котором говорила ваша милость. Они обогатили бы наш язык драгоценными и приятными сокровищами красноречия, затмили бы своим блеском старые романы и послужили бы благородным отдыхом не только для праздных умов, но и для самых занятых, ибо тетива лука не может постоянно быть натянутой и человеческая природа по слабости своей нуждается в пристойных развлечениях.

В этом месте беседа каноника со священником была прервана появлением цырюльника, который, нагнав их, сказал:

— Синьор лиценциат, вот то место, о котором я говорил. Нам тут хорошо будет расположиться на съесту, а наши волы найдут здесь обильное и свежее пастбище.

— Я совершенно с вами согласен, — ответил священник.

Он сообщил об этом канонику, и тот заявил, что охотно отдохнет вместе с ними, так как открывающаяся отсюда долина кажется ему красиво расположенной. И вот, чтобы насладиться ею и беседой со священником, к которому он почувствовал расположение, а также чтобы разузнать во всех подробностях о подвигах дон Кихота, он приказал нескольким из своих слуг отправиться на постоялый двор, находившийся поблизости, и принести оттуда еды для всей компании, так как он решил провести съесту сегодня в этой долине. Один из слуг ответил канонику, что мул с провизией должно быть уже прибыл на постоялый двор, и что припасов этих хватит на всех, так что в гостинице им придется купить только овса для мулов.

— Раз так, — сказал каноник, — отведите туда всех наших мулов и приведите сюда мула с провизией.

Пока все это происходило, Санчо, воспользовавшись случаем поговорить наедине со своим господином, без надзора священника и цырюльника, очень для него подозрительных приблизился к клетке, в которой сидел дон Кихот, и сказал:

— Сеньор, для облегчения своей совести, я должен сообщить вам, как обстоит дело с вашей очарованностью, а именно: эти двое в масках, что сопровождают нас, не кто иные как священник из нашей деревни и цырюльник. И мне думается, что их побудила похитить вас таким образом чистейшая зависть: они видят:

что вы превзошли их своими знаменитыми подвигами. А если так, то выходит, что вы вовсе не очарованы, а попросту попались впросак и одурачены. В доказательство этого, дозвольте задать вам один вопрос, и если вы мне ответите так, как я этого ожидаю, вы воочию убедитесь в обмане и согласитесь, что вы ничуть не заколдованы, а просто спятили с ума.

— Спрашивай что хочешь, сынок Санчо,— ответил дон Кихот,— я удовлетворю тебя,— и отвечу на все твои вопросы. А что касается того, что эти двое, едущие вместе с нами, будто бы наши односельчане и старые знакомые—священник и цырюльник,—возможно, что тебе так кажется; но ты никоим образом не должен думать, что оно так и есть на самом деле и в действительности. Напротив, тебе следует поверить и понять, что если они представляются тебе таковыми, так это потому, что волшебники, очаровавшие меня, приняли их образ и подобие, ибо волшебникам ничего не стоит принять внешность какую им вздумается; а приняли они вид наших друзей для того, чтобы побудить тебя думать то, что ты думаешь, и ввести тебя в лабиринт заблуждений, из которого тебе не удастся выбраться, даже если бы у тебя была нить Тезея, и еще для того, чтобы я смутился в мыслях и не мог разгадать, откуда свалилась на меня эта беда. Ибо, если с одной стороны ты говоришь, что меня сопровождают священник и цырюльник из нашего села, а с другой стороны я вижу, что меня посадили в клетку, и знаю, что так пленить меня могли бы только сверхъестественные силы,



и уже никак не человеческие,—то что же ты хочешь, чтобы я заключил и вывел из этого, как не то, что способ, каким я очарован, превосходит все, что мне приходилось читать в романах относительно очарованных странствующих рыцарей? Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать: они такие же священник и цырюльник, как я — турок. А теперь спрашивай меня, о чем тебе угодно, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего утра.

— Помоги мне пресвятая богородица! — громко вскричал Санчо. — Бывала ли когда на свете такая твердая и безмозглая голова, как у вашей милости! Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду и что в вашей беде и пленении больше повинно коварство, чем волшебство? Хорошо же, я вам наглядно докажу, что вы не очарованы: ну ка, скажите мне прямо — и да поможет вам бог избавиться от этого бедствия и неожиданно негаданно попасть в объятия сеньоры Дульсины!

— Перестань меня заклинать, — сказал дон Кихот, — и спрашивай, наконец, о чем ты хочешь: я тебе сказал, что отвечу на все полной правдивостью.

— Это то мне и надо, — ответил Санчо, — и желательно, чтобы вы сказали с полной откровенностью, ничего не прибавляя и не убавляя, как подобает и надлежит говорить всем, кто подобно вашей милости посвятил себя военному делу и носит звание странствующего рыцаря...

— Говорю тебе, что ни в чем не солгу, — ответил дон Кихот. — Да спрашивай же, наконец! На-

доед ты мне, Санчо, своими предисловиями, обиняками и присказками.

— А я говорю, что уверен в честности и правдивости моего господина; и потому, раз уж к делу пришлось, я спрашиваю вас: с тех пор как ваша милость посажены в клетку,—или, как вы сами полагаете, очарованы в этой клетке,— не являлось ли у вас желания или потребности сходить, с позволения сказать, за маленькой или большой нуждой?

— Не понимаю, о какой нужде ты говоришь, Санчо. Выражайся яснее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.

— Неужто ваша милость не понимает, что значит большая и маленькая нужда? Да этому в школе грудных младенцев учат. Ну, одним словом, не хотелось ли вам сделать такое дело, от которого не отвертись?

— Теперь понимаю, Санчо! Конечно, хотелось, и не раз, да и сейчас как раз хочется. Помогите мне в этой беде, потому что не все у меня тут в полной опрятности.

## ГЛАВА ХЛХ

*в которой излагается умнейшая беседа между Санчо Пансой и его господином дон Кихотом*



га, — воскликнул Санчо, — вот вы и попались! Это то мне и хотелось до смерти знать! Теперь скажите, сеньор, неужели вы станете отрицать, что когда человеку не по себе, люди о нем обычно говорят: «Не понимаю, что с ним такое, — не ест, не пьет, не спит и на вопросы отвечает невпопад; не иначе, как он околдован». А из этого следует, что околдованным бывает тот, кто не ест, не пьет, не спит и не исполняет естественных потребностей, о которых я уже упоминал, — а вовсе не тот, кто, как ваша милость, испытываете естественную нужду, пьет, когда ему предлагают, ест, когда ему дают, и отвечает на все, о чем его ни спросишь.

— Правду ты говоришь, Санчо, — ответил дон Кихот; — но я уж тебе говорил, что бывают разные виды очарованности, и очень возможно, что с течением времени одни из них сменились



другими и что теперь очарованные делают все то, что делаю я и чего прежде не делали; а против заведенных обычаев не приходится возражать и выставлять разные доводы. Я знаю и уверен, что меня очаровали, и поэтому совесть моя спокойна. А как бы она мучилась, если бы я думал, что я не очарован, а просто сижу здесь в клетке как праздный и малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся, которые в этот самый час испытывают крайнюю и острую необходимость в моей поддержке и заступничестве!

— И все же,—ответил Санчо,—мне кажется, что для большего спокойствия и уверенности вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой тюрьмы (я в этом деле обещаю помочь вам, сколько хватит сил, и пожалуй, даже вывести вас отсюда) и снова сесть на вашего доброго Росинанта, который как будто тоже очарован,—посмотрите, как он печален и задумчив!—а выйдя на свободу, мы опять попробуем пуститься на поиски приключений. Если же из этого ничего не выйдет, так вернуться обратно в клетку мы всегда успеем; и обещаю вам, как полагается доброму и верному оруженосцу, что я засяду в клетку вместе с вашей милостью, если на несчастье ваша милость окажется такой неудачливой, а я таким неловким, что это дело у нас не выгорит.

— Я согласен на твое предложение, братец Санчо,—сказал дон Кихот,—и как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться. Но ты уви-

дишь, Санчо, как ложно ты судишь о постигшем меня несчастье.

Такую то беседу вели странствующий рыцарь и странствующий горемыка-оруженосец, пока, наконец, они не прибыли туда, где, спешившись, их поджидали священник, каноник и дырюльник. Погонщик тотчас же выпряг волов из телеги и пустил их гулять на свободе в этой мирной зеленой долине, прохлада которой располагала к отдыху всех, кто был столь рассудителен и благоразумен, как наш оруженосец; только людям очарованным, подобно дон Кихоту, было не до того. Санчо попросил священника позволить его господину выйти на минутку из клетки, объяснив, что если этого не сделать, то в тюрьме может появиться неопрятность, несовместимая с достоинством почтенного рыцаря. Священник понял, в чем дело и ответил, что он с величайшей готовностью исполнил бы его просьбу, если бы не боялся, что дон Кихот, очутившись на свободе, снова примется за свое и удержит так, что его уже больше не отыщут.

— Я ручаюсь за то, что он не убежит, — сказал Санчо.

— И я тоже, — прибавил каноник, — особенно, если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.

— Даю вам слово, — ответил дон Кихот, слышавший этот разговор, — и тем более охотно, что очарованные не вольны располагать собой, как им хочется, ибо волшебник может заставить их простоять триста лет на одном месте, а если они попытаются бежать, он может вернуть их обратно по воздуху.

В виду этого, прибавил он, его можно спокойно выпустить: для всех от этого будет одна выгода; если же они этого не сделают, то им придется отойти в сторону, ибо он будет вынужден оскорбить их обоняние. Каноник взял дон Кихота за руку (хотя руки у того и были связаны) и под честным словом выпустил его из клетки. Выйдя из заключения, дон Кихот бесконечно и необыкновенно обрадовался; прежде всего, он размял свои члены, а потом подошел к Росинанту и, похлопав его по бокам, сказал:

— И все же я надеюсь, что господь бог и его благословенная мать скоро исполнят наши желания, о цвет и зеркало всех коней на свете: ты будешь опять носить своего господина, а я, верхом на тебе, снова займусь тем делом, на которое господь призвал меня в мир.

Сказав это, дон Кихот удалился с Санчо в укромное местечко и вернулся оттуда облегченный, с твердым намерением привести в исполнение замысел своего оруженосца.

А каноник глядел на него и дивился его странному и великому безумию, — ибо, как мы уже не раз говорили, дон Кихот рассуждал и отвечал вполне разумно, но стоило только завести речь о рыцарстве, как он тотчас же терял стремена. И вот, когда, в ожидании прибытия запасов, все уселись на зеленой траве, каноник, движимый состраданием, сказал ему:

— Неужели в самом деле, сеньор идальго, чтение пустых и безвкусных рыцарских романов так на вас подействовало, что вы тронулись в уме и думаете, что действительно очарованы? Неужели вы верите в подобные вещи, которые

столь же далеки от правды, как ложь от истины? Возможно ли, чтобы человеческий разум мог поверить, что на свете существовали все эти бесчисленные Амадисы, все это скопище славных рыцарей, все эти Трапезундские императоры, Фелисмарты Гирканские, скакуны, странствующие девицы, змеи, андриаки, великаны, неслыханные приключения, всякие чары, битвы, отчаянные схватки, пышные наряды, влюбленные принцессы, оруженосцы, ставшие графами, смешные карлики, любовные письма и нежность, отважные женщины, словом весь этот вздор, которым полны рыцарские романы? Лично про себя скажу, что когда я их читаю, стараюсь не думать при этом, что все это — пустяки и выдумки, я испытываю некоторое удовольствие. Но стоит мне только вспомнить, какой это вздор, — и я тотчас же швыряю об стену лучшие из этих романов, а был бы у меня под рукой огонь, то я бы охотно швырнул их и туда; ибо я считаю, что они заслуживают такого наказания, — так они обманчивы, лживы и противоречат законам человеческой природы; они создают новые секты, учат новому образцу жизни и соблазняют невежественную толпу, которая считает за истину и правду все заключающиеся в них нелепости. Наглость этих писателей доходит до того, что они осмеливаются смущать умы самых разумных и благородных идалго, как об этом свидетельствует пример вашей милости, — ибо это они довели вас до такой крайности, что вас пришлось запереть в клетку и везти на волах, как возят из деревни в деревню какого нибудь льва или

тигра, показывая его за плату. Ах, сеньор дон Кихот, жальтесь над собою, вернитесь в лоно разума и употребите во благо тот рассудок, которым небо вас щедро наделило! Обратите блестящие качества вашего духа на чтение других книг: тогда вы и душу свою спасете и славу умножите! Если же, несмотря на все, прирожденная склонность влечет вас к книгам о подвигах и рыцарских деяниях, тогда прочтите в священном писании книгу Судей: в ней вы найдете подлинные великие события и деяния, столь же истинные, как и отважные. В Лузитании \* был Вириат, в Риме — Цезарь, в Карфагене — Ганнибал, в Греции — Александр, в Кастилии — граф Фернан Гонсалес, в Валенсии — Сид, в Андалузии — Гонсало Фернандес, в Эстремадуре — Дигго Гарсия де Паредес, в Хересе — Гарсия Перес де Варгас, в Толедо — Гарсиласо, в Севилье — дон Мануэль де Леон: повесть о их отважных подвигах может увлечь, поучить, восхитить и поразить самых высокообразованных читателей. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор мой дон Кихот; оно сделает вас знатоком истории, заставит полюбить добродетель, научит многому хорошему; оно исправит ваши нравы, позволит вам быть мужественным без наглости и решительным без малодушия, и все это послужит господу во славу, вам на пользу, а Ламанче, — откуда, как я слышал, вы ведете свой род, — на украшение.

Дон Кихот с величайшим вниманием выслушал речь каноника, а когда тот кончил, он долгое время смотрел на него и, наконец, заговорил:

— Кажется, сеньор идалго, ваша милость вела свою речь к тому, чтобы убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей; что все рыцарские романы — ложны, живы, пагубны и бесполезны для государства; что читая их я поступал плохо, веря им поступал хуже, а подражая — совсем скверно, ибо я посвятил себя тягчайшему жребию странствующих рыцарей, которому эти книги учат? Вы, наконец, отрицаете существование Амадиса Галльского и Амадиса Греческого и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?

— Ваша милость весьма точно передает мою мысль, — подтвердил каноник.

А дон Кихот продолжал:

— Ко всему этому ваша милость еще прибавила, что чтение подобных книг причинило мне большой вред, так как лишило меня ума и довело до этой клетки; что я бы сделал лучше, если бы исправился и вместо рыцарских романов стал бы читать книги более правдивые, которые одновременно занимательнее и назидательнее?

— Совершенно верно, — заметил каноник.

— В таком случае, — сказал дон Кихот, — я со своей стороны полагаю, что очарованным и лишенным разума являетесь вы сами, ибо вы решились изречь хулу на то, что всем миром принято и признано истиной: человек, отрицающий это подобно вашей милости, заслуживает того же наказания, которому ваша милость, по ее словам, желала бы подвергнуть книги, чтение которых ей не по вкусу. Вы желаете меня уверить, что на свете не было

ни Амадиса, ни всех других рыцарей — искателей приключений, о которых подробно рассказывается в романах; это похоже на то, как если бы люди старались доказать, что солнце не светит, лед не холоден и земля не тверда. Какой же человек на свете сможет убедить нас, что история инфанты Флорипес и Гюн Бургундского — не истина? Или подвиги Фьерабраса на Мантибльском мосту во времена Карла Великого! Чорт меня побери, если все это — не такая же правда, как то, что сейчас день! Если же это ложь, то значит не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни двенадцати перов Франции, ни короля Артура Английского, который и поныне еще летает обращенный в ворона, между тем как в его королевстве ждут со дня на день его возвращения! Этак можно дойти до того, что покажется ложной и история Гуарино Мескино и поиски святого Грааля; вы пожалуй объявите вымыслом любовь Тристана и королевы Изольды, или любовь Ланселота и Джиневры, — а между тем еще существуют люди, которые почти помнят, как они своими глазами видели дуэнью Кинтаньону, лучшую кравчицу Британнии; да, все это так, и я даже помню, что моя бабушка по отцовской линии, встречая какуюнибудь дуэнью с длинной головной повязкой, говаривала мне: «Посмотри ка, внучек, как она похожа на дуэнью Кинтаньону», — из чего я заключаю, что она должно быть ее знала или, по крайней мере, видела ее портрет. Но кто же станет отрицать достоверность истории Пьера и прекрасной Магеллоны, когда и до наших дней в королевском арсенале

хранится колок, которым отважный Пьер управлял деревянным конем, носившим его по воздуху, — колок немного побольше дышла телеги? Рядом с ним находится седло Бабьеки, а в Ронсевале хранится рог Роланда, величиной с большое стропило. Из всего этого следует, что существовали и двенадцать перов, и Пьер, и Сид, и другие подобные им рыцари,

Столь известные в народе  
Тем, что приключений ищут.

— А нет, так уж заодно докажите мне, что не было вовсе и отважного лузитанского странствующего рыцаря Хуана де Мерло, что он не ездил в Бургундию и не сражался в городе Аррасе с знаменитым сеньором де Шарни, по имени мосен Пьер, а затем в городе Базеле с мосеном Энрике де Реместан, что не победил он обоих своих противников и не покрыл себя громкой славой? А разве выдуманы приключения в Бургундии двух отважных испанцев — Педро Барбы и Гутьерре Кихады (из рода коего я и происхожу по прямой мужской линии): разве они не бросили вызова двум сыновьям графа де Сен Поль и не победили их? Тогда отрицайте также, что дон Фернандо де Гевара в поисках приключений ездил в Германию и бился там с мессером Георгом, рыцарем герцога Австрийского. Вы скажете, что все это выдумки: и турнир Суэро де Киньонес, описанный в *Пасо*, и поход мосена Луиса де Фальсес против кастильского рыцаря дон Гонсало де Гусман, и вообще все многочисленные деяния, совершенные христианскими рыцарями, нашими



и иноземными? А на самом деле они столь истинны и достоверны, что еще раз скажу: отрицающий их — лишен всякого разума и здравого смысла\*.

Каноник был поражен, видя, как дон Кихот путает ложь и правду, и как глубоко он сведущ во всем, что принадлежит и относится к деяниям его любимых странствующих рыцарей.

— Я не могу отрицать, сеньор дон Кихот, — сказал он, — что некоторые из приведенных вами примеров достоверны, — а именно те, что касаются испанских странствующих рыцарей; точно также я готов с вами согласиться, что двенадцать перов Франции существовали; но я не могу поверить, что они проделывали все то, что им приписывает архиепископ Турпин. В действительности это были рыцари, избранные французскими королями и названные ими *перами*, так как все они были равны происхождением, доблестью и отвагой (или, по крайней мере, должны были быть таковыми)\*: это было нечто в роде нынешних орденов Сантьяго или Калатравы, в которых требуется, чтобы все рыцари, принадлежащие к ним, были благородного происхождения, доблестны и отважны. И как мы теперь говорим: *рыцарь ордена Сан Хуана*, или *рыцарь ордена Алькантары*, так и тогда говорили: *рыцарь ордена двенадцати перов*, отнюдь не имея в виду, что все двенадцать, набранные в этот военный орден, равны между собой. Конечно, существование Сида и Бернардо дель Карпио не вызывает сомнений; но что они совершили все те подвиги, о которых нам рассказывают, — в этом можно весьма усомниться. Что

же касается колка графа Пьера, который, по словам вашей милости, хранится в королевском арсенале рядом с седлом Бабьеки, то, признаюсь, грешен: я или невежествен, или подслеповат, но только седло я разглядел, а колка не заметил, хотя он, как говорит ваша милость, размеров не малых.

— Да нет же, он наверное находится там! — воскликнул дон Кихот. — Я могу еще прибавить, что, по слухам, его заключили в кожаный футляр, чтобы он не заржавел.

— Все возможно, — ответил каноник, — но клянусь моим духовным саном, я не помню, чтобы его видел. Но допустим даже, что он там находится, — все же это не заставит меня поверить историям всех этих Амадисов и прочих бесчисленных рыцарей, о которых нам рассказывают авторы романов; и вы, ваша милость, как человек почтенный, здравомыслящий и одаренный столь прекрасными качествами, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.

## ГЛАВА I

*о разумнейшем споре дон Кихота с каноником и о других происшествиях*



едурно! — воскликнул дон Кихот. — Итак, эти книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения лиц, которые их просматривают, книги, с единодушным восторгом читаемые и восхваляемые и великими и малыми, бедными и богатыми, учеными и невеждами, плебейми и дворянами, одним словом всеми людьми, какого бы звания и состояния они ни были, — все сплошь лживы, даже если в них соблюдена вся видимость правды: указаны отец, мать, родственники, родина и возраст героя; подробно, день за днем рассказаны подвиги, совершенные каким нибудь одним или несколькими рыцарями, и описаны места, в которых все это происходило? Замолчите, ваша милость, не кощунствуйте, — поверьте, я даю вам совет, которому должен последовать каждый разумный человек; а лучше перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие.

Ну признайтесь, есть ли на свете большее удовольствие, чем когда на ваших, так сказать, глазах объявляется огромное озеро кипящей и клочущей смолы, в котором плавают и кишмя кишат бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и многие другие свирепые и страшные гады, — и из самой середины его вдруг раздается жалобный голос: «Кто бы ты ни был, о рыцарь, глядящий на это устрашающее озеро, — если ты хочешь добыть сокровища, скрытые в его черных водах, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в эту черную раскаленную влагу; сделав это, ты удостоишься узреть великие чудеса семи замков семи фей, скрытых под этими черными волнами»? И как только рыцарь услышал эти наводящие трепет слова, он уж ни о чем не рассуждает; не думает, какой опасности подвергается, не заботится даже о том, чтобы снять с себя тяжелые могучие доспехи; поручив себя богу и своей даме, он бросается в самую середину кипящего озера; не знает и не понимает, куда он попал, и глядит: вокруг него — цветущие луга, с которыми не сравнятся Елисейским полям. И кажется ему, что небо здесь более прозрачно и солнце более ярко, и глазам его представляется мирная роща; деревья в ней сверкают такой зеленой листвою, что зелень их тешит взоры, а сладостное и безыскусственное пение бесчисленных пестрых маленьких птишек, порхающих по силетенным ветвям, радует слух. Он находит ручеек, прохладные струи которого, подобные жидкому хрусталу, бегут по мелкому песку и белым камушкам; они кажутся просеянным золотом и чистым жемчугом. Вот

видит он искусный фонтан, сделанный из разноцветной яшмы и полированного мрамора. Вот — другой, отделанный под грот, выложенный мелкими раковинками мидей и изогнутыми, белыми и желтыми домиками улиток; между ними в искусном беспорядке вставлены кусочки блестящего хрусталя и поддельные изумруды и кажется, что этой хитрой наборной работой искусство, подражая природе, побеждает ее. А вот внезапно открывается перед ним укрепленный замок или роскошный дворец: стены его — из толстого золота, зубцы из алмазов, ворота из гиацинтов; и хотя он целиком построен из алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга, золота и изумрудов, архитектура его еще удивительнее, чем все эти драгоценные материалы. А когда вы все это увидели, что еще вам остается увидеть? Разве только длинную вереницу девушек, выходящих из ворот замка, в таких изящных и пышных нарядах, что если бы я стал сейчас их описывать, как это делается в романах, я бы никогда не кончил. И вот, та из девушек, которая кажется госпожей всех остальных, берет за руку рыцаря, отважно бросившегося в кипящее озеро, не говоря ни слова ведет его в роскошный замок или дворец, и, велев ему раздеться и остаться в чем его мать родила, моет его теплой водой, натирает благовонными мазями, надевает на него рубашку из тончайшей ткани, надушенную и благоуханную; а в это время приближается другая девушка и на плечи ему набрасывает плащ, который, по самому скромному расчету, стоит столько, сколько целый город, а то и больше. А дальше расска-

зывается, что после всего этого ведут его в другую залу, где уже накрыты столы — и с таким великолепием, что он только дивится и восхищается; на руки ему льют воду, смешанную с чистой амброй или с соком благоуханных цветов; усаживают на трон из слоновой кости; все девушки прислуживают ему, храня удивительное молчание, приносят множество яств, так вкусно приготовленных, что он не знает, к которому из них протянуть руку; а пока он ест, звучит музыка, и он не может понять, где играют и кто поет; а когда обед кончен и со столов убрано, рыцарь отдыхает, развалившись в креслах и может быть, по обыкновению, ковыряет у себя в зубах, — и вот, внезапно появляется перед ним другая девица, прекраснее всех остальных, садится рядом с ним и начинает ему рассказывать, что это за замок и почему она в нем очарована и многое другое, что у рыцаря вызывает удивление, а у читателей этой истории — восторг. Я не хочу более об этом распространяться, ибо уже из того, что я рассказал, нетрудно заключить, что любая часть любого романа о странствующих рыцарях должна удивлять и восхищать любого читателя. Итак, поверьте мне, ваша милость, и, как я уже сказал, перечтите эти книги: если вы будете в меланхолии, то увидите, что они ее рассеют, если будете в дурном настроении — они его исправят. Что касается меня, то могу вам сказать, что с тех пор как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественным, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым, терпеливым; я выношу и не-

взгоды, и плен, и колдовство. И хотя совсем недавно меня посадили в клетку, как сумасшедшего, я все же надеюсь с помощью моей могучей руки в самом скором времени, если только небо будет ко мне благосклонно и фортуна не враждебна, стать королем какой нибудь страны, и тогда я смогу показать, сколько отзывчивости и щедрости таится в моей груди, ибо, поверьте моей чести, сеньор: щедрость есть добродетель, которую никак не может проявить человек бедный, хотя бы он и обладал ею в самой высокой степени; а отзывчивость, неидушая дальше простого желания, так же мертва, как мертва вера без дел. Вот почему я хотел бы, чтобы судьба поскорее послала мне возможность сделаться императором: я бы показал, какое у меня сердце, и облагодетельствовал бы своих друзей, особенно же этого беднягу — моего оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графством, и мне бы очень хотелось это сделать, — хоть я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять

Как раз самый конец речи дон Кихота услышал Санчо и сказал:

— Лишь бы только вы постарались, ваша милость сеньор дон Кихот, подарить мне графство, которое вы столько раз мне обещали и которого я жду с таким нетерпением, а уж я вам обещаю, что у меня хватит сметки, как с ним управиться; а не хватит, так слышал я, что есть на свете такие люди, что арендуют у сеньоров их поместья и платят им за это известную сумму в год: арендаторы управляют, а сеньоры

сидят себе сложив руки, проживают ренту и ни о чем на свете не заботятся. Так и я сделаю: не стану ни с кем торговаться, а сразу же сдам все свои владения и буду себе жить на ренту князем, а они пускай делают что хотят.

— То, что вы говорите, братец Санчо, — сказал каноник, — справедливо только в отношении доходов, но ведь каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях, и вот тут то и нужно обладать умением и рассудительностью, а главное — стремлением к справедливости; если этого стремления нет в самом начале, тогда и середина и конец пойдут вкривь и вкось, ибо господь помогает добрым желаниям простодушных и посрамляет злые желания мудрых.

— В этой философии я ничего не смыслю, — ответил Санчо, — а знаю только, что будь у меня графство, я с ним управлюсь; у меня ведь столько же души, сколько у всякого, а тела, даже побольше, чем у многих других, и буду я управлять своими владениями не хуже всякого короля; а управляя, буду делать все что мне вздумается; делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие; а живя в свое удовольствие, буду всем доволен; а кто всем доволен, тому нечего желать; а раз нечего желать, так и дело с концом, — и пусть приходит скорей самое графство, и дай бог нам поскорей увидеться, как один слепец говорил другому.

— Твоя философия в общем не плоха, Санчо, но все же по поводу графств можно было бы еще многое сказать.



Но дон Кихот возразил канонику:

— Не знаю, что еще по этому поводу можно сказать; я же руковожусь примером великого Амадиса Галльского, который возвел своего оруженосца в графы Сухопутного Острова; а потому без угрызений совести я могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда либо служивших странствующим рыцарям.

Каноник очень удивлялся и тому, что дон Кихот говорит столь разумные нелепости, и тому, как он описал приключения рыцаря в кипящем озере, и тому, какое глубокое впечатление произвела на него обдуманная дребедень, которой он начитался; удивляло его также и простодушие Санчо, пламенно мечтавшего о графстве, которое ему обещал подарить его господин. К этому времени возвратились слуги каноника, ходившие на постоялый двор за мулом с провизией; и после того как на зеленой лужайке расстелили ковер, заменивший собою стол, все уселись в тени деревьев и расположились на обед, рассчитывая, что погонщик использует тем временем удобное пастбище для волов, как об этом выше уже было сказано. И вот, когда они закусывали, вдруг послышался громкий шум и звук бубенчиков, доносившийся из за ближайших кустов и густых зарослей, и в ту же минуту из чащи выскочила хорошенькая козочка, вся в черных, белых и рыжих пятнах; за ней бежал пастух, который криком и ласковыми словами старался ее удержать и вернуть обратно в стадо. Испуганная беглянка в смятении бросилась прямо к людям, как будто

искала у них защиты, и, подбежав к ним, остановилась. Пастух настиг ее, схватил за рога и стал с ней говорить, как с разумным и мыслящим существом:

— Ах дикарка, дикарка моя, ах Пятнашка, Пятнашка, что это ты последние дни пошаливаешь? Какие волки тебя испугали, доченька? Скажи мне, красавица, что с тобой? Или все это оттого, что ты женского пола и не можешь минутку постоять спокойно? Чорт бы побрал твои капризы и все женские капризы вообще! Вернись, вернись, милая! Хоть загон тебе и не очень по нраву, все же там ты будешь в безопасности среди своих подруг. Если ты, глава и вожак других коз, сама бродишь без вожака и дороги,—что же будет с ними?

Слова пастуха развеселили всех присутствующих, особенно каноника, который воскликнул:

— Очень прошу вас, братец, успокойтесь и не торопитесь так отводить вашу козочку к стаду; ведь вы сами говорите, что она женского пола, — значит, она будет следовать своему природному инстинкту, как бы вы ни старались ее удержать. Возьмите ка этот кусок и выпейте стаканчик, — гнев ваш успокоится, а тем временем козочка отдохнет.

Говоря это, он протянул ему на кончике ножа филей холодного кролика. Пастух взял и поблагодарил, выпил, успокоился и наконец сказал:

— Мне бы не хотелось, чтоб ваши милости, слыша как я разговаривал с этой козочкой, сочли меня дурачком; ибо, скажу вам правду, в моих словах заключался скрытый смысл. Я хоть

и крестьянин, но не такой мужлан чтобы не знать, как нужно обращаться с людьми и как с животными.

— Охотно этому верю, — ответил священник, — так как знаю по опыту, что горы воспитывают ученых, а пастушеские хижины таят в себе философов.

— Во всяком случае, — сказал пастух, — живут в них люди знающие жизнь, и чтобы вы поверили, что это правда, и убедились воочию, я на короткое время попрошу вашего внимания, хотя и выходит, что я, незванный, напрашиваюсь сам; но все же, если вам, сеньоры, не скучно, я расскажу вам об одном истинном происшествии, которое подтвердит, что мы оба правы: и этот сеньор (тут он указал на священника), и я.

Тогда дон Кихот сказал:

— Мне кажется, что в вашей истории есть нечто, отдаленно напоминающее рыцарские приключения, и потому, братец, лично я послушаю вас с большой охотой; думаю, что и эти сеньоры присоединятся ко мне, так как все они — люди разумные и любят любопытные рассказы, которые поражают, увеселяют и развлекают душу, — а я не сомневаюсь, что ваш рассказ именно таков. Итак, начинайте, друг мой, мы все вас слушаем.

— Кроме меня, — перебил Санчо. — Я с этим пирогом отправляюсь к ручью и постараюсь наесться дня на три: мой господин дон Кихот не раз мне говаривал, что оруженосец странствующего рыцаря должен есть сколько влезет, когда к тому представится случай, по той при-

чине, что нередко ему случается попадать в дремучие леса, откуда и в шесть дней не выберешься, так что, если он не сыт или сумка его не набита туго, то ему суждено,—как не раз уже бывало,—навек там остаться и обратиться в мумию.

— Ты прав, Санчо,—сказал дон Кихот.—Ступай куда хочешь и ешь сколько можешь; а я уже сыт, и мне нужно теперь подкрепить душу, что я и сделаю, послушав рассказ этого доброго малого.

— Нам тоже хочется подкрепить наши души,—прибавил каноник и попросил козопаса начать обещанный рассказ.

А тот, держа козу за рога, похлопал ее по спине и сказал:

— Ложись тут возле меня Пятнашка; мы еще успеем вернуться к стаду.

Казалось, козочка его поняла, ибо, как только ее хозяин сел, она преспокойно вытянулась около него и стала смотреть прямо ему в лицо, как будто желая сказать, что слушает его с вниманием. Пастух же так начал свой рассказ.

## ГЛАВА LI

*в которой передается то, что пастух рассказал  
компании, увозившей дон Кихота*



трих милях от этой долины находится село, которое, хоть оно и невелико, но все же считается одним из самых богатых во всей округе. Жил в нем весьма почтенный крестьянин, настолько почтенный, что, хотя обыкновенно людей почитают за богатство, его уважали не столько за богатство, которое он нажил, сколько за добродетели. А сам он говорил, что величайшее его счастье было не в деньгах, а в том, что была у него дочь такой необыкновенной красоты, такого редкого ума, грации и чистоты, что все, кто только ее знал и видел, дивились великим достоинствам, которыми ее одарили небо и природа. Уже девочкой была она красива, а с годами красота ее возросла так, что, когда ей исполнилось шестнадцать лет, она стала настоящей красавицей. Молва о ее красоте стала разноситься по всем соседним селам,—да что я говорю по соседним селам!—

она дошла до отдаленных городов, проникла в королевские чертоги, долетела до слуха самых различных людей, — и стали они съезжаться на нее, как на диковинку или на чудотворный образ. Отец оберегал ее, и она сама берегла себя, — ибо никакие замки, запоры и засовы не могут уберечь девушку так, как ее собственное целомудрие.

Богатство отца и красота дочери побудили многих из наших односельчан и из чужеземцев просить ее руки. Но отец походил на человека, которому надлежит распорядиться своим богатым сокровищем: он был в нерешительности и не знал, кому из бесчисленных поклонников отдать свою дочь. В числе многих, домогавшихся ее руки, был и я; и так как отец ее меня знал как своего односельчанина, как человека чистой крови, во цвете лет, как богатого наследника и неглупого малого, — все это поддерживало во мне большие и крепкие надежды. Но в нашем селе нашелся другой юноша, одаренный такими же качествами как и я, и он тоже просил ее руки, — и вот, воля отца заколебалась, и он пребывал в нерешительности, ибо он думал, что и тот и другой из нас равно может осчастливить его дочь. И чтобы выйти из этого затруднения, он решил обо всем рассказать Леандре (так звали эту богатую девушку, повергшую меня в такое убожество), найдя, что раз мы оба во всем равны, самое лучшее будет предоставить любимой дочери выбрать того, кто ей больше по сердцу, — пример, заслуживающий подражания всех родителей, собирающихся женить своих детей. Я не хочу этим

сказать, что родители должны позволять своим дочерям выбирать между людьми низкими и дурными,—нет, но пусть они предложат им не-



сколько хороших женихов и предоставят выбрать по собственному желанию. Не знаю, кого из нас избрала Леандра; знаю только, что отец ее, чтобы оттянуть дело, объявил нам, что она еще слишком молода, и прибавил к этому несколько

общих слов, которые и нам не были обидны и его ни к чему не обязывали. Моего соперника звали Ансельмо, а меня зовут Эухенио; итак, вы теперь знаете имена действующих лиц этой трагедии, развязка которой еще неизвестна, хотя по всем вероятностям она будет весьма плачевной.

В это время пришел к нам в село некий Виценте де Ла Рока, сын бедного крестьянина из той же местности; он возвратился из Италии и других стран, где служил солдатом. Какой то капитан, случайно проходивший со своим отрядом через нашу деревню, увел его с собой еще мальчиком лет двенадцати, а теперь, через десять лет, он возвратился юношей, в пестрой солдатской одежде, весь увешанный стеклянными безделушками и тонкими стальными цепочками. Сегодня он надевал одно украшение, завтра другое,— и каждое из них было неважное, пестрое, дешевое и дрянное. Деревенские жители от природы лукавы, а когда у них есть досуг, тогда они — само лукавство: они подметили и посчитали его наряды и украшения, и оказалось, что всего на всего было у него три костюма разных цветов с подобранными к ним подвязками и чулками; но он так ловко приспособлял их и перемешивал, что не будь они сосчитаны, вы бы поклялись, что их у него не меньше десяти пар, да еще штук двадцать перьев для шляпы. Не упрекайте меня в надоедливой и вздорной болтливости: если я так распространяюсь о его нарядах, то это потому, что они сыграли большую роль в моей истории.

Он садился на каменной скамье под большим тополем у нас на площади и рассказывал нам



о своих подвигах, а мы слушали его затаив дыхание, с разинутыми ртами. Не было такой страны на земном шаре, которой бы он не посетил, не было битвы, в которой бы не участвовал; он истребил больше мавров, чем имеется их в Марокко и Тунисе, и у него было больше поединков, чем у Ганте и Луны, Диэго Гарсии де Паредес и тысячи других воинов, им перечисленных, и из всех этих боев вышел он победителем, не потеряв ни капли крови. При этом он показывал шрамы от ран—и хоть были они невидимы, но тем не менее он утверждал, что это — следы от аркебузных пуль, попавших в него в разных схватках и стычках. Наконец, с невиданной наглостью он говорил *ты* людям ему равным и хорошо его знавшим, и заявлял, что его рука — вот его отец, подвиги — вот его родословная, и что в солдатском мундире он ничуть не ниже самого короля. Ко всей этой самоуверенности прибавлялось еще то, что он был немного музыкантом, и умел так бренчать на гитаре, что некоторые говорили, — гитара у него разговаривает; и на этом таланты его еще не кончались, ибо он был также поэтом и по поводу каждого пустяка, случавшегося у нас в селе, сочинял романсы длиной в полторы мили.

И вот этот солдат, которого я вам описываю, этот Висенте де Ла Рока, этот смельчак, этот щеголь, этот музыкант, этот поэт — не раз попадался на глаза Леандре, которая смотрела на него из окна своего дома, выходявшего на площадь. Мишура его пышных нарядов восхитила ее, его романсы (которые он по двадцать раз пере-

писывал желающим) очаровали ее; слух о его подвигах, о которых он сам всем рассказывал, дошел до ее ушей,—словом, сам дьявол, должно быть, так устроил, что она влюбилась в него раньше, чем он возымел дерзость добиваться ее любви. А так как любовные дела подвигаются всего быстрее тогда, когда затронуто сердце дамы, то Леандре и Висенте нетрудно было столкнуться, и прежде чем ктонибудь из ее многочисленных поклонников догадался о ее намерении, она уже привела его в исполнение: покинула дом своего любимого и обожаемого отца (матери у нее не было) и бежала из деревни вместе с солдатом, одержавшим в этом предприятии большой успех, чем в великом множестве деяний, которые он себе приписывал.

Все наше село было изумлено этим событием, да и не одно наше село, а все те, до кого дошла весть об этом... Я был смущен, Ансельмо—поражен, отец—опечален, родные—опозорены; поставили полицию на ноги и послали стрелков в догонку; были осмотрены все дороги, обысканы рощи и леса, и наконец через три дня своенравная Леандра была найдена в горной пещере, раздетая до рубашки: большая сумма денег и драгоценные золотые вещи, которые она захватила с собою из дому, исчезли. Ее привели обратно к несчастному отцу, стали расспрашивать, что за беда над ней стряслась, и она без принуждения созналась, что Висенте де Ла Рока ее обманул и, дав ей честное слово жениться, уговорил покинуть дом отца; он обещал увести ее в самый богатый и самый порочный город на всем свете—Неаполь; она по пе-

опытности поверила его обману и, обокрав отца, последовала за Висенте в ту же ночь, как исчезла из дому; а он увел ее на крутую гору и бросил в пещере, где ее и нашли. Она прибавила, что солдат не посягнул на ее честь, но, отняв все, что у нее было, оставил в пещере, а сам ушел; обстоятельство это тоже всем показалось странным. Ведь трудно, сеньор, было поверить в воздержанность этого молодчика; но Леандра утверждала это с таким жаром, что ей наконец удалось утешить безутешного отца, и он перестал жалеть о том, что у него похитили столько богатств, раз только у дочери его не отняли той драгоценности, которая, будучи утрачена, никогда уже не может быть восстановлена. В тот самый день, когда Леандра нашла, отец скрыл ее от наших глаз и поместил в монастыре, находившемся в соседнем городе, надеясь, что время несколько изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя. Молодость Леандры служила оправданием ее вины,—по крайней мере, в глазах тех, которым в сущности было безразлично, хорошая ли она женщина или дурная; но те, кто знал ее ум и сметливость, приписывали ее грех не неопытности, а легкомыслию и естественным свойствам женского нрава: опрометчивости и невоздержности.

Когда заключили Леандру в монастырь, очи Ансельмо померкли, ибо не было больше ничего на свете, что бы радовало его взоры; да и я жил в беспросветном мраке: мне тоже смотреть ни на что не хотелось. В разлуке с Леандрой наша печаль возрастала, терпение наше

приходило к концу, мы проклинали хвастуна-солдата и возмущались, что отец Леандры не сумел ее уберечь. Наконец, мы с Ансельмо решили уйти из деревни и поселиться в этой долине: он пасет здесь большое стадо своих овец, а я—такое же стадо коз; так и живем мы под тенью этих деревьев, свободно предаваясь нашей страсти: вместе хвалим мы и упрекаем прекрасную Леандру, или вздыхаем один в стороне от другого, и только небо внимает нашим жалобам. Нашему примеру последовали и многие другие из поклонников Леандры; они тоже пасут свои стада среди этих скалистых гор, и число их так возросло, что вся эта местность как будто превратилась в пастушескую Аркадию: столько здесь пастухов и стад, и нет в окрестности ни одного уголка, где бы не звучало имя прекрасной Леандры. Один клянет ее, называя своенравной, изменчивой и бесчестной; другой обвиняет ее в ветрености и легкомыслии; третий ее оправдывает и прощает; четвертый осуждает и порицает; тот прославляет ее красоту, этот жалуется на ее нрав, одним словом — все ее позорят и обожают. Безумие их простирается так далеко, что некоторые жалуется на то, что она их презрела, хотя они никогда не сказали ей ни слова, а иные терзаются и томятся яростным недугом ревности, которой она ни в ком не могла возбудить, ибо, как я уже вам сказал, мы узнали о ее грехе раньше чем о ее страсти. Повсюду — на берегах ручьев, в расселинах скал, в тени деревьев — какойнибудь пастух рассказывает ветру о своих несчастиях; и где только может образоваться

эхо, везде повторяет оно имя Леандры. *Леандра*— звучит в горах, *Леандра* — откликаются ручьи; Леандра заворожила и очаровала всех нас: мы надеемся, не питая надежд, и боимся, не зная чего. Среди этих безумцев мой соперник Ансельмо — самый безумный и самый здраво-мыслящий: на многое мог бы он пожаловаться, а между тем он жалуется только на разлуку искусно акомпанируя себе на рабеле, он сочиняет стихи, которые свидетельствуют о его тонком уме, и в пении изливает свои жалобы. Я же иду по более легкому и, кажется мне, более верному пути, а именно—клею легкомыслие женщин, их непостоянство, двуличность, лживые обещания, нарушенные клятвы, и их безрассудство в выборе своих мечтаний и помыслов; вот почему, сеньоры, я так разговаривал и беседовал со своей козочкой, когда подошел к вам; хоть она и лучшая коза во всем моем стаде, но она женского пола—и я ставлю ее не высоко. Вот и все, что я обещал вам рассказать. Может быть, рассказ мой длинен свыше меры, но зато и готовность моя служить вам велика; моя хижина находится неподалеку отсюда, там есть у меня свежее молоко, отличный сыр и всевозможные фрукты, приятные и на вид и на вкус.

## ГЛАВА ЛII

*о споре дон Кихота с пастухом и о редкостном приключении с бичующимися, которое наш рыцарь в поте лица своего довел до счастливого окончания*



рассказ козопаса доставил большое удовольствие всем слушателям особенно же канонику, который с тонкой наблюдательностью заметил, что рассказчика, судя по его манере, скорей можно принять за обходительного столичного жителя, нежели за деревенского пастуха; и он прибавил, что священник был вполне прав, говоря, что горы воспитывают ученых. Все обратились к Эухенио с предложением услуг, но дон Кихот проявил тут наибольшее великодушие, ибо он сказал следующее:

— Уверю вас, братец козопас, если бы у меня была возможность пуститься сейчас на поиски приключений, я бы сию же минуту отправился в путь, чтобы пособить вашей беде: я бы похитил Леандру из монастыря (где, без сомнения, она находится против своей воли),

на зло игуменье и всем, кто бы вздумал мне противиться, и привел бы ее прямо в ваши объятия, чтобы вы поступили с ней как бы вам вздумалось, — конечно, соблюдая при этом законы рыцарства, запрещающие наносить девицам какие бы то ни было оскорбления. Все же я надеюсь на господу бога и думаю, что власть злого чародея не так сильна, как могущество доброго волшебника, и поэтому впредь обещаю вам мою помощь и покровительство, к которому меня обязывает мое звание, ибо оно велит мне покровительствовать слабым и обездоленным.

Козопас посмотрел на дон Кихота и, удивленный его сумасбродством и нарядом, обратился с вопросом к сидевшему рядом с ним цырюльнику:

— Сеньор, кто этот человек, у которого такой странный вид и который так странно выражается?

— Да кем же ему быть,—отвечал цырюльник,—как не знаменитым дон Кихотом Ламанчским, мстителем за обиды, восстановителем справедливости, покровителем дев, грозой великанов и победителем в боях?

— Все это похоже,—сказал пастух,—на то, что пишется в романах о странствующих рыцарях, которые, как известно, проделывали те вещи, которые ваша милость приписывает этому человеку. Однако, мне думается, что или ваша милость шутит, или же у этого благородного сеньора в голове пустошат.

— Вы — наглый негодяй! — воскликнул тут дон Кихот. — Сами вы пустоголовый дуралей, а у меня голова начинена так, как никогда не

бывала начинена та шлюха и шлюхина дочь, которая произвела вас на свет.

И перейдя от слов к делу, он схватил лежащий перед ним хлеб и запустил его прямо в лицо козопасу с такой силой, что расквасил ему нос. Тот, не оценив этой шутки и видя, что его бьют всерьез, бросился прямо через ковер, через скатерть и всю обедающую компанию на дон Кихота и обеими руками так стиснул ему горло, что наверное бы его задушил, если бы в ту минуту не подоспел Санчо Панса. Верный оруженосец ухватил пастуха за плечи, и они оба повалились на скатерть, разбивая тарелки, раздробляя чашки, разбрасывая и разливая все их содержимое. Дон Кихот, освободившись, снова набросился на козопаса, а тот, весь в крови, избитый кулаками Санчо, ползал на четвереньках, стараясь нашарить какойнибудь столовый нож, чтобы учинить кровавую расправу. Однако, каноник и священник удержали его, дырюльник же подстроил так, что козопасу удалось подмять под себя дон Кихота, и тут на бедного рыцаря посыпался такой град тумачков, что из носу у него вытекло крови столько же, сколько и у пастуха. Каноник и священник надрывали от смеха животы, а стрелки прыгали от удовольствия и науськивали дерущихся, как двух грызущихся собак; один Санчо Панса был в отчаянии, так как ему никак не удавалось вырваться из рук слуги каноника, мешавшего ему броситься на помощь своему господину.

В то время как, за исключением двух противников, дубасивших друг друга, все веселились и потешались, — вдруг послышался звук трубы,



и такой унылый, что все невольно повернули головы в ту сторону, откуда он раздавался; дон Кихот особенно был взбудоражен этим звуком и, хотя он, вопреки своей воле, лежал под пастухом и был порядочно измолот его кулаками, все же он сказал:

— Слушай дьявол, — ибо кем другим можешь ты быть, раз у тебя хватило силы и смелости одолеть меня! — прошу тебя, заключим перемирие хотя бы на час, не больше; ибо до слуха моего донесся скорбный звук трубы, который, как мне кажется, зовет меня на новые приключения.

Козопас, которому одинаково надоело бить и быть битым, тотчас же отпустил дон Кихота. Тот встал на ноги и, вместе с другими повернув голову в сторону, откуда доносились звуки, вдруг увидел, что с холма спускается множество людей, одетых в белые рубахи, на подобие бичующихся.

А дело было в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и во всех деревнях этой местности устраивались процессии, моления и покаянные шествия, дабы господь отверз руки своего милосердия и послал на землю дождь. Вот почему жители одной деревни, находившейся поблизости, устроили паломничество к святой часовне, стоявшей на склоне этой долины. Дон Кихот, увидев странные одеяния бичующихся, сразу же забыл, что ему не раз приходилось встречаться с подобными людьми, и вообразил, что это новое приключение, которое именно ему, как странствующему рыцарю, надлежит встретить грудью. Он

еще более утвердился в своем предположении, приняв статую под траурным покрывалом, несомую этими людьми, за знатную сеньору, которую похищали бессовестные и подлые разбойники. Как только это пришло ему в голову, он бросился к Росинанту, который пасся поодаль, снял с луки уздечку и щит, мгновенно взнуздal коня, потребовал у Санчо свой меч, вскочил на Росинанта, схватил щит и громким голосом закричал присутствующим:

— Вот теперь вы увидите, благородные господа, для чего на свете существуют рыцари, принадлежащие к ордену странствующего рыцарства! Теперь, когда я освобожу от похитителей захваченную ими добрую сеньору, вы увидите, повторяю, достойны ли уважения странствующие рыцари!

С этими словами он, за неимением шпор, сжал ногами бока Росинанта, и тот полной рысью (ибо вы нигде во всей этой правдивой истории не прочтете, чтобы Росинант пускался галопом \*) помчался навстречу бичующимся. Священник, каноник и дырюльник хотели удержать дон Кихота, но не тут то было: его не оставили даже вопли Санчо, кричавшего:

— Куда вы, сеньор дон Кихот? Какие дьяволы вселились в вас и толкают вас против нашей католической веры? Да накажи меня бог — посмотрите сами: ведь это процессия бичующихся! А дама, которую они несут на подставке — ведь это благословенная статуя непорочной девы! Подумайте, сеньор, что вы делаете! На этот раз уж точно можно сказать, что вы не свое дело делаете!

Напрасно утруждал себя Санчо: господину его так не терпелось напасть на людей в белых балахонах и освободить даму под траурным покрывалом, что он не услышал ни слова, а если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад, хоть бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта, который был уже не прочь немного передохнуть, и хриплым, взволнованным голосом воскликнул:

— Вы, которые, будь честными людьми, не закрывали бы своих лиц, слушайте, что я вам скажу!

Несшие стацию остановились первыми, а один из четырех причетников, распевавших литании, увидев странную внешность дон Кихота, худобу Росинанта и другие подмеченные им смешные особенности нашего рыцаря, ответил ему:

— Сеньор, если вам угодно что то сказать, говорите поскорей, ибо наши братья бичами рвут свою плоть, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи, — разве только вы скажете в двух словах, в чем дело.

— Я скажу это в одном слове, — ответил дон Кихот: — немедленно же освободите эту даму, слезы и печальный вид который явно свидетельствуют о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление; и я, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды, не позволю вам сделать шага, прежде чем не возвращу ей желанной и заслуженной свободы!

Услышав эти слова, все поняли, что дон Кихот сумасшедший, и разразились веселым сме-

хом; но этот смех был порохом, от которого вспыхнул гнев дон Кихота. Не говоря ни слова, он выхватил меч и набросился на носилки. Один из несших статую, уступив свое место товарищу, вышел против дон Кихота, вооружившись вилами или шестом, каким подпирают носилки, когда ктонибудь из несущих хочет отдохнуть. По этому шесту и пришелся удар меча дон Кихота, разрубивший его на двое; но крестьянин оставшимся в его руках обломком так хватил по плечу дон Кихота (с той стороны, где был меч и которую невозможно было прикрыть от этого мужицкого орудия), что дон Кихот свалился с лошади в самом плачевном виде. В это время Санчо, во весь дух гнавшийся за своим господином, подбежал и, увидев его распростертым на земле, закричал его противнику, чтобы тот остановился, ибо перед ним всего лишь очарованный рыцарь, который за всю свою жизнь никому не сделал зла. Но не крики Санчо заставили крестьянина остановиться, а вид дон Кихота, недвижимо лежавшего на земле: решив, что он его убил, он заткнул за пояс полы своего балахона, и пустился бежать по полю с быстротой оленя.

К этому времени подоспела и вся компания к месту, где лежал дон Кихот; а участники процессии, увидев, что они бегут прямо на них, а с ними — стрелки с арбалетами, решили, что дело плохо, и тесно сплотились вокруг статуи Мадонны; они надели на головы капюшоны, взяли в руки бичи, причетники подняли подсвечники — и все приготовились дать отпор нападающим, а если будет возможно, — даже пе-



рейти и в наступление. Но судьба устроила лучше, чем можно было ожидать, ибо Санчо, полагая, что господин его мертв, бросился на его тело и стал его оплакивать самым жалобным и забавным образом. А нашего священника узнал другой священник, принимавший участие в шествии, и поэтому страх, который внушали друг другу обе враждующие стороны, немного успокоился. Наш священник в двух словах объяснил другому, кто такой дон Кихот, и тогда тот в сопровождении всей толпы бичующихся подошел к бедному кабальеро, чтобы посмотреть, жив ли он еще. А Санчо Панса тем временем со слезами на глазах восклицал:

— О цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины, пресекающего твою славную жизнь! О краса своего рода, о слава и гордость всей Ламанчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уж не будут более бояться наказания за свои злодеяния! О ты, более щедрый, чем все Александры, ибо всего лишь за восемь месяцев службы ты пожаловал мне лучший из всех островов, окруженных и опясанных морем! О ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасностях, терпеливый в невзгодах, влюбленный неведомо в кого, раздражитель добрым, бич злых, враг всякой низости, словом, странствующий рыцарь, — и этим все про тебя сказано!

Под стоны и рыдания Санчо дон Кихот пришел в чувство, и первые его слова были:

— Тот, кто живет вдали от вас, сладчайшая Дульсинея, подвержен еще худшим бедствиям,

чем эти. Помогите мне, друг Санчо, взобраться на очарованную телегу: я не в силах сидеть верхом на Россинанте, так у меня раздроблено плечо.

— Охотно, сеньор мой, — ответил Санчо, — и поедемте к себе в деревню в сопровождении этих господ, которые желают вам добра, а там уж мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза и слава.

— Ты говоришь дело, — сказал дон Кихот. — Благоразумие требует выждать, пока окончится злое влияние созвездий, под коим мы теперь находимся.

Каноник, священник и цырюльник вполне одобрили его решение и, потешившись над наивными речами Санчо, посадили дон Кихота на телегу, на которой он ехал раньше. Процессия снова выстроилась и продолжала свой путь. Козопас со всеми распрощался. Стрелки не пожелали итти дальше, и священник заплатил им сколько следовало. Каноник попросил священника дать ему знать, чем кончится история дон Кихота: излечится ли он от своего безумия или нет; с этими словами он попрощался и поехал своей дорогой. Итак, все расстались друг с другом и разъехались в разные стороны, так что остались только священник, цырюльник, дон Кихот, Санчо Панса и добрый Россинант, принимавший все, что бы с ним ни случилось, так же терпеливо, как и его хозяин.

Погонщик запряг своих волов, посадил дон Кихота на охапку сена и с обычной своей невозмутимостью поехал по дороге, которую ему указал священник. Через шесть дней прибыли они в деревню дон Кихота и въехали в нее среди

бела дня, да к тому же еще в воскресенье, когда площадь, через которую проследовала телега с дон Кихотом, была полна народу. Все сбежалось посмотреть, кто это едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой то мальчишка побежал сказать эконожке и племяннице дон Кихота, что их господин и дядя вернулся тощий и желтый; что он лежит на охапке сена в телеге, запряженной волами. Жалостно было слышать, как завопили эти две добрые женщины, как стали они бить себя в грудь и снова осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы; и все это повторилось снова, когда дон Кихот появился в дверях.

Услышав о возвращении дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы, которой было известно, что муж ее последовал за нашим рыцарем в качестве оруженосца, — и вот, не успела она увидеть Санчо, как прежде всего спросила, здоров ли их ослик. Санчо ответил, что ослик чувствует себя лучше, чем его хозяин.

— Благодарю тебя, боже мой — воскликнула она, — за оказанную мне милость! Ну, а теперь расскажите мне, друг мой, пошла ли вам впрок ваша служба? Какой подарочек вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?

— Ни подарка, ни башмаков я не привез, — ответил Санчо, — но зато есть у меня кое что поважнее и посерьезнее.

— Ты меня очень радуешь, — сказала жена. — Ну, покажи же мне, что это за штука поважнее да посерьезнее: не терпится мне посмотреть, друг мой, и потешить свое сердце, — уж так я



горевала и убивалась, пока ты целый век отсутствовал.

— Дома покажу, женушка, а пока скажу только, что если бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова,



да не какого нибудь дрянного, а самого что ни на есть лучшего.

— Дай то бог, муженек, а остров—ох как нам пригодится! А только объясни мне, что это за остров такой,— я что то не могу смекнуть.

— Осла медом не кормят, — отвечал Санчо, — поймешь в свое время, женушка. Воображаю,

как ты ахнешь, когда твои вассалы станут тебя величать вашей светлостью.

— Да о чем ты это толкуешь, Санчо? Какая такая светлость, острова и вассалы? — спросила Хуана Панса (так звали жену Санчо, ибо, хотя она и не приходилась ему родней, в Ламанче принято называть жену по фамилии мужа)\*.

— Да не торопись так, Хуана, все узнать сразу; довольно с тебя того, что я говорю правду, и зашей себе рот. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего на свете приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходят не совсем такими, как бы хотелось, ибо из ста случающихся приключений девяносто девять обычно выходят вкривь и навыворот. Я это знаю по собственному опыту, ибо случалось, что меня и на одеяле подкидывали и дубасили; а все таки славная эта штука бродить за счастьем, карабкаясь по горам, блуждая по лесам, взбираясь на скалы, посещая замки и останавливаясь на ночлег в гостиницах на даровщинку, не платя, чорт его побери, ни гроша!

Вот о чем беседовали Санчо Панса и жена его Хуана Панса, в то время как племянница и экономка, встретив дон Кихота, принялись его раздевать и укладывать на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и все не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он еще раз не сбежал из дому; при чем он рассказал ей,



какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. Так они и остались в страхе и трепете, опасаясь, что дядя и господин покинет их снова, как только здоровье его немного поправится. И как они полагали, так и случилось.

Однако, хотя автор этой истории доискивался с большой любознательностью и усердием, какие подвиги совершил дон Кихот во время третьего своего выезда, ему так и не удалось отыскать какихнибудь сведений об этом, по крайней мере в достоверных источниках; в преданиях же Ламанчи сохранилась только память о том, что дон Кихот, выехав из дому в третий раз, побывал в Сарагосе\*, где он участвовал в знаменитых турнирах, устроенных в этом городе, — и там произошли с ним события, достойные его отваги и тонкого ума.

О кончине и смерти его автору тоже не удалось ничего узнать, — и так бы он ничего об этом не знал и не ведал, если бы счастливая судьба не свела его с одним старым лекарем, который владел свинцовой шкатулкой, найденной по его словам, среди развалин какойто древней часовни, которую перестраивали. В этой шкатулке оказалось несколько листков пергамента, исписанных готическими буквами: это были испанские стихи, в которых воспевались многие подвиги дон Кихота и сообщались сведения о красоте Дульсинеи Тобосской, о внешности Росинанта, о верности Санчо Пансы и о погребле-

нии нашего рыцаря; а заканчивалось все разными эпитафиями и хвалебными стихами о его жизни и нравах. Правдивый автор этой удивительной и доселе невиданной истории сообщает те из них, которые удалось прочесть и разобрать. И в награду за великий труд, который пришлось ему затратить на обследование и изучение всех архивов Ламанчи, с целью извлечь на свет эту историю, автор просит своих читателей лишь об одном: чтобы они отнеслись к ней с тем же доверием, с каким разумные люди относятся к рыцарским романам, которые у нас теперь в таком ходу. Это доверие будет для него достаточной наградой и удовлетворением, и вдохновит его на розыски других историй, если не столь правдивых, как эта, то во всяком случае не менее занимательных и приятных.

Вот первые слова пергамента, найденного в свинцовой шкатулке:

*Академики из Аргамасильи\*, местечка в Ламанче,  
на жизнь и на кончину доблестного дон Кихота  
Ломанчского*

*НОС SCRIPSERUNT\**

*ЭЛЬ МОНИКОНГО, АКАДЕМИК АРГАМАСИЛЬСКИЙ, НА  
ГРОБНИЦУ ДОН КИХОТА*

Э П И Т А Ф И Я

Чудак, пред коим — жалкие обноски  
Трофей Язона, древними воспетый;  
Ум, где вертелся, на тычок надетый,  
Козлючий флюгер (лучше бы бы плоский);

Длань, мощности которой отголоски  
 Не молкнут от Катая до Гаэты\*;  
 Бард, слаще и грозней, чем все поэты,  
 Чей вирш был врублен в бронзовые доски;

Тот, кто в хвосте оставил Амадисов  
 И карлика усматривал в гиганте,  
 Служа любви и брани благородной;

Тот, кто в безмолвье вверг Белмянисов,  
 Тот, кто блуждал верхом на Росинанте,  
 Покоится под сей плитой холодной.

*ПАНИАГУАДО\* АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО.  
 IN LAVDEM DULCINEAE DEL TOBOSO\**

### С о н е т

Бросая взор на этот лик дородный,  
 Лихую статью и кряжистую шею,  
 Тобосскую ты узришь Дульсинею,  
 Которой грезил витязь благородный;

Ту, для кого он попирает бесплодный  
 Склон Сьерра Негры\*, а вослед за нею  
 Монтельский знак и пышную лилею  
 Аранхуэса\*, пеший и голодный.

Виною Росинант. О, рок ужасный!  
 Краса Ламанчи и непобедимый  
 Бродячий рыцарь, в цвете жизни оба,

Она, истлев, престала быть прекрасной.  
 А он, хотя и в мраморе хранимый,  
 Вас не избег, любовь, обман и злоба.

*КАПРИЧОСО, ИЗЫСКАННЕЙШЕГО АКАДЕМИКА АРГА-  
МАСИЛЬСКОГО, В ПОХВАЛУ РОСИНАНТУ, КОНЮ ДОН  
КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО*

## С о н е т

На обагренном Марсовой стопою  
Надменном алмазном престоле  
Стяг, с силою, невиданной дотоле,  
Ламанчез взвил над ярой головою.

Берет доспех и меч, привыкший к бою,  
Ужасный в рубке, в резке и в уколе.  
Се новый подвиг! Новый поневоле  
Стиль ищет муза новому герою.

И если в Галлах Амадис прославлен,  
Чьи Грецию отважные потомки  
Возвысили, руками славы няньча,

То днесь Кихот в сенях Беллоны\* явлен,  
И с ним триумф стяжала боле громкий,  
Чем Галл и Грек\*, высокая Ламанча.

Он будет жить, бессмертия не кланча,  
Затем что даже Росинант задором  
Давно затмил Баярда с Брильядором\*.

*БУРЛАДОРА, АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО,  
САНЧО ПАНСЕ*

## С о н е т

Вот Санчо Панса. Роста небольшого,  
Он доблестью высок (не чудо ль это?).  
Бесхитростнее не знавал клеветы  
Никто из рыцарей, даю вам слово.

Он мог стать графом. Было все готово.  
 Но оказалась, на беду, задета  
 Вражда и зависть негодяя-света,  
 Который и осла рад съест живого,—  
 На каковом (уж вы меня простите)  
 И поспешал сей воин незлобивый  
 За незлобивым Росинантом следом.  
 О, тщетные надежды, как спешите  
 Вы мимо нас, суля покой счастливый  
 И становясь туманом, тенью, бредом!

*КАЧИДЬЯБЛО\*, АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО  
 НА ГРОБНИЦУ ДОН КИХОТА*

Эпитафия

Рыцарь здесь почит в боге,  
 Много битый, зря плутавший,  
 Росинанта погонявший  
 Вдоль дорог и без дороги.

Санчо Панса дурачина  
 Рядом с ним почил навек,  
 Самый верный человек  
 Из людей того же чина.

*ТИКИТОКА\*, АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО  
 НА ГРОБНИЦУ ДУЛЬСИНЕЙ ТОБОССКОЙ*

Эпитафия

Здесь уснула Дульсиня,  
 И состав ее могучий  
 Смерть-злодейка в прах сыпучий  
 Превратила не жалея.



Крови доброй, хоть не древней,  
Разбитной была особой,  
Дон-Кихотовой зазной  
И красой своей деревни.

Вот и все стихи, какие нам удалось разобрать. В остальных же буквы были так источены червями, что пришлось их отдать одному академику и попросить истолковать их с помощью конъюнктур. Нам известно, что ценой долгих бдений и упорной работы он добился этого и намеревается издать в свет, в надежде на третий выезд дон Кихота.

*Forse altri canterà con miglior plettro.\**



## **ПРИМЕЧАНИЯ**



## ПОСВЯЩЕНИЕ

Страница 1, строка 4. Алонсо Диэго Лопес де Суньига, герцог де Бехар (1588—1619), был одним из самых родовитых и богатых сеньоров того времени. Однако, судя по отзывам современников, он отнюдь не блистал умом, и между ним и Сервантесом не было никакой близости. Вообще, все посвящение это носит чисто условный характер; особенно явствует это из того, что многие фразы его являются буквальным воспроизведением выражений из одного посвящения, напечатанного 25 лет перед тем (именно, издание Фернандо де Эрреры произведений Гарсиласо, посвященное старому маркизу де Айаменте, 1580).

## ПРОЛОГ

Страница 3, строка 16. Сервантес замыслил написать «Дон Кихота», сидя в тюрьме.

Страница 6, строка 2. Зоил — греческий писатель IV—III в.в. до нашей эры, прозванный за свою едкую критику «бичом Гомера» и «собакой красноречия»; Зевксис — греческий живописец V—IV в.в. до н. э. Так как Зевксис не оставил после себя никаких сочинений, то не ясно, по ошибке или же в шутку включает его Сервантес в число «авторитетов».

Страница 7, строка 28. Пресвитер Иоанн — сказочный христианский владыка одной из областей Индии, легенда о котором была весьма популярна в средние века.

Страница 8, строка 12. «Ни за какую цену не следует продавать свободу», — стих из анонимного сборника басен приписываемых Эзопу.

Страница 8, строка 1. «Бледная смерть равно стучится как в лагуги бедняков, так и в дворцы королей». Гораций, *Saturn.*, кн. 1, ода 4.

Страница 8, строка 23. «Я же говорю вам: возлюбите врагов ваших». Еванг. от Матфея, гл. V.

Страница 8, строка 25. «Из сердца исходят дурные помыслы». Еванг. от Матфея, гл. XV.

Страница 8, строка 29. «Счастливы покуда ты—много друзей у тебя, а наступят ненастные дни—окажешься ты одинок»,—двустихие не из псевдо-Катона, а из Овидия, *Tristia*, кн. I, элегия VIII.

Страница 9, строка 20. Персонаж из античной мифологии, похититель быков Геракла.

Страница 9, строка 22. Антонио де Гевара епископ Мондоньедский, историкограф Карла V, повествует в своих «*Epistolas familiares*» (изд. 1603) о нижеперечисляемых куртизанках древности.

Страница 9, строка 33. Леон Эбрео (писатель XV—XVI в.в.), испанский еврей, переселившийся в Италию; автор весьма популярных в те времена «Диалогов о любви» (1535).

Страница 10, строка 2. Трактат августинского монаха Кристобала Фонсеки «*Del amor de Dios*» был издан в 1594 г.

Страница 10, строка 16. Повидимому, полемический выпад против Лопе де Веги, который присоединил к своей поэме «*El Isidro*» список 277 авторов, использованных им в этом произведении.

Страница 12, строка 16. Монтель — местность в Ламанче.

Страница 12, строка 28. Vale (латинское слово) значит — «будь здоров, прощай».

Страница 13, строка 2. Волшебница Урганда — покровительница Амадиса Гальского в носящем его имя рыцарском романе. Эпитет «неуловимая» объясняется ее способностью чудесно менять свой внешний вид.

Страница 13, строка 3. В этом, как и нескольких дальнейших стихотворениях, Сервантес применяет незадолго перед этим изобретенный (Алонсо Альваресом де Сорна, в 1603 г.) шуточную форму, состоящую в том, что последние слоги строк отсекаются, а предпоследние, ставшие таким образом последними, связы-

ваются между собой ассонансами (тождеством ударных гласных). Русский перевод передает как эту, так и другие особенности метрической формы оригинала.

Страница 14, строка 6. Неистовый Роланд, герой неоднократно упоминаемой в «Дон Кихоте» поэмы Лодовико Ариосто, «Orlando Furioso» (1516, окончат. редакция 1532), был влюблен в прекрасную Анджелику, ради которой он совершил множество подвигов.

Страница 14, строка 15. Альваро де Луна — конетабль Кастилии, фаворит короля Хуана II, впоследствии впавший в немилость и казненный в 1453 г.

Страница 14, строка 18. Французский король Франциск I был ранен и взят в плен испанцами в сражении при Павии (1525), после чего целый год томился в плену в Мадриде. Последние 4 стиха — почти дословное шуточное воспроизведение одной строфы из пародийного стихотворения одного саламанкского монаха, Доминго де Гусман.

Страница 14, строка 21. Хуан Латиньо, родом бербер, воспитался в Испании и стал знаменитым латинистом XVI века.

Страница 16, строка 1. Об Амадисе Гальском см. вступит. статью Б. А. Кржевского. Испытание, которым этот герой подвергнул себя на Пенья Побре, неоднократно упоминается в тексте «Дон Кихота» (напр., ч. I, гл. XXV — XXVI; см. прим. к странице 188, строка 30).

Страница 17, строка 1. Бельянис Греческий — герой одного из популярнейших, после «Амадиса Гальского», рыцарских романов.

Страница 18, строка 1. Ориана — возлюбленная Амадиса Гальского.

Страница 18, строка 3. Мирафлорес — находившийся под Лондоном роскошный замок, в котором жила Ориана.

Страница 18, строка 15. В противоположность Дульсине, Ориана не соблюла своей чистоты и забеременела от Амадиса.

Страница 19, строка 17. Визсогона — шутка, состоявшая в том, что ктонибудь, протянув другому руку для поцелуя, в то же время давал ему подзатыльник; возможно, впрочем, что в других случаях подзатыльник своему партнеру давал целующий руку.

Страница 20, строка 1. Кого именно пародирует здесь Сервантес под именем Доносо — в точности неизвестно. «Помешанный стиль» — в смысле «путанного, сумбурного содержания».

Страница 20, строка 8. Неизвестно, кто такой был Вильядьего, в связи с именем которого возникла поговорка: «надеть сапоги Вильядьего» — в смысле «дать тягу». Вильядьего упоминается еще раз и в самом тексте романа (I, 21, стр. 275).

Страница 20, строка 13. Знаменитая «Трагикомедия о Калисто и Мелибее», иначе называемая «Селестиной» (по имени центрального персонажа, сводни Селестины) — произведение конца XV в., приписываемое Фернандо де Рохас. Пьеса эта отличается смелым реализмом, почему Доносо и называет ее чересчур «голой» (т. е. откровенной).

Страница 20, строка 16. Б а б ь е к а — конь Сиды.

Страница 20, строка 24. Намек на эпизод из знаменитого плутовского романа «Ласарильо с берегов Торреса» (изд. 1554), когда Ласарильо, служа проводником слепцу, высосал через соломинку вино из кружки, находившейся в руках последнего. Здесь этот подвиг гротескным образом приписывается Росинанту, который в смысле прожорливости может якобы самому Ласарильо дать несколько очков вперед.

Страница 22, строка 10. П р и н ц е с с а К л а р и д ь я н а, дочь трапезундского императора и царицы амазонок — героиня рыцарского романа о рыцаре Феба.

Страница 13, строка 1. С о л и с д а н, по всей вероятности — анаграмма имени Лассиндо, оруженосце Брунео де Бонамар, одного из персонажей «Аматиса Галльского».

## Глава I

Страница 27, строка 4. Эти вступительные слова имеют форму стиха из романса, в точности переданную в нашем переводе, — нечто в роде шуточного запева.

Страница 27, строка 6. Национальное испанское кушанье (род горячего винегрета).

Страница 30, строка 20. Университет в Сигуэнсе (осн. 1472 г.) был во времена Сервантеса одним из самых захудалых.

Страница 34, строка 7. Р е а л — мелкая монета (ныне — четверть песеты), содержащая в себе 4, впоследствии 8 кuarto.



Страница 34, строка 8. Гонелла—знаменитый шут герцога Борсо Феррарского (XV в.), герой множества популярных анекдотов, собранных впоследствии в книге «Buffonerie del Gonnella» (изд. в Венеции, 1568).

Страница 34, строка 9. «Одна кожа да кости».

Страница 34, строка 32. Непереводимая игра слов: имя *Rosinantes* дон Кихот разлагает на два слова: *rosin* — кляча и *antes* — раньше или впереди.

## Г л а в а II

Страница 43, строка 20. Различалось два вида снаряжения всадников: «легкая сбруя», характеризующаяся короткими поводьями и стремянами, так что ноги наездника были согнуты в коленях, и «тяжелая сбруя» с широкими щечками мундштука и длинными стремянами, при которых ноги наездника были вытянуты. Смешанное вооружение дон Кихота производит на всех комическое впечатление.

Страница 44, строка 2. В подлиннике игра слов: *castellano* значит и «владелец замка, кастелян», и «кастилец».

Страница 44, строка 5. Отрывок из старинного испанского романа.

Страница 44, строка 9. Знаменитый в те времена притон мазуриков.

Страница 44, строка 10. См. прим. к Прологу, страница 9, строка 20.

Страница 44, строка 14. Отвечая в тон дон Кихоту, хозяин употребляет выражения из продолжения того же романа:

Мое ложе—твердый камень,

И мой сон—ночное бденье.

Страница 44, строка 32. Накладная часть лат, облегающая шею.

Страница 46, строка 33. Различные названия для обозначения трески.

## Г л а в а III

Страница 50, строка 30. Перечисление подозрительных кварталов и значных мест в разных городах Испании.

## Глава IV

Страница 61, строка 29. Во времена Сервантеса простые крестьяне нередко ходили вооруженными копьём или мечом.

Страница 62, строка 13. Публичное обвинение когонибудь во лжи считалось невежливостью по отношению к присутствующим.

Страница 62, строка 24. См. прим. к гл. I, страница 34, строка 7.

Страница 68, строка 6. А л ь к а р р и я—один из округов Новой Кастилии. Эстремадура—провинция Испании, расположенная к юго-западу от Кастилии.

Страница 68, строка 23. Г у а д а р р а м а — горная цепь, отделяющая Старую Кастилию от Новой. В селениях ее изготовлялись славившиеся в то время веретена.

## Глава V

Страница 74, строка 22. А б е н с е р а х, по арабски Бени-Сирадж—древний мавританский род, игравший видную роль в истории Гранады XV в. Одно из связанных с ним преданий послужило темой для повести Шатобриана «Les aventures du dernier Abencérage» (изд. 1826 г.).

Страница 75, строка 14. Девятью мужами Славы считались: три иудея—Иисус Навин, Давид, Иуда Маккавей, три язычника—Александр Македонский, Гектор, Юлий Цезарь, и три христианина: король Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский.

Страница 77, строка 27. Непереводимая игра слов: и g a d a значит — «бойкая, деловитая баба (толкач)». Так необразованная экономка дон Кихота искажает имя волшебницы Урганды (см. прим. к первому стихотворению Пролога, страница 13, строка 2), принимаемое ею за имя нарицательное.

## Глава VI

Страница 81, строка 1. Так обычно объясняется заглавие романа: «Las Sergas de Esplandián», хотя существует и другое толкование слова Sergas—«тканые ковры, гобелены». В таком случае заглавие

значило бы: «Шелковые ковры Эспландиана» (т. е. ковры, на которых выткано изображение подвигов Эспландиана).

Страница 84, строка 8. Старинный восточный обычай,—способ выразить свое почтение к какой-нибудь священной книге или грамоте.

Страница 84, строка 14. Имеется в виду Херолимо де Уртеа, автор плохого перевода Ариосто на испанский язык (1556).

Страница 86, строка 31. Ряд полу-шуточных аллегорических имен: Quirieleison значит «господи, помилуй», Placerdemavida—«утеха моей жизни», R e r o s a d a—«ублажающая, потрафляющая».

Страница 90, строка 13. Одиннадцатисложный стих на итальянский лад (часто с дактилическим окончанием).

## Глава VII

Страница 92, строка 19. Народная испанская форма имени Роланд.

## Глава VIII

Страница 106, строка 27. Обычное в те времена спотворное средство, действующее слабо по сравнению с вином.

Страница 111, строка 11. В подлиннике бискаец все время коверкает испанский язык и перевирает поговорки. В следующей реплике он хочет сказать: «посмотрим, как кошка в воде будет плавать!» т. е.: как ты со мной тогда справишься!».

Страница 111, строка 24. Выражение «как сказал Аграхес» (из романа «Амадис Галльский») вошло в поговорку.

Страница 113, строка 22. Первый том «Дон Кихота» был разделен Сервантесом на четыре не совсем равные части: I ч. — гл. 1—8, II, ч. — гл. 9—14, III ч. — гл. 15—27, и IV ч. — гл. 28 — 52.

## Глава IX

Страница 116, строка 14. Санчо, который вообще нередко перевирает поговорки, хочет сказать: «как мать родила».

Страница 118, строка 9. А р р о б а—равняется 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> килограммам, фанега—55<sup>1</sup>/<sub>2</sub> литрам.

Страница 119, строка 3. Р а н з а значит—«брюхо», Z а п с а—«длинная нога или лапа (особенно—птичья)».

### Г л а в а X

Страница 123, строка 29. S a n t a H e r m a n d a d (дословно—«святое братство»)—так назывался особый охранный корпус, учрежденный в XIII веке в северной Испании для борьбы, главным образом, с бесчинствующими феодалами, а затем с разбойниками и преступниками.

Страница 124, строка 10. Намек на фразу из Библии, Иерем. XXXII: «я передам город этот в руки халдеев и дая Вавилонского».

Страница 125, строка 28. А с у м б р а—мера жидкостей, немногим более 2 литров.

Страница 126, строка 9. Традиционная формула клятвы, применявшаяся в тех случаях, когда евангелия не было под рукой.

### Г л а в а X I

Страница 137, строка 19. Р а б е л ь—музыкальный инструмент типа лютни, нечто вроде примитивной трехструнной скрипки.

### Г л а в а X I I

Страница 145, строка 4. V i l l a n c i s o (букв—«деревенская песенка»)—особый вид строфы с устойчивой формой (вроде сонета, рондо и т. п.) и трехчленным строением. Традиционной темой вильянсико являлись мотивы, связанные с рождением Христа; позже форма эта была широко использована светской лирической поэзией.

Страница 145, строка 33. Неис переводимая игра слов: S a g p a значит—чесотка.

### Г л а в а X I I I

Страница 160, строка 9. Из Арпосто, «Н е и с т о в ы й Р о л а н д», песнь XXIV, 57.

Страница 160, строка 11. Капочкины Ларредскине — шуточная кличка, дававшаяся лицам незнатного происхождения, разбогатевшим в Америке. Кличка эта, в слегка измененном виде (гачупины) до сих пор применяется в Южной Америке к приезжающим туда с целью нажиться испанцам.

Страница 164, строка 3. Божественный мантауанед — Вергилий (родом из Мантуи), по преданию завещавший сжечь рукописи своей «Энеиды».

#### Глава XIV

Страница 171, строка 28. Намек на народное поверье, согласно которому рапы убитого вскрываются при приближении убийцы.

Страница 172, строка 1. Этот поступок, совершенный, по преданию, дочерью римского дая Сервия Туллия, во времена Сервантеса ошибочно приписывался дочери дая Тарквиния.

Страница 178, строка 14. См. последнее примечание к гл. VIII.

#### Глава XV

Страница 180, строка 1. В Кордове был знаменитый коисский завод, сначала принадлежавший герцогу Альбе, а потом ставший государственным.

Страница 180, строка 6. Т. е. обитатели села Янгуас, в провинции Сеговии.

Страница 182, строка 1. Т. е. Фьерабраса (упоминавшегося выше, в гл. X).

Страница 183, строка 1. Бог войны Марс.

Страница 185, строка 7. Тонкий сорт полотна.

Страница 186, строка 34. Прозвище одного из двух мечей Сиды, принимаемое Санчо за имя нарицательное.

Страница 188, строка 5. Намек на миф о въезде Силена, воспитателя бога Вакха (Диониса) в «семи-вратные» Фивы (в Греции), смешанные здесь со «сто-вратными» (в Египте).

Страница 188, строка 30. Рена Ровге, букв. «Бедная скала» (фактически — маленький скалистый осгровок), упоминаемая уже в одном из стихотворений Пролога (страница 16, строка 3 — 4), подробно описана

в романе об Амадисе Галльском. Как там пояснено, название это означает то, что жить на ней можно только в величайшей «бедности» (т. е. в страдании, сокрушении). *Beltenegro* буквально значит «Мрачный красавец».

#### Глава XVI

Страница 195, строка 16. Коренное население Астурии, избегшей арабского завоевания, весьма кичилось своей родовитостью и чистой кровью.

Страница 195, строка 31. *Арвало* — городок Старой Кастилии, расположенный между Вальядолидом и Авильей.

Страница 196, строка 1. Намек на то, что среди погонщиков мулов было много морисков.

Страница 196, строка 14. Похвала явно ироническая, потому что оба названных произведения отличаются сжатостью и сухостью изложения.

Страница 200, строка 28. См. выше прим. к гл. X, страница 123, строка 29. «Старая» толедская Санта Эрмандад называлась так в отличие от «Новой», основанной в конце XV века.

#### Глава XVII

Страница 210, строка 25. Короткое, грубо обтесанное копьё, какими пользовались обычно полевые сторожа.

#### Глава XVIII

Страница 221, строка 16. *Трапобана* — вместо *Тапробана* (древнее название острова Цейлона).

Страница 221, строка 18. *Гараманты* — сказочный народ, по свидетельству древних авторов, обитавший в глубине Африки.

Страница 222, строка 22. *Пуэнте де Плата* — «Серебряный мост». Прозвание это, встречающееся в рыцарских романах «Амадис» и «Эсизландиян», получило комическую окраску в пословице: «бегущему врагу — серебряный мост» (т. е. для бегущего врага и серебряного моста не жалеть).

Страница 224, строка 31. Воды Верхней Гвадианы в своем течении несколько раз скрываются под землей и затем снова выходят наружу.

Страница 231, строка 9. Диоскорид — греческий врач I века н. э., автор трактата (на латинском языке) о лекарственных травах: «De materia medica», переведенного, с комментариями, на испанский язык доктором Андресом де Лагуна и выдержавшего в XVI — XVII вв. несколько изданий.

### Глава XIX

Страница 238, строка 11. Впереди ехали лица духовные, в белых одеяниях, а сзади — родственники и друзья покойного, одетые в черное.

Страница 244, строка 11. «Сверх того: если кто по наущению дьявола и т. д.» — текст одного из постановлений Тридентского собора.

Страница 244, строка 26. Здесь у Сервантеса — некоторая несогласованность: бакалавр уехал уже раньше последних реплик дон Кихота и Санчо.

### Глава XX

Страница 247, строка 28. См. прим. к главе V, страница 75, строка 14.

Страница 248, строка 6. Согласно Птоломею, Лунные горы находятся в стране эфиопов, и в них берут начало бурливые истоки Нила.

Страница 253, строка 24. Довольно распространенная присказка, которою рассказчики начинали свои сказки.

Страница 253, строка 27. Искажение имени Катона Старшего Цензора, римского политического деятеля II в. до н. э. и блюстителя нравов, которому в средние века приписывался сборник моральных изречений.

Страница 264, строка 28. Здесь перед нами стилистическая тонкость, связанная с особенностями испанской речи и не поддающаяся точной передаче на русском языке. Дело в том, что в испанском языке, при обращении говорящего к одному лицу, кроме обращения на «ты» (tu) возможно обращение на «вы» в двойной форме: 1) вежливая формула — в 3 лице ед. числа с прямо выраженным или подразумеваемым словом Usted (сокращение из *Vuesa merced* — «Ваша милость»), напр. *diga Usted* — «пусть скажет ваша ми-

лость», «скажите (пожалуйста)»; 2) сухое и грубоватое *vos*, со 2-м лицом мн. числа, ныне употребляемое в литературной речи только при обращении к нескольким лицам (как напр. немецкое *ihr*). На это второе, холодное и сухое «вы», вместо дружелюбно-фамиллярного «ты», и переходит дон Кихот в разговоре с Санчо Пансой в данном случае, как и неоднократно ниже, всякий раз когда хочет выразить ему свое недовольство им. Через две реплики, как только раздражение дон Кихота остынет, он снова заговорит с Санчо на «ты».

Страница 266, строка 24. *Insula Firme* — букв. «твердый остров», т. е. соединенный перешейком с твердой землей.

Страница 266, строка 27. По турецкому обычаю.

### Глава XXI

Страница 275, строка 21. В подлиннике: «этим Мартино» (искажение имени Мамбрина).

Страница 275, строка 23. О Вильядьего см. прим. к стихам Пролога, страница 20, строка 8.

Страница 276, строка 19. «Обмен мантий» — торжественный пасхальный обряд римской церкви, когда кардиналы и прелаты обмениваются между собой своими облачениями.

Страница 284, строка 10. Согласно древним испанским законам, восходящим еще к эпохе готских королей VI—VIII вв.), лицо знатного происхождения могло требовать за тяжкую обиду, ему причиненную, 500 суальдо. В переводе на нынешние деньги, эта сумма равняется приблизительно 75 песетам; однако необходимо заметить, что стоимость денег понизилась с тех пор в 4—5 раз.

Страница 287, строка 6. Здесь и далее — непереводимая игра слов: *grande* означает и «гранд», и «высокий, высокого роста»; этому противопоставляется *pequeño* — маленький, низенький».

### Глава XXII

Страница 290, строка 31. Слово из воровского жаргона.

Страница 294, строка 11. Посредники в делах любви играли очень видную роль в жизни привилегирован-



ных классов старой Испании, так как «домостроевские» нравы семейной жизни исключали возможность открытого обещания между молодежью обоего пола. Таковую же высоко-положительную оценку этих «посредников», равно как и аналогичные соображения относительно их общественной роли, высказывали Х. де Вера-и-Фигероа («Похвальное слово сводникам», конца XVI в.), Лопе де Вега (в комедии «Друг до гробовой доски») и др.

Страница 295, строка 33. См. прим. к главе I, страница 34, строка 7. Здесь имеется в виду реал в 4 куарто.

Страница 298, строка 21. См. прим. к стихам Пролога, страница 20, строка 24.

Страница 299, строка 28. Некоторые комментаторы хотели видеть в этом намек на какой-то дорожный инцидент, происшедший между каторжниками и комиссаром; вернее однако, что это просто поговорка, имеющая тот смысл, что всякую обиду ждет возмездие («отольются кошке мышкены слезки»).

### Г л а в а XXIII

Страница 308, строка 12. Традиционная формула клятвы.

Страница 317, строка 34. Здесь Сервантес допускает непоследовательность: он как будто забыл, что осел Санчо был украден Хинесом. Та же ошибка повторяется и в главе XXV (см. ниже, также т. II, гл. III и XXVII).

### Г л а в а XXIV

Страница 327, строка 4. Siegga значит — «горный хребет с зубчатыми вершинами».

### Г л а в а XXV

Страница 342, строка 9. См. прим. к главе XXIII, страница 317, строка 34.

Страница 343, строка 3. Гисопет, вместо правильной формы Исопот — уменьшительная форма имени баснописца Эзопа. Это название носил сборник

басен, весьма популярных в середине века во всей Европе.

Страница 347, строка 31. См. прим. к главе XV, страница 188, строка 30.

Страница 348, строка 2. А н д р и а к — чудовище, получеловек-полуживотное, рожденный великаном Бандагундо от родной дочери («Амадис Галльский», гл. 73).

Страница 348, строка 7. Модная в те времена метафора. Сопост. строки 10—11 сонета дон Бельяниса в Прологе (страница 17).

Страница 348, строка 17. Эпизод из песни XXIII—XXIV «Непестового Роланда», частично переведенный Пушкиным («Пред рыцарем блеснит вода», 1825).

Страница 352, строка 19. Н а п е и — нимфы долины и лугов, дриады — лесные нимфы.

Страница 353, строка 15. Намек на эпизоды из «Непестового Роланда», песнь IV и след. Г и п н о г р и ф — сказочное животное, наполовину конь, наполовину гриф (тоже сказочная птица).

Страница 355, строка 25. Санчо, вместо *redemptio* («избавление»), говорит: *retentio* («задержание»). Полная латинская фраза: *In inferno nulla est redemptio* («из ада нет избавления»).

Страница 358, строка 2. Имеется в виду народная игра, состоящая в метанье железных брусьев (*bagga* — «брусок»); выигрывает тот, кто метнет дальше, причем необходимо, чтобы брусок упал плашмя.

Страница 358, строка 16. В подлиннике — неперево-димая игра слов: про Дульсинею сказано, что она «заправская *cortesana*», при чем *cortesana* значит и «столичная (тонкая) дама», и «куртизанка».

Страница 360, строка 29. От поступающего в орденскую организацию требовалось удостоверение в том, что его род свободен от примеси еврейской или маври-танской крови.

#### Г л а в а XXVI

Страница 370, строка 21. Дон Кихот, подобно Санчо, перевирает поговорку (см. гл. IX, страница 116, строка 14).

Страница 371, строка 9. Две строки из утраченного стихотворения, содержавшего, повидимому, намек на историю Фаэтона или Икара.

## Глава XXVII

Страница 382, строка 3 снизу. Готский король, правивший Испанией с 672 по 680 гг. «Во времена короля Вамбы» — поговорка, имеющая смысл: «при даре Горохе».

Страница 392, строка 3. Перечисление знаменитых исторических и легендарных предателей или честолюбцев. Ганелон—отчим Роланда, сговорившийся с маврами о том, как погубить его. Вельйо Дольфос предательски убил короля Санчо II (покровителя Сиды) при осаде Саморы (1072). Граф Юлиан (отец обесчещенной королею Родриго Кавы) по преданию, чтобы отомстить ему, призвал мавров в Испанию (событие это, имевшее место в начале VIII в., широко разработано в испанском эпосе).

## Глава XXVIII

Страница 413, строка 3. Как предполагают комментаторы, имеется в виду герцог де Осуна, в семье которого действительно произошли в 1581—1582 гг. сходные с рассказываемой новеллой события. Город Осуна расположен в 85 километрах к востоку от Севильи.

Страница 413, строка 23. И да л ь г о — всякий дворянин, независимо от его общественного положения; к а б а л ь е р о — дворянин, имеющий видное положение.

Страница 414, строка 12. Подушечка с кирпичом, иногда привинченная к столу, птучка с ушком, приживающая выполняемую рукодельную работу.

## Глава XXIX

Страница 441, строка 22. Т. е. «превращу в золотые и серебряные монеты».

Страница 443, строка 7. Х о л м Су л е м а (т. е. Соломона) расположен к юго-западу от городка Алькала де Энарес (родины Сервантеса), отождествляемого с Комплутом, который упоминается у Птоломея.

Страница 446, строка 25. М е о т и й с к о е о з е р о — Азовское море. «Меотийское» — от слова м е о н : ребенок, пускающий лужицы.

Страница 447, строка 24. П е с о — ундия серебра.

## Глава XXX

Страница 450, строка 7. Формула клятвы, употребляемая только в отношении евангелия (см. прим. к гл. X, страница 126, строка 9). Грустный комизм ее подчеркивается тем, что дон Кихот перед этим лишился своего меча.

Страница 454, строка 16. *A zote* значит — «бич» *jigote* — «рубленое мясо».

Страница 460, строка 4. Здесь Сервантес снова противоречит себе: в гл. XXV (страница 358 — 359) ясно показано, что Санчо хорошо знал Дульсиению.

## Глава XXXI

Страница 467, строка 13. *Фанега* — мера сыпучих тел (около 52 литров).

Страница 467, строка 24. См. прим. к главе VI, страница 84, строка 8.

Страница 468, строка 29. Меряться ростом между собой было распространенной забавой в рыцарском обществе. Здесь — пародийная черта.

Страница 471, строка 31. Поговорка, имеющая смысл: «подарок не плох и после праздника». Подарки (также как и взятки) часто приносились в рукавах, которые в то время делались чрезвычайно широкими и отчасти заменяли карманы.

Страница 472, строка 17. Об «андриаке» см. прим. к гл. XXV, страница 348, строка 2.

Страница 473, строка 3. Цыгане, торговавшие лошадьми, наливали им в уши ртуть, для того чтобы они быстрее скакали.

Страница 474, строка 17. Санчо, как это с ним часто случается перевирает пословицу, конец которой гласит: «Если худо ему, пусть на себя пеняет».

## Глава XXXII

Страница 476, строка 22. См. прим. к главе XXX, страница 460, строка 4.

Страница 489, строка 25. Монашеский орден, члены которого славилась строгостью своей жизни.

## Г л а в а X X X I I I

Страница 500, строка 19. «Мудрец»—Соломон. Цитата—из Притчей его, гл. 31.

Страница 501, строка 32. Вплоть до алтарей, т. е. покуда не затрагивается что либо священное. Выражение это, приписываемое Плутархом Периклу (которого один друг упрашивал дать под клятвую ложное показание), Сервантес, повидимому, почерпнул из вторых рук.

Страница 502, строка 9. Неаполитанский поэт Луиджи Танцилло, написавший, на тему о раскаянии апостола Петра после отречения его от Христа, поэму «Le lagrime di San Pietro», которую в 1587 г. друг Сервантеса, поэт Луис Гальвес де Монтаьво, перевел на испанский язык.

Страница 505, строка 25. Имеется в виду эпизод из «Неистового Роланда» (песнь XLII): всем желающим предлагают выпить из кубка, обладающего тем чудесным свойством, что если у пьющего—неверная жена, то напиток, не попав в рот, прольется ему на грудь.—«Нашего поэта»—потому, что Лотарио, ссылающийся на Ариосто, сам итальянец.

Страница 508, строка 21. Стихотворение неизвестного автора, содержащее намек на миф о Данае, в темницу которой влюбленный Зевс проник в виде золотого дождя.

Страница 514, строка 33. Estrado (откуда наше слово «эстрада») —деревянный помост в комнате (примерно в 1 фут. высоты), устланный коврами, на которых раскладывались подушки, чтобы там можно было с удобством сидеть или лежать (прототип позднейшего «будуара»).

## Г л а в а X X X I V

Страница 531, строка 9. Четыре слова, начинающиеся на S: sabio, solo, solícito, secreto, (умен, одинок, предан, скрытен). В приводимом далее перечне качеств влюбленного название каждого из них начинается с новой буквы, в алфавитном порядке (на U нет отдельного слова, так как эта буква имела то же начертание, что и V); буква X названа грубой потому, что во времена Сервантеса обозначавшийся ею звук произносился ча подобие русского «ш»; слова, начинающегося на Y,

в приводимой азбуке нет, потому что обозначаемый ею звук тождественен со звуком, обозначаемым буквою *I*, в силу чего эти две буквы обычно совпадали между собою в употреблении. Такого рода «любовные азбуки» были в ту эпоху весьма распространены в Испании.

Страница 546, строка 6. Имеется в виду жена Брута (противника Цезаря)—образец нравственной стойкости и чистоты. Курьезно примечание, которое дает к этому имени М. В. Ватсон (I, 339): «Действующее лицо в драме Шекспира». В какой? В «Венецианском Купце»?

### Глава XXXV

Страница 552, строка 30. Выражение, взятое из боя быков.

Страница 554, строка 25. Самая мелкая монета ( $\frac{1}{8}$  реала), «грош».

Страница 561, строка 26. Здесь Сервантес впадает в анахронизм: Великий Капитан умер в 1515 г., между тем как маршал де Лотрек принял командование над французской армией в Италии, лишь в 1527 г.

### Глава XXXVI

Страница 563, строка 13. О различии между «легкой» и «тяжелой» сбруей см. прим. к гл. II, страница 43, строка 20. Маленький щит подходит к «легкой сбруе».

Страница 563, строка 14. В XVI в. знатные испанцы нередко путешествовали в масках из легкой ткани, чтобы предохранить лицо от дорожной пыли и грязи.

Страница 570, строка 10. Т. е. «своим благородством и знатностью».

### Глава XXXVII

Страница 586, строка 14. *А л ь м а л а ф а* — длинное одеяние в роде мантии с шелковым бордюром, вышитым арабесками, и большой серебряной или золотой пряжкой на груди, которое знатные мавританки (реже—мавры) обычно носили весной.

Страница 592, строка 15. Здесь и в дальнейшем в подлиннике употребляется слово *letras*, что приблизительно значит: словесные, гуманитарные науки (включая юриспруденцию). Таким образом, лицами, зани-

мающимися *Letras*, могли быть — литераторы, филологи, юристы, гражданские чиновники и т. п., в силу чего, в зависимости от контекста, это выражение переводится нами по разному.

Страница 595, строка 7. Обычай, согласно которому в монастырях, в определенный час, нищим выдавались остатки супа и огрызки хлеба.

### Г л а в а XXXVIII

Страница 597, строка 10. Знаком докторской степени была особой формы шапочка с кисточкой.

### Г л а в а XXXIX

Страница 607, строка 30. Графы Эгмонт и Горн, борды за независимость Нидерландии против испанского владычества, были казнены 5 июня 1568 г.

Страница 607, строка 32. Под начальством этого самого капитана служил Сервантес, когда был ранен в битве при Лепанто (7 октября 1571 г.).

Страница 608, строка 24. Автобиографическая черточка (см. предыд. примечание).

Страница 610, строчка 1. Три фонаря на корме служили отличительным знаком адмиральского корабля.

Страница 610, строка 2. Сервантес также участвовал в этой кампании, равно как и в следующей, 1572 года.

Страница 610, строка 5. *Левентды* — моряки в ту-редской армии, янычары — сухопутные войска.

Страница 610, строка 21. *La Pregunta* — «Добыча».

Страница 610, строка 22. *Вагвагоја* — «Рыжая Борода».

Страница 610, строка 23. *Лоба* — «Волчица».

Страница 610, строка 26. Сервантес, после своего возвращения из плена, участвовал в отнятии у португальцев острова Терсейры.

Страница 612, строка 7. *Вара* — мера длины, около 0,8 фута.

### Г л а в а XL

Страница 617, строка 29. Итальянский инженер Джаккомо Галеаццо, прозванный Фратино (Монашек), служил Карлу V и Филиппу II.

Дон Кихот

Страница 619, строка 22. Арабское слово, означающее «острог» (отсюда франц. *Bagne*—«каторга»).

Страница 619, строка 25. Арабское слово, означающее «склад, магазин».

Страница 620, строка 31. Т. е. сам Сервантес. Автор «Дон Кихота» тесно переплетает вымысел с воспоминаниями о своем собственном пленении.

Страница 623, строка 18. *Ла Пата* или *Ла Бата*—крепость, расположенная в двух милях от Орана.

Страница 625, строка 28. *Зала*— по арабски значит «молитва».

Страница 630, строка 25. Совершенно такой же план, но неудачно, пытался осуществить Сервантес в 1577 году, будучи в плену у мавров: его брат Родриго, выкупив себя, должен был вернуться с фелюгой за своими товарами.

Страница 631, строка 30. Намек на историю неудачной попытки бегства самого Сервантеса.

Страница 632, строка 16. *Тагаринами* (от араб. *тегри*—«пограничный») назывались мавры, оставшиеся после 1492 г. в Испании и смешавшиеся с местным населением. Ниже (в начале след. главы) Сервантес дает менее точное объяснение этого термина.

## Глава XLI

Страница 637, строка 33. Так звали начальника турецкого флота, в составе которого был захвативший Сервантеса в плен корсар.

Страница 638, строка 26. *Дублон*—старинная золотая монета, имевшая в разное время различную стоимость (на современные деньги—от 3 до 10 пезет).

Страница 639, строка 58. *Солтан* (букв. «султанская монета») равнялся примерно 8 реалам (т. е. на современные деньги—2 пезетам).

Страница 645, строка 11. *Багарины*—вольнонаемные гребцы у мавров.

Страница 645, строка 28. *Арраэс* (араб. *ар-раис*, «начальник») — капитан мавританского судна.

Страница 646, строка 10. *Низарани*—«назарен».

Страница 652, строка 16. См. прим. к гл. XXXVII, страница 586, строка 14.



Страница 652, строка 32. Согласно старинному испанскому преданию, граф Юлиан (живший в начале VIII в.) призвал в Испанию мавров, чтобы отомстить королю Родриго, обесчестившему его дочь Каву (по другой версии—Флоринду). Это сказание не имеет, однако, никакого отношения к упоминаемой здесь местности (ныне—мыс Альбатель), которая называлась по арабски Кòбор румия, т. е. «Римская гробница», из за двух античных храмов, развалины которых еще и поныне там можно видеть. В виду сходства слова Кòбор (или Ковор) с именем Кавы, а также того обстоятельства, что арабское слово румй, первоначально значившее «римский», получило затем общий смысл «европейский» (иначе говоря, «христианский»), испанцы XVI века ошибочно усмотрели в этом названии связь со своей национальной легендой.

Страница 656, строка 16. «Круглый» корабль— т. е. с четырехугольными, а не треугольными парусами.

Страница 664, строка 35. Велес-Мáлага — городок, лежащий в 18 милях к востоку от Мáлаги.

## Глава XLII

Страница 666, строка 16. Аудитор—старинное название судьи.

Страница 670, строка 13. См. прим. к гл. XX, страница 253, строка 27.

Страница 671, строка 1. Аудитор по испански—oídor, букв. «выслушивающий».

Страница 672, строка 29. Т. е. «при ее крещении».

## Глава XLIII

Страница 682, строка 26. В том смысле, что девушкой была из них только одна—дочь хозяина.

Страница 681, строка 9. Луна, которую древние нередко называли «трехликой богиней», как соединяющей в себе три мифических аспекта: Луна, Диана и Геката.

Страница 683, строка 6. Намек на миф об Аполлоне, преследовавшего своей любовью нимфу Дафну.

Страница 690, строка 20. Намек на то, что преступникам выжигали на руке клеймо в форме короны.

## Г л а в а X L V

Страница 712, строка 5. Намек на эпизод из «Неистового Роланда», песнь XXVП.

Страница 715, строка 6. Т. е. дьявол.

Страница 718, строка 3. Ту ф л я к о р о л е в ы (*charin de la reina*) — особый налог по случаю бракосочетания короля, называвшийся так потому, что в те времена в Испании только замужние женщины носили туфли с пробковым коском (*charin*).

## Г л а в а X L V I

Страница 719, строка 4. Заглавие этой главы скорее относится к предыдущей, где описана была схватка дон Кихота со стрелком; к этой же главе, напротив, подошло бы заглавие следующей. Возможно, что путаница с заглавиями произошла в типографии, где печаталось первое издание «Дон Кихота».

Страница 721, строка 17. Т. е. времен Октавия Августа.

Страница 726, строка 17. «Как это было в начале».

Страница 730, строка 11. Когда солнце (Аполлон, преследующий бимфу Дафну) дважды опшет свой круг в небе, минуя знаки зодиака, т. е. через 2 дня.

Страница 730, строка 22. *Mentigoniána* в вольном переводе—«Брехуниана» (*mentiga—ложь*).

## Г л а в а X L V I I

Страница 733, строка 4. См. примечание к заголовку главы XLVI.

Страница 733, строка 18. См. прим. к главе XXV, страница 353, строка 15.

Страница 737, строка 21. Ринконете и Кортадильо — одна из новелл Сервантеса, включенная им в сборник «*Novelas Ejemplares*», который вышел в свет через 8 лет после I-го тома «Дон Кихота» (1613).

Страница 740, строка 24. «*Summa summularum*» (сокращенно называемая «*Súmulas*») богослова Гаспара Кардильо де Вильяльпандо (изд. 1557) была распространеннейшим в то время руководством по диалектике.

Страница 745, строка 6. О милетских (т. е. возникших или имевших особенное распространение в г. Милете) греческих сказках, до нас не сохранившихся, известно только то, что они отличались обилием авантюрного элемента, а также грубоватого юмора, зачастую непристойного. А п о л о г и — весьма распространенные в средние века аллегорические рассказы нравоучительного характера, большей частью восточного происхождения.

Страница 746, строка 5. О пресвитере Иоанне см. прим. к Прологу, страница 7, строка 28. Птоломей — греческий географ II века н. э. Марко Поло — итальянский путешественник XIII—XIV вв., объехавший всю Азию, включая Японию.

### Глава XLVIII

Страница 749, строка 15. Повидимому имеются в виду Гомер и Вергилий.

Страница 750, строка 34. Подразумевается: просиживая ночи со свечой.

Страница 751, строка 3. Намек на пословицу: «у нас на углу портной даром шил, да еще свои нитки прикладывал».

Страница 751, строка 34. «Изабелла», «Фялила» и «Александра» — произведения Архенсолы (ум. 1613), «Наказанное бессердечие» — пьеса Лопе де Веги, «Нумансия» — трагедия самого Сервантеса, «Влюбленный купец» — драма Агилара (ум. 1623), «Благосклонная неприятница» — Тарреги (ум. 1602). Весь этот пассаж, исполненный личной горечи, является аполгией старой («классической») драматургической системы, к которой примыкал сам Сервантес и которая была вытеснена более популярной, полу-народной драматургией Лопе де Веги (любопытно при этом, с каким беспристрастием и тактом Сервантес включает в число «образцовых» с его точки зрения пьес одну драму самого Лопе де Веги).

Здесь и в дальнейшем необходимо иметь в виду, что словом «комедия» в Испании обозначались все формы драматического творчества (т. е. и драма, или трагедия).

Страница 752, строка 12. Т. е. Марка Туллия Цицерона.

Страница 752, строка 26. Имеется в виду классическое правило «единства времени», согласно которому изображаемые в пьесе события должны были охватывать не более суток.

Страница 752, строка 33. Австралия в те времена не была еще открыта.

Страница 755, строка 18. Намек на Лопе де Вегу.

### Глава XLIX

Страница 767, строка 13. Лузитания — древнее название Португалии. Далее следует перечень вполне исторических национальных испанских героев (с присоединением трех античных), которым дон Кихот ниже противопоставляет почти сплошь героев средневековых легенд.

Страница 771, строка 4. Свой перечень совершенно фантастических героев дон Кихот заканчивает ссылкой на нескольких исторических личностей. Кастильский рыцарь (родом португалец) Хуан де Мерло, один из реальных прототипов дон Кихота, предпринял в 1433 г. поездку во Францию с целью совершения блестящих подвигов, вызывая на единоборство славнейших рыцарей, и в том числе победоносно сразился с упоминаемым здесь Пьером де Бюфремон, сеньором де Шарни, рыцарем герцога Бургундского (отсюда неточное выражение дон Кихота: «ездил в Бургундию») и мосеном (арагонский титул, равнозначный испанскому «дон» или французскому «мосье») Энрике де Роместан. Педро Барба и Гутьерре Кихада — кастильские рыцари, предпринявшие в 1435 г. подобную же экспедицию с целью сразиться с иноземными рыцарями в честь своих дам. Поединок Фернандо де Гевара с австрийским рыцарем Георгом имел место в Вене, в 1436 г. В 1434 г. состоялся у моста через Орбиго, в трех милях от г. Асторги, знаменитый турнир, устроенный леонским рыцарем Суэро де Киньонес и воспетый затем Хуаном де Пинедо в «Libro del Paso Honroso» (1588); а именно, Суэро с девятью товарищами в течение 30 дней успешно состязались с 60 рыцарями, как испанскими, так и приезжими из Италии, Германии и Франции. Единоборство наваррского рыцаря

Луиса де Фальсес с кастильцем Гонсало де Гусман состоялось в Вальядолиде в 1428 году.

Страница 771, строка 21. Франц. *раг*, исп. *раг* значит—«равный».

### Глава ЛП

Страница 796, строка 22. На самом деле, на протяжении «Дон Кихота» не раз говорится, что Росинант пускался галопом. Возможно, что это не рассеянность со стороны Сервантеса, а только не вполне удачное выражение его мысли—именно, что из всех потуг Росинанта получалась лишь жалкая рысца.

Страница 804, строка 7. В старину в Испании жены почти повсеместно сохраняли свою девичью фамилию,—обычай, удержавшийся отчасти до сих пор в дворянских семьях.

Страница 806, строка 18. Во второй части «Дон Кихота» о заезде нашего рыцаря в Сарагосу не говорится ни слова,—непоследовательность, объясняемая вероятно нежеланием Сервантеса в чем либо совпасть с Авельянедой, который в своем подложном продолжении «Дон Кихота», исходя из данного места, заставляет дон Кихота побывать в Сарагосе.

Страница 807, строка 20. Критики долгое время считали, без достаточных оснований, что местечко Аргамасилья (расположенное примерно в 150 километрах к югу от Мадрида)—родина дон Кихота, которую Сервантес не пожелал назвать в I главе. Существовало также мнение, что Сервантес находился некоторое время в заключении в Аргамасильской тюрьме.

Страница 807, строка 23. «Написали следующее».

Страница 807, строка 24. «Житель Конго».

Страница 808, строка 2. К а т а й—средневековое название Китая. Г а э т а—один из итальянских портов.

Страница 808, строка 11. Р а п і а g u a d o (букв.: «получающий хлеб и воду») — «слуга, прихлебатель».

Страница 808, строка 12. «Во хвалу Дульсиней Тобоской».

Страница 808, строка 19. С ь е р р а Н е г р а, букв.—«Черная (в смысле—злосчастная) Сьерра»—шуточное переименование Сьерры Морены, название которой, происходя на самом деле от «Сьерра Мариана» (т. е. «гора

Марианна»), по созвучию могло быть осмыслено как «Смуглая Сьерра».

Страница 808, строка 20. См. прим. к странице 12, строка 16.

Страница 808, строка 21. Аранхуэс—роскошная летняя резиденция испанских королей, расположенная в 50 километрах к югу от Мадрида. Красоты Аранхуэса славилась в XVII в., и имя это стало нарицательным для обозначения прелести и красоты.

Страница 809, строка 2. Саpгiсhоsо означает—«капризный вздорный».

Страница 809, строка 17. Богиня войны у римлян.

Страница 809, строка 19. «Галл и Грек»—Амадис Галльский и Бельянис Греческий.

Страница 809, строка 22. Клички боевых коней Рейнальда Монтальбанского и Роланда—двух воителей, изображенных Ариосто в его «Неистовом Роланде».

Страница 809, строка 23. Buгlаdоr значит—«Насмешник».

Страница 810, строка 11. Сасhидiаbлo—«чорт рогатый, чертяка» (между прочим, эту кличку носил во времена Сервантеса один знаменитый своими набегами алжирский корсар).

Страница 810, строка 22. Тикитóк—шуточное имя, повидимому звукоподражательного характера (вроде «тик-так», «тук-тук»); по другому толкованию, оно произведено Сервантесом от итальянского слова тiссhio—«сумасбродство, причуда».

Страница 811, строка 13. «Пуškai другой споет об этом лучше»—стих из «Неистового Роланда», песнь XXX, строфа 16



	СТР.
Глава VIII о славной победе, одержанной доблестным дон Кихотом в ужасном и доселе неслыханном приключении с ветряными мельницами.	100
Глава IX, в которой рассказывается о конце и исходе удивительного боя между храбрым бискайцем и доблестным Ламанцем.	114
Глава X, о остроумной беседе между дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой.	122
Глава XI о том, что произошло между дон Кихотом и козопасами.	131
Глава XII о том, что рассказал один козопас компании, бывшей с дон Кихотом.	142
Глава XIII, содержащая конец повести о пастушке Марселе и разные другие события.	151
Глава XIV, где приводятся стихи впавшего в отчаяние покойного пастуха и другие неожиданные происшествия.	166
Глава XV, в которой рассказывается о несчастном приключении, постигшем дон Кихота, благодаря встрече с жестокосердными янгвэсцами.	179
Глава XVI о том, что случилось с хитроумным и даэго на постоялом дворе, который он принял за замок.	190
Глава XVII, в которой описываются дальнейшие бесчисленные невзгоды, испытанные храбрым дон Кихотом и его верным оруженосцем на постоялом дворе, который рыцарь, на свою беду, принял за замок.	202
Глава XVIII, содержащая беседу Санчо Панса с его господином, а также разные другие приключения, достойные упоминания.	217
Глава XIX о разумной беседе между Санчо Пансой и его господином и последовавшем за сим приключении с мертвым телом, равно как и о других замечательных происшествиях.	235
Глава XX о невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один знаменитый рыцарь на свете не совершал с меньшей для себя опасностью, чем совершил его доблестный дон Кихот Ламанчский.	246
Глава XXI, в которой рассказывается о великом приключении и завоевании драгоценного	



## О Г Л А В Л Е Н И Е

843

стр.

плема Мамбрина, равно как и о других происшествиях, случившихся с нашим непобедимым рыцарем.....	269
Глава XXII о том, как дон Кихот даровал свободу множеству несчастных, которых насильно вели туда, куда им вовсе не хотелось идти.....	288
Глава XXIII о том, что произошло с намеренным дон Кихотом в Сьерра-Морене, иначе говоря об одном из самых редкостных приключений, о которых рассказывается в этой правдивой истории.....	307
Глава XXIV продолжение приключения в Сьерра-Морене.....	327
Глава XXV, в которой рассказывается о необычайных происшествиях, случившихся с доблестным Ламанчским рыцарем в Сьерра-Морене, и о покаянии, которое он наложил на себя в подражание Мрачному Крабавцу.....	342
Глава XXVI, повествующая о дальнейших любовных подвигах дон Кихота в Сьерра Морене.	368
Глава XXVII о том, как священник и дыряльник привели в исполнение свой план и о других событиях, достойных упоминания в этой великой истории.....	381
Глава XXVIII, в которой рассказывается о новом и приятном происшествии, случившемся в тех же горах со священником и дыряльником.	408
Глава XXIX, в которой рассказывается об остроумной хитрости и способе, с помощью которых наш влюбленный кабальеро был избавлен от наложенного на себя сурового покаяния.....	429
Глава XXX, в которой рассказывается об уме прекрасной Доротей и многих других вещах, простых и замечательных.....	449
Глава XXXI о замечательной беседе дон Кихота с его оруженосцем Санчо Пансой и о других происшествиях.....	467
Глава XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом дворе со всей компанией дон Кихота.....	483
Глава XXXIII, в которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном.....	493

	стр.
Глава XXXIV, в которой продолжается повесть о Безрассудно-любопытном.....	523
Глава XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необыкновенной битве дон Кихота с мечами красного вина и дается окончание повести о Безрассудно-любопытном .....	549
Глава XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных происшествиях, случившихся на постоялом дворе .....	563
Глава XXXVII, в которой продолжается история инфанты Микомиконы вместе с другими забавными приключениями .....	578
Глава XXXVIII, в которой передается любопытная речь дон Кихота о военном деле и науках.	596
Глава XXXIX, в которой пленник рассказывает о событиях своей жизни .....	603
Глава XL, в которой продолжается история пленника .....	616
Глава XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ .....	635
Глава XLII, в которой рассказывается о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о многих других вещах, достойных внимания .....	665
Глава XLIII, в которой рассказывается приятная история погонщика мулов, вместе с другими необычайными происшествиями, случившимися на постоялом дворе .....	676
Глава XLIV, в которой продолжают неслыханные происшествия на постоялом дворе .....	692
Глава XLV, в которой окончательно рассеиваются сомнения относительно шлема Мамбрина и седла и рассказывается о других, весьма правдивых происшествиях .....	706
Глава XLVI о достопримечательном происшествии со стрелками и о великой свирепости нашего доброго рыцаря дон Кихота .....	719
Глава XLVII о том, каким необыкновенным образом был очарован дон Кихот Ламанчский и о других достопамятных происшествиях.....	733
Глава XLVIII, в которой каноник продолжает рассуждать о рыцарских романах и других материях, достойных его тонкого ума.....	749

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	845
	СТР.
Глава XLIX, в которой излагается умнейшая беседа между Санчо Пансой и его господином дон Кихотом.....	762
Глава L о разумнейшем споре дон Кихота с каноником и о других происшествиях.....	773
Глава LI, в которой передается то, что пастух рассказал компании, увозившей дон Кихота.	783
Глава LII о споре дон Кихота с пастухом и о редкостном приключении с бичующимися, которое наш рыцарь в поте лица своего довел до счастливого окончания .....	792
Примечания .....	813

Редактор *А. Смирнов.* Техн. редактор *Н. Филиппов.*  
Книга слана в набор 7 декабря 1931 г. Подписана  
к печати 31 декабря 1931 года. № 8. Тираж 6 000 экз.  
Ленгормит № 10347. Заказ № 162. Бумага 73 × 104 см.  
29<sup>1</sup>/<sub>2</sub> л. Тип. знак. на 1 бум. л. 60 000.  
Тип. «Печатный Двор». Ленинград, Гатчинская, 26.









